

ГЕОРГИЙ ШШ ТОРМ



ЕЩЕ  
ДОБРОЙ  
НАДЕЖДЫ

ГЕОРГИЙ ШТОРМ

Дети  
добрый  
надежды

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

Повесть о Болотникове  
Труды и дни Михаила Ломоносова  
Дети доброй надежды

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА · 1971

В сборник исторических повестей, написанных автором в 1928—1954 годах, входят три широко известные советскому читателю произведения: «Повесть о Болотникове», «Труды и дни Михаила Ломоносова» и «Дети доброй надежды».

«Повесть о Болотникове» рисует романтическую историю вождя первой крестьянской войны в России, его скитания в чужих землях и упорную борьбу русских крепостных с боярством и дворянством — разгар народного движения, охватившего чуть ли не всю страну.

Повесть «Труды и дни Михаила Ломоносова» посвящена первым шагам русской науки, олицетворенной ее гениальным представителем Ломоносовым, который в условиях феодально-крепостнической действительности, иностранного засилья в Академии и влияния невежественных фаворитов посвятил борьбе «с неприятелями наук российских» всю свою жизнь.

В повести «Дети доброй надежды» показаны тонкие, незримые нити, связывавшие лучших людей эпохи — адмирала Ф. Ф. Ушакова и состоявшего с ним в отдаленном родстве А. Н. Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву».

*Художник И. А. Гусева*

Повестъ  
о  
Болотникове

— Ты вставай, вставай, безымянной люд!  
Выдыбай скорей со речнова дна!  
Ты взойди-ко на гору, на крут шелом,  
А зглени, какова мати земля стоит.

*Былина о Болотникове*

## Часть первая

### ПРЕДГРОЗЬЕ

#### ЮРЬЕВ ДЕНЬ

И тем крестьянам отказывается один срок в году: Юрьев день осенний.

«РОСПИСЬ,

что прислал поминков<sup>1</sup> Руделф цесарь к царскому шурину, к слуге и конюшему, боярину и воеводе... к Борису Федоровичу Годунову... часы стоячие боевые со знамены небесными, два жеребца, а попоны на них бархат черфчат. Да государя Бориса Федоровича сыну Федору Борисовичю шесть попугаев, а в тех попугаев два есть: один самец, а другой самка..., а Федору ж Борисовичу две обезьяны...»



арь Федор преставился.

Слуга и конюший, боярин и воевода сам «учинился на царстве». Вознесены были и попугаи, даренные цесарем: из боярского в царский пожалованы чин...

<sup>1</sup> Поминки — подарки.

Как солнцу над Москвой-рекою блеснуть — скрипят под Кремлевской стеной уключины и слышится волжский говор. А сухопутьем, цепляясь на заставах за мытные дворы, лениво ползут по слободам возы с кладью. Зорко осматривает товар стража — не спрятано ли вино, не везут ли из-за литовского рубежа грамот с умыслом на великого государя.

А царя Бориса в Москве нет: пошел на Оку «проводывать» крымского Казы-Гирея. Отовсюду согнали для похода людей: из Чернигова, из Ельца, из Воронежа, из Курска; дали всем по медному грошу: как придут люди с похода, те гроши они вернут, — сочтут воеводы, сколько пришло, скольким недостава.

Окна курных, черных изб закрыты деревянными втулками. Мимо огородов и пустырей тянутся возы. Крестьяне везут на боярские дворы шерсть, масло, свиней, кур, красные резные ложки. «Юрий холодный оброк собирает», — говорят мужики и нахлестывают вязнущих в грязи лошадемок<sup>1</sup>.

На Красной площади — лавки: каменные, сводчатые, с одним малым окном за железными ставнями. А перед ними спозаранку — каждый на свой голос и манер — шумят ряды.

Ноябрьское солнце горит на васильковых и темно-маковых сукнах, на песцовых, с цветною выбойкою, одеялах; глухо позванивают оловянные блюда и чаши; громоздится оружие — пищали и бердыши.

Толпятся холопы, разъезжают дворовые конные. Их нынче много. Воеводы пришли на государеву службу с челядью, женами и детьми, со всем своим скарбом. У Фроловских ворот вовсе проезду не стало: приезжий народ в Кремль ходит, день-деньской бьет челом.

---

<sup>1</sup> Юрий холодный, или осенний, — день 26 ноября старого стиля, когда крестьяне платили землевладельцам (боярам и дворянам) оброк, отдавая им значительную часть продуктов своего труда. В конце XVI века царское правительство отменило приуроченное к Юрьеву дню право крестьян переходить от одного владельца к другому — так называемый выход. Тогда-то в народе и сложилась поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

На земле меж рядов стрелец и старец играют зернью.

— Отче, за што тебя из монастыря выгнали? — спрашивает стрелец.

— За то, што по кабакам пью, иноческое платье с себя пропиваю и зернью проигрываю, — со вздохом отвечает старец.

— Эх, кости пёстры — зернщику сестры! — восклицает стрелец и ловко раскидывает кости.

Холопы, крестьяне и городские зеваки собрались подле них в круг.

— Крещеные! — раздался вдруг голос. — А не Юрьев ли нынче день? — Рослый крестьянин, оглядываясь по сторонам, вышел на середину.

— Юрьев! Вестимо, Юрьев!

— Сохнет и скорбит мужик по Юрьеве дне, а все ему льготы нету!

Игравший в кости стрелец вскочил и взял крестьянина за плечо:

— Косолап! Друг! Не чаял тебя на Москве встретить!

Тот усмехнулся и проговорил:

— Верно, крещеные: народ без выхода вконец погибает. Мысленное ли дело, чтобы нам с земли на землю не переходить?

Кругом зашумели:

— В иных вотчинах и корму нет, да на промыслы рук не напасешься!

— Побежим куда глаза глядят!

— Да по цареву указу беглых велено сыскивать и возить назад, где кто жил!

— Пойдем-ка всем миром к царю, — сказал крестьянин, — пушай нас не томит, выход даст, о людях своих порадует.

— Да царь-то где? — крикнул стрелец. — На Оку пошел, нешто не знаешь?

— Или к царевичу! Он потеху любит, — я его веселой речью утешу.

— Вали к боярам! Им о Юрьеве дне слово молвим!

— Шумом праву не быть! Эх, смутники! — прошамкал старец.

Звонили к обедне. В ясном безветрии стоял звон над городом.

Сбивая торговые лари, народ двинулся в Кремль.



Между жилыми покоями и теремами — место челобитчиков, Боярская площадка.

У крыльца — дьяки в высоких меховых шапках. На столах, крытых багряным сукном, — лубяные коробы, гусиные перья, заморская бумага. Два боярина стоят, не глядя друг на друга, оба грузные, потные, то и дело вытирая красные от гнева лица.

— И он меня обесчестил, сказывали, молвил про меня: «пьяный князь», — говорит боярин.

— Черти тебе сказывали, — отзывается другой.

— Из-под бочки тебя тащили!

— Псаренков ты внук!

— Полно вам лаяться, бояре, — говорит дьяк. — Уймись! Ужо вас царь рассудит.

Звон множества малых колокольцев раздался в сенях. Народ впопыхах неловко стал на колени.

Вышел царевич. Сокольничие несли за ним птиц: кречетов и челиг; подсокольничие держали птичий наряд: колокольца и клубочки, шитые по сафьяну золотую нитью.

Федор был толст, бледен и улыбался без причины.

Конюший Дмитрий Годунов сказал:

— Вёдро, государь! Радостен будет красного сокола лёт. Натешись в поле вдоволь...

Невдалеке закричали стрельцы, сдерживая толпу напивавших холопов. Рослый, бывший впереди детина прорвался; за ним устремились другие.

Федор спросил:

— Чего им?

— Не мы жалобим, государь, — сказал детина, кланяясь царевичу в ноги, — Юрий осенний челом бьет!

Федор тихо, по-детски засмеялся.

— Кто таков? Скоморох? — хмурясь спросил конюший боярин.

— Зовусь я Фомою, а живу с сумою, в гости хожу не часто и к себе не зову.

— Эй, буде глумиться! — крикнул боярин. — Сказывай, пошто народ поднял?

Толпа, заволновавшись, придвинулась.

— Крестьяне мы искони-вечные!

— Выход нам, государь, пожаловал бы!

— Посылают нас на работу за два часа до свету, а с работы спускают в час ночи!

— Вона што! — сказал боярин Годунов. — В сем деле царевич не волен. На то есть великий государь Борис Федорович.

— Да мы ж, сироты, притомились, выхода ожидаючи, душою и телом!

— Невтерпеж нам служба бесконечная!

— Пожалуй нас, государь, для своего многолетнего здоровья, прикажи выход дать на легкие земли!

Федор, перестав улыбаться, нетерпеливо поглядывал на небо.

— Ну, сказано вам, — закричал боярин, — чего докучаете? Ступайте с миром!

— Государь, — сказал вдруг челобитный дьяк, указывая на Косолапа. — Сей человек — вор<sup>1</sup>, он меня прошлым летом под Тулою бил и мучил и голову едва не отвертел напрочь!

— Шиш подорожный<sup>2</sup>, вестимо, — поддакнул и второй дьяк.

— В приказ — для расспросу! — молвил Дмитрий Годунов.

Стрельцы скрутили Косолапа.

— Начальные! — возгласил по чину ближний боярин. — Время наряду и час красоте.

Сокольничие взялись за птичий наряд: кто за клубочок, кто за серебряный рог, кто за вызолоченный колокольчик.

— Булат! Свертяй! Олай! — раздавались имена ловчих птиц. Кречетá быстро поворачивали головы на коротких шеях и, когда на них поправляли клубочки, стреляли по сторонам зоркими глазами.

Конюхи подвели застоявшихся аргамаков. Царевич сел на коня.

Поезд двинулся к Фроловским воротам.

---

<sup>1</sup> «Воровать», «быть на воровстве» — означало в России XVI — XVIII веков «быть в измене», действовать против государственной власти.

<sup>2</sup> Шиш подорожный — бродяга.

В терему на окнах настланы алые сукна. На лавках — суконные полавочники с затейными узорами. На столе — букварь, перья для письма цветные, лебязьи.

В углах тонко звенят мухи. Дремлет на лавке дьяк.

Посреди палаты — клетка; ее спускают и поднимают на векшах — блоках. «Це-сарь!» — кричит попугай и бьет широким жарко-красного цвета опахалом. С крыльев сыплется лазоревая пыль.

«...А в тех попугаев два есть: один самец, а другой самка, и те два — Борису Федоровичу...»

— Тыфу! — сердито говорит дьяк и раздрает слипшиеся глаза ладонью. Он «приведен ко кресту», что будет верно служить государевым потешным птицам. А подарил их царю Борису римский император — «це-сарь» Рудольф.

На Боярской площадке шум. Дьяк, зевая и крестясь, выглядывает в оконце.

Еще только занялся трудный челобитный день, а столы уже завалены грудой жалоб. Холопы и крестьяне, насильно закабаленные, изувеченные боем приказных плетей, — всяк молит учинить по его делу сыск и указ, оказать милость и пощаду...

«Сыскать накрепко», — пишет на бумаге дьяк, ставит помету «чтена» и откладывает в сторону.

— Ныне нам забота беспрестанная, — ворчат судьи-бояре.

Из толпы выходит старая женка, держа за руку хилого отрока; степенно, не торопясь, бьет челом.

В окне над крыльцом — заспанная волосатая голова дьяка.

Женка говорит быстро, срываясь с голоса, то и дело заходясь плачем:

— С Черниговщины мы, князя Андрея Телятевского дворовые людишки... Жили муж мой и я, бедная вдова, у князя на селе бескабально — по своей охоте. А как мужа моего не стало, князь увидел, што мы беспомощны, и похолопил насильно меня и дочеришку мою Мारью, прозвищем Грустинку.

Хилый, тщедушный подросток стоял, переминаясь с ноги на ногу, глядя на бояр большими синими глазами.

— И то жалоба моя — не вся, — продолжала со слезами выкрикивать женка. — Прошлой осенью на Юрьев же день брела дочеришка моя по воду, и поймал ее княжой сын, Петр Андреев, взял к себе в дом для потехи. И я прибежала к нему на двор, и люди его били меня смертным боем: палец на правой руке перешибли и вдовье платье на мне изодрали. И по сю пору возит княжой сын дочеришку мою за собой и ныне, приехав в Москву, хочет ехать под Серпухов к отцу своему, в большой полк, с нею ж.

— Добро! — сказал челобитный дьяк. — Видок<sup>1</sup> по твоему делу есть ли какие?

— Один видок у меня, — молвила женка, указывая на подростка, — он же, дай ему бог веку, и жалобу писал...

— Эй, женка! — крикнули за столом. — Когда на Руси повелось, чтоб ребята челобитному писанью ученые были?

— Да он же в княжей домовой церкви поет и грамоте гораздо знает. А с дочеришкой моей у него от малых годов любовь да совет. А людишки наши — никто жалобы писать не захотели, потому что княжой сын грозил убойством и московскою волокитою.

— Испытать его, — сказали дьяки, — верно ли молвит женка.

Боярские шапки над столом качнулись и сдвинулись; над склоненными шеями вздыбились высокие воротники.

— Дать ему сперва писать, а потом читать какие ни есть указы!

Отрок шагнул к столу, взял перо, бойко написал треть столбца, слушая речь дьяка.

— Ишь строчит! — сказал тощий рыжий боярин. — В приказе б ему сидеть. А ну, дайте ему прочесть указ!

Бегло, единым духом, прочел:

— «Указ царя и великого князя всея Руси Бориса Феодоровича...»

— Буде! — оборвал челобитный дьяк. — Изрядно, бояре, учен. Лучше нас с вами...

---

<sup>1</sup> Видок — свидетель, очевидец события.

Заспанная голова в теремном оконце затряслась от смеха.

— Це-сарь! Дай сахарку! — прокричал за дьячьей спиной попугай.

Дьяк, оборотясь, посмотрел на кричавшую птицу. Взгляд скользнул по столу с лебяжьими перьями и букварем. Усмешка раздвинула заросшее космами лицо. Забавная мысль взбрела на ум.

Он раздельно четырежды хлопнул в ладоши...

4

Теремные слуги ввели в палату оробевшего отрока.

Синие глаза пробежали по стенному письму, по изразцовым печам, по шафам — полкам с дверцами.

— Ступайте! Не надобны! — сказал дьяк слугам и молвил: — Здорѳво!

— Здорѳво, дьяк! Прощай, дьяк! — закричали попугай.

Отрок, помятившись, боязливо уставился на птиц.

— Дивно тебе? — со смехом сказал дьяк. — Не страшись попугаев — они пригожие. Да ближе ступай. Пошто оробел, грамотей?

Холоп нерешительно двинулся к клетке.

— И чин у меня есть, — молвил дьяк, — а грамоте куда хуже твоего знаю. Просто сказать — ступить не умею, по псалтири едва бреду...

Взяв со стола букварь, он протянул его отроку.

— Вот што надумал: обучи для потехи птиц грамоте.

Холоп, все еще робея, усмехнулся и, взглянув на клетку, бережно развернул букварь.

Азбука.

На полях — указ-правило. На одном листе голубок и подпись: «Не скоро поймаюсь», на другом — кулак и подписано: «Сильно бью».

— Што тут первое? — спросил дьяк.

— Первое тут большая полная государева титла.

— Сие разумно. А то все «цесарь» да «цесарь». Нешто наш государь немец? Ну, теперь читай!

Цепкие когти стиснули поперечные жерди клетки. Птицы разинули клювы и забили крыльями.

На свету, как тонкая цветная ткань, повисла лазоревая пыль.

— Великий государь, царь и великий князь Борис Феодорович, всея Руси самодержец!..

...— Самодержец! — повторили попугаи.

Отрок внезапно прыснул со смеху.

Затрещина прозвенела под крестовыми сводами. Дьяк быстро вырвал у холопа букварь.

— Ну, ты, шпынь!<sup>1</sup> — просипел он. — Кнута не ведал?! — В страхе крикнул палатным слугам: — Сведите его иным ходом, да не шумко, шток никто не приметил!..

Оставшись один, он долго озирался, вытирая пот.

5

Вытолканный из теремов холоп брел Ивановской улицей на Варварку, где с весны стояли домочадцы Телятевского.

В Китай-городе, за Гостиным двором, шел правеж<sup>2</sup> — выбивали из должников «напойные деньги»<sup>3</sup>. Царь Борис закрывал кабаки, но все же их было вдоволь. В Москве холопу было тоскливо. Заслышав крики, он пошел быстрее...

Вспомнил родной Черниговский край — пчелиные угодья в лесу, куда он, бывало, уходил с Грустинкой. Дупла и пни стояли, залитые медом. Пчелы гроздьями усеивали ветви. Пчел собирали звуками рожка...

Пройдя огородами на княжий двор, он пошел мимо служб и жилых строений.

Холопы седлали для молодого князя чалого Звёздку. Конь зевал, обнажив челюсти; через весь его лоб шла лысина. Грива и хвост были до половины черны.

У крыльца пересмеивались боярские девки и грызли хрупкий, зернистый сахар.

<sup>1</sup> Шпынь — дерзкий балагур, буян.

<sup>2</sup> Правеж — от «править», «доправлять» — взыскивать с кого-нибудь долги, недоимки; применялся в России в XVI и XVII веках и состоял в том, что неимущего должника выводили на площадь и били длинными палками по ногам до тех пор, пока он не соглашался заплатить долг; иногда «правеж» продолжался в течение целого месяца.

<sup>3</sup> Напойные деньги — кабацкий долг, сумма, на которую человек «напил», задолжал кабаку.

Венцы вроде теремков качались на них, униженные туманной ряской. Они затормозили его, закричали все разом:

— Отколе идешь?

— Чего смутный такой?

— Да молви что-нибудь! Немта!<sup>1</sup>

— Иду я из терема государева,— сказал он, усаживаясь на приступках.— Попугаев смотрел. Я их грамоте учил...

— Потешаешься! — закричали девки.— По глазам видать — обманываешь!

— Да ей же нет. Обучал я птиц государевой титуле. Ну и смеху было...

На крыльцо в алой дорожной фerezее<sup>2</sup>, с витой плетью в руке, вышел княжий сын Петр.

Холоп, не видя его, продолжал:

— Начал я, стало быть, по букварю титулу вычитывать. А попугаи-то — за мной, по складам: «...вся Руси са-мо-дер-жец...» Не лгу! Истинно так!

— Скоморошишь!

— Мысленно ли то?..

Витая плеть, свистнув по крылечным перильцам, ожгла спину холопа.

— Эй! Што про великого государя молвил?! — заорал, сбегая вниз, княжич Петр.

6

В приказе, куда приставы привели холопа, было чисто и тихо. Медный рукомойник висел у печи. В железных подсвечниках торчали сальные свечи. Дьяк и судья вслух читали доносы и просьбы. Перья скрипели на столах, крытых багряным сукном.

Со двора доносился крик:

— Да мы ж, как воеводе били челом, рубль денег дали, да княгине его полтину, да племяннику гривну, да людям их столько ж! Пусти нас, служивый, вот те крест — негде гроша взять!

<sup>1</sup> Немта — немой.

<sup>2</sup> Фerezея, или ферязь — старинная русская верхняя одежда, очень длинная, с длинными рукавами, без перехвата в талии и без воротника.

— Ступайте! Недосуг нынче.

— Эх ты, рожа жаднущая и пьяная! — раздался голос, и тотчас кто-то быстро побежал от избы прочь...

— Кого приволок? — спросил дородный, большеухий судья у пристава.

Тот, склонившись над столом, что-то тихо сказал.

— Вона ка-а-ак! — молвил судья и задвигал ушами. — Это дело высокое. Надобно учинить особый сыск, тайно. Покамест — на съезжую его...

Обитая войлоком дверь съезжей избы затворилась.

Шагнув из полутемных сеней на свет, отрок вступил в клеть с одним малым, забраным решеткою оконцем.

На земляном полу лежали люди. Ноги одного из них плотно стискивались притесанными брусками: он был «посажен в колоду» и заперт в ней на замок.

Рослый детина встал и подошел к холопу.

— Не бранись с тюрьмой да с приказной избой! — молвил он. — Верно?

Холоп тотчас признал человека, шумевшего на дворцовом крыльце.

— Своровал што? Или так — без вины, напрасно? — спросил детина.

Борода у него была светлая, льняная; глаза блестели в полутьме.

— И сам не ведаю, — ответил холоп, — за государеву титлу, бают...

Узнав, в чем холопья вина, детина сплюнул и проговорил:

— Эх, и дело-то пустое, а все же станут тебя завтра плетью драть... Ну, ништо, — торопливо сказал он. — Ты чей же будешь?

— Телятевского, князя Андрея.

— Не слыхал на Москве такого.

— Да мы с Черниговщины, издалека.

— Вона што! Отец, мать есть у тебя?

— Мать, — сказал холоп, — не помню, когда бог прибрал, а отец при царе Федоре сгинул. Сказывали — разгневался на него князь и послал в лес путы на зверя



ставить, да из лесу не воротился отец, пропал безвестно куда...

— Та-ак-то,— промолвил детина и опустил голову.

За оконцем смеркалось. Медная полоса зари была как меч, упертый рукоятью в запад. Волоча по земле бердыш, прошел мимо стрелец.

— А дьяк-то наклепал на меня,— сказал детина,— сроду я вором не был. Ну, знать, рок таков: и впрямь придется при дороге стоять, зипуны-шубы снимать.

— Уйти бы,— тоскливо сказал холоп.

— Дело говоришь. Только молод ты. За мной не ходи, а ступай на Волгу. Добрый совет даю. Как вспомнянешь — знай: зовусь Хлопком-Косолапом...

Невдалеке раздались частые, глухие удары.

Сторожа, перегородив улицы бревнами, заколотили в доски. Косолап подошел к оконцу, ухватился за решетку и тихо запел:

Как и эту тюрьму  
Мы по бревнышкам разнесем;  
Всех товарищей-невольничков  
Мы повыпустим!..

Город спит.

Окна домов плотно задвинуты деревянными ставнями.

Ветер с запада гонит орды туч, и с запада же, от литовского рубежа, летят семена смуты.

От яма к яму<sup>1</sup>, из посада в посад глухо ползет:

— Ца-ре-вич Ди-мит-рий Уг-лец-кой!..

Многим в Москве внятна смутная ночная весть; иным она в радость, иным — в страх, мешающий смежить очи.

Юрьев день отошел. Спят на боярских дворах холопы. Приютились на окраинах пришедшие издалека ударить Москве челом.

Темно и тихо в Кремле. Только близ келий Патриарших палат — свет. При мерцании серебряной с прорезью лампы дьяк ведет повседневную запись — «Дворцовый разряд».

---

<sup>1</sup> Ям — (татарск.) — селение, крестьяне которого несли особую повинность — отправляли ямскую гоньбу.

«Лета 7106<sup>1</sup>, в Юрьев день,— пишет он,— тешился царевич в поле птицами».

И, поразмыслив, кончает:

«И сей день было вёдрено, а в ночь — тепло...»

## ЯСЫРЬ

Ахтуба пуста, а без караула  
не гуляй.

*Старинная половица*

### 1

Близ большой дороги на Тулу, у деревни Заборья, при самом перевозе через Оку,— передовой полк.

Воеводы донесли царю, что татары опять стали немирны. Но Борис пришел с небольшой силой. Весной москвитяне так напугали хана, что крымцы едва ли посмели бы пойти в набег.

И верно, под Серпуховом царь застал лишь послов Казы-Гирея. Государев прошлогодний дар — парчовые шубы оказались недомерками, и татары явились требовать новых шуб.

С царем были московские стрельцы, отряд иноземных войск да шедшее восвосяи черниговское ополчение князя Телятевского. От речки Серпейки до деревни Заборья раскинулись по берегам обозы и шатры...

Дорожные мохнатые кошмы разостланы на земле; над ними колышутся на шнурах вышитые львами и грифами завесы.

Царь — в обычном платье «малого наряду», чтоб не выказывать послам большой чести. Вокруг него — иноземцы, воеводы и князь Телятевский в бахтерцах — доспехе из пластинок и колец.

Татары, в коротких кафтанах и тубетеях, поглядывая на толмача, торопились приступить к делу. Царь подал знак. Татары пошли «к руке». Но Борис руки целовать не дал и лишь возложил ее по очереди послам на головы.

---

<sup>1</sup> Лета 7106 — по старинному русскому времячислению — в 1598 году.

Думный дьяк спросил о здоровье хана. Послы отдали дьяку грамоту в мешке. Тогда царь велел снять с татар кафтаны и надеть на них парчовые шубы. Дьяки налили вытые ковши медом и дали послам пить.

Толмач сказал:

— Великий государь вас пожаловал: триста шуб царю Казы-Гирею дано будет!

— А шубы узки и недомерки не были б! — тотчас закричали татары.

Тут один из послов спрятал опорожненный ковш за пазуху.

Так же поступил и другой.

— Что эти люди делают? — тихо спросил молодой иноземец соседа-боярина.

— А они завсегда так, — шепотом ответил боярин. — Думают, если царь пожаловал их платьем и питьем, то и ковшам годится быть у них же. А царь отнимать тех ковшей не велит, потому что для таких послов делают нарочно в Английской земле сосуды медные, позолоченные...

Иноземец отвернулся, едва сдерживая смех.

Посольство окончилось. Татары, пятась, вышли из шатра. Царь встал. Он был невысок, дороден и волочил левую ногу.

— И все ты, государь, ножкою недомогаешь, — сказал думный дьяк, — дохтура бы себе ученого сыскал.

— Ужо, как буду в Москве, — сказал Борис, — Ромашку Бекмана снаряжу за дохтуром в Любку<sup>1</sup>.

Воеводы разошлись, выходя чередою, по чину...

Перед шатром всадник в забрызганной грязию алой ферезее соскочил с чалого жеребца.

Через лоб коня шла лысина, грива и хвост были до половины черные.

— Батюшка! — крикнул приезжий, завидев Телятевского.

Отец и сын поцеловались.

— Подобру ли, поздорову ехал? — спросил князь.

— Ничего, — молвил Петр. — Конь маленько хромлет.

— Ну, какво детей да людей моих бог хранит?

---

<sup>1</sup> Л ю б к а — город Любек.

— Дён через пять пойдут за нами следом. Скарб укладáют.

— А на Москве што?

— На Москве в Юрьев день смутно было. Холопы о выходе челом били — вор Косолап народ мутил. Да еще на меня за девку Грустинку челобитье подано. А писал жалобу наш холоп дворовый, черниговской вотчины недоросль<sup>1</sup>; он же и про великого государя невесть што молвил. И его с тем вором Косолапом свели на съезжую, да вор Косолап и тот наш холоп, Ивашка Исаев сын Болотников, в ночи побежали неведомо куда.

2

Рыжий осенний лес принял поутру беглого холопа. Он быстро шел по берегу, обходя рыклые клинья отмоин у речных излучин. Москва и Хлопок-Косолап остались давно позади.

В полдень рыбные ловцы, прозываемые кошельниками, накормили его рыбой. Никто не спросил, куда он держит путь.

Сновали по реке челноки. Скоро стали встречаться и струги. В них сидели беглые. «Ярыжки<sup>2</sup> в стругу, привыкай к плугу!» — дразнили их с берегов.

Под вечер третьего дня холоп услышал песню:

Сотворил ты, боже,  
Да и небо, землю.  
Сотворил ты, боже,  
Веснóвую службу.  
Не давай ты, боже,  
Зимóвые службы,—  
Мóлодцам кручинно,  
Да и сердцу надсадно.

Кинувшие «зимóвую» службу стрельцы гребли посредине течения.

А берите, братцы,  
Гнуты весельца!  
А садимся, братцы,  
В быстры стружочки!

<sup>1</sup> По другим сведениям крестьяне Болотниковы происходят из тверской вотчины князей Телятевских.

<sup>2</sup> Ярыжки — судовые рабочие на Волге.

Да и грянемте, братцы,  
То ли вниз по Волге.  
Сотворим себе сами  
Веснóвую службу...

Беглые приняли холопа.

— Гость — гости́, а пошел — прости, — сказали стрельцы. — Плыви с нами, места в стругу хватит.

Они посмеялись над его малым ростом и впалую грудь. Он усмехнулся и промолчал.

Дикий черный лес стоял кругом. В лесу неведомо кто жег костры. Минуя их, то нос, то корма струга становились багряными.

— Тебя как звать? — спросил холопа молодой парень с рябым плоским лицом и злыми глазами.

— Ивашкой.

— А я Илейка буду. Тоже с Москвы убёг. Жил я там у дяди своего, у Николы-на-Садах...

Они помолчали.

— На Волге-то вольно будет? — спросил Ивашка.

— Вестимо, вольно. Да я-то на Дон сойду либо к терским казакам.

— На Дону живут воры, и они государя не слушают, — сказали со смехом в темноте.

— Боярское присловье! — отозвался другой голос. — А я чаю, не на Дону только воры, ворует ныне вся государева земля.

— Да и как не воровать? Воеводы-псы переводят жалованье.

— Народу из-за них кормиться стало не в силу.

— Эх, Москва, Москва, уж вся-то она на потряс пойдет...

Ивашка с Илейкой притихли. Голоса во тьме звучали ровно и глухо:

— Слыхали мы, будто царевича Димитрия не стало и будто похоронили его в Угличе, а ныне, сказывают, объявился царевич, и скрывают его до поры в монастыре...

— А еще сказывают: у царя Федора сын был — Пётра. Подменил его нынешний государь девкой Федосьей. Девку ту вскорости бог прибрал, а Пётру сбыли неведомо куда.

Илейка широко распахнул в темноту глаза и тотчас снова закрыл их. Лицо его стало и вовсе плоским.

Редкие удары весел рвали черную воду, гасили ненадолго звезды, глушили жалобы стрельцов.

3

Под Касимовом беглые встретили персов и горских черкесов; они везли продавать ясырь — пленных.

За Нижним стоял на мели разбитый струг с московским товаром. Беглые перегрузили товар к себе.

Волга кишела кинувшим службу людом. Стрельцы и колопы плыли в стругах и челнах. Иные из них составляли ватаги — промыслять рыбною ловлею; другие шли на Оку, под Муром, собираясь «торговых перещупать», — поджидали с верховьев караван.

На Гостином острове близ Казани беглые сбыли товар. Стрельцы подивились: ни черемисов, ни ногаев не было видно.

На берегу сидел бурлак.

— Эй, ярыжной! — окликнули его стрельцы. — Пошто ныне ясашных людей<sup>1</sup> не стало?

Бурлак обернулся. Темный рубец от лямки виднелся на его груди.

— Да всё воеводы, — сказал он. — Едучи по реке, ясашных людей пытаются и грабят; рыбу и жир у них отнимают. Оттого среди ясашных людей и стала измена, и на Гостиный остров они не приходят...

Стрельцы, покачав головами, воротились на струг...

Братья Глеб и Томило подбили беглых идти ватажить.

— В Астрахани порядимся, — сказали они Ивашке. — Ты-то пойдешь в ловцы или иное задумал?

— Пойду, Глебушко, — молвил Ивашка, — куда вы, и я туда же. Любо мне с вами.

А Илейка — тот сплонул на воду и озорно зашвистал...

Упругая, литая гладь качала струги. Распахивалось

---

<sup>1</sup> Ясашные (ясачные) люди — так назывались в XVII веке народы Поволжья, Урала и Сибири, обложенные податью — ясаком; подать эта чаще всего собиралась пушнинной.

орлиное раздолье плесов. Новгородец Ждан песнями бил челом Волге, и всем было легко и вольно. Только двое таились молча: Илейка да хмурый, с рысьими глазами стрелец Неклюд.

Рябой, плосколицый холоп не помнил родства. Однажды Неклюд больно попрекнул его этим. Илейка впился в него глазами. Так стояли они долго — волчонок против барса.

«И кто из них лютей будет? — подумал Ивашка. — Пожалуй, Илейка...»

Неклюд отвел глаза и усмехнулся, как только Волга качнула струг...

Тетюши был последний город населенной земли — далее шла пустыня.

Ногаи в челнах из просмоленной ткани переправляли через реку скот. Шапки у них были подбиты диковинным мехом. Из-за этого меха едва не побили их стрельцы. Ногаи сказали, будто в степи растет мохнатый огурец — «баранец», похожий на ягненка и поедающий вокруг себя траву. «Мех» этого растения идет на шапки. Стебель его вкусом напоминает мясо. Если разрезать — потечет кровь.

Стрельцы долго бранили ногаев, укоряя их за неправду и хитрость... И еще одно диво встретилось им: яблоки — такие прозрачные, что семена их можно было видеть, не снимая кожуры...

От Сызрани до Хвалынска — Черно-Затонские горы, от Хвалынска до Вольска — Девичьи, около Саратова — Угрюмские, под Камышином — Ушьи.

Кручи понизились. Смотрели с берегов татары. Едва струги подплывали — прятались. Сидели на отмелях орлы. Горько пахли степи полынью и ромашником. Изредка — песками — пробегал верблюд.

Ночью струги подошли к городу. Во тьме высились наугольные башни. «Неужто Кремль московский?» — со сна подумал Ивашка. И, словно в ответ Ивашкиным мыслям, сказал Томило, стрелец: «Чисто Москва!» И сплюнул за борт, на миг загасив плясавшую на воде звездку.

Город спал.

Струги пригрязнули к Астрахани.

Тянуло горечью с низких песчаных берегов.

Задолго до света струги ушли вниз. Сперва решили проведать, что в городе, нет ли о стрельцах какого указа. Всех удивил Неклюд.

— Мне с вами не путь, — сказал он, — рыбы ловить не стану, иным делом хочу кормиться. А было бы чем вам меня вспомнать — схожу за вестями в город...

Он быстро пошел вдоль берега, то исчезая за буграми, то вновь появляясь. Стрельцы долго смотрели ему вслед.

Потом они вышли на берег. Совсем близко лежала Астрахань. Крупный степной скот пылил по дороге. Рыба серебрилась на возах. Усатые чумаки покрикивали на волов.

Веселый хмельной поп пришел в полдень к беглым.

— Нынче весна была красна, пенька росла толста! — кричал он, топая коваными сапогами. — И мы, богомольцы, ратуя делу святу, из той пеньки свили веревки долгие, чем бы из погребов бочки ловить. А нам в церковь ходить нельзя, вина не испив, ей-право!

— Где вино взял?

— Эй, ребята, кабак близко! — закричали стрельцы.

— Веди, отче!

— Гуля-а-ай!

Поп увел несколько человек с собою.

С ним ушел Илейка...

Беглые бродили по берегу. Лежали в челнах. У воды трещал костер. Солнце тонуло в песках. Волга плескала звонким, крутым накатом.

Смеркалось. Неклюда все не было. Не возвращались и стрельцы.

— Должно, загуляли, — сказал Глеб, — а Неклюда, мыслю я, зря послали: у меня к нему никак веры нет.

Костер задымил — и в воде замутилось огненное корневище.

— Я чаю, поздно здесь рекостав бывает, — сказал Томило.

— А у нас в Новегороде Волхов вовсе не мерзнет, — промолвил Ждан.



— Полно!

— Верно говорю, — под Перынью, урочищем, вода —  
завсегда ж и в а я<sup>1</sup>.

— С чего то?

— А как царь Иван у нас лютовал, с той поры и  
стало.

— Дивно дело!..

Голос у Ждана был густой, певучий. Грея над огнем  
руки, он заговорил:

— Приехал грозный царь в Новгород. Пошел в цер-  
ковь к обедне. Глядит — за иконою грамотка (попы по-  
ложили), а што в грамотке — никто не узнал. Только  
затрепнулся царь, распалился и велел народ рыть в  
Волхов<sup>2</sup>. Сам влез на башню. Начали людей в реку ки-  
дать. Возьмут двух, сложат спина со спиною и — в воду.  
Как в воду, так и на дно. Нарыли народу на двенадцать  
верст; остановился народ, нейдет дале. Послал царь  
верховых. Прискакали верховые: «Мертвый народ сте-  
ной встал!» Сел царь на конь, поскакал за двенадцать  
верст. Стоит мертвый народ стеною. И тут стало царя  
огнем палить, начал огонь из-под земли полыхать. По-  
скакал прочь — огонь за ним. Скачет дале — огонь все  
кругом. Брык с коня, на коленки стал: «Господи, прости  
мое прегрешение!» Ну, пропал огонь. Да с той поры  
Волхов и не мерзнет на том месте, где царь Иван людей  
рыл. Со дна речного тот народ пышет...

Заскрипел песок. К воде, стороной, метнулась тень  
Неклюда.

— Заждались! — крикнули на берегу.

— Узнал што? Или так ходил, без дела?

— погоди!.. Дай срок!..

Неклюд, хмельной, молча оглядывал стрельцов,  
искал глазами струги. На нем были новые цветные пор-  
тища. Искривленная шапка валилась с головы.

— Глебушко! Ждан! — резнул уши тонкий Ивашкин  
голос. — Не с добром он! Чую, што не с добром!..

Неклюд, повернувшись, шагнул в темноту.

— Эй, куда уше-ол?

— Што за диво?!

<sup>1</sup> Вода живая — незамерзающая, проточная.

<sup>2</sup> Рыть в Волхов — «зарывать» в воду реки Волхова,  
то есть топить.

— Неклю-уд!

— Ту-ут я,— раздался голос. И вдруг засвистали.

На берег ватагой высыпали городские стрельцы.

— Не противься! С пиццалей бить станем! — вопил стрелецкий сотник.

— Вона што!

— Неклюд!.. Пес!..

— В челны-ы-ы!

— Има-ай воровских людей!..

Ивашку впихнули в челн. Мокрое весло ткнулось в руку. Глеб и Ждан быстро гребли стоя. С берега — раз, другой — грохнула пиццаль.

Челн заливало волной. Ждан говорил Глебу:

— В устье сойдем. Ловцами станем...

— Эй, пошто не гребешь? — окликнули они Ивашку. — Неужто пулей зашибло?

— Да не... — Он сидел сгорбившись, опустив голову, глотая слезы. — Неклюд-то, мыслю, довел на нас... А с нами ведь был заодно, ел, пил вместе-ах...

— Эк ты мягок, — сказал Глеб. — Ничего, парень! Неправды еще сколь много на свете. Ну, не томись, веселей угребай, не рони весла!..

Стал Ивашка рыбным ловцом.

Ездил на «прорези» — садкѣ с прорезанным дном, где по зашитому решеткою полу ходили большие репястые рыбы.

В ставших озерами протоках ловили веселую рыбу — «бешенку». Сеть опрастывали в лодку, «бешенка» билась и трепетала, и лодка казалась наполненной мерцающей водой.

Дула моряна. Ветер ломал ледяные поля. Пласты льдин, острые как ножи, громоздились и рушились со звоном и плеском.

По весне в устье шел сбор яиц. Тихими летними вечерами сети покрывались белым налетом. Это были поденки...

Так прошел год. И снова была весна с счастливыми голосами уток, с немой рыбьей свадьбой.

Красная рыба скатилась в море. Опять осень пришла...

«...Ваше царское и княжеское величество не только сами ученых людей любите, но и всемилостиво... намерены в своем царстве и землях школы и университеты учредить... Ваше царское и княжеское величество этим себе имя истинного отца своего отечества снискаете, какого только бог к особому благополучию страны создал и утвердил...»<sup>1</sup>

В Золотой палате на стенах и сводах написаны притчи.

Ангел держит рукою солнце; под ним — земной круг и полкруга: вода и рыбы.

У царского места — органы — «художества златокованны»: на деревцах птицы поют сами собой, «без человеческих рук».

На лавках расселась Боярская дума.

Борис держит в руке «царского чину яблоко золотое». У него сросшиеся брови, лицо чуть раскосое, круглое; борода и волосы у висков поседевшие, голос сыроват и глух.

— Решили мы, — говорит он, — послать во всякие иноземные города — звать ученых надобных мужей в Москву, дабы научить русских людей немецкому и иным языкам и разным наукам и мудростям приобщить.

Встал с передней лавки Шуйский, подслеповатый, хилый старик.

— Великий государь, дозволь мне, холопу твоему, молвить!.. Што ты, государь, замыслил, и то, государь, замыслил ты не гораздо. Коли в нашей единой земле начнут люди говорить розно, порушится меж нас любовь да совет.

— Што скажете, бояре-дума? — с усмешкой спросил Годунов.

— Не гораздо, государь! Не гораздо! — закричали бояре. — Иноземных обычаев нам не перенимать! Своей веры держаться и языка русского! За то стоять!

<sup>1</sup> Ответ Борису ученого Товия Лонциуса из Гамбурга по поводу приглашения его в Москву для учреждения универсального типа школ.

— Будь по-вашему,— сказал Борис и свел брови.— Тогда пошлем ребят наших в Лунд-город<sup>1</sup> да в Любку — грамоте привыкать.

— И то, государь, не гоже,— молвил Шуйский.— Побегут ребята наши от немцев. Не станут они ихнюю грамоту учить.

— Не побегут,— сказал Годунов.

— Побегут, государь,— тихо повторил Шуйский и виновато повел носом.

— И доколе, князь Василий, будешь ты мне молвить встречно?

Царь встал.

— Приговорили и уложили мы,— молвил он твердо,— боярских лучших ребят послать за рубеж, да еще снарядить Ромашку Бекмана в Любку, и написать Луидже Корнелию в Венецию да Товию Лонцию в Гамбург. Те ученые Луиджа и Товий нам ремесленных нужных людей сыщут, а вы, бояре, думали б о том со мною вместе, без опаски, а не дуром!

На миг стало тихо... Князь Василий Туренин спросил:

— Государь, а как мыслишь — выход дать ли крестьянам?

— Покуда нет, бояре. В малых вотчинах доходов ныне вовсе не стало. Коли выход дать, побегут крестьяне в большие вотчины, а то — дворянам моим разор... Ну, ступайте, бояре-дума!

Бояре, поклонившись, чередою двинулись к дверям палаты. Посохи, один за другим, глухо простучали по ковру.

Семен Годунов, прозванный «правым ухом царевым», задержался и, опустив голову, ждал слова Бориса.

— Ну? — спросил царь, подходя и дыша ему в лицо.

— В Польше объявился,— глухо ответил боярин,— в Смоленск от рубежа слух прошел...

— Вона! — воскликнул царь и заходил по палате, волоча левую ногу.

— Государь,— сказал Семен Годунов,— памятуешь ли, што ты молвил, как ездил в Смоленск город крепити да разными людишками заселяти?

---

<sup>1</sup> Лунд-город — Лондон.

— Говорил я: «Будет сей город ожерельем Московского государства».

— И што тебе боярин Трубецкой сказал, и то памятуешь?

— Того не упомяну.

— А сказал он: «И как в том ожерелье заведутся вши, и их будет и не выжити...»

Рдевшая в окнах слюда померкла. Травы и притчи на стенах скрыло тенью. Ангел в колеснице все еще держал рукой солнце. Под ним дотлевала подпись: «Солнце познá запад свой, положи тьму, и бысть ночь»...

6.

«...От великого государя, царя и великого князя Бориса Феодоровича всяя Руси... города Любки буймистрам и ратманам и полатникам.

Ведомо нашему царскому величеству учинилось, что у вас в Любке дохторы навичны всякому дохторству, лечат всякие немощи. И вы б прислали нашему царскому величеству лутчего дохтора, а приехать и отъехать ему будет повольню, безо всякого задержанья...»

За красной Китайской стеной — Гостиный двор.

В лавках — лисицы белые и красно-бурые, сукно «брюкиш» — из города Брюгге, дешевый бархат и дорогая персидская парча.

Купцы выхваляют товар, хватают прохожих за полы:

— Эй, ступай сюда! У нас торговля государева!

— Ствол мушкетный — двадцать алтын! Пика — четыре деньги!

Толпятся, щурятся на мушкеты и пики чуваша и ногаи. Им оружие продавать не велено: «не случилось бы мятежей».

В меховом ряду старый хромой купец встретился с немцем.

— Здрав будь, Роман! — сказал купец. — Верно ли бают, что с государевым делом в Любку едешь?

— Еду,— ответил немец,— уж и кони запряжены. Одеял дорожных теплых ищю.

— И я в путь собираюсь. Сын мой в Азове выкупа ждет — в неволе скован. Товар вот приторгую да и поеду чадо свое вызволять.

— Давай бог удачи!

— Множество русских нынче в плен сведёно...— сказал купец.— А ты пошто в Любку едешь? За дохтуром для государя или с каким товаром?

— За дохтуром. Да еще посланы со мной государевы грамоты суконным мастерам и рудознатцам, што умеют находить руду серебряную. Да велено ж мне сыскать мастеровых трех или четырех, которые знают золотое дело, чтоб ехали к царю мастерством своим послужить.

— В гору пойдешь, Роман,— сказал купец,— пожалует тебя царь. Давай бог и тебе удачи!

Купец и немец разошлись: один — приторговывать для Азова товар, другой — искать теплые ездовые одеяла. Немец то и дело клал руку за пазуху — остерегался, не стащили бы воры царский наказ:

«Память Роману.— Проведать ему, где ныне цесарь... и война у цесаря с турским султаном есть ли... Да что проведает, то Роману себе записывать. А держать Роману у себя наказ... бережно, тайно».

Купцы запирали на обед лавки. Ложились отдыхать у дверей на землю.

Врезанный в небо, осыпанный крестами Кремль сверкал на солнце. Дни все еще стояли погожие, теплые, но по утрам уже затягивали лужи ледок.

7

Меж тиховодных протоков и затонов курился редкий дым ловецких станов.

Среди озер, позараставших чилимом, где весной расцветал лотос, притаились рыбные промыслы.

Скоро суда жирным слоем покроет наледь. Каспий тяжело заволнует плотные, железные воды, и сту-

дёнными молотками утренников все будет заковано в лед.

Ловцы готовили снасти. Дверь лубяного лабаза была открыта, и запах просоленной рыбы шел от черневших чанов и ларей.

— А Ивашка где? — раздался голос в глубине лабаза.

— Чилим резать поехал, — откликнулись на берегу.

На излучине затона едва заметно виднелась утлая лодка. Гребя одним кормовым веслом, Ивашка уходил от стана в глушь тростников.

Синие глаза стали еще синей на волжском приволье. Он смотрел на воду. Спугнутое челном, обманной близостью сверкало «руно» — стаи рыб.

Выбрав чилимистое место, он вышел на берег. Пахло стоялой водой и камышовой прелью. Вокруг обильно рос годный для засола чилим — водяной орех.

Став на колени, он принялся резать скользкие стебли.

Коряги темнели в воде, оплетенные ужами. Черепахи грели на солнце древние свои щиты.

В слитный шум камышовых метелок ворвался быстрый вороватый хруст.

«Кабан!» — подумал Ивашка, вскакивая на ноги.

Смазанная жиром петля, больно резнув в локтях, бросила его на землю.

— Ясырь!<sup>1</sup> — крикнули над ним, и чья-то рука вырвала у него нож...

Челн с пленником полетел по затону, поднимая громко крякавших уток. В камышах были спрятаны татарские кони. Утемиш-Гирей, — тот, что выследил Ивашку, — первый вскочил в седло.

— Бегай, урус! — весело сказал он и отдал конец аркана второму татарину.

Они погнали коней в степь.

За волнистым руном стад, в добеда вытопанной степи — скрип телег, ржание кобылиц, расставленные полумесяцем кибитки. Натянутая на кольях бечева отделяла от стана небольшой загон. Злые кудлатые псы

---

<sup>1</sup> Ясырь — невольники, военная добыча, живой товар.

стерегли ясырь, их то и дело натравливали на пленников татарские ребята.

Смуглый, кольцеволосый пленник подошел к Ивашке и что-то сказал. Ивашка не понял.

— С Венецей он,— проговорил лежавший в стороне казак,— не уразумеешь его, друже!

Итальянец был на голову выше Ивашки и года на три старше. «Знатный пленник!» — подумал Ивашка, разглядывая его бархатную шапчонку и дорогой иноземный кафтан.

— Франческо! — сказал итальянец и показал себе на грудь пальцем.

— Иван... Болотников... — сказал русский.

Они уселись на траве.

Степной дым приникал к пустому небу. От улуса в степь проносились табуны.

Франческо несколько раз быстро дернул рукой, как если бы что резал. «Нож ему надобен», — смекнул Ивашка и вывернул свои карманы; вместе с обрывками бечевы на землю упал гвоздь.

Взяв его как перо для письма, Франческо стал водить им по куску бересты. Вскоре на сером поле выступила голова коня.

— Ишь мастер! — промолвил Ивашка.

Франческо кивнул головой и обернулся.

Утемиш-Гирей, меднощекий, в зеленой ермолке, прищелкивал языком и пыхтел, надуваясь до горла.

— Шёмыш ай тамга делай! — сказал он и начертил на земле чашу и полумесяц. Потом вынул из ножен кривую, тонкую саблю и подал ее итальянцу, тыча пальцем в гладкий, как струя воды, клинок.

Франческо знаком показал, что ему нужен чекан. Утемиш-Гирей присел на корточки, закричал. Принесли чекан. Франческо ногтем испытал резец и принялся за работу...

Татары несли чугунные кувшины для омовения при молитве. Дробно стучали барабаны — обтянутые кожей глиняные горшки.

Франческо подал татарину клинок. Утемиш-Гирей, осмотрев тамгу, одобрительно закивал головою. Врезанные в сталь, сияли: «Шёмыш» — чаша и «ай» — месяц...



Стоявшие живою стеной стада ревели. Над ними поднималось облако пара. Еще выше — над облаком — качался звездный ковш.

Ивашка лежал на спине. Ему было тоскливо и зябко.

«В Москве ли,— думалось ему,— на Волге ль — все едино: плеть да аркан всякую спину найдут... Неладно живут люди. И с чего это — невдомек мне...»

И он долго лежал, не закрывая глаз.

Звездный ковш над ним все качался, качался.

Чудилось Ивашке: это из него, из ковша, льются на степь синева и прохлада. Острая звездочка вытягивалась, вонзалась в землю.

Татары называли ее «Железный кол»...

Гоня перед собою скот, ставя на привалах шатры, татары прикочевали к речке Камышинке. Оттуда они двинулись на Дон.

Итальянцу каждый день давали работу. Он чеканил кубки, наводил чернью клинки и связал из железных колец боевой колонтарь<sup>1</sup> Утемиш-Гирею.

Ему носили кумыс, но он, брезгуя, пил и ел мало. За резьбой и чеканкой он не замечал плена; временами же становился хмур и подолгу не брался за резец.

Из куска дымчатой пенки он сделал перстень. Одно-рукий борогатый старик был вырезан на широкой дужке. Лицо старика было совсем как лицо Франческо. Итальянец подарил перстень Ивашке. Приложив к его груди руку, он сказал: «Fratello!»<sup>2</sup> И прибавил по-русски единственное, что знал: «Брат!»

Однажды перед кочевниками встали серые стены и каланчи Азова. Приказав раскинуть шатры, мурзы повели пленников на Ясырь-базар.

Было время привоза «полоняничных денег». Московиты ежегодно приезжали вызволять своих, привозя серебро, взятое «со всей земли» в виде оброка.

Турки в белых и зеленых чалмах торговали ясырь. На Дону стояли галеры со свернутыми парусами. Чер-

---

<sup>1</sup> Колонтарь — ратный доспех, броня из металлических пластинок, блях и колец.

<sup>2</sup> Fratello — брат (итал.).

дою, взглядываясь в лица пленных, проходили московские купцы.

Утемиш-Гирей хлопотал подле своего ясыря. Франческо он поставил впереди всех, разложив тут же на показ колонтарь, связанный из стальных колец, и черенные итальянцем сабли.

Старый хромой купец подошел к Утемиш-Гирею:

— Здрав будь! Махмет-Сеита где сыскать можно?

— На что тебе Махметка надо?

— Сын мой у него в неволе скован. Из Москвы, вишь, я, — чадо свое вызволять.

— Худы дела! — сказал Утемиш-Гирей. — В Хазторокань<sup>1</sup> пошел Махметка. На дороге видел. Езжай в Хазторокань, спроси Али-бека, он тебе Махметка живой-мертвый найдет.

Купец оглядел разложенную подле пленника утварь.

— Покупай! — закричал Утемиш-Гирей. — Золотое дело знает, серебряное дело знает! Хорош ясырь! Мастер-ясырь!

— И впрямь, — вслух подумал купец, — не худо бы купить, свезти в Москву, царю в подарок. Ромашке Бекману про таких мастеров и наказ дан...

Сторговал. За восемьдесят рублей пошел итальянец.

— Так молвишь ты — в Астрахань пошел Махмет? — спросил купец, уходя.

— В Хазторокань! В Хазторокань! — закричал Утемиш-Гирей. — Один раз сказал правду, два раза — тоже правду; еще спросишь — брехать начну!..

А Ивашку купил тощий турок, торговавший дынями в Стамбуле. На галере его пахло табаком и шафраном. Звали тощего турка Мус-Мух.

— Мир и спокойствие царили в землях шаха Аббаса, когда прибыл к нам Мухаммед-ага, великий чауш Турции, и с ним триста благородных особ. Посол просил отправить двенадцатилетнего сына шаха Софи-мирзу в Стамбул, где ему будут оказаны большие почести. Но шах, зная коварство оттоманских государей, велел вырвать у посла бороду (это был старый долг). Тогда же

---

<sup>1</sup> Хазторокань — Астрахань.

прибыл ко двору шаха англичанин по имени Антоний Шерли, человек великого ума, хотя и малый ростом и притом любящий роскошь на чужой счет. Он сказал, что, будучи известен всем христианским государям, послан спросить шаха Персии: не заключит ли он с ними союз против султана — общего врага?..

Так, оглаживая розовую бороду, говорил в Астрахани, в доме Али-бека, знатный перс из свиты посольства, отправленного через Московию к разным иноземным дворам.

Урух-бек (таково было имя посла) сидел на горе парчовых подушек и говорил тихим, ровным голосом. В бороде его запуталась вишневая косточка. Персы слушали его молча, чинно, как на молитве. И один только суетился — юркий старенький Али-бек.

В стороне от персов держался гость — московский купец, приехавший из Азова.

Он долго сидел, зевая и томясь длинной, непонятной для него речью перса. Наконец Урух-бек умолк, и купец решился заговорить.

— Утемиш-Гирей... — сказал он, подходя к хлопотавшему вокруг гостей Али-беку, — Утемиш-Гирей сказывал: знаешь ты, где Махмет-Сеита сыскать можно. Да он же, Махмет, с тобою торг ведет.

— В-вах! — закричал перс и выбросил ладони обеих рук кверху. — Море твоего Махметка носит! В Испагань Махметка ясырь повез!

Купец вспотел и так рванул себя за бороду, словно она была чужая.

— Следом пойду! — глухо проговорил он. — Где-нибудь да сыщу его, псарева сына! Чтоб под ним земля горела на косую сажень! Черт!..

Али-бек засмеялся. Купец, взглянув на гостей, спросил:

— Што за люди? Пошто у вас ныне персов много стало?

— Шах в Москву послов шлет, — тихо сказал Али-бек.

— В Москву?.. — Купец потоптался на месте и молвил: — Толмача близко нет ли?

Али-бек покричал за дверь, и тотчас в горницу вошел толмач.

— Персам, што сидят в углу, — сказал купец, — таково молви: есть-де у меня на Гостином дворе знатный ясырь — иноземец, чеканного дела мастер. У царя Бориса в таких людях нужда. Я-де в Испагань хочу ехать, и мне его прохарчить никак не в силу. Пуцай везут ясыря с собою в Москву. А в цене-де сойдемся, я и товаром могу взять...

Толмач, поклонившись, обернулся и, мягко скользя по ковру, подошел к Урух-беку. Согнувшись колесом, он приложил руку к губам, ко лбу, к груди...

## КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ

Борис многое хоће в народе искоренити, но не возможе отнюдь.

*«Новый летописец»*

### 1

«...Пресветлейший государь, царь и великий князь Борис Феодорович... холоп вашего царского величества Ромашка Бекман челом бьет...

Как я, холоп вашего царского величества, приехал в Ригу, и я спрашивал со знакомцы своими, есть ли в Риге доброй дохтур; и мне сказали, что есть в Риге четыре дохторы ученые и дохторскому делу навьчны, а лутчей из них имянем Каспарус Фидлер».

Тысяча шестьсот первый год пришел незапамятной лютью: хлеб, поднявшись, стоял зеленый, как трава...

Вызванный в Москву доктор Каспар Фидлер оказался болтливым немцем. Он тотчас заговорил о своей жене, об опасных русских дорогах, о том, что их, Фидлеров, три брата — один в Кенигсберге, а другой в Праге, — и что все они рады служить московскому царю...

Борис лежал на кровати, откинув вышитое, с атласной гривой, одеяло — травы и опахала по малиновой, желтой, зеленой «земле».

Набитый хлопчатой бумагой тюфяк глубоко западал под его грузным телом. Пристяжное ожерелье было растегнуто, обнажив на шее трудное биенье боевых жил.

Семен Годунов и Василий Шуйский стояли по правую и левую руку немца. Фидлер, бережно заголив больную ногу, осмотрел сустав.

— Недуг приключился от долгого сиденья и холодных питей,— важно сказал он.— Главная же болезнь государя — меланхолия, то есть кручина.

— Государю заботы на всяк день довольно,— со вздохом сказал Шуйский.— То гляди за рубеж: не было б какого умысла от поляков, да и в Москве гляди — не шептали б людишки невесть што...

Годунов медленно повернул к Шуйскому лицо и опустил веки. То было знаком самого страшного гнева. Шуйский попятился, заморгал и стал боком быстро выходить из палаты. Царь не открывал глаз, пока он не вышел вон.

На столыце у кровати лежала узкая, синего бархата подвязка. Застежки ее были позолочены и наведены чернью, а по самой ткани слова шиты ввязь серебром.

Немец покачал головой и сказал:

— Государю нельзя носить. Это мешает прохладенью крови. Ноге вашего царского величества всегда должно быть легко.

— Жалован я королевой Елисаветой Англинской таким чином,— с усмешкой сказал Годунов,— а по чину тому носят в Англинской земле подвязки те сверху, на платье. И то у них за самую великую честь слывет...

Семен Годунов слушал насупясь. Борис говорил немцу:

— Ты, Кашпир, написал бы братьям своим в Кенигсберх и в Прагу, чтоб приехали в Москву послужить мне, кто чем умеет. А приехать и отъехать им будет вольно, безо всякого задержанья. Ну, ступай с миром!..

Фидлер, уходя, подошел «к руке».

— Государь,— сказал Семен Годунов (у него были злые глаза и волчьи уши),— не гневайся, пошто над стариной глумиться изволишь?

— Невдомек — про што речь.

— Да царь-то Иван Елисавету всяко бранил, а ты ее считаешь и подвязку поганую бережешь, на што русским людям и глядеть стыд!

— Боярин Семен Никитич! — весело сказал Бо-

рис.— Коришь ты меня напрасно, а надо бы тебе сперва сведать, а после корить. Да вот, смекни-ка... Сказывают— был у короля англинского стол. И как стали гости за стол садиться, женка одна обронила подвязку,— и ну о том шептаться люди. А король подвязку ту подобрал и, женке отдав, молвил: «Да посрамится, кто о том помыслил дурно. Отныне стану жаловать лучших моих людей подвязкою, и будет это для них— самая большая честь». И я то ж взял себе за обычай: не стыжусь того, што к делу пригодно, а людям моим зазорно... Боярин Семен Никитич!..

Царь сел на кровати. Взметнулось одеяло— травы и опахала по малиновой, желтой, зеленой «земле».

— Один Борис, как перст. Сын мой молод, знает лишь соколиной охотой свое сердце тешить. Куда ни гляну— словно кто рогатиною в грудь толкает... Романовых с Бельским услад, да боярство все шепчет против меня.

— Это ты, государь, зря. За боярами я сыск веду неоплошно, а Романов, Федор Никитич, бают, вовсе духом пал.

— Один я, один...— Борис трудно покачал головою.— Великая надобна сила, чтобы землю соблюсти. Дворяне мои обедняли, а холопы бегут на Дон и Волгу. Дворян облегчишь— бояр обидишь, не знаю, кому и норовить-то нынче... А простому народу моя хлеб-соль— все корочки. С того и молвят: «Царство Москва— мужикам тоска...»

— Государь!— сказал Семен Годунов.— Еще не знаешь: под Москвою много воров собралось. С голодных мест, с Комаринщины, пришел с силою Хлопок-Косолап. А идут с огненным боем, живы в руки не даются, по клетям грабят да на дорогах людей побивают...

— Басманова со стрельцами пошли,— сказал Борис.— Давно думал я: заворует Северская земля...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Северская земля, Северщина, или Северская Украина— так назывались в XVII веке земли на юг от Москвы, лежавшие вокруг городов Чернигова, Новгород-Северска, Орла, Курска, Тулы. Курско-Орловский край именовался также Комаринщиной, а крестьяне этого края назывались «комаричане» и «севрюки».

С голоду ведь... Да, смутно стало, Семен Никитич... Побил хлеб мороз, а меня корят: «Пошто зиму сотворил?» Вот што, боярин, вели: на Воскресенском мосту лавки строили б да у звонницы Петрока столп кончали б. Все будет чем людям кормиться... А в приказах дел не волочить, посулов ни с кого не брать, за тем смотри зорко... Да сядь, боярин, возьми перо, указ напишешь...

«Великий государь, царь и великий князь Борис Феодорович... и сын его... царевич князь Федор Борисович... велели крестьянам давать выход».

Боярин записал.

— То — к смуте, — сказал он, не глядя на царя.

2

Попы бранились у Фролова моста.

Сказочники, певавшие про стару старину, про Велик Новгород, приумолкли. Всюду толковали о кончине мира. Странники, шедшие «ко святым местам», говорили, крестясь:

— Взыграл в море кит-рыба и хотел потопить Соловецкий монастырь...

— Седни видели: огненные сражались в небесах полчища...

— Два молодых месяца стояли над московским Кремлем...

В толпу клином врезались пестро одетые всадники. В воротах мелькнули чалмы и халаты. Народ повалил вслед за ними. С высоты тягучей медной каплей падал размеренный звон.

Царь осматривал новую колокольню: над звонницей Петрока столпом высился Иван. Бояре стояли, задрав головы. Один из них, Афанасьев, вел в стороне беседу с иноземцем Ричардом Ли, весной прибывшим из Лондона. Англичанин говорил:

— Получил я вести. Посла вашего, Микулина, приняли у нас с великою честью. Видел он рыцарские игры и театр и остался весьма доволен. Особливо утешил его наш славный лицедей Шекспэр. На приеме Мику-

лин один сидел, а прочие лорды не садились. Королева славила вашего государя и стоя пила здоровье Борисово...

— Добро, Личард,— сказал боярин, чуть улыбнувшись,— и государь вас пожаловал — вольный торг вам дал...

Недалеко от звонницы были штофные палаты Марка Чинопи, вызванного при Федоре из Италии для тканья парчи. Чинопи стоял в толпе своих подмастерьев, ища кого-то глазами. К Ивану Великому подходили люди в чалмах и халатах — персидские гости, прибывшие ко двору два дня назад.

Среди них был венецианец, выкупленный у московского купца Урух-беком. Франческо не удалось уехать с посольством: он заболел и остался в Астрахани. Поджидая караван, прожил он около года у выкупившего его земляка, Антония Ферано. В Москву итальянец прибыл вольным. Чинопи взялся представить его царю...

Борис двинулся к теремам. Штофный мастер, подойдя к Афанасьеву, глазами указал на венецианца. Окольный выступил вперед.

— Государь, — сказал он, — венеицкой земли знатный резчик и золотого дела мастер Франческо Ачентини бьет челом, желает тебе мастерством своим послужить.

Годунов, взглянув на Ачентини, спросил:

— В камнях иноземец толк знает ли?

— Марк сказывал — ведомо ему и то.

На груди Бориса висел крест, наведенный сквозной зеленой эмалью, четыре яхонтовые искорки горели по его концам.

— Молви-ка, добрые ль камни? — спросил он, знаком подзывая к себе итальянца.

Ачентини приблизился. Чинопи перевел ответ:

— Все камни, государь, зреют в земле. Эти камни немного еще не дозрели.

Борис усмехнулся.

— Изрядно,— молвил он.— Будь у нас за столом нынче. А жалованье положим тебе смотря по тому, как будешь пригож.

Царь медленно пошел по двору; за ним потянулись



бояре. Поравнявшийся с Афанасьевым Шуйский спросил:

— Про што у тебя с Личардом речь была?

— Да сказывал он, каково Микулина у них встречали. Королева-де государево здоровье стоя пьет.

— Как бы та честь Борисовой казне в убыток не стала,— ответил Шуйский.

Бояре засмеялись и прибавили шагу. В тот же миг на дороге показались бегущие люди. Стоявший у звонницы народ зашумел.

— Хлѳпка-Косолапа везут! — крикнул одноглазый холоп в рваном распахнутом тулупе.

— Эй, полно!

— Верно, крещеные! Под Москвой у него с Басмановым дело было. Государевых людей, бают, без числа побито!

— Эх, воров — што грибов!

Толпа, рассыпавшись, побежала к воротам.

— Вали, ребята! Поглядим, каков он есть, Хлѳпок-Косолап!..

### 3

«...И преста всяко дело земли... и не обвея ветр травы земные за 10 седмиц дней... и поби мраз сильный всяк труд дел человеческих в полях...»

Привозный хлеб зорко стерегли закупщики. С утра поджидали они возы, толпясь у застав. Сторговав зерно, боярские люди набавляли «многую цену». Покупать хлеб прежней мерою — б ó ч к а м и — стало не под силу московскому люду. Объявилась неслыханная мера четверик.

Вотчинники гнали от себя холопов, не желая кормить их, но отпускных не давали. Холопы питались милостыней, шли на Комаринщину, мерли с голоду на дорогах. «Нас, сирот, никто не примет,— говорили они,— потому что у нас отпускных нет».

У городских стен в четырех местах раздавали казну — на человека в день по одному польскому грошу. Толпы кинулись в Москву. Опустел торг. Сильнее стал голод. Неведомо кто распускал слухи:

— В Новгород прибыл немецкий хлеб, да царь не принял его, велел кораблям уйти обратно.

И еще говорили:

— Казаки на Дону караван грабили и хвалились: скоро-де будут они в Москве с законным царем.

Каждый день прибывали новые люди, а город, казалось, пустел, замирал,— такова была принятая им на себя печать смуты. Бояре прятали хлеб. Всюду шептали «укоризны» на царя Бориса. «Овса полны ясли, а кони изгасли»,— со злобой говорил народ.

Осенью ко двору прибыл датский царевич Иоганн. Ему устроили пышную встречу.

Царевич ехал на пестром, как рысь, аргамаке. Он был очень юн. По сторонам шли стрельцы с батогами «для проезду и тесноты людской».

Нищий, голодный люд радовался приезду Иоганна. Столь горька была ярость скудных, убогих лет, что всякий блеск ослеплял и обманывал надеждой.

И во дворце радовались. Пестрый, как рысь, аргамак был одним из многих подарков, которыми пожаловали датского гостя. Дочь! Ксения! Сватовство! — вот что занимало мысли царя...

В тот же день Борис и Семен Годунов вошли к Ачентини.

Итальянец выправлял мятые места у кубков. Кругом лежал «снаряд» — все, что потребно к золотому делу: пилки, наковаленка, волоки, чекан.

Франческо быстро прижился в теремах. Он ловко перенимал русскую речь, усердно работал и столь же усердно отвешивал поклоны царю и боярам. Венецианец надеялся не с пустыми руками покинуть Москву.

Борис остановился, разглядывая золотодельный снаряд и цветные камни, залившие стол сухим и жарким блеском.

— Царевичу Егану,— сказал он,— выграниць для перстня синий корунд<sup>1</sup> да распятье сделаешь на агате черном.

Резчик Яков Ган, бледный, худой немец, помогавший Франческо, стоял подле. Царь смотрел на камни.

---

<sup>1</sup> Корунд — камень сапфир.

Кололи глаза, рдели, переливались венисы, топазы, блекло-голубая бирюза, кровавый яхонт-альмандин.

— Сие што? — спрашивал Борис, касаясь рукой то одного, то другого камня.

Франческо отвечал. Яков Ган каждый раз пояснял ответ.

— То алмаз, — говорил итальянец, — ест и режет все камни, а сам не режется...

Цветные оконницы освещали палату и стоящих в ней людей зеленью, багрянцем, летучей синевою. Горкою ясного, нестерпимого для глаз праха лежал толченый камень, похожий на алмаз.

— Им камни шлифуют, — говорил Франческо, — если же выпить с водою — смертно.

— Смертно... — глухо повторил Борис и погрузил пальцы в холодную светлую пыль, словно проверяя слова итальянца.

Внезапно он повернулся и быстро пошел прочь из палаты.

Резчики, склонившись, растерянно смотрели вслед...

Борис ожил с приездом Иоганна. Он радовался за Ксению, забыв о голоде, свирепствовавшем от стен Кремля до окраин царства. Спокойствие его длилось недолго: Москву поразил мор.

Люди падали на улицах и торгах, их било о землю, и они, синея, застывали в корчах. Простой народ хоронили в домах, заколачивали потом окна и двери. Обували в красные башмаки, отвозили на погосты бояр.

Заболел царевич Иоганн.

Докторов — Рейтлингера и Фидлера — позвали к Борису. Царь сам повел их в Аптекарский приказ.

— Лекарства, — сказал он, — хранятся здесь за печатью; без дьяка сюда никто не ходит. А вы ходите, когда будет нужда, берите все, что потребно; старайтесь неоплошно, — царевич здоров бы стал.

Фидлер, уходя, проговорил:

— Государь, по слову твоему я братьям своим писал и получил ныне ответ. Фридрих, что в Праге живет, желает к тебе в Москву ехать.

— Ладно, — молвил Годунов, — ступай!..

Царевичу давали немецкие воды, тимьянную водку и сандаловое дерево в порошке для «прохлажденья крови». Тихо стало во дворце, у Ксении в терему. Попугаи тревожно кричали в клетках.

В конце осени в шестом часу сумрачного дня царь с боярами пошел пешком к дому Иоганна.

Они пробыли там долго, и, когда возвращались, наступила уже ночь. Косой дождь прибывал к коленям царя плащ — фerezею. Он шел с торчащей вперед бородой, дородный, хромой и страшный. От него с рычанием убегали собаки. Не доходя Кремля, он споткнулся о бревно.

Тогда сорок бояр зажгли по свече. Так вошли они в терема. В Крестовой палате их встретила Ксения. Она смотрела мертвыми глазами.

— Дочь моя, — сказал, не глядя на нее, Борис, — мы потеряли твою радость и мою сердечную отраду...

За стенами Кремля были: мор, голод, объявившийся где-то близ рубежа Лжедмитрий.

Борис посмотрел вокруг.

Лица бояр были тусклы, едва различимы.

За оконной слюдой лил дождь.

#### 4

О чем прежде и шептать боялись, о том теперь говорилось громко. Неведомый человек, называвший себя Димитрием, шел из-за польского рубежа к Москве.

Он клялся дать казачеству зéмли и «богатством наполнить». И Северская земля волновалась; руки хватались за пицали и сабли. Народ целовал крест «истинному» царю...

Семен Годунов, тот, у которого были волчьи уши, имел чин: «ближний аптекарский боярин». Кроме того, он ведал сыском. К нему приходили с доносами купцы, пономари, дворяне, просвирни. И еще получал он вести из Сийского монастыря, где был заточен боярин Романов — старец Филарет...

В мае аптекарский боярин известил Бориса:

— Воеводы от Брянска пошли на Чернигов, вор нынче-завтра начнет к Новугороду-Северску приступать.

— Еще сказывай, радости какой нет ли? — молвил Борис и опустил веки.

Он поседел и казался больным и старым. Про него говорили: «помрачился умом».

— Еще, государь, по слободам неладно стало. Кличут бабы медведем, зайцем и всякими иными голосами. Да говорят про тебя, государь, страшные речи, что тебе, государю, боле на Москве не бывать.

— Послать для сыску людей! Кликуш пытаться накрепко! Ну, еще што?

— На дворянина Михайлу Молчанова донос есть. В чародействе повинен. Сказывал он многим людям, што ходил к женке Маньке — живет в Кузнецах<sup>1</sup>, — муж у ней на Украине второй год уж ворует... И будто женка та дунула на правую руку, и увидел он, што сидят в избе косматые и сеют муку и землю... И с тех его слов обьял людей великий ужас и страх.

Крест на груди Бориса закачался. Яхонтовые искры по концам его замерцали.

— Женку, — молвил он, — взять для расспросу, а Михайлу Молчанова сечь кнутом!

— Да женка та убегла; сказывают, к мужу своему на Комаринщину укрылась...

— Ступа-а-ай! — внезапно завопил Борис. — Ступай, боярин!.. Эй, погоди! С хлебом-то што? Каково раздача идет?

Семен Годунов ответил не сразу.

— А и вовсе хлеба не стало, — сказал он тихо, — в иных боярских клетях лежит хлеб, гниет, скуплено столько — на десять годов хватит.

Он медленно пошел к дверям. На пороге обернулся, сказал:

— Запамятовал. Иноземец Франческа челом бьет, восвояси ехать желает.

— Восвояси? — усмехнулся Борис. — Летят с гнезда птицы!.. Что ж, насильно держать не станем. А пожаловать его изрядно. Был он весьма пригож.

Царь вдруг посветлел и сказал почти весело, ясно:

— Семен Никитич, где он, Франческа, работал, там есть прах толченый, с алмазом схожий. Ты бы горсть

---

<sup>1</sup> Кузнецы — Кузнецкая слобода.

того праху взял да, водой разведя, отнес бы ко мне наверх и там поставил...

Боярин двинул ушами, нахмурился.

Лицо у Семена Годунова было серое, когда он выходил из палаты. Быстро поднялся он наверх, в высокий терем, и взял из поставца граненую сулею: на деревянной втулке был вырезан единорог.

Боярин налил сулею чистой ключевой водою, поставил на место и поспешно спустился вниз. В палате золотого дела он собрал со стола весь запас толченого камня и вытряхнул его в оконце.

День прошел тихо. Ничего не случилось.

Только дворянина Молчанова секли кнутом.

В полночь от Кремля на город двинулись холопы. Они шли как на приступ.

Впереди ехал всадник, закутавшись в плащ — ферезею. Перед ним несли копыя с железными орлами; в когтях их чадно горели фитили.

У боярских домов всадник спешивался. Бревном высаживали ворота. Холопы выносили из клетей зерно; тут же ссыпали его в припасенные мешки.

Треск отдираемых досок, вопли и брань звучали глухо, словно накинули на город душный, сырой войлок.

Из одного дома выскочил боярин. Свет мазнул по лицу всадника. Мелькнули: царский соболий кафтан, крест; четыре зоркие искорки брызнули во мрак.

Боярин закричал и повалился всаднику в ноги...

Холопы разбивали дома.

Звезд не было. Без ветра мелко дрожали на деревьях листья. С огнем в когтях летели железные орлы...

## 5

После Духова дня, во второе воскресенье, в самый полдень явилась «комета». Она была меньше и светлее той, что видели при царе Иване. В пасмурном небе, в просветах туч, возникал и рос ее бледный свет<sup>1</sup>.

Дьяк Афанасий Власьев спросил о ней лифляндско-

<sup>1</sup> Речь идет о видимости днем планеты Венеры.

го звездочета. Звездочет ответил: «Бог такими звездами предостерегает государей, пусть же царь ныне бережется и велит крепко беречь рубежи от иноземных гостей».

На Красной площади с утра сколачивали лари, открывали торг, раскладывали товары. Стрельцы осаживали народ. Никому ничего не продавали. С государева Сытного двора волокли снедь.

До полудня не знали, что означает открытый торг, почему десятники отовсюду гонят плетью холопов. Потом объяснилось. В Москве ждали посла цесаря из Праги. Борис приказал: «Чтоб запасов по городу было вдоволь и чтоб ни один нищий не встречался на пути...»

Из Фроловских ворот бойко выкатился возок. В нем сидел покинувший Борисовы терема Франческо Ачентини.

Итальянец был «изрядно пожалован»: ему достались соболья шуба, муфта и сотня червонцев. Он держал путь на Киев, надеясь пробраться на родину через Стамбул.

Кони рванули, и возок едва не перевернуло на ухабе. Прямо на лошадей тяжело шел рослый монах. Он вопил:

— Рече господь: сотворю вам небо, аки медяно, и землю, аки железу!..

— Страшно, страшно! — прошептал Франческо и вжал голову в плечи.

— И не воспет ратай<sup>1</sup> на нивах ваших, и поля ваши родят былие и волчец!<sup>2</sup>

К верховьям Оки пролегали торные дороги.

Они огибали погосты выморенных сел, внезапно уходили в лес, раздольно выкидывались на старые, съеденные зноем жнивья.

Возок бросало на гатях ставило стоймя и тащило по воде там, где настилы были щербаты и ветхи. Франческо по ночам трясся от страха. Если бы он мог, то спал бы, не закрывая глаз.

Обозы преграждали путь, пугали сумятицей, хра-

<sup>1</sup> Ратай — земледелец.

<sup>2</sup> Былие и волчец — сорные травы.

пом коней, громом пушечного запаса. Воеводы шли под Кромь — выбивать крепко засевших казаков. Не давшая хлеба земля уродила без числа «воров».

Во многих местах было «смутно». Приходилось объезжать казацкие заставы. В Алексине и Кашире бранили патриарха: он-де в Москве весь хлеб под себя собрал, ждет, цена поболее возросла бы. В Курске люди, не таясь, говорили о Димитрии. Чем ближе подвигался Франческо к Путивлю, тем громче слышалось вокруг: «Борис нам боле не царь».

Пыльным июльским полднем возок прикатил в Севск. На площади стоял крик. Шумели ямщики, посадские люди и ссыльные казаки. Они пинали друг друга, бранили царя и воевод и протискивались к лабазам. Сладкая желтая пыль висела над крикунами. Это ссыпали привезенный из Литвы хлеб.

При но́ске один из мешков разорвался. Зерно полилось. Из мешка выпорхнула грамота. Тотчас отыскался дьяк. Прямые, как стрелы, космы торчали из-под его траченной временем скуфейки. Он взобрался на воз, лег животом на мешки и стал читать.

Дать ратным людям поместья, оказать всем милость и землю в тишине устроить сулил Лжедмитрий. «А как лист на дереве станет разметываться,— говорилось в конце,— будет он к ним государем на Москву».

Возок, стиснутый напиравшей толпою, трещал. Казаки влезали на него, чтобы лучше видеть, наваливались на Франческо и кричали:

— Воеводы нашу землю огнем прошли!

— У многих глаза повынуты!

— У иных руки посечены!

— Жаловал нас царь хоромами — двумя столбами с перекладиной. Пес с ним!..

Дьяк на возу свесил ноги с мешков, помахал грамотою и сказал:

— Служилые! Што такое: конь, а траву ест двумя головами?

— Невдомек, к чему клонишь!

— Да конь тот — наш воевода: с обеих сторон взятки берет. Не худо бы его взять, в железа<sup>1</sup> посадить!

---

<sup>1</sup> Ж е л э з а — цепи, оковы.



— В желѣза! Вестимо!  
— На воеводин двор! Бежим, ребята!  
— Кто таков? — закричал вдруг молодой казак, подбегая к Франческину возку.

Итальянец быстро ответил:

— Иноземный мастер, к царевичу Димитрию в Чернигов, на службу.

Казак исподлобья оглядел седока, взглянул на державшего коней крестьянина и буркнул:

— Н-ну ладно!..

Возок медленно двинулся. Народ бежал к воеводину двору. Выл набат с ветхой колокольни. Выехав за город, Франческо велел пустить лошадей вскачь.

И опять нескончаемый курился пылью большак, возок трясло на рубчатых гатях, набегали слева и справа белехонькие хутора и села. Застав нигде не было. Началась Лжедимитриева земля. Лишь изредка встречались вотчины, оставшиеся верными Борису.

Франческо спрятал московскую проездную грамоту. Глаза его научились издали распознавать встречных людей. Крестьяне подолгу смотрели ему вслед. Лицо итальянца стало совсем как маска — блестящее и литое, а отросшие, седые от пыли кудри закрывали воротник.

В сорока верстах от Чернигова из-за березовой рощицы выглянуло село. Тотчас за околицей стояли оседланные кони. Шел ратный сбор. Волокли пищали, порошницы, сабли. На возы второпях укладывали скарб.

На юру, у церкви, старый боярин ругал мужика. Отливали голубым его связанные из колец доспехи.

— Охнешь ты у меня, — кричал боярин, — как я тебя дубиной по спине ожгу, охнешь!..

Мужик валился на землю, боярин пинал его ногой; битый поднимался, выслушивал брань и покорно, без крика, валился снова.

Дорога, круто свернув, повела через гумно.

— Стой! — выпрыгивая из возка, внезапно закричал Франческо.

Работавший на гумне дед обернулся на крик и прикрыл глаза рукой.

У входа в ригу лежали жернова. К круглому камню была прикована девка. Тяжелая короткая цепь охватывала шею. Иссиня-черный волос буйно хлестал на грудь через плечо.

— Что это? — спрашивал себя Франческо, робея под синим до темноты девичьим взглядом. И вдруг ему вспомнилось: на тихом, далеком берегу Brentы — другое, столь непохожее лицо!..

Франческо подошел ближе. Взглянув на него невидящими глазами, она высоким голосом пропела:

Шуме, гуде, дубровою иде,—  
Пчелонька-мати пчелоньку веде...

И снова взглянула, как бы смотря сквозь него в степь, через дорогу.

— Эй, кто она? — окликнул Франческо стоявшего на гумне деда.

Старик медленно подошел, снял шапку и проговорил:

— Да Марья, прозвищем Грустинка. Тутошняя. Третий годок, сердешная, на цепи сидит.

— За что ее мучат?

— Да вишь, дело какое, — заговорил старик. — Жила она с матерью своей у князя на селе — по своей охоте. И похолопил их старый князь, да взял Марью княжой сын Пётра к себе для потехи. Мать ее царю о сем деле челом била. И с той поры мстит княжой сын девке. А сама она сказать ничего не умеет, потому что лишилась ума.

— Давно так?

— Да с месяц, не боле. Все пасека чудится ей, пчелок видит, сердешная, да друга своего, Ивашку, кличет. А Ивашка тот, Исаев сын Болотников, жалобу ей писал, да што с ним случилось — неведомо, должно уморили.

— Чье это село? — спросил Франческо.

— Телятевских князей. А стоят они за царя Бориса. Нынче на рать снарядились; завтра с вотчины пойдут

в поход. Да ты, знамо, видел старого князя: вон он где — на юру лютует.

И старик махнул рукой в сторону церкви.

Стриж черкнул над гумном. Острый, горячий визг ударил в небо.

Франческо взглянул на прикованную Грустинку и вдруг, словно чего-то испугавшись, вскочил в возок и велел гнать лошадей прочь.

6

«...Грех ради наших... бог попустил... литовского короля Жигимонта: назвал вора беглеца, росстригу, Гришку Отрепьева, будто он князь Димитрий Углецкий... А нам и вам, всему миру о том подлинно ведомо, что князя Димитрия Ивановича не стало в Углече в 99 году...<sup>1</sup>, а тот росстрига — ведомой вор, в мире звали его Юшком Богданов сын Отрепьев и, заворовався, от смертныя казни постригся в черныцы...»

В Москве, подле самых теремов убили черную лисицу. Один купец заплатил за нее девяносто рублей.

Город запустел. Воеводы стояли под Кромами. Оттуда приходили скверные вести. Росли с каждым днем слухи. Все чаще вспоминали стрельцов, которые видели ехавший по небу возок. В нем сидел поляк: он хлопал кнутом, правил на Кремль и вопил. Челобитчиков гнали батогами. Царя более никто не видел. И от всего этого народу становилось страшно.

Пришли вести из Сийского монастыря. Боярин, прозванный «правым ухом царевым», известил Бориса:

— Романов, Федор Никитич, стал жить не по монастырскому чину: всегда смеется неведомо чему да говорит про птиц ловчих и про собак, а што у него в уме — никто не знает.

---

<sup>1</sup> По старинному русскому летосчислению. То есть в 1591 году.

Царь устало кивнул, спросил:

— А боле ничего не говорит Федор?

— Говорит: «Увидят еще, каков он впредь будет».

— На вора надеется,— сказал Борис,— не он ли и Гришку научил царевичем назваться? Эх, бояре!..

Апреля в тринадцатый день царь собрался на богомолье, но выхода ему «за грязью» не было.

День начался так: из-под Кром прибыл гонец. Воеводы, извещала отписка, вели осаду оплошно. Шереметев и Шуйский только «проедались», стоя без дела, а Салтыков-Морозов, «норовя окаянному Гришке», велел отвести от стен пушечный «наряд».

В полдень — еще гонец. Боярские дети<sup>1</sup> смутили многие земли. Братья Ляпуновы с сподвижниками своими поднимали новые города.

Борис послал за Федором. Царевич принес сделанный им самим чертеж царства.

Суровый пергамен блекло расцвел красками — баганом, голубцом, немецкою охрой. Чернели города и люди. Мохнатыми червями змеились рубежи.

Борис закрыл ладонью отпавшие земли. Руки не хватило. Царь положил обе ладони... «Земля моя!» — прохрипел он, и ногти его в двух местах вдавились в пергамен. Федор, бледный, пытался отнять у него чертеж.

Потом был стол.

Царь вышел в парадном платье, в золотых наплечниках — бармах, с державой в руке. Справа от него был Большой стол, слева — Кривой, заворачивавший глаголем в угол. На широкой скамье сидели послы.

За всем смотрели стольники. Они должны были говорить, чтоб ставили и снимали блюда. Бояре сидели «по роду своему и по чести», а не по тому, кто кого знатнее чином. У Среднего стола застыл дворецкий. Чашники, с золотыми — крест-накрест — нагрудными цепями, подошли к царскому месту и, покло-

---

<sup>1</sup> Боярские дети — так называлось провинциальное дворянство, несшее военную службу не в Москве, а в других городах.

нившись, удалились попарно, обходя вокруг поставцов.

Борис много ел и был весел. Бояре сидели молча. С надворья темью налетала непогода. Унесли кривые пироги, зайцев в лапше, лосье сердце. Налили ковши старым, стоялым медом. Семен Годунов что-то шепнул царю.

— А ты мне не докучай, Семен Никитич! — сказал Борис. — У меня нынче радость. — И, тотчас встав, ушел наверх, в высокий терем.

В палате стало темно...

— Таково-то! — сказал царь, отворяя теремное, украшенное резьбой оконце.

Острый тучевой клин раскраивал небо на медное и голубое. Над рекою, золотея и шумя, ниспадал слепой, бусовый дождь.

Далеко было видно поле, монастыри, вилась дорога в Коломенское.

Тут он пускал на птиц соколов... Однажды сокол сбил ему дикого коршака... «А покосы сей год будут добрые, — подумал Борис. — Да и к потехе поле весьма пригодно...»

Внизу, у стены, рвал тишину докучный звук: то у Портомойных ворот бабы стирали ветошь.

Он затворил оконце, отошел от него и сказал вслух:

— Царь Федор, хорошо ты, умираючи, молвил: «Уже время приспело, и час мой пришел». — Он отпер укладку, достал из нее связку сшитых тетрадью листов. Потом вынул из аптечного поставца сулею. В горлышке торчала втулка с резным единорогом...

...Борис не читал (он же был «грамотного учения не сведый»). Пальцы быстро перелистывали связку. Расспрос мамки Волоховой<sup>1</sup> чернел скорописью на листе.

---

<sup>1</sup> Показание Василисы Волоховой, мамки царевича Димитрия Ивановича, об обстоятельствах его смерти в Угличе.

«...Разболелся царевич в среду... а в субботу, пришедши от обедни, велела царица на двор царевичу итить гулять, а с царевичем были она, Василиса, да кормилица Орина, да маленькие робята жильцы. А играл царевич ножичком. И тут на царевича пришла опять та ж черная болезнь, и бросило его о землю, и тут царевич сам себя ножом поколол в горло, и било его долго, да тут его и не стало...»

Он бросил листки в укладку. Долго стоял, приложив руку к груди; засмеялся:

— Скажут бояре: «Бориса судом божиим не стало...» Эх, служилые мои, чаяли вы себе от меня большого жалованья!..— и пошатнулся: к голове сильно прилиwała кровь.

Спеша и хромя, спустился в палату. Семен Годунов быстро шел навстречу.

— Вести, государь!..— завидев его, крикнул боярин и не докончил.

Борис упал.

— Патриарха!.. Клубук!..— сказал лишь, и отнялся у него язык.

Сорок сороков разом зазвонили во всем теле царевом. Кровь текла из глаз, ушей и носа. Боярин, вопя, бежал из палаты. И, руша тишину, близился отовсюду топот ног...

Ковер был толст и нагрет солнцем сквозь мутную слюду оконниц. По голубому полю цвели птицы и травы. Неловко подвернув ногу, лежа, бежал царь по тканому полю. И было ему невдомек, почему земля и травы — над головой, а небо — внизу...

Шел чин пострижения. Патриарх в лазоревой ризе склонялся над Борисом.

...Однажды сокол сбил ему дикого коршака. Расклеванная птица забилась с острым человеческим криком. Тогда впервые не стало сердца... «Бог с ним, с коршаком! — подумал Борис. — Ахти мне, сколь еще много нынче дела!..»

Травы жгли и щекотали шею — отрезанные волосы падали за бобровый ворот.

Едва подали ему монашеский клубок, он умер.

В Крестовой палате стояли бояре. Доктор Фидлер, подойдя к ним, сказал:

— Государь ваш был тяжело болен — страдал водяной от сердечной болезни.

— Судом Божиим его не стало! — молвил, крестясь, Семен Годунов.

К дверному косяку, дрожа и сутулясь, приник Федор.

— Щука умерла, а зубы остались, — вдруг шепотом сказал кто-то, и лица бояр стали злы и красны.

Было три часа пополудни. Народ, по обычаю, громко вопил и плакал. А на крестцах и площадях уже читались «прелестные» Лжедмитриевы листы:

«...Меня, господаря вашего прироженного, бог невидимою рукою укрыл и много лет в судьбах своих сохранил, и яз, царевич, великий князь Димитрий Иванович, ныне приспел в мужество... иду на престол прародителей наших ..

...А как лист на дереве станет разметываться, — буду к вам государем на Москву».

## Часть вторая

### ЗА РУБЕЖОМ

#### ПЕРСТЕНЬ АЧЕНТИНИ

Я поднимаюсь на кровлю Айя-Софии, и мне вятен язык ветра и облаков.

Гафиз

#### 1

Джерид — опасная джигитовка на Атмайдане — мясной площади Стамбула, где турки справляют байрам. Старому Еми-Али выбили на Атмайдане глаз и веко другого глаза изорвали в клочья. «Безглазым» звали его, и то была неправда. Могло случиться и так, но — велик аллах! — Еми-Али только окривел.

Селом Топхана шел Еми-Али — местом, где выливают пушки. Множество их, черных и гладких, лежало у воды.

Матросов-новичков обучали корабельной службе. Над людьми на веревках висели овощи. «Репу крепи!» — раздавалась команда, и неловкая рука крепила парус. «Капусту отдай!» — кричал начальник, и матрос поспешно отдавал конец.

Знакомый кайкчи повез старика на другой берег.

Веселая корма плясала на зыбях. Зеленым семихолмием вставал Стамбул. На галере турок с сизым, как боб, носом пил кофе. Чашка в его руках дымилась, похожая на цветок. Из воды вылетал шумный веер весел.

Кайкчи пристал к галере. Старик взобрался на палубу и подсел к турку. У Еми-Али были длинные во-



лосы, лицо в сетке морщин и брови — бритые, как у дервиша. Ему подали кофе. Потом кайкчи повез турка и Еми-Али в Стамбул.

Водоносы шли им навстречу, неся тяжелые кожаные мешки.

— Вода свежѧ, — кричали они, — как начало человеческой жизни! Запасайтесь в засуху. За мешок — деньгѧ!

Спуск от Адрианопольских ворот привел путников к оконечности сераля. Оттуда — снова подъем, и у мечети Сулеймана дорога уперлась в невольничий рынок — Аурит-базар.

Еми-Али, толмач, рассказчик и завсегдатай кофеен, посредничал на Аурит-базаре.

— Эффенди Гиссар, — сказал он, — ты будешь стоять в тени и курить, а я тем временем побегаю на солнопекке. Невольники будут у тебя мигом — пророк дважды не объедет на своей кобылице рай.

У входа на рынок продавали голубей. Три голубя, один за другим, исчезли в небе, выпущенные Гиссаром, — таков был обычай: прежде чем купить человека, турок выпускал на волю птиц.

За каменной стеной тянулись похожие на курятник клетки. Женщины стояли в них, закрытые картинно пестрыми платками либо фатой. Напротив теснились невольники. Каждый раз перед началом торга купцы читали молитву за здоровье султана. «Не надо спешить, — смеясь, говорил им Еми-Али, — не надо спешить и уподобляться петухам, клюющим ячменные зерна».

Он отобрал невольников: двух горских черкесов и одного русского — Ивашку, которого привез Мус-Мух. Гиссар осмотрел будущих гребцов: согнул им руки в локтях, велел широко открыть рты и каждому постукал чубуком о зубы.

Глашатай объявил цену.

— Слаб. Не куплю, — сказал Гиссар, указывая на Ивашку.

— Эффенди! — возразил толмач. — Цветок алоэ ждет двадцать лет, пока улыбнется солнцу. Скажи, когда Еми-Али обманывал тебя?

Толмач приблизил к Ивашке лицо, косясь большим и страшным глазом. На руке русского он заметил пер-

стень. Однорукий бородатый старик был вырезан на широкой дужке. Цепкие пальцы потянули перстень. Ивашка с силой толкнул в грудь толмача.

Еми-Али сел на землю. Гиссар засмеялся.

— Вот и неправда! — сказал он. — Цветок алоэ улыбается солнцу раньше срока.

А Мус-Мух шепнул глашатаю, склонив тощую шею:

— Надо уступить. Гиссар купит троих...

Когда торг был закончен, Еми-Али получил бакшиш. Невольников связали рука с рукой и повели. Толмач тронул за плечо Гиссара.

— Эффенди! Я получил немного, но больше и не прошу. Позволь только снять с русского перстень. Еми-Али очень ценит амулеты.

Гиссар кивнул головой. Старик снял перстень со связанной руки, мигнул Ивашке рваным глазом и скрылся.

Они покинули базар. За воротами сухой ветер нес пыль. Толпа высматривала в небе дождь. В пряной духоте розовели олеандры.

Шли янычары. Впереди несли котлы, в которых варят плов<sup>1</sup>. Их брали в битву и опрокидывали, когда затевался бунт. Гудели барабаны. Мулла, верхом на осле, вез коран. По ветру веял шелковый «кипарис побед» — зеленое знамя халифов...

Невольников на каике перевезли в Топхане.

На берегу, на подпорах, стояла галера. На ней жили гребцы. Бритые казацкие головы были повернуты к Гиссару и его людям. Певучая жалоба долетела до Ивашки вместе с брызгами воды:

Поддай нам, господи, з неба дрібен дощик,

А з низу буйний вітер!

Ой, чи бы не встала по Чорному морю бистра хвиля,

Ой, чи бы не повирвала якорів з турецької каторги<sup>2</sup>,

Да вже нам ся турецька бусурманська каторга надоіла!..

Звон железных «кайданов», горючие слова песни и шорох волн потрясли Ивашку. Впервые всем сердцем

<sup>1</sup> Котлы, в которых варят плов, — символ братства у янычаров.

<sup>2</sup> Каторга — гребное судно, на которое турки ссылали работать гребцами пленных или же осужденных людей; отсюда и «каторга» — место ссылки на тяжелую работу.

понял: «Неволя!» Не его одного, Ивашки, горемычный рок, а всех этих кандальников общее круговое горе!.. Он даже рванулся вперед,— рука, связанная с рукой черкеса, заныла. Их ввели на галеру. Бородатый турок набил им на ноги колодки и сорвал рубахи,—спину каждого заклеил огненный завиток...

Казак окружил Ивашку, спрашивали о родине угрюмо и тихо:

— Да уж остались ли на Руси какие люди?

— Не всех ли хрестьян турки в полон побрали?

— Верно ли, што по нашей степи саранча шла великая?..

Галерный ключник окриком велел гребцам стать на работу. То был принявший турецкую веру поляк Бутурлин.

— Перевертыш христианский! — шепнул Ивашке казак Самийло. — Лю-ю-у-ут он! Про него и в песне поется: «Потурчився, побусурманився для панства великого, для лакомства несчастного».

— В воду б его!.. — неожиданно для самого себя вспыхнул Ивашка.

— Га! Сокол! Твоими б крылами да расчерпать море!..

Они вытянулись на берегу в звенящий кандалами ряд.

Плотные тюки запрыгали с рук на руки, сносимые с галер Гиссара. До вечера сгружались парусные полотна и конский вóлос, мускус, юфть, леванский кофе, арабийская камедь...

Протянулись тени. Загустев крутою синевою, волны пошли на берег суровым походом.

— Дритомился? — окликнул Ивашку Самийло, отводя со лба потный смоляной чуб.

— Маленько... А невдомек мне, што то за люди меж нас ходят?

— Янычары то, воинский караул... А ты, сокол, еще Царьграда не знаешь? Вон, гляди, то — град малый Галата. А здесь будет село Топхана. Пушки тут выливают; видишь? — лежит их много у воды.

— А пошто колокольного звону не слышно? — спросил Ивашка.

— Да пашы в колокола благовестить не велят: салтан-де от звону полошается...

С холма ударила вечерняя пушка сераля. Небо зардело, как облитая вином кольчуга. Солнце, дрогнув, зашло.

2

Так началось «полонное терпение».

Гиссар ходил к Румелийским берегам за душистыми грудями лимонов, возил из Смирны и Родоса гранатовую корку и орех.

Две пары рук качали трехгранную рукоять весла. Самийло сидел ближе к проходу; Ивашка — у борта. Галерный флюгер — «колдун» с навязанным хвостом из перьев — то вяло опадал, то летел по ветру струной.

Гребцы дышали соленой синевой, недоброй свежестью засмоленного грозю небосклона. Когда небо и земля становились одинаково черны, Гиссар впивался глазами в компас — большой, обтянутый кожей барабан; он называл его «неподвижною душой».

На многих галерах гребцам давали целовать крест, вынуждая навеки бросить думу о побеге. Все же, мало доверяя русским, турки набивали им на ноги колодки, а на берегу то и дело сменялся янычарский караул...

Второе лето горела от суши земля; в водоемах кружились пыльные вихри; янычарам не платили жалованья, и они грозились спалить город; от недорода пустела султанская казна.

Однажды галера стояла у стамбульских причалов. Ивашка увидел скороходов, которые кропили дорогу водой.

За ними — верхом на коне — проехал султан. Его окружали пешие слуги. У крайнего дома они остановились. Связанного турка вынесли из ворот и, раскачав, швырнули в море. Потом начался грабеж. Султан легко и быстро пополнял казну.

В другой раз — это было в Топхане — в лавку старого торговца вошел кривоногий паша. «Львом без цепи» называл его народ. Он проверил весы, подбросив на ладони несколько гирек, и приказал повесить старика на дверях. Торговец выложил на прилавок деньги.

— В моей лавке правильный вес,— сказал он,— смилуйся!

— Повешу тебя! — крикнул паша.

Старик выгреб из ящика все, что у него было.

— Теперь весы верные,— сказал паша и засмеялся.

А старик сказал:

— Да продлит твои дни аллах!..

Еми-Али приходил к невольникам, до самой зари просиживал с ними. Гребцы любили слушать о священных войнах пророка, о том, как верблюды одного шейха наелись кофе и затанцевали... Еми-Али помногу раз повторял одно и то же, но галерники всегда с охотой слушали рассказ.

Многие из них благодаря толмачу перешли на другие суда, иные и вовсе были увезены купцами из Стамбула...

Еми-Али как-то сказал Ивашке:

— А перстень я продал. Хозяин кофейни носит его на среднем пальце.

И, смеясь, закрыл рваное веко страшного глаза. Ивашка промолчал.

Стамбульское солнце спалило ему брови, соль и ветер выбелили волосы. Тощее тело его стало крепким и ладным, а на сгибах рук, под гладкою кожей, разыграли крутые желваки.

Однажды две женщины в цветных плащах прошли мимо галеры. У одной были иссиня-черные косы, и сердце Ивашки заныло по Грустинке. Вспомнилась Черниговщина с запахом меда, с сонным пчелиным гудом. Но только на миг. Его еще не тянуло на родину. Смутная дума одолевала Ивашку. Он должен был додумать ее в чужой земле...

Шум ливня пронесся наконец над иссушенным Стамбулом. С холмов, рыча, сбежали в море потоки. Вечером в свежей синеве махрово распустились звезды. Мокрый и веселый, пришел на галеру Еми-Али.

— Наконец-то! — сказал он, усаживаясь в кругу гребцов и подбирая под себя ноги. — По молитве русского попа аллах послал дождь. А труды наших мулл пропали даром, хотя они и молились по пять раз в день, как велит закон.

— Вот диво! — вскричали галерники. — Басурманскому богу наши попы полюбились!

— Э, нет! — быстро возразил Еми-Али. — Аллах так не любит гяуров, что спешит исполнить всякую просьбу, лишь бы они ему не докучали.

По галере дружно прокатился смех.

— А пошто турки по пять раз на дню молятся? — спросил Самийло.

Еми-Али потер ладонью правое веко и заговорил:

— Когда пророк разъезжал по небесам на своей чудной кобылице, миновал он одно за другим семь небес. Так попал он в изумрудное жилище аллаха; господь увидел его и повелел, чтобы правоверные творили по пятьдесят молитв в день. Поехал пророк обратно и задумался: «Кто же станет по пятьдесят раз в день молиться? Разгневанным застал я аллаха. Вернусь, упрошу, чтоб число молитв было уменьшено». Вернулся Магомет, господь уступил его просьбе и пять молитв сбавил. Уехал пророк и снова вернулся... И так торговался он с аллахом, как последний нищий на Аурит-базаре, пока число молитв не уменьшилось до пяти...

Ивашка, хмурый, смотрел на темное море и будто не слушал.

— Эй! — окликнул его Еми-Али. — Не нравится тебе сегодня мой рассказ?

— Дивлюсь тебе, — тихо проговорил Ивашка, — сколь много в твоих речах звону, старый!.. И все-то сказки твои про верблюдов да про кобылиц... Я вот на Руси жил, горя-обида набрался — на век хватит, а гляжу — и в турецкой земле живут не лучше. Нынче в Топхане двоих ваших без вины в море метнули. Вот и сложи сказку да и кричи по всему Стамбулу... Были люди — и нет их. Как тут быть?

Гребцы переглядывались. Таких слов еще не слышали они от Ивашки. В темноте совсем близко кипело море. Жирная пена, лопаясь, стыла островками на песке.

— Злой какой! — с досадой сказал Еми-Али. — А все оттого, что никогда не курил кальяна и не пил кофе. Кофе — это капля радости, отец веселья; человек, отве-

давший его, поднимается на кровлю Айя-Софии, и ему внятен язык ветра и облаков, как сказал певец.

— Не глумись! — закричал Ивашка, и кандалы его зазвенели. — Паши двоих ваших метнули в море. Были люди — и нет их. Как тут быть?!

— Слушай, — серьезно сказал старик. — На земле нет никакой правды. Правда вся у одного аллаха. В раю паші и утопленники будут лежать рядом и мирно беседовать, как лучшие друзья.

— Не клади на землю хулы! Есть правда, только сыскать ее как — не ведаю еще куда. Одно знаю, всей кровью чую: землю пройду с востока на запад, с полуночи на полдень — все равно добуду себе правду, сыщу!..

Еми-Али ушел поздно. Тьма ключьями валилась с неба, а над темною чашей моря свет возникал, как выдуваемый стеклодувом шар.

Гребцам не привелось заснуть под это утро: едва последние шаги старика проскрипели по песку прибрежья, рыжий пояс огня охватил город.

«Пожа-а-ар!» — всюду завопили дозорные и стали колотить по земле палками. Это янычары опрокинули котлы и подожгли Стамбул.

На рассвете караул побросал оружие и разбежался. Галерники подобрали и спрятали несколько турецких секир. Гребцы сдирали с ног кожу, сбивая кандалы. Веселые голоса перекликались на галерах.

— Гей! — кричали казаки. — У нас караула вовсе не стало!

— А наши турки до вас идти мыслят! — кричали с моря.

— У нас секиры припасены!

— Рубайте стражу!.. Вызволяться с каторги время приспело!..

Над холмами густо темнел круглый недвижимый дым.

Сбитое железо, слито звеня, летело в воду. Ни Гиссара, ни ключников не было видно. Галерники уже собирались уйти в море. Внезапно топот коней просыпался из-за багровой стены дыма, и набережную оцепил сильный отряд.

Это была высланная к галерам конница султана.

Впереди, в зеленой чалме, скакал пеннобородый турок. Он кричал, рубя воздух широкою саблей:

— Да покарает аллах преступных людей, ослабляющих царство! Буйная душа их еще не обуздана мундштуком!..

3

И снова тянулись несчетные дни «полонного терпения». Опять, протирая кожу, скрипели на руках оковы, и галеры шли «от одного горизонта до другого», как говорил Гиссар.

Зной растекался по спинам червонным золотом ожогов. Невольники жалобные слагали песни. И тогда всех изумлял Ивашка: легко и дивно давался ему горючий песенный лад.

Четвертую весну встречал он на галере...

В Топхане шла спешная погрузка. Солнце пласталось на воде, белым огнем стекало с полумесяцев мечетей. Холмы, поросшие сплошь миндалем, стояли в розовом снегу.

Гиссар молча курил. Ключники ускорляли работу бранью.

Двое людей быстро спустились с холма к галерам. Бывший впереди временами почти бежал. За ним едва попевал Еми-Али.

Толмач, с важным видом, прикрывая от солнца глаз, подошел к Ивашке.

— Где ты это взял? — спросил он, показывая перстень, снятый на Аурит-базаре с Ивашкиной руки.

У спутника Еми-Али была светлая, в кольцах, борода, а правый рукав иноземного камзола пустовал до локтя. «Посечен!» — мелькнуло у Ивашки, и, вдруг все поняв, он оторопел и смешался; глядя на иноземца, он позабыл про свой ответ.

— Ну? — нетерпеливо крикнул Еми-Али.

Ивашка рассказал все как было. Толмач перевел.

— Как звали пленника?

— Франческо.

Иноземец кивнул головой, и две большие слезы разбились звездами на полé его камзола.

— Куда повезли его?



— В Москву, ко двору царя Бориса.

Стало тихо. Трудно переводили дух казаки. Они стояли неподвижно, и плечи их давили тяжелые тюки.

Иноземец подошел к Гиссару. Тот приказал ключникам отомкнуть Ивашку...

— Идем! — весело сказал Еми-Али, когда старик заплатил просимый выкуп.

Ивашка, будто хмельной, обвел глазами гребцов.

— Корите меня за то, што вас покидаю? — тихо спросил он. — Да не волен я в этом, — словно кличет меня кто да гонит от галеры прочь.

— Правда тебя несысканная кличет, — зло усмехнувшись, произнес Самийло, и все казаки разом принялись за работу. — Ну, ступай, — без гнева уже добавил галерник, — песен твоих не станет — о том горюю, а злобиды в нас нет...

Иноземец повел Ивашку в город. Толмач, услужливый и болтливый, бежал рядом.

Они миновали древний водопровод и вышли на Диванную — главную улицу Стамбула. Множество собак грызлись, поднимая пыль. Седые писцы сидели у ворот, положив бороды на большие развернутые книги.

У входа на Оружейный базар Ивашке купили платье: куртку без рукавов, цветные, в полосках чулки и широкие малиновые шаровары.

Торговался и выбирал Еми-Али.

Потом овевяла их прохлада каменных, испещренных поучениями корана сводов. Чинно проходили молчаливые, сонные турки. Длинные чубуки торчали у них за поясами. Место считалось священным. Никто не курил.

Только правоверные могли покупать на этом базаре. И опять, суетясь без меры, торговался Еми-Али. Купцы показывали им пицали с колесом и фитилем, бросали вверх пуховую подушку и на лету рассекали ее саблей; с отметинами на тыльной стороне (по числу убитых) вздрагивали туманные клинки.

С базара они с купленными вещами отправились в кофейню, где поджидали иноземца армянские купцы.

— Ну, — сказал Еми-Али, входя в обставленную диванами курильню, — разгоним облако скуки облаками дыма!..

Пол кофейни был выстлан циновками. Восемь небольших подушек лежали на полу правильной звездой.

Иноземец, казалось, не замечал Ивашки. Что-то сказав толмачу, он повел с купцами тихую беседу. Еми-Али молчал, пока ему готовили кальян.

Слуга сдернул с янтарной трости чехол. Трехаршинный чубук уперся одним концом в бронзовое блюдо на полу, а другим был подан курильщику прямо в зубы.

В кофейне, кроме холодной воды, шербета и кофе, обычно ничего не подавали. Но Ивашке принесли миску плова.

— Сначала ешь,— сказал Еми-Али,— слова идут после мяса.— И он затянулся с журчанием и свистом.— Ешь и слушай хорошенько. Я буду говорить... Купец, взявший тебя от Гиссара, очень богат; ты, сам того не зная, вернул ему сына... Это было три-четыре года назад: юношу взяли в плен корсары, и с тех пор старик искал его по всем восточным торгам. Они — из Венеции, города, стоящего в море, как галера. На родине юноши осталась его невеста; она живет сейчас в Калабрии, в монастыре. Старик поедет отсюда в Трапезунд, а потом — к русским, в Москву, за сыном. Ты же сейчас морем отправишься в Анкону, разыщешь монастырь и передашь радостную весть и письмо...

В углу горячились купцы в бараньих шапках, и сухо постукивали зерна четок... Образ города, выходящего из синих недр моря, встал перед Ивашкой; на стенах города таял и возникал дым.

— По новым местам и я затомился,— сказал он, следя за бесшумной игрой кальяна.— Да и охота мне узнать, живут ли где люди дружно и вольно. Чую — не срок мне еще на Русь брести.

— Эх, какой! — с досадой произнес Еми-Али.— Все о своем. Вот что скажу тебе: конец твой будет горек.

— Конца моего никто не может знать.

Однорукий старик приблизился к ним и, сев на диван, велел подать все необходимое для письма.

Принесли медную чернильницу с длинной ручкой, камышовую трость и турецкую бумагу, которую полируют особою костью. Старик долго писал; чернила были густы и блестящи, а левая рука ставила буквы вкось.

Потом он дал Ивашке денег и велел зашить письмо в полу куртки.

— Русский хорошо понял, что он должен сделать?

— Да,— ответил Еми-Али.

Они вышли из кофейни и направились к морю. Дул резкий северо-восточный ветер. Ивашку ввели на генуэзскую галеру. Хозяин ее был смуглый иноземец, одетый так же, как и однорукий купец.

Старик, ничего не сказав Ивашке, сошел на берег.

— Прощай! — крикнул Еми-Али и, взмахнув рукой, сел у воды на камень.

Море сверкало. Галера скрипела, и ветер хлопал косями латинскими парусами...

Была весна того года, когда в Москве умер Борис.

#### «INPERATOR»

— Что, сынку, помогли тебе твои ляки?

«Тарас Бульба»

#### 1

«Буде всеблагий господь откроет мне путь к отчему моему престолу... молю ваше святейшество не оставить меня без покровительства и благоволения. Может ведь, всемогущий бог мною недостойным расширит свою славу... в воссоединении с церковью столь великого народа; кто знает, на что благоволил он присоединить меня к своей церкви?...»<sup>1</sup>

Слепой дед деревянным голосом пел:

А сплachtetся на Москве царевна,

Борисова дочь Годунова:

«Ино, боже, Спас милосердный,

За что наше царство заглохло?

За батюшково ли согрешенье,

За матушкино ли немоленье?..

---

<sup>1</sup> Письмо Лжедмитрия папе Клименту VIII. Перевод с латинского.

Живой мост на бочках через Москву-реку был затоплен народом. Всадники в атласных жупанах теснились на нем, как речные волны. Кони их, украшенные крыльями, казалось, летели; они скакали и ржали, и пена стекала с их золотых удил.

Хмурый рыжеватый человек ехал медленно, вывернув локтем вперед упертую в бок руку. Его криво раздвинутые брови тянулись к самому околу собольей шапки. На носу, вровень с правым глазом, сидела бородавка, и большое родимое пятно оплывало от нее вниз...

...А светы-злоты ширинки,  
Кого мне вами дарити?  
А светы-яхонты сережки,  
Куда мне вас задевати  
После батюшкова преставленья  
А света Бориса Годунова?..»

Слепой дед допевал и тотчас повторял запев сложного им плача. Одни слушали слепца тихо, со страхом, другие гнали его прочь, но он не уходил. А воздух, от звона густой, как вода, рвало громом фальконетов и пицалей.

— Дай бог тебе, государь, здоровья! — кричали москвитяне.

— Дай бог и вам здоровья! — отвечал всадник, и лицо его при этом выражало радость и испуг.

Золотой верх собора вспыхнул вдали. Он увидел: гнутый, как боевое зеркало<sup>1</sup>, лист кровельной меди чуть колыхался. «Кровли обветшали!» — подумалось ему, и он тотчас же наглухо забыл об этом...

Вперед были посланы трубачи и литаврички «для проводыванья измены и шептунов в народе». Парадный строй польских жолнеров сменяли отряды стрельцов, а за ними снова веяли знамена пешей польской рати. И уже после всех прошли грязные, пораненные, «проводившие» Лжедмитрия до Москвы казаки. День был ясный и тихий. Но когда проехали Москворецкие ворота, пыль взвилась столбом и на миг всех ослепила; поднялся такой вихрь, что валил коней и всадников, и народ, смутясь, закричал: «Помилуй нас бог!»

<sup>1</sup> Боевое зеркало — сплошной доспех, состоявший из нескольких металлических пластин, закрывал грудь и спину.

Потом в Успенском соборе служили молебен. Поляки, в шапках и не сняв оружия, стояли во время службы. Товарищи их били в бубны и трубили в трубы, сидя на конях у самых соборных дверей.

Боярин Богдан Бельский вышел на Лобное место и крикнул:

— Государь ваш — прямой царевич — сын Ивана Васильевича, и вам бы на него зла не мыслить!..

Еще раз шатнуло небо ружейным громом, пальба смолкла. Бояре и шляхта вошли в терема. Челядь заполнила запустелый Борисов двор.

Шуйский, суетливый, как мышь, не отходил от Лжедмитрия ни на шаг; он всхлипывал и поминутно прикладывал к глазам руку. А тем временем двое посланных им людей шныряли по слободам, сея слухи; посадские — Костя-лекарь и Федор Конь — мучили народ.

В старом кабаке на Балчуге целовальники выставляли ведра крепкой водки. Мохнатые казацкие кони были закутаны по глаза в холщовые торбы. Атаман Корела, окруженный вольницей и слободским людом, говорил:

— Как пришли мы к царевичу в Тулу-город, и туда же наехали с Москвы бояре. И Димитрий Иванович пустил нас к руке прежде бояр. А с ними был старый князь Телятевский. И мы тех бояр бранили и лаяли, а князя Телятевского едва до смерти не убили, — знал бы старый, как против нашего господаря стоять!

— Вестимо так, — сказали слободские, — царевич крест целовал землю в тишине устроить. Да и вас пожалует, чаем, не худо: кого казною, кого землей...

Поодаль, меж распряженных возков, слышались и другие речи:

— А што, как земли на всех не хватит? Да и жалованья царевичу взять откуда? Задолжал он в Польше панам, они и его теперь из платья вылупят; гляди, какую себе на Москве волю взяли!..

— Да верно ли, крещеные, что прямой он сын царский?

— Прямо-о-ой! И боярин Шуйский толковал нам то же.

— А монахи, сказывают, признали в нем Чудова монастыря чернеца Гришку.

— А кто сказывал?

— Посадские наши: Костя-лекарь да Федор Конь...  
Стороной верхами съехались два поляка: пан Жовтый и казацкий ротмистр пан Богухвал.

— Ну как? Ваши люди еще не «воруют»? — сдерживая коня, спросил пан Жовтый.

— Казаки стоят за нового господаря, — ответил ротмистр, — хотя немного и ропщут. И то сказать, — добавил он со смехом, — каждый из них сам не прочь стать царем...

2

«Всех же Годуновых и Сабуровых и Вельминовых с Москвы послаша по тюрьмам в понизовые города и в сибирские. Единово же от них Семена Годунова сослаша в Переславль Залесский... там его удушиша...»

Вскоре начались большие перемены. Бояре Романовы и Нагие воротились из ссылки. Шуйский был схвачен, едва не казнен и со многими другими услан на север. Новые люди сменили их по областям и на Москве.

Поляки стояли по боярским дворам, тесня москвитян и постоянно затевая ссоры. За столом у царевича играли гусельники и «скрыпотчики», чего доселе в термах еще не бывало. В послеобеденные часы, когда вся Москва ложилась отдыхать, Лжедмитрий расхаживал по аптекам и немецким лавкам. Он кричал на бояр, что против иноземцев они ничего не стоят, и грозил послать их учиться за рубеж.

Тайный католик, он причастился у православного патриарха. Раньше, чем позволял московский обычай — до первого сентября, — он венчался на царство; велел именовать себя «непобедимый цесарь» и поселился в новом терему, где все было на польский образец.

В октябре из Кракова прибыли посол папского нунция аббат Луиджи Пратиссоли, посланник Гонсевский и два иезуита. Недобрыми взглядами встретили их в Москве.

Пратиссоли привез дары: икону и четки. Лжедмитрий

рий, услав бояр, взял его за обе руки и вывел на середину палаты. Аббат был стар, но лицо имел совсем юное и смотрел не мигая глазами, белыми, как молоко.

Он сказал:

— Его святейшество, новый папа Павел Седьмой, шлет вам свое благословение и поручает вашему расположению орден Иисуса, полезный целому свету. Его святейшество весьма озабочен вопросом о походе на турок и еще более того — скорейшим воссоединением церквей...

Лжедимитрий стоял, прислонясь к зеленым печным изразцам, рыжий, вихрастый, быстро и криво дергая бровью.

— Я исполню все...

Речь его внезапно стала искусной и гладкой; говоря же с боярами, он был прост и груб.

— Я исполню все... Помощь папы привела меня к престолу, ибо святая римская церковь указала мне верный путь. Молю лишь, чтоб его святейшество и впредь не оставил меня без своего благоволения. О, как много я испытал и сколь еще велик передо мною труд!.. Долгие годы жил я один со своею тайною думою. Переходя реки вброд, пускаясь вплавь, как дикая птица, чутьем, отыскал я дорогу в Сечь. Там, на косматых, камышчатых островах, привык я владеть копьем и рубить саблех. Я ходил с казаками в море и плавал в порогах, где вода, прогремев меж камней, низвергалась так, что солнце застил гулкий водяной прах!..

Туго схваченный в бедрах кафтаном, он ходил взад и вперед, упершись в бок правой рукою. Аббат тихо подвигался за ним по палате, и две белые точки высветлялись в его глазах.

— Я ушел на Дон, в таборы,— продолжал Лжедимитрий.— Пицаль и коса на длинном древке были оружием нашим. Татары угоняли коней — тучи стрел свистали над моей головой... И вот бог увидел мою правоту: в Польше нашел я приют и помощь. И теперь хочу строить отчую землю, чтоб все у нас как за рубежами было...

Аббат быстро сказал:

— Надобные вам для строения крепостей и прочих дел люди имеются в Риме. Все они — слуги католиче-

ской церкви, но их можно одеть подобно мирянам, чтобы того не узнал народ.

— Добро!— молвил Лжедимитрий.— А то бояре мои ничего не знают...

Пратиссоли медленно удалился, довольный и важный. Солнце било в лицо Лжедимитрию. Волосы его встали дыбом и пламенели. Он смотрел вслед аббату, по-прежнему упершись в бок рукой.

В палату вошел тайный секретарь царя — пан Гонсевский. Он привез письма от воеводы Сандомирского и пана Бучинского. Войдя, склонил голову и держал ее так все время, пока царь читал письма.

Складки жира полезли за тугой ворот поляка, когда он заговорил:

— Господарь обещался пану Бучинскому назавтра, как придет в Москву, дать его людям по тыще золотых. И господарь им того не дал.

— Дал им столько, что они всего проесть не могли. И сверх того дам, коли надобно...

— Еще пан воевода сказывал: если господарь не отдаст дочери его Пскова и Новгорода, ясновельможная панна не сможет вступить с ним в брак.

— Обещался я,— сказал Лжедимитрий,— и слово свое держу твердо. Чего надобно пану воеводе еще?

— А помнят ли господарь, что брату панны Марины отойдут Сибирь и земли самоедов?

— И о Сибири помнят.

Боярин князь Григорий Шаховской появился в дверях. Он был сутул, живоглаз. Неровная, хлопьями павшая на волос седина оканчивала низ темной бороды белым клином.

У Лжедимитрия играл лоб и криво подергивались брови. Гонсевский переменил речь:

— Пан Стадницкий прислал господарю дивного коня, называемого Дьявол. То — лучший во всей Польше аргамак...

Царь скоро отпустил его. Шаховской заговорил не спеша, смотря по углам, нет ли еще где поляка:

— Государь, многие крестьяне в голодные лета сбегали от помещиков по бедности, и о тех крестьянах дворяне теперь бьют челом — сыскивать их хотят. Указ надобен.



— Вестимо, указ.

— Да вот, государь...— Шаховской заговорил еще медленнее, тише:— От поляков наши узнали, будто многие земли Литве<sup>1</sup> отойдут. То верно?

Лжедмитрий с хрустом выбросил вперед руки. Одна была немного короче другой.

— Ни единой пяди в Литву не дам!

— Да еще про езовитов, что наехали нынче, неладно толкуют. Опасаются, не станешь ли христиан в латынскую веру перегонять?

Царь топнул ногой.

— Езовитов не хочу! Веры не трону! Латынских школ на Москве не будет!

— Та-а-ак-то...— недоверчиво протянул Шаховской.— О запасе ратном, государь, што прикажешь?

— В Елец ратного запаса возили бы вдоволь. Летней порой хана будем воевать.

Боярин, стоя уже в дверях, тихо промолвил:

— А все лучше— отъехали б скорее от Москвы поляки: не было б в народе шатости, смуты...

— Ступай!..

Едва Шаховской вышел, Лжедмитрий ударил кулаком по столыцу, где было тонко выбито море и корабли шли с клубившимися парусами.

Он в щепы разбил столец...

### 3

«...которые крестьяне бежали в голодные годы, а прожити было им мочно... и тех, сыскивая, отдавати старым помещикам... А про которого крестьянина скажут, что он в те голодные лета от помещика сбrel от бедности, и тому крестьянину жити за тем, кто его голодные лета прокормил, а исцу отказати: не умел он крестьянина своего кормити в те голодные лета, а ныне его не пытай...»

Опять, как при Годунове, бредут Ивановской ули-

---

<sup>1</sup> Литвою в Московском государстве XVI—XVII веков называли Польшу.

цей в Кремль. Шумит место челобитчиков — Боярская площадь.

Только нет у крыльца столов. С утра идет снег, пушит тульи бобровых шапок, звенит поземкой у стен, налипает на цветочную слюду оконниц. Царь с боярами, стоя, принимает челобитья. С ним рядом — Молчанов, сеченный при Борисе кнутом, поляки, Шаховской и «милостиво» возвращенный в Москву Шуйский.

Вот дочитан дьяком указ, и, красные с морозу и гнева, спорят дворяне-истцы, крестятся и гомонят челобитчики-крестьяне.

Сухой снег дымится у ног царя. Он неловок и хмур; глядит вниз на гладкие свои бархатные сапоги с подковами, плохо слышит докучные слова жалоб:

— Стойт, государь, у меня, у сироты твоей, в деревне Струнине, ротмистр, пан Микула Мошницкий, и лошади, государь, его тут же у меня на дворишке стоят... И взял у меня тот пан насильно сынишку моего, Ивашку, к себе в табор, и сам приезжает еженощно, меня из дворишка выбивает да пожитки мои грабит, и от того, государь, пана я, сирота, вконец погиб...

Крестьянин отдает дьяку челобитную — его место тотчас занимают другие люди.

— Сироты мы твои, государь, деревни Александровой, Бориско Степанов да Петрушко Темный. Приезжают к нам ратные люди польские и наших людей бьют и грабят. А ныне из них берут с собою мальчика по два, по три, и те ребята кур, гусей и утят крадут. А чтобы воровство их было незаметно, они тех кур и гусят зовут польскими именами: куренка они «быком» называют, утенка — «немецким государем», а гуся — «копченою сельдью». А начнешь с них спрашивать — говорят: «Спроси копченую сельдь».

Царь засмеялся.

— Ишь придумали! Про «копченую сельдь» узнайте, бояре!

Старая черница подошла близко, потряхнула с груди снег и ударила челом.

— С Черниговщины я, прежде была князя Телятевского дворовою женкой. Жила я с дочеришкой своей у него на селе, и он нас похолопил, а сын его, Пётра, взял

дочеришку мою к себе для потехи. И я царю Борису била челом, и та моя жалоба стала впусте. Только पुще разгневался на нас Пётра и посадил дочеришку мою на цепь, а я с той кручины ушла в обитель. Нынче не знаю, жива ль Грустинка моя. Вели, государь, сыскать, што с нею случилось.

— Телятевский?— хмурясь, спросил Лжедимитрий.— Не тот ли, кого казаки мои в Туле едва не убили?

— То, государь, старый князь,— сказал Шаховской,— а дочеришку взял у нее сын его, Пётра.

— Ладно, женка! Про дело твое велим узнать... Ну, ступайте, люди. Недосуг. Еще мне и без вас хватит дела!..

Алебардчики, тесня народ, побежали по снегу. За ними двинулся царь.

Он спешил на задний двор, где по воскресеньям травили медведей. Среди ратных людей началась «смута». Лжедимитрий решил вырвать измену с корнем. На заднем дворе ожидали расправы несколько сот стрельцов.

Сбившись толпой, они переговаривались глухими, испуганными голосами:

— Што-то будет?

— Не посекали бы нас.

— Пошто царь гневается?

— Гляди-ка, гляди! Выходы для чего-то все оцепляют!

Завидев царя, они сняли шапки и стали на колени.

— Затворить ворота!— крикнул Лжедимитрий и взошел на крыльцо.

Стрельцы молчали. Снег таял на их серых лицах. Царь заговорил:

— Как долго хотите вы длить смуту? Бог сохранил меня. Почти без войска овладел я престолом, а вы опять замышляете завести крамолу?

— Неповинны мы!— закричали стрельцы.

— Никто зла не мыслит!

Стрелецкий голова Микулин крикнул:

— Выдай нам изменников! Я им головы посрываю!

Лжедимитрий подал знак. Вывели связанных стрельцов.

— Вот они замышляют против меня: я-де еретик,

полякам норовлю во всем, а своим жалованья не даю, о вас не радею!..

Он махнул рукою. У крыльца с ревом и бранью завертелся клубок тел..

— Микулина жалую дворянским чином,— сказал Лжедимитрий.

Пан Богухвал, бывший в толпе, увидел на снегу кровь и отвернулся.

— Коня!— крикнул царь.

Ему подвели косившего глазами красавца зверя. Тот был подаренный Стадницким аргамак.

Шаховской поддержал стремя. Лжедимитрий отпихнул подножие и вскочил в седло прямо с земли. Аргамак прыжком вынес его за ворота..

Он скакал к реке. На льду с утра дивила москвитян новая его забава. Подвигаясь на колесах, извергал дым и огонь потешный «город». Внутри его сидели люди. Пестро раскрашенный, уставленный пушками, громыхавший листовою медью, он имел вид пса.

Несколько смельчаков стояли на льду, а на берегу у стен теснилась толпа, сияясь разглядеть издали потеху.

— Эко неладное што творится,— слышались речи.

— Сказывают, то гуляй-город<sup>1</sup> для войны сделан, туркам для страху.

— Да не. То игры скоморошья царь затеял.

— Искони такогө у нас не бывало!..

От реки вприпрыжку, без тулупа и шапки, бежал измазанный смолой старик.

— Ну, видал!— кричал он, вертясь юлой и натирая черное лицо снегом.— Стоит ад о трех главах, словно пес медный. На кровле колокольцы звенят, изнутри огнем пышет. А сидят в нем люди в личинах, дьяволами наряжены, и мажут народ дегтем да бьют кнутами. Во дела сатанински! Едва ушел— таково мне от них досталось!..

Слова команды доносились с реки. Лжедимитрий шел к гуляй-городу на приступ. Народ все тесней при-

---

<sup>1</sup> Гуляй-город— старинное подвижное укрепление на катках или колесах.

жимался к стене и вдруг быстро, как по уговору, стал расходиться. Теплый последний снег залеплял бойницы, чешуйные кровли башен, зубчатый кремлевский воротник...

4

«...Усмотрели... и улюбили себе... ясневельможную панну Марину с Великих Кончиц, Мнишковну, воеводенку Сендомирскую, старостенку Львовскую, Самборскую, Мезеницкую...»

Плавающий мост на бочках через Москву-реку был затоплен народом. Опять входило в город «многое панство». Гайдуки и жолнеры в собольих шапках с белыми волнистыми перьями кричали: «Vivat!» Они нарочно горячили коней и теснили москвитян.

Раскрашенные лошади везли обитую парчой карету. На подушках, чтобы быть виднее, сидела маленького роста панна. Глаза ее пожирали Кремль. Злые тонкие губы блекли и не разжимались; казалось, у нее вовсе не было рта.

Лжедмитрий искусно расставил стрельцов: можно было подумать, что их очень много. Едва Марина проезжала одни ворота, стрельцы скакали к другим. Поезд двигался медленно, в течение целого дня. Били в бубны, трубили в трубы часто, кто как умел, без всякого толку.

Карета остановилась у Девичьего монастыря. Марину ввели в монастырские покои (палаты в терему еще не были готовы). Боярин Шаховской сказал царю:

— Гляди, государь, голову Марина убирала б по-русски!

— Ступай прочь! — зашипел на него Лжедмитрий.

Всюду шумно ликовала шляхта. Бояре стояли по-нуро и тихо. Случилось неслыханное: в Кремль не пустили простой народ...

А он собирался на Пожаре<sup>1</sup> меж рундуков и шалашей мелкого торгового люда.

---

<sup>1</sup> Так называлась в первой половине XVII века Красная площадь.

— Беда нам!— кричали москвитяне.— Станут поляки нашу кровь проливать, а жен наших забирать в Польшу!

— Ходят, окаянные, с оружием, и никто против них слова сказать не смеет!

— Да еще похваляются! «Вера-де будет у вас люторская и латынская».

— Худо, крещеные! А только тому на Москве не быть!..

В гостином дворе раскрывались погреба с заморским вином, выкатывались бочки с икрой, доставались из ларей лучшие товары.

— В убыток торгуем,— говорили купцы.— Не видит царь, што иноземцы понаехали,— веселей нашего торг ведут.

Во многих лавках лежали вещи, привезенные из Кракова, Аугсбурга, Милана. Шелк, перлы, штофные обои и кружева брались в терема, и казна без счета уходила за рубеж...

Пришлые ратные люди собирались на Гостином дворе. То были головы и сотники шедших из Новгорода и Пскова ополчений.

— Во беда,— тихо, с оглядкой говорили они.— Вместо Крыма-то на Москве дела будут.

— Вестимо! Государь, бают, старейших бояр побить замыслил.

— Пошто за него стоять? Да и прямой ли он царь?

— А на Тереке,— шептали ратные,— был муромский посадский человек Илейка, а нынче прозвался царевичем Петром...

— Вот што, служилые! В середу о полночь к боярину Шуйскому на совет сходитесь!

— Дело молвишь!

— Своих упредите... Чуете?

— Чуем.

Забряцало оружие. Поляки с песней проехали мимо. Ратные выскочили из Гостиного, бранились, грозили им кулаками:

— Гуляй, гуляй! Недолог срок вашей гульбе!..

## Дневник польских послов

«5 мая.

В сей день воевода<sup>1</sup> представлялся Димитрию... Дворец его деревянный, но красивый и даже великолепный. Дверные замки в нем вызолочены, печи — зеленые, а некоторые обведены серебряными решетками... Царь сел за отдельный стол... В половине обеда пану воеводе сделалось дурно; он вышел из-за стола в царский покой.

8 мая.

Царь ездил с паном воеводою на охоту. В числе разных зверей выпустили медведя. Когда никто из панов не отважился вступить с ним в бой, вышел сам царь и, одним ударом убив медведя, саблей отсек ему голову при радостных восклицаниях москвитян.

12 мая.

Был въезд царицы в Москву...

13 мая

Царица просила царя, чтобы для нее готовили особое кушанье, так как приносимого из дворца она есть не могла. Царь тотчас призвал кухмистра и поваров польских и велел им готовить для царицы всего вдоволь... Камер-фрейлинам также приказано было прислуживать царице. Они весьма грустили, опасаясь, что останутся в неволе навсегда...

17 мая.

В среду, в три часа ночи, русские проводили царицу из того монастыря, где она жила пять дней, в приготовленные для нее покои. Проводники несли в руках льняные свечи, похожие на наши похоронные...

18 мая.

Царица была коронована... В сей день, кроме коронации, не было ничего...»

---

<sup>1</sup> Воевода — Юрий Мнишек, отец Марины.

Утро пятницы пришло недоброй тишиною. Народ укрылся в домах. Железными ставнями закрыли окна лавок. Поляки ходили по городу, спрашивали свинец и порох. Им ничего не продавали. «Все вышло,— отвечали купцы,— а скоро будет, тогда всем вам хватит».

В город приходили холопы — люди Шуйского и Куракина, тайно вызванные из вотчин в Москву.

В полдень один дьяк пробрался в терема, увидел царя и крикнул:

— Истинно ты — Гришка, не цесарь непобедимый, не царский сын, а вор и еретик!..

Его схватили.

Басманов, ближний боярин, с лицом как сырое мясо, известил Лжедмитрия:

— Неладное деется — замышляют на тебя Шуйский и многие с ним.

— Беда мне с вами,— весело сказал царь,— да скажи ты Шуйскому: меня-де бог сохранил, а он, Василий, во мне не волен. Экие люди, нет на них тишины!.. Нука, боярин, молви што иное.

— Слух еще есть: был-де у царя Федора сын Петра... А нынче муромский посадский человек Илейка назвался царевичем Петром и пришел под Астрахань. Да сказывают и такое, што и впрямь он — Петр.

Лжедмитрий, помолчав, сказал, высоко заведя бровь и упершись в бок рукою:

— Вели ехать на Волгу гонцам — звать Петра в Москву. Такова мне пришла охота. Понял?

Отпустив боярина, он ходил из угла в угол, сидел и читал грамоты, подписывая их: «Demetrius Inperator»<sup>1</sup>. Потом кликнул Басманова, долго толковал с ним о медвежьей потехе и — как бы невзначай — велел удвоить в теремах польский караул...

А по слободам жаловались друг другу пришлые холопы:

---

<sup>1</sup> Demetrius Inperator (Дмитрий Инператор) — неграмотная подпись Лжедмитрия.



— При Димитрии Иваныче нисколько легче не стало.

— Што было хлеба ржаного, и тот хлеб свезли, и сено, и скот на потребу панам,— всё забрали!..

— Промеж дворов скитаемся! К царю бы дойти!

— Аль чело свербит? Не, братья! Едино— на Комаринщину бежать надо!

В терему Марины готовились к веселью. Всю ночь примеряли платья, потешные маски... Было тихо. Лишь поляки для страху били из самопалов.

Низко стояла тяжелая, мутная луна...

На рассвете Лжедимитрий увидел сон.

Белоглазый аббат вел людей в черных сутанах к гуляй-городу на приступ. «Уймись!— говорил Лжедимитрий.— Не то и мне и вам худо будет!» А они всё шли по льду, тихие и немые; и только белоглазый кричал и прядал, как барс. «Гляди ж, коли так!»— сказал Лжедимитрий и повернул аббата лицом на восход солнца. Но там ничего не было. Только пар клубился, и тек, и, казалось, был полон звона... «Видишь?»— спросил он. «Нет».— «Неужто нет?— закричал Лжедимитрий.— Да вся ж Москва собралась на тебя!»— и проснулся.

Потешная маска свалилась с одеяла.

Басманов, потный и красный, тряс его что было мочи.

— Сам ты повинен, государь!.. Не верил?! Гляди— вся Москва собралась на тебя!..

Частый сполошный звон ударял в потолок и оживал во всех вещах, стоял по углам палаты. Лжедимитрий вскочил. Золотой верх собора вспыхнул вдали. Гнутый, как зеркало, лист кровельной меди бросало ветром...

Эту же носимую ветром медь заметил, когда проезжал Москворецкие ворота... Он стоял в сорочке, рыжий, босой... Вдруг от топота ног загудели своды. Трянула брань...

— Я вам не Годунов!— завопил он и сорвал со стены палаш.

И тотчас хриплый и будто веселый голос спросил:

— Ну, безвременный царь, проспался ли?!

Первый загудел набат на Ильинке на Новгородском дворе. За ним — кремлевский колокол «Налд», в который всегда били при тревоге.

— Кремль горит! — закричали смутники. — Царя убить хотят! Литва бьет бояр!..

Шуйский и люди его, оттеснив народ, кинулись к теремам и, лишь покончив с Лжедмитрием, дали толпе дорогу...

Искали Марину... Царская утварь летела из окон на Житный двор.

Волокли шубы, одеяла. Разрывали парчу. Уводили из стойл польских аргамаков...

Из палаты в палату пробирались Молчанов и Шаховской. Они спотыкались о вороха теремного скарба. Под ногами трещали кубки. Вот с треском разодрался холст: то была парсуна<sup>1</sup> Лжедмитрия, написанная в Польше.

Большую горницу заливал солнечный свет. Русый веселый холоп шел им навстречу. Одной рукой он загнул полу кафтана, и в ней звенело и каталось серебро, в другой — прямо, не таясь, нес царскую печать и державу.

— Аль у плахи не был?! — ступив вперед, крикнул Шаховской.

Холоп остановился.

— На рухлядь мою не зарься, боярин! Биться стану!

Шаховской смотрел на его руки.

— Рухлядь не надобна! А пошто печать скрал?

— Ерш бы в ухе да лец в пироге! — сказал холоп. — Служил я более восьми лет при дворце, наводил чернью блюда и кубки, и на той работе глаза мои потускли. И в прошлом году за ту мою службу велено мне сделать платье, а сделано не все: шубы, шапки, кафтана, портов и сапогов не сделано. Ныне вот рухлядь сию взял, унесу, кому ни есть сбуду...

— Добро! — перебил Молчанов, и в руках его звякнул кошель. — За одну сию печать што просишь?..

Холоп взял деньги, отдал печать и побрел.

---

<sup>1</sup> Парсуна (от лат. persona — личность, особа) — портрет.

— Во, Михайло!— сказал Шаховской.— То нам нечаянна удача!..

Солнце ломилось в окно. У Молчанова был утиный нос и лицо на свету веснушчатое, худое. Он провел сапогом по разорванной парсуне, высоко завел бровь и уперся в бок правой рукой.

— Чем не цесарь!.. Ведь схож!.. Ну, коней я добрых припас! Бежим, боярин, отсюда, бежим, покуда живы!..

Едва они вышли— жаркого цвета опахала двинулись в углу. Скрипнула жердь. Вдовый цареборисов попугай все еще жил в островерхой клетке.

Птица, повиснув вниз головой, качнулась и быстро завращала круглым глазом. Потом крючковатым клювом долбанула жердь и прокричала, ясно позвала кого-то:

— Це-сарь!..

Домá поляков в канун субботы пометили русскими буквами. Бушевал погром. Дым выстрелов простирался низко, как болотный пар.

На Посольском дворе крепко засели паны: Гонсевский, Жовтый, Богухвал, Заклика. С ними была челядь: известные всем в городе шут Балцер, Сенька, сапожник из Львова, и Талашка, повар и музыкант.

— Убили царя!— говорил повар.— У москалей господари живут недолго.

— Кто повинен?— отвечал сапожник.— Обещался он землю в тишине устроить. А что сделал? Где тишина?

Один шут Балцер тешился в бранной суматохе. Его больно били, и никто не смеялся. Но он все бегал по двору и кричал докучно: «Панове! Панове! Седлай порты! Давай коня!»

Три дня лежало тело Лжедмитрия у стены на Пожаре. «Глядите,— смеялись москвитяне,— у нас таких царей на конюшне вдоволь!» Живот был изрублен и вспучен; лицо закрывала овечья жаря. Гулящие бабы, бранясь, скакали через него.

Потом его увезли за город и бросили в божедоме. Вскоре прошел слух, что на теле его сидят два голубя,

и многие подумали: «Точно ли был он повинен?» А то были не голуби, а воронье.

Подули северные ветры. «Это — Гришкино черно-книжство!» — сказали попы. Скверная женка кричала по городу: «Будете жить ни сѣро, ни бѣло!» Народ смутился: «Что будет?! Что будет?!» И тут неведомо кто пустил слух: Димитрий потаенно ушел!..

В среду к Марине пришли знатнейшие московские люди.

— Муж твой — вор и изменник, — сказали они, — ты знала, кто он, и все-таки вышла за него замуж. За это ворота все, што тебе вор в Польшу пересылал и на Москве давал.

Казалось, у нее не было рта — так крепко сжала она блеклые, сухие губы.

— Вот — ожерелья мои, жемчуга. Я заплачу и за то, что проела у вас с моими людьми.

— Мы за прѣбѣсть ничего не берем, — сказали бояре, — а ворота нам, Маринка, пятьдесят пять тысяч...

Тут сильный шум донесся из-за стен Кремля.

Дул ветер. Народ кричал и бранился. Потешный гуляй-город подвигался со скрипом, гроыхая листовую медью: то — по совету попов — везли тело Лжедмитрия на урочище Котлы.

Там, меж курганов, сожгли его, пепел забили в пушку, и гром развеял его по ветру...

В тот же день пан Богухвал отослал в Польшу письмо:

«...То не было тело Димитрия, но человека какого-то дородного, со лбом оголенным, с персями косматыми, а Димитрий был тела умеренного, стригся... и перси имел не поросшие для малых своих лет. Того же дня пропал боярин знатный Михайло Молчанов... да... листы прибиты были на воротах боярских от Димитрия, где давал он знать, что ушел и бог его от изменников спас. Притом пропала турецкая лошадь царская, называемая «Дьявол»... Как бы то ни было, но то верно, что Димитрий I в Москве не убит, чего очевидным свидетелем был также некий

Круширский, из Скржынек, слуга пана Мартына Стадницкого... Во всем этом своею верою, честью и совестью клянется

пан Богухвал».

## СОЛНЕЧНЫЙ ГРАД

Они считают, что в первую очередь надо заботиться о жизни целого, а затем уже его частей.

Кампанелла

### 1

«Если кораблю угрожает гибель,—гласил закон, изданный в Генуе в начале второй половины XVI века,—то для спасения его следует выбросить все имеющиеся налицо вещи: золото, серебро, лошадей, рабов и прочих скотов...»

В Анкону пришла генуэзская галера со сломанной мачтой, разбитым бортом и порванными бурею парусами. На ней почти не было людей.

У мола стояло несколько груженных трирем<sup>1</sup>. Над ними высилась городская стена с направленными на море бомбардами. Человек в куртке без рукавов и в малиновых шароварах сошел с галеры на берег. У него были большие синие глаза и лицо, сожженное ветрами многих морей.

Во время бури, когда, по обычаю, бросали в море рабов, Иван сжалился над немым испанским юношей, которого приняли за раба и собирались утопить. Болотников спас юношу, отдав хозяину галеры все, что получил от однорукого старика при отъезде из Стамбула... Он не остался в городе и немедленно вышел из Анконы... Тепло обтекало его. Смуглые крестьяне шли навстречу. Веселая зелень полей лежала перед ним.

Виноделы дали ему ночлег и работу. На другое утро стадо коз объело большой участок. Человек с круглым животом и косматыми руками показал ему шесть раз по десять пальцев. «Два месяца!.. Работать

---

<sup>1</sup> Трирема — судно в три ряда весел.

за одну еду!.. И почти без платы!..» Иван поник. Письмо, зашитое в полу куртки, гнало его в дорогу. Но он кивнул головой и пошел стеречь лозу.

Он обходил с лейкой холмы, густо одетые шершавою, туманной по утрам листвою; работал у точила, где бондарь готовил к осени чаны и бадьи. Легко и живо перенимал он речь, и виноделы вскоре слышали его неловкий говор. Когда прошел срок, он расспросил их о дороге и побрел в горы, пробираясь в Калабрию, к монастырю...

Спустя десять дней он пришел в деревню Стеньяно. Его привело к ней ущелье Стильяро. Оттуда был виден Тарентский залив, и синяя даль резала глаза до боли. В версте от деревни он увидел монастырь.

Сонный привратник впустил его за ограду. Он выслушал Ивана, подержал в руках его письмо и сказал:

— Это мужской доминиканский монастырь. А тебе нужен женский кармелитский. Он лежит в двух часах ходьбы отсюда. Мы по утрам возим туда молоко и сыр. Однако ж войди, отдохни,— добавил он, видя, что путник покрыт пылью и потом.

Прелый навоз лежал на дворе, тек ручьями и дымился. Каменный, похожий на пещеру вход открылся перед Иваном. Сбоку мелькнули белые башни, бойницы, острый шпиль.

Часть кельи занимал очаг. На полу горел огонь: мохнатый от сажи горшок на цепи лизало разведенное на железном листе пламя.

Иван принялся за еду.

— Я знаю, кого ты ищешь,— сказал привратник,— это «золотая Мариучча». Так мы зовем ее, потому что волосы у нее желтые как мед... Слушай,— сказал он вдруг,— Батиста, что возит кармелиткам молоко, стар. Ему трудно гонять мула ежедневно. Хочешь, я скажу настоятелю, он возьмет в помощь тебя?..

В полдень Иван пришел в кармелитский монастырь.

Он долго стоял у решетки. От цветных стекол было прохладно и полутемно; клонило ко сну. Жестко звенели мухи о железо.

Наконец он ее увидел. Голова девушки и впрямь была «золотой»: тяжелые, точно литые, волосы выби-

вались из-под скрывавшего лоб убора. Иван отдал письмо. Она положила руку на решетку вровень с плечом, и глаза ее чем-то напомнили ему Грустинку...

Лицо ее побелело — сделалось розовым — побелело опять.

— Ну вот! — сказала она. — Франческо жив!.. Как хорошо!

И в упор посмотрела на Ивана.

Он стоял перед ней, оробевший, грубый, смешной.

— Что ты за человек?

Рот его набух. Он молчал.

— Расскажи о Франческо.

Он опять не ответил.

— Ну что же ты?

— В иной раз... Как привезу молоко...

— Какое молоко?! — в испуге закричала она.

Он, весь в поту, быстро пятился к дверям и тоже смотрел на нее со страхом...

В монастырском саду смутный гул кочевал по кронам дубов. Он вбежал в чащу олив, притянул к губам ветку и, забирая ее в рот, стал жевать душистые, сырые листья.

Едва рассветало, он запрягал мула и гнал его к воротам монастыря. Дряхлый Батиста улегся в келье привратника и сказал, что ему очень хорошо, но работать он больше не станет.

Мул был оливковый, в проплешинах; он стриг ушами и бил задней ногой. Дорога тянулась полями до большого, похожего на овцу, холма. На нем открывался монастырь с густой синевою садов и белизной порталов...

Он сдержал слово. В один из воскресных дней Мариучча услышала краткую повесть о Франческо. Говоря с ней, он смотрел по сторонам и прятал глаза в пол. Она поняла, что он робеет, и сказала смеясь:

— Приходи опять, только не смотри в пол и не будь таким робким...

Но он не пришел. Келья, привратник и мул скоро стали ему в тягость. Он хмуро подолгу слушал звон монастырских колоколов и смотрел исподлобья на ти-

хих людей, бродивших вдоль стен с вечным шелестом ряс и костяным стуком четок.

Самые старые из них держались в стороне от всех. Молодые же собирались в саду, о чем-то спорили и совещались. До Ивана доносился крик, иногда ясно слышались слова угроз, и он спрашивал себя: к чему этим крепким румяным парням затвор, когда им впору сидеть на коне либо ходить за плугом?..

Однажды с ним заговорил молодой монах. У него были веселые глаза. Его звали Паскуале. Они понравились друг другу.

Монах протянул Ивану книгу. Тот покачал головой.

— Хочешь, я научу тебя читать?

— Пожалуй, брат, обучи!..

Паскуале повел его в библиотеку...

С тех пор они часто сидели под низкими косыми сводами, пока медные волны «Angelus'a»<sup>1</sup> не разбивали тишины. В деревянных досках и в желтой маслянистой коже таились пухлые «Vitae Sanctorum»<sup>2</sup>, лежали связками папские грамоты и списки песнопений, переложенных на затейливую вязь квадратных нот.

Монахи-молчальники, на которых настоятель наложил епитимью, приходили в библиотеку. Одни из них тянули себя за уши, намекая этим на свое скудоумие и прося дать неканоническую книгу; другие же складывали ладони чашкой, показывая, что расположены к чтению благочестивых книг.

Иван постепенно свыкся с латынью. Вскоре, найдя среди хлама случайную книгу, он даже одолел пять страниц трактата «Об осаде и защите замковых стен». Но его все сильнее тянуло на волю, и монастырские стены сдвигались вокруг него тюрьмою. К тому же — он это заметил — монахи стали его в чем-то подозревать...

Как-то он спросил Паскуале:

— Чего иные из вас таятся в саду и все между собою шепчут?

— Они говорят о брате Фоме, — сурово ответил монах.

---

<sup>1</sup> «Angelus» — католическая молитва (лат.).

<sup>2</sup> «Vitae Sanctorum» — «Жития святых» (лат.).



— Это кто?

— Брат Фома родом из этой деревни. Прежде он жил с нами, но святые отцы упрятали его в тюрьму.

— За какие ж дела?

— За то что он был умней этих крыс в черных сунтах и хотел, чтобы народ выгнал испанцев из захваченной ими земли!

— Так-то!

Ивашка смотрел на монаха большими потемневшими глазами.

— Брат Фома нашел истину. Он открыл врата нового века. Он написал великую книгу и назвал ее «Солнечным градом»... Это — путь к правде и миру на земле...

— Что в той книге?! — Ивашка схватил Паскуале за плечи. — Какая в ней правда?!

Монах отстранился, строго посмотрел на него и вдруг улыбнулся.

— Слушай! Я расскажу тебе о «Солнечном граде»... И он заговорил...

## 2

На самом дне неаполитанского Castello Nuovo<sup>1</sup> проснулся узник. Его звали Фомой Кампанеллой. Монах-философ, мечтавший о коммунистическом государстве Солнца, он был в Калабрии не только мечтателем, но и главой заговора против испанского ига. Испанцы бросили его в эту смрадную дыру.

Темный колокол рясы, казалось, врос в ледяные плиты пола. Узник повернул к двери курчавую голову на тучной шее и удивился. Сегодня никто не будил его, не тревожил, а между тем днем ему никогда не давали спать.

У него были круглые зеленые глаза, но едва солнце уходило из каменного мешка, празелень глаз сменялась угольною чернотой.

— Джакопо! — крикнул он. — Не попасть бы тебе в беду! Я не стану тебя щадить и просплю до ночи!..

---

<sup>1</sup> Castello Nuovo — Новый замок — название неаполитанской тюрьмы (итал.).

Он встал и шагнул к столу. Груды свитков и книг раздвинулись под его локтями. Он взял тетрадь с надписью: «Civitas Solis»<sup>1</sup> и положил на солнце — сушить. Стены покрывала плесень; сырость, как мелкий бисерный пот, сияла в углах, а в самом низу темнела и будто шевелилась грибная корка.

Мышь уселась на краю стола. Она была белая, с пунцовыми глазками, и не боялась.

— А! Брат Бильбия! — воскликнул узник и, взяв мышь на ладонь, заговорил с нею, вытянув руку к свету. — Почему вы одни?.. Или вам не известно, как ведут допрос?.. «Не менее двух хороших ученых людей», как сказано в «Ragastica» Людовика Парамо!..<sup>2</sup>

Лицо его побледнело, глаза стали глубоки и черны. Еще одна мышь взобралась на стол и свесила хвостик с корешка книги.

— И брат Фабио тут? Теперь все в порядке. Итак, начнем... Что?.. Верю ли в бога? А вы? Верите? Я тоже... Постойте! Что это пишет ваше перо? «Он верит, что мы верим!..» Ну нет! Если так, пишите: «Не верю!..» Дальше!..

Откуда я знаю то, чему не учился? Для этого я извел в лампе масла больше, чем вы успели выпить вина!.. Что? Вы говорите — плохо кончу?.. Бильбия! — Он сжал пальцами мышь. — Я в твоих руках. Мои кости треснули и срослись. За сорок часов пытки я уже потерял шестую часть своего мяса... Как?... Не слышу!.. (Из углов выбегали мыши и тихо кружились у его ног.) Вы говорите: «Сострадание и справедливость!» А что они сделали с Антонио Серра?<sup>3</sup> А костер Джордано Бруно?<sup>4</sup>

<sup>1</sup> «Civitas Solis» — (лат.) — «Государство Солнца» — утопическое произведение уроженца Калабрии Фомы Кампанеллы (1568—1639) — занимает видное место в истории развития коммунистических идей. Преследуемый Инквизицией, Кампанелла провел в тюрьме 27 лет.

<sup>2</sup> «Ragastica» Людовика Парамо — составленное одним из инквизиторов руководство, как производить допрос.

<sup>3</sup> Антонио Серра — итальянец, экономист XVI века, автор одного из первых трудов по политической экономии; был преследуем Инквизицией.

<sup>4</sup> Джордано Бруно (1548—1600) — итальянец, философ; по определению Энгельса — «гигант учености, духа и характера»; одна из наиболее ярких фигур эпохи Возрождения; сожжен на костре в Венеции католическими попами как еретик.

А кровь — всюду, куда ступает нога испанского солдата?.. Будущие века будут судить нас!.. Все книги мира не утолят моей жажды!.. Вы ничего не можете отнять!.. Колокол мой зазвонит<sup>1</sup>, и народ сметет королевских псов, продающих кровь и попирающих свободу!..

Он топнул ногой. Мышь, пискнув, прыгнула с руки..

Загремел засов. Джакопо боком переступил порог. Дверь медленно затворялась, и, как стрижи, горяче взвизгивали петли.

— Опять вы говорили с мышами, брат Фома? Правду сказал брат Бильбиа, что в вас нет никакого страха.

— Запиши, Джакопо, — он не солгал!

Тюремщик был худ и лыс, с жировой шишкой у виска. Узник стоял перед ним, гневный, большой, как глыба камня перед обвалом.

— Где ты пропадал все утро? Я не получил еды, но зато спокойно спал.

— Брат Фома, не говорите никому об этом!.. У меня нынче радость. Вернулся сын, которого я не видел восемь лет. Он, бедняга, немой и едва не погиб из-за своего несчастья во время бури... Едва они отошли от Мальты, на галере появилась течь: весь груз и рабов (как велит закон) стали бросать в море. Его приняли за раба и уже хотели утопить. Спасибо, нашелся добрый человек и хорошо заплатил хозяину галеры...

— Добрый человек нарушил закон. Брат Бильбиа должен подвергнуть его пытке.

— Сердце ваше ожесточилось, брат Фома. Верно говорят, что вы хуже Лютера и Кальвина. Ваши писания читают одни мыши.

Ряса качнулась. Узник взял с солнечной полосы на полу тетрадь и захохотал.

— Я обманул вас! «Государство Солнца» вышло на волю из тюрьмы! Немцы тискают его теперь на своих печатных станах, и колокол звонит по всему миру!

— Вы — еретик!

— Ступай вон, Джакопо!

Тюремщик поспешно открыл дверь.

---

<sup>1</sup> Колокол мой зазвонит — игра слов: Campanella по-итальянски — колокол.

— Больше вы не будете спать днем! — прошипел он, пока, визжа, поворачивались петли. — Молитесь святому Антонию, брат Фома... Кого не слушает бог — слушает тех святой Антоний!..

3

Болотников медленно брел межой, удаляясь от монастыря. Был час «Angelus'a». Будто от звона, волновались поля. По дороге пылил скот. Везли сено. Солнце не жгло, и пастухи снимали шляпы.

Его окружал звон, и в памяти оживал слышанный рассказ. От этого тело наливалось, как колос, и он шел, полный шума своей крови...

Иван поднял голову и удивленно посмотрел перед собой. Окруженные сумрачной зеленью садов, белели стены и порталы. Он стоял у монастыря кармелиток. Круто повернув назад, он спустился с похожего на овцу холма... Затемно он пришел в монастырь. Привратник спал. Встревоженный Паскуале открыл ворота.

— Наконец-то! — прошептал он. — Я давно хотел тебе сказать... Старшие братья донесли настоятелю, что ты не католик... Не знаю, так ли это, но только тебе грозит суд. Хотя ты и ни в чем не повинен, но лучше беги, пока сюда не вызвали испанской стражи...

— А мне тут не жить, — сказал Иван. — Я и сам надумал уйти. Спасибо тебе!.. Прощай!..

И, не заходя в келью, он быстро вышел за ограду...

Дозорный колокол, возвещая приход корабля, прозвонил на укрепленном берегу венецианского предместья. Море у Киоджи было полно лодок с рыжими, красными и почти черными парусами. Тотчас за карантинном гудели льнопрядильни. За ними поднимался кряж канатных и стекольных мастерских. Грязный рыбацкий городишко лежал перед Иваном. Вдоль мутных, зелено-голубых каналов сновали матросы, рыбаки, комедианты. Киоджоты, толпясь на выгнутом мосту, ждали прихода кораблей.

В тесной таверне пахло ореховым маслом и стоял такой дым, словно там спалили целый фунт пакли. Ед-

ва Иван вошел, двое людей в узких камзолах и круглых шляпах приблизились к нему.

— Я — Джино, он — Биндо, — сказал один, картавый и горбоносый. — Мы — гондольеры. А ты кто? Что умеешь делать? Не хочешь ли стать гребцом?

— Я был галерником.

— Тогда весло и гондола найдутся.

Они стояли обнявшись. Их лица были открыты и ясны.

— Теперь жаркое время. Гребцы нужны. Пойдем с нами. Будем жить дружно!..

Они отправились в Венецию по длинному мосту на сваях, лежавшему в мертвом забытии лагун...

Это был славный народ. Они называли друг друга братьями и умели крепко держать слово... Старшина их дал Ивану одежду гребца и гондолу — длинную, обитую черным сукном со стенами, мерцавшими тусклыми зеркалами.

— Вот, — сказал он, — от Бролио до Риальто вода — твоя.

Город, весь в легких выгибах мостов, казалось, уплывал куда-то. Тишь стекленила воду. Каналы были зловонны и грязны, но от опрокинутых в них домов и колоколен струилась складчатая парча.

На другой день Джино показал Ивану город.

— Смотри, Джованни, — говорил он, быстро взрывая веслом мутно-зеленую пену. — Вон алебардчики в будках у больших домов. Это — арсенал. Здесь льют для галер пушки и куют оружие. А видишь, в воротах стоит судно? На нем выезжает в море дож.

Женщины в черных платках шли вдоль каналов. Тафта покрывала их головы. У воды — в белой одежде с большими красными звездами — стоял портной.

— Держи к берегу, — засуетился Джино, — нас кличут!

Высокий старик в лиловой мантии с висящими до земли рукавами вошел в гондолу. Они перевезли его через канал. Выходя на берег, он заплатил Джино, и тот поцеловал его рукав. Еще несколько человек прошли мимо в такой же одежде.

— Знаешь, Джованни, что было у него в рукаве? Чеснок!

— Что это за люди?

— Да наши дворяне. Они чем беднее, тем спесивее. Этот вот — сам ходит на рынок. Он даже не имеет слуг.

Народ толпился у разукрашенного дома; в раскрытые двери были видны стены, обитые тисненой кожей, и потолок, закопченный, словно то была тюремная поварня.

— Игорный дом, — сказал Джино, — его содержат самые знатные люди. Выбравшись отсюда, многим приходится «удариться о камень». Здесь разоряется народ.

— Что это: «удариться о камень»?

— А у нас такой обычай: если человеку нечем уплатить долг, он садится у ратуши на камень, и долги с него снимают.

Открылось озеро. Гондола проскочила под горбатой аркой. За нею выплыл большой, со многими портиками дворец.

— Видишь свинцовую крышу? Сюда лучше не попадайся. Это тюрьма — «Пьомби». Тут заседают инквизиторы, Совет десяти, проклятые «ночные судьи». Меня водили как-то к ним на допрос...

Они проехали мимо лавок с выставленными напоказ чашами в виде дельфинов и кубками, игравшими на солнце, как стрекозиные крылья.

— Гребь сильнее, — говорил Джино, — не стоит смотреть! Эти товары даром хвалят. Зеркала наши либо черны и желты, либо показывают человека кривым и уродом; бумага протекает, а хрусталь похож на стекло...

Четыре медных коня бурно мчались над порталом собора. Море омывало площадь. Кричали лоскутники, продавцы печеных тыкв и рыбы. На жаровнях лопались каштаны. По рынку сновала веселая, шумная толпа.

Иван, уставший от гребли, с радостью встретил венецианский вечер. Он сидел в кругу гондольеров, слушая смутное дыхание моря. Вода цвела огнями, и город обдувало теплым ветром. Не утихало и к ночи мелькание черных гондол и черных платков...

Это был честный народ. Они топили своих товарищей за воровство и неправду. У них все было общим, и дневная выручка без утайки сдавалась старшине.

Шло время. В зеленую гавань приходили корабли.

От лодок и фелюг веяло знакомыми запахами Леванта. В каналах часто возникал затор, тогда стучали весла. «Эй! Fratellino! (Братец!)» — покрикивали гондольеры. Эхо летело от стены к стене.

Однажды монах в черной хвостатой мантии с капюшоном поманил их с берега. Они подъехали. Монах заговорил с Джино. У него было дряблое лицо, и ногти желтели на руках, как клювы.

— Ваше монашеское величество! — вдруг закричал гребец. — Право, я ничего не знаю.

Старик погрозил желтоклювым пальцем и ушел.

— О чем он? — спросил Иван.

— Это суцая беда, Джованни. Мы должны доносить обо всем, что видим и слышим. Так повелось издавна, и этому ничем нельзя помочь, сейчас о н и ищут кого-то, и если я ничего не разузнаю, меня заберут в «Пьомби».

Иван промолчал и весь день после того был хмур...

Потом наступил праздник. В Венеции не стало ни дня, ни ночи. Народ ел и спал на площадях. На самый верх колокольни поднимали в челноке гребца; он пел, кричал и стрелял из пистолета. Гондольеры с красными повязками на головах бродили по рынку. Цыгане играли в карты на мостовой.

Иван сидел у воды, близ дворцовых портиков. Высоко над ним солнце накаляло свинцовые кровли.

С моря доносился гром пальбы.

Человек в рваном московском платье, видно истомленный долгой дорогой, подошел к Ивану.

— Гляжу, будто русский ты, — проговорил он и показал рукой на город. — Камень-то, чай, на сваях стоит?

— На сваях. — И тотчас вскинулся Ивашка: — Отколе ты?.. С Москвы неужто?..

— С Москвы и есть. Горя-кручины хлебнул вдо-сталь. Доля-то, вишь, закинула куда!

— Што на Руси?.. Каково стали жить? Вольно, легко ли?

— Ты-то давно ль на чужбине?

— Да годов семь.

— Ну, многого, знать, не ведаешь. Царя Бориса давно уж не стало. После него Димитрий Иванович царем

был. Обещался он всем милость оказать, да обманул, его и убили. А сказывают и так, будто в Литву ушел.

— А нынче што?

— Нынче пошло все на потрѣс. Замутилось так, что ни земли, ни неба не видно людям. Холоп да крестьянин в силу приходят. Скоро большие дела будут. И то сказать: бояре великую волю взяли — Шуйский на Москве царем сел...

— В срок повстречал я тебя,— сказал Иван. — Вот што, брат! Ступай ко гребцам,— они народ дружный,— работать станешь; от меня поклонись. Я-де на Русь брести задумал. Долю свою знаю, кровью чую... Ну, прощай!.. Прощай и ты, веселый, славный город...

И, уже не глядя на изумленного земляка, добавил:

— Когда железо кипит — тут его и ковать!..

4

Горные тропы Тироля — переезд через Рейн — владения маркграфов баденских — переправа в Ульме через Дунай — и дальше берегом — на восток — таков был его путь.

В чешских деревнях по приказу владельцев шел снос, крестьянских дворов. Поселяне молча смотрели на свое разоренье. Горе ожесточило их сердца, высушило и замкнуло лица. Путнику нелегко было найти ночлег.

В конце июня он пришел в Прагу.

Иван увидел город, раскинувшийся по обоим берегам Влтавы. Связанные мостами, грядою островерхих кровель пластались в дымке острова.

Он миновал старый Карлов мост с башнями по концам, и тотчас открылись узкие извилистые русла улиц. Многие дома стояли заколоченные досками. От них тянуло по ветру смолою и воском: в городе недавно была чума.

В пустовавшей корчме висело над стойкой грубо отиснутое изображение: человек в черном плаще вылетал из погребка верхом на бочке. Под нею стоял год — 1525 — и чернела подпись:

Doctor Faust zu dieser Frist  
Aus dem Keller geritten ist...  
(Доктор Фауст в этот срок  
Наш покинул погребок...)



В углу немец угощал пивом крестьян.

Он был длиннонос и походил на умную ручную птицу. Льяной венчик волос торчал из-под его колпака, как седая опушка. Он то и дело, будто крылом, взмахивал маленькой красной рукой.

Временами он путал чешскую речь с немецкой. Крестьяне слушали его насупясь. Лишь изредка кто-нибудь из них вздыхал и принимался кому-то грозить кулаками.

— Mit grossen Herren ist nicht gut Kirschen essen...<sup>1</sup> — говорил длинноносый, опрокидывая в рот кружку, и со стуком ставил ее на стол.

Наконец все разошлись. Хозяин корчмы уже дремал за стойкой. Последним ушел немец. Едва за ним затворилась дверь — с улицы донесся крик.

Иван кинулся наверх. Мутная, слепая луна висела меж двух башенных шпилей. Лежал человек. Он казался огромным и плоским. Тень у его головы сливалась в густое черное пятно.

Человек молчал. Болотников помог ему подняться.

— Кто тебя таково прибил?

— Русский?.. Я знаю русскую речь... Добрый господарь, который спасал мою жизнь, как зовут тебя?

— Я — не господарь, а Ивашка... Иван Болотников.

— Спасибо тебе, Иван Болотников!.. Злой человек крепко бил меня по голове. Он говорил: «Не делай в чужой земле никакой бунт!»

— Вона што!.. Дом твой далече ль?

— Очень близко.

Иван довел его до ратуши. Они пересекли улицу и вошли в дом.

Немец высек огонь и зажег свечи. Тьма отступила, тени заматались по углам.

Суровый резной дуб таил за стеклом шкафа лубяные короба, скляницы, белые глиняные чашки.

«Дохтур!» — оглядывая утварь, смекнул Болотников.

Немец, громко кряхтя, омыл водкой голову и перевязал лоб.

---

<sup>1</sup> Немецкая пословица. В русском языке ей соответствует: «Не ешь с боярами вишен — костями забрасают».

Стол был завален костями, травами, всякой сухой трухой. У окна висели потешные карты: рыба-обезьяна, рыба в гнезде и птица с завязанной узлом шеей.

— Ну вот, Иван Болотников, — сказал немец, усаживаясь против Ивана, — какой же есть твой путь — в Русскую землю или в Литву?

— На Русь бреду; в Москву ли, в иное ль место — того еще не знаю.

— Мой брат Каспар жил в Москве. Он писал, чтоб я ехал к царю Борису. Но там была холера-морбус, а потом царь Борис умирал от зелья... Брат Каспар жил в Риге. Царь Борис посылал туда своего слугу Бекмана и давал наказ: «Проведать, где есть цесарь, и война у цесаря с турецким султаном есть ли...» О, я имею очень хорошую память! Брат Каспар просил меня узнавать...

Резной дуб темнел. Утро брезжило на склянницах в шкафу. Они сидели долго, пока совсем не оплыли свечи.

— Ты устал, — сказал немец, взглядываясь в лицо Ивана. — Сейчас будет наступать день. Тебе надо спать перед дорогой... Знаешь, Иван, я хочу в Московию. Я уже жил там однажды. Здесь меня могут убивать совсем. Я буду скоро-скоро к Москве ехать...

## 5

Еще через две недели Болотников пришел в Польшу. Раздольные шляхи меж тучными нивами и охотничьи лесные тропы в сумрачной синеве пущ привели его в Самбор.

Небольшой городок на левом берегу Днестра окружали строем белые, с бойницами, домишки. У подножья горы — над водой — высились бурые стены башен. Перейдя висячий мост, Иван увидел замковый двор, службы, уголья и сады.

Шляхта, польская и украинская челядь толпились подле рыжего, одетого в яркий кумач кота.

— Поспешай! Паны гневаются! — покрикивал кат и ударял по деревянному «козлу» плетью.

— Щоб і тебе не минули катівські руки! — вдруг откликнулся голос.

Рослый чубатый холоп весело вышел, как на гулянку, глянул по сторонам и быстро лег на «козла».

Гнусный, постыдный звук рассек тишину. Плеть зачастила, садня и щедро расписывая алым кожу. Холоп не кричал. Он только вертел головой и, отыскав глазами какого-нибудь пана, твердил, усмехаясь:

— От говорили, що буде болити, а ні крохи не болить!

Иван спросил стоявшего поодаль холопа:

— В чем он повинен?

— Старосте нашему зуб выбил.

— Не напрасно, чай, — за обиду какую?

— За побиванье, пораненье и помордованье слуг, — ответил холоп.

Старый светлоусый пан незаметно подошел к Ивану.

— Москаль? — спросил он. — Как сюда попал?

— На Русь бреду с Венеции-города, а допрежь того на турецких галерах томился.

Пан сощурился и зорко оглядел обветренное лицо Ивана.

— Ступай в замок. Господаря увидишь. Не можно тебе без того на Русь казаться.

«Какого еще господаря?» — подумал Иван, глядя на поляка, и опасно, с неохотой двинулся за ним.

В низкой сводчатой горнице стояли длинные столы с кривыми, гнутыми ногами. Шляхта, в парчовых кунтушах и кафтанах из лосиной кожи, то и дело затевала споры. Гайдуки, полыхая алым огнем бешметов, разносили черемуховый мед и венгерское вино.

Ивана посадили в конце стола. Светлоусый пан сел рядом и придвинул к нему пузатую, налитую до краев чарку. Напротив, одетый в желтый камчатный кафтан, отороченный соболями, сидел смуглый человек с подстриженной бородой.

Хмель закружил, ударяя в ноги, быстро натекая в руках истомой. Поляк выспрашивал: кто таков? давно ль с Руси? знает ли толк в военном деле? слышал ли о московских переменах? Иван бойко отвечал, хотя иногда невпопад, и сам себе дивился: он, холоп, сидит за

одним столом со шляхтой, пьет панский мед, и никто его не гонит!..

«И чего надо от меня сему ляху?» — подумалось ему.

Тут крики «vivat!» грянули кругом, и все встали с мест, поднимая чарки.

— Господарю Димитрию — vivat! — закричал светлосый пан.

— Vivat, Жигмонт, круль московский! — некстати раздался чей-то голос. Тучный хмельной поляк лег грудью на стол и, расплескивая мед, вопил: — Жи-и-игмонт! Жи-и-игмонт!..

Паны смутились, поднимая крик; все смешалось, и больше Иван ничего не слышал...

Спустя два часа в горницу вошла стража. Все разошлись. Бахромчатая скатерть свисала до пола, вся в черных расплывах пятен. Гайдук сказал захмелевшему Ивану:

— Пани воеводша ожидает тебя. Очнись!

«Догостился!» — подумал он с досадой и, перемогая хмель, побрел за стражей.

В палате, куда его привели, висели по стенам мушкетеры и кольчуги. Наступал вечер. Пыльные олени рога простирались в сумрачный косой свод.

Смуглый человек в желтом кафтане быстро ходил из угла в угол, упершись в бок правой рукою. У окна сидела старая пани. Вокруг ее шеи, топырьась, стоял раструбистый белый воротник.

— Узнаешь ли Димитрия? — спросила она Ивана. Глаза его метнулись. Он тотчас все понял.

— Как мне знать? Я его никогда не видал.

— Вот он, Димитрий. Его и дочь мою бояре ваши едва не убили. Они ж ему и землю не дали в тищине устроить...

Смуглый в желтом кафтане перестал ходить, посмотрел на Ивана. У него был утиный нос и лицо на свету — веснушчатое, худое. Подошел близко, тихо заговорил:

— Вот што, бывалый человек! Живал ты на Руси во холопах. То верно?

— Так, государь.

— А каково ныне холопам за Шуйским — того не знаешь?

— Знаю, што худо.

— А пошто опять в кабалу идешь?

— Не в кабалу иду, а затем, чтоб воли добыть, сколь силы моей достанет!

— Удад ты!.. Я вот тоже хотел бедным людям помочь, да скинули меня бояре..

Он умолк, выжидая.

— Государь!.. — с Ивана слетел хмель. Он был весел, бледен, все в нем играло. — Как, государь, не надобна ль тебе службишка моя?..

Крепкая худая рука легла на плечо Болотникова.

— Смекай, Иван!.. На Руси молвят — убит я, а народ не верит, вестей ожидает... Шуйский беглых всех воротить хочет, выход у крестьян отнять замыслил... Ступай на Русь, сказывай всем, что видел меня живым и здоровым. За мною-де панство, жолнеры. А на Руси люди — лишь объяви слёт — встанут без числа... Ты в Венецее бывал, книги латынские о ратном деле читал, да и голова у тебя на плечах удалая. Верю тебе во всем и жалую: будь у нас большим воеводой. Скачи в Путивль к боярину князю Григорию Шаховскому, скажи ему, что видел меня в Польше и говорил со мной. Покуда еще не могу тебе много дать, однако ж возьми коня, саблю и тридцать червонцев. Да повезешь князю Григорию грамотку. Он даст тебе денег из моей казны и людей..

Густо-синяя ночь шла над полями. Шлях у придорожной корчмы белел, сворачивая на Львов.

Иван сидел на корчемном дворе в пяти милях от Самбора. У ворот был привязан его конь. Из халупы доносились хмельные голоса.

— Вот она, доля моя, — одними губами шептал он. — Пришла сила!.. Ну, Иван, теперь гляди — не плошай!.. Слово свое сдержу: за господаря того стоять буду твердо, но и своего дела тож не покину. Всколыхну холопов, тряхнет Поле<sup>1</sup> бояр, — крестьянской кабале на Руси не бывать!..

---

<sup>1</sup> Поле — вольные казацкие земли между Северной Украиной и Доном.

«Экой дивный мой путь!» — подумал он, опуская голову на руки. Вспомнились: галеры, волжский затон, ловцы, Неклюд... Он задремал.

В корчме говорили:

— Ступай, Грищо, до дому. Тут лавки смоляные, — як сів, так и прилип, дурень!

— Дай послухати, що про самборського господаря розмовляють.

— Да то не господарь, а вор — Михайло Молчанов, што с Москвы сбежал...

...Большую реку видел Иван. Из воды выходил народ (ему не было конца) и складывал на берегу камни. От народа и от камней исходил мутный красноватый жар. «Што строите?» — спрашивал он и сам же отвечал: «Град Солнешный, правду холопью». — «А што вы за люди?» — «Искони мы со дна речного пыше м...»

Конь заржал. Иван встрепенулся.

— Лишь силы б достало! — сказал он тихо. — Братство добыть!.. Град построить!..

В корчме погасили свет. Солома на крыше вздохнула под ветром.

Шляхами, пуццами, полями шла высокая, густая ночь.

Часть третья  
ВСЕЙ КРОВИ ЗАВОДЧИК

ОТКУДА «КОМАРИНСКАЯ» ПОШЛА

Пострадахом и убиени быхом  
ни от неверных, но от своих раб й  
крестьян,

«Новый летописец»

1

— Эй, у кого деньга не щербата, подходи, подходи! Продаем по оценке и кто боле даст государево отставное платье: собольи и куньи лапы да хвосты, всякие мелкие обрезки, сарафанцы, кафтаны, ветхие сукнишка-а-а!..

Взятый из теремных камор, пошел на вынос лежалый запас — скаредного царя незавидный достаток, Площадные смутники-горланы толпятся в рядах, смотрят, как дворецкий дьяк продает царскую «рухлядь», и зубоскалят:

— Деньга — торгу староста, а и царю голова!

— А в чем он зимней порой ходить станет?

— Знали б вы кнут да липовую плаху, — ворчит дьяк и, склонив голову вбок, записывает, что кому продано, «по статьям», в книгу.

— Дьяче! Мышиных хвостов у тя нет ли?..

Плешивые меха и горелые сукна лежат на земле. Дворяне и кое-кто из бояр победнее присматривают «товарец». Встряхнет кто-нибудь ветошь, распялит на руках истлевшую дрянь, и — откуда взялся пыльный вихрь крохотных крыл? — вылетит, завеет лицо парчовая туча моли.

— Скуп Шуйский, — говорят в толпе, — своим и купеческим деньгам бережлив, да еще пьяница и блудник.

— Не многие люди выбрали его.

— А бояре нынче боле царя власти взяли...

Дьяк на помосте перестал кричать и повел счет деньгам. Толпа двинулась — кто по домам, кто Ивановской улицей в Кремль. А там-то с утра уже теснился народ: как при Борисе и Лжедмитрии, наполнилась людьми Боярская площадька...

Царя не было видно. Бояре в высоких меховых шапках сидели у столов. Они выслушивали челобитья, тоскливо оглядывали текущий по двору народ, потея и кряхтя, принимали на себя неумный ливень жалоб.

— ...И он, боярин мой, посылал меня по квас, — кричал, припадая на клюку, молодой холоп, — а я пошел нешибко, и он за то спихнул меня с лестницы и ушиб до полусмерти!

— Помираем голодною смертью, — плакались пришедшие издалека крестьяне. — Разорены мы московскою волокитою, а пуще всего — от неправедных судов!..

Старая черница, подойдя к столам, заговорила гневно и быстро, глотая слезы:

— При прежних государях была челом и нынче с тем же до царя пришла, а будет ли сему конец — не ведаю, должнó, так и не сыщу вдовьей своей правды. Дочеришку мою княжой сын — Телятевский — похолопил да посадил на цепь, и дочеришка моя лишилась ума, а што с ней сталось и где ныне Телятевские — никто не знает...

— Телятевские нынче на воровстве, — сказали за столом. — Противу государя стоят. Терпи, доколе их не уймут, тогда сыщем.

Черница поникла. Бессильно опустив руки, она прошла в тишине среди расступившейся толпы холопов.

Люди шумели недолго. Бояре встали, и дьяк объявил челобитью конец. Народ начал медленно расходиться, глухо шумя у столов и громко бранясь, по мере того как отходил дальше.

Хилый, с мертвым лицом старик вышел из сеней. Осенний вёдреный день горел на разводах его опашня<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Опашень — старинная верхняя мужская одежда, долгополый кафтан с короткими, широкими рукавами.



метанных серебром, на «втышных» пуговицах с чернью, наведенной в виде решетки. У старика была жалкая, худая шея, а руки — в сизом разливе жил — крупны и черны. Щуря большие глаза, он смотрел на солнце.

Бояре Иван Крюк Колычев и Григорий Полтев склонились перед ним.

— Каково, государь, господь сном подарил? Почивать изволил подобру ль, поздорову ль?

— Брюхо болит, — часто моргая, плаксиво сказал царь, — то ли от худого сна, то ли от настоя, што испил давеча. Молвите, бояре, людям, которые делают настои: глядели б они, чтоб в лекарства ничего вредительного не попало, а в постные дни — скоромного, чтоб ни зла, ни смерти не навесь и меня б не оскоромить.

Он потянул носом. Слепенькие его глазки, стрельнув по двору, заметили подходивших к крыльцу бояр.

— Вона! Ближняя моя дума идет! — захлопотал он. — Ступайте за мной! — И вошел в сени.

Бояре вступили в крытый прохладный переход. Косой солнечный блеск рассек надвое спину царя. Ноги его в белых немецких сапогах ступали нетвердо.

В брусных хоромах Шуйского стоял терпкий дух свежей сосны. Строить каменный терем не было времени, а жить в «Гришкином» — не к лицу. Немногая утварь да в клетке жаркоцветный попугай — вот и вся память, что осталась от Лжедмитрия и Бориса.

И все же воздух в палатах был зажитой. В свежее дыханье срубов вплетался старческий кислый дух, медленный тлен платья и шуб, а в пыльных столбах света загорались и гасли искры моли.

Бояре сели не сразу. Трубецкой отстранился от места рядом с Мстиславским.

— Мне-то ниже тебя сидеть не гоже! — сказал он.

— Обьюрбдивел ты! — отозвался Мстиславский.

Они забранились. А царь сидел, молчал и только следил за ними. Наконец заговорил:

— Ведомо вам, бояре, што в северских городах люди заворовали — начали воевод побивать и грабить, и толкуют, будто вор Гришка с Москвы ушел, а вместо него убит иной человек... На Украине-то шатко. Собрались там воры, што сот пчелиный. Вот и молвите, бояре, как с теми ворами быть, да не таитесь, сказывайте вёсти.

Встал Мстиславский. Весь в белой дымной седине, он забубнил трубным глуховатым басом:

— Недобрые, государь, вести, а таиться от тебя — не след. Одна надежда — на бога, што зло добра не одолеет. Из Путивля от Шаховского посланы были люди в степь, на Дон. И боярский сын Истомка Пашков смутил донских казаков да склонил к воровству Тулу, Каширу и Венев и ныне стал аж под самую Коломной.

— И то, князь боярин, о Путивле сказываешь ты не все, — перебил Мстиславского молодой Скопин-Шуйский. — От перелетов<sup>1</sup> стрельцы узнали, што пришел к Шаховскому с Литвы Ивашка Болотников, князя Андрея Телятевского холоп. Сказывал он, будто видел проклятого вора в Литве и што вор его, Ивашку, большим воеводой нарек. А ныне Болотников собирает в Северской земле силу.

— Верно молвят про украинских людей, — сказал царь, следя за кружащей подле него молью. — Давно погибшая то земля!.. Эх, гнуса сколь развелось! — проворчал он, и было невдомек, где развелся тот «гнус» — в Северской ли земле или в государевой палате.

— Подайте-ка боярский список на сей год...

Ему принесли писанную на длинном «столбце» роспись служилым людям.

— Ну вот, бояре, как скажете: своими ль силами воров побьем или ратный сбор надобен?

— Ратный сбор, государь.

— По городам!

— Вестимо!

— Иван Крюк Федорыч, вели писать в Ярославль, в Вологду и в Пермь Великую о ратном сборе... Во стрельцах недостача. Возьмите с Москвы всех охотников: псарей конных, чарошников, трубников... Тебе, боярин Мстиславский, с большим полком выступать... (Он поглядел в список.) Плещеева — «на Москве нет»... Телятевский — «в измене»... Михайло Васильич, — молвил он Скопину-Шуйскому, — ты, мыслю я, станешь на берегу Пахры, а Трубецкой с Воротынским шли б под Кромь...

Он отложил список и, зябко потирая руки, сказал:

---

<sup>1</sup> П е р е л е т ы — перебежчики.

— Расстрига того не осилил, потому што был вор. А мы хотим и впрямь, штоб в нашей земле тишина стала. Первое — надобно выхода крестьянам не давать, беглых всех воротить. Зѣмли, как при Борисе, не пустовали б. Ну, о том поразмыслим с вами на соборе... Да, Иван Крюк Федорыч, вели боярам писать по вотчинам: приказчики — крестьяне добрые<sup>1</sup> — глядели б, штоб ни у кого воровским и беглым людям приезду не было.

— А как им глядеть, государь? — сказал боярин. — Ныне все люди по деревням сделались супротивны, и пытаться воровских людей стало некому...

Шуйский нахмурился, встал.

— Ну, ступайте, бояре! Дай вам боже воров одолеть и с корнями повывертеть!..

Он остался один. Моль искрой взвилась у его виска. Звонко ударил влѣт; убил, плюща ладонью в ладонь; потом вздохнул и, слепенько моргая, растер в скользкий блеск пыльную золотинку.

## 2

Комаринщина — Курско-Орловский край — была той «давно погибшей» землей, где издавна селились «воры». Поле принимало ссыльных, давало им коня, пицаль и нарекало стрельцами. «Быль молодцу не укор, — говорили там, — людям у нас вольным воля». Никто не спрашивал беглеца, кто он, какие его вины. Не чуя беды, сама готовила себе грозу Москва.

Бродяги-бездомовники ютились в чужих избах по каморам (комарам). Вся волость — сердце Северной земли — называлась Комаринской; она бурлила и кипела, как овраг в половодье. Боярских дворов было мало, холопов держали на них с опаской. Вотчинник боялся владеть непокорным мужиком-севрюком...

Под самым Севском, в полуверсте от села Доброводья, — лес. Перистолистый ясень и могучие стволы сосен-старух укрыли залегший на опушке табор.

Белые от осенних жаров, лоснятся жнивья и севский

<sup>1</sup> «Добрыми», «лучшими» или же «сильными» издревле сами себя называли на Руси представители господствующего класса и наиболее богатого слоя деревни. Беднейшее же население называло их «худыми» (плохими) людьми.

большак. Алатырские, белгородские стрельцы, комаринские бобыли<sup>1</sup> и казаки выходят из лесу и подолгу смотрят на дорогу.

— Очи все проглядел!

— Не видать!

— Должно, придут завтра, — перекликаются они.

Медленно уходят в лес. На опушке — треск раздираемых ветром костров, голосистый паводок толпы. Стоят распряженные возки, станки осадных пицалей. Синит кругом землю частым колокольчиком горечавка.

— За каждую пядь землицы — посулы, — несется от сосны к сосне. — Вестимо дело: не купи села — купи приказчика...

— А обоброчили как! С дуги — по лошади, с шапки — по человеку. А и без смеху сказать — с кузни-то берут, с бани, водопоя тож! Где рыбишка есть — рыбу, где ягодка, и ту приметят.

— А ты ведай свое: на столе недосол, а на спине — пересол. Да и осыпайся спиной, што рожью.

— Я те осыплюсь! У меня от дворянских плетей хребет гудёт. Грамоте знаю, а челобитья писать не смею — письмо-то у приказчика на откуп<sup>2</sup>. Как мне на него челом бить?..

Густая синяя хвоя глушила голоса. Нарезанное кусками мясо прыгало в котлах. На земле, подобрав ноги и закинув вверх голову, сидел татарин.

— Истомка Башка... — говорил он, летая глазами по верхам дерёв, — Истомка Башка приходил под самый город Коломну. Царь Василья мало-мало жив-здоров. Степь наша встала. Мордва встала. Большая с Москвой травля будет!

— А Шуйский-то, — кричал какой-то вихрастый под черной усохшей сосной, — выход у крестьян вовсе отнять замыслил! Сказывают, кто годов за пятнадцать перед сим бежал, тех обыскные люди станут сыскивать и отдавать прежним господарям.

---

<sup>1</sup> Бобыль — крестьянин, по бедности не имевший земли, а потому не тяглый, то есть не плативший подати и живший в чьем-либо дворе в качестве батрака, сторожа, пастуха.

<sup>2</sup> Письмо у приказчика на откуп — составление челобитных (просьб) в XVII веке отдавалось на откуп приказчику села, управителю вотчинного хозяйства.

— Эх ты, Соломенные Кудри, а не все ль едино нам? Ну, дадут тебе выход, а где грошей возьмешь, коль взыщут пожилбе? <sup>1</sup>

— А верно ль бают, што царь на Москве шубами заторговал?

— С него станется!

— Скаредный, черт!

— Шу-у-убник!..

— Эй, братья, идем к большаку, глянем-ка еще разок!..

Курил духовитою смолкой ровно и густо лес.

— Иде-о-ом!

Сходились комаринцы, из края в край перекликались на поляне.

В конце села, на отшибе, был господский двор. Вдовая боярыня зимой и летом ходила в куньей телегее — берегла от «прострела» старую свою плоть, холила борзых кобелей да терзала и увечила своих холопов.

В полдень крепостного Сеньку Порошу позвали на крыльцо.

— Пошто собаки не кормлены?! — закричала боярыня. — Сечь тебя надобно, пересечь! Эй, подайте-ка мне плеть потяжеле!

Сенька не стал дожидаться. Он сверкнул пятками и побежал.

— Лю-у-ди! — ударил ему вдогонку крик. — Эй! Вора имайте!.. Борзых!.. Спускайте свору!..

Он стал на кровлю земляного погреба, оглянулся, увидел бегущих по двору людей. Прыгнул — прямо в глухую крапиву, липучки и облепиху. Борзые залились. Он выхватил из плетня жердину и побежал. Впереди было гумно. Сбоку мелькнула пара огненношерстных псов. Псы настигали. Сенька закружил над головою жердь. Воздух обернулся крутым гудом... Стоялая вода блеснула перед ним. Он уперся жердиной в землю, перемахнул и дальше уже не бежал, а только упирался жердью и, высоко взлетая, скакал кузнечиком по жниву.

---

<sup>1</sup> Пожилбе — особая пошлина, взыскивалась с крестьян за пользование господским строением.

Погонщики не очень старались. Скоро и борзые стали отставать. Он бросил жердь. Жниво кончилось. Синяя сумеречная хвоя дохнула прохладой в лицо. Потом гул голосов ударил в уши. Он остановился на поляне...

Комаринцы глядели на него. Весь табор на мгновение затих. Старый бобыль Пёпелыш окликнул Сеньку:

— Кто тебя, брат, так загонял? Или проведаль што? Наши идут?

— Да не! — сказал холоп. — От боярыни едва ушел... Псов спустила... «Вора имайте!» — вопит... А все оттого, что не дал с себя спустить шкуру.

— Вона што!

Смех долго, раскатисто гудел в лесу. Смеялся и Сенька, славно уставший, радостный, перебиравший ногами, как перед плясом.

Комаринец Ложкомой подошел к нему, медленно разминаясь на месте, сказал:

— Эх, рассукин сын, вор, комаринский мужик!..

Сенька, уперши руки в бока и поводя бровями, быстро ответил:

А не хочет, не желает он боярыне служить!

Кто-то крикнул:

Сняв кафтанишко, по улице бежит!

Ложкомой заложил ногу за ногу. Сенька замесил пятками навыверт:

Он бежит, бежит,  
Повертывает!  
Ево судорга подергивает!..

Складывалась песня.

Лес стонал. Тут и там ломали коленца взад и вперед, валяли скоком и загребом.

Ох, боярыня ты, Марковна!  
У тебя-то плеть не бархатна.  
У меня ль да сердце шелковое,  
Инда зуб о зуб пощелкивает...

Комаринцы грянули вприсядку.

Гудел лес. Загасли костры, сизо, горьковато дымя. Никла под коваными сапогами колокольчатая синь горечавок...

— Идут! Идут! — вдруг звонко прокричали в стороне.

Оборвав пляс, треща валежником, комаринцы гурьбой устремились на дорогу.

Растянувшись на версты, завивая белую, жаркую пыль, шел обоз. За ним неровным строем подвигалось ополчение.

Подъехали конные.

— Юшка! Беззубцев! — окликнули комаринцы молодого стрельца. — Куда, черт, правишь? Своих не приметил?

— Здрово! — Не по летам тучный, с серым, отекрытым лицом, казак спешил. — Заждались?.. Зато более двух тысяч нас. А большой воевода один тыщи стоит.

— Он-то где ж?

— А в обозе. Болотников Иван Исаич — вона он. Я-то с ним ведь с одного села. Бывалый человек: в турецком плену был, папаримские земли прошел и за правду нашу стоит твердо.

— Чего долгое время не шли?

— А в пути дела много, — лениво протянул казак. — Да заходил воевода в села — искал Телятевских князей. Он-то на них издавна в обиде...

Прошло ополчение, и снова тянулся и скрипел обоз. Но уже кое-где зачернелись котлы и бледно выметывался из дымных костровых шапок лепест-огонь. Кони, телеги, пыльные станки пушек стали табором от села до леса...

Болотников вышел к комаринцам без шапки, тихий, простой. На нем был прямой — со сборами по бокам — серого цвета кафтан. Он отстегнул саблю, положил на землю и поглядел ввысь, — там кружили ястреба. Желтое жниво полнило трескучий сухой звон кузнечиков. Кони топали, бесясь от оводов и зноя.

— Браты! — негромко сказал он. — Брел я с Венеци-города на Русь, и довелось мне пройти Самбор литовский. Видел я там нашего государя и говорил с ним. Поставил он меня большим воеводой. Не ведаю, как на деле будет, а в речах высказывался царем прямым крестьянским. Обещался я служить ему, и то мое слово верно, да мыслю, и, кроме той службы, забота есть!

— Как не быть? — отозвались в толпе. — Людей своих посылают бояре в вотчины и велят им с крестьян брать жалованье и поборы, чем бы им было поживиться. А мы с того голодом помираем, скитаемся меж дворов!

— А царь-то выход отнять замыслил!

— Юрьев день воротить бы! Вот што!

— Не, братья! — твердо сказал Болотников. — Иное надобно. Саблю свою кинул, не возьму, коли не станете меня слушать. Малая искра велик родит пламень!.. Зову вас: бояр, дворянство, приказных, неправду их силой порушить! Москва — што доска: спать — широка, да гнетет всюду. О Юрьеве дне забудьте! Вот моя дума: боярство — холопство, крестьянство — господство! Ей, братья, крестьянской кабале на Руси не бывать!..

Круг вольницы развернулся, радостно, буйно плеснув гулом. Люди, тесня друг друга, пробирались вперед, кричали, опрокидывали котлы:

— Слово твое — што рогатина!

— Возьми саблю, веди, Иван Исаич!

— Комаринцы не выдавцы!

— Ну-те, ребята, промыслы водить — замки колотить, наших приказных бить!..

Засветло комаринцы пришли в Севск. Городские казаки, ямщики и ремесленники встретили их. Стоя на деревянной стене, они размахивали шапками и орали во все свое степное горло.

Овражистый, кишевший беглыми городок наполнился скрипом обозов, деловитой суетой ратного волнения. Болотников вошел в приказную избу. Под окнами стоял народ. Юшка Беззубцев и седой, в отрепьях, бобыль Пепельш стали выносить из избы и складывать у порога бумаги и книги.

Болотников стал в дверях.

— Ну-ка! — звонко сказал он. — Как мы землю сами себе приберем, то подайте сюда книги государевой десятинной пашни<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Книги государевой десятинной пашни — книги, по которым велся учет обрабатываемых казенными крестьянами царских земель.



Он схватился за саблю. Из ножен выкинулся короткий блеск. В несколько крутых взмахов изрубил книгу и разметал ногой бумажные лохмотья.

— А как нынче мы сами себе суд и расспрос, — сказал он еще громче и звончей, — подайте сюда и книги всяких судных дел!..

Народ двинулся к нему; с криком хватал хрустевшие связки, топтал, жег в стороне на кострах, разрывал в клочья.

— Чуйте! — говорил Болотников, отступя от книг. — Идите к нам, все воры, шпыни и безымянные люди, и мы будем вам давать окольниковство, дьячество и боярство!.. Ну, где ваши проклятые кабалы? Где листы обыскные о беглых? Под ветер спустили, под дым! То ли еще будет!

Комаринцы привели скрученных людей.

— В чем повинны? — спросил Болотников.

— Да, вишь, воевода, из тех, што сосланы сюда, многие люди во приставы порядились. А жалованье брали себе пожелезное: кого в железа посадят, с того за день и за ночь — три деньга. А нынче просят пощады, хотят быть с нами вместе.

Болотников махнул рукой.

— Открутить!.. Приставы — што? Многие дворяне и боярские дети к нам пристать мыслят.

— То зря, — сказал бобыль Пепельш. — Путь ли нам с ними? «Поссорь бог народ — накорми воевод!» — или того не знаешь?

— Знаю, — ответил Болотников, — да мне Шаховской для почину невеликую рать дал. А придут к нам на помочь дворяне Ляпуновы да Истомка Пашков, всё — сила... Бояре с Москвы пошли на Крѹмы. Надобно посадским на выручку поспешать... А кто из вас, — быстро спросил он вдруг, — в Путивль поедет? То — к спеху!..

— Меня бы послал!

— Или меня! — раздались голоса.

— Ладно, — сказал Болотников. — Поезжайте хотя оба. Молвите вы Шаховскому: пуцай пишет государю в Литву — ему и войско не для чего набирать, приходил бы один, дела скоро поправятся!..

Тянуло свежестью полевых трав. Поникшая листва

раakit зажглась и померкла над избой. Городок затихал, горбато уходя в смуглый августовский вечер...

На рассвете выросший за сутки обоз пошел севским большаком вспять. В селе Доброводье комаринцы задержались. Громко бранясь, они двинулись к боярскому двору. Сенька Пороша первый залепил в ворота топор. В хоромах закричали. За тыном показался и тотчас пропал приказчик-немец.

Комаринцы ворвались. Слились: треск разносимых клетей и залиvistый лай борзых, хриплый женский крик и крепкое холопье слово. Там волокли верещавшую свинью, здесь выбегал из стойла конь; над ригою сизою скирдой вспухал дым; он то тяжелел, мутно, дочерна клубясь, то становился легок и багрбвел.

В хоромах бранились. Кого-то били по щекам. А на дворе Сенька с товарищами шли вприсядку:

Как у той боярыни,  
У нашей ли, бравой ли...  
Боярыня, боярыня!  
Государыня, государыня!..

Частый топот ног не мешал слагать песню:

На боярыне ль салоп.  
Бьет боярыню холоп!  
На Марковне ль чепчик,  
За Марковной — немчик!  
Эй, боярыня, проснись!  
Государыня, первернись!  
Сделай милость, не срамись!..

— Мар-р-ковна-а-а!..

Весело, озорно покрикивал Сенька. Ломали комаринцы коленца, валяли скоком и загрёбом...

### 3

«...А как после Ростриги сел на государство царь Василий, и... в украинских и северских городех люди смутились и зоворовали...

И под Кромами у воевод с воровскими людьми был бой, и из Путимля пришел Ивашка Болотников да Юшка Беззубцов со многи-

ми северскими людьми... И после бою ратные люди дальних городов ноугородичи, и псковичи, и лучане, и торопчане... под осень быть в полках не похотели, видячи, что во всех украинских городех учинилась измена...»

К Кромам сходились все дороги с юга на окские верховья. Болотников, за один месяц вздыбивший Северскую Украину, поднял Ливны, Елец, Алексин, Каширу. Те самые Ливны, что «всем вора́м дивны», тот самый Елец, что «всем вора́м отец».

Он шел в Кромы выручать осажденных воеводами кромичан. Силы его прибыло. Были с ним холопы и крестьяне, стрельцы и казаки; серпуховичи, болховичи, туляки, алексинцы, медынцы — хмельники, овчинники, скоморохи, веретенники, сковородники, сапожники, плотники, гвоздочники.

Подле самых Кром люди, посланные «для вестей» вперед, донесли: «Встала Рязань старая! Братья Ляпуновы идут с целою ратью! А в царевом стану — шатость; люди все — в изнеможении, а воеводы один другого побить хотят!...»

Городок открылся на рыжем холме в насупленном дозоре сторо́ж<sup>1</sup>. Иссиня-черная гряда бора замыкала песчаную ветряную степь, еще желто-лиловую от мяты, пустырника и зверобоя.

Накануне «перелеты» из московских полков сказали:

— Воевода не сто́ит лыка, а ставь его за велика! Побьете Трубецкого и людей его. Нетвердо стоят.

В полдень «воры» увидели стан. Накрытые войлоками телеги уходили в лес. Поблескивали пушки. Над станом шумным клином проносились воробьи. Ветер трепал знамя. «Москва» стояла, охорашиваясь и гарцуя.

Стрелецкий голова отъехал от стана и закричал:

— Лю-у-уди! Бросьте воровать против великого государя! Нас тута пять тысяч!

— Ногами правил, головою в седле сидел! — крик-

---

<sup>1</sup> Сторо́жи — выдвинутые за черту города сторожевые башни, наблюдательные посты.

нули в ответ.— Хотите вы со своим шубником нашей крови лакнуть? Пейте воду из лужи да трескайте свои блины!..

— Эй, метлу захвати! Было б чем дордой от мух пообмахнуться!..

Колочая пыль, слепя глаза, неслась на «воров». Болотников пошел в обход, выиграл ветер, и солнце било теперь «Москве» в глаза. В стане ударили пушки. Круглые черные ядра запрыгали меж рядов, глухо колотя и не взрывая землю.

Все обернулось быстро и так, как никто не ждал.

Закричали, попадали люди, загремело по полю там и тут. И вдруг левое крыло «воров» слилось с правым воеводским, и оба разом ударили на москвитян. А из города уже выскакивали казаки, гнали по дороге воевод, перенимали пушки и обозы...

Болотников поглядел в мутную от пыли даль.

— Вона! Рязань идет! — пронесся крик.

Шло ополчение — люди дворян Сумбулова и Ляпуновых.

«Рязань» стала обозом и раскинула под городом шатры.

Челядь и мелкие дворяне южных поокских городов побрели к болотниковскому стану.

— Што? — спрашивали «воры». — И Рязань богатая за царем худо живет?

— Вестимо, худо. Нынче родовитым нашим людям на Москве не стало мест.

— А нам, — говорили дворяне, — либо идти дьячком в церкви петь, либо к вам, в казаки, — все едино!..

Болотников, окруженный толпою своих и рязан, стоял на пригорке.

— Што за люди, — спрашивал он, — Ляпуновы да Сумбулов? Чего добывают? Богатство аль братство? — И косился сторожким взглядом на завесу ближнего шатра.

Он сошел с холма. Стоявший у шатра широкий в плечах, голубоглазый человек смотрел на Болотникова, разведя тонкие дуги бровей и прикрывая мягкую светлорыжую бороду пухлой рукою.

— Ляпунов будешь? — сказал Болотников, подойдя близко, почти касаясь рыжего плечом.

Они поглядели друг другу в глаза с грубой, простоватой силой, не мигая. Захар Ляпунов вышел из шатра. Медведь медведем, смуглый, с круто скошенным лбом.

— Пошто,— спросил Болотников,— хотите быть с нами?

Прокопий заговорил:

— Шуйский у многих из нас поместья и вотчины поотнимал. Для нас, рязан, на государевой службе мест не стало...

— Стало быть, за Димитрия стоите? — перебил Болотников, и усмешка чуть засветилась в его глазах. — А што, как и он земли отбирать станет?

— И его сведем! — темнея глазами, крикнул Ляпунов.

— А может, и так случится: приберут земли сии вот люди,— указывая на подошедших комаринцев, сказал Болотников.

— Дай бог те здоровья, Иван Исаич! — раздался крик. — Верно молвил! Гни осину за вершину, а вотчинника за чуб!..

Ляпунов взглянул на молчавшего своего брата и проговорил глухо:

— Спорить с тобой не стану. Речь твоя высока, в иное время сам бы тебя кнутом бил... А нынче иду с тобой заодно, и ты на меня зла не мысли!..

Болотников молчал. Ропот возникал у шатра Ляпуновых.

Белые холодные облака летели над головами.

Обозы, скрипя, уходили из-под Кром.

«...Тое ж осени под Серпухов ходил на воров Михайло Васильевич Скопин-Шуйский да боярин князь Борис Петрович Татев да Ортемей Измайлов... и воры все: Ивашко Болотников да Истомка Пашков да Юшка Беззубцов с резаны и с коширяны и с туляны и со всеми крайними города с дворяне и с детьми боярскими и со стрельцы и с казаки с Коломны, собрався, пошли к Москве.

И по общему греху тогда воры под селом

под Заборьем бояр побили и разогнали, что люди были не единомысленны, а воров было без числа...»

Осень была ранняя.

«Воры» шли под бурым пологом отгоревшего леса. Ударили утренники, и уже под колесами стонала хрупкая как ледяная кромка, когда они вышли на среднюю Оку.

Под Коломной стояли люди Истомы Пашкова.

Ветер звенел в ушах. Сухое колючее устели-поле зыбилося, кое-где вмерзши в землю.

Пашков, нескладный, большой, с прямыми волосами соломенного цвета, пришел к Болотникову.

— С Москвы посланы ратные, — сказал он, — да к ним в помочь охотники: псари конные, чарошники, трубники. Не побили б нас воеводы, не ведаю, как тя звать...

— Было у меня прозвище, — с усмешкой сказал Болотников, — после того — полуимя, а нынче зовусь Иван Исаич. Воры меня так пожаловали. Горазд, вишь, я воровской завод заводить!.. А воевод побьем!

— Того не знаю, — глухо протянул Пашков и ушел к казакам...

Они взяли Коломну.

Повернули на Серпухов. К ним отовсюду стекались люди.

Первый снег забелял путь, прикрывал обочины, слеживался в логах.

Большой полк Мстиславского был разбит наголову под селом Троицким. Лишь под Серпуховом Скопин-Шуйский потеснил «воров». Но силы его не хватило. Он повернул вспять и побежал.

Болотников выслал людей вперед. «Ступайте, — сказал он, — к Москве для смуты!..» Телеги поставили на полозья, и обозы покатались быстрой. Казаки пели. Слова уносило ветром, песня замирала в унылом сыром раздолье:

Выпадала порошица да на талую землю,  
По той по порошице шел тут обозец...

Болотников шел к Москве.

Царь был у обедни. Над патриархом, несмотря на зимнюю пору, держали подсолнечник — разъемный круг из китового уса, обтянутый тафтой. Патриарх не мог смотреть на солнце. А оно затопляло собор, жаркую ковровую стлань, дробилось на водосвятной чаше, воздúхах<sup>1</sup> и ризах.

Служба кончилась. Царь вышел из собора, остановился на паперти и созвал бояр.

— Велите-ка ставить столы да скликать по приказам дьяков.

Поутру болотниковские листы прилипли ко многим воротам. Шуйский решил отыскать «воровскую» руку и устроил смотр.

Дьяки, робея, один за другим подходили к столам, писали, что говорили им, и становились в ряд на ступенях. Шуйский суетился; вытянув шею, бегал от стола к столу и вдруг закричал:

— Твой грех!.. — И ухватил за грудь молодого дьячка. — Посечь ему пальцы обеих рук, чтобы впредь к письму были неспособны!..

Он быстро пошел прочь от собора, удаляясь к теремам. Боярин Колычев догнал его:

— Без вины, государь, дьяка казнишь. Не его рука.

— Знаю, што не его, — не оборачиваясь, сказал царь, — а ты помолчи да ступай за мною!

В брусяных хоромаш более не пахло свежей сосной. Воздух был зажитой вовсе. Должно быть, оттого, что жарко натопили печи.

Шуйский подошел к боярину и сказал, склонив голову вбок:

— Под Кромами неладно вышло, да и под Серпуховом тож. Бьют воры моих людей. Эдак скоро они у меня у крыльца станут!

Колычев заговорил. Курчавая, росшая от самых глаз борода разбилась от неровного дыханья в белые хлопья.

<sup>1</sup> Воздух — часть церковной утвари, покров.

— Не злوبيсь на воевод, государь. Не их то вина. Сам же ты молвил про Северскую землю, што воры там — словно сот пчелиный...

Шуйский замотал головой. Боярин, помолчав, заговорил опять:

— В Пермь Великую посылал я по ратный сбор, и тех объездчиков встретили непотребными словами, а людей не дали ни единого стрельца... Град Коломну взяли и разорили... А всей-то крови заводчики — Ивашка Болотников да князь Григорий Шаховской. И Болотников тот идет с людьми к Москве, на воровство да смуту горазд, а лет ему, сказывают, двадцать пятый год, не боле.

— Привадить бы его ласкою, — щурясь, сказал царь, — чин посулить или иное што... Да не худо бы Скопина-Шуйского с большими людьми послать. Он-то будет порезвей многих...

— И на Дону, государь, смутилось, — сказал Колычев, — муромский человек худого роду прозвался царевичем Петром, а нынче засел с казаками в Путивле.

— Иван Крюк Федорыч! — Шуйский слепенько заморгал и взял боярина черной рукой за плечо. — Напиши в другой раз торговым людям в Вологду и в Ярославль — присылали б они скорее помочь, не то воры де их, торговых всех, побьют...

Он умолк и стоял, опустив руки в сизом разливе жил, хилый, полуслепой. Ком снега сорвался с кровли, ударил в оконную слюду. Царь вздрогнул и разинул рот, вытянув худую шею.

Село Коломенское — на берегу реки, среди поемных лугов — входило в вотчинные земли московских князей, от начала своего было «за государем».

На кровле теремов топорщились золоченые гребни, яблоки, орел, лев и единорог. На подворье перед хоромами высились ворота из цельного дуба. С теремных башен были видны поле, вся Москва, сенокосы и монастыри. Кругом шли сады. Из них брали сливу, груши, кедровый и грецкий орех — к государеву столу, для патоки и квасов.



Вторую неделю «воры» занимали терем и двор, стояли обозом в садах, вольно раскидывали стан по всей округе. Казаки копали норы и ходы. Болотников крепил тыном и насыпал землю острог. Там, расстелив на снегу полсть, спал комаринец, привязав к ноге коня. Здесь, у дымивших костров, гомонили стрельцы, вынимая из кожаных кошельков красные резные ложки.

В теремных осьмигранных сенях, где на сводах был выписан зодиак, стояли Ляпуновы, Пашков и тихий прикидывавшийся дурачком Сумбулов.

Прокопий говорил:

— Города Зубцов и Ржев повинились. Хлебнули воровского житья, а боле охоты нет... Ишь затеяли: боярский корень повывести, земля чтоб холопья была... А грамоты ихние видели? Дворян и торговых людей велят казнить, а добро их себе брать!..

Пашков тряхнул волосами и молвил:

— А из Ярославля, бают, стрельцы посланы, да из Смоленска к царю идет помочь.

— Глядите сами,— тихо сказал Ляпунов,— не оплошать бы да не сронить голов!..— И ушел в хоромы, поглаживая свое словно прикрытое рыжим мехом горло...

Из Москвы прибегали люди, говорили: «Хлеб в цене растет, а купить не на што. Чего ждете? Приступали б скорее — все будет ваше». Но Болотников не «приступал», и воеводы не шли на «воров» в Коломенское. Проходил ноябрь. Снег лежал плотным, отвердевшим настом, а на реке крепчал лед, давно уже годный для переправ.

И вот заблестели морозным блеском селитренные котлы, закрипели сани и пушки, залоснились крепкие черные кругляки осадных ядер.

Боярин прискакал из города. Болотников вышел ему навстречу.

— Эй, вор! — привстав на стременах, крикнул боярин.— Отъехали б твои люди от Москвы с миром, и великий государь их пожалует, а тебя особо — на свою государеву службу приборет!

— Приехал незван — поезжай недран! — сказал Бо-

лотников. — Служи ты своему государю, а я буду служить своему и скоро вас навещу!

Боярин уехал, бранясь и грозя рукой в боевой парчовой рукавице.

Всю ночь горели костры. Разъятая огнем, кипела зимняя ночная чернота над Коломенским. «Воры» шли — чуть свет — наступать на Москву...

В Архангельском соборе отслужили молебен. Царь и бояре в зеркалах, боевых железных шапках с висящими до плеч сетками и булатных наручах двинулись к воротам. Тучные, родовитые, в летучем блеске доспехов, шли они за «дома свои и достатки» против «безымянников-воров».

День был серый, холодный и сухой — перед снегом. На Пожаре зеленели кафтаны стрельцов и синё топорщились шапки копейщиков с щитками, закрывавшими затылок. Зазвонили в церквах. Ударили трубы. Дворяне, браня дворовых конных, повели ряды.

После всех медленно проехал царь. Он пригибался к луке и взмахивал рукою, будто подгонял бояр и напутствовал их «стоять твердо». Но когда конь от понуканья пошел быстрее, он осадил его и повернул назад...

На Посольском дворе собрались иноземцы.

Тут были купцы из Любека и Риги, голландец Исаак Масса и швед Петрей Ерлезунда, которого прислал ко двору шведский король.

Ерлезунда вел дневник и составлял записки о московской жизни.

Недовольный московскими порядками, он говорил:

— Московиты смело нападают, но у них постоянно так: все держится втайне, нет ничего заготовленного, и только в крайней нужде они начинают спешить, как сейчас...

Шум идущих ополчений прервал его.

— Смотрите, — сказал, — вон идут дворяне, кричат, гамят, словно полоумные, каждый заезжает вперед, чтобы быть видней!..

Исаак Масса, хмурясь, покачал головою.

— А волокита их? Из-за нее мы не можем торговать: начнем судиться, и наступает, как они говорят, «в торгах безпромыслица». А уехать нам не дают, боются, что мы разнесем скверные вести и в наших землях узнают про воров...

В стороне Рогожской слободы громыхнули пушки. Иноземцы притихли, долгое время стояли молча. Потом швед Ерлезунда вздохнул и, коверкая речь, сказал по-русски:

— Каков земля, такова и урожай!..

На рассвете Болотников перешел Москву-реку.

Пашкова он поставил в селе Красном — перенимать ратных, шедших из Ярославля. Ляпуновы сторожили Смоленскую дорогу. «Воры» ударили на Рогожскую слободу.

Первые сшиблись с ними дворяне. Они закричали:

— Полно воровать, государь вас пожалует, а воеводам вашим ничего не будет!

— Нам такие цари не надобны! — раздалось в ответ. — Сами ступайте к нему под крыло — к орлу беспёру!..

Болотников сбил с поля дворян и пошел вперед.

Его серый кафтан и волчий треух мелькали в кипящей боевой стремнине. Лицо у него было быстрое, живое и играло, как в праздник, а отросшая борода неслась по ветру тонким серым дымком.

На тяжелых, сытых конях насккали воеводы: князя Барятинские Хованский, Мезецкий, Бутурлин. Вот один упал, взвилась на ремешке чòкма — железная, привязанная у запястья чашка. Вот опустилась на «воровскую» голову брусъ — каменная граненая булава.

«Воры» забегали в слободские дома, били из пищалей, пробивались дальше. Вдруг казак подбежал к Болотникову.

— Один шьет, другой порет! — с белым от гнева лицом завопил он. — Пашков к царю отъехал!.. И Рязань отъехала! Ляпуновы ушли со всею ратью!

— Люди — жать, а мы — с поля бежать?! — крикнул Болотников и вломился в самую гущу.

Но уже бежала вольница, смятая, расстроенная, и секли, гнали ее по пятам бояре.

— Оборотись, идучи рядами! — закричал Болотников, повернул людей и, отбившись, укрылся в остроге...

Тогда Скопин-Шуйский, стоявший в Даниловском монастыре, пошел к Коломенскому.

Болотников вышел к нему при урочище Котлы.

Ветер срывался с дикого пустого неба.

— Сабли до рук прикипают, — говорили «воры», дуя на сведенные стужей пальцы.

— Эй! — сказал вдруг Болотников, заметив впереди людей в поповском платье. — То што за люди? Или биться с нами хотят?

— Ну да ж, — биться. Попы с чернецами Данилова монастыря противу нас стали!..

Тут Скопин-Шуйский ударил в лоб, и набежали подоспевшие к Москве смоляне.

— Дело наше прееет! — закричали болотниковцы и пустились бегом в Коломенский острог...

Три дня били воеводы из пушек, но разметать земляных валов не смогли. К вечеру загорелось. Ворога с резными кокошниками распахнулись. Болотников выскочил из острога и побежал по серпуховской дороге. Скопин-Шуйский погнался за ним, но разбить наголову не сумел. Болотников ненадолго задержался в Серпухове и ушел в Калугу...

Солнце другого дня осветило москворецкий, разбитый ядрами лед и толпы «воров», которых «сажали в воду»: их ударяли дубиной по голове и спускали в жгучую черную ледынь.

— Мы-то с вешней водой опять придем! — кричали они.

А в патриарших палатах дьяки строчили «известительные листы» — писали пространные, жалобные по областям вести:

«...Собрались украинских городов казаки и стрельцы, и боярские холопы, и мужики, а прибрали к себе в головы таких же воров,

Истомку Пашкова да... Ивашку Болотникова, многие города смутя, церкви божие разорили... и с образов оклады и престолы... обдирали... и кололи ногами и топтали... и дворян и детей боярских и гостей и торговых всяких... людей побивали... и, пришед под Москву, стояли в Коломенском, умысля воровством, чтоб на Москве всяких людей прельстити и смуту учинити, как и в иных городех, и Москва выграбить...»

## ТУЛЬСКОЕ СИДЕНЬЕ

Вода путь найдет.  
*Старинная пословица*

### 1

Деревянные стены астраханского кремля лоснились от пролетевшей над городом моряны. Ледяной нарост покрывал лубяные лабазы, зимующие на Волге живорыбные садки и надолбы — поставленные стеной у нижних бойниц дубовые бревна.

У Мочаговских ворот городские стрельцы и пришлые казаки затеяли спор.

Казаки в татарских штофных бешметах, шароварах и молодецки искривленных шапках грозились:

— Вы против вашего воеводы не стойте! Што он Шуйскому изменил, то к добру. А станете биться, и мы бить станем. То наша и сказка!

— Да он же, воевода, — пес! — кричали стрельцы. — Жалованье наше проедает! Не мыслим его правым!

— За Димитрия стоит, то и — правда! И вы б за него стояли да за царевича Петра. Он-то нынче в Путивле, а скоро пойдет с людьми к атаману Болотникову в прибавку.

— А дьяк Афанасий молвил, што тот Болотников — вор!

— Голову сронит Афанасий!

— С раската кинем!..

Стрельцы умолкали, задумчиво отходили прочь, пытливо и с опаской косились на казаков.

На персидском, бухарском и русском гостиных дворах стоял шум: купцы суетились, прятали товар и торопливо закрывали лавки.

Смуглый, с гривой кольчатых черных волос человек остановился, прислушиваясь к крику. Это был резчик Франческо Ачентини.

Тогда, в жаркую июльскую ночь, он неожиданно для себя изменил путь, круто свернул от Чернигова на север... Тонкий резной месяц висел над полями, над светлой хрупкой тишиной, над черствой от зноя, бездорожной, в рытвинах, землею. Итальянец торопил ямщика, и тот гнал лошадей в село, где утром видели они прикованную Грустинку. Зачем — Франческо не знал. Но, прикатив в село и никого не найдя, он велел гнать лошадей вперед.

Спустя два дня он решил повернуть на Киев. Но никто не захотел везти его. Дороги стали опасны. Был только один путь — на Курск.

Он ездил из города в город. В Ливнах его едва не убили. Калужский воевода долго расспрашивал, кто он и откуда едет, не поверил и грозил посадить в тюрьму.

Он пробрался в Астрахань, поселился у земляка Антонио Ферано и жил там, промышляя кропотливым своим делом. Франческо тосковал по родине, но всюду была «смута», и он потерял всякую надежду на отъезд..

Старый хромой купец вышел из лавки и остановился.

— Дивны дела! — сказал он, почти со страхом разглядывая итальянца. — А должно, ты — знакомый мне человек. Не тебя ли я в Азове за ясырь сторговал?

— Меня... А сына своего нашел? — с улыбкой спросил Франческо.

— Не дай бог, — проговорил купец, — сколько горя было. Совсем проелся тогда в дороге. А все же догнал того Махмет-Сеита, чтоб под ним земля горела. Черт!..

— А зачем опять приехал?

— С товаром я. Дом мой теперь — в Нижнем. В Москве торговым людям житья не стало. То царя

убьют, то, гляди, самого под дым спустят. Лавку мою сожгли; сам чуть жив ушел. А нынче воры под самый город подскакивали. Болотников, человек удалый, бе-ды накурил. А затеял такое, штоб волю взять одним холопам...

— Болотников?..— И Франческо нахмурился, при-поминая.

Стрельцы прошли мимо, разом грянул горластый хор:

А браним-то мы, клянем  
Воеводу со женой,  
Что с женой и со детьми  
И со внучатами!..

— Чуешь?— тихо сказал купец.— Таково запели — беда будет...

Заедает вор-собака  
Наше жалованье.  
Кормовое, годовое  
Наше денежное!..

Крик раздался в конце двора.

К оравшим стрельцам подбегали другие.

— Казаки секут!

— За воеводу стали!

— Дьяка Афанасия с раската метнули!..

— Ну, прощай! — заторопился купец. — Дал господь безвременье! И тут немирно!..

Франческо вжал голову в плечи и побежал по Гостиному, перемогая страх...

## 2

«...И взять с собою губных старост и целовальников и россыльщиков, да ехати по уездам, да тех дворян и детей дворянских и холопов их — всех нетчиков<sup>1</sup> — по списку собрати и выслати... на государеву службу в полки... И велети им ехати под Калугу к нашему стану. А будет которые... учнут бегать

<sup>1</sup> Нетчики — люди, находящиеся «в нетях» — в бегах.

и хорониться, и тем от нас быти в великой опале и тех сажать в тюрьму».

В Москве, подле изб стрелецких приказов сидели писцы. Они выкликали по спискам ратных людей, отмечали нетчиков и позванивали зеленоватой медью: каждому в начале похода давали меченый грош; те гроши потом сдавали в приказ,— сочли б воеводы, сколько пришло, скольким недостаца.

На Балчуге, в старом кабаке, гулял подвыпивший стрелецкий кашевар.

— Во! — кричал он. — Посылает меня голова в Калугу кашу варить! А какова та каша будет, знаете? С зе-е-ельем!

— Гляди, посекут тя воры! — хмуро говорили стрельцы.

— Не посекут. Чин добуду немалый, коли Болотникова изведу.

— А в Калуге што станешь есть?

— Эко дело! Кашевар живет сытнее князя!..

В Кремле собирались воеводы, головы, стрельцы. Шел ратный сбор. В хоромах боярин Колычев устало слушал, что ему говорил Шуйский:

— Сидит вор в Калуге, а с ним людей боле десяти тысяч. Мстиславскому его не унять. Пиши, боярин, к мурзам в степь, чтоб шли к Калуге, к нашему стану.

— Да мурзы, государь, не все за тебя стоят. Иные мордины воруют под Нижним и многие пакости городу делают.

— Пиши, боярин! — сказал царь. — Твори што велят! Ну, ступай! Я чаю, нет боле у нас иного дела?

— Да вот еще. Ходил давеча стрелецкий голова Хилков с кашеваром в Аптечный приказ. А как выбрали они зелье, был там немец, твой, государев, новый дохтур. И он, сведав про ту затею, молвил, чтоб послали и его в Калугу, а он-де вора лучше изведет. И я велел его звать к тебе в терема. Вели его в палату кликнуть.

— Зови дохтура!

Шуйский заходил по палате, растирая о грудь засвербевшую ладонь.



Боярин вышел и тотчас вернулся. За ним, бережно неся в руках колпак, шел седой, длинноносый, похожий на птицу немец.

— Верно ли, — спросил царь, — што можешь ты извести вора и пойдешь на такое дело?

— Верно, государь

— А не соврешь?

Немец выпрямился и взмахнул маленькой красной рукой.

— Кашевар простой человек есть. Он государю никакой услуги делать не может. Я знаю хорошо самый лучший яд. Я отравлю Ивана Болотникова... А государь должен давать мне сто рублей и поместье.

— Клятву дашь, — сказал Шуйский. — Велите послать за люторским попом!

Немца увели... Думный дьяк с грамотой вошел в палату.

— Государь! При Борисе робят наших посылали в Любку, и нынче немцы из Любки о тех робятах бьют челом.

— То мне памятно, — проговорил Шуйский. — Еще сказывал я, што побегут робята, не станут они ихнюю грамоту учить.

— Читать ли, государь?

Царь склонил голову вбок и приставил ладонь к уху.

«Извещаем ваше царское величество, што мы тех робят учили, поили и кормили и делали им по нашей возможности все добро; а они непослушливы и ученья не слушали, и нынче двое робят от нас побежали неведомо за што... Бьем челом, чтоб ваше царское величество написали об остальных трех робятах: еще ли нам их у себя держать, или их к себе велите прислать».

— Побежали! — радостно крикнул царь и часто, с кашлем и слезами, засмеялся. — Эх, Борис! Не по-твоему вышло!.. А робят тех воротить!..

В палате было светло. Февральская капель стучала под оконцем.

Царь ходил из угла в угол, утирал рукой слезы и крикивал:

— Побежали! Побежали!..

Боярин Кольчев ввел немца и стрелецкого голову Хилкова. За ними медленно шел лютеранский пастор Бэр.

— Ну, — сказал царь, — клянись, дохтур, да поезжай! Погляжу я, кто из вас — ты ли, кашевар ли — проворней будет.

Бояре стояли с хмурыми лицами. Бэр записывал клятву. Немец говорил:

«...Богом клянусь извести ядом недруга царя Василия Ивановича и всей Руси Ивана Болотникова; если же не сделаю того, а обману моего милостивейшего государя Шуйского из-за денег, — то пусть земля поглотит меня живого... все земные растения... послужат мне не пищею, а ядом; пусть я буду принадлежать дьяволу... мучиться и казниться весь век...»

### 3

Болотников стоял в Калуге, над Березуйским оврагом, в доме, откуда шел подземный ход на Оку.

За рекою был стан Мстиславского. Рыжая муть костров и глухое кипенье табора застилала поле. По утрам в Калугу на стрелах прилетали грамотки. «Царевич ваш — вор, — писали воеводы, — бездельник Михайло Молчанов, сеченный при Борисе кнутом. И вы б за него не стояли».

Болотников обнес город тыном и рвами.

— У нас один глаз в феврале, другой — в марте, — говорили «воры», — поглядим, каково воеводы будут наступать!

На поле под городом бояре сделали мосты на колесах, а за ними поставили туры — деревянные башни для заслону ратников. Сотники и десятники сгоняли с окрестных деревень крестьян, велели им рубить лес и складывать на мостах бревна и хворост. А «воры» днем и

ночью копали землю над Березуйским оврагом — ветви-ли и ширили подземный ход...

На Оке пошел лед. В Калуге было много стругов и лодок с солью. «Воры» попытались уплыть, но воеводы поставили на плотках пушкарей — уйти не дали. А запасов в городе оставалось немного, и посадские люди начинали роптать...

Ясным мартовским полднем в город сквозь стан пробрался холоп.

— Воевода где? — блестя черным от пороха и земли лицом, закричал он.

Его отвели к Болотникову. Иван стоял на обрывистом берегу. Внизу по всему полю торопливо, боясь упустить ветер, зажигали хворост.

Холоп подбежал.

— Воевода!.. К тебе из Путивля от Шаховского помочь шла. И догнали нас на Вырке-реке бояре. Мы крепко стояли. День и ночь, воевода!... До света! И тут мочи нашей не стало. А был с нами комаринский человек, Сенька Пороша, што из-под Севска, из села ушел. И он-то молвит: «Запалим-де порох! Коли от своего огня не погибнем, государевой воды нам не миновать!..»<sup>1</sup> А сам-то — на бочку, да и затропотит: «Эх ты, вор, комаринский мужик!..» И тут шибануло меня, землю накрыло, — не чуял боле себя... — Он помолчал и тихо промолвил: — Их, товарищей моих, на куски порвало!..

Крик раздался внизу, у реки. Ратные зажгли хворост и двинули туры — заслон. Но ветер внезапно стих и огонь загас. В низкую дымовую завесу бойко ударили городские пушки.

Вечером седой длинноносый немец пришел из стана к Серпеечной башне и молча стал у ворот...

Его отвели в приказную избу к Ивану.

— Здравствуй, Болотников, — радостно сказал немец, будто крылом взмахивая маленькой красной рукой.

Иван смотрел на него, хмурия лоб, не видя лица в избяных потемках.

— Царь Василий посылал кашевара тебя отравлять.

---

<sup>1</sup> Речь идет о распространенной в России XVII века казни — «посажении в воду», то есть утоплении.

Царь Василий и меня посылал с тем же делом. Но Фридрих Фидлер есть честный человек. Он не забыл твоей благородной услуги — как ты ему в Праге спасал жизнь.

— Правду молвит! — закричали «воры». — Сёдни кашевар приходил от воевод.

— Ну-ка, същем его, ребята!

— Поглядим на царское зелье!..

И они с бранью и криком выбежали из избы.

— Спасибо тебе, друг! — сказал Иван. — Не думал я тебя тут встретить.

— Я давно уезжал из Праги... В Москве все узнавал про тебя, про твои дела... Ну, как, Иван, долго еще будешь воевать с царем Василием?

— Я — пахарь, пашущий землю, — тихо сказал Болотников, — пашу и буду пахать ее, доколе не родит она плод..

Утром «воры» повесили кашевара перед городскими воротами (у него нашли яд). В стане узнали и об измене Фидлера.

— Эй, немец! — кричали оттуда. — Такова честность ваша?

А калужане сходились к воротам, смотрели на кашевара и говорили:

— Лихо ремесло на столб занесло!..

С теплыми днями не стало в городе хлеба.

— Ай, месяц май, тепел, да голоден! — говорили «воры». — В Тулу уйти бы, там-то и запаса вдоволь и помочь не малая — Шаховской да царевич Петр.

Вскоре узнали: князь Телятевский разбил воевод на реке Пчельне, идет к Калуге.

Болотников позвал Заруцкого, молодого «воровского» атамана, и спустился с ним в подземный ход.

Потом «воры» стали сносить туда пузатые черные бочки и всякий боевой «запас». А торговые люди зашептали: «Уйти мыслят!..» И вот подул ветер на город. На поле зажгли хворост, двинули туры и покатали груды горящих дров к городской стене.

Калужане закричали.

Сплошной дровяной вал трещал, протянув над рекой мутные космы дыма.

Огонь с ревом сокрушал валежник, объедал бревна; на стены летели головы и уголья...

Болотников вышел из подземного хода. С обрыва было видно — за низкой дымовой завесой наступали воеводы. Он подождал, пока огонь стал совсем близок, и кинулся к устью глухого, уходившего под землю лаза.

— Запалайте! — сказал он.

«...И тако подняся земля и с дровы и с туры и со щиты и со всякими хитростями приступными...»

«Воры» выскочили из Калуги и погнали воевод.

4

Двадцать первого мая Шуйский вышел «на свое государево и великое земское дело». Взяв и разорив Алексин, он пришел под Тулу, где затворились Болотников, Шаховской и «Петр»<sup>1</sup>.

Стотысячная рать стала по обеим сторонам Крапивенской дороги. В большом полку — Скопин-Шуйский, в сторожевом — Морозов. Близ реки Упы — «наряд»: пушки с потешными прозвищами — «Соловей», «Сokol», «Обезьяна». При Каширской дороге, за ольшаником и гущей ломкой крушины — казанские мурзы, черемисы и чувашаи.

В низине лежала Тула, приземистая, за стеной, со своими четырьмя воротными башнями. Пушистый болотный седач и темно-зеленый сабельник покрывали поле. Выблескивая из травы, проходила под стеною и дальше текла городом Упа...

Люди всходили на стены, втаскивали наверх пушки, мазали деревянным маслом горелые стволы пицалей. За рекою был стан. Иногда ратные подбегали близко, кричали: «Эй, Тула, зипуны вздула!» — «Ждала сова галку, да выждала палку! — отвечали «воры». — Так и с вами будет: всем вам царь по шишу даст!..»

<sup>1</sup> «Петр» — предводитель терских казаков Илейка Муромец, назвавшийся «царевичем Петром».

Близ Кузнечной слободы, в грязной воеводской избе лежал Болотников, со вздутым горевшим плечом, медленно приходя в себя после того дня, как встретившие под Тулой воеводы загнали его в город...

...Тогда у Калуги «воры» взяли большой запас. В семи верстах от Оки Болотников встретил Телятевского.

Старый, с белыми насупленными бровями князь сказал:

— Таково-то! Был у меня в холопах, а нынче стал надо мной воеводой!

— Какая обида была, — ответил Иван, — о том не помню. А молви-ка, где нынче сын твой Пётра? Да сказывай, пошто против царя стоишь?

— Пётра — в Туле, — сказал Телятевский, кладя руку на грудь. (Блеснули голубым связанные из колец доспехи.) — А против царя мы встали за его кривду и ложь. Издавна у нас вражда с Шуйским...

...В Туле Иван увидал Грустинку. Он не обрадовался ей и сам себе удивился, что так зачерствел за эти годы. Она стояла на забитом телегами дворе, все такая же, со слепым взглядом, с иссиня-черной, перекинутой через плечо на грудь косою. Молодой Телятевский вышел из избы, опасливо метнул по двору глазами. И тут Болотников закипел и медленно, тяжело двинулся к Петру.

— Полно! — глухо сказал он. — Не срок ли тебе дать ей волю?

— Ступай, ступай! — низким, густым голосом сказала Грустинка, не узнавая Ивана.

Петр усмехнулся и двинул насупленными, как у отца, бровями.

— А на што ей воля? Ныне меж нас любовь да совет.

— Любовь да совет?! — закричал Иван и схватил Петра нывшей от раны левой рукою. — А от кого она вне ума стала? Да мыслишь, не знаю, кто ее, сироту, на цепи держал?!

Грустинка кинулась к ним, оттолкнула Болотникова и заслонила Телятевского.

— Ступай, ступай! — низким густым голосом сказала она. — Не тронь Ивашки мово, не обижай, княжи ч!

— Княжи ч?! — прохрипел Болотников и воззрился на них, кинув руку на саблю.

— Таково она всех кличет, — с усмешкой сказал Телятевский, — не тебя единого.

— Ну, худые ваши любовь да совет! — крикнул Иван и добавил сквозь зубы: — Посек бы тебя, князь, кабы не она!..

...Болотников привстал и потянулся к ковшу на столе — пить. В избу вошли Юшка Беззубцев и крепкая, с веселым румяным лицом баба.

— Не легчает? — спросил Юшка. — Я вот лекарку те привел. Догляди-ка воеводу, женка!

— Пулька тут либо стрелой ударило? — спросила баба, дотрагиваясь до замотанного холстом плеча.

— Саблей, — сказал Болотников. — Саднит да жжет, будто пить просит.

Женка осмотрела руку.

— Ништо, — проговорила она. — Даве зрела недужного, так у него рана в боку грызет, а кругом красно и синь, и та рана зовется в ол к. Вот то худо.

Она вынула из посконной торбы охапку сухих трав, взяла узкий зубчатый лист и, намочив в воде, приложила к ране. Длинный пахучий стебель упал Ивану на грудь.

— Што за травинка? — спросил он.

— Нешто не знаешь? Да царь-зелье. А пригодна ко многим вещам: если што с ума нейдет, или глух, или хочешь на худой лошади ехать — поезжай, не устанет.

— Как звать тя, женка?

— Манькою. С Москвы я при царе Борисе ушла... Ворожил у меня дворянской сын Михайло Молчанов, и как стал он про ту свою ворожбу рассказывать, што-де видел косматых, как сеют муку и землю (а в те поры на Москве голод был), — и его за те речи секли кнутом, а я едва от стрельцов укрылась. А нынче слышала, будто Молчанов в Литве живет да прозвался царем...

В избу вошел Шаховской; за ним — «царевич

Петр» — молодой, с рябым плоским лицом и злыми глазами.

— Здорово, воевода побитой! — хрипя от опоя, сказал он. — А ну, погляжу, каков ты есть!

— Каков был, таков и есть, — всматриваясь в него, медленно проговорил Иван. — А ты вот звался Илейкой, а нынче Петром стал. Или не так?

— Признал, черт!.. На Волге в стругу вместе были!.. Теперь гуляю... Девять воевод казнил... А иду я за холопов и меньших людей против больших и лучших...

— Ты-то? — Болотников окинул взглядом его дорогой, залитый вином кафтан и сказал: — Ну, гуляй, гуляй!..

В избу набивались «воры» — туляки, алексинцы, калужане, иноземцы — из тех, что перешли к Болотникову от воевод.

Шаховской заговорил, сутулясь и трясая темной бородой с белым островатым клином:

— Людей в Туле с двадцать тысяч будет, а запаса хватит на месяц, не боле. Из Литвы помочь все не идет. Надобно посылать к государю гонца, Иван Исаич.

— Вестимо, гонца! — закричали «воры». — А сказывать ему так: «Пуцай приходит каков ни есть Димитрий!.. От рубежа до Москвы — все наше!.. Приходил бы и брал, только б избавил нас от Шуйского!..»

— А в Москве будет добра много! — крикнул «Петр» и повалился на лавку.

— Ну, так, — сказал Болотников, — посылай, князь, гонца!..

5

— Эй, воры! Винитесь царю-у-у!

— Царь птицам орел, да боится сокола, а ваш царь — тетерев, где ему против нашего сокола лёт держать?!

Болотников стоит на стене. Летят озорные бранные присловья. Мелькают за рекой шапки иноземных войск. Иногда просвистят оттуда хвостатые стрелы и вопьются в землю, дрожа, как живые.



— Поберегись, Иван Исаич! — окликнут Болотникова. — За кожей панциря нет!..

— Эй, воры! Винитесь! Государь вас пожалует!

— Царь Борис мудренее его был, а и того скоро не стало!..

Пушки бьют по стене: ядро подле ядра. Скачут по полю чуваша: в зубах — стрела, узда навита на пальцы. Кони у них с подрезанными ноздрями, с крепкими копытами.

— Смотрите, — говорит Иван, — караулы б у вас днем и ночью были частые. — И, задумчивый, хмурый, сходит со стены.

Ночами светлят небо костровые зори царского стана. Прибегают из-за реки люди: «У нас-де в полках гульба; ратные люди женок держат и воевод побить грозятся...» А в городе — голод. Торговые люди ходят по домам, смущают посадских: «Сдавал бы воевода Тулу. Пропадут ваши головы за боярами голыми. А хлеба не станет — приходите к нам, мы дадим...»

Еще одного гонца послали к «Димитрию» в Польшу — Заруцкого. Он достиг Стародуба, но дальше не поехал и остался там. Какой-то человек появился в городе. Товарищи его стали распускать о нем всякую небыль. Стародубцы взяли их и отхлестали розгами. Тогда один из них закричал: «Ах, вы, дурачье! Кого бьете? Поглядите-ка на своего царя, как вы отделали его!..» Прибежал Заруцкий и поклялся, что узнаёт Димитрия. Стало одним «государем» больше. Это про него говорили потом: «Все воры, которые назывались именем царским, были известны многим людям, а сего вора отнюдь никто не знал, неведомо откуда взялся». Это был будущий Тушинский «вор».

А в Тулу пробирались люди, говорили: «По всей земле стала смута. Соберутся крестьяне и выберут себе царя: то — мужика-лапотника, то — сына боярского, а есть царевичи: Мартынка, Ерощка, царевич Непогода, царевич Долгие Руки и царевич Шиш...»

Из Самбора от Молчанова получилась грамота. Ее стали читать на площади. «Воры» затаили дух.

«Будь ты, Шаховской, Димитрием, — писал Молчанов. — Я-то думаю сделаться добрым помещиком и жить в Польше. Пуцай выдает себя за Димитрия тот, кому

будет охота, а я более не царевич и быть таким не хочу».

— Шаховской, пес! Обманул! Каков то Димитрий?!— закричали «воры». — Одна слава, што печать на Москве скрал!

Они схватили старого князя. Он вырвался и сулил им денег.

— Борода козлу не замена! — сказали они и бросили его в тюрьму...

Листобойные ветры намели рыжие скользкие вороха. Сразу наступила осень. Из ближней деревни в Тулу прибежал холоп.

— Чуваши гнали!..— кричал он.— Беда, брáты!.. Был я сѣдни в лесу — крушину ломал. Притомившись, лег, дремлю, слышу — голоса гудут. Гляжу — двое старцев спорят, ну вот биться станут, а молвят такое: «Я-де Тулу потоплю». — «Ан, не потопишь!» — «Нет, потоплю!» Страх меня взял, тут я и бежать!..

— Привиделось тебе, — сказали «воры».

— Старцы-ы-ы!..

— Надумал, дурень!..

А в полдень в стан к Шуйскому и впрямь пришел ветхий старик.

— Дай мне, государь, людей, — шамкая, сказал он.— Плотину сделаю, потоплю Тулу.

— Ты кто же будешь? — шурясь, спросил царь.

— Муромский человек Федор Кровков... Древодел я. Дай мне, государь, людей посошно<sup>1</sup>. Тулу потоплю...

Согнали крестьян, велели им носить в мешках к реке землю и делать запруды. Упа разлилась и вышла в городе из берегов...

Утром у мельницы, где река гудела и рассыпáлась водяною пылью, собрались люди.

— Вода путь найдет! — говорили купцы.— Ишь лабазы с хлебом все залила!

Шел дождь. С неба свисала серая нитевая морось. По улицам сновали плоты и челноки.

---

<sup>1</sup> Пахотная земля и села делились в России XVII века на участки, называемые «сохами»; с «сох» брали и людей на ратную службу.

Болотников стоял у плотины. Рядом с ним — Фидлер и Юшка Беззубцев. Юшка говорил:

— ...А мыслю я, вспомянут ли внуки наши, как мы в Туле в осаде, голодом, сидели?..

— Вспомянут! — тихо ответил Болотников. — Вспомянут, Юшка!..

Тут все увидели: у мельничного колеса встал на колоду никому не ведомый пришлый старик.

— Люди тульские! — сказал он. — Я Упу заговорю. Погодите малость, покуда в воду влезу!

Он разделся и, худой, костлявый, нырнул. Потом вышел из реки весь синий и, стуча зубами, промолвил:

— Было мне много дела! За Шуйского двенадцать тысяч бесов. Шесть тысяч я отогнал, а шесть — за него стоят!..

«Воры» побили его. Народ, подстрекаемый «лучшими» людьми, сбегался к плотине, кричал:

— Иван Исаич! Винись царю!

— Воевод не одолеть!

— С голоду помираем!

— Вижу, што так!.. — глухо сказал Болотников. — Ну, ступайте к воеводам: коли обещается царь вас отпустить, не чиня никакого зла, — сдадим Тулу...

Развёдрилось. Солнце низко стояло над мокрым полем. От Шуйского пришел ответ:

«Целую на том крест, что мне-де вора́м всем дать выход, кто куда захочет, а воеводам их, вору Ивашке и иным, ничего не будет...»

И тульские «лучшие» люди выдали его...

Сырое дикое поле уходило вдаль. Солнце висело в пару. Казалось, над самым солнцем пластался неподвижный коршун.

Болотникова отвезли за реку, в царский стан.

Стрельцы расступились перед ним. Никто не сказал ни слова. И тут подбежали сотники, головы, воеводы:

— Спасибо тебе, вор!

— Спасибо, изменник!

— За што? — вода мутными глазами, спросил Болотников.

- За брата моего!
- За зятя!
- За сына!
- Не меня вините. Убиты они за свои грехи.

Удары и брань посыпались на Ивана. Его отволокли к царской веже. Иноземцы стояли у шатра. Среди них были швед Ерлезунда и лекарь Давид Васмер. Шуйский, глядя на Болотникова, зябко потирая руки, сказал:

— Так вот каков ты, вор, што хотел лишить меня царства!

— Не я того хотел — весь народ!

— Воры все! — крикнул Шуйский. — То ведаю. Я их с кореньями велю повывертеть!..

Стало тоскливо. Рванулся, жадно в последний раз обвел глазами Тулу.

Коршун в небе сложил крылья, упал...

## КАРГУН-ПУОЛИ — КАМЕНЬ-СТОРОНА

И Москва-река мертвых не  
пронесла.

*Никоновская летопись*

### 1

Илейку-Петра повесили под Даниловым монастырем, за Серпуховскими воротами. Не всех «воров» отпустил Шуйский. Много их было приведено с Поля и «посажено в воду» под Кремлевской стеною. Народ говорил, смотря на заградившие течение трупы: «И при царе Иване было такое, што Москва-река мертвых не пронесла».

На Земском приказе у Никольских ворот — на плоской его кровле — лежали тяжелые, похожие на свиней, пушки. Поминутно распаивались ворота, десятники и приставы выводили «на правез» кабацких пьяниц, втаскивали взятых за «смутные речи».

— Где вино пил? — накидывался пристав на хмельного прохожего.

— В кабаке государевом.

— А не в ином ли месте? Гляди, кроме царева каба-

ка, нигде пить не мысли, государевой казне убытку не чини!

Люди шли от реки. Их круто сек дождь. Они говорили с опаской, вглядываясь в лица встречных:

— Людей сколь погибнуло!

— Да всех не перетопить!

— Не нынче-завтра в иных местах заворуют.

— А Болотникова в Каргополь<sup>1</sup> угнали.

— Еще жив ли останется,— про то бы узнать!..

В брусняных хоромах ранняя серость заволокла зеленые печные изразцы. Боярин Колычев держал перед царем чарку; по ней шли чеканные витые травки.

— Пирог-от слоеватый сдлон был! — говорил Шуйский.— Дай-ка еще!

Он стоя отпивал квас, и боярин брал чарку из его рук. Лица у них были серые, и по всей палате сеялся зыбкий и серый туск. Один только попугай упорно не мерк в островерхой клетке.

— Ну, боярин,— сказал царь,— призамолкнут ныне людишки,— воров побили!

— Побили, да не всех, государь.

— А которые остались, и тех побьем... Казне моей в великий убыток воры стали. Нынче, боярин, гляди за винной продажей: против прошлых годов в доходе недобору не было б. Да крестьяне штоб в карты и зернь не играли,— оброк платили бы исправно.

— А как они зернью, государь, играют,— сказал Колычев,— тогда вина твоего, государева, больше идет в расход..

Думный дьяк со свитком в руках вошел в палату:

— Отписка, государь, от воевод из Томска-города, а неладно пишут.

— Чего еще в Томске неладно?

— Казак Якушко Осокин сказывал про тебя, государя,— чего и в ум нельзя взять,— што тебе не много-летствовать, а быть на царстве недолго.

— Иван Крюк Федорыч,— сказал Шуйский,— дай-ка еще квасу!..

---

<sup>1</sup> Каргополь — по-карельски Каргун-пуоли — Страна валунов, Камень-сторона.

Он, разгневанный, красный, часто моргая, заходил по палате.

— Про того Якушку Осокина велите сыскать!..

В дверях появился боярин.

— Шведский посольский человек Петра Ерлезунда да лекарь Давид Васмер челом бьют!

— Зови!

Вошли швед и немец. Первым приблизился к царю Ерлезунда.

— Король Карлус поручил мне известить ваше величество, что король польский готовится вести с вами войну.

— Спасибо королю за вести, да то я и сам ведаю... Ты, лекарь, молви, с каким делом пришел.

— Государь! Братья мои и друзья сосланы на север. За верную мою службу молю, государь, их воротить!

— С ворами заедино были! — ответил Шуйский. — Пуцай там живут, куда повезены.

— Государь, — сказал Колычев, — а Ивашку Болотникова, мыслю, зря угнали. Человек он смутный, убежит. Его бы тут, в Москве, на цепи держать.

— Верно, человек он смутный! Вор!..

— Вор!.. — скрипнул в тишине нечеловечий голос.

Все, вздрогнув, разом посмотрели в угол. В клетке, висая вниз головой, качался попугай.

— Вона — судья мудрый! — крикнул царь и часто, с кашлем и слезами, засмеялся. — А и впрямь, чего от вора ждать?.. Напиши, боярин, в Каргополь: Ивашке глаза вынуть да немного погодя посадить его в воду!

— Царь целовал крест, — тихо проговорил немец и двинулся к Колычеву, — царь целовал крест, дал слово — я сам слышал!

— Казни-и-им! — протянул боярин и махнул рукою.

— Blut ist nict Wasser! <sup>1</sup>

— Чего молвил? Квасу? — смеясь переспросил Колычев.

---

<sup>1</sup> Кровь — не вода (нем.).

Тогда оба они — Васмер и Ерлезунда, — как по уговору, поклонились и вышли.

Придя на Посольский двор, швед что-то записал в своем дневнике.

2

«Город — деревянный рубленый, а башен по стенам семь... А тот город — строение давних времен; башни строены шатровые, и те башни и городская стена и во многих местах кровли и лестницы, что из города на городскую стену ведут, обвалились...»

Ветер дует с Онеги, гонит на город чахлое мелко-лесье; дымит снегом близкий, срезанный рекою небосклон. Тут и там торчит из земли окатистый черный валун — скачет в тоскливом раздолье былинный конь-камень. Полозья свистят по льду: каргополы идут Онегою к морю «по соль».

Город уныл. Да и нет его вовсе. Так, едва приметный езжалый путь кружит в поле от избы к избе за ветхой стеною. Глушь, медвежий закут. Избы — рублены из толстого, в обхват, кондового леса, с высокими резными трубами и деревянным коньком.

На берегу, где сложена вываренная соль, солевозы ругают городского сотника Меркула:

— Откупщик! Правды в тебе нет нисколько! С соляной рогожи берешь по три и по пять денег за то лишь, что из саней на берег переносить!

Меркул, кряжистый, с раскосым лицом и мерзлыми — подковой — усами, смеется:

— Шолчи-молчи! Стану править на вас извозное — за брань накину по деньге!..

Ссылные проходят берегом. Среди них — немцы, взятые вместе с болотниковцами в Туле. Стали у часовни с крестом, увешанным пестрою ветошью, смотрят на реку.

— А побьют они его, — говорит один, — поделом то будет!

— Злой человек! — отзывается седой длинноносый немец. — Жалко, что народ здесь очень смиренный.

— Эх ты, брат, все дрожишь! Занедужил, што ли?

— Ничего. Это — старость...

И немец машет маленькой, озябшей рукой.

На Онеге и озере Лаче рубят лед. Выколотые многопудовые «кабаны» громоздятся у полыней. В сумерках от зеленых льдин отражаются ломкие лучи каргопольских звезд. Дорогою в Пудож бредут на стоялый двор озерные ледорубы.

В жарко натопленной избе сидят каргополы и поморы.

— Господи Иисусе Христе! — доносится со двора.

— Аминь! — отвечает хозяин и впускает гостя.

Русая девка в вышитом сарафане собирает на стол. Расставляет пузатые чаши, несет мисы грибов — подьельшей и обабков.

Со двора постучали. Отряхая снег, в рваных сапогах и тулупе вошел слепец. Молодой, со светлыми прямыми волосами, с дырками прожженных глаз и опалинами меж бровей.

— На Пудож мне, — тыча клюкою в пол, сказал он. — Застыл. Ноги в коленях свело, маленько персты ознобились...

— Садись, убогий человек! Обогреешься, — может, и старину скажешь?

Лоб его заиграл, краснея и рубцуясь.

— Скажу, люди! Доселе не сказывал, а скажу!..

Его накормили.

— А ты-то не ссыльный будешь? Не с города ли? — спросили каргополы.

Он не ответил. Только жженые рубцы сильнее зачернелись на лице.

Хозяин, седой румяный мужик, вздохнул и сложил на животе руки.

За столом перестали есть. Слепец заговорил, прямой и страшный, уходя головою в тень божницы:

А взойдут человечи да на шелом, на гору,  
А зглнут человечи да ино вверх по земли  
Чем-то мати земля изукрашена?  
Изукрашена мати земля тюрьмами,



Теми ль хоромами, что о двух столбах с  
перекладиной...

Стало тихо.

— Беглый! Вестимо! — тихо сказал хозяин.

Слепец обернулся на голос, промолчал и снова заговорил:

А взойдут человеки да на шелом, на гору,  
А згленут человеки да ино вниз по земли:  
Чем-то мати земля принаполнена?  
Принаполнена мати земля приказными,  
Лжою-неправдою мати земля стоит...  
Протекала река да огненная,  
От востоку-то протекала да вплоть до западу.  
Ширина, глубина да ненамеряная.  
Через огненну реку да перевоз ведь есть.  
А ишол человекишко, да он зарывчив был.  
Он и стал у перевозчиков выпрашивать:  
— А вы молвите, пошто река — огненна — течет? —  
Отвечали перевозчики: то — издревле.  
Лютовал-гневовал тут собака-царь.  
Рыл-метал людей в воду на двенадцать верст.  
В та поры и стала река огнем-от течь,—  
Искони-де со дна пышут утолпые...—  
Отъезжал человекишко за сини моря.  
А была ему поветерь попутная.  
Он и в турках был и в латынах живал,  
И повсюду правду искал, выпытывал.  
Наезжал человекишко вобрат на Русь.  
А была ему поветерь попутная.  
Он и стал тут дворян поворачивать.  
Бояр и приказных поколачивать:  
— Ты вставай, вставай, безымянной люд!  
Выдыбай скорей со речнова дна!  
Ты взойди-ко на гору, на крут шелом,  
А зглени, какова мати земля стоит! —  
Да тут скоро ему и конец приходил.  
Обступила сила кругом-вокруг несметная,  
Загасили ему очи — жогом пожгли.  
Он и сам про себя старину складывал...

— Беглый и есть! — сказали в углу. — А хороша старина. Век бы слушал.

— Ну, пойду, — проговорил слепец.

Кто-то сильно затряс ворота. Хозяин, без шапки, выбежал во двор...

— Шолчи-молчи! — послышался в сенях чей-то шепот...

Вошел хозяин.

— Ну, ступай,— сказал он слепому.— Проведут тебя. Человек один с тобой на Пудож идти хочет.

Слепец вышел из избы. Снег захрупал под его ногами. На дворе стоял сотник Меркул.

— Человек вперед пойдет. Ступай за ним! — И звонкое бревно заложило изнутри ворота.

Слепец пошел по дороге, чутко следя за хрусткими шагами,— провожатый быстро уходил вперед. Вдали ледяным белым щитом лежала Онега. Меркул повел к реке, к ледакольным. Слепец завозил клюкой по снегу — потерял дорогу, остановился, потом быстро двинулся по льду.

Начались полыньи.

Меркул вел прямо к воде. Перешагнул. Слепец раздул ноздри — почуял воду — обошел полынью. Певучие, звонкие осколки крошились под ногами.

Меркул споткнулся и, громко выбранившись, впервые подал голос. Слепец остановился. (Вода была рядом.) Сказал:

— Жаловал до уса — жалуй и до бороды!.. — И бросил суму; из нее выкатилась на лед баклажка.

— Признал?! — закричал Меркул, вернулся и подошел вплотную.— От меня бегать не мысли! — Он легонько толкнул слепца, и тусклые блики, похожие на сабельные клинки, вспыхнули в густой, черной воде.

Меркул, натужась, поднял острую, выколотую пугру льдину и бросил в прорубь. Потом он подобрал баклажку, сказал: «Утопший пить не просит!» — и, довольный, неторопливо зашагал по льду...

На самом дне неаполитанского Castello Nuovo стояли двое. Темный колокол рясы, казалось, врос в ледяные плиты пола. Узник качал курчавой головой на тучной шее и улыбался. Руку его тряс молодой монах.

— Наконец-то мне удалось свидеться с тобой!

— Да, Паскуале!

Узник широко раскрыл зеленые глаза, но солнце ушло из каменного мешка, и темная празелень глаз сменилась угольной чернотою.

— Какие вести принес ты? Что нового в мире? В этой дыре я не слышу ни о чем.

— У нас — все по-старому. В Калабрии так же крепко сидят испанцы, а о других землях я и сам не много знаю... Вчёрá вот, по дороге в кармелитский монастырь, встретил одного венецианца. Он резчик. Жил во время смуты в Московии, сидел там, как в плену. Рассказывал, что какой-то человек поднял простой народ, едва не взял Москвы, но потом его одолели и замучили в ссылке.

— Смотри! — сказал узник и взял со стола лист бумаги. — Вот что я написал: «Нынешний век убивает своих благодетелей, но они воскреснут!..»

Швед Ерлезунда отметил в своих записках:  
«Царь сдержал клятву, как собака держит пост».

Михаила  
Ломоносова  
и днш  
Труды

Некоторые идеи созревают в  
определенные эпохи: так плоды  
падают одновременно в разных са-  
дах.

*Гёте*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I

Командирска с нами воля,  
И их над нами власть.  
Слушаться — солдатска доля,  
Уж такая наша часть...



олдатские ранцы хрустнули, ружья с медными шомполами взяты к ноге; полк, дружно топнув, врос в площадь. Эскадрон драгун, следовавший за кабинет-курьером, вступил на нее с другой стороны. У трактира уже стоял запыленный кабинет-курьерский возок и дремала старая, ры-

жая от грязи пушка.

— Куда вас, ребяташки, гонят?

— За Уфу, родимые, башкир воевать.

— А какой это будет город?

— Располагаем, что Кострома, а верно сказать не умеем!..

От площади лучами — пять ровных, в зелени, улиц. Крупные, плечистые люди — у каменных лавок. С Волги плывет пение рулевого. Виден осколок реки с опрокинутой пестрой половиной собора и размытой фольгою глав.

Гренадеры — в белых высоких шапках, в кафтанах с раскрашенными обшлагами (за недостаточию цветных сукон), серые от пыли, сваренные июльской жарой.

Дряхлый солдат — совсем пора бы на снос — снял

шапку, потрепал по шее тощую драгунскую кобылку. Волосы у него пробиты прямым рядом; пустые, слезятся глаза.

— Извелись кони, что люди. Вон и вижу худо, и рука порублена, и всем из себя плох. Двадцать пять годов служу, добрый человек. Какая от меня служба!..

— Не из башкир ли едете?

— Оттуда.

— А каковы собою те люди?

— Да народ убогой. Вздумали енаралы город ставить при реке Ори, а башкирам утеснение вышло, теперь и сладу никакого нет...

Перекрывая говор на площади, где-то ударил воющий голос. Из дома, где помещалось духовное управление, выскочил человек, судя по гусиному перу за ухом и облику — подьячий. Бумажный лоскуток, как пойманная птица, трепыхал в его руке.

На шум у трактира возникло начальство — курьер от статского советника Кириллова в столицу с докладом.

— Для чего кричишь? — становясь у крыльца и скидывая головой, спросил курьер.

— Императрикс...

Человек, балдея, смотрел на начальство.

— Что ты врешь?

— Императрикс, — последним голосом пролепетал подьячий.

У начальства потное зеленое лицо и нос пяткой.

— Кто таков?

И уже из зеленого бурым стал кабинет-курьер.

— Старший писчик духовного управления.

— Для чего кричал? Говори толком!

— Императрикс, ваше благородие... Прошибка в высочайшем титуле... Карау-у-ул! — снова завопил он.

Но тут, отстранив писчика, появилось новое лицо — ледящий белобрысый поп.

— Алексей Васильев я. На меня крикнуто было.

Поп совсем белый. Он уже конченный человек, лишен ноздрей, бит, сослан, четвертован.

— Ври! — говорит начальство.— Ври все!

— Была у меня знатная псальма, и я ж ее не таил, а певал в разных дѳмех при компаниях...

— В разных дѳмех при компаниях,— подтвердил писчик.

— ...и давал многим людям псальму списывать...

— Давал списывать,— вторит эхо,— чернильная душа.

— ...да небрежением певчих сия у меня утратилась. А я, идучи сюда, дабы оную сыскать, не чаял себе такого горя и «караула» слышать. Начало же псальме было: «Да здравствует днесь императрикс Анна», что, сказывают, не по форме.

— Ваше благородие,— ввернул писчик,— вот, записано для памяти.— И всучил курьеру бившийся на ветру лоскуток.

— Говори, поп, где взял!

— Дьякон из Нерехты дал. Сам-то он добыл от свояка своего, дьякона села Большие Соли. А псальма та печати предана в Санкт-Петербурге...

— Печати?!— заорал курьер.— Караул! Взять его!.. Ну, мы корни найдем... Еще в Тайной канцелярии не бывал? Об Андрее Ивановиче Ушакове не слыхивал? Он те не свой брат, кнуты у него сыромятные... Ну, служба, что стал?!

Драгун подтолкнул неживого попика. Писчик переступил с ноги на ногу.

— Не приказано ль будет нерехтинского дьякона задержать?

— Для чего?

— Для того, что он, будучи при сем приключении в канцелярии, воровским образом в окно ушел.

— Земля наша — и заяц наш! — Курьер отмахнулся.— Поймаем!

Он медленно подошел к возку, занес ногу и оступился. Сел в пыль, потом, к удивлению солдат, разлегся и лежа стал бить по земле кулаком, взметая белые облачка и покрикивая:

— Уж мы кор-р-рни... найдем!.. Найдем!..

Словно в пыли под возком были эти корни.

Так не сразу обнаружилось, что кабинет-курьер был пьян.



«Цель настоящего издания — удержать каждого честного человека от путешествия в Московское государство», — так в 1735 году изливал яд на Россию автор клеветнических «Lettres Moscovites»<sup>1</sup>.

В то время в Европе стали плавить чугун на каменном угле. Англия с Францией обогнали Россию. Татищев писал черновик своей «Истории» башкирскою кровью, радел о медных заводах и переводил на уголь сосну и березу. Башкиры «пускали огни»: на заводы ползли их «несносные волшебные дымы». Каратели не унимались и доносили в столицу: «воров» искоренено столько-то, найдены признаки руд медных и серебряных, а также камни — яшма, мрамор, порфир.

Автор памфлета — граф Рокфор-Локателли — был арестован в Казани, «яко французский шпион». В Москве его держали в скверной избе. Он пожаловался. Его перевели в лучшую и принесли в подарок от императрицы рубль. Впоследствии, высланный за границу, он дал с этого рубля сдачи. Кантемир, русский посланник в Лондоне, посылал донесения о нем в Петербург в течение трех лет.

В 1735 году свирепствовала экзекуция<sup>2</sup> для сбора подушных денег.

В 1735 году обнаружилось, что за семнадцать лет из числа всех обложенных податью умерло, взято в солдаты, сослано в каторгу и бежало свыше двух миллионов «мужеска пола душ». Население всей России составляло 14 миллионов. Деньги же собирались так, как будто не убыло ни одного человека. От этого, от хлебного недорода и за другими припадками, недоимщики на многих землях показывали пустоту.

Тогда опускал в карман даримые Анной города и наживался на коровьем масле Бирон. Оно скупалось для него по всей Курляндии. Говорили — одна из ком-

<sup>1</sup> «Lettres Moscovites» — «Московские письма» — злобный памфлет на Россию первой половины XVIII века, написанный итальянским авантюристом Франческо Локателли.

<sup>2</sup> Экзекуция — здесь — размещение войск по домам в сельских местностях, как мера воздействия.

нат в его митавском дворце намощена положенными на ребро рублевиками. «Нет у нас никакого доброго порядка,— стонали в Петербурге,— овладели всем инопземцы, Бирон всем овладал».

Тут ошибались. Не Бирон всем «овладал», а помещик в юбке, севший на троне, сделал бироновщину в угоду любимцу. Ему-то от ее императорского величества «никуда и отлучиться было невозможно». Разве для беседы с английским послом Финчем (Россия продавалась не немцам, а англичанам). «Власть их (инопземцев),— писал Локателли,— основана только на робости и рабстве, в которое погружен весь народ».

Аннин Зимний дом и конская школа были плацдармом. В манеже ежедневно объезжалась Россия. Делал на корде круг Бирон, и власть по стране расходилась кругами. Было подмечено: герцог, говоря о людях, выражался, как лошадь; говоря о лошадях — как человек.

Власть расходилась кругами.

За спиною временщика обирали башкир. Воеводы свозили с окраин многие тысячи. Крестьян без указов прикрепляли к заводам; болтунов грозили пометать в домны. «Кандалы в Московии нипочем,— замечал Локателли,— чуть кто провинится, тотчас заковывают».

Дворянство кряхтело. При Петре оно служило без срока. Оно посадило Анну, и ему не стало легче служить.

В «де Сиянс Академии» не было ни одного русского. Ни в профессорах, ни в адъюнктах.

«Юношеству не дают хорошего воспитания,— язвил Локателли,— возможно ли вывести народ из варварства, в котором он находится столько веков?»

Кантемир успокаивал:

«По известиям из Парижа — Локателли в том городе за плута был, давно знаем».

Но обида росла.

Обида будет расти.

Памфлетист наконец появится в Лондоне, но преследовать его за книгу окажется невозможным. «К наказанию его,— напишет посол, ибо время и нравы были грубыми,— один остается способ: чтобы своевольным судом через тайно посланных гораздо побить, и,

буде ваше величество тот способ апробовать изволите, то я оный и в действо произведу».

Так разменяется рубль и будет дана сдача со сдачи.

И задумаются господа кабинет-министры и господа Сенат...

### III

— Господа кабинет-министры и... кха-кха... господа Сенат!..

Седая лисица — Остерман — трясет востроносою мордочкой и, сутулясь и перхая, склоняется над столом. Вот острый локоть Головкина, вот манжета Черкасского, рядом с перстнями Корфа; строчат перья чиновников, и сжаты в замок две худые руки (Ушакова). Когда Остерман болен, он не смотрит в глаза.

О башкирских делах скрипит Остерман, о новом статского советника Кириллова донесении: «Башкиры — неоружейный народ и враждуют с киргизами. Никогда не следует допускать их к согласию, а напротив, надобно нарочно поднимать друг на друга и тем смирять...» За весьма разумное почитает он сие мнение господина Кириллова; в рассуждении ж, не излишне ли ставить заводы в башкирской земле, он, Остерман, полагает: заводы ставить по-прежнему, башкирцев смирять кайсаками, а кайсаков — башкирцами; на «воров» же послать надежную персону, дав ей полную мочь и власть...

— Кто же может быть послан в сию экспедицию?.. — вопрошает лисица. — Предлагаю Румянцева.

Все молчат.

— Весьма хорошо.

Румянцев может собираться в поход.

Тут встает Ушаков — начальник худшей из всех канцелярий. Совсем немецкий майор. Зобастый и бритый. Рапортует, раздвинув углы большого жесткого рта:

— Содержится в Москве под караулом города Костромы поп с товарищами по делу о некотором слове. Сказано на него: имел он некую псалму, в коей высочайший титул прописал непристойным образом. По тому делу учинен был розыск, однако ж покудова ни до чего не дознались. Только сказывал арестован-

ный, что она псалма напечатана при Академии де Сиянс.

— Господин барон,— обращается к Корфу Остерман и, вздрогнув, хватается за большую ногу,— не за медлите разыскать сочинителя.

«Главный командир» Академии склоняет пышную голову.

— Господин барон,— начинает скрипеть уже новый голос,— известно также Сенату, что затевают в Академии историю печатать, чем бумагу и кошт переводить будут напрасно...

— Того нельзя допускать,— перебивает Черкасского сухопарый Головкин,— дабы в иностранные государства какие известия не произвелись.

Сильно дует из окон.

Корф улыбается и слегка покачивает грузным телом. Кружевной его галстук треплется на сквозном ветру.

— Перед недавним временем,— говорит он приветливо,— писано от меня во Фрейберг о присылке к нам немцев, потребных для рудных дел. Но, как слышал я от приезжих, таковых людей во Фрейберге не находится. Рассудительно мне, что придется русских посылать за море для этой науки. Не скажут ли господа сенаторы, что и на это дело напрасно истрачивать кошт?

Остерман силится в точности повторить улыбку барона.

— Иоганн Альбрехт! История—это одно, а маркшейдеры—дело иное. Как там эти ваши московские бурши, едут сюда?

— Ученики Спасских школ вскорости вызваны быть имеют.

— Весьма хорошо...—И, морщась, говорит совсем уж устало:— У нас есть еще нынче дела?

Секретарь извлекает из папки бумагу.

— Пронской воеводской канцелярии в правительствующий Сенат донесение...

В зале темнеет. Солнце на стенах кажется скатанным в трубку.

Сенаторы и министры слушают четкого, как артикул, секретаря:

«Иуля 20 числа, волею божией, половина города выгорела дотла, а из оставшей половины ползут тараканы в поле, и видно, что быть и на эту половину гневу божию, и той половине города гореть, что и от старых людей примечено. Того ради правительствующему Сенату представляю: не повелено ль будет града жителям пожитки свои выбрать, а оставшую половину города зажечь, дабы не загорелся град не вóвремя, и пожитки все бы не сгорели».

И вдруг — сытый, круглый какой-то смех. Все смущены и сердиты. И только двое вольничают: Корф да ветер, шалящий на кабинетском столе.

— Беспорядится в Пронске изрядно, — ворчит Ушаков, ни на кого не глядя.

— Пиши, секретарь! — резко бросает Головкин. — «Половина города выгорела — велеть обывателям строиться...»

— «...строиться», — шепчет писец и срыву относит от бумаги перо.

— «А впредь тебе, воеводе, не врать, другой половины города не зажигать, тараканам и старым людям не верить, а дожидаться воли божией».

Двое встают. Все еще смеется Корф. Его ловит за руку Остерман:

— Иоганн Альбрехт! Сочинителя псалмы вы разыщете?

— Oh, ja!

#### IV

Если бы ласточки умели смеяться, они бы умерли со смеху, глядя на крышу Академии. Зеркалом финансовых затруднений, летописью просвещенного крохоборства была ее жалкая пестрота.

Крышу дворца клали не сразу. Сперва покрыли склон черепицей, ее не хватило; отыскивали запас ли-

стового железа; и, наконец, в вышине развеерилась чешуею еловая дрань — гонт.

Ласточки не умеют смеяться. Они расстригают воздух, чиркают об него крыльями, и он загорается, пробитый солнцем у слуховых окошек, внизу становится серым — над площадью со складом дров и кузницей на берегу Невы.

Птицам видны: мазанковый караульный домик недалеко от речки Фонтанной и проезжая дорога, которую назовут Невскою проспективной два года спустя. Дорога обсажена рядами чахлых березок, почти не застроена и клином входит в лес и болото. На березках сушат белье, оно стреляет от ветра. Вдоль дороги — тропа, и ездоки сворачивают с главной аллеи: там взимают положенный сбор.

По реке плывут баржи. В оплетилах из жердей скользит черной глыбиной деревянный уголь. Машет крыльями мельница на крепостном валу. За кронверком — часовые... Бьют куранты... Поет иноземец шкипер. Слушает еще не одетая в гранит, но уже заматеревшая русская Голландия. И все это — Петербург, суровая тишина.

В худшей из всех канцелярий лежит дело о «некотором слове». Оно выросло с тех пор, как кабинетский курьер привез попа Алексея в Москву. Там спросили: «Где взял псалму?» — «От нерехтинского дьякона Ивана...» И пошло. Везут из Нерехты дьякона Ивана, сидит в тюрьме поп Алексей... «Где взял?» — «От Кузьмы из села Большие Соли». Везут Кузьму из села Большие Соли, сидит в тюрьме дьякон Иван, сидит поп Алексей... «Знаешь Ивана?» — «Как же, свояк мне, оба женаты на родных сестрах». — «Видел печатную песнь?» — «Видел...» Послали добывать печатную псалму.

Добыли. Читают. «Императрикс»!

В синодальной конторе были люди «с латынью». Они рассудили: латынь латынью, а дело делом. Бумаги отправили в Петербург, Ушакову, тот доложил Сенату, и Корфу поручили отыскивать корни. А корни были в Академии наук.

Они вышли из-под пера студента, принятого в Академию переводчиком и обязанного, по контракту,

«пишучи как стихами, так и прозою, вычищать российский язык».

Вот он сидит, вычищает.

Гладкое, круглое, как маятник, лицо — от плеча к плечу, в такт стóпам. Веки красны, губы вовнутрь, и вмят в щеки нашлапистый нос. С виду — подьячий, псаломщик. Кафтан темно-песочного цвета застегнут во все брюхо медными пуговицами. Паричок насален, и скудная косица перетянута при самом затылке шнурком.

Оконный переплет част и ложится на пол и стены решетчатой тенью. В академической канцелярии осень коробит бумаги. Снуют копиисты. Спорят корректор и цензор — «господа газетиры» заняты чтением «Ведомостей».

Скудная косица дергается, и запавший рот зевает.

— Готово, Василий Кириллович? — шепчет стоящий за стулом служитель.

— Какое там! Одна лишь ода, а описание фейерверка еще и не начато.

— Их благородие сильно бранятся.

— Пожалуй, брат, скажи господину советнику: переводчик-де над всем этим немало уж пролил пота...

— Господин Тредьяковский! — раздается в дверях резкий голос. — Академии нужен не пот ваш, а перевод описания.

Канцелярия встала. На пороге — сутулый презрительный Шумахер. Торчком — крупные серые уши, и румяное лицо — в пепельной сети морщин.

— Я в несносной печали, — говорит переводчик, и голос его вот-вот перейдет в пение. — Всему виной неискусное мое слово, ровно как и необыкший к красноречию язык.

О! Скромность — она должна быть всячески поощряема. И Шумахер улыбается.

— Вы напрасно себя так утруждаете. Нужно ли для точности перевода на всякий раз присутствие музы?

— О, конечно, нет, — поет Тредьяковский. — Да и для чего искать музы, когда господин советник стоит ста Аполлонов?

И он склоняет голову набок, словно стыдясь сказанных слов.

— Ah, mein Gott! — округляя ледяные глаза, восклицает советник. — Кончайте же, кончайте скорее! — И, крутнувшись на каблуках, уходит, коренастый и быстрый, всемогущий правитель Академии наук.

Канцелярия принимается за работу.

Кое-кто хихикает, кивая в сторону переводчика. Тредьяковский не слышит, уйдя в немецкие вирши. Ох уж эти Штелин и Юнкер! Всегда такое напишут, что и перевести невозможно... И он отирает вполне настоящий, честный литераторский пот.

За бумагами перешептываются копиисты:

— Профессоры Герман и Бильфингер за море отбывают.

— С чего это?

— С Шумахеровых обид. Этак вскорости и ученых людей не останется.

— Своих производить намереваются.

— Слышал. Ученики из Москвы должны приехать.

— Да, почитай, одна мелкота...

Будто ветер врывается. В комнате снова Шумахер. Он, сутулясь, пробегает до стола Тредьяковского и взмахивает перед его носом хрустящей бумагой. Переводчик моргает. Бумага почти приставлена к его горлу, и кажется — голова переводчика сейчас отвалится, срезанная желтым краем листа.

— Благоволите подать его сиятельству представление, для чего употреблено вами слово «императрикс». Не медлите ни единой минуты. Сие потребно для отписки в Тайную канцелярию.

И Шумахер удаляется, оставив «псалму».

Вот те и раз! Таким объявлением можно человека жизни лишить. По крайней мере в беспамятствие привести. Шутка ли! Дело «по первым двум пунктам» — об оскорблении высочайшей особы!.. Кто может?..

Он, забывшись, кричит:

— Кто?!

Канцелярия занята делом. Что-то уж слишком старательно все строчат и бормочут. Тредьяковский склоняется к копиисту:



— Ну, скажи, брат, знал ли ты за мной что худое?..

Копииста как ветром сдуло: вскочил и понесся. Переводчик — к другому. Но уже опустело место: пересел за стол рядом этот другой.

Один актуариус ответил из милости:

— Я от вас ничего пустова не слыхивал.

И на этом сочувствие кончилось. Тредьяковский растерянно огляделся. «Что же это?.. Где я?..» И, потоптавшись на месте, вдруг громко:

— Извините меня, господа!..

Опустившись на стул и потерев зубами перо, он написал строку, почернил и написал снова:

«...Слово сие, императрикс, есть самое подлинное латинское и значит точно во всей своей высоте: «императрица», в чем я ссылаюсь на всех тех, которые совершенную силу знают в латинском языке...»

Он смеется, трус Тредьяковский.

«Употребил я сие слово для того, что мера стиха сего требовала...»

И вот уже (какова дерзость!) стихотворец грозит Ушакову:

«...что через оное слово никакого нет урона в высочайшем титуле, то не токмо латинский язык меня оправдывает, но сверх того еще и стихотворная наука».

Беззубая, ощерясь, поэтика дает Тайной канцелярии свой закон.

## V

Человека томит жажда.

Не надо спрашивать, как его зовут.

Потому что слишком велика жажда и к человеку относится только отчасти, принадлежит его веку и его народу.

Жажда познать мир.

Все равно, родился он под пальмами или обступал его в детстве чудской ельник, пестовала его пустыня или поморская на студеном море ладья, брызнет осколками он или станет, как другой, младший его сверстник по духу, «зеркалом целой вселенной», — в них течет

единая умная кровь века, один и тот же испытующий зуд.

Если в нищей стране, поставленной яйцом Колумба в центр Европы, стоит стон от поборов и рекрутчины — «лихой болести» неумного Петра, — если в такой стране уцелел особый мир со своими сходками, обычаями, угол, куда забился грамотный, бежавший от кнута и дыбы крестьянин, — эта страна и должна родить человека, в котором все ее чаяния — крепко скатанный ком.

...Все равно, сидит ли он в Лондоне и пишет о «земной тягости», а за спиной его зреет легенда о переспелом яблоке, упавшем в осеннем саду, или стоит у окна в старом петербургском доме и смотрит, как, высоко вскидывая ногами, пробегает лошадь, мча обитые ярким трипом сани, — все равно...

Человек стоит у окна и смотрит на размытый сумерками город. В крепости бьют вечернюю зорю. Хлюпая мартовской грязью, пробегает лошадь, мча обитые ярким трипом сани, кургузая лошадь в оглоблях, с седелкой и без дуги.

Ему двадцать четыре года. Сермяжный, не по росту, кафтан распирают круглые сильные плечи. У него бабье лицо и пухлые губы. Он вытягивает их гусем.

Петербург оседает, размытый под зеленым неверным небом. Дом идет в темноту, как свая в болото. Но огня не зажигают, — с такими вещами здесь не торопятся. Скрипят половицы. В комнате рядом возятся академические ученики.

Эконом Фельтен дает приезжим стол и квартиру. Он берет за это вдвое против обычного, потому что он не простой человек, а родственник Шумахера и — главное — бывший мундкох<sup>1</sup> Петра...

В Петербург приехали в самый день Нового года.

Путешествовать можно с достатком и с разборчивостью или без достатка и с экономией. Путешествовать можно и впроголодь, с одною вяленой рыбой, провозжая глазами каждый встречный трактир.

Из Москвы везли аттестат, выданный «на общее лицо». Ни разъехаться, ни разойтись с такою бумагой было невозможно. Всего было заказано двадцать чело-

---

<sup>1</sup> Мундкох — придворный повар.

век, но таковых не нашлось. «Еще восемь учеников, — стояло в отписке, — нет откуда выбрать».

#### Шаги.

Треск лучами расходится по полу.

Сторож вносит зажженные свечи.

Тот, у окна, не оборачиваясь, продолжает стоять, приложив лоб к стеклу.

Вот он видит себя уезжающим из Славяно-греко-латинской академии. Дымятся паром лошадки. Втиснулись в сани ученики, и убегает румяная с морозцу, сахарная от инея Москва.

Вот они — Спасские школы, что за Иконным рядом: каменный дом с косыми сводами келий, кирпичными полами и обитыми войлоком деревянными затворами печей.

#### Библиотека.

Из нее «разбирать по кельям книг» не велено, да и каждая из них словно говорит: я не та, которую тебе нужно прочесть.

Близость проезжающих и торгующих «похищает мысли» от риторики и грамматики, которые сушат и без того черствый-черствый хлеб.

Деревянная лопатка гуляет по ладоням семинаристов; колени их в чирьях от стояния на горохе; они умеют подолгу держать камень в вытянутой руке.

Премудрость невелика: в аналогии — уметь «разобрать между частями речи»; в риторике — «переводить вред» Цицероновы эпистолы... Однако многих выгоняют за неспособностью. Но в регламенте есть и другое: «Буде окажется детина непобедимой злобы, хотя бы и остроумен был, — выслать из Академии, чтобы бешеному мечу не дать».

#### Полтора года назад.

Статский советник Кириллов собирался в Башкирию. Для обращения «инородцев» потребовался поп. Тогда-то и сунулся по-медвежьи в мир самый «остроумный» в семинарии детина. Едва не кончилось худо. Но уже такая была удача. Медведь учуял опасность и залег...

Утром допрашивали. Сказал: «Отец у него города Холмогор поп Василий Дорофеев, а он от переписчиков написан действительного отца сын и в оклад не положон».

Под вечер бродил по Москве. Медлила, еще наступала на город осень. Откуда-то издалека навевался сладкий запах трав. Большие медные кресты блестели на воротах домов под двускатными кровлями. Водочный дух стоял на площади, у кабака «Под пушкой», казалось — шел от земли, усеянной кедровой лузгой.

На Спасском мосту уже закрывались «библиотеки» — картинные и книжные лавки, и только еще сновали в народе стрелки — продавцы рукописей и книг вразнос. У одного из них он купил тетрадь, ходкий в то время товар, — описание шествия за море великой особы. Тетрадь была в осьмушку и написана намелко. Стрелок украдкой подсказал, что великая особа — Петр.

Он проходил до сумерек с тетрадью, полный смутным (на ощупь) ее содержанием, пока часовые в Кремле не затянули дозорной переключки: «Чуден город Киев!» — «Славен город Новгород!» — «Велик город Москва!..»

Едва вернулся в келью, вызвали к ректору и стали снова допрашивать. Он смекнул и признался: все-де он не попович, а крестьянский сын, в Москву прибыл с позволения отца своего, о чем дан ему и паспорт (который он утратил своим небрежением). А что сказался поповичем, то учинил с простоты своей...

И пронесло. Спасла простота...

В Петербург приехали, и о них вскоре забыли. Лишь спустя два месяца солдат принес ордер — ученикам ходить на лекции в гимназию. Они ответили: «Не имеют у себя платья и для того никуда выйти не могут». Солдат ушел доложить.

Но вот двоим объявили, что они будут посланы за границу. Им отвели отдельную каморку и велели спешно изучать немецкий язык. Один сейчас стоит у окна, приложив лоб к стеклу, напрягшись, как лук, в тугом и жадном упоре. Другой...

Опять скрипят половицы.

— Спишь, Ломоносов?

И мелкими шажками в каморку входит другой.

Свечи тянутся к нему желтыми зыбкими копыцами. Они не перестают виться и трещать, потому что он не стоит на месте, живоглазый, шустренький Виногра-

дов, но сам вьется и жарко потрескивает, как налитая воском свеча.

— Высекли наших! Шишкарёва высекли!— кричит он, потрясая в воздухе ручкой, на которой каждый палец словно живет отдельною хрупкою жизнью.— Шумахер высек! За бранные слова о немцах. Ах, свинья!..

Молчание. Виноградов стрекочет. Виноградов — юлой по каморке.

— Нынче в гимназии на переключке... Одного нет. Кричат: «Он совсем не будет ходить! Ну, его, говорит, ходить не емши». — «Как не евши?» — «Да так. Похлебают дома все щи, а он придет — нечего...» Выкликают другого. «У них гать затопило, он и не перейдет». — «А сапоги? Ведь есть у него?» — «Да разве сапоги в будни дадут?..» Что, Михайло, каково ученье?.. Да ты слышишь меня, живая душа?!

За окном протяжно крикнул ночной сторож.

Ломоносов обернулся, шагнул, и тень его шагнула косым великаньим шагом.

— Вскорости поедем отсюда, — тихо сказал он.

— Поедем. Да во мне вот сырая погода с мятелицей.

— Что так?

— Шишкарёва жаль, что и до слез доходит! — И Виноградов постучал кулачком в стену. — Уж таков я... Верно про меня говаривал ректор. Или не помнишь?

Ломоносов улыбнулся.

— «Весьма неудобноносим»?

— Так, Михайло. А сего не забыл? — И уже смеется, заиграл всем лицом Виноградов. — Похвальное мое слово. А?.. *Reverendissime domine rector!*..<sup>1</sup>

Он стоит, вытянув руки по швам, опустив голову, — словесная овца и бессловесный раб.

— Ваши святые подвиги.. — верещит он.

Ломоносов — за ректора; милостиво кивает, ждет.

— Ваши святые подвиги... — повторяет овца и начинает бляеть.

---

<sup>1</sup> Достопочтеннейший господин ректор! (лат.)

И когда в третий раз то же самое, «ректор» вступает басом:

— А ваши какие?! Иди, корова, ешь сено! С вора вырос, а ничего не умеешь!..

И они хохочут, оба по-разному: у Виноградова мелко собран морщинками лобик, смех Ломоносова — волной, от живота.

— Вскорости поедем отсюда, — перестав смеяться, говорит он снова и садится на узкую у стены койку.

Садится на койку напротив и коротышка.

— С достальными что будет? Почитай, определяют всех в подьячие.

— Да, конечно, по прошлому году поступят. И тогда ведь удался один Крашенинников, а прочие все испортились от худого присмотру.

Виноградов с досадою сечет ручкою воздух и валится на спину, заведя глаза в потолок.

Копьца свечей стоят ровно.

Сомкнулись обитые бумажными шпалерами стены. Лепное потолочное клеймо обведено темною каймой.

Ломоносов тянется к столу. Откладывает немецкий лексикон и берет тетрадь — запись хождения за море великой особы.

В который уж раз его пальцы листают эти страницы, силясь схватить, прощупать, что там, выдавить каплю меж строк.

На выходном листе:

«Журнал, како шествие было его величества государя Петра Великого».

Он откидывается на койке лицом к свету и читает, вытянув губы гусем:

«...Видел сердце человеческое, легкое, печень и как в почках родится камень... двое телес младенческих в спиритуах, от многих лет нетленны... Косточки маленькие, будто молоточки, которые в ушах живут...»

Виноградов вздрагивает во сне и машет рукою. Слышен легкий, со свистом храп.

«...В Амстердаме был в доме, где собраны золотые, серебряные и всякие руды... (Сие любопытно!) Пока-

зывали мужика совсем безрукова, который брил себе бороду, в стену бросал шпагу и писал ногою...» (И страница листается. Экой вздор!)

«...Видел слона, который имеет симпатию с собакой... кита в пять сажений, который еще не родился и выпорот из брюха... (А коли еще не родился, то и для чего писать? Да и по пяти сажень детеныши не бывают.) Видел маленьких рыбок, кои корабль останавливают, приликая во множестве ко дну...»

«...Был в обществе ученых людей и беседовал о разных вещах, до наук принадлежащих... Ужинал в таком доме, где ставили на стол и пить подносили пригожие девки, у них вся грудь открыта, руки перевязаны флером, а ноги лентами...»

Бабье лицо улыбается. Глаза закрыты.

Ломоносов спит.

Корабль остановился от множества рыбок, прилипших ко дну... прилипших ко дну...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

Бесна занялась дружная. Погнала к промыслам сельдь несветимыми рúнами, зашумела россыпью волн у мурманского берега, накрыла север легкой голубой кисеей.

Чем выше чайки стремят полет, тем большего разлива рек здесь ожидают. Чайки над Архангельским городом были высоки, высоко подняли воду. По ней спускались барки с хлебом, скотом, пенькой и рогожей; струили горечь плоты смолокуров; бочки на плотах шли до половины в воде, чтобы смола не таяла от солнечного зноя. Над вздутой Двиной сколачивались два длинных моста для разгрузки,—они выходили из реки и тянулись до Гостиного двора.

Порт — в низине, обнесенной больверком — бревенчатый кремлем, которого с реки почти не видно. Капитан Ченслер — первый европеец, нашедший сюда дорогу. Товарищи его вмерзли во льды Лапландии. Лопари нашли их и донесли Грозному:

«Товару на кораблях много, а люди все мертвы».

Вмерзшие в русский лед с годами проросли, обернувшись английской торговой компанией. Сжатая вóротами пенька поплыла отсюда со строевым лесом и льняным семенем, вывозимым только для битья масла: корабли приходили за границу в августе, когда сеять было уже поздно, а лен делался негодным к посеву новой весны.

В Англии казнили Карла Стюарта. Алексей Михайлович велел сказать послам Кромвеля: «Когда они своему королю дерзнули голову отсечь, то с ними никакого сообщения иметь не можно». Потом Петр приказал все грузы возить к Петербургу и не пропускать из Архангельска товаров за море. Теперь, спустя семнадцать лет, порт силился ожить.

В Гостином дворе, сложенном из тесаного камня, в правом его крыле, живут иноземцы. Это «ветряные гости», приносимые ветром верной удачи: здешние люди на своей земле продают все по чужим ценам, установленным заморскою биржей, потому что по робости, лени и словно из учтивости сами не вывозят ничего.

От Гостиного до реки раскиданы бревна; они лежат с осени до весны, затрудняя проезд. Ближе к воде — две кирхи, и рядом — изба с крышей, обложенной дерном и накрытой рогатками. Это — содержимый норвежцем Варремом кабак.

Стены избы изнутри обшиты тоненькими дощечками. Ветер рвет в окнах мутные рыбы пузыри. Хозяин подает гостю пиво. Иностранцы обычно пьют простое хлебное вино (хорошо и цены умеренной); для туземцев у Варрема припасены бесфактурные напитки: французская водка и норвежский ром.

Они сидят за столом — беловолосый, пухлый хозяин и долговязый, в веснушках, обрусевший лесопромышленник Вильям Гомм.

Кабатчик поднимает пивной крюк — резную деревянную кружку — и надавливает пальцем на язычок крышки. Гомм и Варрем смотрят друг другу в глаза и пьют.

Англичанин вытягивает ноги в пестрых чулках, откидывается к стене и говорит:



— Отменно идут дела, Варрем, лучше не может быть.

— Есть ланфут?<sup>1</sup>

— Первейший... Славная страна: русский лес — русские деньги — русское спасибо...

— Пенька совсем даровая. Возили б и пеньку.

— Галиотов не хватает. Да с меня и этого довольно.

— А не приметно вам, — говорит Варрем, допивая пиво, — в сколь тесном содружестве у этих людей расточительность и бедность?

Гомм качает головой. Шляпа его съезжает, открывая рыжие мягкие пряди.

— Нет, не примечал.

— А бой оленей в ижемском лесу?

— Близ моих промыслов? Ни разу не приходилось видеть.

— Скверное зрелище.

— Возможно. Зимой непременно съезжу. Нет, что говорить — славная страна!..

Разговор по-английски. Оба отлично знают и по-русски, особенно Гомм, умеющий ладить и с лесорубами и с ловцами, для которых всякое к месту слово — что к обеду соль.

Они сидят молча. Гомм слышит за своей спиной злой сдержанный кашель. Он оборачивается, видит крепкий, дубленый затылок и склоненную над столом голову местного купца-торгована. Англичанин кивает Варрему. Тот встает и наливает третью кружку — ромом. Гомм подносит кущу и ставит на стол.

Склоненная голова встречает острым, ненавидящим взглядом. Лицо брусенеет. Глаза глубоко запали от злости. Черная, пропущенная в кулак борода в густом, крепком серебре. Купец внезапно ухватывает стол за ножку и, продолжая сидеть, поднимает его вместе с кружкой, толкая Гомма:

— Пей ты наперед!

Англичанин отстраняет кружку, ром из нее плещется, бесфактурная влага течет по рябой от веснушек

---

<sup>1</sup> Л а н ф у т — экспортная сосновая плаха, шла на приготовление драни (артанг.).

руке, по жилистым пальцам. Он говорит, морщась и чуть отступая:

— Ты что?

Стол опускается.

— А то, что и мне в жом пришло!<sup>1</sup> — хрипит купец. — Или речи твоей не знаю?.. Для чего похваляешься? Покупал-де даром, платил русским золотом, да еще спасибо слышал... А от кого слышал? От сенатских подьячих, не от меня!..

Варрем пытается встать между ними.

— Полно вам!

— Отойди, кабацкое семя, неумытая душа!

Гомм смотрит на чернобородого туманными синими глазами. Лицо его обвисает складками, делается мертвым. Говорит сухо:

— Плавай сам за море, вози товар, если умеешь.

— И поплыву. И стану возить. Свою цену назначу. — И купец с досадою машет рукою. — Э! Сказано — англичанин, так что уж оно тут хорошего?

Тогда Гомм, круто повернувшись, вскидывает головой и выходит из избы.

## II

— Путем-дорогою здравствуйте! — кричат едущие с промысла ловцы.

И со встречной ладьи отвечают:

— Здорово ваше здоровье на все четыре ветра!

Ловцы пристают к берегу, заваленному ветлужскою рогожей, бунтами еще неспрессованной пеньки, усеянному тусклым рыбьим клёском. По Двине — мелким щебнем битое — солнце. Ветер то сорвется, состругивая с реки белокурчавую стружку, и закачает плоскостонные шляпки, то, похлопотав, умрет в парусах.

Уже снаряжают «в Норвегу» два галиота с сыпью — зерновым грузом. Им плотно набиваются суда. Женщины целой артелью утаптывают сыпь, сперва ступнями ног, потом коленями. Это называется трём-пять.

---

<sup>1</sup> В тесноту, в затруднение.

Ловцов окружают покрутки, ожидающие найма на лесные и рыбные промысла.

— Послал бог улову? — говорят они.

— Семужку взяли, — отвечает староста, — да ведь барышная рыба, сколько ни привези — все мало.

— А в какой ветер шли?

— Крутой пал. Шелонник. Страшная пыль в море, вода словно мылом налита.

Они рассыпаются по берегу, по бревнам на солнопеке, ловцы и покрутки, в неторопливой беседе о делах в море и на берегу. Ждать недолго. Сейчас придут торгованы, повезут свежую семгу на рынок и одним мигом зашибут вдвое, два рубля против одного.

Идет почтовый баркас. Крестьянки в ярких кубовых сарафанах гребут не в лад и смотрят на берег.

— Сарафанная почта! — кричат им. — Весла, весла побереги!..

С галиота несется высокий, режущий вой. Видно: остановилась погрузка, и работницы тесно обступили кого-то. Люди замерли, обернувшись на крик. К ним бегом лупит по берегу мальчишка-зук и, подбежав, часто дышит, смотря вытаращенными глазами.

— Эй, что там?

— Трёмпала одна... на сносях... и дошло ей — так на зерне и родила...

— Вишь ты! — говорят покрутки. — То у нас уже не впервой. Ерша против шерсти родишь на такой работе.

— Иду-у-ут... — протяжно кричит ловец, стоящий у реки.

Люди поднимаются с бревен, снимают шапки и с деловитыми лицами поджидают. Вильям Гомм, хозяин, или «брюхан», как называют его поморы, выходит из-за угла. За ним приказчик с непечатым орлёным штофом.

— Здорёвы ночевали! — говорит промышленник.

— Челом здорово! — отвечают люди.

На берегу происходит заручное действие, важная, степенная игра.

— Забыл чарку захватить, — начинает Гомм, — да и закусить не взял.

— Горячего нет, а рыбничек найдется. Атаман, дай рукавицу, поднеси его степенству!

— Я не хочу,—отказывается «гость»,—я принес водку вас попотчевать.

— Нам без тебя пить нельзя. Без хозяина какое питье? Без хозяина питья не бывает.

«Брюхан» пригубливает из рукавицы.

Приказчик доливает и подносит атаману.

— Будь здоров! — говорит староста и пьет.

Действо кончилось.

Начался торг на рыбу и на живую силу для промыслов, менее учтивый, часами длящийся иногда покрут.

Наконец каждому дан заручной, запивной рубль, и люди разбились: «ходившие по вере» — раскольники — вернулись сгружать оставленный улов, «мирские» сели допивать остатки хозяйского штофа.

Солнце стало за полдень. Ветер улегся, и Двина шла в нетронутом блеске. «Брюхан» уже бил по рукам с корабельщиками — поставщиками леса. «А тес будет самый добрый, не гнилой, не щелеватый и не перекосый», — долетали издали слова.

Прямой, с запавшими щеками старик подошел к покрутчикам. Он в однорядке и нагруднике с красным стоячим клееным воротом — петровской образцовой одежде для «раскольников и бородачей».

— Зелье пьете? — говорит он. — Штоф-то у вас с орлом двоеглавым. А того не знаете, что у едина дьявола две головы?

— Не вино вина, — отвечают, — вина пьянство. А мы полегоньку.

— Нынче и попы пьют, — ворчит дед, — и табак курят, а в церковь придут — говорят о собаках... Все, все от Петра пошло... Нас-то как мучил! Во мхи зыбучие загонял... И сына своего казнил...

— А может, вера ваша неправая?

Старик будто не слышит, гладит бороду и говорит, улыбаясь:

— Ишь, вода задумалась... Ветер укладывается, почитай, надолго...

И вдруг, обернувшись, всклекотывает по-птичь:

— Котора вера гонима, та и права!..

## КОСТРЫ НА ТЕМЗЕ

Колесование, тянутие клещами  
и рвание четырьмя лошадьми у  
англичан неизвестны.

*Де ля Порт*

### 1

«Если Америка осмелится изготовить хотя бы чулок или гвоздь к лошадиной подкове, я заставлю ее испытать всю тяжесть нашего могущества», — сказал английский государственный муж Вильям Питт, впоследствии лорд Чатам.

«Если Россия осмелится вывезти...» — мог бы он добавить.

Россия осмелилась. Она нагрузила два корабля пенькой, развернув паруса, полные ветра и юной буржуазной спеси. Корабли снарядил купец-архангелогородец с дубленным затылком и бородою в густом, крепком серебре. Это была Россия первой гильдии, или статьи, как говорили в то время.

Лондон имеет вид полумесяца и лежит на левом и полуночном берегу Темзы. По крайней мере так его описывали двести лет назад.

Путешественников особенно поражали мосты, сделанные так, что реки с них не было видно из-за высоких стен, возведенных вместо перил. «Такое устройство, — уверяли современные описатели, — по той причине, чтобы англичане, весьма склонные к самоубийству, не имели способности тонуть».

Но в каменных стенах были проделаны амбразуры. Два человека, идя по мосту серым, гнилостным утром, взглянули на реку, затем друг на друга и, не сказав ни слова, пустились бежать.

Они увидели пришвартованный корабль, груженный, с полоскавшимся по ветру русским флагом, и поспешили с вестью к «Обществу барышников для открытия новых земель».

Это было неслыханно. Финч, их посол, недаром сидел в Петербурге. Он купил у Бирона право на ввоз английских сукон и теперь подбирался к персидскому

шелку. Вывоз по ценам Лондонской биржи и перспектива столь же удачного ввоза! Россия уже снилась англичанам колонией, и вдруг — какой-то корабль!

Обыватели пробежались напрасно. Уже стало известно о приходе судна, и группа членов «Общества барышников», имевшего исключительное право на торговлю с Архангельском, волновалась у древних ворот Сити, в конце улицы Флит.

Купцы не приближались к реке и наблюдали издали, восклицая:

— Возможно ли, что все это происходит в Лондоне?

Толпа ремесленников — красильщиков, кожевников и седельщиков — стояла у самой воды.

— Смотрите!.. Второй!.. — пронесся среди «барышников» крик, и в то же мгновение показался галиот со вспученными, грязно-серыми, латаными парусами. Он поравнялся с первым и стал рядом, по-братски прильнув к его осмоленному, мокрому борту. Кипы зеленоватого волокна, перетянутые канатами, заваливали палубу.

Стало ясно: русские привезли пеньку.

Крепкий чернобородый купец, гремя яловочными сапогами, сбежал по сходням.

— Где тут биржа? — прокричал он, коверкая английские слова.

На берегу притворились — не поняли: кого ему надо! Купец покраснел, забрал в кулак бороду и, подавшись головою вперед, зашагал с яростью, словно прыгал со льдины на льдину.

Между тем слово «биржа» долетело до угла улицы Флит. Члены купеческого общества ответили коротко: «Не покупаем!»

Россия пронеслась мимо, оставляя густой колониальный запах кожи, пеньки и смолы.

Мальчишки бежали за нею, пытаясь подражать ее походке.

Он разыскал биржу, мрачное здание, и вывесил там свой прејскурант:

«Пенька чистосортная. Санктпетербургский гальфсрейн. За 1 шифсфунт — 15 голландских гульденов».

Потом он побывал в соборе св. Павла — в галерее шепота, где невообразимый шум подняли его сапоги; смотрел кулачный и петушиный бой и обошел все кофейные дома и таверны порта,

Он вернулся на судно вечером и крепко уснул. Утром спустил людей на берег и стал ждать. Вот придут с купцами браковщики, начнут мять и растирать волокна, разметут по полу пеньку... Вернулись люди. Кончился день. Купец ухмылялся, ждал. Певчие колокола на башне отбивали время.

Он ухмылялся.

Проходили дни.

Неделя. Две. Три.

Когда стукнул месяц, он смазал сапоги салом и пошел в парламент.

Вестминстерское аббатство дохнуло на него величием и тишиной, опутало каменным кружевом, росписью оконных стекол, тяжелой бронзой канделябров.

Его пропустили. В палате от цветных витражей стоял полумрак; в нем исчезал резной свод, опанеленный темным ирландским деревом.

Он видит залу, где задавались пиры королям и где однажды пришлось кормить шесть тысяч нищих. Видит, как, отягченный париком, появляется лорд-канцлер и плывет к какому-то мешку с шерстью, ибо такое обычаем отведено ему место, а по обитым огненным штофом ступеням сходят пары в красных епанчах — по два в ряд, по два в ряд...

Пары смотрят на иноземца — на бородатое чучело в русском платье, не снявшее даже шапки. Бородач, путаясь в словах, излагает просьбу. Лорд-канцлер выслушивает и говорит:

— То, о чем достопочтенный гость просит, полагаю, не запрещается английским законом. Но чтобы нам не допустить никакой ошибки, пусть стряпчие узнают об этом из судебных книг.

Парламент переходит к делам.

Купец садится. Он слышит шелест страниц под пальцами, ищущими статью закона, и слова начатой речи:

— Впредь не должно палить из пушек на море ни в которой части света без позволения Великобритании. Пусть слова эти колки для всей Европы, пусть утверждают, что мы хотим захватить всю морскую власть...

На Темзе дремлют русские галиоты.

Люди томятся бездельем, собрались на корме судна.

— Вот горе! — восклицают они. — На льдине в относ попасть — и то веселее.

— Да на ш-то, поди, такую высь запросил — никто и покупать не хочет.

— Не в цене дело. Обида их взяла, вот и стакнулись.

— Крутой народ. Слова не говоря, зажмут, ровно клещами. Хозяин — как с дыбы снят, совсем неживой...

Галиотчики смотрят на хрупкий громозд Вестминстера, на серую реку, над которой — слоями — сквозные клинья тумана

— Экую глыбину отвалили, а камень, видать, худой, в щельях. И речка у них скудно течет, едва не гнилая.

— Да уж, не Бело море, не Ладожско, не Двина.

— Ладожско никогда тишиной, а все ветрами живет, — задумчиво произносит один. — Государь Петр его кнутом бил... Ехал он на ладье, вышел на берег, кружит его, укачало море. Он и говорит: «Ай же ты, земля, не колыбайся, не смотри на глупо на Ладожско озеро!» И побил озеро кнутом.

— А я вот слыхивал, — подхватывает другой, — будто ходил Петр Великой по Москве и встрелся ему вор. Государь и спрашивает: «Ты что за человек?» А он говорит: «Я-де вор. А ты кто?» Государь ему: «Я-де такой же вор, как и ты». И побратались они. Вор назвался бóльшим братом, а государь — меньшим. И стал государь звать вора красть денежную казну. И тут вор ударил его в рожу и сказал: «Для чего ты государеву казну красть подзываешь? Лучше пойдем боярина покрадем». Ну и пошли они, вместе и боярина покрали. А пожитки государь все отдал вору...

— Замысловато сказываешь, — перебил первый. —



Может, и врешь все. А вот это верно: не повесься у нас на селе девка — не бывать бы над нами Петру.

— Что так?

— Да был у нас в селе Кирвине бедный дворянин Нарышкин. А у него дочь Наталья. И случись такое дело: высек дворянин сенную девку, она и удавилась, уж очень ей скушно стало — не снесла. Собрался народ, и Наталья тут же стоит и плачет. И как раз проезжал селом боярин Матвеев. Дворянская дочь ему приглянулась, в слезах-то, он и взял ее на воспитание. А в Москве за царя выдал, она и родила Петра.

— Не будь его, и мы бы тут не томились. Кто море закрыл, торг у Архангельска кто кончил? Обедняли торговые люди, агличане и рады, теперь и цены хорошей нам не дают.

Так они коротают время, играя в кости, складывая и рассказывая друг другу сказки, пока не замечают быстро спускающегося к реке купца.

Он не поднимается на судно и, стоя у причала, кричит:

— Отгружа-а-ай!

Лицо его пышет, красное как медь, непонятно — от торжества или злобы.

Галиотчики принимаются за дело. Работа спорится. Тяжелые кипы поднимаются из трюма, скатываются с палубы, растут на берегу. Вечером приходит человек, член «Общества барышников», и говорит:

— Не угодно ли взять по дешевой цене колониальный товар?

Купец отвечает:

— Пустое! Убытки невелики. Вам ли это не знать? В России пенька дешевле английского балласта...

Люди чуют недоброе. Для чего-то из кип велено сложить два холма, а у воды собралась толпа, осыпающая русских насмешками, ждущая какой-то потехи.

Стемнело. Купец махнул рукой и сказал:

— Зажигай!

Никто не промолвил слова. Миг — и санктпетербургский гальфсрейн запылал. Холм чистосортной пеньки горел отлично при веселых криках толпы, широко и жирно дымя. Издали многим казалось — в огне полощет всю пристань.

Кережи, запряженные оленями, свернули с обледенелой дороги и валко шли в снегу, как лодки в воде. Кругом одобрительно шумела хвоя. Кережа с Вильямом Гоммом неслась по пушнине — по рыхлому, еще неокрепшему снегу. Близилась Ижма — место ежегодного убоя оленей. Гомм торопился взглянуть на необычное зрелище и заодно прикупить олеины на промысла.

В полдень они достигли стойбища. На речном льду был разбит чум, и десятка два русских охотников, образовав полукруг, прилаживали к рогаткам длинные ружья. Освещенный солнцем, посередине стоял шаман — та д и б е й. Он кричал:

— Придите, придите, духи сильные! Если вы ко мне не придете, я к вам приду! — И ударял костяною рукой в бубен.

Это был жалкий обычай. Каждой зимой самоеды пригоняли из тундры оленей, которые более уже никогда туда не возвращались: все они должны были быть перебиты, потому что в ижемских лесах не было корму, а оленей никто не мог да и не хотел покупать.

Обоз остановился, и люди, отстегнув придерживавшие их ремни, вышли из саней. У чума залились лайки. Грязные ребятишки высыпали навстречу. Человек с раскольниковой бородой раскладывал на льду костер и приговаривал: «Царь-огонь, достанься не табаку курить — кашу варить!» Англичанин спросил, как отыскать старшину.

Найти его оказалось легко по цветной выбойке малицы и по густой, торчавшей из-под шапки седине, ничем не отличавшейся от седины неблюя<sup>1</sup>, которым был оторочен воротник.

— Мясо куплю, — здороваясь, сказал Гомм и осторожно добавил: — Взял бы и оленей.

Старшина мотнул головой. Узкие его глазки защелкнулись.

— Мясо — можно, олени — нельзя.

<sup>1</sup> Неблюй — олений теленок до полугода.

Подошли охотники. Прибывшие с промышленником лесорубы стояли поодаль и утмехались.

— Куплю оленей,— повторил Гомм.— Всех возьму. Не надо их убивать.

Приземистый, скуластый ижемец взял его за плечо.

— То у нас обычай,— сказал он, двигая крутыми желваками.— Бедность нашу обидеть можешь. Олешки непродажные, вот и все.

Рябое лицо Гомма обвисло складками и слегка покраснело. Он отошел к обозу.

— Ну что, ваше степенство? — встретили его лесорубы.— Зря только ездил. Толковали ведь тебе — народ обычайной, олешек не дадут.

Он не ответил и уселся на кереже, уйдя в свою круглую пыжиковую шубу и возя по льду хореем — шестом для управления оленями, тонким, с костяным кружком на конце.

Самоеды, гикая, погнали собак в серевшее на берегу мелколесье. Умолк тадибей и отковылял к чуму. Охотники заняли места, по-прежнему образовав полукруг.

Лай было замолк, но потом возобновился, становясь все яростней и приближаясь. Вскоре на береговом склоне показалось стадо. Оно спускалось на лед сплошной серою массой и, как живая река, волновалось. Более трехсот голов поворачивались то в одну, то в другую сторону, преследуемые резкими криками: «Ги-го!»

Стадо сошло на лед, его оттеснили далеко за чум и снова спустили лаек. Они отделили часть и нешибко погнали к рогаткам. Олени, ничуть не пугаясь людей, бежали прямо на них.

Тогда шатнули берег два тупых горячих удара. Бывший впереди самец упал, дрожа серебристым, намокающим кровью боком. Остальные забродили по ледяному полю, вытягивая по ветру шерстистые морды. Рога их проплывали в дыму, как ветви в тумане. Слышался странный звук, производимый оленями. Это потрескивали суставы их ног.

Они спокойно давали себя убивать. Их отгаскивали в сторону (сдирали шкуры) и укладывали в легкие самоедские нарты.

Выстрелы не переставали греметь. На лед выгоняли

все новых животных. Ижемцы с ближних погостов наблюдали за боем, дожидаясь, когда наступит дележ.

Вечером приезжих позвали в чум, и англичанин ел мясо первого застреленного в этот день оленя.

Он покинул стойбище при звездах. Оплетенный ремнями, лежа в санях, Гомм размышлял о стране, где ему было так легко заниматься промыслом. «Расточительность и бедность...» — вспомнились ему слова норвежца Варрема. «Но где кончается одна и начинается другая?.. Весьма странно и непонятно!» — подумал он.

### III

Непроходною чащей с четырьмя тысячами войска шел однажды Петр от студеного Поморья на Повенец. На переправе через речку Выг ему донесли: «Вверху по реке верст за сорок живут староверцы». — «Пускай живут», — смирно ответил Петр и махнул рукой.

Взмах руки решил участь общины и целого края. Спустя год раскольники получили свободу богослужения по старопечатным книгам, а еще через два — самоуправление, и с них был сложен двойной подушный оклад.

Петровские льготы тем, кто не хотел «молиться за царя», явились недаром. Петр учуял людей одного толка с собою, встретил у них те же мысли, что занимали его самого.

Центром раскола была Выговская пустынь. Во главе ее стояли братья Семен и Андрей Денисовы, из рода князей Мышецких. Они оплели край сетью мастерских и школ для детей и взрослых, готовя иконописцев для своих часовен, искусных певцов и переписчиков книг. Их библиотеки ломались от богатейших собраний древних рукописей, располагая и запасом грамматик, риторик, космографий. Выговцы прокладывали дороги, ставили постоянные дворы, строили мосты. Они плавали до Новой Земли, на Грумант, доходили до Америки. Холмогорец Алексеев с одним из Денисовых первые после Дежнева (в XVII веке) прошли «Берингов» пролив<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Беринг, капитан русской службы, посланный искать, «где Азия сошлась с Америкой», обнаружил пролив в 1728 году.

Старая Москва начетчиков поднялась с насиженных мест, перенесла на север свой трудовой суровый упор и книжное свое богатство. Силы переместились. Государство строилось с двух концов: от Петербурга — на все стороны тяжко бившей дубиной — и от севера к Петербургу — волей расти и жить.

Получив льготы, раскольники захватили в свои руки все рыбное и хлебное дело, беломорские солеварни и верфи, горные заводы на Повенце. Они выросли. Прежние их книги устарели, не удовлетворяя новым потребностям в прикладных знаниях, их острой, настоятельной нужде.

Тогда два русских приказчика поехали в Амстердам и от имени царя заказали «Арифметику». Она была составлена типографщиком Копиевским и отпечатана в друкарне Яна Тессинга, оказалась никуда не годной, и ее пришлось выкинуть вон.

В эту пору в Москве возникла Навигацкая школа. Обложенные циркулями, градштокками и квадрантами, потели над картами и фехтовали в рапирном зале боконогие ученики. Англичане Фарварсон и рыцарь Грейс руководили школой. Наблюдать за ними был приставлен человек, обладавший мощным запасом математических знаний, настоящее имя которого нет возможности установить.

Предание говорит, что Петр, восхищенный умом этого человека, назвал его «магнитом» и велел ему писаться Магницким. Когда провалилась амстердамская «Арифметика», ему-то и было поручено выполнить заказ.

Он выполнил.

Дав не учебник, а книгу для чтения и самообразования, энциклопедию, с предварением, что «всяк себе сам может учить».

В ней шла речь о нумерации, или счислении, о числах ломаных или с долями, о торговле простой и займодавной, о прогрессиях, радиках, геометрии и «величестве» дней различных мест. В ней были: описания ветров с разделением их в горизонте по именам и румбам; указания, с помощью которых познаются расстояния и путь кораблеплаванья; таблицы склонения магнита, широты солнечного восхождения и захождения,

рефракции, или преломления лучей солнца, луны, звезд...

«Число есть мера вещей»,— утверждал он всем своим обширным трудом. Изучение математики приводит к познанию явлений природы... Здесь обнажались корни пифагореизма. Имел свое место и Аристотель... Магницкий— последний и выдающийся сторонник отжившей в России философии— стоял на рубеже, с лицом, обращенным в новый век...

Расцвет и благоденствие Поморья вскоре возбудили зависть. Посыпались доносы в Сенат и Синод. Были наряжены следственные комиссии. И раздалась риторика «Поморских ответов». Братья Денисовы выступили с обоснованием и защитой раскола, и мгновенно изменился облик целой страны.

Тогда по всему краю доставались из укладок ветхие тетради и старопечатные книги, строчились послания, наветы и укоризны, трескучей метелью разгорался спор.

Тогда-то и был ненадолго «уловлен в ересь» тринадцатилетний холмогорский отрок. Тогда-то и попалась ему пестрая от черной краски и киновари «Арифметика»... «От ней ты цветы, как крин благовонный»,— читал он и перечитывал на заглавном листе вирши.

И он утвердился на этой неслучайной книге, бывшей ответом на запросы его соотечественников. Она стала подножием его знаний, и он назвал ее «вратами учености своей».

#### IV

Круг деревень у подошвы холма тонул в густых зарослях чернолесья. Из них выростал заплатанный пашнями, со всех сторон равномерный подъем.

Пашни лежали под снегом. Холм походил на сугроб, на опрокинутую кверху дном чашу. Бывало, что не знающий дороги огибал его и возвращался к месту, откуда вышел. Кур-остров был кругл, как земля, только поменьше. Девять верст, если сделать полный обход.

Беспорядочной кучей домов лежала Денисовка. Она упиралась в еловую рощу, к одному краю которой прилегала усадьба Ломоносовых. Затвердевший ясно-зеле-

ным льдом, круглел пруд, сделанный Василием Дорофеевым из ключевой болотной котловины. В пруду он разводил рыбу, удерживая ее железной решеткой от выхода в реку.

Выше был ломоносовский дом. Летом отсюда, из-за ивняка, открывались Холмогоры со своими церквами, колена Быстрокурки, огибавшее взрытые оврагами Матигоры, живописный Наль-остров и далекие берега Двины.

Дом стоял на юру, выделялся положением и величиною. Рубленные в лапу углы, подслеповатые окна и крыша в два ската — все как у других, только добротнее и крупнее, и ни у кого нет таких затейливых причелин — отделки под крышей и вокруг оконных косяков.

Отлогий накат — взвоз — вел на поветь. В темном ее углу были заперты откармливаемые на убой бараны. По сторонам громоздились оленье сани, сети, сбруя. В глухом чулане густо ревел бык.

Половина дома с горницей выступала сажени на две вперед; заднюю — занимали широкие сени. Из них коленчатая чистая лестница приводила в другие сени, с кладовыми для платья, сундуков и припасов. Оттуда был ход в кухню и на поветь.

В обнесенной лавками горнице стоял клуб синеватого дыма. Это синел и тянулся на свету пар от миски со щами на столе. Печь была жарко натоплена, и люди на лавках с задубевшими на ветру лицами оттаивали, ведя тихую беседу. Хозяин угощал их крупяными шанежками и квасом из медной братыни. Большая у него голова, с разохатой бородой, ясными глазами и бугроватым носом; иссеченная клетчатými морщинами шея. Позади него — тусклая божница, словно кусок сумрачной парчи с налипшей на нее землей.

По стенам висели пороховые рога, ружья и отражавшее огонь жировиков кривое мелкое зеркало. Старик Ломоносов ссыпал соль из высокой резной солоницы, придвинув к себе глиняный противень с треской.

— Эту осень норвецкой рыбы у нас и не было, — говорил он, вытирая жирную бороду ладонью. — Хорошо еще — палтосины не упустили.

— Не дай бог, — отвечал дюжий лохматый ловец,

растиравший красные, не отходившие и в тепле руки.— Зато как задул сельдяной ветер, так едва сдвинули, полнехоньки были яруса.

— Василий Дорофеев! — тихо позвал русский молодой весельщик.— Пойдем с нами по весне на моржей к Канину носу. Там от зверя этого, слышь, пески стонут.

— Таку дивень толкуешь! — проворчал Ломоносов.— А в поле за меня ты станешь работать или кто?

— Извини, речь перебью,— вмешался ловец, сидевший рядом с хозяином.— Это он верно сказал: зверя там — сила, и моржа и медведя. У нас ведь на промыслах ноне что было! Ошкуй в амбар залез. Пришел ночью да и вытянул ведер пять жиру. Ну, убили его, а жир весь как есть вычерпали в бочку, ничего не пропало...

В горницу вошла работница, поправила в жировиках огонь и зажгла свечи по краям стола.

Стало светло от весело затрепавших фитилей. Легкий их чад был приятен и вместе с натекавшим печным теплом разморял, замедляя и без того медлительное, чинное застолье.

— Святки проходят,— сказал Ломоносов.— За подледный лов надо браться. Паевать-то будем по-прежнему?

— По-прежнему, Василий Дорофеев.

— Ну, коли не обидно, так тому и быть.

— Отчего же обидно? Который год, почитай, поровну делишься. Христофоровы с Дудиным богаче тебя, а от своей доли ничего не уступят. Уж мы и то думаем, не было б тебе самому убытку.

— А мне не копить...— отвечал Ломоносов и опустил голову.— Не для кого...

И все замолчали, сразу поняв — о чем он, смотря на него со скрытою жалостью и почтением. Ведь вот он, точно таков, как говорят в округе: «Всегда ему в промысле счастье, а собою простосовестен и к сиротам податлив, только грамоте не учен...»

Никто не заметил, как вошел и стал на пороге, отряхая заиндевелый малахай, тощий сероглазый старик со втянутыми, землистыми щеками. Подбородок его был наколот редким волосом, свитым в пегий жгутик, но старик взбивал бороденку ладонью плавным, мою-



щим жестом от горла, словно была она во какая большая и доставляла ему много хлопот.

— Стол да скатерть,— сказал он, здороваясь с хозяином, ловцами и улыбаясь.— Завсегда тут у вас стол да скатерть, никак и с делом-то не подойдешь.

— Садись, Федор! — проговорил Ломоносов.— Давно ли приехал?

— Ноне лишь... С гостинцами я. А Марья Васильевна где ж?

— Дочь в город взяли на святки.

Гость сел, расстегивая и заботливо подбирая под себя зипун.

— Слово Баженин в гостях! — сказал он, кивая на таявшие быстро свечи.— Свету-то сколько! (Так обычно вспоминали в этом крае строителя Вавчужской верфи, взысканного милостями Петра.)

Сосед Ломоносова, Пятухин, ежегодно ездил в Москву для своих торговых надобностей. Всякий раз по приезде приходил к Василию Дорофееву и будто невзначай заводил речь о самом для него дорогом.

Так и теперь.

— В октябре месяце в Петербурхе Михайлу видел...— начал он, не глядя на Ломоносова, и, решив: чем быстрее, тем лучше, выложил: — Поехал твой сын за море, в немецкую землю, ума наживать.

— За море?...— повторил старик, темнея и весь поникая.

— Академия послала. В ученые люди произойти может.

— Это он-то, крестьянин?

— Не боги горшки-то обжигают, Василий Дорофеев, а те ж куростровцы.

— Так то — горшки, а он невесть до чего досягнуть хочет.

Гости, успевшие уже не раз переглянуться и кашлянуть, стали прощаться и уходить.

Когда остались одни, Ломоносов спросил:

— Долг-то тебе хотя отдал?

— Задавал я ему более семи рублей, а при отъезде его получил все сполна. Видать, коштом их снабдевают.

— Ну, и то ладно...

Пятухин взбил пегую бороденку и посмотрел строгими глазами.

— Ты, Василий Дорофеев, не томись. Чего уж теперь таить? Сам ведь проглядел Михайлу... Кто мне говорил: мужик-де он крутой, своей части добьется, пусть его? А часть эта от твоей, может, и напрочь пошла.

— Напрочь, говоришь?— глухо переспросил Ломоносов.— Кто его знает...

— Да я-то давно знал. Еще как стоваривал ты за него в Коле у торгового человека дочь, а Михайло жениться не захотел да притворил себе болезнь, вот тогда уж он и показался.

И Пятухин поднялся, протянул хозяину сухую, легкую руку и стал напяливать потемневший от тепла малахай.

Василий Дорофеев проводил его до сеней и, вернувшись, зашагал по горнице, косо ставя грузные ноги в высоких стоптанных бахилах. В доме была тишина. Пели сверчки. На кухне укладывалась спать работница. Он шагал от печки к окну, трижды вдовец, брошенный сыном, никчемный державец готового поползти из-под рук хозяйства. Вспоминал кроткоглазую мать Михайлы и брюзгливую его мачеху. Обе переступили порог по-разному: одна вошла тихо, как в церковь; вторая — прокаркала обычный (от недоброхоток) заговор: «Перва, другая, третья — цыц! Мне одной дом...»

Ему стало жарко. Длинная посконная рубаха пристала к телу. Он сел на лавку, смотря сквозь стену вдаль, не мигая, совсем как сын, вытянув губы гусем.

Черносошный крестьянин, первый на Двине оснастивший по-европейски пузатую «Чайку», сметливый промышленник и хозяин, бродивший где-то по краю между православием и расколом,— разве не раздирался он надвое? Точно этого не видел Пятухин! И не потому ли снабжал Михайлу деньгами? Но разве он знал, Василий Дорофеев, что и сам, треща, тянулся куда-то?.. Достигнуть же, встав на лестнице рода, мог только сын...

На улице — хруст шагов. Поет под коваными полсапожками снежное крошево. Сильнее хрустит... Остановились... Горячатся и стихают девичьи голоса и вдруг дружно в морозную тишь ударяют:

Винограды красно по чему спознать?  
Что Васильев дом, Дорофеева?  
У ево у двора все шелкова трава,  
У ево у двора все серебряной тын...

Коляда!

А дай, боже, Василью Дорофееву  
С высока терема дочерей выдавать.  
А дай, боже, Василью Дорофееву  
Со борзых коней сыновей женить...

— Подари, государь, колядовщиков! — прокричал чистый голосок, и все смолкло.

Он разбудил работницу, выслал с нею зерна и денег и опять опустил на лавку. Уже пели под другими окнами... Должно быть, всю ночь будут ходить, стоять на росстанях, с овсяными блинами, веселые, разогретые с песен под полною святочною луной.

«Со борзых коней сыновей женить...»

У него перехватило горло. Рука потянулась к братыне с квасом

«Один он у меня был и оставил. Кинул все. Все довольство, что я для него кровавым потом нажил!..»

Губы, едва забрав влаги, оторвались, и братыня, гремя, летит на пол, наплескивая на стены и чистую печь квас.

В горнице чадно. Василий Дорофеев не видит, что давно уже надо поправить в плошках огонь.

— Полно!.. — говорит он, и все его тело наполняется спокойною, мудрою силой. — Скоро весна. Ударит красное попрямей лучом — нальется земля, словно сдобная шанежка. Положу в нее жито... Что же это?.. Да неужто я?.. — шепчет он, заметив на полу измятую братыню. — А ведь и не приметил! Вот ведь стар стал, вот... Да и спать-то пора...

Он медленно поднялся, могучий и жалкий.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

— «Высокороднейший, ученейший господин доктор! Высокопочтеннейший господин сын!..»

Белобрысый бурш надувает щеки и обводит компанию осовелыми глазками. Светлые его ресницы склеиваются, и письмо выпархивает из ослабевших пальцев. Депозитор — длиннорукий, с сумрачными глазами малый — тот, которому вверена студенческая община, тянется через стол и колет бурша рапирой. Кнейпа<sup>1</sup> хором кричит:

— Читай!..

— «Высокороднейший, ученейший господин доктор!.. Высокопочтеннейший господин сын!.. Неужели ты, проклятая шампанская рожа, считаешь деньги мои за сор? Если ты в бытность твою в Марбурге осмелишься еще раз так пображничать, я тебе сверну голову, как курице... Впрочем, с достодолжным высокопочтением к моему ученейшему господину доктору и сыну пребуду покорнейшим слугою и искренним отцом».

Ученейший господин доктор снимает губами пенистую шапку со своего шоппена<sup>2</sup> и вытягивает разом пол-литра пива.

— И это все? — грозно спрашивает депозитор.

— И это все? — подхватывает кнейпа. — А деньги? На что мы теперь будем жить? Он тебе ничего не прислал?!

— Повесить его! — решает матерый бурш с лицом в свежих заплатках, хватаясь за медный завиток кронштейна, на котором плывет в сизом дыму фонарь.

— Вы не станете от этого лучше видеть, — бормочет белобрысый и сползает с табурета.

На него льют пиво, смешанное с пеплом, а депозитор больно бьет увесистой песочной колбасой.

Трудно разобрать, что это — шинок, музей или аудитория. Трехцветные значки и знамена украшают стены. Над посудною полкой скрещены рапиры с огромными чашками у рукоятей, висят железные рукавицы и вырезанные из цветной бумаги буквы V. C. F. — сокращен-

<sup>1</sup> Кнейпа — студенческая пизная, погребок (нем.).

<sup>2</sup> Шоппен — пивная кружка (нем.).

ный девиз: «Vivat circulus fraternitatis!»<sup>1</sup>. Студенты то горланят, то затихают, то вдруг, словно уколотые булавками, начинают бросать за печь и в окна пустые шоппены. Двое сидят на полу, занятые тихим и важным делом: один ест стекло, другой пьет из башмака.

«Петербургские руссы» держатся бодро. Ломоносов, Виноградов и прибавленный к ним при отъезде Рейзер, все трое в темно-зеленых камзолах, обшитых золотым галунчиком, с шелковыми выпущенными на грудь бантами, в белых чулках и башмаках на франтовских красных каблуках.

Густав Рейзер, сын горного советника в Петербурге, почти ничего не пьет, неумело тянет из трубки и, кашля, мотает узкой, сдавленной с боков головой на цыплячьей шее.

Сосед шипит ему в ухо:

— Теленок! Я презираю тебя, как стакан воды!

Но те двое, сменившие на щегольские камзолы сермяжные полукафтаны, обнаружили мотовскую душу, ухватки привычных гуляк,—им все нипочем. Словно узнав себе цену и предвидя в будущем этой ценой расквитаться, они не стеснялись, и уже кое-кто вежливо писал в Академию, что студенты хозяйничают безрассудно, что не мешало бы напомнить им быть бережливее, а то в случае отозвания их окажутся долги, которые могут замедлить отъезд.

Ломоносов сидит, расставив грузные ноги, держа на коленях загнутую с трех сторон шляпу. Рядом с ним Виноградов, более обычного беспокойный и юркий, качая ногою, дразнит депозиторского щенка.

За столом поют. Щенок подвывает. Когда нога касается его носа, он коротко, обиженно взвизгивает.

— Уйми его,—говорит Ломоносов,—он неверно лает.—И подхватывает со всеми:—«Weg von Marburg Kommt ohne Weib...»<sup>2</sup>—Его длинноватый, немного косо поставленный нос и верхняя губа покрыты капельками пота. Взгляд твердых, расширенных глаз ничуть не замутнен.

<sup>1</sup> «Да здравствует круг братства!» (лат.)

<sup>2</sup> «Кто из Марбурга приходит холостым...» (нем.)

— Ломоносов! — медленно огибая стол, говорит худой, с тонкими, восковыми ноздрями студент в черном плаще теолога. — Ты весьма любопытен, не так ли?

— Да, обомшелая голова. Мне все нужно знать, все осмотреть.

— Что у тебя на коленях?

— Шляпа.

— Почему у нее такие поля, знаешь?

— Нет, не знаю. Но вижу, куда ты клонишь. Что ж, не намелешь вздора — пиво за мной.

Теолог садится верхом на бочку и, выстреливая из трубки тугими комочками дыма, рассказывает:

— Дождевой зонт был изобретен давно, но люди долго не могли к нему привыкнуть и носили островерхие шляпы с широкими полями. Тысячу лет назад ученый аббат Алкуин подарил зонтик зальцбургскому епископу Арнольду. Аббат писал при этом, что посылает шатер, чудный инструмент, который сохранит почтенную голову его преосвященства в постоянной сухости... Итальянцы до сего времени называют зонт дождевым платком. Вы, русские, прячетесь от дождя в татарский башлык. У нас в Германии с новобрачной при выходе из кирхи снимали головной убор, если начинался дождь... Прошло не более десяти лет, как употребление зонтика сделалось всеобщим.

— Понял! Понял! — говорит Ломоносов и делает вид, что собирается разодрать шляпу.

— Употребление зонтов становится всеобщим. Первый при этом жест поднимает поля спереди, сзади, сбоку. Возникает треуголка. Твое лицо более ничем не скрыто, и... я хорошо вижу — ты решил обмануть меня и не платить за рассказ.

— Halt! — задерживает Ломоносов одного из фуксов — новичков, обслуживающих кнейпу. — Еще пива!

Сам он уже прошел постыдную муштру, убыстрив срок и для Виноградова, пропахав себе и ему путь к званию полноправных буршей своими кулаками и крепким, круглым плечом.

Фукс возвращается с пивом. Его перенимает на дороге студент с заплатанным носом:

— Пстой! Скажи, сколько блох входит в меру? (Фукс дрожит, прикрывая рукой полную кружку.)

— Этого мне не говорил мой учитель.

— Болван! Они не входят, а прыгают туда!..

— Как видишь, — произносит теолог, принимаясь за пиво, — и мне кое-что известно. А сколь многого мы еще не знаем! Это большая штука — мир!

Лицо Ломоносова становится серьезным.

— Испытание природы трудно, — говорит он, — однако полезно, свято.

— Я слышал, ты изучаешь Картезиуса?

— Картезиус ученых людей ободрил против Аристотеля, открыл дорогу к вольному философствованию и приращению наук.

Депозитор стучит по столу ладонью и прерывает их:

— Диспут на кнейпе?! Это еще что? Заплатишь штраф, Ломоносов!

— Ты, должно быть, никогда не бывал на диспутах.

— Gelehrter! <sup>1</sup>

(Это говорится с презрением.)

— Doctor!!

(Это звучит так же.)

— Professor!!!

Ломоносов срывается с места. Бочонок с теологом опрокидывается. Студенты поспешно очищают место для поединка. Открывается дверь, и порог переступает университетский педель, тихий, длинноусый аргус с записной книжкой в руках.

— Feierabend! <sup>2</sup> — говорит он приветливо.

Два часа пополудни! Пора расходиться. «Feierabend!» — это сигнал.

Депозитор молча подает педелю шоппен, нанизывает на рапиру шляпы и шапочки буршей и выходит первым; за ним гуськом тянутся остальные, плохо держась на ногах.

Они выбирают из погребка и некоторое время стоят под светлеющим, быстро летящим ввысь небом, обрызганным бледной рассадою звезд, готовым раски-

<sup>1</sup> Ученая голова, начетчик (нем.).

<sup>2</sup> Канун праздника, шабаш (нем.).

нуть павлиний хвост рассвета. Потом кладут руки друг другу на плечи и шествуют, думая, что зыбкий их шаг качает улицу, всю в купах жадной сумрачной зелени, сбегающей по крутым уступам горы.

Они проходят мимо лавок, заваленных студенческими вещами: книгами, длинными трубками, игральными картами; выдирают из мостовых камни, орут, потешаясь эхом, и перевешивают вывески: сапожника делают медником, цирюльника — портным. На почтительном расстоянии следует педель. Его дело — не лезть в глаза, но все же поспевать в нужную минуту. Нужная минута — это большая драка, крупный скандал.

Бурши останавливаются. Их внимание привлекает стоящий на дороге фургон. Над входом на грубом холсте намалевана женская фигура с рыбьим хвостом. За стенами балагана всхрапывает заезжий штукмейстер.

Виноградов пытается схватить нарисованный хвост и говорит:

— Она недурна.

В домике, накрытом острым колпачком чешуйчатой кровли, растворяется окошко. Выглядывает рыжая волоокая девушка в плоеном чепчике, со спущенной на плечо косой. Лицо ее в бархатной черноте восходит круглым лунным ликом.

Ломоносов переводит взгляд с окна на холст, опять на окно и отвечает Виноградову, обращаясь к незнакомке:

— Сухопутные девы мне больше нравятся.

Окно захлопывается. Бурши продолжают путь.

Wer von Marburg kommt ohne Weib,  
Von Iena mit gesundem Leib...<sup>1</sup>

— Чей это дом? — спрашивает Ломоносов.

— Вдовы Цильх, если тебе так интересно. Дочь зовут Елизаветой Христиной.

— Сухопутные девы мне больше нравятся, — повторяет он, запоминая: — Елизавета... Христина... Цильх...

---

<sup>1</sup> Кто из Марбурга приходит холостым,  
Из Иены цел и невредим... (нем.).



## ПИЕТИСТЫ В ГАЛЛЕ

Прощай, милый Рим! Смерди  
себе во веки веков!

Лютер

### 1

«Если в этих книгах содержится то же, что в Коране, то они лишние; если же иное, то они лгут». Слова эти, обычно приписываемые халифу Омару, как истребителю Александрийской библиотеки, характеризуют его довольно точно, но Александрийской библиотеки он никогда не сжигал.

Тем не менее смысл этого изречения делает его универсальным: становится возможным выразить им любую нетерпимость: костролюбивых ли испанцев, бледных от ненависти и вдохновенного *ad majorem Dei gloriam*<sup>1</sup>, бродячих ли схоластов с их спорами о весе ханаанских виноградных гроздьев или пиетистов в Галле — сторонников чистейшего лютеранского духа, головы которых вовсе не повиты чалмой.

Городок был и так славен: университетом, солодом, красками, бьющими неподалеку соляными ключами. Королевская гвардия входила в ворота, гремя подковками на тупоносых штиблетах, и Галле становился еще славней.

Фридрих-Вильгельм — полный невежда и скряга, философ и мот, когда дело касалось его солдат. Мотовство, это — всерьез: он истратил на один лишь полк десять миллионов талеров. Философия же — попроще и заключалась в словах: «*Nicht räsonieren!*», что по-русски означает: «Не рассуждать!»

Он завел открытый торг великанами.

Его вербовщики стояли на всех дорогах. Они хватали польских ксендзов, немецких студентов, рослых итальянских дворян. Россия любезно поставляла товар. Полковые списки времен Анны Иоанновны пестрили

---

<sup>1</sup> *Ad majorem Dei gloriam* — для вящей славы божией. Девиз Инквизиции (лат.).

отметками: «Взят в великаны». Это началось с Петра, который во множестве посылал Фридриху солдат и получал в обмен инженеров. Их приводили в Петербург в кандалах...

Королевская гвардия входит в город, славный солодом, красками и университетом, и Галле становится еще славней.

Тупоногая обувь пылит, кидаемая бóзем отрывистым шагом. Над обувью — колеблемый строй серых суконных гамаш. Над гамашами — белое, слепящее, как известь, сукно коротких штанов и камзолов, и все это венчается касками крепкой кожи, с железными цепочками, положенными крест-накрест. На лицах втиснутых в обмундировку людей — королевский девиз: «Не рассуждать!»

Девиз, отраженный, живет на лицах и личиках богословов, занявших университетские окна черными одеяниями, схваченными у шеи строгой белизной отложных воротничков. Тупицы отвернулись от замершего на возвышении лектора, к неудовольствию набитого студентами, кипящего страстями зала, променяв отличную плавную речь на великаний отрывистый марш.

Тяжелый парик делает крупную голову лектора громадной, разбиваясь тугими клубочками буколь по его приподнятым, немного сутулым плечам. Лоб взмывает над острой носовой хрящевиной, и вынесен вперед мысок подбородка, где теряются два ручейка, две бородки, врезанные — от крыльев носа вниз — надменным очерком рта.

Его именем объявляют междоусобную войну университеты, разделяются аудитории, пылают ветхозаветная ярость в благочестивых, но не лишенных зависти сердцах.

Слава о нем, шествуя по Европе, ступила одною ногою и в Петербург и пустилась обратно, оставив в России лишь тень славы, или, вернее, наведя на славу ученого тень. Один заезжий хитрец, изобретавший вечное движение, объявил, что галльский профессор видел его машину. Продолжая опыты при дворе, он добился через некоторых лиц крупной награды. В дальнейшем часть денег передавалась им его представителям,

а те снова и снова его представляли. Таким путем у нас было изобретено «вечное движение», и чужая слава обошлась стране в двенадцать тысяч рублей...

Проводив глазами последнюю солдатскую спину, люди отступают от окон, и тотчас их место занимает неяркая осенняя синева. Строгость почти монашеских одеяний придает высокому, как собор, залу вид судилища. Лектор насмешливо хмурится, косясь горячим глазом на толпу богословов, и готовится продолжать речь о морали. Он — последователь Лейбница и похититель сна пиетистов. Его называют «мировым мудрецом».

Он говорит:

— Взгляните на маньчжур — стрелять из луков великие мастера, на китайцев — хорошие писатели. Однако искусства эти не разнородны, ибо направлены оба к тому, чтобы попадать в цель...

Вздых восхищения среди студентов, записывающих речь.

«Здесь господин советник улыбнулся», — делает один из них трогательную заметку.

Господин советник развивает мысль Лейбница:

— Этот мир — лучший из миров — произошел случайно. Благо и нравственность существуют и вне христианского мира... Не законы хранят человека, но человек хранит их, будучи честен и превосходен по натуре своей...

Ланге, проректор, человек без всяких признаков шеи, обводит глазами ряды богословов. По этому знаку рыжий студент Штрелер, ненавидящий лектора, восклицает:

— Кошунство!

Пиетисты Брейтгаупт и Франке кричат:

— Довольно! Мы требуем представления рукописи на рассмотрение богословского факультета! — И, стараясь как можно громче шуметь, увлекая единомышленников, они устремляются из створчатых дверей в галерею и оттуда — на университетский двор.

— С этим нужно покончить, — говорит Ланге, останавливаясь в теплой пятнистой тени под липой и отдуваясь. — Сегодня он выговорился вчистую. Это сущий фатализм. Нам несдобровать.

— Фатализм! Без сомнения! — вскипает серый от злости Брейтгаупт.— И к тому же кощунство! «Человек превосходит по натуре своей...» «Нравственность и вне христианского мира...» Вы слышали когда-либо подобную ересь?!

— Что же нам предпринять? Жалобы не помогают. Королю до философии нет ни малейшего дела.

— Читать проповеди. Утверждать: одно лишь милосердие господне может спасти человека...

— Пустое! Студенты по-прежнему будут слушать его, а не нас.

Крутая дробь барабана обрывает беседу. Снова идут великаны. Близится россыпь крупнопечатного шага. Впереди — верхами — два плотных, тугих генерала, прибывших утром из Берлина на смотр.

Штрелер, рыжий студент, вспыхивает от поразившей его мысли:

— Я нашел выход!

— Что вы задумали?

Рыжий хватает проректора за руку и тащит к ограде.

— Мы победим всех «мировых мудрецов»!..

Ланге, пожимая плечами, семенит ножками, хватаясь за Франке, который вцепляется в рясу Брейтгаупта. Так, живой, упругой цепью вылетают они из ворот и бегут, догоняя четыре (два генеральских и два лошадиных) крупа.

Апеллировать к крупу бывает полезно.

Круповой логики не осилить никаким мудрецам.

## 2

Он был скуп, Фридрих-Вильгельм, — пришивал старые пуговицы к новым мундирам.

Он был зверь, бесхитростный Фридрих, когда дело касалось его солдат.

Государство распадалось на гвардию, чиновников и покорных мещан, перенимавших от своего короля одну бережливость. Он был лаконичен и тверд и любил поговорку: «Мы можем делать все, что угодно, ибо мы — король».

Берлинские вечера протекали в дыму «табакс-коллегиумов», где занимались бездельем и осыпали насмешками Версаль и французов. Поэтому — изгнан парик. К тому же и ученым Сальмазиусом давно уж доказано, что волосы принадлежат к безразличным вещам...

Табачную комнату одевает коричневый ток бумажных шпалер, наведенных волнами золотых разводов. Гундлинг, Граббе и Носсиг — веселые советники — окружают Фридриха. Они похожи на трех поросят. Различить их можно с трудом, до того велико между ними сходство, потому что подобраны люди по росту и так, чтобы ум, лицо и веселость были на один манер.

Компания — вокруг стола: министры, шуты и король с деревянными скулами и торчащими щеткой усами. Его волосы гладко зачесаны и собраны в пучок на затылке. Синий мундир узок, ворот давит, и Фридрих выкатывает грудь колесом. При этом ущербные пуговицы сочатся скупым, истощенным блеском. Перед каждым — высокая кружка с пивом, глиняная трубка и листы голландских газет.

Король смотрит оловянными, пустыми глазами и говорит, открывая коробку с трупом и огнивом:

— Друзья мои! Сегодня я буду «доктором табачной науки». В прошлый раз Граббе обогнал меня на сороковой трубке.

— Он плохо затыгивался, — замечает Гундлинг, — советую вам лучше за ним следить.

Компания усердно дымит. Батарея ртов выстреливает клубками и кольцами дыма, отчего будто становится низким и кажется пухлым потолок.

— Где же мои генералы? — спрашивает деревянно-оловянный король. — Я слышал, они привезли скверные вести.

— Они здесь, — отзывается Носсиг. — Я только ждал, когда ваше величество о них спросите.

— Я спросил... — говорит Фридрих и на миг с кружкой пива изменяет трубке.

Носсиг распахивает дверь, и в табачную комнату входят два генерала, ездивших из Берлина в Галле на смотр.

Они приветствуют короля и застывают в молчании.

— Что случилось?— спрашивает Фридрих.

— Опасность!

Движение среди министров.

— Французы?!

— Хуже. Угроза касается лучшей части наших солдат.

Король встает, нависая над столом, как грозный идол в облаках курений.

— Что может угрожать моим великанам?!

Деревянный кулак сжат так, что белеют пальцы. Один из генералов начинает доклад:

— Дело в пагубной философии одного профессора в Галле, уже известного при дворе своим вольнодумством...

— Философия? — Фридрих опускается в кресло и берется за трубку.— Это пустое. То, чего нельзя осязать рукой, не может причинить нам вред.

— Нет, ваше величество, к сожалению, дело весьма серьезно. Этот прохвост учит, что все происходящее на свете необходимо должно происходить. Знатоки утверждают: как только подобные мысли распространятся между солдатами-великанами, они разбегутся на том основании, что если им пришла охота бежать, то наказывать их нельзя, ибо ими управляет рок.

— Друзья мои! — обращается к советникам Фридрих.— Так ли это?

— Я не знаю,— отвечает Граббе.

— Я тоже,— отвечает Носсиг.

— А я знаю,— отвечает Гундлинг.— И могу пояснить.

— Говори!

— Учение этого профессора оправдывает дезертирство.

— Так...— цедит сквозь зубы король.— Я покажу ему предопределение!

Пишет:

«...под страхом виселицы покинуть пределы Пруссии в двадцать четыре часа».

И прибавляет с усмешкой:

— Все происходящее на свете необходимо должно происходить. Не так ли?

В осеннюю, оплетенную в железный прѣливень ночь по дороге из Галле в Эйсleben подвигалась повозка. Под плохой кожаный верх натекала вода, и продрогший седок, сгорбясь, сидел на своих баулах, тревожась за целость рукописей, книг и инструментов.

В самый немилостивый час, когда лошадь совсем уж засебло дождем, вблизи неожиданно выблеснул огонек харчевни. Путник вошел, сбросил скользкий, холодный плащ и спросил себе поесть. Седой громадный старик подбросил в очаг хворосту, разбудил дочь и велел накормить гостя и возницу.

Оба за едой хранили молчание, и хозяин ни о чем их не спрашивал. Он только изредка бросал удивленный взгляд на крупное с хрящеватым носом лицо проезжего в парике, обложившем замерзающим паром буколь его приподнятые, слегка сутулые плечи.

Дождь внезапно утих. Незнакомец оделся, заплатил за ужин и собрался в дорогу.

— Куда же вы в такую пору? — изумился хозяин.

— В Эйсleben, — ответил путник, и лицо его осветилось лукавой усмешкой. — Туда, где родился и умер Лютер. Его не терпели. Он был изгнанником. Теперь его последователи изгоняют других.

Старик понял и более не настаивал.

— Марта! — позвал он дочь. — Поднеси-ка нам прощальную кружку.

Таков был обычай.

И когда сонная смешная толстушка с торчащим в волосах сеном подала гостю пиво, старик тихо спросил:

— Позвольте узнать ваше имя?

Изгнанник снял шляпу и поклонился.

— Я — Христиан Вольф.

## II

Вольф — Корфу:

«Тому, что уже случилось... вряд ли можно помочь... Деньги, привезенные ими с собою, они прокутили, не заплатив того, что сле-

довало, а потом, добыв себе кредит, наделали долгов... Они, кажется, еще не знают, как нужно обращаться с деньгами и жить бережливо, да и не думают о том, чем кончится дело, когда их отзовут. У г-на Ломоносова, повидимому, самая светлая голова между ними; при хорошем прилежании он мог бы многому научиться, выказывая к наукам большую охоту и любовь...»

Пипетки, бюретки, чашки для выпаривания, фарфоровые и платиновые тигли.

Теплый, сухой, проспиртованный воздух и хрустальный холодок эфира, борясь, проникают в кабинет.

Дверь в лабораторию приоткрыта. Над длинным полом стола склонились студенты. Виноградов стоит у окна, держит ловкою хрупкою ручкой склянку и встряхивает ее на свету.

— Я вас слушаю, господин Ломоносов,— говорит Вольф, наклоня обложенную буклями голову.— Как же вы разрешили задачу?

Ученик изрядно смущен. Ему было бы куда легче стоять, а тут его посадили в кресло, и вот собственные руки портят все дело: их никак не пристроишь — ни с края стола, ни на коленях, и — что совсем уж несносно — они начинают дрожать.

— Рассуждаю,— отвечает он все же достаточно твердо,— что посуда из платины не только для жидкостей, выделяющих хлор, не пригодна, но также и для выпаривания свинца, висмута и иных металлов, затем, что с оными платина образует сплав.

Сразу становится легче.

На губах Вольфа возникает улыбка.

— Следует лишь прибавить сюда вещества, содержащие фосфор... У вас ясный ум, господин Ломоносов. Надеюсь, пребывание ваше здесь не будет напрасно...

Руки дрожат даром. Паричок прилипает ко лбу Ломоносова. Он вскидывает лицо, как бы ставя его под удар, и, весь бурый, смотрит Вольфу в глаза.

— Я виновен, виновен, господин советник!.. Поведение мое...хлопоты, причиненные вам моими долгами...

— Оставим это! — перебивает проректор.— Вполне



достаточно, что вы сознаетесь в своих ошибках. Кредиторы согласны ждать, пока деньги получатся из Петербурга. Постарайтесь только не делать новых долгов.

— Простите, что я не заплатил вам за лекции. Вольф смеется.

— Мне вы отдадите в последнюю очередь. Вам известно, что я с радостью допустил вас слушать, помимо общих, еще и специальные курсы.

— Долг профессорам Тилеману и Гартману меня беспокоит не менее.

— Но и они получают свое. В этом я совершенно уверен. Все уладится, и вы поедете изучать дело маркшейдера. Мне кажется, что в этих знаниях особенно нуждается ваша страна?

— О нет, я не согласен,— с некоторою резкостью говорит Ломоносов.— По правде, науки у нас еще не начинались. В России совсем, ну просто совсем еще мало знают!

— Господин Ломоносов намеревается стать в своем отечестве полигистором?<sup>1</sup>

— Да! — отвечает он гневно, и руки его сразу находят себе место.— Ученые люди нужны нам для горных дел, фабрик, исправления нравов, сохранения народа, правосудия, земледельства, предсказания погоды, плаванья севером и сообщения с ориентом. И я говорю себе: мне надобно все узнать, все осмотреть!

Вольф склоняет голову набок, потирая руки, сдержанно любуясь волнением Ломоносова.

— Вы к тому же и любитель философии, как я заметил. Какой же автор вас более других привлекает?

— Гуго Гроций и Пуфендорф.— Студент смотрит поверх головы проректора и видит полку, где под солнечным коротким ударом стеклянный сосуд отражает собранный точкою блеск.— Гуго Гроций и Пуфендорф. Оба они толкуют об естественном праве и должностях человека и гражданина, основываясь на безопасности общежития и на едином лишь разуме, без пустых словопрений богословской схоластики...

---

<sup>1</sup> Полигистор — прозвище писателя Александра Милетского (II век до н. э.) — сведущий во всех областях знания (греч.).

На полном, гладком лице обозначаются скулы. Слова уверенно, ловко цепляют одно другое. Все в студенте скатано комом, и ком этот прост, понятен, прозрачен. Глаза широко и ясно лучатся: сосуд отражает твердый, собранный точкою блеск.

— А как вы находите курс мифологии?

— Лекции профессора Санторока изрядными мне не кажутся. Древние мифы изъяснять должно не затем, чтобы мастерить из них новые, но дабы корни простых и натуральных свойств в них открывать. Для примера — что до мифа о Прометее относится (в том меня утверждает «Аргонавтика» Аполлония Родосского), полагаю, не пострадал ли сей муж за то, что наблюдал звезды и сводил огонь с неба с помощью стекла?..

— Я хочу предостеречь вас... — задумчиво произносит Вольф. — Много лет назад философия сделала меня изгнанником. Я скитался... Быть философом — это значит иметь врагов. Но, быть может, на вашей родине имеют обыкновение думать иначе?

— На моей родине имеют обыкновение вырывать ноздри, урезывать язык, засекают кнутом!.. На моей родине пока еще преграды к приращению наук неисчислимы!..

Ломоносов встает. Шитье его камзола скрипит. Выпущенный на грудь бант подлетает к горлу. Волнуясь, продолжает:

— Но я люблю свое грубое отечество, господин советник, я знаю, в чем его нужда... Я имел один алтын в день жалованья: нельзя было тратить на пропитание больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу. Так я жил пять лет и наук не оставил. Пребываю в твердой надежде, что и науки не оставят меня...

Два ручейка, две бороздки от крыльев носа — к углам Вольфовых губ. Но обычной улыбке не скрыть горячего блеска глаз, их восторженности, того, что ректор заметно взволнован.

— Я весьма вами доволен, — говорит он, слегка опираясь на ручки кресла, — и коллегою Виноградовым также. У вас светлая голова, господин Ломоносов. Я имел удовольствие писать о том в Петербург...

— Что же про меня говорят?

— Что вы начинаете проявлять более кроткие нравы.

— С тех пор как увидел вас, фрейлейн Елизавета, с того самого дня.

— Имейте стыд, господин Ломоносов! Какой же это был день, когда во всем Марбурге не спали одни кошки?

— Изрядно замечено! Я допустил ошибку в разговорной речи, а сего следует избегать, памятуя и о правильности письма.

— О чем вы собираетесь мне писать, господин Ломоносов?

— Вы меня неверно поняли. Говоря о письме, я разумел под этим слог сочинительский.

— А-а-а...

Они идут в темноте под деревьями, одолевая низящие холмы предместья, их курчавую спящую зелень, прорезанную блеском «Ручья еретиков».

Это место облюбовано для прогулок. Некогда инквизиторы бросали сюда пепел сожженных... Рослая волоокая девушка — впереди. Вдвоем нельзя идти по узкой тропинке. Кринолин ее слабо шумит, и от него отделяется особый, свойственный дому Цильхов, запах. Рыжие погасшие волосы нависли слитком на полную белую шею, на которой темнеет платочек, сложенный спереди уголком.

Так бывает.

Люди ничуть не подходят друг к другу. Он — готов разъять, расщепить мир на самые малые доли и затем все обобщить — постигнуть его законы, готов схватить рукой горизонт (ведь надо все узнать, все осмотреть)... Для нее — было б просто и целостно все, вот и Gott sei dank<sup>1</sup>, и жить можно счастливо... Они ничуть не подходят друг к другу. Но кто им скажет об этом? Да и, быть может, это неважно?.. И они движутся рядом, пересекая поле притяжений: железо и магнит.

Они идут рядом, пересекая небольшое поле, отдан-

<sup>1</sup> Слава богу (нем.).

ный ветру участок, уходящий в смутно угадываемый, залегший где-то на горизонте лес. Ломоносов держит под мышкой шляпу и на ходу сбивает сухие стебли суковатой палкой. Его спутница оступается. Он крепко схватывает ее за руку.

— Осторожнее, фрейлейн Елизавета!

Она чувствует его твердое плечо.

— Говорят, вы очень сильны. Это правда?

— У себя на родине, будучи лет четырнадцати, я одолевал тридцатилетних лопарей.

— Эти ваши лопари пречерные?

— Летом, когда солнце у нас не заходит, они загорают, но лопарки весьма белы.

— А вам не хочется вернуться в отечество, господин Ломоносов?

— Покуда — нет,— говорит он, останавливаясь и всаживая в землю палку.— Я еще не имею свидетельств по химии, и маркшейдерский курс мною не пройден. В Академии делать мне нечего затем, что уж слишком там много работы, успехи ж мои скромны. И я повторяю слова учителя моего, профессора Вольфа: «Больше опытов — больше знания, меньше друзей — меньше хлопот».

Она поворачивает к нему лицо, круглое, как лунный лик, такое же, как и его. Он выдергивает из земли палку, и они идут плечо к плечу, высокие, почти одного роста.

— Мой брат Иоганн,— замечает она с улыбкой,— говорит, что вы никогда не исправитесь. Вчера ему жаловался на вас ночной сторож...

— Я побью вашего брата, фрейлейн Елизавета. Верьте не ему, а мне... Еще силы мои слабы, но я знаю себе цену: она много больше трехсот рублей, столь неисправно высылаемых мне по третям... Жизнь, которую ведут студенты в Германии, иная, чем у нас, в России. Я здесь — на свободе. А много ль ее у меня впереди?.. Мои товарищи и я задолжали около двух тысяч талеров. И я наделаю новых долгов. Пусть поморщатся, прикинут, сколько я стою... Мне еще предстоит повышение в Петербурге. Как только меня отзовут...

Он занесся. Стоило услышать ему о похвальном

Вольфовом отзыве — и он ухватился за него, крепко держал, слишком обнадеживая себя на этот счет.

— Пора домой, — говорит она.

— Пожалуй. Не то ваша матушка затревожится. Кажется, она меня не жалует?

Он не получает ответа. Они идут молча, в ногу. У обоих крупный, почти одинаковый шаг.

— Желал бы я знать, — прерывает он молчание, — что сейчас у нас в Холмогорах, в Денисовке... Там отец.. Должно быть, в море ушел...

— Я знаю, вы уедете.

Она складывает руки на груди и вздыхает.

— Вы поедете со мной, фрейлейн Елизавета, — резко бросает он, смотря вперед, и вытягивает губы гусем.

Он видит аспидное немецкое небо, скупые чуждые звезды, вспоминает полярный родной небосвод в сверкающих цветных хрусталях с яйцо величиной.

Голова его запрокинута. Черный бант вскинута ветром до горла.

— Я недавно читал, — говорит он, — Фонтенеллево рассуждение о множественности миров. Весьма любопытно... — И, глядя вверх, прибавляет: — Вот бы... высидеться...

— Вы получите повышение, — ободряюще восклицает она, — я тоже надеюсь на это...

Они ничуть не подходят друг к другу. Да и, быть может, это неважно?

И вот движутся рядом, пересекая поле притяжений: железо и магнит.

#### IV

Вольф — Корфу:

«Студенты уехали отсюда 20 июля утром после 5 часов и сели в экипаж у моего дома, причем каждому при входе в карету вручены деньги на путевые издержки... Мне остается только еще заметить, что они время свое провели здесь не совсем напрасно. Причина их долгов обнаружилась лишь теперь. Они чрезмерно предавались разгульной жизни и были

пристрастны к женскому полу. Пока они сами еще были здесь налицо, всякий боялся сказать про них что-нибудь, потому что они угрозами своими держали всех в страхе. Отъезд их освободил меня от многих хлопот... Когда они увидели, сколько уплачивалось за них денег, и услышали, какие им делали затруднения при переговорах о сбавке, тогда они стали раскаиваться и извиняться предо мною. При этом особенно Ломоносов от горя и слез не мог промолвить ни слова».

Восторг внезапный ум пленил,  
Ведет на верьх горы высокой,  
Где ветер в лесах шуметь забыл,  
В долине тишина глубокой...

В долине тишина. Глухое местечко приникло к подножию Саксонских Рудных гор. Гнейсы и сланцы угнетают окрестность, прерываемые базальтом, сжатым в массивы крутых куполов, и все это обложено лиловой опухолью предгрозя. В безветрии слабо дымят чугунолитейные заводы. С серебряных рудников возвращается народ. Отовсюду — где ни стоять — одинаково ясно слышен горный колокол. Это — Фрейберг.

Глаза — вровень с окном. Почти на уровне их маячат острые кровли ратушки и кирхи. С покрасневшим бабьим лицом он отрывается от бумаги и закладывает за ухо перо. На столе среди книг «Günter's Gedichte», куда он изредка заглядывает, «Gulliwär's Reisen» и Феллоновы «Aventures de Télémaque»... В углу склонился над тетрадкой, качая узкой головой на цыплячьей шее, Рейзер.

Локоть Ломоносова на стопке исписанных листков. Это — переводы донесений, посылаемых в Петербург Юнкером, франтоватым безусым академиком, приехавшим изучать соляное дело. Сегодня Юнкер получил из России листки «Ведомостей» с реляциями об одержанной над «неприятелем целого христианства» виктории. Фельдмаршал Миних разбил в Молдавии турок и взял город Хотин. Победа должна была получить громкий отзвук при русском и европейских дворах, и Ломоносов сел сочинять свою первую оду.

Он вслушивается в глухую возню грома, опускает голову и начинает быстро писать, читая целые строфы вслух.

Его окликает из своего угла Рейзер:

— Михайла! А ведь это весьма схоже с Гюнтеровой одой на мир Австрии с Турцией.

— Что ты знаешь?! — вспыхивает Ломоносов. — У Гюнтера звон не тот и ударение иное.

— Стихи изрядны, — поправляет Рейзер. — Они отменно хороши и рифмою и, главное, размером, который переводчик Тредьяковский в свет опубликовал.

Ломоносов бросает перо в песочницу, складывает на груди руки.

— То — Гюнтер, то — Тредьяковский! По-твоему, так я у обоих стихи таскаю?

Молчание.

— Размеры не сочинителями выдуманы бывают, но единственно из природных свойств языка происходят. Я правила Тредьяковского опровергну и свои вместо них представлю... Гляди, что он вводит: рифмы, схожие с теми, что есть у французов и немцев. «Такая-де смесь не противна нежности уха...»

Он увлекается и добреет.

— Послушай м о и о российской версификации мнения...

В мягком, бархатном гуле начинают ехать куда-то горы. Хлопает дверь, звенят кофейные чашки на столике, и за окном быстро шумит стеклярус дождя.

— Версификация?! — раздаётся озорной, насмешливый голос, и в окне появляется мокрая курчавая голова.

Виноградов, уцепившись за карниз, подтягивается на руках и спрыгивает в комнату. Лицо его влажно, камзол перепачкан глиной; глаза живут умным, стреляющим блеском, а левую бровь отогнул к виску свежий синяк.

Он садится, вынимает из кармана парик и разглаживает его на коленях; замечает на столе кофейную чашку, берет ее и, вращая за донце всей пятерней, рассматривает глазурь.

— Тебя опять били? — спрашивает Ломоносов.

— Били, — равнодушно отвечает Виноградов. — Им

тоже не худо досталось... Совсем не стало прохода от кредиторов... Хочу ехать на мейссенские заводы...— Он задумывается, продолжая вертеть пальцами чашку.— Погляжу, как делают фарфор.

— Генкель тебе присоветовал?

— А хотя бы и он. Совет неплохой, Михайла.

За окном, шипя, ломается молния. Рейзер вздрагивает и закрывает уши. Громовая глыба распадается с треском. Ломоносов смотрит в защиту дождем даль, достает из-за уха перо и склоняется над бумагой.

Кругом его из облаков  
Гремящие Перуны блещут...

— Не вижу причины,— говорит он, косясь на Виноградова,— почему мне Генкеля почитать своей путеводной звездой... Что до курса химии надлежит...

(И, чувствуя приход Петров,  
Дубравы и поля трепещут.)

...то он месяца за четыре едва учение о солях пройти успеет. Опыты его не удаются. Описанием их с примесью его пошлых шуток и пустой болтовни тетради наши наполнены.

— А Вольф?— Виноградов шурится и собирает морщинками лоб.— Лучше? Думал— русские, так не взыщем? По химии Сталя сперва нам негодного учителя дал.

— Ну нет! Их не равняй. Генкель на деньги наши барышничает, покупает паи в рудниках. А Вольф— что бы мы без него делали? Помогал нам.

— Помогал!.. Гуляками пьяными обозвал, когда писал в Академию. Там сего не забудут. Несладко придется, как вернемся туда.

Ломоносов встает, хмурится и начинает быстро ходить.

— Я вот что,— решительно говорит он,— буду у немца просить денег.

— Что ж, давай вместе... Густав!— обращается к Рейзеру Виноградов.— А ты как?

— Отец пишет,— вытянув шею, тихо отзывается тот,— что деньги для меня будут высланы к сроку.



— «Отец пи-и-шет»! — передразнивает его Ломоносов и обрывает: — Скотина! Ступай ты от нас вон!

Рейзер выбегает за дверь. Виноградов откидывает назад голову и хохочет.

Дождь проходит. Теплый сырой ветер начинает залетать в окно, и комнату обливает последний медный свет солнца.

Ломоносов садится за стол, перекладывает бумаги, берется за письмо о правилах стихотворства. На ямбические триметры не хватает примера. Он исписывает осьмушку листа, зачеркивает все; пишет, зачеркивает, наконец склоняет голову набок. Ничего! Как будто ладно!

...Приятный Запад веет,  
Всю землю солнце греет.  
В моем лишь сердце лед.  
Грусть прочь забавы бьет.

«Грусть прочь забавы бьет» — это был германизм: wegschlagen.

## V

Корф — Гекелю:

«Эти три лица в прилежании и успехах очень не равны между собою, в мотовстве же как бы превосходят друг друга. Поэтому Академия наук постановила, вместо 300 рублей стипендии в год, выдавать каждому половину... чтобы то, что должно быть израсходовано на них, было уплачено вами самими кому следует; студентам же кроме одного талера в месяц, назначенного им на карман, не выдавать никаких денег на руки, а между тем объявить везде по городу, чтобы никто им не верил в долг».

— Славный саксонский фарфор делается в Мейссене, — наставительно диктует Виноградову Генкель, плотный человек с лицом в крепких, каменных складках, похожий на маленького седого бобра.

— Саксонская глина лучше и вязче китайской, — говорит он, бросая взгляд в сторону Ломоносова, который

вовсе его не слушает и что-то обдумывает, изредка зевая на весь минеральный кабинет.

— Блюдо из этого фарфора не трескается; разогреваемое над спиртом. Химик Бетигер случайно, при смешении земли для тигля, открыл состав. Чтобы получить его,—пишите, господин Виноградов,—надо взять белой глины, белого кварцу и гипса, обращенного в известь, в той самой пропорции, какую требует означенный рецепт...

— Какова же пропорция? — перестав писать, спрашивает Виноградов.

— Каков плут! — тихо по-русски восклицает Ломоносов.

— Фарфоровое тесто,—упрямо, с деланным раздражением продолжает Генкель,—ставится с дождевой водой дважды в году. Оно мокнет шесть месяцев, пока сделается синеватым и приобретет неприятный запах... Ну, на этом я сегодня закончу, тем более что господин Ломоносов меня не слушает, а когда так сильно зевают, можно повредить себе рот.

В окна ломятся горы, близкие, белые под первым снегом. Бодрый холодный свет лежит на коллекциях минералов за стеклами, на медных частях буссолой и штативов, веселит акварельную карту Саксонии у дверей в углу.

Генкель приближается к Ломоносову:

— Мой любезный ученик, о чем же вы думаете?

— О том, что естественную историю и металлургию нельзя выучить из этих шкапов и ящичков,—и Ломоносов, привстав, широким жестом зачеркивает притаившийся вокруг тихий застекленный мир.

— О, значит, вас занимают более глубокие мысли?

— Я имел размышление о причинах тепла и стужи... Позвольте представить... Рассудил я, что невесомая материя, называемая т е п л о т в о р о м, которая якобы переливается из одного тела в другое,—вымышлена. Истинную же причину тепла вижу во вращательном движении частиц весьма малых, из коих, полагаю, состоят все тела.

— Мой любезный ученик,—говорит Генкель, и складки на его лице размягчает брезгливая улыбка,—вращательное движение частиц мне знакомо: это не

более как кружение юного вашего мозга. Приказываю вам оставить подобные несбыточные причуды, или я должен буду лишить вас тех знаний, которые вы имеете от меня получить.

— Мне останется предпочесть свои, хотя малые, но основательные!

— Вот как?! — шипит Генкель и оглядывается на Виноградова.

Тот повернулся боком, опустил к самому столу голову и грызет перо.

— Вот как вы рассуждаете! Не забывайте, что на вас тратятся деньги.

— И очень большие. Со своих немцев вы берете по сто пятьдесят, а с меня и моих товарищей — по триста тридцать рейхсталеров!

Генкель делает презрительное лицо и смеется:

— Царица богата, может сколько угодно платить.

Ломоносов отодвигает стол и косым шагом ступает на середину.

— Господин берг-физикус! Вы удерживаете наше жалованье. Я требую, чтобы оно было нам выдано!

— Я имею инструкцию из Петербурга.

— Вы и до того ничего не давали, — вставляет Виноградов. — Нам нет возможности изворачиваться на один талер в месяц.

Седой бобр задыхается.

— Вон!.. Ступайте вон оба!..

— Вы уплатите деньги, — кричит Ломоносов, — или я сегодня же покину Фрейберг!

— Попробуйте только!.. Какова дерзость!.. Мне известно, что вы уже и прежде буянили в разных местах. Кроме того, поддерживаете подозрительную переписку с какою-то марбургской девушкой, — одним словом, ведете себя непристойно...

— Что-о-о?!

Ломоносов хватается за полированный ящик с коллекцией минералов, заносит его над головой... Розовые щепы трещат на полу, и пестрые сиениты, фонолиты и кварцы твердыми брызгами бьют по ногам Генкеля.

— Мошенник!.. Ungebildete!<sup>1</sup> — вопит Ломоносов,

---

<sup>1</sup> Неуч (нем.).

мешая русскую речь с немецкой.— Я тебе покажу переписку!..

И — прочь из кабинета, продолжая и в коридоре что-то крушить, кричать, топотать.

Виноградов выбегает за ним.

## VI

«В настоящее время я живу инкогнито в Марбурге у своих приятелей и упражняюсь в алгебре, намереваясь оную к теоретической химии и физике применить».

— Ну, хватит, пожалуй? Или еще прибавить?..

«Утешаю себя пока тем, что мне удалось в знаменитых городах побывать, поговорить с некоторыми искусными химиками, осмотреть их лаборатории и рудники в Гессене и Зигене...»

— Вот и все... Значит, живу «у приятелей»... Это разумно. Не доносить же мне Шумахеру: дом принадлежит теще моей, фрау Цильх... Виноградов, дорогой, спасибо тебе за известия, только ты, шельма, редко пишешь... Так Генкель говорит: «Фрейбергский ученик Ломоносов весьма не в состоянии находится»? Вот уж правда. Именно: «не в состоянии». И сказать-то лучше никак нельзя... Да, претерпел изрядно! В Лейпциге на ярмарке посланника Кейзерлинга искал. Добивался его в Касселе, а он укрылся, не пожелал со мною говорить, а Вольфу я и сам в тягость быть не захотел, приметив к тому же, что он не склонен ввязываться в сие дело... Одним себя утешил — женился. Венчался тайно (не со борзых коней!), почитай, воровским путем. Иной раз и самому дивно! — фрейлейн Елизавета Цильх... фрау Elisabeth Lomonossow... Я еще и в Роттердам и Гагу плавал, да посланник Головкин мне тоже во всем отказал. На дороге был изловлен королевскими вербовщиками, свезен в Везель. Едва сумел из крепости бежать... Выходит — куда как легче сделаться прусским уланом, нежели российским профессором. Так и живу в чужой земле, без гроша, опасаясь, что посадят за долги в

тюрьму. Вот уж подлинно — «не в состоянии нахожусь». Науки, науки — вся моя отрада... Что до алгебры, применяемой мною к теоретической химии, — надеюсь таковым применением немалые двери открыть. Между прочим примечено мною, что если к одному телу что-нибудь прибавится, то столько же отнимется от другого... Что законы природы единственно в числах постигать должно, о том и Вольф постоянно толкует, да то я и без него еще из книжки Магницкого знал... А у нас в поморских двинских местах-то скоро ветры потянут, выгонят льды из Белого моря в океан... Не раз, проезжая Гессенское ландграфство, вспоминал я родину... Видеть мне случилось между Касселем и Марбургом ровное песчаное место, поросшее скудным леском, где было множество целых и ломаных морских раковин. Смотря на это, вспоминал я многие отмели Северного океана, как они во время отлива из воды выходят. Не сама ли натура указывает здесь, что равнина, по которой ныне люди ездят, в древние времена была дно морское?.. (Конечно, так! Надо записать!..) Да еще надо бранить Виноградова, чего не шлет книг Гюнтера и сочинения о России Петра Петрея. Прочие ж мои вещи пусть продаст... А ведь убегу я отсюда, все брошу, либо добьюсь посланников — пускай определяют к делу, либо в обратный путь снаряжают... Как был в Амстердаме, видел купцов архангельских, так они без приказа возвращаться на родину остерегали... Ну, что делать? И силы довольно, и голова на плечах. Куда мне себя девать?.. Ба! Это что?.. Письмо?.. От Шумахера!.. За университетскою печатью... Кто ж принес?.. Ох, Лизавета! Положила, ничего не сказав... Ордер из Академии. Приказано возвращаться... «Ваше благородие имеете не медлить ни единой минуты»... Вексель в сто рублей переслан через советника Вольфа?.. Что ж, и на том спасибо. Был я послан за море и жалованье получал в сорок раз против прежнего. А бывало, не получал и вовсе, и то меня от наук не отвратило, но лишь умножило охоту, хотя и силы мои имеют предел. А медлить — нет, не стану. Не вижу к тому причины... В России, я чаю, просторно... А вот просторно ли?.. Ну да ладно... А ежели кому сидеть покажется неловко, так я того и потеснить могу...

Осенью тысяча семьсот сорокового года осиротела дворцовая собачка Цытринька, известная Сенату по счетным записям об отпуске ей сливок молочных по кружке на каждый день. Остались хиреть и французские ищейки, и борзые со струнными ногами, и тарсиеры, и весь хор незатейливых дурак. Умерла Анна, назначив Бирона регентом, сказав на прощанье ему одно лишь слово: «Небось!»

А он, придавивший страну железным своим подбородком, боялся.

Уже встречались во дворце офицеры, и говорилось негромко:

— Ну, здорово живешь, что у вас делается?

— Да разве не знаешь? Регент сделан.

Пугала и брауншвейгская фамилия, а более всего — цесаревна, что жила на Смольном дворе и слыла кумой всего гвардейского Петербурга. Бирон понял, что явиться в Россию «в мизерном состоянии» и стать высочеством — это не шутка, и он стал убирать подбородок, спеша подобрать.

Он приоткрыл тюрьмы, пообещал выдать жалованье чиновникам, а несущим караул — шубы; отдал в руки помещиков сбор податей и сбавил на один год по семнадцати копеек с души. Но спустя месяц он лежал в дворцовой караульне, давась вбитым ему в рот кляпом. Платье его было подарено фрейлинам. Они спорили позумент и дали на выжигу. Из Бирона вытопили: золотых четыре шандала, шесть тарелок и две коробки. Петербург узнал о преступлениях регента и о назначении правительницей Анны Леопольдовны. Об этом объявил император Иоанн Антонович, которому от роду было семь с половиной недель...

В сороковых годах Англия стремилась к созданию колониальной империи. На морях постоянно происходили «затмения»: Франция пенила одни воды с Британией, и белый флаг с лилиями затмевал полыхание

жарко-золотого льва. Но вот посол Финч купил право на вывоз шелка из Персии, надеясь просочиться оттуда в Индию, и в Лондоне образовалась Персидская компания. После смерти Анны Бирон заключил союзный договор с Англией. Этого «лилии» не могли стерпеть.

В Петербург прикатил маркиз де ля Шетарди, оставив двойной след в русской истории: первый — ввезя в Россию шампанское и приблизив корону к голове дочери Петра. Обе миссии не следует рассматривать отдельно — они соприкасались. Последующее царствование можно назвать в известном смысле шампанским. Эпоха куртагов<sup>1</sup>, «петербургской Версалии»<sup>2</sup>, увеселительных огней, фарфора, художеств, создавшая поговорку «жить припеваючи»...

Впрочем, увеселительные огни иногда пускались доведенным до отчаяния людом.

И некоторые находили, что напиток — весьма кисловат.

Летом среди бела дня в доме генерал-полицмейстера в Петербурге воры срезали и унесли атлас, которым были обиты стены спальни. Тогда ровно в одиннадцать часов ночи стали опускаться шлагбаумы «для прекращения воровских приходов», и появился указ: «Нищих обоего пола в Петербург ниоткуда отнюдь не пропускать».

Указ запоздал: нищих, то есть беглых крестьян и мастеровых, набилось во все ф а р т и н ы, или харчевни, и лавки маркитантов. В одной из таких фартин гренадер Невского гарнизонного полка башкирец Мадым Бетков нашел своего земляка.

Он встретил башкирца, приставшего под Казанью к русским — беглым с уральских заводов Демидова. Закон запрещал приписывать к партикулярным заводам целыми деревнями: следовало производить работу купленными крестьянами, а не казенными, дворцовыми.

---

<sup>1</sup> Куртаг (от французского — *cour* — двор и немецкого — *Tag* — день) — приемный день при дворе.

<sup>2</sup> Царского Села.

Но за широкой спиной Бирона ничего не было видно, и Демидов мог заводить крепостных, сколько хотел.

В харчевне за жидкою похлебкою из рубцов, грешневиками и квасом сидел пришлый замызганный люд, разносчики сбитня и обжигальщики с Невских черепичных заводов. Башкирец в бешмете и тубетее, сыпавшем фольговым блеском, смотрел на гренадера, крутя редкую бороду. На плечо его навалился курносый, с белыми плутовскими глазами парень в новой лакейской ливрее и набок сдвинутом картузе.

Мадым Бетков казался на три головы выше всех: две головы на нем заменяла шапка. Высокая, в поларшина, с зеленым верхом и красной опушкой, она освещалась бляхой с гербом полка и чеканным изображением пылавшей гранаты. У него были блестящие, тонко, до синевы, ссученные брови, лицо — будто травленное порохом — в мелких зеленоватых точках, и скулы твердые, как кремь.

На родине у Мадыма случилось горе. По весне в разных местах поднялись башкирцы — зашалил какой-то, прозвищем Карасакал, или Черная борода. Карательный отряд выжег под Самарой аулы и взял аманатов<sup>1</sup> самым вероломным образом. Потомственного страха ради башкирские ребята и девки были розданы участниками экспедиции. Беткова взяли на военную службу, а среди пленных оказалась его, Мадыма, жена.

Гренадер поклялся, что найдет свою Ентлавет и, если понадобится, уведет силой. Земляк сказал ему, что видел ее в Самаре, среди челяди проезжего чиновника Сибилева, а что он, Сибилев, за человек, того башкирец не знал...

Голоса перебивавших друг друга людей сливались в глухом тоне нараставшей угрозы.

— Государыня призывала цесаревну Елисавету, — говорил горбатый рыжий сбитенщик с белыми, льняными бровями и лицом цвета морковки, — призывала и изволила сдавать цесаревне Российское государство. Только ее высочество говорила: ежели государыня на три года учинит работным людям льготы да иноземцев

---

<sup>1</sup> А м а н а т ы — заложники.



всех вышлет, тогда ее высочество и государство на себя возьмет.

— Без льготы никак нельзя, — отзывались мастера-вые. — В Ярославле на бумажной мельнице так воли нам и пошалить нет: бьют и держат в колодках без срока. Мы уже и то думали хозяина убить, а фабрику его выжечь, и будет нам воля.

— Овладели всем немцы, — толковал сбитенщик, — вот никому и воли не стало. Всех бы их до смерти уходить!..

— Это верно, про немцев, — сказал один из беглых, чумазый и белозубый, кожа да кости. — Кабы не они, не прибирали бы нас Демидовы к рукам. А то ведь для жжения дровяных куч выбивают нас в самую летнюю рабочую пору, а числят в день по три копейки. Да мы ж от себя наемщиков ставим в сутки по двенадцать копеек, а в грязь великую и по тридцать копеек дашь...

Гренадер придвигался к земляку. Травленное порохом лицо его вспыхивало.

— Слушай, — говорил он, — как наших в аманаты взяли... Ночь была. Звезды были. На всю степь светили костры... Больше ста кибиток приехало. Мир — так мир. Генералы сказали: «Присягайте на Коране», стали угощать мясом и водкой, дарить на кафтаны алое сукно... Глупый, жадный народ наш! Никто не взял оружия. Ели, радовались — много водки, много мяса. Ентлавет пела: «Твои зубы, мои зубы встретились — ты растаял, как белое серебро...» Мир — так мир... А утром взяли аманатов. Тридцать! Остальных — кого казнили, кого в плен и на службу... Ее я больше не видел. Она спала, держась за свою грудь...

Башкирец захлопал глазами и быстрее закрутил бороду. Парень в лакейской ливрее вздохнул и дернул рассказчика за обшлаг.

— Стало быть, искать надо, — протянул он. — Жену-то. Вот дело пустое!

— Как пустое?.. Да ты что за человек?

Гренадер отодвинулся. Становилось и так невозможно жарко, а дыхание у парня было горячее от выпитого вина.

— Зовусь Федот Ламбус, родиную из Курляндии, а

живу в услужении у советника Шумахера, что самый главный в Академии наук. Ты, брат,— продолжал он,— за меня держись. Мы при канцелярии живем. До всего можем достигнуть.

Гренадер вскочил, касаясь верхом шапки потолка харчевни.

— Правду говоришь?

— А для чего врать?.. Пойдем-ка отсюда. Ты не гляди, что я пьян. Я вполне в себе.

Мадым Бетков двинулся за лакеем, протискиваясь между лавок.

Было шумно и парко. Одежда взмокла, прилипая к телу. Большие синие мухи усеивали столы.

В темном углу, где сидел хозяин, велась тайная торговля водкой.

Люди тянулись туда, неся в заклад то кафтан, то шапку, а то и онучу. Ходила по рукам новая народная картинка, и чей-то голос тянул по ней нараспев:

— «Дано мне отпускное письмо, чтоб от бедности и скудости своей покормитца, легкой шиб а е в о й работой поживитца. А сказано: жить ему без пашпорту, а воровать ему без пошлины, а краденое продавать без порук...»

— А кому продавать? — перекрывал чтеца хрипловатый бас.— Таким же вора м и мошеникам, что свои братья шибáи...<sup>1</sup>

— «...А по сему данному от нас письму никому бы ево у себя не держать, а где ево ни увидят, там ево задержать. А лучше б ему в Военной коллегии явитца, а от шиб а е в о й работы отвалитца...»

То был список «глухого пашпорта» — бойкий листок, вскоре запрещенный полицией.

Бетков и Ламбус выбрались на улицу.

— «...и бог бы ево спас и помиловал всех нас», — донеслось из-за дверей.

## II

Трещали вымпелы. Их треск поднимал голубей с адмиралтейского бастиона. Нева то пучилась морщи-

<sup>1</sup> Ш и б á и — бедовые ребята, воры.

нистым свинцом, то в светлых ивернях разбрызгивалась до горизонта, пахла рыбой и морем, смотря по тому, какой ударит ветерок.

Федот Ламбус привел гренадера к зданию Академии. По дороге он завернул в кабак и напоил башкирца, заставив его платить и еще взяв два алтына в долг.

— Вот тут живем,— сказал он, указывая на недостроенный корпус, отведенный для академических служащих,— У меня-то еще и в Академии каморка есть.

Мадым взглянул на темные, в частом переплете окна кунсткамеры, позевал на башню обсерватории и перевел взгляд на реку. Она была широка. Здесь сильно отмыло берег, и вода подходила к самым стенам, где — единственное спасение от сивой, пищавшей, как тесто, грязи — лежал деревянный настил, так называемый пешеход.

Солнце ударило в стену башни, сместило ее, и Мадым потерял точку опоры.

— Ишь ты,— сокрушенно сказал он, глядя на размытый берег и сильно покачиваясь,— так ведь и вся здания повалиться может.

— И очень просто,— согласился Федот.— Ну, пойдем.

Они обогнули главный фасад и поднялись со двора в скудно освещенную галерею. Резкий визг стали и жужжание точильного колеса вырвались из распахнутых дверей. В полосе света мелькнула группа суетившихся учеников и грузная фигура мастера, вытиравшего масляные руки о кожаный фартук. Здесь помещалась механическая экспедиция, устроенная Нартовым — токарем, пожалованным за смышленность в коллежские ассесоры и взятым в Академию к инструментальным делам.

Каморка ютилась под лестницей. Ламбус втащил гренадера, сказал: «Ну, отдохни»,— и толкнул его на койку. Тот вообразил себя на учении и загорланил:

— Вынимай гранат!.. Вкуси зубом!.. Бросай!..

Лакей притворил дверь, снял картуз и, плеснув из таза на голову, слегка протрезвел и стал приглаживать прямые белые волосы. Тут зазвонил колокольчик, и Ламбус кинулся наверх, в кабинет.

Солнце шло перед окнами, но комната поглощала

его без отдачи, тусклая вся — от серых обоев и фланелевых чехлов на стульях до оловянных чернильниц на столе. Не на чем было зажечься блеску; разве на зеркале и на низком книжном шкафе — «пуделе» — с гладкой верхней доскою; но и «пудель» и зеркало стояли в тени.

Шумахер сутулился в кресле. На лице его был подернутый пеплом румянец. Спиною к дверям стоял студент в потертом немецком камзоле, при шпаге, со свертком под мышкой. Трое академиков — Амман, Крафт и Делиль — сидели, разглядывая его.

Шумахер обращался к студенту, вытянув прямо перед собой большие, крепкие руки. Они лежали ладонями вниз, совсем как собачьи лапы, словно оберегая счета, протоколы и письма, хотя виновник этого мнимого беспокойства и не собирался на что-либо посягать.

— Мне известно, — говорил Шумахер, — о ваших поступках, не совсем, впрочем, похвальных. Но отнюдь не намереваюсь заниматься подобными пустяками, тем более что в науках успели вы основательно.

— Я изрядно усвоил химию, — отвечал студент, — металлургию и маркшейдерское искусство, а также распознавание рудных жил, земель, солей и вод. Кроме того, могу толковать другим физическую географию и механику. Обо всем этом я имел честь вам писать.

— Ого!.. Толковать другим! — вырывается у сухого, надменного Крафта.

Рыжий Амман и большелобый Делиль усмеваются. Шумахер смотрит на торчащего у порога Федота и говорит:

— Я уже позаботился. Сейчас вы отправитесь на свою квартиру... Дело для вас также найдено: вы будете переписывать каталоги минеральной коллекции. Господин Амман вам все изъяснит.

Амман кивает. Руки его на животе. Рыжее лицо в теплом крапе веснушек.

Студент наклоняет голову.

— Я всемерно буду стараться... Однако не извольте, ваше благородие, замешательств чинить в моем производстве.

Ледяные глаза округляются.

— Вы о чем?

— Когда я за море отъезжал, то было мне сказано, что ежели в известных науках преуспею и получу надлежащие свидетельства, то по возвращении своим званием экстраординарного профессора удостоен буду. И свидетельства и две диссертации мною представлены. Прошу господ академиков их рассмотреть.

— Куда с диссертациями! — восклицает Крафт. — И студент Теплов о том же хлопочет...

— Вы излишне торопитесь, — говорит Амман. — Мы труды ваши рассмотрим вместе с другими.

— Да, да, — ласково заключает Шумахер, — вам, конечно, повременить надлежит.

Академики шепчутся. В дверях громко зевает лакей.

— Федот! — раздается резкий окрик советника. — Ступай с господином студентом. Проведи его в бонновский дом и отомкни две каморки, что окнами на реку. Господин студент там будет иметь проживание.

— Ваше благородие! — студент все ниже наклоняет голову. — Еще я сказать хотел, что терплю по приезде крайнюю нужду, денег не имею нисколько и как пропитание себе добыть — не знаю.

— Деньги ныне редки в Академии, — со вздохом отвечает Шумахер.

— Деньги ныне редки, — зло повторяет астроном Делиль, — но господа Крафт и Амман исправно их получают.

— Это вас не касается! — вспыхивает Крафт.

— Но тогда кого же? Мне в течение года ничего не платят!

— Этому причиной ваши поступки, — цедит сквозь зубы Шумахер. — Карта путешествия Беринга явилась во Франции прежде появления в России, и есть основания думать, что это сделано не без вас...

— Или не без близкого в а м человека. Библиотекарь Тауберт...

— Nicht so hoch! <sup>1</sup> Прошу вас! Вы не на обсерватории!.. Федот! Ступай проводи господина студента... Что

---

<sup>1</sup> Не так высоко! (нем.)

до вашей просьбы, я, к прискорбию, вынужден отказать...

Студент и лакей вышли. Отойдя от двери, Ламбус ухмыльнулся и проговорил:

— Беспорядится у них завсегда. Иной раз дойдет — в зеркало палками так и шибают...

Они спустились по лестнице. Лакей шмыгнул в каморку взять картуз и взглянуть, как себя ведет гренадер. Убедившись, что спит и буянить не собирается, вышел, плотно притворив дверь, и направился во двор. Студент следовал за ним, держа шляпу под мышкой и вытирая платком круглое, бабье лицо. Он только сейчас заметил, что беседа с советником вогнала его в пот и в краску.

Они вышли на набережную. На воде покачивался щеголеватый бот, выложенный тюфяком с желтыми пушистыми кистями. Два гребца в зеленых кафтанах ели лук, запивая прямо из горсти Невой.

— Эй, на боте! — крикнул Федот. — Притолкнись-ка к берегу! — И, прыгая на банку, прибавил: — Неохота идти по зною. Прямиком в бонновский дом!..

— Ты кто ж таков? — обратился он к студенту, когда бот рванулся, круто разваливая воду. — Прежде объявили, что те каморки приезжему господину Ломоносову достанутся, а ныне тебя туда везу. Почему так?

— Я и есть Ломоносов.

— Прости, ваше благородие, не признал. Уж больно вы за мужика сходны.

— Дурак! — смеясь, сказал Ломоносов, толкая Ламбуса локтем. — Сего в беседе не говорят... А ты кто? Сторож? — спросил он, присматриваясь к галунам ливреи.

— Лакеем у советника Шумахера. Двадцать четыре рубля в год получаю. Нас, ливрейных, при нем четверо состоят.

— За перевоз платить надо? — вдруг встревожился Ломоносов и посмотрел на реку, словно собираясь бежать на середине дороги.

— Не-ет... Бот Шумахеров. Не сказывайте только, что в нем по реке катались.

— А вода не Шумахерова? — обозлился Ломоносов и перегнулся через борт — пить...

Недостроенный мост через Малую Неву упирался одним концом в Пеньковые амбары и приходился наискосок купленному у генерала Бонна дому, при котором Академия имела свой «ботанический огород».

Дом был деревянный, на каменном фундаменте; красная гонтовая кровля горела на солнце. Слуховые окошки и карнизы столярной работы делали его нарядным, а наверху красовался затейливый шпиль.

Они высадились и вошли в заросший травой двор. На крыше сарая стоял желтый жилистый немец в панталонах и ночном колпаке, задрав кверху лицо с большими, красными веками. На горле у него прыгал кадык. Немец гонял длинным тонким шестом голубей, и воздух был полон разрывчатым треском поднятой стаи.

Лакей указал Ломоносову на человека с шестом и шепнул:

— Это, ваше благородие, садовник, он же и церковный староста в кирхе на острове. Ежели вам когда деньги занадобятся, так он ссужает.

Сбегав за ключами, он повел Ломоносова в дом. Они прошли через светлую, но полную чада и детей кухню. Толстая, вся в бородавках, стряпуха оставила свои горшки и уставилась на нового жильца, потом она прикрикнула на детей и тоже поплелась по коридору.

Ламбус отпер дверь, и Ломоносов увидел свое жилье. Две крохотные, соединенные одна с другой, каморки были обиты шпалерами, сильно отставшими в углах у бело-зеленых кафельных печей. В одной комнатушке стояла кровать, в другой — стол и два стула. Окна смотрели на реку, и в них яснили — редкость по тем временам — чистые ямбургские стекла.

Ломоносов бросил на койку шляпу и сверток и сел на обтянутый трипом стул.

— Ну вот, — сказал Ламбус, надвигая на глаза картуз. — Тут вам учиться в самый раз... Господину советнику, что в его боте ездили, не говорите... Покойного проживания желаю!

И вышел.

Ломоносов уперся руками в колени, надулся и, приподняв плечи, устремил в угол тяжелый, собранный взгляд. Так он сидел долго. Солнце переползало через него. На лицо садились мухи — он не отгонял их. К две-

рям подходили; шаги то затихали, то приближались, и наконец кто-то остановился в самой близи. Ломоносов вскочил, распахнул дверь и носом к носу встретился с человеком, гонявшим голубей; из-за его спины, улыбаясь, выглядывала бородавчатая стряпуха.

— Академический садовник! — произнес немец, кланяясь, и при этом кадык его выпятился и исчез. — Моя жена — Амалия... Gott segne Ihren Heim!<sup>1</sup> — И, поклонившись еще раз, протиснулся через порог. — Иоганн Филипп Штурм... Не нужны ли вам деньги?..

### III

— Каталог минералов надлежало вам переписать до коллекции янтарей.

— Девяносто страниц мною уже переписано, господин Амман.

— Тогда употребите свое время на перевод статьи для приложений к «Ведомостям».

— Статья также мною переведена, господин Амман.

— Торопливость может стать для вас причиною многих досад. В Академии не имеют обыкновения спешить.

— Диссертации мои четвертый месяц рассматриваются. В сем обыкновении я хорошего ничего не вижу.

Профессор натуральной истории улыбается и складывает руки на животе. Рыжее лицо его освещено теплым крапом веснушек.

— Зато о вас хорошо отзываются при дворе. Ода ваша написана весьма искусным штилем.

Ломоносов пожимает плечами.

— Писание од за обязанность свою почитаю, и притом нелегкую, особливо ежели кого вневолю славить придется. В Марбурге студентам за похвальные стихи по таксе платят, отчего их стихотворство в великую скудость пришло.

— Не советую вам так рассуждать, — поспешно говорит Амман, — подобные мысли бывают от праздности. Ступайте лучше в Академию на лекции...

---

<sup>1</sup> Господь да благословит ваш кров! (нем.)



Ломоносов смотрит ему вслед, снимает с гвоздя епанчу и шляпу и тихо произносит сквозь зубы:

Я в Академию и без твоего позволения пойду!..

Он — и переводчик, и писчик, и сортировщик пахучей травяной трухи, которою завален тихий Боннов дом, а об определении «в профессоры» и не слышно.

...Всего хуже, что жалованья нет. Живи как знаешь. Садовнику должен шестьдесят пять рублей... Каталоги переписал небрежно, но Амман доволен, — видно, в Академии и хороших переписчиков нет... А ода, значит, понравилась... «Веселящаяся Россия», к ножкам императора взывающая: «В Петров и Аннин след вступите!..» Но ежели в Аннин, то и в Биронов, а тогда, почитай, в крови увязнешь. Впрочем, о Бироне не помыслят, ведь он в ссылке... Так понравилась ода? Только на это и надежда. Пожалуй, учуют немцы, рассмотрят труды — произведут...

Он открывает дверь в коридор, куда проникает запах трав из комнаты, заменяющей оранжерею, быстро проходит мимо каморок Аммана и Штурма и, выйдя за ворота, плотно запахивается в епанчу.

Низкие, холодные облака взбиты ветром над Малой «проспективной»; дождь со снегом заштриховывает ее, не позволяя распознать прохожих, догадаться, что эти вот двое идущие навстречу — земляки, поморы, — с ними видался на бирже месяца три назад.

— Путем-дорогою здравствуй! — в шутку по-морскому приветствуют они его.

И Ломоносов, обрадованный, отвечает:

— Здорóво ваше здоровье на все четыре ветра!

— А нам тебя-то и надо... Вéсти тебе привезли, худые вéсти, Михайла...

По внезапному толчку в груди он догадался:

— Отец?..

— Утонул Василий Дорофеев. Пошел в море и не вернулся. Нашли мы его в диком месте. Как заплыли туда, а там-то всюду ловецкие могилки... Да он и летами, поди, уж шибко забрался, а все на промысел ездил. Бывало, волна так и рыдат, пену несет в море страшно. Ну, и погинул Василий Дорофеев. Схоронили его с честью на острову.

Ломоносов стоял без шляпы. Паричок его намокал; снежная крупа лежала на нем не тая.

— Подушные за тебя, за беглого, из мирских денег платим,— проговорил земляк и переменял речь:— А епанча-то у ты в окошках. Эк обносился!

— Пустое! — еще думая о другом, ответил Ломоносов и надел шляпу.— Вся Академия стоит дырява и едва дыхание имеет. Не в епанче толк!

Дождевой выхлест обдал их из-за угла, с визгом понесся вдоль линии, и крутой кипяток заплясал в лужах.

Они разошлись. Их словно разорвало ветром. Он бил в лицо, залетал сбоку, гнал вперед.

Рвались последние нити. Уходили навечно Куростров, Холмогоры.

...По Денисовке шли люди, говорили: «Вот здесь жил Василий Дорофеев...»

Жирный чугунный орел сидел на ограде. Земля отдавала сырую, едкую горечь. Всюду — следы недавних пожарниц — чернели пустыри.

Дрожки обогнали его, забрызгав грязью. На спине извозчика блестел жестяной номер. «Дурак придумал!» — обозлился Ломоносов и зашагал, не обходя колдобин, все напрямик, по воде так по воде.

#### IV

При Академии — гимназия.

Утверждают, будто имеется и университет.

Если же подать нижайшее доказательство, что такового нет, можно поплатиться...

Гимназия производила студентов. Их отправляли на лекции. На двенадцать профессоров — двенадцать студентов, это — университет. Профессорам, «чтоб не оставались праздны», посылались ученики без разбора предметов — для одного занятия места, но те отгуливали по месяцам.

Академия!

Она пошла от кунсткамеры, от проспиртованных, скрюченных в банках уродов, от кабинета легенд и нелепостей, от «двух собачек, которые родились от девки шестидесяти лет»...

Канцелярия, караул занимались делом. Остальное было зиянием. Вел хозяйство несокрушимый Шумахер. Вызванный в Россию при Петре, определенный библиотекарем и смотрителем кабинета «монстров», он проявил неутомимую деятельность: «будучи в науках скуден, укрепился при дворе приватными услугами», писал за границу посланникам о петербургских новостях; завел типографию, гравировальную и рисовальную палаты. Не считался с издержками. Украшения кунсткамеры производились по его указаниям. Из Академии выходили: фейерверки, иллюминации, подносные экземпляры книг, оды.

Все было в порядке. То, что она стоит дырява, еще требовалось доказать.

Заседала профессорская конференция. Сонные сторожа слонялись по коридорам. Ломоносов, миновав ряд пустующих лекционных комнат, прошел в канцелярию. Там, обступив переводчика Горлицкого, волновались копиисты. Переместив столы, беспорядочно сдвинув стулья, горланили студенты: Попов, Чадов, Коврин, Шишкарев. Возвышаясь над всеми, молча следил за происходящим рослый Нартов. Непревзойденный мастер токарного искусства, грузный, с лицом в седоватой синей щетине, он казался чугунным; темные глаза его живо блестели, глубоко вдавленные под упрямым лбом. Нартов стоял, расставив ноги, сжав костистые кулаки, на которых в зеленые веточки жил была впутана татуировка. Горлицкий, тощий, заморенный, кричал, вытянув шею, как голодный галчонок. Голос его звенел от обиды. Все это походило на бунт.

— Есть при Академии университет? — плакался переводчик. — Славные науки процветают ли?.. А как тому быть, если ученым людям вход в конференцию воспрещен?.. Нам с Ильинским и Сатаровым Шумахер стулов не дал садиться!.. А как мы не захотели при профессорах стоять, то он нас из конференции вашей выбил!

— Это что! — крикнул бледный, большеротый Шишкарев. — Меня в ту пору, как Ломоносов за море

зобирался, Шумахер батогами наградил. За бранные слова.

— Не брани немцев! Им и содержание двойное против русских.

— Академический псарь Фридрих за стрельяние птиц двести рублей в год получает.

— Академия и без сего псаря состоять может, а он определен для того только, чтоб дать ему место и питание...

И пошло... И пошло...

Сухой серебристый снег летел над домами в солнечном блеске. Решетчатой тенью стлался по полу оконный переплет.

Текли жалобы. Сидел на столе Ломоносов, слушал, насупясь, вытянув губы и болтая ногами. Продолжал хранить молчание Нартов и медленно, как великую тяжесть, поднимал костистый кулак.

Текли жалобы:

— Из русских нет еще ни одного профессора! — надрывался Горлицкий. — Шумахер не хочет открыть науки!

— Приласкает к себе младших профессоров да травит их на старших и делает вид, якобы он — отец юношеству.

— Тауберта по свойству унет-библиотекарем определил!

— А для чего? Чтоб им с книгопродавцем Прейсеном казну способней расхищать было.

— Про Тауберта ж говорят, что он, приходя в канцелярию, берет письма большими связками и носит к себе наверх, в третий департамент, а оттуда выносит через сторожа Данилова...

Бац!

Кулак Нартова опустился. По столу, заливая сукно, жирно поползли чернила.

— Полно вам! — раздался хриплый его голос. — Донос писать надо! Горлицкий! Садись, составляй записку, пиши!

— Да что, Андрей Константиныч, по-пустому писать? Подавать-то кому? Немцам?

— Там увидим, — загадочно произнес Нартов и стал диктовать пункты: — «О непорядочных поступках —

раз... О расхищении казны — два... О пренебрежении учения российского юношества — три... Он-де, Шумахер, явное имел на Россию скрежетание...»

— Кто ж так пишет, что-де имел скрежетание? — презрительно перебил Ломоносов и рассмеялся.

— Я пишу! — огрызнулся Нартов.

Но тут в коридоре началось движение. Захлопали двери. Конференция отзаседала, и доносители заматались и прыснули кто куда...

Прихватив локтем папку с бумагами, развернув сутулые плечи, вкатился в канцелярию Шумахер. Его сопровождал стихотворец и профессор аллегии Штелин, бывший воспитатель великого князя Петра Федоровича и, по слухам, более служивший ему вместо шута.

Это был человек веселый, с очень смуглым лицом, угловато оттянутыми книзу веками и теплыми, масляными глазами под косматой птицей бровей.

— Господин Тредьяковский хорошо подвигается в своем переводе, — говорил он, нагибаясь к плечу советника. — Третий том Ролленевой «Истории» уже был бы закончен, когда б не новое пожарное приключение.

— О, есть поговорка, — с улыбкой отозвался Шумахер, — кому суждено повешену быть, тот не утонет. Но господина Тредьяковского поистине преследует огонь...

Возня и шум за дверьми. На пороге, отесняя друг друга, желая каждый пройти первым, — Делиль и Гейнзиус. Большой бледный лоб Делиля в спутанной седине, перечеркнут ссадиной. Маленький Гейнзиус разъярен и сучит кулаками. За ними, тяжело, с одышкой ступая, появляется тучный Винсгейм.

— Что случилось? — насмешливо спрашивает Шумахер. — Почему вы не изволили быть на конференции?

— Я чинил наблюдения, а что чинил профессор Гейнзиус, то, полагаю, в ам лучше известно. Вы научаете его всячески оказывать мне непочитание. Советуете обнародывать наблюдения прежде меня...

— Я секстант стеной измерял, а профессор Делиль его из моих рук вырвал...

— Ему измерений делать не надлежало!

— Он меру деревянную изломал!

— А он собрал куски и бросил в меня!

— Пусть академическое собрание судит об этом.—

И Шумахер резко отворачивается от обоих.— Господин Винсгейм, вы имеете мне что сказать?

— Я буду требовать абшида!<sup>1</sup>— кричит Делиль.— Мне нет возможности здесь оставаться!..

Он вскидывает головой и выходит из канцелярии. Становится тихо. Зло усмехаясь, следит за всем Ломоносов. С притворной старательностью водят перьями копиисты, и тяжело дышит астроном Винсгейм.

— Прошу... уволить меня...— говорит он прерывисто, лоя ртом воздух.— Мне за тучностью корпуса никак нельзя ходить на обсерваторию.

— Это прискорбно.

— И к тому же быть свидетелем ссор и драк я не желаю.

— М-м... Тогда примите на себя труд изучения темных часов для полиции, то есть в которое время в Петербурге засвечать и гасить надлежит фонари.

Астроном выходит. Ломоносов косым крупным шагом направляется к Шумахеру.

— Ваше благородие не станете возражать? Я намерен подать в Академию наук предложение.

— Какое же?

— Об учреждении химической лаборатории.

Шумахер молчит. Гейнзиус меряет Ломоносова взглядом.

— Я мог бы трудиться для пользы отечества.

Молчит Шумахер.

— И еще: я Академию наук многократно об определении своем просил.

— Диссертации ваши сегодня рассмотрены. Вы можете быть совершенно довольны.

Какой славный день! Как ясны контуры всех вещей в канцелярии и что за милый старик! Даже уши его, мертвые, серые, начинают розоветь на свету.

---

<sup>1</sup> Abschied — отставка (нем.).

— Все те, которые желают получить свидетельства о своих успехах, должны явиться к экзамену.

— Что-о-о?!

Серый, безрадостный туск на вещах и лицах. Пол плывет под ногами.

— Господин советник! Я имею аттестаты от Вольфа и Дуйзинга!

— Таково определение конференции. Я вам более ничего сказать не могу.

## V

Маркиз де ля Шетарди ввез в Россию шампанское. Цесаревна Елисавета Петровна вступила на престол.

Бироновщина нарвала и лопнула. Ее прямых наследников — Остермана и Миниха — поминали в проповедях «яко эмиссаров дьявольских, влезших в Россию» («Оттого-де и несчастливы мы и учения у себя завести не можем»). На гулянье под качелями солдаты избили офицеров-немцев. В Академии наук, как наливное яблоко, спел донос...

Было как бы два Ломоносова. Один — в Петербурге, другой — все еще «за морем». На обоих от Статс-конторы испрашивались деньги, но ни один их не получал.

Зато ему дали «адъюнкта». Минуя профессорское собрание, он подал прошение в Кабинет и был произведен. Его допустили приватно давать охотникам наставления в химии, натуральной истории, а также в стихотворстве и штиле. Охотником оказался один студент.

Не было дела, друзей. Были тупая тоска, стиснутые зубы, одиночество. Об оставленной жене старался не думать. Писать через посланников не хотел, чтобы не возбуждать толков, — никто ведь не знал еще, что он женат.

Академики стояли стеною. У этого русского была слишком своя походка. Он переводил оды. «Ломоносов бесподобно успевает в своих переводах, — говорил Шумахер. — Когда б только не было у него одного недостатка, от него можно было бы ожидать много хорошего». Он пил. Академики стояли стеною. Им было ясно: мужик, заносится и соблюдает свой интерес...

— Er hatte gesagt, das er mir Arm entzwei entschlagen und also ein Ende auf mir machen will!..<sup>1</sup>

Желтый жилистый немец вбежал в профессорское собрание.

— Was ist geschehen, Herr Sturm?<sup>2</sup>

Академики и Шумахер поднялись ему навстречу. Только Рихман, молодой молчаливый профессор, продолжал спокойно листать «Ведомости». Садовник, наклонно пролетев в стенном тусклом зеркале, выпятил кадык и забормотал:

— Были у меня в гостях книгопродавец Прейсер, типографщик Биттнер и лекарь Брашке. Шел у нас разговор о книжной лавке, а господин Ломоносов, не знаю, с какого умысла, подслушивал в сенях. И служанка моя стала его отгонять, а он пришел в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что епанчу его украли. И лекарь Брашке отвечал, что ему, адъюнкту, таких речей говорить не надлежит, и Ломоносов его в голову ударил, и, схватя болван, на чем парики вешают, начал всех бить, и двери рубил шпагою, и жену мою чреватую (которая ходит беременна) называл к...вою, чем ее до смерти напугал...

— М-да,— озабоченно произнес Шумахер,— у господина Ломоносова голова еще полна разнородных паров, которые его сильно беспокоят.

— Но и других также... Этого нельзя оставить! — заметили Крафт и Штелин.

А садовник продолжал:

— Я караул кликнул, чтобы Ломоносова забрали на съезжую, но, придя, застал гостей своих, битых, на улице. А жена моя от него в окошко выскочила и лежит больна.

— Прежде времени его адъюнктом сделали,— проронил Гейнзиус, и все подхватили:

— Он и в Германии в драках являлся.

— А с какою гордою осанкою расхаживает!

— И притом за все хватается: за химию и за предметы физического класса.

---

<sup>1</sup> Он сказал, что руку мне переломить хочет и таким путем конец надо мною учинить!.. (нем.)

<sup>2</sup> Что случилось, господин Штурм? (нем.)



— Профессору Винсгейму говорил с бранью, что-де календарь сочинит не хуже его...

— Herr Sturm! — решительно обрывает Шумахер.— Вам надлежит подать в полицию объявление. Я скажу переводчикам. Ступайте за мною.— И, ссутулясь, пружинистым, быстрым шагом идет в коридор.

Они сталкиваются с Ломоносовым, который с излишней торопливостью дает им дорогу и, насмешливо улыбаясь, входит в залу. Лицо его вздуто, один глаз заплыл. Он хромает. Академики не отвечают ему на поклон и покидают собрание. Один только Рихман приветливо кивает из своего угла.

— Смеху достойно, примечания и смеху достойно! — говорит Ломоносов, садится за стол против Рихмана и прикрывает ладонью запухшее веко.— Я, впрочем, за честь почитаю быть опорочен неправо... Плакался тут садовник? Я-де его гостей изувечил? Да семеро одного не боятся. И меня не забыли, так что и в грудях лом, и колено пухнет, и кровью плюю.

— С чего это у вас вышло? — спрашивает Рихман и смотрит ясными стальными глазами. Щеки его в рыжей проступи пятен, а под кожей на бугристо-развернутом лбу все катается какой-то тонкий клубок.

— Казнокрады!.. Я всю их беседу слышал. Прейсер с Биттнером от книжного торгу карман набивают, несут деньги Штурму, а тот в рост отдает.

— Берегитесь! Шумахер и профессеры вами весьма недовольны.

— А он, советник, главный у нас вор и есть. Что до господ профессоров, то мне их, право, иной раз жалко станет. Целый год жалованья не получают. Академики! Да ведь пришли в убожество: дров и свеч не имеют на что купить!

— Да, науки в небрежении находятся...— подтвердил Рихман и вдруг оживляется: — Меня вот электрическая сила более всего занимает.

— И меня также. Особенно — не одинакова ль материя молнии с тою, которая от простого трения происходит.

— Я уже намеревался опыты чинить, да стеклянных шаров достать нельзя.

. — А я о флогистоне писать собрался,— ведь это

огненное вещество химик Сталь выдумал, и оно не более как пустая басня...

— А я — о пневматическом насосе и рассуждение о пчелах в печать сдал...

Что-то ребяческое в этом размене, в том, как они перебивают друг друга. Но это прорвалось, это — от редкой минуты покоя, оттого, что не надо грубить, драться за место, — не от хвастовства.

Они сидят за столом, где застыли оползнем пухлые от скандальных записей протоколы, адъюнкт и профессор, повторенные в узких стенных зеркалах.

Высокие дуги окон расчерчены переплетом, как в каземате, и зеленое поле стола нагрето солнцем и расчерчено в клетку на косо сдвинутый ряд.

— Голова моя много зачинает... — говорит Ломоносов. — Диссертацию о металлах пишу... — И закрывает ладонью обведенное тенью место. — Корпускулярную теорию... — И рука его заполняет новый квадрат. — О всеобщем законе думаю, по которому ежели к одному телу что прибавится, то столько ж отыметя от другого... О явлениях воздушных... О причинах тепла и стужи... (Хватит ли клеток?..)

И обводя заплывшим глазом пространство, пробитое световыми столбами:

— Голова моя много зачинает, да руки, Рихман, одни!..

## VI

«Какой приятный Зэфир веет», — писал Ломоносов и ощущал подлинный ветер удачи. Ветер кружил и возвращался, горячил слухами об успехе оды, делал осанку одописца все заносчивей и все более презрительным его лицо.

Он подул для многих, «приятный зэфир», и прежде всего для обитателей корчмы на старом тракте, ведущем в Чернигов из Козельца. Ее содержала казачья вдова Наталья Розумиха. Дети ее — Алексей и Кирилл — были пастухами.

Кирилл еще ходил в чабанах.

Алексей, взятый ко двору певчим, был замечен Елисаветой в бытность ее цесаревной. Начался слу-

чай<sup>1</sup>, и теноровая магия статного казака закрепила несколько тысяч душ крестьян.

Алексей не забыл брата. Кирилла отправили для обучения за границу «под смотрением и водительством» адъютанта Теплова, способного жесткого человека, всегда державшего сторону Шумахера, который отлично его рекомендовал.

Но вот «зэфир» перемещает силы в Академии.

Подан донос. Арестован Шумахер, Нартов назначен советником канцелярии. Наступила трудная для Академии Наука пора.

Не было жалованья. Оно выдавалось «Уложением царя Алексея Михайловича», экземплярами «Грациана, придворного человека», хотя им не пообедаеть, «Грацианом, придворным человеком», да и не так легко эти книги продать.

Нартов растерялся. «Надо всякой науки по одному профессору оставить,— писал он Сенату.— Почетным членам не выдавать пенсий; сократить художественные палаты... Приказать служащим гражданским и военным по всему государству: покупать в Академии книг с каждой сотни дохода на 5—6 рублей...»

Доносители ликовали и этим проваливали дело. С шумом приходили на профессорские собрания, по глупости опечатали невинный архив. Академики не сдавались, требовали от Нартова, чтоб он, обращаясь к ним, подписывался: «Вашего благородия слуга покорный», и просили не забывать, что «канцелярия — хвост, а конференция — глава»!

— Он ничего, кроме токарного художества, не знает,— говорил Крафт, разглядывая себя в зеркале конференц-залы.— Нужно только надеяться, что этот человек недолго будет нами управлять.

— Я позабочусь об этом,— отвечал историограф Мюллер, только что вернувшийся из Сибири, румяный крепыш с налитым затылком и мясистым лицом, испещренным кровавыми жилками.

Его товарищ по путешествию, натуралист Гмелин,

---

<sup>1</sup> Неожиданное возвышение и самое время его продолжительности. Говорили: «Это было в случай Разумовского, Шувалова» и т. д.

беседовал с Рихманом, кашляя и щуря больные, водянистые глаза.

— У меня в экспедиции,— обращался Мюллер к профессорскому собранию,— был студент Крашенинников, и я его всегда под б а т о ж ь е м имел. Несчастье наше оттого, господа, происходит, что вы дали над собой волю людям не знатным ни родом, ни званием. Но, полагаю, все разъяснится, как только истина достигнет двора.

— Однако кунсткамера и книжный торг опечата ны,— заметил Штелин,— и еще неизвестно, чем кончится следствие. Господина Шумахера ожидает суд.

— Комиссия не из подлых<sup>1</sup> особ состоит! — и рот Мюллера дергается, открывая ровные синеватые зубы.— Ее величеству уже донесли, что Нартов не обучен иностранным языкам да и писать и читать не умеет. Наглость доносителей обратится на них самих.

Винсгейм, обложенный ландкартами и грудой конференцских журналов, разводит руками:

— В академических делах полная остановка из-за того, что архив опечатан.

— Благодарите Ломоносова! — вставляет злой, взъерошенный Гейнзиус.

— Ломоносова? — переспрашивает Мюллер.

— Да ведь он же, якобы по указу ее величества, явился сюда с товарищами и, ожидая найти в письмах архивных великие тайности, опечатал их так, что ни лоскута вынуть нельзя.

— Как же вы допустили?

— Не вступать же с ним в драку. Он еще и о разных вещах говорил ругательно: что профессора напрасно себя утруждают и так много дела имеют, что господин Винсгейм мог бы генеральной карте России несколько покою дать...

— И вы все это т а к оставили?

— Ломоносов уже исключен из конференции, но он, кажется, еще не знает об этом...

Нет, он знал, потому что, появившись в эту минуту в дверях, стоит, нагнув голову, как бык, готовый за-

---

<sup>1</sup> На языке господствующего класса в России XVIII столетия «подлый» — низшего сословия, простой.

рыться рогами в землю. Не снимая шляпы, идет он к столу и останавливается перед креслом Вингейма.

— *Mit dem Hut auf dem Kopfe!*<sup>1</sup> — восклицает Крафт. И тут наступает тишина.

Вингейм тяжело поднимается с едва заметным поклоном.

— Не извольте трудиться! — насмешливо говорит адъюнкт.

— Я и без вашего позволения сяду. Мне только нужно сказать господину Ломоносову, что господа профессора не желают его более видеть. А ежели он бесчинствовать не перестанет, то можно будет сыскать способ вывести его вон!

— Вы меня полгода в адъюнкты пускать не хотели, а теперь вон высылаете?! А ежели господин Ломоносов скажет, что советник Шумахер вор, а все вы плуты?!

— Пишите! — шепчет Вингейму Мюллер. — Записывайте все, что он скажет.

— *Ja, ja, schreiben Sie!* — кричит Ломоносов. — *Ich verstehe so viel, wie ein Professor!.. Spitzbuben seid ihr und Hundsfötter!.. Und bin ein Landekind!..*<sup>2</sup>

Вингейм задыхается и падает в кресло, таща покрывающее стол сукно. На пол летят перья, песочница, колокольчик.

— Разбой! Надо позвать караул! — раздаются голоса.

Ломоносов хохочет, звонко ударяет в ладоши и складывает пальцы в большой, крепкий шиш; несет его через всю залу и проходит в Географический департамент.

— Мужик! — бросает ему вслед Штелин. — Ставить кукиши и приходите в шляпе в залу!

— Ну-ну-у! — произносит Гмелин.

А Гейнзиус прибавляет:

— Ни в одном из иностранных государств такого ругательного примера не бывало!

— Герард Фридрих! — обращается к Мюллеру позеленевший Крафт. — Вы хвалились, что имели Краше-

<sup>1</sup> В шляпе! (нем.)

<sup>2</sup> Да, да, записывайте! Я знаю столько же, сколько и профессор!.. Мошенники вы и сукины дети!.. И я природный русский притом!.. (нем.)

нинникова под батожьем. Однако, когда дошло до дела, не изволили сказать и слова.

— Георг Вольфганг! — отчеканивает историограф. — Я полагал, что самое лучшее — не мешать такому человеку говорить. Но теперь мы это запишем... Господин Винсгейм, позвольте мне ваше перо... Сначала мы все перечислим, а затем заключим так: «Высокоучрежденную комиссию всепокорнейше просим одного Ломоносова арестовать и повелеть учинить надлежащую сатисфакцию, без чего Академия более состоять не может...»

Его арестовали лишь после того, как он подал в комиссию «нижайшее доказательство», требуя отставки Шумахера, преобразования канцелярии и учреждения университета с правом производства ученых степеней.

«Позорная немецкая брань» и «доказательство» сделали свое дело. Сыграли также роль особенности стиля: Шумахер на допросах острил: он-де на Россию «скрежетания» не имел и не «закрывал» науки. Дело представилось как простой бунт «подлого звания людей».

Комиссия заседала долго. Наконец определила:

Доносителей — бить кнутом.

Ломоносова — держать под арестом.

Шумахеру — быть у Академии по-прежнему.

Нартову — возвратиться к своим станкам.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ГОТТОРПСКИЙ ГЛОБУС

Несколько лет тому назад в Риме издано спасительное постановление для уничтожения опасного соблазна в наше время. Этим постановлением запрещается мнение пифагорейской школы о вращении земли.

*Галилей*

#### 1

— Собрание уродов составляет презнатную часть нашего кабинета...

Советник Шумахер скользил впереди посетителей

по лощеному полу библиотеки, нарушая своей болтовней умное молчание книг.

Парчовый парад корешков, их стройное великолешие были обманом: книги стояли разделенные лишь по состоянию переплетов и по формату. Свет ниспадал на них через верхние окна над хорами, освещая до мелочей щеголих в хрустящих крахмальных робронах и франтов в тяжелых камзолах и осыпанных мукой париках.

— Любезнейшие зрители! Вы изволили вступить в кунсткамеру... Здесь имеются: выделанная человеческая кожа великана, галерея монстров, или уродов, требующих постоянного налития спиртом, и среди них — две собачки, которые, как значится в росписи, родились от девки шестидесяти лет.

— Ах, уморил! — раздается возглас. — Но человеческая кожа! Это ничуть не славно!

— Пугаться не следует, — мягко возражает Шумахер.

И скользил далее.

— Здесь вы видите окаменелый хлеб, который государь Петр Великий привез, оставив взамен в музее Копенгагена русские лапти... Затем — к чему любоваться на чужестранных птиц, когда Российская империя предлагает нам таких, коих природа красотью не менее украсила? Разве не диво — эта совсем белая ворона и белые воробьи? А взгляните на тех золото-зеленых степных куликов и синих тростяных дятлов... Из того вон угла на вас смотрит собрание мамонтовых костей. Название это происходит от татарского слова «мама» — земля, что побудило народ сибирский выдумать басню о живущем под землею звере мамонте...

— Любезнейшие зрители! — торжественно улыбаясь, объявляет Шумахер. — Сейчас вы увидите самое примечательное. Прошу вас проследовать в новый покой...

Бока огромного шара вздуваются под косым сумрачным сводом. Карта земли масленица, искусно исполненная пером и красками. Откидная железная лесенка придвинута к шару, и распахнута настезь ведущая вовнутрь дверь.

— Вот он, славный готторпский глобус! — говорит советник. — Он выстроен под смотрением Адама Олеария и прежде находился в Готторпском замке. Государь Петр Великий получил его в дар от Голштинского герцога. Чтобы доставить глобус сюда, пришлось прокладывать дороги, вырубать леса, наводить мосты. Он сделан из меди, имеет в поперечнике одиннадцать футов и обращается вокруг оси с помощью водяного механизма. Внутри его имеется стол на двенадцать персон и небо с обозначенными через позолоченные гвозди звездами... Итак, любезнейшие зрители, входите, входите! Я покорнейше прошу извинения, мне неотложно надо спешить на конференцию, но профессор Делиль уже ожидает вас, так сказать, посреди небесного свода. Он приведет машину в действие и все изъяснит...

2

— В чем сила доказательств ваших, господин Ломоносов?

Винсгейм заносит в журнал. Адъюнкт подает диссертацию. Профессорское звание! Оно стоит рядом, его можно достать рукой.

Щурит глаза и дергает плечом Гмелин. Оттопырив ладонью ухо, теснит Рихмана желчный Сигезбек. Переглянулись Мюллер и Гейнзиус. Собрание оцетинилось. Шумахер бросил на стол большие, крепкие руки, вытянул их, как собака лапы, и ждет.

— В рассуждении флогистона, — говорит Ломоносов, — я полагаю: довольно известно, что обожженный свинец уменьшается массою и увеличивается весом, и того никак быть не может, чтобы привес происходил от материи огня.

— Тогда от чего же? — ехидно спрашивают Мюллер и Гейнзиус.

— Окалина не иным чем является, как металлом, вступившим в связь с воздухом.

— В чем сила доказательства вашего?

— Делал я опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах и оными опытами нашел, что мнение



славного Роберта Бойля<sup>1</sup> ложно, ибо без пропуска воздуха вес сожженного свинца остается в одной мере...

— И вы хотите сказать...

— Что флогистон или огненная материя — не более как пустая басня, которую изрядно выдумал химик Сталь.

— В чем сила сомнения вашего? — советник обращается к Гейнзиусу.

— Он высказывает взгляды, противоположные принятым.

— Это неслыханно! — взвизгивает Сигезбек. — Диссертацию нельзя принять в таком виде!

— Пусть переделает заново!

— И о флогистоне все вычеркнет!

Только Рихман молчит. На его бугристом лбу катается тонкий клубок.

Поднимается Гмелин; он дергает плечом, щурится, кашляет.

— Хотя в слышанной мной диссертации и усмотрены крайности, но я собранию объявить намерен, что профессию химии господину адъюнкту совершенно уступаю, понеже он по успехам своим того достоин, а я к тому же в отечество свое ехать хочу.

— Нам придется ждать, — отвечает советник, — пока мысли господина адъюнкта не станут порядочней.

Адъюнкт усмехается:

— Или пока за морем не обнародуют мыслей моих прежде меня?

— Вы думаете, идти против всего ученого света — это похвально?

На высокой горе стоит Ломоносов, ему кажется — он видит отдаленные гребни.

— Это будут в песнях петь! — говорит он заносчиво.

— Nicht so hoch! Академия певчих не производит! — раздражается Шумахер. — Признаете ли вы, что допустили ошибку?

Профессорское звание! Его уже не достать рукой, оно уходит все дальше... Адъюнкт краснеет, колеблется...

---

<sup>1</sup> Бойль — физик, химик и богослов (1627—1691); вскрывал свои реторты перед взвешиванием.

— Производства не будет,— объявляет Шумахер.—  
Собрание закрывается!

Ломоносов склоняет голову и с внезапной легкостью произносит:

— Диссертация будет исправлена. Господа профессора, я признаю, что поступил опрометчиво.

— Вот как?

— Я обещаю впредь не утверждать ничего подобного.

Этого не будут петь в песнях.

Ветер, скверный, пронзительный ветер сносит его с горы.

### 3

— Сия машина есть целый свет, то есть небо и звезды, которые в нем движутся. Мы — наблюдатели движения небесного — находимся как бы в середине света, хотя в действительности этого нет.

Славный готторпский глобус — в действии. Десять человек сидят за столом. Профессор Делиль дает пояснения. Багряное небо со скрипом плывет с востока на запад, текут медные звезды, освещенные из круглой дыры наверху.

— Вот движение всedневное, в двадцать четыре часа происходящее. Перед нами — восхождение звезд, прохождение их через полуденник и захождение. Вот созвездия: блистательный Орион... Персей, устремляющийся к Плеядам... Вон Лев пожирает Рака, а вон Рак ущемляет Близнецов...

Ломоносов выходит из залы профессорского собрания. Лицо его в пятнах, шаг тяжел и отрывист. Взятая для исправления рукопись скомкана и вжата в карман.

Он несется по коридорам, по лестнице. Без цели — из этажа в этаж. Двор. Подъезд соседнего здания... Библиотека... Подъем на обсерваторию... Вбегает в кабинет редкостей, проходит мимо скрюченных, розовеющих в банках уродов.

— Монстры!.. — говорит он злобно и показывает уродам кулак...

Под косым прикрытием свода вздуваются бока огромного шара. Железная дверь приоткрыта. Изнутри

глухо доносится голос. Ломоносов секунду раздумывает, берется за поручни лесенки, входит в глобус и, ни на кого не глядя, садится за стол.

— Система Тихо Браге,— говорит Делиль,— утверждает, что земля находится в центре, а около нее обращаются луна, солнце и другие планеты. Система Коперника — напротив, что все планеты описывают круги около солнца. Таково ж и учение Галилея; земля не есть центр, а сама движется суточным движением. И вы, любезные наблюдатели, движетесь с великою скоростью... Подобно сему... Я пускаю с полною силою этот шар.

Головокружение.

Земля вращается. Для всех. Для щеголих и для франтов и для российского самородка, сидящего с ними рядом, полузакрыв глаза.

Планетарий XVIII века — славный готторпский глобус в действии. Вот закружил он свое небо, пробитое медными звездами. Люди в глобусе прослушают лекцию. Самородка разорвут центробежные силы, и он брызнет осколками, отразив два века зараз.

— Помянутый Галилей был судим за свое учение,— продолжает лектор и раскрывает одетую в свиную кожу книгу.— Под угрозой пытки, уstraшенный великоколепным Карлом Синцерусом, доктором обоих прав<sup>1</sup> и фискал-прокурором священной Инквизиции, он произнес отречение, и я прочитаю его в точности, как оно было записано, не изменяя ничего:

«Я, Галилео Галилей, сын покойного Винченцо Галилея, семидесяти лет от роду, преклоняя колени перед святейшими кардиналами и генерал-инквизиторами, касаясь рукой Евангелия, клянусь, что ныне верю, всегда верил и с помощью божией буду верить всему, чему учит и что повелевает святая апостольская римско-католическая церковь...»

(Ломоносов не слышит... «В чем сила сомнения вашего?» — спрашивает Шумахер, и Гейнзиус отвечает:

<sup>1</sup> То есть церковного и гражданского.

«Он высказывает взгляды, противоположные принятым».)

А Делиль читает:

— «Я был сильно заподозрен в ереси, а именно в том, что защищал, будто солнце находится в центре вселенной и не движется, а земля не есть центр вселенной и движется. Чтобы снять с себя перед вашими светлостями и каждым католическим христианином это тяжкое и справедливо против меня возникшее обвинение, клянусь на будущее время ни устно, ни письменно не излагать и не утверждать ничего такого, что могло бы породить снова подобное же относительно меня подозрение. Если бы случилось (от чего да сохранит меня бог!) изменить какому-либо из этих моих обещаний, то заранее подвергаю себя всем карам, изрекаемым канонами и другими общими и особыми постановлениями... Да поможет мне в этом бог и святое Евангелие, которого касаюсь рукой».

## I

Больше опытов — больше знания, меньше друзей — меньше хлопот.

Меньше друзей, хотя их и так не сыщешь. Один друг — это не много.

Виноградов, все такой же живоглазый и шустрый, стоит на коленях, разбросав свой скудный багаж, оживляя смехом бонновский дом.

— Получай свои дневники, Михайла! Генкелевы лекции, коих ты весьма не жаловал. Держи-ка книги! Вот тебе «Gulliver's Reisen», Фенелон, Гюнтер... Все привез. Ничего не забыл.

Его ручки мелькают, роясь в вещах, находят бумагу. Он протягивает ее Ломоносову с важным видом.

— Отзыв берг-советника Рейзера, видишь? Лучшие из иностранных маркшейдеров мне и в равенство не пришли.

— А Густав где же?

— Приехал. Да услышав, что в Академии неурядицы, не стал определяться. А ему что? У отца в коллегии дело найдет... Ну, а я на мейссенских заводах кое-чему научился. Ныне — бергмейстером и пребываю в ранге капитана-поручика. Только вот беда: драться неловко — вместо шпаги кортик надо носить.

Ломоносов с улыбкой смотрит на худую, острую мордочку, на собранный морщинками лобик.

— Кто я был? — говорит Виноградов. — Суздальский попович. А теперь — сознаёшь, Михайла? — бергмейстер и капитан-поручик!.. А у тебя что? Много ли нажил, чего достиг?

— Профессором сделан.

— Ну-у-у? От души поздравляю!.. А оды пишешь?

— Упражняюсь и в поэзии и в грамматике и наук не покидаю. Да вот, взгляни: вот они, труды мои, планы, книги... Только не без досад мне профессия химии досталась. Господину Мюллеру на том спасибо: полгода под арестом сидел.

— Почему так?

— Было дело... На конференциях, кроме шума, ничего не происходило. На Шумахера донос подали, а я в ту пору профессоров обидел. Комиссия и определила: по пунктам морского устава — Ломоносова бить кнутом и сослать в Сибирь.

— Ловко!

— По высочайшему повелению освободили... «для довольного обучения», — прибавил он с усмешкой и потянулся всем своим крепким, широким телом так, что затрещал стул.

— А Шумахер как же? — спросил Виноградов.

— Выпутался. Прямая лисица! И к тому же за него Лесток писал, сильный при дворе человек иностранный... Послушай, Димитрий! — внезапно переменил он речь. — Ты на возвратном пути через Марбург ехал?

— Нет. А что?

Ломоносов не ответил и перевел взгляд сперва на пыльные, отставшие у печи шпалеры, потом на окно, за которым зеленел поросший травой двор.

— К кому бы это? — произнес он, вставая и следя за приближавшейся к дому фигурой. — Уж не ко мне ли?.. Штелин! Не знаю, для чего он сюда идет.

Он шел сюда, у него как раз было дело до Ломоносова. Уже в коридоре поскрипывали половицы, уже барабанила в дверь его трость.

Профессор аллегорически поклонился. Румянец играл у него во всю щеку. Взгляд выражал буйную радость.

— Подумайте! — обратился он к Виноградову, вертя пальцами трость и развевая епанчу. — Никто и не воображал, что Ломоносов женат. Да, да! — продолжал он, извлекая из кармана письмо. — Наш славный сочинитель, оказывается, мастер не только сочинять стихи. У него есть и жена, о которой он, впрочем, забыл, а она, бедняжка, ищет его по белу свету.

— Кто вам его доставил?

— Это не столь важно. Жена ваша обратилась в Гагу, к посланнику Головкину, в надежде что-нибудь разузнать о вас, тот переслал письмо ко двору, и оно попало в мои руки.

Ломоносов, бурый, со злыми глазами, читал.

— Правда, правда, — забормотал он, — но я никогда не покидал ее и никогда не покину. Только мои обстоятельства мешали мне ей писать и еще менее вызвать ее к себе. Но пусть она придет, когда хочет. Я завтра же пошлю ей письмо и сто рублей денег.

— И превосходно! — Штелин завертел между пальцев трость и, уже стоя на пороге, сказал: — Но ведь никто и не воображал, что Ломоносов женат! И вдруг все узнают! Вот чудесно!..

— Михайла! — тихо позвал Виноградов, когда они остались вдвоем. — Шельма! Так вот зачем тебе Марбург! Да ведь там Елизавета...

— Полно! — оборвал Ломоносов, принимаясь шагать из угла к окну. — Дела мои поспешно идут. Весьма рад, что она придет... А ежели позволят химическую лабораторию открыть, то и вовсе станет легко. Я еще мозаику и стеклянное дело задумал — пронижи и бисер изготовлять. Теорию о свете измыслил. Нисколько голове своей не даю покою. Вот только Шумахер!.. Диссертации мои послал Эйлеру в Берлин. Думает, что охулит их и уничтожительный отзыв прийдет. Ну, да Эйлер человек честный.

— Забавно! Тебя стекло занимает, а меня — фарфор.

— Погоди, Димитрий, я фабрику заведу вскоре.  
Виноградов улыбнулся.

— Слышно, что ты одами укрепился при дворе. Пожалуй, что так... Ну, будешь во времені — меня вспомяни.

И — серьезно (так спрашивают дети):

— Вспомянешь, Михайла?..

## II

Петербургский архиерей Феодосий был на столы великий щеголь. В парадной его горнице, высланной заглушными коврами, сидели гости: архимандриты Владимирский и Воскресенский, синодальный певчий Гусев, приведенные им Ломоносов и Тредьяковский и украинец Кондратович — новый переводчик Академии наук.

Преосвященный покоился в кресле, положив на подлокотники белые тонкие руки. Он был тощ и прям: лицо — с кулачок, с сохлым ртом и редкими седыми бровями. Суровая железная борода его терлась о шелк рясы, задевая выпущенную на грудь панагию. Бойкий служба с маслянистой, подбритой в кружок головкой обносил гостей питьем.

Синодальный певчий отирал пот. Его парил кафтан на заячем меху, надетый, несмотря на летнюю пору, чтобы не спасть с голоса. Голос был такой, будто в дубовую кадь били ослопом, а сам он, как говорили духовные, «медведо подобен и задопокл я п».

— В Архангельском соборе в Москве прошибка учинилась, — гудел певчий, дергая сальной сиво-белой косицей. — Ударил благовест вестовой, понес с Ивана Великого в три колокола прибойных, а епископ Лев стоит — стар стал, не знает, как службу начать. Ну, понемногу завел, да ни ползет из него, ни лезет. А как дошло до поминовенья усопших государынь, и он вместе с блаженныя памяти Анной Ивановной — ныне здравую государыню помянул.

— По старости да от внезапности, — строго сказал архиерей. — А ты уж и рад о владыке злословить?.. Филарет! — обратился он к службе. — Ты что же ученым людям вина не поднес?

— Я им налить не успею, как они уж и выкушать изволят.

— Пустова не говори! — проворчал Ломоносов, ибо к нему более всех относились эти слова.

— А что ученые люди,—заговорил архимандрит Владимирский, рыхлый человек, с лицом как дыня,—честные и славные науки ныне происходят ли?

— Происходят ли? — подхватил и архимандрит Воскресенский, тихий опущенный снежным волосом старичок.

— Я чаю, нет,—сказал архиерей.— Навезли из-за моря худых семян, а и земли, на которой сеять, не приготовлено.

— Простите, ваше преосвященство, но ложно судить изволите,—возразил Ломоносов.— И семена не все худы оказывались, и земля, на которой сеять, есть. Произошли ныне Крашенинников, Тредьяковский, Попов, Котельников и вашего преосвященства слуга покорный. Многие из юношества российского устремились к знанию, и я, низайший, не щадя сил своих, в науках тружусь.

Рыжий, клевавший носом Кондратович потянулся через стол к Ломоносову:

— Трудисься?.. А лексикон мой для чего рассмотреть не хочешь?

— Что ты так торопишься в своем лексиконе? Мне его два года надобно смотреть и исправлять.

Переводчик сел. Обида созревала в нем медленно. Он опять низко опустил голову, уронив на крутой потный лоб яркий разогретый чуб.

Тут заговорил Тредьяковский, обращаясь к архиерею и посапывая вдавленным, нащлепистым носом:

— Подлинно так и есть, что труды господина Ломоносова превелики, славны и весьма разнородны. Только иногда изобретается в них сумнительство. Для примеру,— в его новооткрытом законе,— ежели к одному телу что прибавится, то столько же отыметя от другого. А в Писании сказано: кто душу свою потеряет, тот ее сбережет.

Преосвященный просверлил Ломоносова глазками, перевел на Тредьяковского взгляд и ответил:

— Тонко, тонко! Не разумею. Я ученых людей везде



не люблю насмерть. У меня от них теснота делается в голове.

— Ваше преосвященство! — сказал Ломоносов.— Это он на меня из зависти, что его через Синод произвели, а не через профессорское собрание.

У Тредьяковского под глазом налилась бородавка.

— Мне ли, мне ли завидовать вам, государь мой? И по какой причине? Уж не по той ли, что в надутых одах своих мой употребляете размер?

— Размеры не сочинителями выдуманы бывают. Их из природных свойств языка высмотреть можно.

— Однако счастье высмотреть размер тонический все же не вам досталось, а мне.

— Да они презабавны! — воскликнул рыхлый архимандрит.

— Забавны! — повторил старичок, опущенный снежным волосом.

А преосвященный откликнулся:

— Я их для того и позвал.

Разделив спорщиков, между ними встал Кондратович. Он заговорил, мешая украинскую речь с русской, покачиваясь и прижимая к груди громадный, в рыжем пуху, кулак:

— Ось я тобі з́араз кажу. Сочинів я лексікон російський. Для чего его рассмотреть не хочешь? Треба міні место прохвессора до собирання лексиконів...

— Пропись! — усмехаясь, сказал Ломоносов.— Такой-то и кафедры в Академии нет.

При этом он слегка задел локтем рыхлого архимандрита.

— Чай, не в лесу! — заметил тот.— Или уж и не видишь, кто перед тобою?

— Затем и вижу,— обозлился Ломоносов,— что ваше преподобие. А в лесу и медведь — архимандрит.

— Що ж це! — заскулил переводчик.— Такие дерзости! В архиерейском доме!.. Мне проспаться велит, а просыпаются одни лишь пьяные, я же пьяного питія не употребляю уже шесть лет.

— Дурак! — теснил его Ломоносов.

Архиерей о чем-то шептался со служкой. Певчий затынул: «Оглашенные, изыдите!» Оба архимандрита

гряслись от смеха, и на них прыгали их черные клобуки.

И вдруг огненное колесо с шипением и треском рассыпало искры по горнице. Это архиерей зажег фонтан и бросил в гостей.

— Ах, нескучный человек! — вытирая слезы, пролепетал архимандрит Воскресенский. — Волос мне опалил. — Фонтан угодил ему в самую бороду.

— Ступайте! — смеясь, сказал архиерей. — Ступайте все вон и не приходите скоро. Бог да простит вас и подобных вам дураков!..

«FLORA SIBIRICA»,  
ИЛИ ГРЕНАДЕР БАШКИРСКОГО НАРОДА

Птицы, особливо горячего сложения, часто бывают чахоточны.

[Г. Теплов] «Птичий двор»

1

Иоганн Георг Гмелин, академик по кафедре химии и натуральной истории, надорвал в Сибири свое здоровье. Он вывез оттуда обиду, гербарий и пять томов описания флоры. Граница европейских растений была отодвинута им до Енисея, и впервые обнаружилось сходство азиатских и американских пород.

Линней писал, что Гмелином открыто растений больше, чем всеми ботаниками вместе. Что ему пришлось испытать больше, чем всем ботаникам вместе, об этом Линней не писал.

У Иоганна Георга Гмелина было чувствительное сердце. Назначенный в Камчатскую экспедицию, тоскуя по родине, он провел десять лет в Сибири, отравленный горестным впечатленьем от этого края и запахом никому дотоле не ведомых трав.

Кривая кочевья шла через Красноярск, Туруханск, Якутию. Возвращаться не позволяли. Он жаловался: «Ежели мне до конца сей экспедиции приказано дожидаться будет, то я дальнейшую бытность в Сибири при-

знаю за совершенную ссылку и никакого в том различия не нахожу».

По приезде он подал прошение об увольнении. Ответа не последовало. Между тем Шумахер отказался дать переписчиков для материалов первого тома. Гмелин с грустью заметил, что его бедная «Флога» должна завянуть, и попросил представить об его «абшиде» в Сенат.

---

Анекдот:

— Здорово, служивый! — крикнул попугай.

— Извините, ваше благородие, я думал, что вы — птица.

---

Федот Ламбус всю командовал гренадером-башкирцем, посылал его вместо себя на Почтовый двор, в полицию, на рынок, сулил за то отыскать пропавшую Ентлавлет.

Ламбуса перевели в академические сторожа. У него стало много работы, и башкирец был как нельзя кстати. Мадым уже потерял надежду, но отказать в услугах не имел силы. Попугай орал, приказывал вставать при его появлении и отдавать честь. Служивый вскакивал, повиновался безропотно, проникался уважением и страхом.

---

Однажды, придя в Академию, Гмелин заметил в коридоре странное зрелище: сторож Ламбус с важным видом приказывал что-то громадному гренадеру, стоявшему перед ним навытяжку. Увидев профессора, сторож шмыгнул под лестницу. Гренадер сделал через плечо поворот и встретился с Гmeliном лицом к лицу.

Секунду они стоят молча, обрюзглый натуралист со вздернутым восковым носом и бесцветными, навывкате глазами и гренадер в яркой высокой шапке, с лицом в мелких зеленоватых точках и скулами твердыми, как кремль.

Роднящая большая печаль — во взгляде под синими, тонко ссученными бровями, — и Гмелин тянется к этому человеку.

- Ты кто?
- Гренадер Невского гарнизонного полку.
- А здесь по какой причине?
- Ентлавлет в башкирском возмущении пропала.

Жену ищу.

Чувствительное сердце готово приблизиться вплотную.

— Зачем сюда ходишь? Объясни толком.

— Ламбус приказал: ходи почаству, хорошенько служи мне, я тебе жену найду... Все нет Ентлавлет.

— Так она башкирка?

— Под Самарой в плен взята. И я в плен взят, в гренадеры.

— Что ж, скучно тебе?

— Очень.

Тут они оба потянулись друг к другу — немец-профессор и башкирец Мадым Бетков.

— И мне скучно,— дергая плечом, сказал Гмелин.— На родину ехать не позволяют... А я ведь в твоём краю был,— прибавил он, улыбаясь,— объехал башкирские пределы.

— Мы — народ бедный,— произнес Мадым.

— Люди в Сибири ещё беднее...

Они стояли под лестницей. Из дверей понесло ледяным ветром. Гмелин закашлялся, схватился за грудь и проговорил:

— Вот что! Ты Ламбусу не верь. Он — плут, обманул тебя и ничего не может.

— Тогда побую его,— ответил башкирец и зашагал прочь.

Гмелин стал подниматься и скоро исчез на втором лестничном марше. Гренадер, держа под мышкой пакет, вышел на набережную. В Двенадцатой линии он отыскал дом, выкрашенный в зеленую краску, и постучался. Ему отворила дверь жена его, Ентлавлет.

## 2

Господин Тредьяковский успешно подвигался в своём переводе. «История» Rollen'a возвышалась на столе горкою томиков, тесня пузатую чернильницу, рукопись

и сверстанные свежие корректуры, или — как назвал их Василий Кириллович — «кавычные листы».

Академический переводчик был недавно удостоен «в профессоры». Незадолго перед тем он женился. Ему досталась кафедра элоквенции и в придачу к жене — крепостная девка Наталья, имевшая добрую память на песни, которые она распевала грубым, смешным голоском.

Для элоквенции это был клад. «Французской версификации, — говаривал Тредьяковский, — я должен мешком, а нашей природной, простых людей поэзии — всеми тысячью рублями». Он часто приходил на кухню и приказывал Наталье петь русские песни, но едва удалялся — оттуда начинал доноситься заунывный чуждый напев...

«Разговоры» Плацена, Тацит, Плутарх, Дионисий Галикарнасский прочно сидели в своих гнездах на полках простого мореного шкафа. Светелка с чисто вымытым полом и муравленой печью проплывала над улицей, полная света, как кораблик, налитый водой.

Тредьяковский предавался раскаянию.

Он ожидал корректур и на досуге думал о своей многотрудной поэзии. Потертый, темно-песочного цвета кафтан был застегнут во все брюхо медными пуговицами. Губы — вжаты вовнутрь. Круглое, как маятник, лицо цвело бородавкой. Рука его отдыхала, расставив заботливо ударения, связав слова единитными палочками и проверив кустодию — непременно подстраничный перенос.

Он предавался раскаянию.

— Знаю, знаю, — размышлял он вслух, — язык мой жесток ушам, очень темен, и многие его не разумеют. А ведь прежде я им не только писывал, но и разговаривал, и вот прошу за то прощения у всех, про которых я своим глупословием щеголял... Дивный дар крепостной девки раскрыл мне силу нового стихосложения. Вижу, вижу, оно должно быть основано на ударении, или т о н е. Поэзия нашего простого народа к сему меня довела...

Вот он, сочинитель псалмы, стихов к дурацким свадьбам, получатель всемилостивейших оплеушин, обязанный вычищать российский язык.

Всю его муть, настоящую на веках рабской угодливости и уродства, всю убогую грузную нарочитость впитал он в себя, как губка. Ему ли было не затосковать по чистоте, по мерному раздолью слова? Хоть раз в жизни пролиться бы словом, как дождь!

Он берет лоскуток бумаги, пишет, не черня строки (ведь такое бывает раз в жизни):

Вонми, о, небо, я реку.  
Земля да слышит уст глаголы.

Не то еще... Но вот:

Как дождь, я словом потеку,  
И снидут, как роса к цветку,  
Мои вещания на долы...

Наконец-то!

Он вычистил российский язык. Пусть ценой «Телемахида» (в будущем), псалмы, виршей, за которые бит и осмеян! Пусть хоть на миг, но дождь прошумел. Язык чист.

В легком счастливом жару он поднялся, покричал за дверь и спросил себе квасу. Вошла Наталья, подала жбан и, поклонившись, стала у притолоки, рослая, смуглая. Глаза ее, блестящие, черные, были как угли. Широкие ее скулы темнило дрожащее теневое кружево. Сильные руки сложила она на груди.

— Пакета из Академии не приносили? — спросил Тредьяковский.

— Не приносили, — ответила она грубым смешным голоском.

— Для чего ты так невесела? Или тебе у меня надоело?

Она промолчала.

— Как то случилось, что тебя в плен взяли?..

— Ночь была... — заговорила она. — Звезды были... На всю степь светили костры... Мир так мир. Генералы сказали: «Присягайте на Коране!» Стали угощать мясом... Все поверили... Я плясала и пела: «Мои зубы, твои зубы встретились — ты растаял, как белое серебро...»

— Памятно тебе это?

— Как день вчерашний... Я русские песни люблю, в песнях нет обману. А это дело — совсем-совсем плохое! Гостя нельзя обижать. У нас об этом вот как поют...

Она присела на черный, окованный медью сундук у стены и забормотала, скрестив на груди руки и покачиваясь.

ПЕСНЯ ЕНТЛАВЛЕТ  
О ГОСТЕПРИИМСТВЕ ДЕРЕВЬЕВ

— Ветер, ветер, очень сильный ветер. Один человек остановился в лесу.

Под толстым деревом хорошо спится. Пришло к толстому дереву тонкое дерево и говорит:

«Лекарь-отец, за тобою пришел. Меня послал наш высокий и белый старший брат. Он сильно качается».

Толстое дерево так отвечает: «Не могу прийти. У меня спит гость».

Ветер, ветер, очень сильный ветер. Опять пришло тонкое дерево и говорит:

«Просит скорее прийти. Он уже нагнулся». Лекарь-отец так отвечает: «Не могу. Как гостя одного оставлю? Да ведь он спит».

Тонкое дерево опять вернулось: «Он уже падает. Стоять не может».

Толстое дерево так отвечает: «Ветер, ветер, очень сильный ветер. Если и падает,— как гостя оставлю одного?..»

— Наутро человек, спавший в лесу, увидел высокое белое дерево, которое свалилось от ветра... Так у нас поют,— закончила она и насторожилась.

С улицы кто-то сильно стучал в дверь.

— Верно, из Академии,— сказал Тредьяковский.— Поди отвори, Наталья.

Она вышла, спустилась по лесенке, отодвинула засов.

В яркой высокой шапке, с лицом в мелких зеленоватых точках, весь залитый осенним солнцем, стоял перед ней гренадер.

— Ентлавет! — торжествующе произнес он и шагнул в сени.

Она подняла руки ладонями вверх и закричала всей грудью:

— Коб-жасá (Живи долго), Мадым!..

### 3

— Итак, моя бедная «Floga» должна завянуть? — говорил Гмелин, с грустью поглядывая на советника. — В абсиде мне отказано, а между тем ради приключаящихся мне болезней вынужден я переменить воздух и ехать в свое отечество.

— Вы как бессовестный человек поступили, — отвечал Шумахер, отводя глаза в сторону. — Это было излишне — подавать жалобу в Сенат.

— Мне известно, что иностранные ученые о некоторых сибирских травах публично объявили. Смотрите, чтоб еще больше не сделалось. Россия чести публикации может лишиться.

— Не извольте тревожиться. Вас, кажется, больше заботит награда за понесенные труды.

— Они того стóят, господин советник. Мною изучено понижение Каспийского моря и изотермических линий к востоку. Открыта вечная мерзлота почвы в Якутии и на Аргуни. Наконец, мое описание трав...

— Что до вашего описания — благоволите прежде прочитать его на конференции.

— Собrania не каждый день бывают. Мне придется читать шесть месяцев!..

Гмелин в отчаянии умолкает.

В кабинете серо и тускло. Сосет трубку мертвоухий советник на фоне серых обоев и чехлов на креслах. Серый, мертвенный блеск стекает с оловянных чернильниц на столе.

— Ваше благородие! — раздается почтительный голос. На пороге с бумагой в руке появляется переписчик. — Военной коллегии потребны от канцелярии сведения.

— В чем именно?

Шумахер встает, принимая бумагу.

— Действительно ли находится у профессора



Тредьяковского башкирская девка и по каким актам он ею владеет.

— Пошлите копию профессору Тредьяковскому, обязав скорейшею подачей известия...

— Господин советник,— перебивает Гмелин, моргая бесцветными глазками,— прошу вас еще раз представить о моем увольнении. Я вынужден переменить воздух. Академия мне гибельна.

— Но ваш абшид гибелен для Академии,— насмешливо говорит Шумахер и поворачивается к натуралисту спиной.

#### 4

«По силе сообщенной мне копии должен я в канцелярию Академии наук подать письменное известие, которое и подаю в следующей силе.

Невского гарнизонного полку гренадер башкирец Мадым Бетков бьет челом или доносит ложно, что якобы у меня имеется в услужении жена его Ентлавлет для того, что я имею у себя с 1742 года женку башкирского народа, которая дана в услуги жене моей тестем моим Филиппом Ивановичем сыном Сибилевым и которая по-башкирски называлась Белыки, а не Ентлавлет, как гренадер-башкирец ее называет, а ныне во святом крещении именуется она Наталья Андреева дочь, потому что восприемником ее был в Самаре канцелярист Андрей Яковлев сын Яковлев».

Тредьяковский расхаживал по своему «кораблику», заложив руки за спину. За ним наблюдал плотный, в васильковом мундире человек с желтыми, отвисшими щеками — петербургский обер-комендант Игнатъев, приехавший уговаривать Василья Кирилловича отдать гренадеру жену.

— Помянутая женка,— говорил Тредьяковский,— действительно взята военными людьми в то время, когда близ Самары бунтовали воры-башкирцы. А в Са-

маре отдана тестю моему, бывшему протоколисту Оренбургской экспедиции, как и многие прочие ребята и девки, розданные по указу в наказание бунтовщикам.

— Однако гренадер — человек вольный, — бубнил Игнатъев. — Говорит — дело-де его солдатское, не имеет у себя жены, а без того быть не может.

— Я давал им позволение видеться, как землякам, а женою он стал ее называть через долгое время, надумавшись. Да он и имени ее башкирского не знает!

— Через свидетелей доказано, что она подлинно его жена.

— Господин обер-комендант! — Тредьяковский опустился на стул, снял парик и, вытирая лысеющий лоб, заговорил умоляющим тоном: — А хотя бы она и впрямь была в Башкирии того гренадера женой! Нет у нас таких императорских указов, чтобы христианку отдавать за нехрестя. Препрежнее башкирское сожитие, ежели таковое у них и было, оно незаконное и не может браком назваться, но совершенным скотством!..

Он заводил глаза, округляя бубликом рот, и лукавил-лукавил, доказуя истину:

— У них ведь можно иметь по три, по четыре и по семь жен. И ежели бы сей гренадер башкирского народа захотел вклепаться<sup>1</sup> здесь во всех семь башкирок, то надлежало бы ему требовать у своих господ всех семи...

— Военная коллегия определила, — оборвал Игнатъев, — отобрать женку без всяких отговорок... Объявляли вы, что она у вас более не находится, а ее сам же нынче видел. Притом же и гренадер в таком азарте пребывает, что ума может лишиться.

— С опоя, должно быть?

— Нет, для чего же? С горя. Без крайности люди до крайности редко доходят.

И обер-комендант встал.

— Пусть по-вашему будет, — со вздохом сказал Тредьяковский, — я девку отдам башкирцу, ежели он обещается воспринять святое крещение. Хотя... — Тут

---

<sup>1</sup> Вклепаться в кого, во что — принимать чужое лицо за знакомое, привязываться к чужой вещи, называя ее своей.

Василий Кириллович не удержался и хитро покрутил головою.— Сие ведь если он и сделает, то лишь для того, чтобы жену себе достать, а не для спасения души...

Иоганн Георг Гмелин был отпущен на год в свое отечество.

Гренадер башкирского народа крестился и получил свою Ентлавлет.

Вскоре после того Тредьяковскому случилось быть в канцелярии.

— Что вы скажете? — встретил его профессор Винсгейм.— Господин Гмелин не намерен более возвращаться в Россию. Он напечатал за границей свое «Путешествие по Сибири» и опубликовал в нем много предосудительного.

— А его контракт?

— Он объявил, что вынужден был согласиться на это, иначе его бы силой удержали в Академии.

— Без крайности люди до крайности редко доходят,— рассеянно сказал Тредьяковский.— Однако господин Гмелин непорядочно поступил.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### I

С гневом и яростью читал Ломоносов строки, обидные для России:

— «Бедственно, трудно и отвращения достойно было, что послам, присланным к великому князю московскому от татарских царей, и не токмо послам, но и весьма подлым посланным для взятия небольшой дани, сам великий князь московский выходил пеш навстречу, когда они на лошадях сидели, подавал им с унижением стакан кобыльего молока и лизал с гривы капли, которые на нее падали...»

— Сие есть выписка из польской хроники Иоанна Длугосса,— громил соперника Ломоносов.— Я ее для того привел, чтобы злонамеренность господина Миллера явною сделать, ибо он и прежде подобное в свои статьи втирать стремился, так и в сем сочиненьце,

которое его высокографское сиятельство повелел рассмотреть...

Высокографское сиятельство — недавний пастух Кирилла Григорьевич Разумовский. Три года назад его сделали президентом. В Академии, впервые «по возрождении», предстояло торжественное публичное заседание. Готовились речи. Диссертация Миллера о происхождении и имени российского народа была возвращена «для усмотренного в ней сумнительства». Историческое собрание должно было ее обсудить.

А «сумнительство» действительно было.

В нагретом солнцем прямоугольнике залы было просторно, ряд кресел пустовал за столом, но Ломоносов устраивал тесноту.

— На зыблющихся основаниях поставлена вся его диссертация,— говорил он, разрубая ладонью воздух.

Шитье его камзола потрескивало, кружевная манжета была надорвана и тянулась. Миллер сидел с налитой шеей и пунцовыми по всему лицу жилками. Хранили молчание Крашенинников, Тредьяковский, профессор Фишер и новый академик Никита Попов.

— Приступ и заключение погрешностей против русского языка наполнены. Домыслы его темной ночи подобны. О святом летописце Несторе пишет весьма дерзостно: «ошибся Нестор»... Правда, господин Миллер говорит: «прадеды ваши от славных дел назывались славянами», но во всей диссертации противное показать старается, ибо на всякой почти странице русских благополучно бьют!..

Седой трясущийся Фишер пробует защитить историкографа:

— Все же познания господина Миллера весьма значительны. Это еще из «Сибирской истории» видно было.

— А сколько усмотрено в ней противного регламенту академическому — лжебасней, чудес и церковных вещей?

— В течение десяти лет,— сдержанно произносит багровый Миллер,— обозревал я Сибирь и всюду списывал примечательные акты, но господин советник решил, что норовлю, как бы книга вышла потолще.

— Сего касаться не станем,— уклоняется обвини-

тель.— Быть может, господа Попов и Крашенинников желают свои мнения объявить?

Сму́глый, с иконописным лицом Крашенинников говорит мягким, степенным голосом:

— Удивления достойно, с какою неосторожностью господин Миллер употребил выражение, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно Россию покорили.

Толстенький Попов подпрыгивает в кресле и кричит по-латыни:

— Tu, clarissime autor, nostram gentem infamia afficias!<sup>1</sup>

Здоровяку Миллеру не хватает воздуха. Он мучительно стонет и хватается за грудь.

Тогда, косясь на Ломоносова, к историографу склоняется Тредьяковский.

— Федор Иванович! — говорит он тихо (так русские переделали Герарда Фридриха). — Полно! Успокойтесь! Он сам не знает ни аза. Я тотчас ему это в глаза скажу... Мне кажется, — обращается он к собранию, — что все затруднение сам себе сочинитель сделал: столь спорную он выбрал матерю. А судья попался — самоназвавшийся историк, которому само имя господина Миллера не по нутру... С другой стороны, политическая опасность требует не оскорблять читателей, а особенно российских...

Все молчали. Ломоносов листал «Ведомости». Расстроганный Миллер, ни от кого не таясь, вытирал глаза.

— Каково же будет определение? — спросил Фишер.

— Диссертацию смягчить да выправить, — предложил Крашенинников.

Попов не согласен:

— Такое-то и выправлять не для чего!

Но Ломоносов уступает:

— Надобно диссертацию, напечатанную и белую рукописную, сдать в архив, дабы автор со временем мог ее исправить, а покуда не выпускать ни одного экземпляра в свет...

Миллер более не выдерживает. Он вскакивает, хва-

---

<sup>1</sup> Ты, славнейший автор нашему народу бесчестье наносишь! (лат.)

тает палку, лежащую подле него на кресле, и с размаху бьет по столу конференцскому.

— Вы!..— кричит он.— Вам должно было родиться давно, когда древние российские добродетели были в употреблении, когда русские цари в день свадьбы клеили волосы медом, а на другой день парились в бане вместе с царицей, когда все науки заключались в одних святцах, когда женились, не выдав невесты в глаза!

Отодвигаются кресла. Скользят ноги по лощеным торцам. Собрание «закрывается». Ломоносов, закусив губу и опустив голову, выходит из залы. По коридору навстречу ему— советник Теплов.

Это еще совсем юный человек, курчавый, с темным выпуклым лбом и живыми, как ртуть, глазами.

— Ба! — восклицает Ломоносов.— Когда ваше благородие приехать успели?

— На день лишь, на день... Поспешаю... Ну как у вас ассамблея публичная? Будет ли в срок?

— Все изрядно.

— А у меня для вас цидулка есть. Письмо от Эйлера, из Берлина. Весьма вас восхваляет, в науках-де вы так всех превзошли, что надо бы вам родиться лет через двести...

— Значит, Эйлер мой закон одобрил и диссертацию похвалил!— торжествуя, почти кричит Ломоносов.— Значит, все-таки вертится!.. Если к одному телу что прибавится, то столько же отыметя от другого!..— И вдруг подозрительно настораживается:— А вы потешаться, государь мой, не извольте!.. Вы небось при дверях стояли?!

И косым шагом удаляется от Теплова, смолкшего в недоумении, остановив глаза.

## II

Он поднялся из среды украинских городов, когда Петр после измены Мазепы указал быть в нем резиденции гетманов. Гетманы сощли, как снег. Их клейноды при Анне взяли в Сенат — бунчук с конским хвостом и резную семигранную булаву. Но городку, славному тютюном, гусями и салом, повезло: в нем скоро появился новый гетман — Разумовский.

Ему двадцать два года — он президент Академии наук; двадцать шесть — он заводит островок роскоши среди моря нищеты и подписывает универсалы.

Его глуховский двор — сколок с петербургского. Здесь — парк, пруды, французская комедия и французские повара. Бобровники и пташники добывают зверя и дичь. Команда в зеленых гусарских мундирах стережет знамя — «надворную корогву».

Его избрала войсковая старшина, полковники, сотники, попы. Рядовых казаков при этом не было. На Украине, бедной населением, землевладельцы издавна стремились их закрепощать. От нового гетмана они иного не ожидали.

Но льготы явились. Этого нельзя было избежать в стране, истощенной поборами, засухой и саранчой. Были уничтожены почты, заведенные во время турецкой войны. Снята недоимка. Великороссам запрещено «холопить за себя малороссов», проезжим — забирать даром дрова и провиант...

Глухов — по холмам и увалам. Над Усманью — укрепление с четырьмя воротами (брамами). К нему тянутся предместья: Веригино, Усовка, Красная Горка. Под кубовым небом — затейливые панские хоромы. Пыльную зелень садов прорезает мазанковая слепящая белизна.

На Веригине — гетманский дом. Здесь канцелярия, генеральный суд и курень, где живут чиновники. Тут же и пансион для детей обоего пола, известный всему югу России, — заведение мадам Лаянс.

У ворот парка сидит босой кряжистый дед. Он «на одно око сліп». Согнувшись, ковыряет щепкой в гладкой, кофейного цвета пятке.

К воротам подлетает шестерка вороных в звонкой упряжи, в посеребренных шорах. Гетман в малиновых шароварах и вышитой сорочке выходит из коляски. У него добродушное, будто из глины вылепленное лицо, толстые — кувшинчиком — губы. Он вынимает изо рта люльку и плюет через губу.

Кривой дед вскакивает, стаскивает с головы соломенный круг и стоит, не убирая упавшие на глаза смоляные со снегом пряди.

— Як собі поживаєшь? — спрашивает гетман.

— Та зо всячиною,— опасно скрипит дед.— Как там кажуть: часом з квасом, порою з водою... Гадюки такі настали, що и скотину позакусювали, да и дощу нема та й нема. Не дае бог дощу.

— А синкі твої дэ? Чого вони паньщини не відбувають?

— Та хіба ж я знаю? У степ утіклі... Вони трошки собі паньской натури.

Разумовский засмеялся.

— Добри хлопці! Батька хорош, да matka свобода ще краше. На их місті и я бы утік.

Тут он взял старика за чуб и поскуб легонько.

— А піймаю хлопців — покоштую плетей та підуть у Сібір. Бо і я трошки собі паньской натури...

В дверях шпалерами выстроились гайдуки в польских кафтанах со связанными на спине откидными рукавами. Он оставил кривого деда и прошел в дом.

У Кириллы Григорьевича часто бывало на водке глуховское панство... Гуляли и куликали<sup>1</sup> допоздна под гром дворовых пушек. Но сегодня «куликать» не собирались. Стол был накрыт в личном покое гетмана малый— всего на пять персон.

У раскрытого окна в парк — щеголеватый придворный поп, русский казачий атаман с приглаженными чепурными усами и хилый, известный своим сутяжничеством чиновник генерального суда. Подле Разумовского — Теплов, его ментор и управитель.

Вносили кабачки с карамели; в них вспыхивали сливянки, яблоньки, терновки. Подавали соленых перепелок, кашу, борщ гетмана Апостола и борщ Скоропадского (гетманы оставляли украинцам одни борщи).

— Ваше сиятельство!— говорил, указывая на чиновника, чепурный атаман.— Его шинкарь на базарі щукой бів; як, він з серця не лопнув — не згадаю.

— О це так! — сказал Разумовский.— Кажі нам, як то було.

— А чого тут казати? — проворчал чиновник.— Тор-

---

<sup>1</sup> Куликатъ — пьянствовать, упиваться.



говав шинкаръ Лейба рибу, а я її перекупив. Он мене і ударів. Це уся і сказка.

— В суде надо на него искать,— подмигивая атаману, заметил поп.— Ведь ты небось при орденах был?

Чиновник погрозил пальцем и закачал головой.

— Я, коли на базар іду, ордена ховаю.

— Торговаться способней? — спросил Теплов.— Только ведь: «Расстѣгнут — прав, застѣгнут — виноват». Неужто не знаешь?

— А расстегнуться хіба довго? Ні-і-і... Про це ж діло я добре розумію. Генрих Четвертый был не токмо біт, но и вбіт, и Семирамида также. Мені шинкаръ щукою ударів по лицу. А нет у нас законі, ни у «Правди» Ярослава о побоях рыбьим хвостом. Я на цього Лейбу искать не стану.

Все засмеялись. Кирилла Григорьевич уже изрядно подпил. Не отстали и гости. Только Теплов больше пригубливал, делая вид, что пьет, смотря на своего патрона трезвыми дерзкими глазами.

— Треба міні ще у Кііві покулікати,— потягиваясь, сказал Разумовский.— Ось дэ дуже гарно... Григорій Николаіч! — обратился он вдруг к Теплову с озабоченным лицом.— А что тебе из Академіі пишуть?

— Просто и не знаю, как быть,— отвечал Теплов.— Такая свара затеялась из-за сочинения господина Миллера! Ломоносов «Слово» его преосновательно оспорил, и видать по всему, что оно не без греха.

— Поступай, как знаешь.

— Еще я вашему сиятельству хотел сказать, что Ломоносов в канцелярии укрепиться хочет. Я бы не советовал его допускать. Нрав его весьма крут.

— Изволь, друг мой. Не допускай.

— Полагаю, написать надо ее величеству, что корпус академический обстоит благополучно. Господам профессорам приказать, чтоб ссоры свои прекратили. Господину же Миллеру — «Слова» не произносить.

— Що за голова, що за розум!.. Я тебе во всем вверился, друг мой, и ничуть не жалею.

И гетман встал. Он был уже совсем пьян.

Подойдя к шкафу розового дерева, он вынул из него пастушескую свирель и простонародный кобеняк.

— Хочу вспомнить,— сказал он,— то время, когда был пастухом и пас волов.

Надел кобеняк и заиграл, вода по деревянной дудке мокрыми от вина губами.

Гости смотрели с умилением. Свирель текла тихим ручейком. Он надувался, играл быстрее и, притопывая, кружился по зале.

— Що?— покрикивал он.— Акадэмікі!.. Усё споритися треба?.. Ось я вам!.. Цоб, цобе, мой круторозі!.. Эй, Григорій! Кажі, сладко ли віно?

— Сладко, ваше сиятельство.

— Ты кажи, добре ли сладко?

Теплов прижимал стекло к зубам, тянул медленно, с присосом.

— Сладко, сладко так, что и губ не разведешь!..

### III

«Версты в России разной величины, смотря по расположению землемеров к почтосодержателям».

Академик Бернулли, написавший это, был неправ. Версты при Петре составляли тысячу сажень. В 1744 году их укоротили до пятисот. Просто не успели переметить тракты.

Ломоносов, подъезжая к Москве, ругал не почту и не землемеров, но академическую канцелярию. Ему не дали ни паспорта, ни прогонных. Пришлось все добывать окольным путем.

А ему была нужда ехать. Уже перековывала из Марбурга жена. Не хватало на жизнь, на химическую лабораторию, где он успел уже открыть мозаичную массу. Пора было заводить фабрику, возвышаться, доставать чины, иметь денег побольше. Всеми своими трудами, одами, которым счет потерял,— разве он не заслужил?..

Москва была все такой же. Громадной усадьбой с проплешинами пепелищ. В глубине за плетнями стояли купеческие дома, окруженные вековыми деревьями; лежали под грязным, тронутым снегом огороды, пасеки и луга. Так же, как и пятнадцать лет назад, блестели большие медные кресты на воротах под двускатными кровлями, толпился народ у кабака «Под пушкой», пощелкивал каленый орешек, и несло водкой. У Курятно-

го моста фабричная молодежь билась на кулачках. Дозорный орал с ближней каланчи.

Как и прежде, у Иверских ворот я ма. Избитый арестант высовывался из-за решетки и просил караульно-го: «Отпусти меня!» — «А как тебя отпустить? — отвечал солдат. — Может, тебе еще голову рубить надо»... Вот и Академия, что за Иконным рядом. Та же над входом «картина» — жестяная вывеска с намалеванной горящей свечой.

В Китай-городе — сизый чад от выносных очагов. Стояли у жаровен дьячки, извозчики, торговцы. Пахло скобяным товаром, луком, салом, и над всем этим — молодо, остро — весной.

Ломоносов остановился в синодальном доме, где певчие сдавали приезжим квартиры. Надо было отоспаться. Вечером — во дворец.

Москва была все такой же. Громадной усадьбой с проплешинами пепелиц. Пепелица — свежими памятниками недавних бунтов.

Три года назад здесь орудовал вор и доноситель сыского приказа Ванька Каин, сподвижник волжского атамана Михайлы Зари. Он выдавал беглых и укрывал грабителей; вся московская полиция была у него на откуп. «Вольные гуляющие люди» бежали в Москву на огонек, и вскоре, яростно вздутый ими, он прынул не одним пожаром.

Перепись 1742 года захлестнула всех. Служилый должен был записаться в службу за государством, податной — за всяким, кто захочет за него платить. Вольные были обязаны найти себе господина, но закон отдал право закрепощать — одним дворянам. Крестьянам как милости пришлось вымалывать, чтобы кто-нибудь из дворян взял их в вечное рабство. Они бежали в степь, «для вольных работ» на фабрики — попадали в пушью неволю, бежали вновь и жгли города.

В такое-то время императрица Елисавета вздумала переехать со всем двором в Москву и двинулась, по обету, пешком в Троице-Сергиеву лавру.

Пройдя две-три версты, она садилась в карету, так как заболела коликами, ехала, потом возвращалась и снова шла «для вменения взачет тех верст, которых прежде пеша идти не изволила». Таким странным маршем — шаг вперед, два назад — она достигла села Братовщины, откуда пришлось, невзирая на коллики, мчаться в город галопом, оставив часть свиты в раскинутых на лугу шатрах.

На московской фабрике Болотина произошли беспорядки. Более 800 человек «сопли и суконное дело оставили».

Пылали дома.

На Суконном дворе в Кадашах военная команда наводила порядок.

Болотин и его компаньоны требовали: «Работным людям учинить наказание; малолетних вместо кнута — плетьюми, а прочих — десятого кнутом».

Едва начали сечь одного из зачинщиков, «работные с великим гвалтом команду отбили».

— К работе нейдем! — объявили они. — И впредь будем чиниться противны. Насилу имеем дневного света, чтобы тканье свое высмотреть, а нас за то бьют, что худобу на сукне не умеем примечать...

Это продолжалось около двух недель, пока полиция не переловила рабочих по харчевням. На Суконном дворе началась экзекуция. Не дожидаясь ее конца, Елисавета вновь выступила в лавру, подвигаясь испытанным маршем: шаг вперед, два назад.

«Два письма от вас получил, а что на заводах и в прочих местах благополучно, за то — благодарение вышнему. Об отпуске ежегодно весеннего каравана по 300 000 пуд крепко вам помнить да зарубить на носу о беспрерывном действии домен и о всегдашней молотовой работе на все горны и молотá...

А для чего, плут Яким, ничего не объявив, ездил с завода? Или ты, сукин сын, сверчок поганый Яким, захотел точно длинного лыка и каторги за такие потаенные отлучки?..

Работных людей за взятые воровски кана-

ты и тес и с женами ихними (за то, что такие худые наставницы) — рассечь плетьюми. Да объявить им: были б во всем правдивы и чисты, не то станут у меня в дерьме валяться. Цыц, цыц и перецыц! Хищения господского не потерплю! Всех их, как раков, раздавлю и пушу на ветер...»

Так писал своим приказчикам крупнейший в России заводчик Никита Демидов в то самое время, когда приехал в Москву, ко двору, Ломоносов и во дворце Разумовского следовал за куртагом куртаг.

«Милостивый государь, прещедрый отец наш и покровитель Никита Акинфиевич,— писал Демидову приказчик,— Калужского уезда Ромодановской волости Выровской твой завод разорен. Собрались работные люди, изломали мельничные колеса, спустили из прудов воду, а объявили, что без пролития крови тебя слушать не станут для того, что работа-де им несносна, а плети твои тяжелы. И драгунский полк выступал в Калугу, а оттуда к нам. Но многолюдством и скоропостижною наглостью работные люди команды не допустили. Своими глазами видели, как несмысленные крестьяне учили полк экзирциции — как приступать и отступать. А были у них нарочно сделанные ножи да оглобли, у иных луки со стрелами; многие ходили в гренадерских шапках. И амуницию всю отбили, и офицеров и драгун били, грозя вовсе размучить, а полковника взяли с собой в волюсть. Прещедрый отец наш и покровитель Никита Акинфиевич! А тех людей разобрать по рукам иначе нельзя, как, полками окружа, деревни их зажечь да по ним бить из пушек...»

Двери распахнулись. Десять тысяч шкаликов, налитых воском, осветили надутых амуров на потолке. Янтарную свежесть пола замутило отражение камзолов и

роб, востроносых туфелек и красных каблуков — этого отличия высшего дворянства.

В доме Разумовского в Немецкой слободе начался куртаг. Фигурный стол был составлен в виде четырех подков. В середине его бил фонтан. Кругом по стенам потрескивали банкетные свечи.

Садилась «по билетам». Ломоносову вышел билет в самой глубине изгиба. Мешались зеленые робы, плотные, как луб, и белое сукно камзолов; мушки, букли, папильоны, волосы, гладко зачесанные вверх.

Елисавета — со вздутою, как парус, грудью, без причины удивленно выгибающая брови. Рядом с нею — Алексей и Кирилл Разумовские, ее двоюродный брат граф Гендриков. За креслом — Шувалов, камергер и новый фаворит.

Она оглядывает стол, оборачивается к камергеру и, улыбаясь, что-то ему приказывает. Он уступает свое место Алексею Разумовскому и направляется к Ломоносову, возле которого один стул пуст.

— Ее величество, — говорит он, усаживаясь, — соизволила пожелать, дабы я с тобой подружился.

У него лукавый, насмешливый взгляд. Косо вздернутые брови, длинный нос и рот с отвислой нижней губой делают его похожим на козла.

Он вынимает фарфоровую табакерку и стучит ногтем по крышке с розовым сердцем, пронзенным стрелю.

— Первая проба с Невских заводов. Императорский фарфор начинает происходить.

— Смотрите, чтобы в сем деле остановки не вышло, — говорит Ломоносов.

— Отчего ты так судишь?

— Оттого, что завод сей в ведении барона Черкасова находится, а мне доподлинно известно, что он Шпалерную мануфактуру вконец разорил.

— Сего не будет... — успокаивает Шувалов и переводит речь на другое: — А как, государь мой, полагаешь о науках? Много ли Питербурх превосходства имеет перед Москвой?

— Все превосходство его на том лишь основано, что в Москве еще нет университета.

— И я совершенно так думаю. Вскорости попрошу тебя сие обсудить.

Фонтан шелестит над столом. Лица скрывает искрящаяся, несущая прохладу проволока. Шувалов вертит худыми белыми пальцами табакерку. Ломоносов зорко ловит обращенные на них обоих взгляды и говорит:

— Во всех европейских государствах позволено в академиях обучаться всякого звания людям, хотя там уже и великое множество ученых есть. А у нас в России, при самом наук начинании, крестьян не принимают. Будто бы сорок алтын — столь казне тяжелая сумма, которую жаль потерять на приобретение ученого россиянина, и лучше выписывать? Довольно б и того, чтоб холопских детей не принимать.

— Резонно рассуждать изволишь, — кивая головой, соглашается Шувалов. — А каковы и в чем состоят новые твои труды?

— Трагедию «Демофонт» кончаю, занимаюсь несколько историей и электрические опыты делаю. Кроме того, открыты мною мозаическая масса и цветные стекла, о чем вашему превосходительству особо хочу изъяснить.

— Изволь!

— Масса эта есть та самая, которою один лишь Рим квалится, а ныне можно ее у нас готовить изрядно... Но всего более пекусь я о том, чтобы завести фабрику бисеру и стекляруса, для чего и намерен просить государыню пожаловать мне крестьян душ с двести, коим быть при фабрике вечно... Сего бисера в России еще не делают, но привозят из-за моря ценою на многие тысячи. А ежели фабрика учредится, то не только можно будет иметь помянутых товаров довольно количество, но как они заморских дешевле станут, то и за море отпускать.

— Иван Иванович! — окликнула Шувалова через стол Елисавета. — Поддай-ка мне табакерку, что ты в руках вертишь. Да гляди не упусти!

Камергер, обогнув фигурный стол, подошел к императрице.

— Прелесть!. И это у нас сделано? — спросила она, разглядев фарфор.

— У нас, матушка. Да за морем лучше делать умеют.

— Где ж это, друг мой?

— В Мейссене, в Севре, а теперь и на славном острове Британии.

— Для чего ты Британию так называешь? Да разве это остров?

— Остров, матушка, остров...

Тут Шувалов, бросив взгляд в сторону, заметил угрюмого графа Гендрикова и тихо проговорил:

— Я вашему величеству забыл сказать: граф Гендрик под Москвой изрядно пошалить изволил. Мужики борзую его убили за то, что она ихнего барана заела, а граф с сердца всю их деревню под дым спустил.

Елисавета выгибает брови. Подбородок ее двойся. Она обращается к графу и, грозя пальчиком, произносит:

— Эй, Гендрик! Не шали!.. Ну, друг мой!— продолжает она.— Ты, кажется, подружился с Ломоносовым?

— Это не человек, а урод.

— Почему так?

— Да он столь основательно обо всем решает, что я иначе его и назвать не умею.

И Шувалов, изредка поглядывая в сторону Ломоносова, начинает вполголоса что-то горячо говорить...

Немного спустя он возвращается к оставленному собеседнику.

— Государыня пожелала, — радостно объявляет он, — видеть российскую историю, написанную твоим штилем... Я бы советовал тебе и вовсе оставить науки, а трудиться в истории да в поэзии. Это куда приятней... Я и сам стихи пишу.

Ломоносов краснеет. Лицо его резко повернуто, и чуть вздрагивают вытянутые сердито губы.

— Что до физики и химии касается... чтобы их вовсе покинуть... в том нет ни нужды, ни возможности.

— Ну, как знаешь. Впрочем, поздравляю. Ее величество жалует тебе для фабрики село в Копорском уезде и двести душ крестьян.



Меньше говори, будучи пьяный, нимало не сердись, когда кушаешь, сноси такое дело, кое снести трудно, принимай на великодушные, что дурак сделал.

*«Умные речи ученых китайцев»*

Не глазами рыбу достают — неводом.

*Китайская пословица*

1

«В некотором царстве, в тридесATOM государстве...»

Так бы следовало начать главу о русском фарфоре, ибо от сказки, от выдумки, сплетенной в пекинской кумирне, от коварного блеска раздраченного гладью шелка чуть было не начался русский фарфор.

До конца XVII века наша керамика ограничивалась выделкой ценины — изделий, расписанных большею частью синею краской, под глазурью, поливой или муравой. У нас были изразцы и «каменная» чайная посуда; фарфор же и фаянс ввозились из Китая, с которым торговля велась через особый Китайский караван.

Европа ревниво берегла секрет. Азия — также. России беречь было нечего. Караван привозил «сервизы и жбаны Российского государства», причем гербы неизменно были головами вниз. Караван вывозил чиновников; они упрямо толковали, чтобы гербы делались головами вверх, и между делом пытались выведать секрет, дабы и у себя завести фарфор, «какой имеется в Китае».

Директор каравана Лебратовский нашел близ Кяхтинского форпоста серебряника Андрея Курсина, знавшего толк в «порцелине» (фарфоре) и умевшего составлять массу, только без глянца. Лебратовский взял его с собой в Пекин.

Там, в заброшенной кумирне, далеко за городом, «с немалой опасностью от китайцев» Курсин получил от мастера богдыханских заводов нужные наставления, а мастер от него — две тысячи лан.

Директор привез в Петербург Курсина и брата его

Алексея. Они стали налаживать производство — возить глину с Олонца и Урала и браковать ее. Хлопоты их стали известны, возбуждая при дворе честолюбие и зависть. Соревнуясь с Лебратовским, основал фарфоровую фабрику и Черкасов, елисаветинский кабинет-министр.

Секрет, или аркан, вызвался открыть немец Гунгер, выдававший себя за мастера с мейссенских заводов. Он именовался арканистом, важничал, дорожился и разыгрывал из себя алхимика. К нему был приставлен бергмейстер Дмитрий Виноградов — перенимать секрет и уменье из рук в руки, из уст в уста.

Вскоре Курсины донесли, что китаец их обманул, утаив рецепт и взяв деньги напрасно. Сказочный круг замкнулся. Просеянная в грохотах глина обернулась драконом.

«В некотором царстве, в тридесятom государстве...» — так бы следовало закончить о русском фарфоре, если бы не начался новый круг, новая глава, где после «многих досад» все же исчезают басни и плутни.

Виноградов и Гунгер остались одни.

Участок для фабрики отведен в восьми верстах от города, на Невских черепичных заводах, вдоль старого тракта на Пеллу и Шлиссельбург. Он занимал угол, образуемый Невой и ручьем позади заводской церкви, где томился пленный шведский колокол. «Магазейн», два каменных дома для начальства и деревянный для живописцев — на переднем плане. Во дворе — сарай, называемый лабораторией, горны, склады и службы. В глубине у ручья — кузница, кладовые и большая обжигальная печь.

Караульная команда в разбитых сапогах и грязных парусного полотна кафтанах слоняется по двору, стережет секрет, которого пока еще никто не знает. У строевой печется на солнце гжельская глина; ветер разъедает ее рыхлые комья, и бурые пыльные змейки, вихрясь, разгуливают по пустырю.

Звонит колокол. Солдаты слушают пленную шведскую медь.

— Добрый звон! — говорят они. — В прежние времена колокола эти с бою добывали.

— Известное дело, ныне какая служба! Баба царствует, так и войны нет.

— Бабы городами не владеют, это верно. А что в недавние годы звезда являлась, то не зря. Вот и неурожай у нас, и многие города горят. Беспременно должен быть мор или еще какая перемена...

Колокол смолкает. Со звонницы спускается звонарь, сухонький кривой старик в лаптях и рубище железного цвета. Он подходит к солдатам, вынимает из каждого уха по вишне, которые закладывает, чтобы не глохнуть от звона, и трет ладонью единственный, красный, полный слезою глаз.

— Знатно по всему, что ныне Разумовский — временщик, — продолжается беседа. — У нас при каждом государе временщики. Только Разумовскому до тех пор и жить, пока государь Петр Федорыч царства не примет.

— Да и мне слышалось, будто государыня сказывала: «Ну, Алексей Григорьевич, пока я жива — веселись, а когда я не буду, так и ты скорее умирай»... А он, временщик, с государыней в шлафроке кушает...

Звонарь сдвигает седые кустистые брови; страх оживляет запекшуюся маску его лица. Он медленно отходит от разговаривающих, качая головой и заскребая лаптями пыль на дороге, и направляется к главному зданию, где живет начальник караула, подполковник Хвостов.

По двору проходят Виноградов и Гунгер, толстый, опрятный, с рачьими глазками и кривым долгим носом.

Виноградов — в капитанском мундире, с кортиком, размахивающий дубинкой, кажется стройнее и выше, чем был, да он и похудел с тех пор, как приехал в столицу. Указывает на кучу размягченной глины, дымящуюся на ветру, и говорит:

— Я уж вам представлял, что мылянка для фарфоровой массы негодна: песок трудно отделяется, и после обжига желта.

— Вы еще не так сведущи, чтобы судить об этом, — сухо замечает Гунгер. — Продолжайте опыты с мылянкой по-прежнему. В России нет материалов, вполне заменяющих китайские каолин и пе-тун-тзе.

— Отменно пустыми делами заниматься не стану,

тем более что опыты с жировкою и песчанкою отчасти мне удаются.

— В самом деле?!— вскрикивает Гунгер, останавливается и хватая за руку собеседника. — Вы, конечно, подробно записали это в журнал?

Теперь уже Виноградов говорит сухо.

Он гримасничает и быстро вращает дубинкой.

— Вам нет нужды знать о моих опытах, потому что сами никогда не допускаете меня к своим.

Они молча, зло глядят друг на друга, осыпаемые крупной рыжею пылью. Важно, с достоинством, сопит Гунгер, и все быстрее описывает круги дубинка. Но вот Виноградов повернулся к «арканисту» спиной и зашагал к лаборатории.

Гунгер подходит к караульным и отзывает солдата, веселого, румяного парня с темным рубцом на безбровом плоском лице.

— Умеешь читать? — спрашивает Гунгер.

— Знаю, ваше благородие.

— У господина Виноградова в комнате есть журнал...

— Так точно.

— Туда секреты записываются. Понял?

— Мы люди не слепцы, не по канату ходим.

— Изрядно! Как господин Виноградов в журнал что запишет, так ты скорей все прочитай и мне донеси...

## 2

Ее распускали, по многу раз процеживали сквозь сита, сперва грубые, потом частые шелковые грохотá. Ее отмучивали и сушили в гипсовых горшках, простую гжельскую глину: в России не было материалов, вполне заменяющих китайские каолин и пе-тун-тзе.

Рабочий стол Виноградова в одноэтажной просыревшей лаборатории уставлен образцами проб. Каждая имеет свой условный знак: масса номер такой-то. Каждая удавалась отчасти и в общем была негодной. Календарем упорнейших поисков стояли в ряд четырнадцать неудач.

Никита Воинов, русский, стриженный под горшок, с непомерно высокой грудью и низким, утробным голосом, — самый способный из виноградовских учеников.

— Ваше благородие! — восклицает он.

— Чего тебе?

— Текёт.

Никита встряхивает волосами, литой кружок прикрывает его затылок.

— Текёт! — повторяет он испуганно и раскидывает над столом руки.

Потолок, затянутый грибной плесенью, серебрится от влаги; мутная струйка льет оттуда прямо на стол, на образцы.

— Тащи! — приказывает Виноградов, и они поспешно относят тяжелый стол в сторону.

— Пропадем мы с немцем, — говорит Никита. — Нипочем не хочет чинить крыши.

— А что новая проба его? Хороша?

— Какое там! Открыли печь, а посуда вся либо села, либо сплылась.

— Рапорт подам, чтобы его от нас взяли, а то он одно плутовство оказывает.

— Не иначе. Дела не знает, обманом действует. А в палатах что стало! Сырость, грязь, дух дурной нестерпим.

Виноградов нахмуривается и быстро идет к выходу. Никита останавливает его.

— Ну?!

Ученик достает из-за пазухи завязанный узелком платок, робко протягивает.

— Что это?

— Жалованья небось не получали?

— Нет.

— Так ребята собрали вам. Возьмите покуда.

Стянутый морщинками лоб распускается.

— Спасибо, брат! — Мастер расцветает улыбкой. — Я отдам в самой скорости.

И, потрепав по плечу Никиту, сияя, выходит во двор.

Он пересекает двор, продолжая сиять, и через галерею главного здания пробирается к своей каморке. Дверь распахивается. Сияние погасает. Глаза распирает от вида разгромленного стола, груды кинутых вразлет журналов. На полу — в рыжих сохлых следах — тет-

радь: список оды Анакреона; он только на днях с любовью и старанием ее переводил.

Оцепенение — секунду. Затем Виноградов бросается к столу и выволакивает из-под него притаившуюся фигуру.

— Воровать?! — кричит он, яростно замахиваясь дубинкой.

— Никак нет. Мы это по службе.

И перед ним в испуге вытягивается караульный с темным рубцом на безбровом плоском лице.

— Каналья! Для чего ты здесь рыл?!

— Господин Гунгер приказали. Секреты вычитывать.

— Вот как?! — Виноградов трясется от злости. — Ладно! Ступай!

Он лупит повернувшегося солдата дубинкою между лопаток и тотчас обгоняет его, бранясь на весь коридор...

Спустя час крепкие его кулачки разносят дверь Гунгера. Уже вечер. Немец ложится рано. Должно быть, вернулся из города, уже улегся и надел колпак...

Виноградов сотрясает дверь, пинает ее коваными сапогами, — квартира изнутри наполняется гулом.

— *Wer ist da?*<sup>1</sup> — произносит наконец испуганный голос, и на пороге появляется немец, полуодетый, со шпагой в руке.

— Кто вам позволил следить?! — вопит Виноградов. — Кто вам дал на это команду?!

Гунгер защищает свое жилище. Он делает шаг вперед, заслоняет дверь и, согнув в локте левую руку, становится в позицию.

— Не извольте буянить, — стуча зубами, говорит он, — мне приказано следить. Сам Черкасов велел наблюдать за вами...

— *Grundfalsch!*<sup>2</sup>

Виноградовская дубинка обрушивается на рапиру. Гунгер парирует, пытаясь вклепить секунду, отдергивает шпагу и переводит ее в штосс<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Кто там? (нем.)

<sup>2</sup> Совершенная ложь! (нем.)

<sup>3</sup> Секунда, штосс — фехтовальные термины.

Виноградов отскакивает. На миг. Вот сбросил с себя камзол, отстегнул бивший по боку кортик и вновь устремляется на противника. Становится весело. С самого Фрейберга не было такой работы. Дубинка над его головой — сплошной свистящий круг.

А кругом — пусто, дико. В семи верстах — Петербург такую же сонной пустыней. Над звонницей — гладким черепком луна. Тени заливают двор. Рядом с ними белò, будто лежат озера соли. Два человечка смешно прыгают, гоняясь друг за другом, и при каждом прыжке Гунгер отчаянно вскрикивает:

— Таким я образом в России отпотчеван нахожусь?..

### 3

Ныне уж не знаю,  
Как на свете жить.  
И не доумеваю,  
Что больше творить.

Ах, трудновата жить...

Так писала императрица Елисавета.

По обоям, вышитым серебряной нитью, проноси-лась теплая тень листвы. Она мелькала воробьиным клином, оживляя недра оклеенного орехом кабинета, его спящий блеском густо-кофейный лак. Зеленые гроденаплевые занавесы тяжело парусили, улета в раскрытые окна, и солнечная полоса телесного цвета ложилась на резно-золоченую тумбу с часами, на плетенный из камыша стульчик, на голубой кант канапе.

Ныне уж не знаю,  
Как на свете жить...

Белая сильная грудь вздымается над глубоким вырезом лифа, и пухлый двойной подбородок прямо, без шеи, переходит в грудь. Перенести б на фарфор, на виноградовский порцелин маленькую Елисавету, ее молочного цвета кожу, пухлый крохотный рот, мешки под глазами, жадный, удивленный выгиб бровей.

Она оправляет пышную робу в шелковых пестрых пукетах, берется за колокольчик и стряхивает с него несколько капель певучего звона.

— Черкасова! — бросает она устало, слушает, как в апартаментах рядом цепочкою шепота передается: «Черкасова! Черкасова!» — и ей ясно представляется в лоске паркетов отраженная суета.

— Иван! Напиши указ, — говорит она вошедшему и замершему в поклоне кабинет-министру, напудренному смугляку с дерзкими ленивыми глазами. — Указ, чтоб во время службы в придворной церкви ежели кто будет с кем разговаривать, на тех надевать цепи с ящиками, которые нарочно заказать сделать: для знатных — медные, вызолоченные, для посредственных — белые луженые, а для прочих всех — простые железные. Не то для их нерадивости как бы господь нас еще горше не покарал.

— Ох, матушка, верно! — произносит Черкасов. — Ныне ветра сухие, и рожь засохла, и яровые не взошли. В Москве — разбои, поджоги. Жители в деревни повыезжали, а кому лошадей нанять не на что, живут по пустырям.

— А в Питербурхе чего караульные смотрят? Нищие у меня к самой ограде приходят и газон с цветами весь истоптали. Впрочем, заметила я — ребята их собою не гнусны; видать, они — презабавные твари... Однако вели, чтобы близко подлого народу не было. Также и тех, которые сидят для продажи овощей, отгонять, а сидели б у трактиру.

— Не изволь тревожиться, матушка, я намедни пикеты велел усилить и нищих к дворцовым окнам не допускать.

Чьи-то мягкие шаги приближаются к кабинету, и на пороге в шлафроке и туфлях на босу ногу появляется Алексей Разумовский, играя своим точеным, неправдоподобно красивым лицом.

— Здравствуй, ваше величество! — говорит он сочным, певучим голосом. — Здравствуй, Иван Антонович! Не взыщи за туалет... А что я, государыня, слышал!.. Шетарди в Париже о тебе разгласил, что ты-де ему по гроб жизни обязана, а он от тебя прежалко обойден остался.



— И без Шетардия ум можно иметь, — вспыхивает Елисавета, надувая губы. — Коли так его наградить, как он мне ту пору служил, то не надеюсь, чтобы ему приятно было.

— Таковы они все, послы, — замечает Разумовский и делает шаг по направлению к креслу.

— Ступай, мой друг, — ласково останавливает его Елисавета, — я тотчас к тебе на половину кушать приду...

— Иван Антонович, — говорит она, провожая Разумовского глазами, — ныне слышим мы, что многие разного звания люди живут распутно. Того ради повелеваем, чтобы все, которые наложниц имеют, сочетались с ними браком.

Черкасов сдвигает брови, в дерзких глазах его притаились испуг и усмешка.

— Еще, матушка, у меня на фарфоровом дворе неладно. Караульные про тебя самое скверно говорить осмелились, да учинилось известно, что они же в царские дни в церковь не ходят.

— Канальи у тебя караульные, государь мой! Немедля про все узнай и мне доложи... К слову сказать, от твоей фабрики я пользы никакой не чаю, потому что денег истрачено на нее немало, а порцелиновых проб не видно. Кажется мне, что ты с мастерами своими меня обманываешь.

— К тезоименитству вашего величества непременно из посуды что-нибудь изготовлено будет. Я прикажу делать что толще — то лучше...

— Ну, изволь! Только уж без плутостей... Да, вот еще! — Она привстает и говорит быстро, по-ребячески оживляясь: — Уведомилась я через одного шкипера галанского, что есть в Амстердаме у некоего купца в доме мартышка-обезьяна, цветом зеленая и столь малая, что совсем входит в индейский орех. Желательно ее для курьезности к нашему двору достать. И ты без замедления напиши в Амстердам, к секретарю Ольдекопу, чтобы он через того шкипера обезьяну сторговал и купил...

Кабинет-министр выслушивает, наклонив голову, Елисавета отпускает его, грозя пальцем:

— Солдат распроси без пощаду... Насчет фарфора в последний раз говорю: без плутостей! Чтоб посуда была в срок, и что толще — то лучше. А то мне перед чужестранцами ничем и похвалиться нельзя.

Черкасов уходит. Елисавета зябко поводит плечами, отодвигается от окна и берет со стола лоскуток бумаги. Грудь ее вздымается. Она прижимает к ней пухлую белую ручку, читает:

Ах, трудноато жить!..

4

Ах, трудноато жить!..

Особенно если стерты последние признаки крестьянской свободы, если всякий вольный человек, еще десять лет назад обязанный выбрать себе господина, теперь уже не мог найти человека, который взялся бы платить за него подать. Право иметь крепостных было отдано малочисленному дворянству. Кто не успел определиться к помещику из дворян, тех определяло само правительство: на поселения в Оренбург, в работу на казенные заводы. Отчаянные пришлые гулящие люди наводнили столицы. Вот почему горелая Москва жила по пустырям...

Ах, трудноато жить!

Особливо если ты караульный солдат и сказано на тебя «слово и дело» для того, что ты болтал на фарфоровом дворе, плохо оглядевшись вокруг. Вот теперь возьмут тебя и приступят к изысканию истины, а изыскание это многотрудное и страдальное и по официальным бумагам XVIII века делается так:

«...Для того употребляются: 1. Тиски, сделанные из железа, в которые кладутся злодея персты и свинчиваются до тех пор, пока или повинится, или винт не будет действовать. 2. Наложя на голову веревку и просунув кляп, вертят так, что оный изумленным бывает; потом простигают на голове волосы и льют холодную воду, отчего также в изум-

ление<sup>1</sup> приходит. 3. Висячего на дыбе растянута и, зажегши веник с огнем, водят им по спине, на что употребляется веников три или больше, смотря по обстоятельствам пытаемого...»

Ах, трудновато жить!

Особливо если ты приставлен к делу, которое заезжим плутом приведено в расстройство, к делу, которого, собственно, совсем еще нет, а тебе говорят: «Подавай фарфор!»; если ты станешь биться над белизной, над тонкостью, над тем, чтобы масса свет пропускала, а тебе скажут: «Делай что толще — то лучше: ее величеству надобно что-нибудь крупное поднести...»

Одно хорошо — Гунгер в отставке. И вскоре после его ухода удалась проба. Мейссенский опыт и суздальская смекалка объединились. Из рук Виноградова вышла первая чашка. На дне ее были накрашены двуглавый орел, жезл Меркурия и условный знак: № 15. Она была выставлена в «магазин». Ее можно было потрогать рукой.

В пять часов утра рабочий колокол зовет на дневные работы. Но часто и среди ночи сторож долго стучит в окно Виноградова с молитвой:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

— Аминь! — раздается наконец.

— Милости просим на работу. Большие горны догорают.

— Слышу! — кричит мастер и вскоре выходит из дома.

Без молитвы сторожа он не проснется. Сторож не уйдет от окна, пока не услышит «аминь».

Вазы, табакерки и чашки возникают на полках «магазейна» и быстро раскупаются петербургскою знатью. Табакерки — в цене. Их уже окрестили «кибиточками любовной почты». Они лоснятся глазурью, нежной

---

<sup>1</sup> Изумленный, изумление — в языке XVIII века — невменяемый, состояние невменяемости.

вздорной пестротой пастушков и амуров работы фабричных живописцев за двенадцать рублей и немного муки в год.

Простор — Виноградову? Команда поручена ему. Деньги платят исправней, не надо занимать у мастеровых, как прежде... Простор Виноградову? Да нет. Развete, в императорском Кабинете, дадут человеку вздохнуть?..

Однажды он был у печей, объяснял, как производятся обжиг и просушка.

— Откаливай, — говорил он, — один час на малом огне, один час — большой огонь, и поддувало открыть. При втором обжиге огонь вздувай, пока он так жесток станет, что все будет журчать и шуметь. Через шесть часов порцелин покажется как камень прозрачный, из которого огонь рубить можно. Тогда закрывай печь дня на три-четыре и жди...

— Ваше благородие! — окликнул его Никита. — Там курьер кабинетский приехал. От барона Черкасова — указ.

Виноградов вышел во двор, взял у курьера бумажку и пробежал ее. Это и было то самое: «Поспешать к тезоименитству... делать, что толще — то лучше... выйти из нарекания, будто мы ее величество обманываем». Ветер прошел по его лицу.

Глазки его стрельнули. Он смирно ответил:

— К сентябрю непременно из большой посуды что-нибудь приготовлено будет.

А вечером учинил такое, чего никто не мог от него ожидать.

Пьяный, пришел в кладовую, смахнул с полок готовую посуду и, покротив палкой пастушков и амуров, стал топтать певшие под ногой черепки, крича:

— Барон! Кто тебя сделал? За что произведен? За Шпалерную мануфактуру?! За то, что мастеровых нищими пустил, а народ строения на дрова растаскал?.. Эх тебя вознесло! Командуешь... Ордера посылаешь... «Что толще — то лучше!..» Ты приказывать мне не смей! Все секреты возьму подеру!

Он кинулся к печам, открыл их и стал заливать водою топки. Караульные схватили его и отнесли в камор-

кү. Он продолжал бушевать. Подполковник Хвостов запер его на замок.

Потом он смирился. И когда на вторые сутки ему подали указ: весь курс порцелинного дела передать Никите Воинову, — не удивился, а только поник и написал в Кабинет: «...что до состава и массы чистого порцелина касается, покажу помянутому Воинову верно, так, как я через не краткую практику и понесенные немалые труды сам изучился и знаю». Но прошло еще несколько дней, и он снова напился, опять разнес кладовую и разорвал журнал.

Тогда для отрезвления Виноградова прибыли два кабинет-курьера. Им было приказано отобрать от него оружие и яды и никуда одного не отпускать, «дабы с десперации<sup>1</sup> не сделал над собой какого зла».

Но вот на исходе июля, когда липовый цвет сох и благоухал на крыше лаборатории, один из курьеров доложил Хвостову:

— Господин Виноградов к употреблению не годен.

— Почему так?

— Да пил-пил и выпился из ума.

Тогда...

На создателя российского фарфора, на его хрупкие ручки, нашли управу. Железное средство.

Черкасов велел посадить его на цепь.

## 5

Сарай был низок и душен. Свежий тес накалялся, по нем текли мутные, клейкие слезы. Можно было только переступить порог и обозревать двор.

По утрам работал: проверял составы массы и глазури, обходил горны. В полдень ему сгибали шею и надевали цепь.

Стоял август; шелковые вечера; ясные, как самый лучший порцелин, ночи. Виноградов, обросший, грязный, сидел на земле у своего порога. Цепь его легко позва-

---

<sup>1</sup> В отчаянии (лат.).

нивала. В сумерках казалось: притаился большой лохматый пес.

Никита подошел к нему.

— Скучаешь, ваше благородие? — протянул он участливо одною своею утробой. — Чаю, несладко тебе. — И присел на корточки, тряхнув волосами, тотчас сомкнувшись в мягкий, литой круг.

— За что я ни примусь, — заговорил Виноградов, — то все у меня из рук вон валится, а в мыслях такое страшное вселяется, что и не знаю уж, чего себе ожидать. Команда у меня вся взята... Меня грозят вязать и бить безо всякой причины!..

Глаза его вдруг заблестели, он стал на колени и, колотясь в землю лбом, закричал:

— Никитушка! Ступай ты к Хвостову! Скажи ему, я-де браню бога и государыню! Пусть меня в Тайную канцелярию возьмут!..

— Что ты, ваше благородие, спятил? Не дай господь — услышат. Нешто не знаешь, что с нашими караульными было?

Виноградов сел. Две грязные струйки ползли по его щекам и подбородку.

— Все лучше, чем тут...

— У тебя вон цепь легка, а ныне цепи на заводах с рогатинами стали.

— Это что ж?

— А так: ошейник вроде, как твой, только с железным боталом. Чуть шевельнешься, а ботало-то тебя по хребту, по хребту.

Тени затопили двор. Потянул холодок.

Луна взошла над пустыней.

Из-за угла главного здания показалась фигура. Рослый, грузный человек шагал меж строений, по-солдатски кидая рукой на ходу.

— Глаза б мои не глядели... — сказал Виноградов. — Поди попроси его. Скажи, у меня, мол, в каморке книжка есть, «Анакреон» зовется. Пусть выдаст.

Никита встал, пустился наперерез и быстро нагнал Хвостова. Беседы не донеслось. Но подполковник закончил громко — было слышно за околицей и на тракте:

— Безо всяких окружностей — отказать!..

Малый вернулся, виновато развел руками и вдруг вспомнил:

— А я тебе хлебушка принес. Вот ведь чуть не позабыл. Возьми-ка.

— Не хочу,— ответил Виноградов.— Не надо...

Тогда Никита не выдержал, повернулся и побрел, сугорбясь, ревя в три ручья...

Луна шла над пустыней.

Виноградов вспоминал Москву, Фрейберг, драки в кабачках, Михайлу...

...Ломоносов будто бисерную фабрику завел... Ну что ж, просил ведь его: будешь во времени—меня вспомнй. А вспомннет?..

Внезапно рванулся: бежать! бежать! Цепь натянулась, ошейник врезался в шею. Тогда он стал на четвереньки, поднял кверху худую, острую мордочку и завыл.

Луна шла над пустыней.

Спал и видел во сне бисерную фабрику Ломоносов.

Спал и ничего не видел во сне Хвостов.

Бурые змейки, вихрясь, разгуливали по пустырю. Сидел на цепи Виноградов, смеялся и плакал, выл на луну, как собака. В печах медленно созревали цветы на обжигаемых чашках. Сидел на цепи Виноградов, смеялся и плакал, ругался по-русски и по-немецки.

Очень сожалел, что не знает еще другого языка.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### I

Невод рыбак расстилал  
по берегу студеного моря.

И вовсе не сам расстилал, а его крепкая, большая артель.

Отрок, оставь рыбака!

Рыбак и сам был не прочь, чтобы отрок его оставил. С хитрой опаской выпустили птенца Холмогоры. Это было общее дело, и соседи снабжали «беглеца» деньгами. Кто его знает?— может, птенец завоюет мир?

Слезно выпрашивал «для своих крайних нужд сколько заблагорассудится». Получил пять рублей из книжной лавки.

«Я сделал прекрасные опыты в мозаике, чем приобрел себе честь, поместья и милость».

«Жена его находится в великой болезни, а медикаментов купить не на что».

Четыре у него деревни и тысяча десятин земли.

«Четыре у меня деревни,— писал он Эйлеру, хвалясь своим успехом и достатком,— императрица пожаловала мне в Ингерманландии 226 душ с 1000-ю десятинами земли».

Теперь он занимал почти весь бонновский дом. В трех покоях обитали жена, пятилетняя дочь и шурин Иван Цильх. В крайней каморке ютился беспутный жилец, лаборант Бетигер, буян и гуляка.

Стоял июль. Вдали при ясном небе начиналась гроза.

Ломоносов в шлафроке, с раскрытой грудью, сидел за столом. Письмо к Эйлеру и рукопись «Российской истории» были прикрыты «Ведомостями» с отчеркнутым столбцом. В углу поблескивала на солнце электрическая машина.

«Господин Франклин,— читал он,— столь далеко отважился, что хочет вытягивать из атмосферы тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет».

Он фыркал, с досадой мотал головой и бормотал:

— В теории моей о причине электрической силы в воздухе я господину Франклину ничего не должен. Я причину сию произвел от погружения верхней атмо-



сферы, из наступающих великих морозов, то есть из обстоятельств, на родине Франклина неизвестных... Сверх того, о сходстве между северным сиянием и кометными хвостами я уже за много лет мыслил и разговаривал. Ода моя о северном сиянии сочинена в семьсот сорок седьмом году...

Вошла жена Елизавета, рыжая, располневшая; половицы гнулись под нею. Села у окна, втягивая в иглу нитку.

— Lenchen, wo bist du?<sup>1</sup> — прокричала она во двор и принялась за шитье.

Он прислушался.

— Кузнечик кует — нас с тобой выживает. Слышишь?

— Was ist das — кузнетшик? — Она упорно не хотела говорить по-русски. И опять: — Lenchen, wo bist du?

Куском впадало в окно синее, полное зноя и грозы небо. В углу на двух кирпичах стояла стеклянная банка с медными опилками. От металлического прута шла выведенная на крышу проволока. Железная линейка с шелковой нитью висела отвесно. Внезапно нить отскочила, из линейки с треском посыпались светлые искры, и некоторое время с нее наподобие синей ниточки стекал свет.

— Гляди! Нитка за рукой гоняется! — воскликнул Ломоносов, подходя к «машине» и растопыривая пальцы.

Подошла и она, тоже потянулась к линейке и тотчас отпрянула, ощутив сильное сотрясение в руках.

— Dummer Spass! — сказала она с сердцем. — Also köppen verbrannt werden!<sup>2</sup>

— Что ты знаешь?.. Да для сего и сгореть не жаль... Вижу теперь, что с помощью железных прутков у туч огонь отнять можно...

— Dummer Spass! — повторила Елизавета.

— Ну, полно! — сказал он и направился к двери. — Ежели кто придет, то я в лаборатории.

<sup>1</sup> Аленушка, где ты?

<sup>2</sup> Глупая шутка! Эдак мы сгореть можем! (нем.)

Шея его была согнута. Он разозлился.

— Bald werden wir mittagessen! <sup>1</sup> — резко прозвучало ему вслед.

Она стояла на участке, прибавленном к ботаническому двору, приземистая, скромная, похожая на склад провианта. В большей ее половине был очаг с кожухом и трубой, укрепленной на четырех железных болтах между потолочными брусьями. Меньшую занимали шкафы и полки с книгами, инструментами и разными материалами. Стол для записи опытов упирался в синюю кафельную печь.

На полу при входе два ученика тянули и прошлифовывали мозаичную массу. Пухлый белокурый Иван Цильх вертел мельницу для растирки красок. Солнечный зайчик прыгал по цветному стеклу. Слепили медные капельформы, пирометр, гуляло на ветру окно, и чашки деревянных весов вступали в спор между собою.

— Здравствуй, Михайла Васильевич! — раздался мягкий, степенный голос, и на Ломоносова уставилось иконописное лицо с обтянутыми желтой кожей скулами.

Крашенинников.

— Друг! Ты-то здесь по какому делу?

— Господа профессора послали. — Взгляд у Крашенинникова был рассеянный, жалкий.

— Ты что не в себе?

— Да горе мне все перебивает. Ты вот, коллежский ассессор, а я кафедры никак не достигну. Сам нахожусь в болезни, и жена и дети больны.

— Выходит, что на Камчатке лучше было?

— Лучше. Ведь я тогда молод был. Да и обозрение новых земель любопытно... Много повидал я... Жемчужные и соболиные промыслы; горы, выгоревшие до самой подошвы; китов, трущихся о берег спинами, стирая раковины, которые к их коже прилипли, и жителей острова, бьющих их стрелами, намазанными соком лютиковых корней...

Крашенинников говорил — как и писал — гладко. Слог его был на редкость чист.

<sup>1</sup> Мы сейчас будем обедать! (нем.)

— Ну, а ты? — спросил он. — Каково успеваешь?

Вдали звучно, весело загремело, но небо по-прежнему было ясно: Ломоносов взял со стола журнал и проговорил:

— Вот, записано. Изобрел я способ к сысканию долготы и широты на море при мрачной погоде (в практике исследовать сего без Адмиралтейства невозможно). Делал опыт машины, которая, поднимаясь кверху сама, могла бы поднять маленький термометр. Слово о электрических явлениях сочиняю, да еще «Историю» велют писать, чем я весьма отягощен.

— А ведомо тебе, что и Рихман в крайней нужде находится? Долгами обременен сверх меры и так духом пал, что опасно, как бы чего над собою не сделал.

— Ну, я его ободрю. Может, Шувалов дела́ ему поправит. И тебе я, Степан Петрович, помочь готов.

— Спасибо... А профессеры меня вот с чем прислали,— он протянул Ломоносову свернутую трубкою корректуру.— Тут заглавный лист «Ежемесячных примечаний». Граф Строганов статейку дал для журнала и торопится ее в печати видеть, а Миллер сказал, что ты сему остановку делаешь... Да вот, гляди-ка, граф и сам сюда идет.

Сухопарый юнец, придворный балагур и модник, играя тростью, вошел в лабораторию.

— Для чего ты «Примечания» ценсуровать не хочешь? — произнес он, задирая маленькое напудренное лицо.

Наступила тишина. Иван Цильх и ученики оставили работу.

— Сие название при дворе весьма раскритиковано,— ответил Ломоносов.— Ежели назвать книгу «Санктпетербургскими штанами», то сие таково ж уместно будет, потому что туда и стихи вносить станут, а стихи — не примечания.

— Так...— Строганов крутнулся на каблуках и завертел тростью.— Господин Миллер еще просил за твоего лаборанта. Почему ты его уволить намерен?

— Да пьяные его гости ворота ломают.

— Так... Но слышно, что лаборант и сам, без тебя, мозаичное дело отправлять может. Мне желательно его сейчас испытать.

— То оскорбительно и неприлично было б. И притом, ваше сиятельство, команды надо мной не имеете.

— А ежели я лаборанта кликну?

— Тогда я ваше сиятельство попрошу выйти вон.

— Так!.. Мужик! Недворянство свое показываешь?!

— За обиду мог бы я требовать от вас удовольствия и я<sup>1</sup>, но прощаю ради вашей молодости...

Крик во дворе оборвал ссору. Вбежал человек без шапки, размазывая по лицу слезы.

— Профессора Рихмана громом зашибло! — выдохнул он. — Помер профессор Рихман!..

Ломоносов — как был не одетый, в шлафроке, — кинулся на улицу. Крашенинников — за ним.

Рихман жил близко, на углу Большого проспекта и Пятой линии.

У дверей дома стоял пикет. Полутемные сени были полны дыма. На голой скамье лежало тело. На лбу Рихмана, там, где обычно катался тонкий клубок, сидело пятно.

В стороне шептались Теплов и ассессор Тауберт, долговязый, в тугих рыжих букольках. Завидев Ломоносова, он проговорил:

— Для чести Академии прошу вас не разглашать об этом, — и потряс своей жесткой охряной куафюрой. — Есть основания думать, что господин Рихман покончил с собой столь странным способом... При таких обстоятельствах «Слово о явлениях электрических» нельзя произносить...

## II

Босоногая челядь сновала в толпе гайдуков, задевая лохмотьями их голубые, с серебром казакины. Шуваловские скороходы отгоняли ее булавами. Подкатывали

---

<sup>1</sup> То есть удовлетворения.

кареты с точеными стеклами, запряженные цугом крупных лошадей, с кучерами в пудре, и гости по дощатым мосткам проходили в дом.

В зале с окнами на Невскую перспективу играли в карты два старика: рыжий силач лакей, некогда спасший Шувалову жизнь, и сухонький француз-камердинер — пенсионеры. Над ними висела картина: швейцарский пейзаж с каретой над пропастью и белым как мел седоком; громадный лакей поддерживал карету плечами.

Хозяин вышел к гостям, держа в руках иконостроф — гравировальные очки, показывающие рисунок в обратном виде.

— Прощу извинения, — произнес он, потирая худые белые пальцы и морща лоб. — Обнюхался цветами — голова болит, и притом я только что гравировать окончил.

Седой горбатый вельможа в андреевской ленте, притворно сердясь, постучал палкой в пол:

— Я тебе дочь привез показать, а ты пустяками занят. Ну, взгляни-ка!

— Прелесть! — сказал Шувалов. — Да вот прическа как будто высока.

— Я и то у себя в доме велел двери сделать выше, чтобы она как-нибудь головою не увязла...

Почти одновременно вошли Ломоносов и бригадир Сумароков, прямо, по-военному несший грудь, с высоким лбом и лицом надменным, будто выточенным из дерева. Кафтан его был запачкан пудрой и табаком, который он то и дело доставал горстями, обильно посыпая свои кружевные тонкие манжеты.

— А! Вот и они! — сказал, припадая на палку, седой горбун. — Я ведь затем лишь и приехал, чтобы их послушать.

— Если они не совсем трезвы бывают, — тихо ответил Шувалов, — приходится высылать их вон, но когда помирятся, то оба очень приятны.

— Каково в гравировании успеваете, ваше превосходительство? — спросил, подходя, Сумароков.

— Представь, друг, весьма. Говорят, можно ожидать от моего резца большой чистоты.

— Учитель ваш как будто из мастеровых?

В беседу вмещалась гостья, занявшая целый угол своею юбкой на китовом усе, розовая купчиха с мушкой на лбу, похожая на улитку:

— Иван Иванович! Да что он, пустой человек, говорит? Неужто кровь твоя позволяет водить знакомство с мастеровыми?

— А что ж тут худова?

— И ты знаешься с ними? — обратилась она к Сумарокову.

— Конечно, сударыня.

— Не подлость ли это? Да и ты сам не хамов ли внучек?..

Тут появившийся дворецкий с салфеткой в руке доложил: «Кушанье поставлено!» — «и хамов внучек» двинулся в другую залу...

На круглом столе красовалось плато, изображавшее помещичий двор; по краям его стояли фарфоровые амурчики и пастушки. Между приборов лоснились от многосвечных жирандолей саксонские вазы со льдом и бутылками. Арапы и лакеи стояли за стульями, и множество скороходов толпилось у дверей.

Аршинная стерлядь лежала рядом с кабаньей головой в соусе из говяжьих глаз, называемом «поутру проснувшись». В середине плато тугою пирамидкой возвышались фрукты, и свисал из корзины шершавый астраханский виноград.

Ломоносов (в темно-зеленой немецкой паре, обложенной золотом галунчиком) был хмур и рассеян. Шувалов подошел к нему:

— Я хочу, чтобы ты под свой портрет стихи подписал.

Ломоносов взглянул на него твердыми янтарными глазами.

— Я отнюдь того не желаю и стыжусь, что я награвирован.

— Вот пустое!

— Нет, Иван Иванович! Не пустое!.. И притом что вы мне предлагать изволили — науки покинуть, — я, пожалуй, согласен.

— Да что с тобою?

— Униженно прошу, чтобы вашим ходатайством был я от Академии взят и переведен в другой корпус, всего лучше — в Иностранную коллегию. Хочу найти место, где реже мог бы видеть персон высокородных, которые меня низкою моею природой попрекают.

— Да я ничего в толк не возьму!

— Господа Теплов и Тауберт помыкают мною... Умер профессор Рихман, и сей случай против наук толкуют... Данными мне терпением и талантом я из крайней бедности вышел и того не забываю, но граф Строганов изволил попрекать меня недворянством. Впрочем, сие я к его молодости причел.

— Отлично, друг мой, сделал, и полно об этом! Лучше потолкуем с тобой об университете. Что, сочинил ты план?

— Сочинил. Весьма рад, что объявленное мне словесно подлинно в действо намереваетесь произвести.

— Каков же проект твой?

— Учредить надо университет на манер Лейденского, дав ему те же, что и за морем, вольности.

— Это вряд ли возможно, да и Сенат не допустит.

— Без сего нельзя университету быть...

— Ну, а много ль профессоров у тебя для философского факультета?

— Шестеро.

— И троих хватит. А какие наметил классы?

— Философии, оратории, поэзии, истории, древностей и критики.

— А геральдика, друг мой, где же? Геральдику позабыл...

Стучали ножи. Раскатывались по паркету лакеи. Чихал, забив ноздрю табаком, Сумароков, и болтали гости, разогретые ледяным вином.

— В Вене после супу едят дыни, — раздавалось за столом. — Вот вам и новая ягода...

— Были ли вы в кунсткамере?

— Ах, мне там ничуть не понравилось!

— Много ли душек изволили продать в этом году?..

Седой горбун, нетерпеливо пожимая плечами, сказал хозяину:

— Не пойму, почему они не ссорятся?

Шувалов усмехнулся и, постучав ножом о тарелку, произнес:

— Сейчас наши славные сочинители стихи прочитают.

— Нет, увольте! — заявил Сумароков. — Я при Ломоносове читать не стану.

— А ты, Михайла Васильевич?

— Ежели, ваше превосходительство, того хотите — могу.

Он привстал и, отдав свечному блеску гладкое, широкоскулое лицо, начал о «возлюбленной тишине» сильным, звучным голосом.

Мешал разговор. Слушали плохо, дожидались ссоры.

Молчите, пламенные звуки,  
И колебать престаньте свет.  
Здесь в мире расширять науки  
Изволила Елисавет...

Все шло хорошо, пока он не произнес строки: «В градском кругу и наедине».

— Наедине! — крикнул Сумароков и хватил по столу ладонью. — Сила не тут! Ударение неверно!

— Да, ударение, коим ты со стола наклейку отшиб, вернее, — заметил Шувалов.

А Ломоносов сел, шумно отодвинув стул.

— Господин Сумароков, — сказал он с презрением, — сочиняет любовные песенки и тем только и счастлив.

Соперник не унялся:

— У него еще в другом месте сказано: «быстрѸ».

— Господин бригадир не в полном разуме. Быстро или быстрѸ, однако это не Ѹстро и не ѸстрѸ.

Сумароков вскочил.

— Это он часто с ума сходит, что всему городу известно. Кроме холмогорского наречия, ничего не знает.

— Не верьте ему, ваше превосходительство! Он всегда вас обманывает.

Теперь они уже оба стояли, красные, со сжатыми кулаками, разделенные только столом.

Горбатый вельможа трясся от смеха. Не жалели о своем приезде и прочие гости.



Хозяин, притаившись за спинкой кресла, шептал Сумарокову:

— Не уступай!..

Ломоносов заметил.

— Вот как?! — прошипел он, подступая к Шувалову. — Все, все понятно!.. Тешить тех, кто сводит нас, как петухов, не стану!.. Ваше превосходительство, имея случай служить отечеству помощью в науках, можете лучшие дела производить!.. Вы довольно знаете, что я не люблю Сумарокова, и скажи вы мне: «Помиришь с ним!» — я бы того не сделал. А теперь — глядите!.. Александр Петрович! Бог не дал мне жестокого сердца, как иным людям знатным. Зла тебе не желаю. Мстить за обиды не думаю...

И, потрясши засыпанную табаком руку, выбежал вон.

### III

— Господин Теплов всею Академией поворачивать хочет? — говорит Ломоносов. — Мало ему того, что Делиля из России выгнал, профессора Вейтбрехта отставкой уморил?..

Конференция обсуждает новый регламент.

Заседают по чину: Теплов — «под Шумахером, в первом месте», далее — Тауберт, Миллер, Штелин, Ломоносов. Тредьяковский ведет протокол. Высокие окна расчерчены переплетом, как в каземате, и зеленое поле стола нагрето солнцем и расчерчено в клетку на косо сдвинутый ряд.

— «...Канцелярия, — читает Теплов, — есть департамент, в котором члены, разумея должность всех чинов в Академии, могли бы в небытность президента и сами всем корпусом управлять....»

— С прочитанным пунктом я не согласен! — кричит Ломоносов.

— Вам желательно отнять власть президентскую?

— Желаю, чтобы общим согласием всегда все производилось. Мы все смертны. Да и президент не господь бог.

Все смотрят на Шумахера, но он молчит, дряхлый, пепельно-серый, с дрожащими веками.

Голова Тауберта повернута к Ломоносову.

— О его сиятельстве можно было б почтительней! — И подражая советнику: — Nicht so hoch!..

— Чужие повадки перенимать изволите? И так известно, что вы советника Шумахера дочери и дел и чуть не Академии наследник.

— Каковы выражения! — восклицает Миллер.

А Штелин машет руками на обоих:

— Полно вам! Не препятствуйте господину Теплому читать!

— «...В канцелярии должно иметь секретаря, актуариуса, комиссара, регистратора, купчину и лекаря с подлекарем...»

— Чиновно поступать хотят, — язвит Ломоносов. — Диво, что в Академии музыки нет... Да советник Шумахер танцевать не умеет.

Ледяные глаза округляются. Советник произносит чуть слышно:

— У вас хороший ум, и вы бы высоко стояли по своей науке, когда бы притом оставались вежливы.

— Господин Ломоносов лишь то жалуется, что сам сочинить изволит, — говорит Теплов.

— Нет, увольте! У меня и без того довольно дела.

— Чем же вы так отягощены? — спрашивает Миллер.

— Новую теорию о цветах сочиняю и письмо о ходе Северным океаном в Индию.

— Уж не думаете ли вы достигнуть полюса?

— Именно.

— Но это невозможно по причине твердо стоящих льдов.

— Твердо стоящие льды есть лишь у п р я м к а академического собрания. На деле же имеется открытое полярное море. Я давно бы то доказал, когда б не оставил за недосугом, как и многое иное.

Теплов стремительно поднимается:

— То есть в науке своей более трудиться не можете?

— Не могу, затем, что «Историю» пишу...

— «...О старшинстве чужестранных членов перед русскими, — снова продолжается чтение. — Предло-

жение ассессора Тауберта. Параграф седьмой первой главы...»

— Сие вовсе не основательно,— замечает, кладя перо, Тредьяковский.— Если кто у себя на родине славен в своем искусстве, так ли сразу ему и старшинство давать?

— Резон! — подхватывает Ломоносов.— А всего лучше б гимназию в порядок привести да своих студентов производить.

— О гимназии полагаю так,— заявляет Миллер,— надо отделить благородных особ от учеников подлого звания и обучать тех особо.

Ломоносов отодвигает кресло и выходит из-за стола.

— Прошу записать, что я при сем предложении покинул собрание.

Он идет к дверям. Теплов перехватывает его на дороге:

— Прежде, чем удалиться, извольте прочитать вот это.

И подает повестку — приглашение на придворный маскарад.

Ломоносов пробегает ответы академиков. Вот рука Штелина: «Быть не намерен»; покойного Рихмана: «*Absentiam excusatam gogo*»<sup>1</sup>; Миллера: «Не намерен»... Крупно, разгонисто пишет: «Быть намерен и с женою», пускает лист по воздуху, чуть не в лицо Теплову, и покидает конференц-залу.

— Господин Тредьяковский! — потирая руки, говорит Теплов.— Извольте записать в протокол, что профессор Ломоносов в своей науке трудиться более не может.

— А для чего, государь мой, сие писать?

— Он сам нам то объявил. Мы выпишем доктора Сальхова для занятия кафедры химии.

— А что — «своих производить»? — злобно произносит Тауберт.— Разве нам десять Ломоносовых надобно? И один нам в тягость.

— Я великую ошибку сделал, что допустил его в профессору,— говорит Шумахер и все больше сутулится, горсткою пепла вот-вот рассыплется по столу.

---

<sup>1</sup> Прошу извинить отсутствие (лат.).

В Летнем саду (у Зеленого моста) дует перспективный зрительный сквознячок. Это — роскошный, слепящий блеском курятник.

Сквозные ясные залы до самых глубин открыты глазу, настезь открыт для приемов двор восемь месяцев в году.

Съезжаться было велено в седьмом часу в домиках и масках, в маскарадных платьях, каких кто хочет, кроме пилигримского и деревенских. «А кто не дворянин, — стояло в повестке, — тот бы в оный маскарад не дерзал».

Двигался поезд карет, похожих на веера. Из них появлялись распудренные головы, плисовые камзолы, лосиные в обтяжку чикчиры. Дамы в атласных робронах сходили по каретным крылечкам. Стройные гвардейцы смотрели, чтобы не было народу в серых и прстстых кафтанах; любопытных короткими пинками отсылали прочь.

В зале овальной формы было отгорожено решеткой место для танцев. Гостям предоставили на выбор: оставаться в масках или же снять их. В восьмом часу искра побежала по пороховым нитям, натянутым между бронзовых жирандолей, и двадцать иллюминированных комнат вмиг засияли; обильный свет вдребезги разбился о полы красного дерева, о лак мебели и деревянные стенные панно.

Ломоносов явился один, без жены. (В овальной зале императрица уже дважды успела проплясать русскую.) Курносый завитой паж встретился ему в галерее нижнего апартаментов. Он скорчил коллежскому советнику рожищу, высунул язык и прокричал:

— Тучи рукой отводил, бог тебе нос и перешиб, потому и Ломоносовым называешься!

Крепкая рука схватила его за ухо и, повозив, дала тумака в спину. Мальчишка с плачем пустился по галерее. Ломоносов хлопнул в ладоши. «Я тебя выучу!» — бросил вдогонку и, веселый, с разлетевшимися полами домино, прошел в залу.

Омёты хвостатых роб вертелись на полу, как змеи. Мелькали парики, мундиры, высокие кауфюры с лентами в виде рожков и мельничных крыльев.

Раскрасневшаяся, с волосами, собранными в пучок, проплыла Елисавета.

Она опиралась на руку Шувалова и твердила:

— Я только и счастлива, когда влюблена...

Проследовал французский посол Лопиталь с графом Воронцовым.

— Вы поверить не можете,— говорил Воронцов,— как в Париже мало о нас сведущи. Причина этому та, что почти никого из дворянства вашего у нас не бывало, но лишь самые подлые и бедные, которые только худые мнения о нас подавали. В Париже думают, что французу здесь надобно умереть с голоду. При малом понятии\* о других землях эти мнения у вас трудно искоренить...

— С повышением вас! — раздался подле Ломоносова насмешливый голос, и в толпе мелькнула тонкая талия Строганова.

— Вернее — с отставкою,— прозвучало откуда-то сбоку, но говорившего мгновенно скрыл сомкнувшийся, как вода, маскарад.

В углу, окруженный кольцом кавалеров и дам, стоял Тредьяковский.

Покинь, Купидо, стрелы!  
Уже мы все не целы,  
Но сладко уязвлены  
Любовною стрелою  
Твоею золотою...

Василий Кириллович покачивал в такт круглой головкой. Скудная косица была на затылке уложена в кошелек.

Прошел Кирилла Разумовский, внимательно слушая шамкавшего отставного генерала.

— Господин Рихман,— говорил собеседник,— старался об удержании грома и молнии, и случилось с ним, как в древности с афинским стихотворцем Есхилием. Сей муж также познал убиение себя через астрономию, потому что, выйдя из города, сел в пустом месте и глядел кверху. Орел же носил в воздухе черепаху, ища:

камня, на чем бы разбить. А у Есхилия глава была лыса... И паде черепаха ему на главу... Таков же конец и мудрствованию сего Рихмана...

— С отставкою вас! — снова раздается вблизи Ломоносова.

Он с яростью оглядывается. Опять — никого. И вдруг замечает в стороне Теплова.

— Это вы, ваше высокородие, столь непристойно шутить изволите?

— Не возьму в толк — вы о чем?

— Якобы об отставке моей.

— Ничего такого не слыхивал. — Теплов вытирает платком темный выпуклый лоб и лукаво блестит глазами. — Мне известно лишь, что вам не велено быть в собраниях. От вас отнимаются Географический департамент и профессия химии. Вы же сами сказали, что таковую более не можете отправлять...

Уже мы все не целы,  
Но сладко уязвлены,—

бисирует Тредьяковский.

Ломоносов делает крутой поворот и встречается с президентом.

— Ваше сиятельство лишаете меня профессии химии или же слух сей до маскарадных дурачеств отнести должно?

Разумовский не отвечая проходит, надувая пухлые — кувшинчиком — губы.

— Прикладывайте к пяткам сырые тыквы, — шепчет, пробегая, Строганов, — сие для бешенства весьма хорошо...

Шувалов с недовольным видом, сведя косые брови, приближается к Ломоносову.

— Ты что ж это? — говорит он, шевеля отвислой губой. — Забыл, в каком месте находишься? Пажей за уши драть вздумал?

— Ваше превосходительство...

— Не изволь трудиться! Президент о тебе слышать не хочет. Ты под его власть подкопался.

— Сие подобно известному петербургскому приключеньицу, то есть тому, что «мир обманываться хочет»...

— Мы тебя совсем отставим от Академии!

Янтарные глаза смотрят в упор, не мигая.

— Меня нельзя от нее отставить, разве Академию отставите от меня...

Тут ему больше нечего делать. Грубо расталкивая толпу, он идет к выходу. Курносый паж, завидя его, отбегает в сторону. «Уже мы все не целы...» — вспоминается с горечью. И строка застревает в ушах...

Теплая летняя ночь. Шлюпки скользят по Неве. Слышна роговая музыка. Бастионы крепости — в цепях площадок, окантованы огнем.

Тишина. И вдруг — возня караула. Кого-то бьют.

Слышно, как тесак выбрасывается из ножен, и высокий испуганный голос кричит:

— Слово и дело!..

Ломоносов идет по набережной. Свежо пахнет вода. В нее вонзается стрела Адмиралтейства.

«Уже мы все не целы... Любовною стрелюю, твоюю волоотою...»

Петербург!

Петербург!

CANCELLARIAE MEDICAE  
ACTA  
CUM OCULISTO  
JOSEPHO HILMERO

МЕДИЦИНСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ  
ПОСТУПКИ  
С ОКУЛИСТОМ  
ИОСИФОМ ГИЛЬМЕРОМ

Под таким названием в 1751 году в Петербурге вышла книга. Ее издал в свое оправдание директор Медицинской канцелярии Герман Бургаве. Она была отпечатана на превосходной бумаге, в две колонки. Текст ее представлял описание одного печального петербургского «приключеньца», как бы собрание подписей к картинкам, которые в книге отсутствовали.

1. Вот едет по Невской проспективе доктором себя называющий Иосиф Гильмер. Маленький, щуплый, с сухим костяным носом и тяжелыми, совиными веками. На стенке кареты — надпись: «Mundus vult decipi», то есть: «Мир хочет обманываться». Высоко, чтобы всем было видно, Гильмер держит просверленный солнцем, сделанный из стекла глаз.

Два лакея идут по бокам, трубя на валторнах. Два лакея идут впереди, раздавая печатные листы, на которых написано: «Я приехал. Могу лечить о ч н ы е болезни как рукою, так и надежными средствами, возвращая слепым зрение; также продаю курительный порошок от глухоты».

2. Доктором и профессором себя называющий Иосиф Гильмер показывает свое искусство членам Медицинской канцелярии. Все они в ужас приведены, каким отважным образом он действует в глазу иглою, отчего самые субтильные частицы неминуемо должен повредить.

Окулист объясняет, что вся его отважность происходит от особой, похожей на миртовый лист, иглы с осьмигранною ручкой; просит позволения делать операции и лечить лекарствами и оставляет в канцелярии несколько проб.

3. Вот — директор Герман Бургаве, человек тучный, с большим сердцем.

Доктором, профессором и философом себя называющий Иосиф Гильмер объясняет, что его девиз значит: мир хочет обманываться, то есть верить, а вера одна уже лечить может. Гильмер советует Бургаве не чинить ему в Петербурге препятствий и намекает, что у него имеется высокий патрон при дворе.

4. Вот — солнце над крышами, которого не видят слепые.

5. Иосиф Гильмер разъезжает по улицам, уклоняясь от посещения особ знатных. Делает свое дело над бедняками, берет деньги и спешит в другое место.

Но мир хочет обманут быть!

6. Больные лежат в постелях и не прозревают.



Вот медник Юнгман. У него на глазах были жемчужинки. Гильмер срезал их и дал порошок, который подействовал так, как если бы кто хотел у арапа стереть добела кожу.

У шкипера Никиты Логинова извелся правый глаз. Гильмер дал мазь, и оба глаза зажглись несносно.

Гончарская жена Прасковья Афанасьева имела в глазах темную воду. Натирала спиртом — не помогло нисколько.

Но мир хочет обманут быть.

7. Члены Медицинской канцелярии рассматривают оставленные Гильмером пробы:

«Глазной его порошок не что иное как сахар-леденец и препаарированная туция»<sup>1</sup>.

«Мазь от падучей болезни сделана из чистой киновари».

«Курительный порошок от глухоты — из белого и желтого янтаря».

8. Члены Медицинской канцелярии запрещают окулисту производить операции:

«Мы, доктора и лекари, вас, Иосифа Гильмера, изъявляем за скитающегося эмпирика и шарлатана, который ухватки свои над бедными людьми показывает как если бы на ярмарке из кармана играл»<sup>2</sup>.

9. Санктпетербургская полиция ходит по домам, составляя реестр оперированных.

Иосиф Гильмер, несмотря на запрещение, пополняет реестр.

10. Вот дворцовый камер-лакей Михайла Шаплинский после операции. От сильной боли он раздирает под собой простыню и кричит, что, будучи ранен в Полтавской баталии, не терпел ничего подобного.

Гильмер снимает с него повязку, растирает перед глазами каплю нашатырного спирта, велит различить шляпу, цветы, табакерку и, наконец, ухватить его самого за нос.

---

<sup>1</sup> Туция — металлический налет в трубах плавильных печей.

<sup>2</sup> В шулерской игре «карман» — раздвоенная карта.

11. Герман Бургаве получает донесение из Лифляндии:

«Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что проехавший через здешний город доктор Гильмер, рассеяв в народ печатные листы о искусстве своем в возвращении слепым зрения — у 67-летней матери моей Анны Кристины вместо левого глаза операцию учинил над правым.

Нотариус города Пернау *Андрей Гарриэн*».

12. Полиция подает в Медицинскую канцелярию объявление: «Гильмером ослеплено множество людей, потому что он у них в глазах весьма рыл».

13. Иосиф Гильмер просит у Бургаве позволения отъехать в Москву для практики. Директор удивляется его бесстыдству, говоря, что ему больше о выезде из государства надлежит думать. Гильмер грозит, что будет просить в высочайшем месте; Бургаве велит посадить его под домашний арест.

14. Окулист тайно посылает жалобу к высокому своему патрону.

Окулист пишет Бургаве угрожающее письмо:

«Ваше превосходительство, думаю, не потурецки поступите и долго меня под караулом держать не будете. По крайней мере известие дайте, куда мои люди взяты и для чего мои бессловесные лошади голодать должны. Ежели через это мое последнее прошение к завтрашнему дню не увижу от вас лучшего, то на шею вашего превосходительства пошлю божие отомщение, которое мне, бедному, поможет, а вас, конечно, найдет».

15. Гильмер и жена его готовят пистолеты, насыпая на курки порох и пробуя кремь при спуске на полку, потому что из Иностранной коллегии присланы подорожная и четверо солдат для провожания за рубеж.

16. Вот объявление из «С.Петербургских ведомостей»:

«Находящийся здесь прусский надворный советник и доктор Гильмер едет отсюда за море, чего ради ежели имеет кто до него или его служителей какое дело, то сыскать его могут на Адмиралтейской стороне в Большой Морской, в доме портного Кригера».

Но мир хочет обманут быть!

17. Герман Бургаве получает резкое письмо от высокой особы. Особе известно, что директор канцелярии чинит окулисту помехи, будто бы желая получить взятку.

С дома, где живет Гильмер, снимают караул.

18. Герман Бургаве пишет свои оправдания:

«Гильмер в разных местах Европы себя шарлатаном оказывал. Когда бы я ему не препятствовал, он давно бы уже и в Москве свой театр поставил...»

Иосиф Гильмер посещает перед отъездом пациентов, оставляя им *gratis*<sup>1</sup> курительный порошок от глухоты.

19. Божие отмщение находит шею его превосходительства.

Герман Бургаве, человек больной и тучный, умирает от разрыва сердца.

20. Вот — солнце над крышами, которого не видят слепые.

21. Вот — город, в котором это все произошло.

## II

Петербург! Петербург!

Давно ли петровский генерал-полицмейстер Девьер приказывал, чтобы по улицам «никакого скаредства и мертвечины не валялось»? Давно ли нищие бродили толпами, а за подачу им милостыни взималось по пяти рублей штрафу?.. Правда, еще дикий, сырой лес надвигался на город, но уже ряд блестящих кварталов оттеснял пустыню и стройно разворачивали фасады растреллиевские дворцы.

<sup>1</sup> Даром, бесплатно (лат.).

В лесах за речкой Фонтанной укрывались «разбойники». Ночью через шлагбаумы пропускались только военные, знатные господа, священники и лекари — все с фонарями. «А из подлых ежели два и три человека пойдут, хотя и с фонарями, и тех брать под арест».

Но уже заселялись окрестности: по Неве, к Шлисельбургу основывались немецкие колонии; к Петергофу и Царскому Селу — «петербургской Версалии», — усыпанные отесками дикого камня, протягивались шоссе...

Невская перспектива — бульвар с дощатыми мостками и цепью фонарей, похожих на виселицы. В Гостином дворе — лавки: простые и для покупателей с благопристойною физиономией. Множество дрожек, и подле них: «Блины горячи!..» — «Сбитень!» — «Папушники!..» Гремит железо, вздыхают мучные мешки, сбрасываемые у лабазов, и надо всем — тысячи воркующих голубей.

Каналы с деревянными срубами пустынно. Вереницы придворных шлюпок оживляют Неву.

Кажется, что играют несколько церковных органов. Это — роговая музыка. Трубы длиной до десяти футов стоят на подпорках. Каждый игрок может извлечь только один звук, имеет только одну ноту, «остальное на его листе суть павзы»... Веселятся по-разному. У Цепного моста на Мойке — трактир Ягужинского. Там бывают сочинители, «газетеры», цензоры, служащие типографии Академии наук.

Они заводят беседы о делах, до российской словесности принадлежащих, просиживают до пробития крепостной зори. Клубов еще нет в Петербурге, да и самое это слово еще произносить не умеют. Здесь истоки литературных содружеств. Это —

#### ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛОВ.

Низкая, со сводами, комната. Древняя зелень ползет из цветочных горшков на подоконниках. Стойка с посудой, темная от жира и водки, усеяна сухими мер-

твыми мухами. Сидят. Сумароков, корректор и наборщик академической типографии. В стороне сухощавый старичок в снежном парике читает книгу. Полумрак.

Сумароков напевает, откинувшись на спинку стула:

Приходите, братцы, вы,  
Также и сестрицы,  
Будто на берег Невы  
Пить моей водицы...

— Хороши ваши любовные песенки, господин Сумароков,— говорит наборщик.

— Сам знаю, что хороши.

— Не пойму, отчего они господину Ломоносову не нравятся?

— Вчера мы говорили с Ломоносовым о русской литературе, и господин Ломоносов плакал... Ведь мы с ним в иное время были приятели, во всем согласны и друг от друга советы принимали. Я тогда еще тонкости стихосложения не знал.

— Для чего же ссоритесь?— вставляет корректор.

— Для того, что мне сочинений больше пускать в народ невозможно. Что цензоры подпишут, то еще Ломоносов просматривает. Он истец, он и судья.

Входит трактирщик, сметает со стойки мух и, позвеневав посудой, приближается, нагруженный графином и рюмками. Сумароков бросается на них, как железо на магнит.

— Вот что, брат наборщик,— говорит он, ставя на поднос рюмку и забывая ноздрю табачным сором.— Когда набираешь ты литеры для моих пьес, не ставь нигде ударений. Где светло, там свеч не зажигают.

— Господин Тредьяковский ставит.

— Так ведь он на всех языках пишет так же плохо, как на русском языке.

— Да, нужно признать, что пишет он шероховато.

— Скаречно, подло, гнусно, а не шероховато!..

Дверь скрипит, открывается, впуская кусок звезд...

ного неба и Тредьяковского, входящего прихрамывая и опираясь на палку.

— Обо мне, государь мой, говорить изволите, — раздается его голос. — Чувствую, что обо мне.

— Мы, Василий Кириллович, об ударениях толковали, — отвечает наборщик, — что они излишни.

— Излишни одни ошибки бывают, что у вас весьма часто.

Он садится и произносит в пространство, не обращаясь ни к кому:

— Ненавидимый в лицо, презираемый на словах, прободаемый сатирическими рогами, стал я уныл, бессилен и от несносных обид вовсе изнемог.

Корректор — участливо:

— Кто же вас обидел?

— Господин Теплов за то, что я назвал его «барашком» (а его и подлинно в детстве так звали), ругал меня, как хотел, и грозил заколоть шпагою. Приносил я его сиятельству жалобу, но лакей сказал, что меня пускать не велено. А как я от природы (смею похвалиться) нахальства не имею, то, услышав такую неприязнь, тотчас вон побежал.

— Вот особлив в своем многоречии! — бросает Сумароков.

Тредьяковский не слышит.

— Поместил я в журнале оду, не проставляя своего имени. Напечатали и расхвалили. Сей случай низверг меня в отчаяние, ибо увидел, что презрение стремится только на меня, а не на труды мои.

— Поделом! — язвит Сумароков. — Для чего моих эпистол похвалить не решился?

— Я их рассмотрел, но понял, что они — злостные, поносительные для меня сатиры, чего по самой беспристрастной совести апробовать не мог.

— Особлив, особлив! У кого еще голова так чадом наук набита?

— А кто стишки свои в журнал втирает? Кто гимн написал Венере — прескверной из богинь?

— Сам за вирши свои бит не единожды. Слова выдумал: «грековер», «астраканец», «в трое ворот входильник»...

— Полно вам на меня нападать! — взмалывается Тредьяковский. — Прошу, оставьте меня отныне в покое!..

Тут входят Ломоносов и рыжий, весь в ссадинах, переводчик Барков.

Сумароков вскакивает, потрясая руками.

— Явился, злодей?! Не первый пьяница меня уже из ученых пьяниц обидел. Делается из-за них в издании моего журнала остановка. Прошу ценсором мне (и то не в ск ла де) определить не пьяницу!

Ломоносов — устало:

— На кого намекаешь?

— На профессора Попова и на иных, о которых Академия не меньше меня известна. Есть еще такой Барков...

Барков подлетает:

— Чего изволите?

— Прочь, эротико-приапейская личность!

— Как ваша «Пчелка»? Жалит ли подьячих?

— Уймись, несносный человек! Ступай!..

Ломоносов садится к столу и говорит, подперев голову руками:

— Радуйся, Сумароков! Я уж вполовину отставлен, вскорости и вовсе выгонят. Не будет тебя Ломоносов ценсуровать.

— Неужто в немилости?

— О том не забочусь. Более угнетает меня бесстыдство моих противников... Тредьяковский сочинит, Сумароков в «Пчелу» примет, Тауберт напечатает без уведомления. Одному — я сам, другому — красноречие мое, третьему — история противны.

— История — от тщеславия, — заметат Барков, — сатиры — от зависти, красноречие — от несправедливо решенных тяжб.

— Напечатал Тредьяковский статью о мозаике, — продолжает Ломоносов, — совокупил грубое незнание с подлою злостью...

— Да я написал лишь, что картине, изображенной кисточкой, нельзя подражать в совершенстве кусочками стекла.

— Нет, нет! — мотая головой, твердит Ломоносов. — Опасно быть в то время писателем, когда больше кри-

тиков, чем сочинителей, больше ругательств, чем доказательств.

— Ну, полно браниться, пора помириться!— говорит Тредьяковский.— Для чего омрачаем кроткий наш и безмятежный век?.. Михайла Васильевич!— продолжает он шепотом.— Помиритесь с Сумароковым!

— Да я с ним и не ссорился. Вот вас извинить пока не в силах...

— Господин Ломоносов!— прерывает их наборщик.— Читали вы «Описание земли Камчатки» профессора Крашенинникова?

— Как же! Отменная книга!.. Умер Крашенинников. Поздно ему кафедру дали— нужда извела.

Сумароков зло говорит:

— Отец ездил в китайчатое и камчатное государства, а дети ходят в крашенине, оттого и Крашенинниковыми называются.

— Александр Петрович!— кричит Барков.— Песенку! Не то зятю эротико-приапейскую!

← Изволь!

Приходите, братцы, вы,  
Также и сестрицы,  
Будто на берег Невы  
Пить моей водицы.  
Все, что хочешь ты забыть,  
Вечно то забудешь  
И, престав в печали быть,  
Жить в спокойстве будешь...

Барков опрокинул в рот рюмку, соловьем полощет горло. Ломоносов роняет голову на стол.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### I

Старики.

Белый зимний день за окнами. Холодный свет оmyвает кабинет советника. Ломоносов и Шумахер сидят за столом. Оба зябнут, у обоих ломит суставы, струной



сводит пальцы. Шумахер вовсе плох: страдает не пробуждаемой сыпучкой — внезапно погружается в сон на шесть, на восемь суток...

Ясно, белó за окнами и в кабинете.

Зима, зима. Старики.

— Вам известно, — говорит Ломоносов, — что я прошлой весной лежал двенадцать недель в смертной постели и ныне тяжко болен. Частый лом в ногах и раны не допускают меня к исправлению должности.

— ...должности, — жует ослабевшим ртом Шумахер, повторяя про себя каждое слово, силясь ничего не забыть.

— Однако, будучи в здравом уме, разорения Академии терпеть не желаю. Это касается господина Шлецера, ибо он, едва бредя в русском языке с лексиконом, отважился составлять «Граматику» да еще посягает на российские древности. Всего лишь год прожил в России — и уже сочиняет Российскую историю, требует себе труды Татищева и Ломоносова! И я принужден терпеть все эти наглости от иноземца, который еще только учится русскому языку!.. Знания его недействительны! Профессором быть он не может! И нет места!..

— Нет места... — повторяет советник. — Вы вполне уверены, что его нет?

— Разве, что оное нарочно сделали... В библиотеке все открыто Шлецеру сумасбродному. Кто допустил это?

— Я! — раздается голос входящего Тауберта. Он стоит, долговязый, рыжий, с каменным, выдвинутым вперед подбородком, и повторяет: — Это допустил я... Господин Шлецер сделал разумное предложение, — продолжает он резко, — издать списки летописей, сравнить их и таким образом получить верный текст.

— А как он то сделает? С помощью лексикона?

— Он сведущ достаточно.

— Так вы полагаете! Господин советник, я тотчас покажу вам «Граматику»...

И Ломоносов стремительно покидает кабинет.

Тауберт подходит к столу, шумно захлопывает журнал и произносит с досадой:

— С тех пор как президент ввел его в канцелярию — во всем остановка. Вы при нем говорить не смеете. Он один всем владеет. Писцы в полном его распоряжении.

— ...распоряжении,— цедит Шумахер.— Каково же распоряжение?.. Ах, да, понял, понял! Весьма плохо, мой друг!..

Открывается дверь. Входит адъюнкт исторического класса Шлецер, молодой, белобрысый, с крупными карими глазами и большим радостным ртом.

Он в отдельности кланяется советнику и асессору.

— Вы явились некстати,— замечает Тауберт.— Сейчас вернется господин Ломоносов. Не советую вам попадаться ему.

— Пустяки! — весело говорит Шлецер, и рот его раздирает счастливая улыбка.— Он не может простить мне «Грамматики», хотя сам так же мало слышал об ученой этимологии, как матрос о логарифмах. Он выдрал две строки, обегал всех вельмож и науськал их на меня.

— Все же лучше вам избежать столкновения.

— Не знаю, за что его у вас так признают? Набрался мудрости у нашего Вольфа в Марбурге и там же познакомился со своею прачкой!..

— Господин Шлецер! Прошу вас, пойдите отсюда! Я вам дам нужные манускрипты. В библиотеке вы проведете время успешнее.— И Тауберт, обняв адъюнкта длинной рукой, увлекает его за собой.

Шумахер, расставив локти, округлив ледяные глаза, смотрит в угол. Он ни о чем не думает. Теперь этим занимается Тауберт. Его, советника, время прошло.

Возвращается с «Грамматикой» Ломоносов. За ним, осунувшийся, сильно хромая, следует Тредьяковский.

— Ивольте взглянуть,— говорит Ломоносов.— «Боярин» производится от «барана» и от «дурака». «Дева» — от нижнесаксонского *Tiff* — «сука». Напечатан руга-

тельно высочайший титул российского дворянства: «князь» — то же, что «холоп»... Из всего можно заключить, каких только пакостей не наколбродит в российских древностях допущенная в них скотина...

И, оборвав, резко — к Тредьяковскому:

— Вам что?

— Упадая из болезни в болезнь,— тихо начинает Василий Кириллович,— как от Харибд в Сциллы, лишаюсь, как можете видеть, употребленья ног.

— Здесь не Медицинская канцелярия.

— Мне это известно. Только от разных человеческих приключений впал я в непрерывное затмение мыслей, более неспособен к продолжению службы и намерен ехать для житья в Москву.

— Что же вам надобно?

— Аттестат, государь мой, и деньги. Требую по законному праву жалованья за подписанные мною ка-вычные листы<sup>1</sup> и прошу представить президенту о моем пенсионе, дабы имел я чем свою бедную фамилишку питать, не растворяя хлеб плачем.

И Тредьяковский, громко посапывая, начинает тереть глаз.

Шумахер молчит. Он ни о чем не думает. Теперь этим занимается Тауберт.

— Корректуры читали вы по своей охоте,— говорит Ломоносов,— денег за это не следует. А насчет пенсиону — ничего не знаю, потому что отставка вам еще не дана.

— Итак, по всем пунктам отказываете?

Тредьяковский встает, опираясь на палку.

— По двум лишь, в коих просите.

— А не по злобе ли, государь мой, так поступаете? Не за стишки ли терплю?.. Стыдно вам! Ведь я уже стар стал, дряхл, бессилен и самому себе в тягость.

— Поступаю по регламенту и указам.

Молчит Шумахер.

Тредьяковский медленно идет к дверям, опираясь на палку, на пороге оборачивается, качает головкой и, ничего не сказав, уходит, громко сопя.

---

<sup>1</sup> Корректуры.

— Милостивый государь! — устремляется на советника Ломоносов. — Известно вам, что вскорости будет наблюдаться явление Венеры в солнце? Во всех обсерваториях при таких важных случаях бывают наблюдатели, но господин Тауберт поручил все дело одному Эпинусу. Русским астрономам в том отказано: они-де заведут шаркотно и заглушат часовой маятник. Я буду жаловаться в Сенат!..

Милостивый государь! — продолжает он. — В гимназии учителя дают лекции в классах, одевшись в шубы, а ученики дрогнут, отчего по всему телу делается короста. Дом Строгановых на берегу Малой Невы должно взять под гимназию. Иначе для чего его покупать было? Господин Тауберт занял его под книжное дело. За это его под суд мало отдать!..

— Что вы сказали о Тауберте?..

— Что он разоряет Академию. На всякие постройки и пустоши суммы изошло до тридцати тысяч.

— Grundfalsch! — вскрикивает Шумахер.

— Не извольте кричать! Я и сам такой же полковник!

— Я не полковник, — шепчет старик. — Я — советник... советник... академической... канцелярии.

Голова его свешивается. Сыпучка мгновенно настигает Шумахера. Он дремлет.

Ломоносов смолкает. Стараясь не шуметь, поднимается, на цыпочках выходит из кабинета и тихо затворяет дверь.

## II

На экономических картах Канада, Гаванна и остров Табаго легли на одной широте, и на широте этой — Испании и Британии сделалось тесно.

Приготовления Пруссии и тревога за Ганновер заставили морское ведомство в Лондоне крепить паруса. Стали обновлять такелаж. В огромном количестве потребовалась пенька. Члены «Общества барышников» вспомнили о России, и английские галиоты стали вырастать у причалов петербургского порта.

Когда приходит последний корабль, англичане отправляются покупать пеньку.

Неторопливым шагом, молча, с поджатыми губами и туманной синевою глаз минуют они мост через Мойку и приходят к Пеньковым амбарам.

Они спрашивают хозяина. Приказчик кличет его, и «барышники» видят перед собой старика купца. Он сугорб, плохо держит голову, и когда ее нагибает, открывается красный, дубленый затылок. Некогда черная, в густом, крепком серебре, борода белая, как кипень, и так же белы брови.

— Пеньки вам? — говорит он тихо. — Извольте.

И подает ц е н н и к — прејскурант:

«Пенька чистосортная. Санктпетербургский гальфсрейн. За один шифсфунт — тридцать голландских гульденов».

— Тридцать гульденов?! Это не пойдет!

Англичане улыбаются.

— Десять. Русским золотом.

— Тридцать. Голландским.

Они поспешно откланиваются и переходят в другой амбар.

Та же картина.

Приказчик зовет хозяина. Является купец, тот же, с белой, как кипень, бородой. И снова:

«За один шифсфунт — тридцать голландских гульденов»...

Собирается толпа. Они ходят из амбара в амбар. Всюду — как привидение — вырастает купец. Всюду одно и то же. Только в одном месте им пришлось дольше обычного ждать. Разъяренные, почти бегом они возвращаются на свои корабли. Портовые грузчики хохочут им вслед и подражают их походке.

Они решили выждать.

Проходили дни. Недели. Две. Три.

Цена не падала.

Когда стукнул месяц, они смазали парики салом и пошли на заседание Сената.

Они спросили:

— Не разрешит ли Сенат приобрести пеньку на фабриках морского ведомства?

Им ответили:

— То, о чем почтенные гости просят, не запрещается российским законом: канатное сырье принадлежит партикулярному лицу.

Они устремляются на Выборгскую сторону, на склады канатных фабрик. Выбродив заваленный пенькою двор, находят партикулярное лицо. Это — все тот же, с дубленным затылком и белой, как кипень, борою.

— Ты что же?! — восклицают они. — Весь Петербург закупил?

— Закупил, — отвечает он с усмешкой. — Привилегию имею.

Лицо его вдруг брусенеет, в запавших глазах молодод блесит зеленый огонь.

— Что?.. И вам в жом пришло? — говорит он, крутя невидимый жом крепкой рукою. — За костеришко свой взыскиваю, за прежнюю нашей торговли худобу... Или запамятовали?.. Еще удача вам, что я корабли под дым не спустил, а то и говорить с вами не стал бы...

«Барышники» переглядываются, отходят в сторону и держат совет:

— Мы разоримся!

— А если войну придется вести с этой самой Россией?

— Тогда и вовсе не купим. Нам нельзя медлить.

И обернувшись к купцу:

— We must pay. Будем платить...

«У русских все без изъятия важные лица занимаются торговлей», — говорили иностранные послы, жившие в Петербурге.

Появились целые села ремесленников. Подвинулась вперед крупная промышленность. Число фабрик и заводов перевалило за девятьсот.

Исчезали внутренние таможи. Страна делалась «вольным торгом». Но пустовали земли. От поборов

и рекрутчины крестьяне бежали в степь, в Польшу, росла недоимка, и подготовлялась новая перепись для обложения всех, «не обходя дураков».

Так называемую *Vermehrungspolitik* можно перевести по-русски как «людоводство». Она занимала видное место в немецкой философии. Первое условие благосостояния — достаточное количество населения. Это была философия «общей пользы», мысль Лейбница — Вольфа. Фридрих Великий писал Вольтеру: «Я смотрю на людей как на стадо оленей, разводимых в парке крупным землевладельцем». Ломоносов был верен марбургской школе, его учили Лейбниц и Вольф.

Воевали с Пруссией, набирали рекрутов, — население убывало. Зато был взят Кенигсберг, — там печатались книги славянским шрифтом, и талеры бились с портретом Елисаветы и русским орлом.

Шувалов, брат мецената, писал о сохранении народа: единственная мера — ловить дезертиров. Сам же брал откупа, чеканил медь то по шестнадцать, то по восемь рублей из пуда — «пятикопеешники привел ходить в грош».

Рабочий день составлял четырнадцать часов — с четырех утра (с перерывом) до девяти вечера.

Шампанское пришлось ко двору, им орошались реляции о победах.

Учреждался род инквизиции, изыскивали корчемство, сибирские рудники наполнялись ссыльными.

Входил в моду чепец «королевино вставанье», и фруктовая почта возила из Астрахани виноград к монаршему столу.

Он жил в собственном доме на берегу Мойки. Очищал и прививал в саду деревья.

Он был статским советником, имел членство Болонской академии, в его единственное ведение отданы гимназия и университет...

На широком крыльце был накрыт холстиной дубовый стол, и Ломоносов в китайчатом халате, с раскрытой грудью, заложив за ухо перо, беседовал с Шуваловым.

— Ну, я рад за тебя,— говорил, играя золотым камергерским ключом на голубой ленте, щурившийся от солнца гость.— А сам ты доволен своим жилищем?

— Весьма! Тут все по моему плану сделано. О бонновском доме не думаю — пусть в нем Сальхов живет. Хотя ему лаборатория досталась, на что я столько труда извел,— того мне жалко.

— Но тебе обучение юношества отдано. Ты ведь этого более всего хотел.

— Мое единственное желание — привести в вожденное течение гимназию и университет, откуда могли бы произойти многочисленные Ломоносовы!

Шувалов улыбался. Вытянутые губы его собеседника вздрагивали, лучики морщин таяли у глаз, вскинутое лицо молодедело.

— Но покуда, Иван Иванович, дела неспешно идут. Дом Строгановых под кунсткамеру занят, в демидовском доме ученикам места нет, но Тауберт и туда влез — изволит в погребе держать пиво немалым числом бочек... Впрочем, прежний порядок я вывел. Что было! Ворота и калитка к реке наглухо запирались, студентов ни днем, ни ночью никуда не выпускали. Во дворе — часовой с ружьем и бессменный ординарец, а в доме для частых усмирений — целая команда солдат...

— Михайла Васильевич,— перебил Шувалов,— я с великим удовольствием прочел письмо твое о размножении народа. Ты его когда же написал? Весной?

— Записки мои касательно общей пользы от прежних лет остались, а сейчас пришло время опять за них взяться. Война идет, будет новая перепись, и побежит от военной службы много народа.

— А верно ли ты о беглых судишь?

— О живых покойниках? Иначе нельзя и думать... Сделаны на границах форпосты (брат ваш придумал), но столь обширной скважины, как рубеж, силою запереть совершенно невозможно. Лучше поступить с кровостию.

— То есть как?

— Побег от помещичьих притеснений бывают и от



солдатских наборов. Лучше пограничных жителей облегчить, наборы разложить по всему государству, а в иных местах и совсем снять.

— Мысль твоя такова, что для общей пользы нужно размножить население?

— Конечно. Людей разводить надо. И притом безречь. К примеру — вошло у помещиков в обычай заводить неравные браки между крепостными. Таковое насилие пора запретить.

— Да ведь это у дворян правá отнимет.

— Русский народ гибок, — резко сказал Ломоносов. — Терпел же крестьянин, и дворянин может потерпеть...

Застоявшиеся рысаки ржали у ворот. Над забором торчал верх кареты.

Елизавета сидела у окна, держа на коленях толстую Lenchen. Ветер трепал ее волосы, белые и легкие, как ковыль.

— Межевание проводить надо, — проговорил Ломоносов.

Шувалов засмеялся.

— Да и ты гибок. От сего народу легче не станет... А о запрещении браков вздорно придумал. Дворянство новых вольностей ожидает, а ты у него прежние отнять предлагаешь... Ну, полно об этом! Скажи-ка лучше, в чем этой зимою изрядно успел?

— Основания металлургии составил. Намерен сочинить описание руд и показать приметы для точного прииску оных. Горное дело у нас в плохом состоянии находится. В рудокопных ямах светят лучину. Рудник ежели водою залется — его покидают, что, можно сказать, подобно расхищению казны...

Он сидел, красный от солнца, рубя ладонью воздух и воздвигая крепкую кладку слов, точно пригоняя камень к камню.

— Не худо бы в економии нашей от соседей своих освободиться. Ибо это постыдно! Правда, еще многие города наши легко немцы за деревни принять могут. Правда, еще русский купорос, бакан, охра, ленты и гвозди работою весьма плохи, а ценою выше заморских. Но все надобно делать лучше и умножать русский вывоз, уступая товары, в коих сами малую нужду имеем.

Должна Россия обходиться без помощи чужестранных мануфактур!

— Так, так, друг мой! — соглашался гость, кивая головой, играя золотым ключом на голубой ленте. — Ну, а какие опыты произвел?

— С цветами, чтобы узнать, ярче ль они в теплоте или на морозе... Приметил, что колебания струн с колебаниями света сходны... Писал о ходе Северным океаном в Индию, с инструкцией, как делать в пути измерения.

— Предприятие это в тайне содержать должно, — заметил Шувалов. — До времени не надо и Сенату объявлять...

Он поднялся. Ломоносов поспешно встал и, склонив голову с торчавшим за ухом пером, произнес, приложив к голой груди пухлую руку:

— Ваше превосходительство! Попросите в высочайшем месте, чтобы меня вице-президентом сделали. Академию ведь с одного конца хотят чинить, а с другого портят, — должность таковая весьма нужна...

### III

На пятьдесят третьем году веселой жизни умерла Елисавет, искра Петра Великого, и, недолго почудив, кончился Петр Федорыч, умер «от геморроидальной колики». А может, и от чего другого. Может, просто затянулась на его шее салфетка или шарф и чье-нибудь колено придавило грудь...

А потом — роспись, сколько в Петербурге выпито вина и растащено посуды. А потом — «при общем ликования» — началась Екатерина. «Народ, который поет песни, — говорила она, — не мыслит худого». А как народу не петь, когда для него устроены фонтаны из чистой водки; на улицах лежат жареные быки, их головы начинены серебром, и серебро надо достать, и это — праздник. Быков рвать — называлась эта веселая работа.

А он сидел. Он грустил. Он тоже не мыслил худого. Хотя и не пел. Одно слово кружило над ним, готовое уклонуть в темя. А слово было: отставка, абшид. И знал: того не миновать.

Книги лежали перед ним, излишние, юношеские, он с ними прощался. И записи лежали перед ним — цифирь, скоропись (стишки и более всего — догадки): мелочь, оставшаяся от прежних лет.

И если бы кто вошел, подумал бы: как он зябок! Потому что на дворе июнь, а в комнате топят камелек.

А это он жег излишнее, юношеское, давал всему такому полный абшид. Вот уже улетели в огонь фрейбергский дневник и письма Елизаветы, «Хождение за море великой особы», вот улетит и список с памятной книжки Петра.

...«Хождение за море» — вздор! Памятная книжка — иное дело! Ее — оставить... Да, любопытно! И ему надо было все узнать, все осмотреть!..

«Яворскому — о школах.

О гробах дубовых.

О замысле.

О особливом приказе о лесах.

Чтоб провезть воду с верху Невы по низу и сделать маленькую плотину и колесо поставить.

О пословицах русских.

Где навоз класть: против Михайлова двора и[ли] за [го]шпиталем.

О школах воинских, торговых и прочих.

О посылке учиться от города всем.

Яшку спросить про князя Михайлу Ромодановского.

Кто объявит, кто скрывается — тому всё.

О шляпных мастерах.

Сыскать о Колумбовой смерти.

Отписать Стельсу о кишке, которую обвязывают круг себя, как через воду ходить...»

И тут будто заскрипело у ворот, и вошли невзначай две Екатерины — одна — Вторая, императрица, и просто, без номера, Екатерина — Дашкова, императрицын друг.

А он в глубокой задумчивости будто их не заметил, глядя на огонь, который, «словно прощаясь с хозяином, то вспыхивал, то угасал».

И будто сказала императрица: «Здравствуйте, Михайла Васильевич! Я приехала с княгинею навестить вас, услышав о вашем нездоровье или, лучше сказать,

о вашей грусти». А он ответил: «Нет, государыня, не я нездоров, не я грустен,—больна и грустна душа моя».

А Дашкова сказала: «Ее величество говорит мне: наш Михайло Васильевич что-то слишком закручинился. Поедем к нему. Он нас любит, а из любви чего ни делают...»

И так утешали его, ведя к тому, чтобы он был спокоен, хотя она и немка, а потом смотрели химические опыты, и стекло, и мозаику, и ночезрительную трубу.

А при отбытии — милость: «Завтра приезжайте ко мне откусать хлеба-соли. Щи у меня будут такие ж горячие, какими потчевала вас ваша хозяйка».

И все то было — сплетня. И вовсе не так.

Верно, что заскрипело у ворот и вошли невзначай высокие гости. Только Дашковой там не было, она жила вдали от двора, а были Екатерина, Григорий Орлов, Олсуфьев и некоторые из статс-дам.

И она вплыла, шумя атласною робой, водя по стенам голубовато-белесыми глазами. Глаза были немецкие, они сразу увидели: много пыли, есть грязь, и живут плохо. А лицо у нее было пухлое, важное и — как на румяненный воск.

Она ступала шаг, и ступали шаг Орлов и Олсуфьев и статс-дамы. И она спрашивала не очень ласково и не сердито, а просто ни так и ни этак: что вот это и что то?

Он суетился, объяснял, показывал, забегал справа и слева. Его ударило в пот и в краску, и он сам себе изумлялся, потому что уже двадцать лет ни перед кем не робел.

А потом понял: это оттого, что она смотрит ни так и ни этак, с прохладой, а то — знак недобрый: время его пришло к закату, он — мелочь, оставшаяся от прежних лет.

Но она улыбнулась, а он осмелел и даже вздумал жаловаться: в Академии... Тауберт норовит показать себя чужими трудами, а его выключить от участия во всем...

Она подобралась, глянула холодно, сквозь него, и сделала вид, что не слышит.

Тогда он стал просить, чтоб ему выдали из Минерального кабинета известия, нужные для описания руд.

Она кивнула: это, мол, можно. И прибавила шагу. И все прибавили. Еще им осталось посмотреть химические опыты, и стекло, и мозаику, и нечезрительную трубу.

А когда всё уже высмотрели, он стал показывать последнюю свою машину, которая, поднимаясь кверху сама, могла поднять маленький термометр. Что-то не ладилось. Он пыхтел, старался, но все не выходило. И она отвернулась, зевнула, а его словно ожгло, и он от злости потемнел.

Он потемнел, выпрямился и положил руку на ящик с коллекцией минералов. И рука была влажная — стекло затуманилось, а под ним — пробы: сибирский и уральский камень. И так он стоял, опираясь на Сибирь и на Урал.

И вспомнил: во Фрейберге... Седой бобр задыхается, выгоняет из кабинета... Ящик взлетает над головой. Щепы трещат на полу, и пестрые сиениты, фонолиты и кварцы твердыми брызгами бьют по ногам... Кого?.. Генкеля?.. Высокую даму в атласной робе?.. И тут — пухлая ручка тянется к его губам.

Она отбывала.

И он заспешил и поцеловал пухлую ручку, изобразив усердие и верность всею своей фигурой. Ему улыбнулись и милостиво кивнули. Чего же больше?.. Но он-то знал — это ведь она писала Олсуфьеву (и, значит, нельзя верить!):

«Адам Васильевич! Я чаю — Ломоносов беден: зговоритесь с Гетманом, не можно ли ему пенсион дать, и скажи мне ответ».

#### IV

В один этот век нидерландская семья Бернулли дала восемь математиков.

В Германии Лейбниц открыл дифференциалы. Ньютон оспорил у него славу открытия. Мало ему было

яблока весом в целую вселенную. Но яблоки падали в разных садах.

В Петербурге от Эйлера узнали об интеграле. Германия дифференцировала. Эйлер был немец. Но это было дело России — обобщать.

Одновременно в разных концах света открыли электричество.

Ньютон заподозрил, что теплота есть форма движения.

Капитан русской службы Беринг достиг через Сибирь Америки.

Измерили земной градус, доказали сплюснутость земли, усовершенствовали телескоп, барометр, термометр.

В свете увидели волнообразное движение тонкого и упругого вещества, наполняющего мир.

Дело России было — обобщать. Ломоносов постарался сразу за два века.

Он первый установил закон сохранения вещества, покончил с флогистоном и ввел весы в химию до Лавуазье, которому приписывают все три эти заслуги.

Атмосферное электричество объяснил взаимным трением частичек паров. Открытие было признано за ним спустя восемьдесят лет профессурой Московского университета.

Дал предварение атомистической гипотезы. Вращательным движением частиц объяснил явление теплоты, перекликнувшись с позднейшей теорией вихревых атомов Вильяма Томсона.

Во время прохождения Венеры через диск солнца велись наблюдения на обсерватории. Он сидел дома с закопченным стеклом. Товарищи его ничего не открыли. Он обнаружил атмосферу. Ни в Петербурге, ни за границей это впечатления не произвело.

Подметил кристалличность золота и меди, сходство их кристаллов с кристаллами солей. Образование залежей каменной соли объяснил испарением отделившихся от моря замкнутых бассейнов. Доказал растительное происхождение каменного угля и янтаря.

Нашел закономерность строения кристаллов, один из первых в Европе стал мерить углы их.

Дал учение о растворах, новую теорию о свете, проект «хода Северным океаном в Индию», предвидя существование свободных ото льда пространств. Спустя сто восемь лет по указанному им пути прошел австрийский ученый Пайер.

Он брызнул осколками. Жажда! Надо было напоить два века. Иначе было нельзя. Европа смотрела без восхищения и молчала.

В Германии подрастал Гёте. Скоро он начнет ощупывать мир, испытывать свет, колебания струн, смотреть, ярче ли краски в теплоте или на морозе. Его называют «зеркалом вселенной». Он скажет: «Только все люди вместе познают природу». Ибо сам станет познавать ее вместе со всеми, «в безмерном углубя пространстве разум свой».

В безмерном углубя пространстве разум свой,  
Из мысли ходим в мысль, из света в свет иной...

Он лежал в саду под яблоней, разложив на теплой земле рукописи и книги.

Имение прилегалo к морю. Осень выжелтила луг со службами и стеклянным заводом, зажглась за соломенным валом у мельничной плотины острой кровью рябин. На опушке леса стояла лесопилка с метеорологической вышкой и самопишущим анемометром. Лес изламывался на взгорье и полого спускался к речке, сквозя тонкой листвой, охваченный ровным золотым тлением. И тление, опрокинувшись, стояло в воде.

Тепло и сухо пахло елью.

Клейкая, путалась и не могла слететь с дерева паутина.

Он снял парик и вытер им потное лицо. Череп его был гол и блестящ. Шея стала такую же, как у отца: медной от солнца, иссеченной в крупную косую клетку.

«Умер Виноградов,— подумал он,— Рихман, Краше-

нинников. Профессор Клейнфельд удавился. Он у меня учеником был...»

Яблоко упало в траву. Сгоревший лист, кружась, слетел на раскрытую книгу.

«И я также вскорости... Только б дела мои не погибли со мною!.. С университетом что станется? Пройдут ли из него и когда многочисленные Ломоносовы?»

Солнце легло на книгу, зажгло на титуле буквы: «Gulliver's Reisen... Jonathan Swift».

В траве часто, коротко засипело.

Он вспомнил свой приезд в Петергоф год назад, на Петров день, когда, еще только подъезжая к дворцу, уже знал неудачу и жаловался кузнечикам.

...Песок скрипел на дорожках. В расчищенных аллеях было убрано устречовыми звуками — раковинами, звучащими при ветре. Голуби поднимались с приморских галерей.

Императрица обедала в парке. Кругом стояли ширмы от солнца. Посеянные «для увеселения ее величества», разливались овес, жито, ячмень.

— Здравствуй! — сказала она. — Правда, что в Москве черная воспа ходит?

— О Москве не слышал. Знаю лишь, что там нет университета.

— Опять просишь?

— Соизвольте пожаловать привилегию.

— Да что ты с нею торопишься? У меня иностранные трактаты по году лежат...

Кузнечик стрельнул в синеву, будто растаял в воздухе.

Он вспомнил другое — свой арест в Академии, карального прапорщика, писавшего донесения: «Арестант обриться желает, просит цырульника»; «не знаю, для чего, не хочет говеть»...

Проходили крепостные, кланялись. Он не замечал их. Тихо закипал в нем гнев.

«Дана мне была благородная упряжка на распространение наук в отечестве, что мне всего дороже. Я тому себя посвятил, чтоб до гроба с неприятелями наук российских бороться. Стоял за то смолоду — под старость не покину!»



Взмахом руки зачеркнул неприятелей наук и раскрыл тетрадку.

«О переменах тягости по земному глобусу... Только что начато!.. А ведь кончать надо, кончать...»

Бархатка, осенний мотылек замер на его медной шее, как на коре дуба

С голой головой, большой и спокойный, он водил коротким пальцем меж строк таблицы.

Все теплей и суше пахло елью. Несло паутину, и по неисследимым часам падали яблоки.

«Переменяется ли центр, к которому стремятся тела, или же стоит неподвижно?..»

Яблоки падали в разных садах.

Дети  
Доброй  
НАДЕЖДЫ

Среди такого блеска славы,  
Побед, которым нет числа,  
Во узах собственной державы  
Россия рабства дни влекла.

*В. Капнист*

## Глава первая

### «ДЕТИ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ»

Велико есть дело смертными  
и преходящими трудами дать бес-  
смертие множеству народа.

*Ломоносов*

#### 1



устой туман, павший на столицу Российской империи 7 апреля 1765 года, рассеялся к утру следующего дня.

В теплый, вёдренный день, очень рано, начались похороны великого Ломоносова.

Правительственные «Санктпетербургские ведомости» не оставили потомкам описания этого «великолепного погребения»; они не упомянули о нем ни единым словом, несмотря на то что за гробом ученого шел весь Петербург...

Была пятница, 8 апреля, шестой день пасхи. Остатки зимнего снега быстро таяли под ногами. Весеннее солнце поднималось в утреннем ясно-голубом небе над медленным и торжественным шествием несметных толп народа. В воздухе стоял перезвон колоколов.

Так хоронят героя, знаменитейшее лицо в государстве. За гробом шли сенаторы и вельможи: члены Академии наук и Академии художеств; в белых ризах шествовало высшее духовенство с архиепископом Санктпетербургским и Новгородским во главе.

Русские люди провожали в последний путь Ломоносова, превратив эти печальные проводы в посмертное его торжество. Нескончаемая людская река текла

во всю ширь Невского проспекта. За гробом шел народ, в богатырские силы которого горячо верил умерший; народ, которому он предсказал великое будущее,— залогом этого была собственная его жизнь.

Шли хранители его заветов, поборники истинной науки — «дети доброй надежды», как называли в то время выдающихся русских молодых людей.

Были в толпе его учеников и последователей и люди немолодые, уже ставшие известными; были и такие, кому еще предстояло проявить себя. Среди этих разного возраста «молодых» выдвигались: философ Яков Козельский; математик и астроном, преподаватель Морского кадетского корпуса Николай Курганов; «усердные почитатели» Ломоносова — подлекарь петербургского адмиралтейского госпиталя Данило Самойлович и поэт-переводчик Лука Сичкарев.

Понуро шагали мастера и подмастерья — служащие инструментальной и оптической палат «императорской» Академии наук. Шли, как на смотр, искусные русские оптики Иван Беляев и Алексей Колотошин, славный умелец токарного и слесарного дела Филипп Тирютин и мастер астрономической обсерватории Николай Чижов. За ними — в строю мастеровых — следовали безвестные люди: Игнат, Андрюшка, Кирюшка. Но они-то и были самыми первыми помощниками Ломоносова в ряду чудесных строителей изобретенных им приборов — «ночезрительных труб», «горизонтоскопов», телескопов, гигантских маятников, «громовой» и «аэродромной» машин.

Шествовали чины Адмиралтейства; строители боевых кораблей; недавно вызванные из Архангельска парусных дел мастера и плотники; шли наборщики, потрудившиеся над вторым изданием «Грамматики» Ломоносова: такой был на книгу спрос, что ее пришлось «набирать для поспешности в праздничные дни и шешашные часы».

Отдать последний долг Ломоносову пришли разведчики недр российских — маркшейдеры и штейгеры, геодезисты и картографы; пришел кузнец, которого Ломоносов обучил пробирному искусству, — ни имени, ни фамилии его никто не знал.

Явились двенадцать моряков — штурман Осип Ше-

лехов и еще четыре штурмана со своими помощниками и учениками, обучившимися астрономии «под смотрением» Ломоносова: он готовил их к экспедиции для открытия Северного морского пути...

Шествие приближалось к Александро-Невской лавре. Все дружнее становился перезвон колоколов.

Стучала капель. Сильнее пригревало солнце, играя на золотом шитье и оружии: день был от занятий свободный, и в процессии — как олицетворение блеска империи и будущей военной славы России — оказалось немало пажей и кадетов, питомцев военных корпусов.

Пажи были в алых суконных епанчах, белых чулках и башмаках с красными каблуками, в пуховых треугольных шляпах с позументом и страусовым пером. Кадеты — в синих епанчах с капюшонами. Белые перья офицерских шляп колыхались в воздухе, сияли на солнце золотые шарфы и темляки.

Будущие моряки — кадеты и гардемарины — следовали за убитым горем Кургановым — «морским водителем» и «звезд считателем», как они шутя его называли, хранителем ломоносовских традиций, которые он им передавал.

И во всей этой несметной толпе, быть может, только один человек думал о будущем, о том, что настанет день — и счастливая, славная, свободная от крепостных цепей Россия вспомнит Ломоносова от северного Поморья до Черного и Каспийского морей.

Так, видимо, должен был думать, несмотря на свои молодые годы, юноша в алой епанче пажа, с бледным лицом, тонким с горбинкой, носом и задумчиво-печальными карими глазами под косым взлетом бровей.

А за много рядов от него, в шеренге морских кадетов, шагал другой подросток, чуть моложе, широкогрудый, плечистый, с лицом, горевшим от ветра, крутым подбородком и твердыми, как гранит, скулами.

Первый из них был пятнадцатилетний паж Александр Радищев; второй — капрал Федор Ушаков.

Ни юный паж, ни капрал, быть может, даже не подозревали о существовании друг друга, хотя, скорее всего, они были знакомы. Но уж конечно не думали они, что жизненные их пути когда-либо сблизятся и

что один из них отдаст все свои силы морской славе России, а другой — и самую жизнь за то, чтобы отечество его стало свободной страной.

2

«Сегодня рано он был погребен в Невском монастыре при огромном стечении народа. На другой день после его смерти граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения, в нем должны находиться бумаги, которые нежелательно выпустить в чужие руки».

Так писал о Ломоносове его злейший враг, «академик» Трауберг, другому его врагу — историку Мюллеру, находившемуся в Москве.

Граф Григорий Орлов опечатал ломоносовские бумаги потому, что этого потребовала императрица. «Санктпетербургские ведомости» по той же причине не поместили о похоронах Ломоносова ни одной строки.

Екатерина II считала излишним придавать государственное значение этой всенародной утрате. А чтобы волю ее поняли все, она в день похорон, когда люди еще несли цветы к свежей могиле, надела мундир конной гвардии и отправилась верхом в театр смотреть комедию. Воспитатель цесаревича Павла Петровича Порошин записал об этом в своем дневнике.

Опечатанные рукописи Орлов поручил «привести в порядок» своему секретарю Козицкому и поместить их «в особом покое» в его, Орлова, дворце. Неизвестно, в какой «порядок» привел Козицкий эти бумаги, но они исчезли бесследно. Среди них находилось несколько экономических статей Ломоносова, затрагивавших самый «больной» в то время крестьянский вопрос.

Вопрос этот встал перед Екатериной II в первые же дни ее воцарения и продолжал стоять, как неотвратимая «грозящая беда».

«Внутри империи, — признавалась она впоследствии, — заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начали присоединяться местами и помещичьи». Несмотря на пушки генерал-майоров Вяземского и Бибикова,

употребленные «не единожды», восстание «не унялось», пока Гороблагодатские заводы Петра Шувалова не были взяты в казну.

Волнениями были охвачены одновременно 100 тысяч крестьян церковных имений, 100 тысяч приписных, которых за сотни верст от дома гоняли на заводские работы, и 50 тысяч помещичьих, то есть всего 250 тысяч человек.

В Шадринском уезде, Исетской провинции, восстали три тысячи крестьян Далматовского монастыря. Они должны были отдавать монастырю пятую часть своего урожая, вспахивать до пятисот десятин монастырской пашни, рубить для монахов дрова, ловить рыбу, возить их товары на Ирбитскую ярмарку, варить им пиво и квас.

Братья Иван и Демид Лобовы, Филипп и Алексей Коуровы образовали «штаб» восстания. Главарем его стал крестьянин Денис Жернаков. Два отряда, вооруженные топорами, рогатинами и дубинами, отчего и самое движение получило название «Дубинщины», отрезали монастырь от Челябинска и продержали его в осаде около двух лет. Только осенью 1764 года удалось войскам покончить с восстанием, распространившимся далеко за пределы монастырской вотчины. След расправы, учиненной карателями, остался в названиях местных деревень Кнутово и Поротово. Трупы повешенных крестьян долго качались на деревьях вблизи монастырских стен.

То же самое произошло на горных заводах — Нижне-Тагильском, Ревдинском, Гороблагодатских, Верхне-Исетском, Невьянском и других. На Невьянском заводе находилось особенно много беглых, укрывшихся там от солдатчины и помещиков. Демидовы охотно их принимали, превращая в своих рабов. Этот пришлый люд сначала отсылался в так называемую «годовую избушку», выстроенную в лесу, недалеко от завода; беглых оттуда не выпускали, пока «расейский лик не превратится в невянский», — пока не отрастут волосы на голове и борода<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Избушка эта существовала до конца XIX века, и ее показывали уже как достопримечательность.



Каторжный труд, нужда и «мучительства», которым подвергались приписные уральских заводов, сделались к шестидесятым годам нестерпимыми: заводские приказчики, наказывая «провинившихся», водили их по заводу, «прижаривая у горнов», приковывали к чугунным ядрам, надевали на них железные литые шапки весом в несколько пудов.

Приписные восставали. Но это одинокое пламя вскоре гасло. Еще быстрее расправлялись власти с помещичьими крестьянами, также волновавшимися в разных местах страны. Этот подневольный люд страдал от своих владельцев не меньше, чем приписные: помещики придумали «для своих людей» целую систему истязаний — привязывание рук и ног к палке; прикладывание сургучных печатей к телу; порку солеными розгами, таволгой и крапивой; железные ошейники с гвоздями, плети из сухих воловьих жил.

Бегство было единственным выходом.

Крепостных ловили, наказывали; но они упорно бежали снова. С весны 1763 года владельческие крестьяне Псковской провинции «немалым числом» стали уходить в Польшу. Там они соединялись в большие партии, возвращались на родину и громили усадьбы крепостников.

Тысяча семьсот шестьдесят третий год вообще оказался тревожным для императрицы Екатерины. Нечто вроде заговора было обнаружено среди гвардейцев, недовольных Григорием Орловым и усилением его влияния при дворе. Возникли дела секунд-ротмистра Хитрово, капитан-поручика Гурьева и прочих. Пришлось исключить несколько человек из гвардии и разослать по разным городам империи. Почти одновременно одиннадцать рядовых Преображенского и Измайловского полков были отставлены «по высочайшему повелению» от службы в гвардии, сосланы в Темниковский уезд, Шацкой провинции, и пострижены в монашество в Санаксарском монастыре.

Настоятелем этого монастыря был иеромонах Федор, в миру — Иван Ушаков, родной дядя Федора Ушакова, обучавшегося в Морском кадетском корпусе. Отец Федор в прошлом также служил в гвардии и тоже был пострижен в монашество (в 1748 году).

Дело одиннадцати рядовых содержалось в глубокой тайне. Оно было связано с зарождением слуха, будто покойный супруг Екатерины II, император Петр III, жив и скоро «объявится». Слух этот был для императрицы крайне неприятен. Поэтому она приняла меры, и 4 июня того же, 1763 года в разных местах Москвы и Петербурга раздался барабанный бой. Народ бежал на дробь барабана, и ему читали указ, который сама Екатерина назвала «манифестом о молчании». В этом указе она советовала народу «удаляться от вредных рассуждений, нарушающих покой и тишину».

А спустя год до нее дошли еще более тревожные вести с Урала: там появился казак Федор Слудников, по прозванию «Алтынный глаз»; он объезжал горнозаводские села, называя себя сенатским чиновником и курьером Петра III, расспрашивал, как живут люди, не притесняет ли их начальство, и собирал деньги «на подъем батюшки царя».

### 3

На сельских и городских рынках давно уже появлялись товары — полотняные, шерстяные, железные и прочие, изготовленные крестьянами, которые оставили хлебопашество и перешли на оброк.

Крепостные графа Петра Шереметева, владевшего старинным селом Суздальского края — Ивановом, начали с того, что красили холсты у себя дома в горшках. Некоторые из этих «горшечников» и продававших холсты вразнос «офеней» мало-помалу сами превращались в фабрикантов, или, как их называли, «капиталистских» крестьян. Самые оборотистые из них скупали у своих односельчан продукты их ремесла, быстро богатели и, оставаясь крепостными, приобретали собственных крепостных людей — с разрешения и на имя своих господ.

Народные промыслы развивались всюду.

Многие помещики сразу оценили достоинство такого способа ведения хозяйства, когда крестьянин кровно заинтересован. Это было куда выгоднее, чем просто увеличивать барщину и оброк. А деньги становились помещику все нужнее: жизнь «роскошного века» требовала больших затрат. И возникал вопрос: не выгоднее ли

вообще труд вольнонаемный? Но вопрос этот упирался в уничтожение крепостничества и потому был самым страшным для крепостников.

Между тем с ростом вывоза за границу свободное торговое мореплавание сделалось жизненно необходимым для России. И перед нею с новой силой — уже как неотложный — встал другой вопрос, поднятый еще Петром I, — о выходе к черноморским берегам.

Старания России добиться для своих торговых судов доступа в международные воды отразились и на воспитании кадетов — будущих моряков: с 1764 года в учебную программу Морского кадетского корпуса были включены как обязательные французский, немецкий, английский, шведский и датский языки.

Капралу Федору Ушакову, как и его многочисленным сверстникам, пришлось усваивать все это сразу, вперемежку с навигацией, тактикой, астрономией, математикой и другими предметами, а также практическими занятиями по корабельной архитектуре, шлюпочному учению и проведению примерных стрельб.

Федор Федорович Ушаков родился в 1752 году, вернее всего, в родовом имении своего отца — сельце Бурнакове, Романовского уезда, Ярославской провинции. Город Романов (с 1822 года — Романов-Борисоглебск) — ныне Тутаев (переименован в 1918 году).

Год рождения Ф. Ф. Ушакова до самого последнего времени не был известен и указывался приблизительно — в пределах 1744—1745 годов. Гораздо определеннее решался вопрос о месте рождения адмирала: с легкой руки его первого биографа, Р. Скаловского, Ушаков был прочно «прикреплен» к его «родовой» деревне Алексеевке, Темниковского уезда, Тамбовской губернии, и объявлен ее уроженцем. Однако, как сейчас выясняется, верить этим биографическим сведениям нельзя.

В Центральном государственном архиве древних актов, в книге 499-й Герольдмейстерской конторы, хранится документ — «сказка», то есть показание Федора Ушакова за его личной подписью (автографом), полученная от него за неделю до его проступления в Морской корпус. Из этого документа видно, что родовым именем Ушаковых было сельцо Бурнаково, Романовского

уезда, Ярославской провинции, где Федор, видимо, и родился и где до 1761 года жил вместе со своим отцом.

Из этого же документа видно, что датой рождения его следует считать 1752 год.

Что же касается деревни Алексеевки, то она является поздним приобретением. А широко известные «тамбовские» подробности о детстве Федора (обучение грамоте у отставного матроса, охота на медведя под руководством деревенского старосты и т. д.) оказываются легендарными и, скорее всего, сочинены монахами Санаксарского монастыря, где Ушаков погребен..

Бурнаково было бедным сельцом: барский дом да двора три-четыре крестьянских «при колодцах и пруде», недалеко от Волги; церкви своей сельцо не имело и состояло в ближайшем приходе — Богоявленском. Да и сам владелец сельца отец Федора, Федор Игнатьевич, вышедший в отставку сержантом и определенный «к статским делам» в чине всего-навсего коллежского регистратора, был небогатый человек.

В одной старинной рукописи, найденной в Ярославле, говорится, что дед адмирала, Игнатий Ушаков, происходил «не от славных бояр», и сведения эти идут, несомненно, от местных, хорошо осведомленных людей. Фраза «не от славных бояр» указывает на принадлежность этой ветви Ушаковых к малоземельному и, быть может, давно обедневшему дворянству. Да и владение их в Романовском уезде было на редкость бедным для XVIII века; недаром, по сведениям сельских старост девяностых годов XIX столетия, в сельце Бурнакове насчитывалось всего два двора...

Кадет Федор Ушаков, еще до поступления в Морской корпус, не раз слышал от своих близких о Тамбовском крае, о вековых дубах на берегу задумчивой Мокши, у самых стен Санаксарского монастыря. Настоятелем его был родной дядя кадета — Иван Игнатьевич, в прошлом гвардеец, принявший в монашестве имя Феодора. Благочестивая легенда распространила слух о добровольном уходе от мира этого бывшего преобразенца, но в семье Ушаковых знали, что это не так. Было известно, что дядя Иван чем-то прогневил императрицу Елизавету и что в синодских делах хранится ее указ о его насильственном пострижении в монашест-

во. Иван Ушаков (иеромонах Феодор), видимо, и присоветовал своему брату Федору Игнатьевичу купить деревню Алексеевку, живописно раскинувшуюся вблизи озера Санаксара и стоящего тут же монастыря.

Юные годы Федора Ушакова прошли в лесной повожжской глуши. В столицу, на смотр недорослей, он прибыл весной 1761 года. Ярославское происхождение помогло ему попасть в Морской корпус, так как, по указу Петра I, туда принимали в первую очередь дворян новгородских, псковских, ярославских и костромских.

В «лапотной», то есть в простой, грубой одежде (но отнюдь не «в лаптях», как думают некоторые), рослый, сильный и неуклюжий, он первое время смущался, когда к нему обращались, и то и дело краснел. После тихого захолустья — деревенских изб и уездных домишек — здание Корпуса подавило Федора своим величием, хотя это был всего лишь двухэтажный и не очень большой дом на Васильевском острове, на углу Двенадцатой линии и набережной Большой Невы. Но фасад здания — бывшего дома фельдмаршала Миниха — хранил следы украшений, сделанных в начале сороковых годов. Карниз столярной работы изображал трофейные знамена и пушки, а фронтоны увенчивали четыре деревянные статуи. Внутри — вдоль лестничных маршей — также красовалась трофейная арматура. В комнатах стояли изразцовые печи, и блеск позолоты еще не сошел с лепных потолков...

Смущение новичка длилось недолго. Прилежный, не по годам серьезный юноша засел за морскую науку, и она крепко пришлась ему по душе. Трехлетний путь кадета от школьной скамьи первого «возраста» до производства в капралы был пройден Федором успешно и совершенно преобразил его. Черты неуклюжести, свойственной подростку, сгладились; появились плавность и достоинство движений, соединенные с силой, которой еще предстояло расти.

С необыкновенным упорством проводил он время за книгою и лишь изредка позволял себе отдых — играл на флейте; она обычно лежала у него на столе.

Однажды, когда кадеты возвращались с «ученья пушками» и уже подходили к зданию Корпуса, дорогу им пересек Суздальский пехотный полк. В воздухе

разливалась величавая песня. Потом она замерла, и ударили марш пылавшие белым огнем трубы. Трубы были серебряные; полк получил их за взятие Берлина в 1760 году.

На казачьей лошади проехал полковой командир. Первое, что бросилось Федору в глаза, были худо сшитые, высокие, до колен, ботфорты и грубого сукна гренадерская куртка; затем взгляд его скользнул по сухонькой фигурке полковника, и мелькнуло его лицо.

Русское простое лицо, добродушно-лукавое, немного грустное и вместе с тем необычайно живое. «Суворов!» — сказали в толпе. Ушаков видел Суворова впервые, но уже был наслышан об этом офицере и о его небывалом способе обучать солдат. Всю столицу облетел рассказ о случае на военном смотре. Во время маневров, когда все шло по заранее написанной диспозиции, Суворов со своими людьми внезапно ворвался в траншею «противника», нарушил диспозицию и смешал все в прах...

Рассуждая об этом, кадеты вспоминали петровский наказ офицеру: не держаться «яко слепой стены» буквы устава, ибо в уставах «порядки писаны, а времен и случаев нет».

Часто вспоминался им и другой завет Петра I, выраженный в историческом приговоре боярской думы: «Морским судам быть!»

С 1764 года началось усиление русского военно-морского флота. Международное положение было тревожным: и турки и шведы могли начать войну в любое время; морским кадетам нельзя было не задуматься над вопросом: по каким тактическим правилам будут сражаться на новых судах русские моряки?

Для умов пытливых это был вопрос спорный. Западно-европейская морская мысль предпочитала осторожность. Федора же Ушакова привлекала решительность, где бы она ни проявлялась: его восхищала тактика Суворова и царя Петра.

Воспитанники Корпуса находились под влиянием русской военно-морской школы, в то время — самой передовой в мире. Одним из ее представителей был корпусный профессор Николай Гаврилович Курганов. Он преподавал математику и астрономию, переводил с иностранных языков книги по военно-морскому и

военно-инженерному делу, а также писал стихи. Кадетам были хорошо известны его строки о ботике Петра I:

Сей ботик дал Петру в моря вступить охоту.  
Сей ботик есть отец всему Российску флоту.

Ученик Ломоносова, он защищал все русское, само-бытное, но не уважал родовитости и любил повторять слова своего учителя: «Кто родом хвалится, тот хвастает чужим».

Курганов был самостоятельный человек. В молодости, когда он преподавал астрономию в гардемаринской роте, там обучал юношей французскому языку иностранец Вентурин. Курганов тоже стал брать у француза уроки, платя ему по десяти рублей в месяц. Деньги эти были по тем временам большие, и ученик не вытерпел: он взял у Вентурина французскую грамматику, переписал ее и начал учиться самостоятельно, не прибегая более к помощи учителя и перестав ему платить. Француз пожаловался А. И. Нагаеву, заведовавшему тогда гардемаринской школой. «Граматику я велю тебе отдать,— сказал в ответ Нагаев,— а платить Курганову не из чего, ибо сам он получает едва 150 рублей в год...»

Курганов имел обыкновение рассматривать свою записную книжку и читать из нее кадетам. «Наше войско,— напоминал он им особенно часто,— с природы весьма храбро и мужественно, когда оным управляют благоразумные и храбрые начальники». И юные моряки навсегда запоминали эти золотые слова.

Курганов перевел с французского «Новое сочинение о навигации» Бугера и готовил перевод «Науки морской» другого француза — Бурде де Вильгюз. Используя богатый русский морской опыт, Курганов исправил и дополнил это французское сочинение и добавил к нему целую часть. Он сообщил в нем массу сведений по кораблестроению, навигации, артиллерии и подготовке канониров, а также описал правила эволюции<sup>1</sup> парусного флота, изложив все это более толково, чем Вильгюз.

Под руководством Курганова кадеты изучали ука-

<sup>1</sup> Эволюции — построения боевых судов; составляли основание тактики парусного флота.

зы Петра I по армии и флоту, «Регламент о управлении адмиралтейства и верфи», «Устав воинский» и «Устав морской».

Главными же пособиями в Морском корпусе были труды С. И. Мордвинова и Ф. И. Соймонова.

Лейтенант Семен Мордвинов был автором «Полного собрания о навигации» — книги учебной, написанной живо, доступно.

Дети, сему учитесь,  
Волн морских не страшитесь! —

убеждал он юных читателей в начале своего труда.

Навигатор и гидрограф Федор Соймонов описал западный и южный берега Каспийского моря и положил их на карту; издал также «Экстракт штурманского искусства» и лоцию Балтийского моря — «Светильник морской». Лоцию эту Соймонов сопроводил предисловием, объяснив в нем, что «онный светильник» — голландский, но в настоящем издании — исправленный, так как в русских водах он «весьма неясно светил».

В 1764 году вышла в переводе на русский язык книга французского ученого иезуита Госта «Искусство военных флотов, или Сочинение о морских эволюциях». Это была старая (конца XVII столетия) «тактика», прочно утвердившаяся в западном военно-морском мире. Для своего времени этот труд имел большое значение, но к семидесятым годам XVIII века он уже устарел.

Петровский «Устав воинский» гласил: «Упреждать и всячески искать неприятеля опровергнуть». «Устав морской» требовал таких же решительных действий. Труд же Госта не учил этому. В нем говорилось: «Два равных флота могут принудить один другого к бою». Было сказано: «могут принудить», но не было сказано: «должны».

Курганов отзывался об этой книге пренебрежительно. «Гостово сочинение, — писал он, — изданное тому больше 70 лет, редко кто имеет, а после того Кораблевождение и Тактика пришли в немалое совершенство».

Федор Ушаков основательно познакомился с трудом ученого иезуита, но Гост не стал его путеводной звездой...



Весной 1765 года Федор был произведен в капралы. А осенью того же года в Морском корпусе в числе кадетов появился еще один Ушаков — Александр. Отец его — Андрей Степанович — был смотрителем винных погребов «ее величества», а до этого — дворцовым лакем, каковым он числился в 1743 году.

Происходил Александр Ушаков от немногочисленной ярославско-тверской ветви этой фамилии, бывшей с ярославскими Ушаковыми «одного корня», и приходился Федору Ушакову дальней родней.

Келлермейстер Андрей Степанович в 1751 году умер, а вдова его, Акилина Павловна, около 1760 года вышла вторично замуж за чиновника Придворной конторы, Василия Кирилловича Рубановского, также овдовевшего незадолго до того.

У камер-фурьера Василия Рубановского был брат Андрей, обучавшийся вместе с Александром Радищевым в Пажеском корпусе. Андрей Рубановский, Александр Радищев и Александр Ушаков были закадычные друзья.

В 1763 году окончил Сухопутный шляхетный кадетский корпус и поступил в императорский Кабинет секретарем к Григорию Теплову Ушаков Федор Васильевич, «родом из Нижнего-Новгорода», то есть, точнее, — из Нижегородского уезда. Этот Федор Ушаков, дальний родственник морского кадета Александра Ушакова, стал «другом сердца» и «вождем юности» Радищева два года спустя.

Андрей Рубановский зачитывался в то время Вольтером и штудировал ломоносовское «Письмо о размножении российского народа», которое в списках ходило тогда по рукам. Это было уже вольнодумством. Федор же Васильевич Ушаков держался еще более передовых взглядов. Вместе с братом своим Михаилом, также окончившим Сухопутный шляхетный кадетский корпус, он бывал в доме у Рубановских и, видимо, там подружился с Радищевым. Четверо связанных родством Ушаковых хорошо знали друг друга, и возможно, что адмирал Федор Федорович во дни своей юности также встречался с Радищевым, хотя прямых свидетельств об этом нет.

Впрочем, с мая 1766 года капрал Федор Ушаков уже

не имел возможности непосредственно поддерживать свои петербургские связи, так как 1 мая этого года был выпущен из Морского корпуса мичманом и на военном транспортном судне (пинке «Наргин») ушел в дальнее плавание: Кронштадт — Архангельск — Кронштадт.

4

«Господин губернатор Головцын,— писала Екатерина II в Архангельск в июне 1766 года.— Извольте выбрать в вашем месте двух купеческих детей лучших, ежели можно, домов, лет от одиннадцати, которые бы были дети доброй надежды... Оных пришлите ко мне, а я их намерена послать в Англию для обучения коммерции...»

Годом раньше, по распоряжению обер-прокурора Синода И. И. Мелиссино, были выбраны из разных семинарий десять воспитанников, «которые хорошую о себе подают надежду», и также посланы в Англию, «дабы в университетах Оксфордском и Кембриджском в пользу государства обучаться могли наук».

С начала шестидесятых годов почти не прекращались такие командировки русских одаренных юношей. Этого требовали развитие научных и технических знаний в России, ее промышленный и культурный рост.

Одним из первых был послан за границу Василий Баженов. Великий русский зодчий провел два года в Париже, получил от короля Людовика XV предложение остаться во Франции, но отверг его и вернулся на родину в 1765 году.

Почти в одно время с ним был командирован в Глазго студент Московского университета Семен Десницкий, впоследствии прозванный «праотцем русского законовещения». Между прочим, он первый поднял голос в защиту женского равноправия в России и одним из первых стал читать лекции на русском языке.

В 1762 году два ученика Ломоносова — Иван Лепехин и Алексей Поленов — отправились в Страсбург: один — для завершения естественно-исторического образования, другой — для изучения юридических наук.

Екатерина II, стараясь придать вид законности

своему крепостническому правлению, задумала завести в России европейски образованных юристов, подготовив их из русских, вполне благонадежных людей. С этой целью она решила послать в Лейпциг для обучения в тамошнем университете наиболее одаренных воспитанников Пажеского корпуса. Просмотрев список пажей, она наметила шестерых из них, в том числе Рубановского и Радищева. Против каждой фамилии Екатерина поставила кружок...

Александр Николаевич Радищев родился (20) 31 августа 1749 года, по одним сведениям — в селе Верхнем Аблязове (нынешнего Кузнецкого района, Саратовской области), по другим — в Москве<sup>1</sup>.

Отец его, Николай Афанасьевич, имел землю в уездах: Пензенском, Костромском, Боровском, Клинском и Московском. Самым крупным из этих имений было пензенское — село Верхнее Аблязово, а наименьшим — деревня Немцово под Малым Ярославцем. Крестьян у Н. А. Радищева было более 2 тысяч душ.

Николай Афанасьевич служил в лейб-гвардии Преображенском полку, куда был выпущен в 1738 году из Сухопутного шляхетного кадетского корпуса. До нас дошел выданный ему при окончании корпуса аттестат:

«Немецкого языка учит вокаболы и разговоры, арифметику знает, геометрии все части, тако ж и тригонометрию окончал, рисует позитуры тушью нарочито<sup>2</sup>, фехтует и танцует посредственно; поведения посредственного».

По этому аттестату следует сделать вывод, что Н. А. Радищев был человек способный и — даже более того — одаренный. Его внук Павел впоследствии писал о своем деде, что он был «довольно образован», знал языки: французский, латинский и польский; нрав же имел крутой.

Первенца своего Александра он до семилетнего

---

<sup>1</sup> Вопрос о месте рождения А. Н. Радищева до сих пор остается открытым. Можно только сказать, что московская версия имеет явное преимущество перед аблязовской. Но под «Москвою», возможно, следует здесь понимать не город, а Московскую губернию, и скорее всего — Малоярославецкий ее уезд.

<sup>2</sup> Рисует позитуры... нарочито — отменно, превосходно рисует положение человеческого тела.

возраста держал в деревне, вернее всего — в старом дедовском родовом гнезде — Немцове, где «современницы детства» Радищева-сына — три грустные березы при въезде в усадьбу — запомнились мальчику навсегда.

В память врезалось многое: порка дворовых в окрестных усадьбах, слезы деревенских обездоленных ребятишек и глухой гром пушек, паливших по возмутившимся на полотняной фабрике крепостным. Владел этой фабрикой Афанасий Абрамович Гончаров, дальний родственник Радищевых. Гончаровские крепостные отчаянно «бунтовали». Тогда в небе Немцова трепетали зарницы крестьянской войны.

Потом промелькнули годы в московском богатом доме Михайлы Аргамакова, родственника матери.

В 1762 году Александра удалось определить в Пажеский корпус. Его привезли в Петербург, и он начал новую жизнь в столице, в отведенном для пажей старом Зимнем деревянном дворце.

Там они жили и учились. Им подавали обед не позже двенадцати часов дня, а ужин — девяти часов вечера, чтобы они могли поспеть во дворец и «служить за высочайшим столом». А «служить» приходилось бесшумно: вся посуда была серебряная, и пажи хорошо знали, что ожидает их, если вдруг нечаянно зазвонят тарелками, — за это жестоко секли.

И они беззвучно скользили по зеркальным полам в своих зеленого сукна мундирах с красными обшлагами, дутыми желтыми пуговицами и золотыми петлицами, с буклями в пудре и косичками, уложенными в «кошельки».

Был у пажей и другой мундир — парадный. Он стоил семьсот рублей, хранился в придворной кладовой и выдавался лишь в торжественных случаях. Необыкновенно богатый, из светло-зеленого бархата, он был шит по всем швам золотом, отчего и пристала к пажам кличка «золотые господа».

Потом их перевели ближе к дворцу, в каменный двухэтажный дом, выходящий фасадом на Мойку, и ввели в их программу занятий «сочинение коротких комплиментов, принятых в придворном кругу».

Ни из окон деревянного Зимнего дворца, ни из камен-

ного дома, смотревшего фасадом на Мойку, нельзя было увидеть русскую действительность. Да и, казалось, зачем ее видеть «золотым господам»?.. Но именно поэтому и пал на них выбор императрицы, когда она решала, кого из юношей послать в Лейпцигский университет. Ей нужны были «свои» законники, а в пажах она не сомневалась и возлагала на них надежды. Ей не приходило в голову, что тут может быть просчет.

Между тем Александр Радищев, проведя почти все свое детство в деревне, достаточно хорошо знал, что такое крепостной строй. Но он не только видел и наблюдал это бесправие, которое почему-то называли «правом», но еще мучился от стыда за свою родную страну. И, готовясь к дальней поездке, он не переставал думать о своем несвободном отечестве и о возможных путях его к свободе, размышляя об этом наедине с собою и в кругу друзей...

В конце сентября 1766 года были выданы заграничные паспорта русским юношам, посылаемым в Лейпциг императрицей. Каждый из них по своему возвращении должен был стать послушным орудием в ее руках.

Но «дети доброй надежды» отнюдь не все желали готовить себя к этой роли. Один же из них стал впоследствии надеждой новой России, с полным правом заслужив имя «гражданина будущих времен».

## Глава вторая

### «ДЛЯ СЛАВЫ НАРОДА И ПОЛЬЗЫ ОБЩЕСТВА»

Русские так даровиты и тому имеет столько свидетельств, что они догонят и превзойдут в промышленном отношении свободные народы, если когда-либо получат свободу.

*Левек, «История России» (1782)*

#### 1

Тимофей Иванович фон Клигштедт, вице-президент Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел, был, кроме того, вице-президентом и одним из основателей

Вольного экономического общества, учрежденного при поддержке императрицы в 1765 году.

Не многие знали, что мысль об основании такого общества была подана Ломоносовым, но и те, кто знал об этом, предпочитали молчать. Великий ученый-патриот, излагая эту мысль незадолго до своей кончины, заботился о «приращении общей пользы», о том, чтобы «всякие люди» участвовали в изучении «экономии» государства и подавали сведения «о погодах и урожаях, о недородах и пересушках»; он считал, что «сельское домостроительство всех нужнее», и придавал большое значение народным промыслам — «деревенским ремесленным делам».

Целью же нового «содружества» являлось поднятие доходности помещичьего хозяйства. Граф Григорий Орлов, граф Чернышев, граф Апраксин, князь Голицын и князь Барятинский были учредителями этого общества. Впрочем, опорой его вскоре стали не именитые, но зато более хозяйственные помещики — Болотов, Левшин, Рычков.

Фон Клингштедт был предприимчив. Русское помещичье дворянство нашло в его лице деятельного проектера, выдвинувшего ряд необычных мер. По его предложению были учреждены премии для поощрения кустарных промыслов; так, за лучшее изготовление пяти фунтов тонкой пряжи выдавалось подвенечное платье или тридцать рублей серебром.

В первой книге «Трудов», которые стало издавать новое общество, была поставлена задача: какой из хлебных злаков более всего соответствует распространению русской коммерции и размножение какого из них должно быть поощрено?

Сам Клингштедт ответил на этот вопрос так: пригоднее всего для заграничного сбыта пшеница — ценный и наиболее употребляемый в зарубежных странах хлеб; что же касается России, то употребление белого хлеба простым народом надо считать видом роскоши, «с которым можно сравнить употребление шампанского и бургонского вина знатными людьми».

Слова эти означали, что усиленный вывоз пшеницы якобы не принесет большого вреда государству, так как простой народ все равно не может ее потреблять.

Высказав эту мысль, Клингштедт изложил и другую — еще более вредоносную — о превращении России в «хлебный магазин» западноевропейских стран.

Предложение вице-президента получило дружную поддержку. Но дело было тут не в силе его доказательств, а совсем в другом. Англия, обычно вывозившая на десятки тысяч фунтов стерлингов пшеницу, именно в этом, 1765 году принуждена была разрешить ее ввоз. Лишение крестьян земли и образование пролетариата в связи с началом промышленного переворота резко сократило в Англии производство собственных зерновых продуктов и вызвало спрос на иноземный хлеб.

Поэтому в 1766 году Великобритания заключила торговый договор с Россией, и первое место в русском вывозе заняла пшеница, подобно тому как ранее занимала его пенька.

Южнорусский чернозем, южные районы и порты с новой силой приковали к себе внимание русского господствующего класса, и вопрос о выходе России к Черному морю встал перед ним с еще большей остротой.

Эта задача внешней политики занимала умы русских дипломатов, в то время как другая задача — политики внутренней — волновала помещиков-крепостников: спрос на русский хлеб за границей должен был повысить его производство; но было неясно, каким путем это можно сделать; противоречия давно раздирали среду русских феодалов, и вот назрел вопрос, ставший наконец предметом спора: какой труд для помещика выгоднее — вольнонаемный или крепостной?

В ноябре 1766 года Вольное экономическое общество, по указке императрицы, объявило конкурс на лучшее решение задачи: «Что полезнее для общества, чтобы крестьянин имел в собственности землю или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или другое имение простираются должны?» В страхе перед народным движением Екатерина предлагала задачу: имеет ли крестьянин право владеть собственностью? Иначе говоря, это была задача о крепостном праве: выгодно ли оно помещикам и быть ли ему по-прежнему или его надо отменить?..

Спустя ровно год члены Вольного экономического

общества приступили к рассмотрению ответов. Они были получены от русских и многих иностранных авторов — общим числом сто шестьдесят два.

Все ответы были присланы под девизом, часть которых оказалась до того смелыми и колкими, что это поставило членов жюри в тупик.

Так, на одном из пакетов стояло: «Наконец-то дождались!»

На другом: «Доброжелатель вельмож, но не враг и народа».

На третьем: «Крестьянин питает всех».

Один ядовитый автор намекал на опасность сохранения крепостного права: «Егда благо плывеши, паче вспоминай бурю».

Лучшим было признано сочинение под девизом: «В пользу свободы вопиют все права, но есть мера всему».

Два представленных на конкурс ответа общее собрание уничтожило. Что заставило его пойти на такую меру и кто прислал эти рукописи, осталось навсегда тайной; известно лишь, что они были написаны на немецком языке.

Автором сочинения, признанного наилучшим, оказался «доктор церковных и гражданских прав» в Аахене, французский экономист и агроном Беарде де л'Абей.

Благонамеренный «доктор» заявлял в начале своей работы, что он не намерен исследовать, «каким образом начались общества», ибо это значило бы «подвергать сомнению права царей». Причисляя в общем крепостное право, он писал, что крестьянин в рабском состоянии напоминает «медведя», а в свободном — «ласковую собачку», и советовал обратить крепостных в кабальных арендаторов, на особых условиях пользующихся землею своих «господ».

Во второй разряд премированных сочинений попала «российская пиеса под номером 148». Автором ее был ученик Ломоносова Алексей Поленов, вернувшийся из-за границы в 1767 году.

За пять лет до того он был послан Академией наук в Страсбург для получения юридического образования. Он остался верен заветам своего великого учителя и



писал из Германии: «Учусь, чтобы всевозможно служить своему отечеству». Но он не был уверен, что ему дадут «служить отечеству» враги Ломоносова, и даже боялся поддерживать переписку с ним.

В Страсбурге он много работал, слушал университетские лекции и, видимо, встречался с молодым Гёте, также посещавшим в те годы Страсбургский университет. Но жизнь на чужбине не пришлась по душе Поленову. Побывав в Страсбурге, Тюбингене и Геттингене, он пришел к выводу, что большая часть немецких студентов живет безобразно, и отозвался с презрением об их «развратном житье».

Сам же он упорно трудился, занимаясь изучением «российских законов» и все более убеждаясь, что они нуждаются в изменении. «Разбираю я указы и уложения,— писал он об этом,— и, кроме беспорядка, замешательства, недостатка и несправедливости, ничего почти не нахожу».

Возвратившись в июне 1767 года на родину, он решил испытать свои силы на конкурсе, объявленном Вольным экономическим обществом, и, написав на заданную тему работу, успел представить ее в срок.

Не в пример Беарде де л'Абею, обошедшему вопрос о том, «как начались общества», Поленов расширил свою задачу и разработал «исторический» раздел. Глава эта, названная им «О происхождении рабского состояния», объясняла рабство прямым следствием войн.

Точно так же и крепостное состояние он приписывал «насилъствию». На главный же вопрос — о крестьянской собственности в России — отвечал: «Крепостной наперед знает, что от своих трудов никакой пользы не получит. От владеющих же собственностью крестьян все государство будет чувствовать великое облегчение: доходы его несравненно возрастут».

Поленов настаивал на запрещении продавать крепостных, считая этот запрет вопросом чести для своего отечества. «Прежде всего,— писал он,— должно помышлять, чтоб для славы народа и пользы общества вывести производимый человеческою кровию бесчестный торг».

«Российскую пиесу под номером 148» жюри поставило «включить во второй класс и удостоить опреде-

ленных тому классу преимуществ», кроме... печатания. Поленовская статья увидела свет только спустя столетие — в 1866 году.

Впрочем, сочинение Беарде де л'Абея также не было напечатано. Тем и кончился первый акт «отвратительной фарсы», поставленной по указу императрицы. Но она уже готовила — и притом с несравненно большею пышностью — столь же отвратительный акт второй.

## 2

Тридцать первого июля 1767 года в Большом Кремлевском дворце, в Москве, приступила к работе «Комиссия о сочинении проекта нового Уложения», то есть новых законов. Она состояла из 565 представителей, выбранных от всех сословий, кроме крепостных крестьян.

Страх перед ними, — как бы они «против воли помещиков сами не взяли свободы», — и заставил Екатерину II поставить этот лицемерный спектакль.

Члены Комиссии (депутаты) получили от императрицы «Наказ», которым должны были руководствоваться. Екатерина выступала в нем как просвещенная монархиня, последовательница французских энциклопедистов, открыто говоря, что для этой цели она «обобрала Монтескье».

Менее известно, что она обобрала не только Монтескье, но еще и Ломоносова. Среди бумаг великого ученого, опечатанных после его смерти Орловым, находились записки, касающиеся «приращения общей пользы», бесследно исчезнувшие с тех пор. Бумаги эти, несомненно, попали в руки Екатерины, и она пользовалась ими при утверждении устава Вольного экономического общества и при составлении «Наказа». Одна из этих ломоносовских статей — рукопись «Письма о сохранении и размножении Российского народа» — в особенности повлияла на текст «Наказа» и даже дала название XII его главе.

В отношении Комиссии тактика Екатерины II была несложной: как можно больше красивых слов и чтобы они расходились с делом!.. Поэтому она писала о равенстве всех граждан перед законом и одновременно из-

давала указ, запрещающий крепостным жаловаться на «господ».

А «первые» люди, вельможи, которым она поручила быть распорядителями этого спектакля, понимали ее с полуслова. Инструкция же императрицы мало отличалась от ее позднейшего материнского наставления цесаревичу Павлу: «Чего дети повелительным голосом требовать будут, того не давать!»

И все же работа Комиссии должна была стать крупным событием общественно-политической жизни России, ибо государственные крестьяне, пахотные солдаты и однодворцы впервые получили возможность громко пожаловаться на свою судьбу.

Депутатам полагалось жалованье, и они пользовались привилегиями: на всю жизнь освобождались от смертной казни, пытки, телесного наказания и конфискации имущества; кроме того, получали золотую медаль «для ношения ее на золотой цепи».

Для ведения протоколов, или «дневных записок», Комиссии был определен целый штат «особливых дворян с способностями». В их число вошли молодые русские люди, ставшие впоследствии известными и знаменитыми: капитан Михайла Кутузов и сержант Гавриил Державин, а также писатели: Михаил Попов, Александр Аблесимов, Николай Новиков.

Среди депутатов тоже были ученые и литераторы: сын «токаря Петра Великого», Нартов, историки — князь Щербатов, Миллер и другие. В список членов Комиссии первыми были записаны: генерал-лейтенант Бибииков, князь Вяземский и графы Шувалов, Орловы, Воронцов, Строганов. Далее следовали именитые купцы, чиновники и представители других сословий империи, в том числе — депутаты казачьих войск. Один из них — Тимофей Падуров — впоследствии столкнулся с Бибииковым в совершенно другой обстановке, в разгар крестьянской войны...

На первом заседании, когда выбирали «маршала» (председателя) Комиссии, произошел «некоторый род малого шума», в связи с тем, что выдвинутый кандидат на это место Бибииков был известен как лютей усмиритель приписных.

Тем не менее булава — знак маршальского достоин-

ства — досталась Бибикову. После этого начались речи депутатов, большею частью — горестные речи о крестьянских бедствиях и нужде.

Английский посланник Каткарт и несколько его соотечественников, упросив графа Шувалова, были допущены на верхнюю дворцовую галерею и наблюдали оттуда заседание Комиссии через забранное решеткой окно.

«...То, что я из него видел, — сообщал Каткарт своему министру иностранных дел, — по мнению моему, не уступает ни по размеру, ни по великолепию плану, составленному Иниго Джонсом<sup>1</sup> для Уайтхолла<sup>2</sup>... Нас ввели в галерею, расположенную над комнатой, где происходило заседание, и отделенную от нее решеткой. В эту минуту заседание еще не начиналось; знакомые мне лица были по большей части военные, одетые в мундиры и украшенные знаками различных орденов... Комната казалась до того наполненной, а различные группы были до того заняты разговором, что невозможно было смотреть на собрание, не вспомнив о пчелином улье. Трон императрицы занимает одну часть комнаты; на противоположном конце и по обеим сторонам расставлены скамьи, как в нашей палате депутатов; налево от трона поставлен стол; подле него — стул для председателя Комиссии, руководящего ходом дела, и другой — для генерал-прокурора, который заседает в качестве члена, назначенного со стороны императрицы, и имеет право делать заявления от ее имени в случае, если бы были нарушены основные законы.

Члены размещены по губерниям, причем из каждого уезда выбран дворянин, купец или ремесленник и свободный крестьянин, и так как места занумерованы, то они садятся в таком порядке. Духовенство имеет лишь одного представителя, который помещается направо от трона.

При открытии заседания все заняли свои места, после чего воцарилась полнейшая тишина... Председатель, генерал-лейтенант, весьма воинственной наруж-

<sup>1</sup> Иниго Джонс — один из лучших английских архитекторов XVII века.

<sup>2</sup> Уайтхолл — здание заседаний палаты лордов в Лондоне.

ности и кавалер ордена Белого Орла, не имел ни мешка<sup>1</sup>, ни трости, но, вставая для того, чтобы говорить, брал в руки булаву, называемую маршальским жезлом...»

Человек «воинственной наружности» делал все возможное, чтобы угодить императрице и соблюсти в зале «надлежащую благопристойность, тишину и молчание». И людей, собравшихся для того, чтобы потолковать о законах, при обсуждении их заставляли молчать...

Комиссия заседала в Кремле до конца 1767 года, а с февраля следующего года — в Петербурге, в Зимнем дворце.

Там-то и разгорелись самые горячие споры, особенно вокруг выступления депутата Коробьина, смело подавшего голос за улучшение быта крепостных.

В прениях выступили 17 депутатов, причем пятеро из них поддержали Коробьина и 12 были против. Один же из возражавших ему заявил, что «сказанное здесь может разгласиться и вызовет, пожалуй, неповиновение своим господам».

Князь Щербатов доказывал дворянское право на крестьянский труд «древней заслугой» дворян Российскому государству, но депутат Хоперской крепости Олейников возразил, что «во время сражения с неприятелем рядовые казаки такую же кровь венчаются, какою и предводители, но рядовые производят и больше действий».

Депутаты жаловались на жестокость помещиков и «отягощение» крестьян.

Но как только речь заходила об освобождении крепостных от власти помещиков, маршал вставал и ударял о край стола булавою.

После этого снова водворялись «надлежащая благопристойность и молчание», и депутатские жалобы теряли прежнюю свою остроту.

Купцы жаловались на «капиталистских» крестьян, явно прокладывавших себе дорогу в «купечество». Так, шуяне требовали пресечь «крестьянские торги и за-

<sup>1</sup> Традиционный «мешок с шерстью», на котором сидит спикер в палате лордов; символ благосостояния Англии, основанного на вывозе шерстяных изделий.

воды, так как крестьяне совсем сами делаются купцами, а купцов доводят, чтобы и совсем их не было». Того же требовал и депутат города Уфы — Подьячев. Но выборный от Уфимского казачьего войска Бурцов ответил ему, что от местных крестьянских ремесел «купечеству нет ни малейшей обиды, тогда как народная польза весьма велика...»

Николай Новиков — «держатель дневных записок», — служа в Комиссии, познакомился со множеством вопросов, которые выдвигала жизнь. Здесь открылись ему «язвы общества» и подлинные нужды народа, и тут же зародилась у него идея начать борьбу с темными силами сатирическим пером.

«Держатель дневных записок», унтер-офицер Преображенского полка, твердо знал, что ему делать. А маршал Комиссии, генерал-лейтенант Бибилов, был в полной растерянности — «ума не мог приложить». Он в ужасе писал, что «его окружают бездны», так как некоторые из депутатов, увлеченные вольнодумством, уже пытаются «предписывать законы верховной власти». Но жизнь выручила его.

18 декабря 1768 года императрица прервала работу Комиссии в связи с нарушением мира Турцией. Был сделан вид, что Комиссия распущена на каникулы. На самом же деле она была разогнана навсегда.

### 3

Петр I говаривал, что за каждый квадратный фут моря он готов отдать квадратную милю земли.

Это было, разумеется, фразой, и Петр вовсе не собирался выменивать сушу на море; но слова его отражали действительный «водный голод», испытываемый Россией, и ее стремление вырваться на морской простор.

Вопрос о свободе судоходства по Черному морю, поднятый русским правительством в конце XVIII века, до того всполошил турок, что они одно время даже готовились начать землекопные работы, чтобы засыпать Еникальский<sup>1</sup> пролив.

<sup>1</sup> Керченский.

Переполох этот был вызван дипломатическим шагом Петра I, который, завоевав Азовское побережье и положив в Воронеже начало большому русскому военно-морскому флоту, снарядил в Константинополь первый отечественный военный корабль. В сентябре 1699 года русское 46-пушечное судно «Крепость» бросило якорь против самого сераля султана и произвело пушечный салют. Думный дьяк Емельян Украинцев прибыл на этом судне в Константинополь в ранге чрезвычайного посланника. Он имел наказ Петра I добиваться свободного плавания по Черному морю для русских судов.

Но «султанова величества тайных дел секретарь» Александр Маврокордато объявил Украинцеву, что «Черное море называется у них чистая, непорочная девица, потому что никому не откровенно<sup>1</sup> и плавание кораблям не позволено», и что Порты смотрит на Черное море как на свой внутренний двор.

Между тем, объявляя себя единственно законными владельцами Черного моря, турки обнаруживали плохое знание истории или, быть может, намеренное забвение ее: появившись на берегах Босфора всего лишь в середине XV века, они были недавними пришельцами на этой земле и водах, в то время как предки русских людей — славяне — господствовали там почти с незапамятных времен.

Таковыми же недавними пришельцами, как турки на Босфоре, были подвластные турецкому султану татары в Крыму. Крымская орда, выдвинутая как форпост Порты в причерноморские степи, жила набегами и работорговлей, угоняя тысячи пленных из Южной Украины, Белоруссии, Польши, Литвы. Жизнь населения на русском юге проходила под вечной угрозой татарских набегов. Крымские города Кафа (Феодосия), Бахчисарай, Карасубазар и Гезлев (Евпатория) были невольничьими рынками, где продавались скованные по десятку украинцы, русские, белорусы, поляки, литовцы. Главным из этих рынков была Кафа, о которой историк XVI века Михалон Литвин писал: «Не город, а пучина, поглощающая нашу кровь».

---

<sup>1</sup> То есть не открыто.

Но украинская вольница — казаки Запорожской Сечи в первой половине XVII века еще продолжали удерживать за собой Черное море, во всяком случае временами они на нем почти господствовали, как свидетельствует английский посланник в Константинополе Томас Рой.

Так, 1 июля 1622 года он занес в свой дневник:

«Татары пошли опустошать Польшу, а казаки пустились в Черное море и захватили много турецких кораблей. Кафа находилась в великой опасности, даже в самой Порте была тревога».

Еще более яркую запись сделал тот же Томас Рой 20 июля 1624 года — два года спустя:

«9 числа сего месяца козаки на 70 или 80 ладьях (чайках), в каждой по 50 человек гребцов и воинов, пользуясь тем временем, когда капитан-паша отправился в Крым, на рассвете вошли в Босфор... Галиль-паша в эту неурядицу сам провозгласил себя вождем; не имея ни одной галеры готовой и вооруженной, собрал все наличные суда, лодки и баржи, вооружил их и поместил в них от 400 до 500 человек, которые могли быть воинами или гребцами. Конницу и пехоту в 10 000 человек разослал для защиты берегов... Мы думали, что эти бедные пираты тотчас удалятся, но они, заметив приближающиеся к ним турецкие лодки, сомкнулись по середине канала близко замков и, выстроившись в полукруг, стояли в ожидании битвы; ветер был противный, и сами они напасть не могли. Галиль-паша дал приказ открыть огонь еще издали; козаки не отвечали ни единым выстрелом, только подплывали то к одному, то к другому берегу, не показывая ни малейшего признака к отступлению. Паша, видя их ловкость и отвагу, боялся напасть на них... Таким образом, целый день до захода солнца они смело стояли и грозили великой, но тревожной столицей света и всему ее могуществу; наконец, с своею добычею при развешивающихся знаменах, удалились...»

Эту традицию постоянного военного превосходства над турками блестяще продолжили в XVIII веке русская армия и флот.

В свою очередь Порты упорно продолжала считать Черное море своим двором или домом. А к ее



упорству постепенно присоединялись происки европейских морских держав.

Опасаясь соперничества русских судов со своими судами на Средиземном море, эти морские державы открыто сталкивали с Россией турок и крымских татар — их вассалов.

И когда в 1769 году, зимой, крымцы подвергли Украину опустошительному набегу, при ханском войске в качестве «наблюдателя» оказался французский резидент в Бахчисарае — барон де Тотт...

### Глава третья

#### «ЧЕЛОВЕКСЛЮБИВОЕ МЩЕНИЕ»

Руби столбы — заборы повалятся.

*Пугачев*

#### 1

Зимним утром 1770 года на площади многолюдного и богатого села Иванова собралась толпа. Бабы, стуча ведрами, пытались прорваться к колодцу и бранили людей графа Шереметева, которые не давали им подойти к срубам. А графские люди имели указ — никого к колодцу не допускать.

Ночью граф с семейством прибыл по санному пути из Москвы и первым делом объявил, что «берет на себя» лучший в селе колодец. Это была мера предохранения от заразы, так как в Москве вспыхнула чума.

«Черная гостья» появилась сначала на Введенских горах, в Лефортове, а спустя месяц уже свирепствовала в центре города, на Большом Суконном дворе.

Третий год уже шла война. Русское оружие всюду блистательно одолевало турок: армия их была разгромлена при Кагуле, а флот сожжен брандерами при Чесмё. Но русско-турецкая война сопровождалась страшным и опустошительным бедствием — заразной «моровой язвой». Комиссия, созданная в Москве для борьбы с чумой, писала по этому поводу Екатерине II:

«Сколь ни обширны были земли и моря, объятые пламенем войны, и сколь ни многочисленны были неприятели, — повсюду следы победоносного воинства

российского блистали трофеями. Но с таковою видимою силою магометан соединялся из недр суеверного сего народа невидимый неприятель, требующий сугубого сопротивления, непостижимым образом поражавший иногда наши войска...»

Среди врачей, подписавших этот доклад, был штаб-лекарь Данило Самойлович, отпущенный по болезни из Дунайской армии и по личной его просьбе направленный в самую опасную по зараженности московскую больницу, куда никто из врачей не хотел идти.

Главный врач Московского генерального госпиталя — Афанасий Шафонский — засвидетельствовал, что Самойлович «по собственному желанию, будучи еще и сам в слабом здоровье, из усердия и ревности к отечеству принял на себя пользование язвенных и всю при том сопряженную опасность».

Вскоре Самойлович заразился. Однако выздоровел и пришел к убеждению, что, однажды переболев чумой, следует уже не так ее бояться... Его самоотверженная деятельность возобновилась. Симонов монастырь, где он работал, представлял страшную картину, но штаб-лекарь оставался на своем посту.

Он призывал врачей прежде всего испробовать на самих себе новые средства борьбы с болезнью и положил начало этой благородной русской традиции, подавая пример другим. Он испытал на себе изобретенный им курительный порошок для обеззараживания зачумленной одежды; этот летучий состав оказался настолько едким, что на обеих руках испытателя появились ожоги и затем — до конца жизни — остались рубцы.

Между тем надвигались грозные события. Большинство помещиков бежало в свои подмосковные имения, оставив своих дворовых людей в Москве на произвол судьбы. Часть фабрик была закрыта, и вольнонаемный рабочий люд уволен. На крепостных же мануфактурах мастеровых заперли и никуда не выпускали. Московский генерал-губернатор П. С. Салтыков закрыл торговые бани. Ремесленники не могли сбывать свои изделия из-за карантина. Цены на съестные припасы быстро росли.

Войска были выведены из Москвы. Порядок в городе поддерживался помощником главнокомандующего

генералом Еропкиным; у него было 150 солдат и 2 пушки. А народ говорил, что в Москве — не чума, а горячка, что лекари морят людей в карантинах, и толпился в ежедневных крестных ходах, которые устраивали попы.

Шестнадцатого сентября 1771 года толпа, раздраженная вмешательством архиерея Амвросия, убила его, ворвавшись в Донской монастырь. Генерал Еропкин подавил волнение, пустив в ход у Спасских ворот Кремля пушки. Современник событий — А. Т. Болотов — сохранил об этом страшный рассказ: «...Велел он (Еропкин), — записал Болотов, — выстрелить для единого устрашения, одними пыжами и направив выше голов; и они увидели, что никто из них не убит, не ранен, то, возмечтав себе, что не берет их никакая пуля и пушка и что сама богоматерь защищает и охраняет их, с великим воплем бросились и повалили прямо к воротам. Но несчастные того не знали, что тут готовы были уже и иные пушки, заряженные ядрами и картечами; и как из сих посыпались на них сии последние, а первые целые улицы между ими делать начали, перехватывая кого надвое, кого поперек, и у кого руку, у кого ногу или голову отрывая, то увидели, но уже поздно, что с ними никак шутить были не намерены...»

На месте осталось около ста человек.

Участниками «чумного бунта» в Москве явились главным образом фабричные рабочие, а также дворовые люди и крестьяне. Это был первый гром великой грозы собиравшейся над Россией. Недаром Григорий Орлов предложил весной 1772 года вывезти в уездные города все крупные московские фабрики, «ибо Москва отнюдь не способна для фабрик», а Салтыков спрятал у себя дома язык набатного колокола, возвестившего восстание во время чумы.

## 2

Двадцать девятого августа 1772 года, в день, когда обычно совершалось поминовение павших на поле брани, в Петропавловском соборе, в присутствии императрицы, цесаревича Павла и членов Адмиралтейств-коллегии, архиепископ Платон говорил слово — похваль-

ную речь русским военно-морским силам, истребившим при Чесмѣ турецкий флот.

Рота гардемаринов доставила в крепость флаги и вымпелы, и члены Адмиралтейств-коллегии, флагманы и командиры, взяв эти трофеи, сложили их у намогильного камня с надгробием Петру.

«Известно,— звучал под сводами собора раскатистый голос Платона,— что держава наша со всех сторон окружена морями, да и соседями, кои теми морями владычествовали. Россияне по нещастию тогдашних времен на сие взирали невнимательным оком... И когда мы таким образом дремали, недоброжелатели не без удовольствия внутреннего взирали на сие и, чтоб не пробудились мы, крайне опасались... Петр начал созидать морские плавающие крепости и составил из них великий Российский флот...

Восстань и насладися плодами трудов твоих! — продолжал, возвышая голос, ритор.— Флот, тобою устроенный, уже не на море Балтийском, не на море Каспийском, не на море Черном, не на океане Северном. Но где? Он на море Медитерранском<sup>1</sup>, во странах востока. во Архипелаге, близ стен константинопольских, в тех то есть местах, куда ты нередко око свое обращал и гордую намеревал смирить Порту... Но слыши! Мы тебе, как живому, вещаем, слыши! Флот твой во Архипелаге, близ берегов азийских Оттоманский флот до конца истребил!..»

Потом рассказывали: юный Павел, слушая эту речь, испугался, что прадед и впрямь встанет, а один из вельмож — гетман Разумовский — шепнул соседу, указывая на Платона: «Чого він його кличе?.. Він як встане, то усім нам достанеться!..»

Этот анекдот и речь архиепископа передавались из уст в уста.

Дошли они и до канцелярии Сената, где бывший лейпцигский студент, Александр Радищев, томился в должности протоколиста без малого уже год<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> На море Медитерранском (от лат. mare Mediterraneum) — на море Средиземном.

<sup>2</sup> О речи архиепископа Платона на праздновании годовщины Чесменской победы Радищев вспоминает в своем «Путешествии из Петербурга в Москву».

Радищев и два его друга — Алексей Кутузов и Андрей Рубановский — возвратились из-за границы на родину в середине октября 1771 года, когда волнения, вызванные чумою, еще не совсем утихли в Москве. Полные сил и надежд, рассчитывая найти в России применение своим знаниям и способностям, они очень быстро разочаровались, увидев вокруг ужасы крепостного права, взяточничество, казнокрадство и полную невозможность прожить честным трудом.

Не имея других средств к жизни, Радищев и Рубановский поступили на службу — протоколистами в 1-й департамент Сената, куда в это же время определился и Алексей Поленов — на должность секретаря.

Кутузов был определен в 3-й департамент — также на «протоколистскую должность», и все трое пожалованы чинами титулярных советников, что было отмечено в февральском протоколе присутствия Герольдмейстерской конторы за 1772 год.

Начальником канцелярии Сената был генерал-прокурор А. А. Вяземский. «Думать» его подчиненным не полагалось. Но «думать» — и притом смело и самостоятельно — было для молодого Радищева равносильно понятию «жить».

И, размышляя о Петре I, о победах русских войск и флота на Дунае и в Архипелаге и сопоставляя все это с «великим отягощением» и «рабским состоянием» народа, он додумался до того, что «самодержавие есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние», и позднее внес эту мысль в примечания к своему переводу книги о греческой истории аббата Мабли.

Глухие раскаты грозы, идущей с окраин государства, доносились в столицу: в Яицком городке казаки убили генерала Траубенберга; беспокойно было на Кавказе; в разных местах появлялись самозванцы; то там, то здесь крепостные прирезывали помещиков и сжигали усадьбы своих господ.

Предгрозье чувствовалось и в статьях выходивших в столице сатирических журналов. Они бичевали «язвы общества» — раболепство, взяточничество и бесчеловечность «благородных невежд», ходивших «в золоте и титлами надутых», владельцев тысяч душ, не имеющих души.

Журнал Н. И. Новикова «Трутень» еще в 1769 году поместил «рецепт» для больных крепостников: как последнее средство,— если ничто другое не помогало,— рекомендовалось: «дать больному принять волшебных капель от 30 до 40. Сии капли произведут то, что он сам несколько часов будет чувствовать рабское состояние и после сего, конечно, излечится».

Николай Иванович Новиков, бывший «держатель дневных записок» в Комиссии по составлению нового Уложения, вышел в отставку, ходил теперь в черном пасторском кафтане и башмаках с черными глянцевитыми пряжками, целиком посвятил себя журналистике и блистал своим боевым пером.

В том же, 1769 году ученик Ломоносова — Сичкарев — предпринял еженедельное издание «Смесь» и в двадцать пятом листе «Смеси» поместил свою «Речь о существе простого народа» — одно из самых ранних литературных выступлений XVIII века в защиту человеческого достоинства крепостных крестьян.

«Я никогда не читал,— писал Сичкарев,— похвальной оды крестьянину, так же как и кляче, на которой он пашет...

...И простой народ есть создание, одаренное разумом, хотя князья и бояре утверждают противное... Пусть народ погружен в незнании, но я сие говорю богатым и знатным, утесняющим человечество в подобном себе создании».

А в новиковском «Живописце» за 1772 год появился анонимный, потрясающий своей обличительной силой отрывок «Путешествие в\*\*\* И\*\*\* Т\*\*\*», начинавшийся словами: «...Бедность и рабство повсюду встречались со мною во образе крестьян...»

В сенатскую канцелярию непрерывно поступали дела о злодействах помещиков — истязаниях и даже убийствах ими своих крепостных. Радищев имел законченное юридическое образование и мог свободно разбираться в делах подобного рода, но был бессилен дать какому-либо из них ход. Его знания не находили себе приложения на гражданской службе. То же самое чувствовали и его друзья. Кутузов первый оставил сенатскую канцелярию и отбыл в армию. Собирался последовать его примеру и Рубановский. Радищеву при-

шлось задуматься над своею дальнейшей службой. И тут, видимо, ему подсказал выход брат его покойного друга Федора Васильевича Ушакова — Михаил.

Посланный в Лейпцигский университет вместе со своим братом Федором, Радицевым, Рубановским и другими студентами, Михаил Ушаков, «наскучив» безрадостным студенческим житьем в Лейпциге, попросился на военную службу по причине «несклонности его быть статским человеком». А в декабре 1768 года он был по указу императрицы прислан в Государственную Военную коллегия и определен подпоручиком в Тобольский пехотный полк.

Полк этот входил в состав Финляндской дивизии, состоявшей под командованием генерал-аншефа графа Брюса. Вернее всего, что Михаил Ушаков посоветовал и своему товарищу перейти из Сената в Финляндскую дивизию, и это послужило косвенным поводом для зачисления Радицева в штаб Брюса в 1773 году.

### 3

Погожим сентябрьским днем на глухом хуторе, затерянном в Уральской степи, появился отряд казаков. Впереди ехал всадник на буром коньке. Алого бархата шаровары и черная смушковая шапка с малиновым верхом были на всаднике; голубой бешмет ловко стянут в талии золотым кушаком. Сабля да пара пистолетов за поясом составляли его молодецкое вооружение. Росту он был среднего, но широк в плечах и степен; в его смугловатом лице, окаймленном небольшой, окладистой черной бородкой и усеянном мелкими конопатинками, не было ничего грозного; загоревшее на солнце, оно скорее казалось задумчивым и добродушным, а черные глаза — один был слегка прищурен — глядели как бы с усмешкой из-под шапки, сдвинутой набекрень.

Ехавший впереди — Емельян Пугачев, назвавшийся государем Петром Федоровичем, — первый осадил коня.

Его секретарь, Иван Почиталин, достал из мешка пузырек с чернилами, перо и бумагу, лег животом на землю и стал писать.

Пугачев и казаки спешили и молча стояли в отда-

лении, дожидаясь, когда Почиталин кончит. А он искал путь к сердцу народа и нашел его. Степь дышала осенними травами, и этот первый манифест Пугачева, казалось, впитал в себя запах земли, на которой его написала малограмотная рука.

«...как вы, друзья мои, прежним царям служили до капли своей до крови, деды и отцы ваши, так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю императору Петру Федаравичу...— так начинался этот похожий на песню указ.— Когда вы устоити за свое отечество, и не истечет ваша слава казачья отныне и до веку... Жаловаю я вас рякою с вершин и до уся, и землю, и травами, и денежным жалованьям, и свинцом и порахам, и хлебным провиянтам, я великой государь император, жалуя вас, Петр Федаравичь...»

Этот указ был дан 17 сентября 1773 года. За ним последовал ряд других.

Замечателен указ, посланный Пугачевым, «как гостинец», к башкирам. В этом послании он жаловал всех их — «до последка землями, водами, лесами, жительствовами, травами, реками, рыбами, пашнями, законами, телами...»<sup>1</sup>.

Устно же Пугачев всюду обещал народу «казенную соль давать без денег, а податей и солдатства не брать на пять лет и дать им вольность, а дворянской род весь истребить».

И русские крестьяне, башкиры, татары, удмурты, маришцы отовсюду хлынули к Пугачеву. «Хоть бы год один на воле пожить,— слышалось на Дону и Волге,— а то все мы теперь помучены!» Разноязычное войско «Петра Федоровича» росло с каждым часом. Он недаром величал себя в указах «всему войску и народам государь».

Нурали-хан киргиз-кайсацкий, его братья — Дусали, Эрали, Аблай и племянник Сайдали — все были преданы Пугачеву.

«...всевышнего создателя прошу, дабы блистающее войско ваше возвышалось и вы б, учинясь над Отече-

<sup>1</sup> Выражение «пожаловал... телами» представляет исключительный интерес. Смысл его, очевидно, в том, что «подданным» «Петра III» гарантировалась неприкосновенность личности.



ством хозяином, многие годы царствовали», — писал к «Петру III» салтан малой орды Дусали.

А «блистающее войско» состояло из русских крепостных крестьян и дворовых, беглых и ссыльных солдат, казаков, колодников, мещан, дьячков, цеховых ремесленников, подьячих; встречались в рядах пугачевцев и дворяне (военные) и купцы. На татарах и башкирах пестрели халаты, а русские были одеты кто во что горазд: иной в женский салоп, иной в серый кафтан, мундир или полушубок; некоторые носили даже священнические ризы. Оружием их были пушки, ружья, пистолеты, пики, дротики, дубины, кольца, цепи.

К началу декабря восстание охватило уже все Заповжье на юг и восток от линии Самара — Бузулук — Уфа — Оса — Пермь.

Чем дальше подвигался «Петр Федорович» вверх по Волге, тем гуще становилось его войско. «Народу у меня как песку!» — говорил Пугачев.

«Руби столбы — заборы повалятся!» — наказывал он своему верному воинству, готовому за него в огонь и в воду. Наиболее же близкие к нему люди знали, что он — донской казак, но рассуждали: «Не государь он, а за нас заступит, да нам-то все равно, лишь бы быть в добре».

#### 4

«...Пугачев появился, — и тамошней народ пришел в колебание...» Так доносил Военной коллегии сибирский губернатор Чичерин о появлении в Оренбургской губернии народных войск.

С начала 1774 года движение, поднятое Пугачевым, вошло уже в такую силу, что правительство Екатерины II отдало себе в этом ясный отчет. Но средств для подавления восстания не было: главные силы армии воевали на юге с турками. И Екатерина решила попробовать испытанный и гораздо более дешевый способ — подослать к Пугачеву убийц.

Она отправила в Казань, к посланному туда для борьбы с самозванцем А. И. Бибикову, двух «охотников» — братьев Вороновых, «выразивших усердие» ей послужить. Бибикову она написала, чтобы он употре-

бил их «по своему усмотрению». Тот понял намек, принял нужные меры и вскоре же сообщил: «Два конной гвардии известные вашему императорскому величеству в броне уже несколько тому дней, как в путь свой один за другим полетели. О первом я имею уже известия, что он в Берду (злодейское гнездо) прибыл и там содержится в особой землянке, а о другом еще не знаю; чем окончится их течение, время покажет».

О дальнейшей судьбе «воронов» неизвестно; во всяком случае, убить Пугачева им не удалось.

Не менее любопытное письмо получил почти в то же время Бибиков от президента Военной коллегии — графа З. Г. Чернышева. «...между прочими мер принятия к искоренению злодейства Пугачева,— писал он,— не бесполезно, кажется, быть может и обещание некоторого награждения тем, кто, его живого взяв, приведет к оренбургскому губернатору или же к военным нашим командирам. Таковое обещание помянутым господином губернатором действительно и учинено, но как оно слишком умеренно, то пишу я таперь к господину Рейнсдорпу и находящемуся в Яицком городке полковнику Симонову, дабы учинили они публикацию, что за приведение означенного самозванца живого дано будет в награждение десять тысяч рублей».

А. И. Бибиков был тот самый «маршал» Комиссии по составлению нового Уложения, который поддерживал «пристойную тишину» заседаний, а когда она нарушалась, постукивал о стол булавой. Истории было угодно вторично столкнуть его с одним из депутатов Комиссии — оренбургским казачьим атаманом Тимофеем Падуровым, оказавшимся в армии Пугачева в числе наиболее верных ему людей.

Падуров был взят в плен и впоследствии повешен в Москве, причем в перечне его вин отмечалось составление «угрозительных» писем к оренбургскому губернатору Рейнсдорпу.

Таких грамотеев у Пугачева было много. Особенно бойким слогом выделялся среди них пугачевский полковник Грязной.

«Вы, надеюсь, подумаете,— писал он упорствующему гарнизону «Челябы»,— что Челябинск славный по России город и каменную имеет стену и строение — от-

стоится. Не думайте, приятные: предел от бога положен, его же никто прейти не может. А вам наверное говорю, что стоять — не устоять. Пожалуйте, не пролейте напрасно свою кровь...»

Челябинск и Екатеринбург были осаждены в феврале 1774 года. Пугачевцы заняли городки по верхнему течению Камы и уже перехватывали курьеров на тракте, ведущем в Сибирь. Уже в Красноярске, Томске, Иркутске и других отдаленных городах Сибири принимались меры в ожидании «внезапного случая».

Уральские заводы с приписанными к ним крестьянами, которым Пугачев обещал «избавление от ига работы», доставляли ему артиллерию, боеприпасы и людей. Там же чеканилась пугачевская монета. Бывший депутат, Тимофей Падуров, на допросе показал: «Деньги получали с заводов через заводских мужиков, много ли числом, не знаю; пушки, порох, свинец, ядра — тож с заводов и со взятых крепостей».

Необычны были пушки, удивлявшие екатерининских генералов, отлитые по чертежам, сделанным в штабе Пугачева.

Этими пушками пугачевцы вредили царицыным войскам «не так, как от мужиков ожидать бы должно», применяя вдобавок такие новинки, как навесный огонь, переброску орудий в зимнее время на полозьях, маскировку артиллерии в бою.

Тороватый на выдумку, Пугачев окружен был такими же, как он, простыми, неграмотными, но одаренными людьми. Вместе с ними придумывал он укрепления из льда и снега, передачу писем с помощью бумажных змеев и т. д.

Снова восстали крестьяне Далматовского монастыря. В Пермской губернии крестьяне, присягнувшие Пугачеву, надевали через плечо полотенца с красными вышитыми концами, а в Казанском уезде носили на правом рукаве синий лоскут.

«Пугачев землю меряет и заборы утвердил, — говорил народ, — только столбы еще не поставлены». Справедливый передел земли — вот о чем шептались уже и в Сибири и под Москвой.

Крестьяне ловили помещиков и на телегах доставляли их к Пугачеву; переодетых бар узнавали по ру-

кам или заставляли их выполнять полевые работы; не умеющих держать косу или цеп убивали, приговаривая: «Не коси чужими руками, не живи чужим умом!»

За особые заслуги Пугачев награждал серебряной позолоченной медалью, имевшей надпись: «Союз н о м у<sup>1</sup> — я к о надежде нашей».

Солдат в пугачевской армии получал 4 рубля в месяц, а в правительственной — 1 рубль 50 копеек в 4 месяца.

Гарнизоны городов и крепостей сдавались Пугачеву и присягали ему один за другим.

Да и как было не присягать, когда за ним шла несметная сила народа, которого он сулил пожаловать «солью и хлебом», «рекою и землею», «травами и морями», «законами, пашнями, телами» и обувь «от головы до ног»...

В начале апреля умер Бибииков. Его смерть увеличила растерянность в правительственном лагере. Война на юге все еще продолжалась, а Екатерине нужно было во что бы то ни стало развязать себе руки для борьбы с восстанием — заключить выгодный мир...

В самый разгар лета Пугачев взял Казань, но быстро отступил от нее под давлением Михельсона. В это время ряды его народной армии поредели, так как часть пугачевцев разбрелась, чтобы убраться у себя дома хлеб.

В конце июля Пугачев неожиданно двинулся за Волгу, что стратегически было совершенно правильно, так как правый берег ее был обнажен от правительственных войск.

К началу августа Пугачевым уже были взяты Пенза, Саратов, Курмыш, Алатырь, и отряды его появились в 380 верстах от Москвы, вблизи Арзамаса.

Около ста зарубежных газет помещали известия о восстании Пугачева. Бесперервно доносили о нем в свои государства находившиеся в Петербурге иностранные послы. Но русское правительство тщательно скрывало от них истинное положение дела, и прусский посланник Сольмс только потому догадался о захвате восставшими Волги, что в магазинах столицы исчезла свежая икра...

---

<sup>1</sup> То есть, союзнику, единомышленнику.

Москва готовилась к обороне от Пугачева. Департаменты московского Сената обсуждали ряд оборонительных мер. Предлагалось и предписывалось — «всем присутственным местам все письменные дела, а где есть — денежную казну покласть порядочно в кладовые, замазать и, вооружа приказных служителей (коиим ружья будут выданы), стараться каждому защищать свое место...». На случай длительной осады — «хлебов на печь и сухарей насушить довольное число».

В начале июля 1774 года, в трудных обстоятельствах, Екатерина созвала чрезвычайный совет. Речь шла о «спасении Москвы и империи». Граф Петр Панин в порыве отчаяния сказал собравшимся: «Делайте то, что я намерен делать!» А когда его спросили, что же он предлагает, последовал ответ: «Умереть!..»

## 5

В Тамбовский край отряды пугачевцев стали прибывать со стороны Симбирска. 6 августа был взят Краснослободск, 7-го начата осада Керенска, и сдались Троицк и Наровчат.

Крестьяне Шацкого уезда, как только услышали о приближении пугачевцев, запахали помещичьи земли и вырубали все заповедные рощи. «Теперь все наше! — говорили они. — Царь жалует нам всю землю». А когда в селе Инжавинье, на базаре, один майор стал читать манифест императрицы о Пугачеве, крестьяне сказали ему: «Что ты ни толкуй, а шила в мешке не утаишь!»

Дошел слух о приближении войск «государя Петра Федоровича» и до Санаксарского монастыря, расположенного в трех верстах от города Темникова. Настоятелем этого монастыря был иеромонах Феодор (в миру Иван Игнатьевич Ушаков), родной дядя Федора Ушакова, выпущенного из Морского корпуса мичманом в 1766 году.

Сам Иван Ушаков окончил в 1741 году Сухопутный кадетский корпус и в течение шести лет служил в Преображенском полку. Но в 1748 году он «попал в историю», в результате которой — по указу императрицы Елизаветы — был пострижен в монашество, причем она лично присутствовала при постриже-

ни и. После совершения обряда гвардеец Иван Ушаков превратился в монаха Александро-Невского монастыря.

История эта загадочна и нуждается в объяснении. Ряд последующих событий жизни Ивана Ушакова проливает на эту загадку свет.

Прежде всего, как уже упоминалось выше, в делах Синода сохранился именной указ императрицы Елизаветы о насильственном пострижении Ивана Ушакова в монашество. Далее выясняется, что Иван Ушаков был лично известен императору Петру Федоровичу — в бытность его наследником престола — и что тот был высокого мнения об этом бывшем гвардейце и часто говаривал: «В Невском монастыре только один монах — Ушаков».

Знала его и императрица Екатерина, тогда еще принцесса Ангальт-Цербстская. По-видимому, Иван Ушаков участвовал в каком-то заговоре в пользу Петра Федоровича, был за это пострижен в монашество по указу императрицы Елизаветы и после нескольких лет пребывания в Александро-Невской лавре сделался настоятелем Санаксарского монастыря. Когда в 1762 году одиннадцать гвардейцев были арестованы за распространение слухов о чудесном спасении императора Петра Федоровича, Екатерина II поступила с ними точно так же, как в 1748 году императрица Елизавета с Иваном Ушаковым. Ненавидевшая своего покойного супруга Екатерина, видимо, потому и сослала этих гвардейцев в Санаксарский монастырь, что настоятелем его был Ушаков...

Спустя много лет, в июле 1774 года, отец Феодор вновь пострадал из-за императора Петра Федоровича.

Темниковский воевода Неелов притеснял городских и окрестных жителей и при всяком удобном случае брал с них поборы, запечатывал летом в домах печи, а ежели кто хотел печь распечатать, должен был платить воеводе рубль.

В этом году, в самую страдную пору, когда надо было убирать хлеб, Неелов заставил крестьян ближних к Темникову деревень строить ему хоромы. Крестьяне, и без того возбужденные слухами о приближении войска «Петра III», пришли к отцу Феодору с просьбой усювестить воеводу и заступиться за них. Настоятель мо-

настыря, также наслышанный о «Петре Федоровиче» и о даруемых им льготах, поддался общему настроению, направился в Темников и, явившись к воеводе, назвал его грабителем, притесняющим народ.

Неелов велел дневальному, находившемуся в этот момент в канцелярии, занести слова отца Феодора в протокол. Воевода написал донос губернатору, избрав своего обличителя сторонником Пугачева, подбивающим обывателей в столь тревожное время к непослушанию властям. Губернатор донес обо всем императрице, а она послала указ в Синод. И вскоре отца Феодора, как «беспокойного человека», по именному повелению лишили сана и выслали в Соловецкий монастырь.

А неделю спустя в Темников вошли отряды полковников Пугачева, и воеводе Неелову пришлось бежать.

Исчезнувший из Санаксарского монастыря его настоятель отец Феодор, остался в памяти темниковцев их благородным защитником и попал в список монахов и попов — пугачевцев, с которыми беспощадно расправлялось правительство Екатерины II.

## 6

Прослужив в течение 1769—1772 годов в Донской экспедиции под командованием вице-адмирала А. Н. Сенинина, лейтенант Федор Ушаков нес крейсерскую службу у Крымского побережья, командуя ботом «Курьер».

Крым был занят победоносными русскими войсками, но следить за противником надо было зорко: он мог в других местах угрожать побережью, так как эскадра его стояла у мыса Таклы, а войска — на Таманском берегу.

Ушаков ходил в Таганрог, Кафу, возвращался на базу крейсеров — в Балаклаву, занимал бранд-вахтенный пост у Керченского пролива, находился в крейсерстве у берегов.

Его бот «Курьер» имел 14 десятифунтовых пушек<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Десятифунтовые пушки — пушки, стрелявшие ядрами весом в десять фунтов.

и две гаубицы, хорошо слушался руля и был легок в ходу.

Прикрывая Керченский пролив и Крым, русские корабли не раз перестреливались с турецкими. Но дело не доходило до сражений. Чаще всего это были мелкие стычки, осторожное взаимное прощупывание сил.

После каждой такой встречи Ушаков брал вахтенный журнал, внимательно прочитывал его и делал выписки. Он изучал характер противника, старался понять, в чем его слабость, каковы повадки, стойкость в бою.

Однажды случилось, что русская эскадра встретила вражескую. Турецкий флагман тотчас же начал обходить свои корабли на паруснике и давать каждому командиру словесные указания. Но когда обе эскадры построились и русские начали атаку, турки уклонились от боя и ушли.

Вскоре то же самое произошло вторично, и Ушакову вдруг стало ясно, что турецкие адмиралы наставляют своих командиров словесно, так как не надеются в сражении на сигналы. Отсюда мог быть только один вывод — что турки без флагмана не могут вести бой...

Ушакова как бы осенило. Этой мысли предстояло его прославить, она сделалась исходной. Но он хорошо понимал, что для решения стоявшей перед ним задачи понадобятся годы. Нужно было не только изучить противника, но и найти новый способ борьбы.

Он размышлял также о людях, об экипажах кораблей, о тех, кому в скором времени придется сражаться по-новому: всех их надо было заранее к этому готовить, потому что от их сноровки и выучки и должен был главным образом зависеть успех.

Он наблюдал матросов-новичков в походах, видал их в боевых переделках. Олонецкие, тульские, тверские, они с толком исполняли новое для них дело, так же споро и неутомимо, как у себя дома пахали и косили. Они «добрую» внушали уверенность и надежду. Поистине, с такими людьми можно было «не только за свои берега быть спокойным, но, в случае нужды, и неприятельским берегам беспокойство учинить...».

А тем временем Турция, или, как называли ее тогда, «Блистательная Порта Оттоманская», разбитая русски-



ми при Чесме, Ларге и Кагуле, все еще не решалась заключить мир. Уроки, полученные ею в эту кампанию, ничему ее не научили. Лишь немногие люди в Турции понимали опасность такой политики. К числу их принадлежал Ресми-Ахмед-эфенди, министр иностранных дел.

Он оставил записки под цветистым восточным заглавием «Сок достопримечательного». Это сочинение содержит убийственную оценку политики турецких саноуников, требовавших «смести с земли» русские войска.

«У Москвитянина,— описывал Ресми-Ахмед-эфенди положение на Дунае,— есть обыкновение притворяться бедняжкой; поэтому [он] неприятелю сначала показывал вид слабости и нищеты и, не трогаясь с места, распустил слухи, будто у него есть нечего. Абди-паша и хан развернулись по правую и левую сторону его лагеря и уверили себя, будто нет ничего легче, как атаковать неподвижного врага. Обманывая себя насчет ничтожества неприятельских сил, они посылали в главную квартиру записочки, которые ходили у нас по рукам и в которых неоднократно было сказано: «Буде угодно аллаху, мы на днях произведем ночную атаку и сметем неприятеля с земли, как пыль с зеркала». Но неприятель проведал об этих затеях. То, что они называли «ночной атакой», Москвитянин имеет скверную привычку делать всегда прежде нас».

С таким же юмором рассказывал Ресми-Ахмед-эфенди о переговорах в Адрианополе между турецкой и русской сторонами:

«Государственный чиновник, реис Осман-эфенди, услышав требования русских о независимости Крыма, сказал: «Как вам не стыдно держать такие речи! Независимость татар по нашему закону — вещь непозволительная. Мы имеем повеление кончить этот вопрос деньгами». В течение 40 дней было 3 или 4 заседания. Орлов стоял на своем, Осман же эфенди полушутя-полусерьезно твердил: «Денег не берет? — дело не пойдет!..» Наконец он рассердился: «Да за аллахов завет вся Анатолия поднимется!.. Вселенная будет вывернута вверх ногами!..» Но русские спокойно заметили: «Сказать, что этот эфенди — сумасшедший человек, бы-

ло бы неучтиво. Мы этого не говорим. У него есть ум; только, признаться, его ум не похож на ум обыкновенных людей».

Знал турецкий министр и о Пугачеве и о событиях 1774 года писал:

«...Пронесся слух, что в Московской земле появился мятежник, что неприятель слаб, что он соединяет свои отряды и ищет предлога удалиться. Умные головы тотчас сказали: «Ну, так теперь мы сделаем с ним то же самое, что он с нами дельвал: ударим на него тремя флангами и сметем «приятеля» с лица земли!..»

Около трех месяцев занимались мы устройством нашей отважной экспедиции. Могли ли эти приготовления остаться неизвестными неприятелю? Он узнал обо всем и сказал: «А вот я покажу вам, как делаются удары тремя флангами!..»

В заключение Ресми-Ахмед-эфенди делал вытекающий из всего предыдущего вывод:

«Войска у нас много, казны много, головы только нет...»

## 7

«...Сей щастливой день,— как всегда, неграмотно по-русски, писала Екатерина П. С. Потемкину<sup>1</sup>,— получила я известия от фельдмаршала Румянцева о заключении славного для Империи мира с турками. Вы из копии с реляции ко мне увидите кондиции, коих не Петр Великий, не императрица Анна, за всеми трудами, получить не могли. Теперь осталось усмирить бездельных бунтовщиков, за коих всеми силами примусь не мешкав ни единая минута, сего повсюду можете объявить...»

Действительно, мир, заключенный с турками в болгарской деревне Кучук-Кайнарджи 10 июля 1774 года, был победой русской дипломатии, увенчавшей победы русских военных и военно-морских сил во время этой войны.

---

<sup>1</sup> П. С. Потемкин — троюродный брат князя Г. А. Потемкина. В июне 1774 года ему были вверены «секретные комиссии» по разбору дел пугачевцев, действовавшие в Казани и Оренбурге.

Порта признала независимость Крыма, отступила от своих притязаний на Большую и Малую Кабарду, Керчь, Еникале и Кинбурн, согласилась на свободу русского судоходства по всему Черному морю и открыла Проливы для русских торговых судов. В мирном договоре ничего не говорилось о праве России сооружать боевые суда на Черном море, но умолчание об этом давало ей неограниченное право строить там военный флот. Тотчас по заключении мира началась переброска войск на Волгу для действий против Пугачева. Но действовать им не пришлось — развязка наступила быстрее, чем ожидали в столице: казачья верхушка предала своего вождя.

Граф П. И. Панин, назначенный ведать «Комиссией по успокоению внутренних возмущений», начал суд и расправу. Аудиторская экспедиция (прокуратура) Военной коллегии не успевала утверждать приговоры «кригсрехтов» (военных судов).

Во главе этой «экспедиции» стоял генерал-аудитор.

Обер-аудиторы состояли при дивизиях и аудиторы — при полках. Это были юридические советники при председателе суда и судьях. Обер-аудитором штаба Финляндской дивизии графа Я. А. Брюсова с весны 1773 года был А. Н. Радищев; он имел чин капитана и носил офицерские знаки, шарф и темляк.

Должность эта была довольно высокой; так, обер-аудитор мог замещать генерал-аудитора во время его отсутствия; поэтому в штабе Брюса Радищев занимал в т о р о е по старшинству место. В «Списке о службе и старшинстве» членов штаба Финляндской дивизии на первом месте стоял Александр Тормасов, генерал-адъютант, 20 лет. За Радищевым следовали адъютанты: Егор фон Бенкендорф и Николай Дьяков, оба — 21 года и переводчик — «города Парижа прежнего парламента из адвокатов» — Жан Готфруа де Мемвию — 23 лет.

Таким образом, все члены штаба были людьми молодыми. Да и сам командующий Финляндской дивизией генерал-аншеф Брюс имел от роду всего 30 лет. Такова была служебная среда, в которой Радищев встретил восстание Пугачева. Как обер-аудитор штаба дивизии, он обязан был следить за точным соблюдением военно-судного процесса и давать заключения коман-

диру дивизии по делам, рассмотренным в полковых судах.

Он ведал также отправкой рекрутских партий и выдачей прогонных денег за подводы для их провианта из хранящихся у него на этот предмет сумм.

Из рапорта Брюса в Военную коллегию от 10 ноября 1774 года видно, что Радищев, кроме того, выступал в роли экзаменатора, когда нужно было определить военнослужащего на должность аудитора в том или ином полку. Так, в ноябре 1774 года Радищев, по приказу Брюса, «задал казус»<sup>1</sup> сержанту Рязанского пехотного полка Якову Ганичеву, чтобы узнать «его способность и что тот решил данной ему казус на основании законов». Сержант выдержал экзамен, и Радищев о том рапортовал.

В эти годы полковые суды занимались главным образом делами беглых солдат и рекрутов, чаще всего покинувших свои полки для того, чтобы служить у Пугачева. В таких случаях их судили «скорорешительным судом».

В апреле 1774 года при Ладожском пехотном полку состоялся «кригсрехт» над двумя рядовыми; это были пойманные беглые солдаты Савва Попов и Яков Петухов. При допросе их, как записано в «Журнал исходящим делам Брюса», открылось, что «онье имели намерение пройти к разбойнической Пугачевой шайке и к оной пристать». На этом основании судьи приговорили «за то злое их умышление учинить смертную казнь — повесить». Рядовые были повешены, так как сведения о них даны в списке «конфирмованных» дел.

В судных делах Финляндской дивизии почти не встречаются заключения обер-аудитора Радищева. Очевидно, он всячески, насколько это было возможно, уклонялся от участия в таковых процессах. Как обер-аудитор, он и не должен был участвовать в полковых «кригсрехтах», но его заключения иногда мог потребовать по тому или иному делу Брюс.

Что касается решения участи беглых солдат Попова и Петухова, то такой приговор, когда за одно намере-

---

<sup>1</sup> Задать казус — предложить для решения вопрос о сложном для судебного разбирательства случае.

ни е карали, как за самый проступок, был обычным в те годы восстания Пугачева явлением классового суда.

Радищев с его знанием законов «воинского процесса» был обычно бессилён что-либо сделать для обвиняемых, смягчить «сентенцию» или хотя бы заставить судей соблюдать закон. Военная служба оказалась для Радищева не легче гражданской. Ему оставалось только сострадать несчастным. «Я не хотел быть ни сообщником в их казни, ниже оной свидетелем»,— писал он впоследствии, видимо, о самом себе в своем «Путешествии из Петербурга в Москву».

Двадцать третьего ноября 1774 года генерал Брюс, бывший к тому же санктпетербургским генерал-губернатором, написал ордер своему подчиненному, полковнику Ламбу: «Как я имею отбыть в Москву, в свое время, то и нужно мне оставить здесь при канцелярии одного надежного унтер-офицера, умеющего грамоте, дабы он с почты принимал приходящие ко мне рапорты и доставлял в Москву...»

Фраза об отбытии генерала Брюса в Москву «в свое время», и притом, как это видно из данного ордера, со всем своим штабом и канцелярией ей, имела глубокий смысл.

В столице ждали казни Пугачева. Как только она свершилась, московский градоначальник М. Н. Волконский послал срочное донесение Екатерине II:

«Всемиловейшая государыня!

Всеподданнейше вашему императорскому величеству доношу, что вчерашнего числа злодей Емелька Пугачев с сообщниками своими мзду своего злодеяния приняли и тако, всемиловейшая государыня, все несчастные беспокойства слава богу окончаны...

11 января 1775  
Москва».

Курьер доставил это поздравительное донесение императрице Екатерине на третьи или на четвертые сутки со дня своего выезда из Москвы. А 16 января, то есть немедленно по получении известия о казни Пуга-

чева, Екатерина, при пушечной пальбе, «предприняла шествие» в древнюю русскую столицу со всем своим двором, свитой и генерал-адъютантами, одним из которых был граф А. Я. Брюс.

Но еще до этого потянулись туда члены его штаба и канцелярии, и Радищеву — после долгого перерыва — пришлось снова ехать в Москву.

Весь путь от Села Царского до села Всехсвятского, составлявший семьсот верст, был проделан императрицей с большой скоростью — за пять суток и десять часов.

Она торопилась: нужно было истребить в народе мрачную память о недавних казнях, ослепить его мишурным блеском двора, праздничною суетой.

В селе Всехсвятском ее встретил граф Петр Панин с сотрудниками Казанской комиссии по борьбе с Пугачевым. В этот день полковнику Михельсону была пожалована шпага с бриллиантами «из собственных ее величества рук».

Двадцать пятого января состоялся въезд в Москву при пушечном салюте и колокольном звоне. А в феврале начались дворцовые увеселения: 8-го числа — маскарад с двумя тысячами масок; 11-го — «куртаг» с музыкой; 13-го — маскарад; 15-го — куртаг с балом; 18-го — куртаг с музыкой; 20 февраля — маскарад...

Штаб Брюса разместился в собственном его доме на Мясницкой улице, против Банковой конторы. Между штабом и Секретной экспедицией московской Военной коллегии установилась тесная связь.

Розыск о военнослужащих, причастных к восстанию Пугачева, продолжался. Ходили слухи о предстоящем процессе Саратовского батальона, назначенном в Саратове, куда собирались выехать члены военного «скорорешительного» суда.

В душе Радищева давно уже зрело решение уйти в отставку, снова вступить в гражданскую службу и посвятить себя делу освобождения русского крепостного крестьянства, служа этому делу пером.

«Наскучив жестокостями» военной службы, он тяготился должностью обер-аудитора и, слушая рассказы приезжих о повсеместных расправах с крестьянами, с тревогой думал о селах и деревнях Саратовской про-

винции, где на черноземном берегу речки Тютнарки раскинулось большое село его отца.

Надо было спешить. Военная коллегия посылала обер-аудиторов с воинскими командами проводить экзекуции, а у Радищева не было никакого желания подпасть в подчинение какому-нибудь поручику, который будет вешать пугачевцев и резать им уши и носы...

Он решил подать в отставку и съездить к родным в Верхнее Аблязово, в надежде посылно облегчить участь тамошнего крестьянства, быть может защитить его от карателей. Кроме того, будучи уже помолвлен с Анной Васильевной Рубановской, он должен был испросить у своих родителей разрешения на брак.

В конце первой половины марта 1775 года Радищев, находясь в Москве, подал генералу Брюсу челобитную об отставке «по домашним его обстоятельствам», о чем Брюс 13 марта и занес в свой военно-походный журнал.

В конце марта Военная коллегия еще переписывалась со штабом Брюса по поводу отставки Радищева и выправки его бумаг, а в начале либо в середине апреля он уже находился в дороге, направляясь обозреть пензенские и саратовские вотчины и размышляя «о плачевной судьбе» крестьян.

## 8

На огромном пространстве русской земли стояли виселицы с качавшимися на них крестьянами. Расправы с пугачевцами продолжались всю осень и зиму, а в некоторых местах растянулись на целый год.

Крестьян Далматовского монастыря карали особенно люто. Осужденных выводили на крыльцо верхнего монастырского корпуса, секли кнутом и сбрасывали со стены в рытвину, промытую током весенних и дождевых вод. Так окончили жизнь 29 человек и среди них — крестьянин Василий Перин, о котором со злобной издевкой было записано: «для поимания рыбы послан под мельницу, да только еще с рыбой не возвратился». Туда же, «под мельницу», брошен был молодой башкир, схваченный под монастырем с саблей в руках.

В Уфе для казни пугачевцев была придумана «шту-

ка» на реке Белой: над большой прорубью поставили избу, в которой не было пола; изба эта называлась «тайной тюрьмой». Обреченного на смерть вталкивали туда, и он падал в ледяную воду. Так казнили русских и башкир — пугачевцев. Идя на казнь, они кланялись на обе стороны, а башкиры приговаривали: «Прощай, бачка, прощай, мачка, прощай, вольный свет!..»

В Оренбурге, Астрахани, Пензе, Саратове забивали до полусмерти плетями, резали уши и навязывали людей на канаты для отправки партиями в Сибирь.

В Саратове, после долгого разбирательства, закончился «кригсрехт» по делу Саратовского батальона, судимого «за предательство себя Пугачеву», и был вынесен приговор «за такие же вины» 1-му фузелерному артиллерийскому полку. Из общего числа унтер-офицеров и рядовых Саратовского батальона было приговорено «к наказанию» шпицрутенами 43 человека и к смерти 236. Но разницы между этими статьями, в сущности, не было, так как «прогнать шпиц-рутен через тысячу человек каждого по двенадцать раз», как было сказано в приговоре, означало смертную казнь.

Приговор этот затем был «смягчен», но многие, получив вместо двенадцати тысяч ударов шесть тысяч,— умерли.

Самой же страшной и применявшейся повсеместно была казнь по жребию: по приказу Панина вешали каждого третьего пугачевца, а остальных били плетями.

Все это видел бывший обер-аудитор, отставленный с секунд-майорским чином, Радищев, проезжая через площади городов, недавно охваченных восстанием. И хотя народ уже был забит и запуган, о Пугачеве рассказывали много такого, что запомнилось путнику навсегда.

Так, услышал он о пребывании Пугачева в Саранске, о том, как творил там «Петр III» суд и расправу над «разорителями крестьянства» и как потом пировал. Кушанья подавали ему и его свите «на серебряных приборах», и он после каждой перемены выбрасывал их на улицу — в подарок народу, толпившемуся под окном.



То украдкой напевал ему какой-нибудь крепостной песню, и в ней слышалось имя «вольного» государя Петра Федоровича. Довелось, должно быть, услышать ему и об осаде Саратова Пугачевым: как стоял он на Соколовой горе и как приказывал стрелять по городу медной монетой, когда кончилась у него картечь; как по взятии Саратова магистратский канцелярист Судаков влез на соборную колокольню и распустил конец «красного холста» в виде знамени; а в это время на площадь хлынула толпа освобожденных из острога колодников; кандалы еще не были с них сбиты, и они шли, разбивая кандалами окна богатых людей. В этот день безденежно раздавалась мука, и малые ребята набирали ее в рубахи. А «Петр Федорович» принимал присягу от гарнизона и жителей, сидя в складной латунной палатке, которую народ называл «золотой избой»...

Чем ближе к Верхнему Аблязову подвигался Радищев, тем больше встречалось разоренных карателями крестьянских дворов. Мрачная картина открылась перед ним в вотчинах князей Куракиных — в селе Борисоглебском и селе Архангельском, в деревнях Алексеевке, Карповке, Гремячове, Больших и Малых Ключах.

Не было крестьянской семьи, не лишившейся за последние месяцы кого-либо из своих членов. Обер-аудитор Макгут, прибыв в эти места с воинской командой, допрашивал двор за двором. В селе Борисоглебском он двоих заперол до смерти, а пятерым обрезал «по одному уху» и написал в рапорте, что сделал это, убедившись «в совершенном прикреплении крестьян к злодейской толпе».

Но чем больше подобных жестокостей видел Радищев, тем сильнее утверждался он в том, что русская народная революция неизбежна и что восстание Пугачева было «человеколюбивым мщением», оправданным зверствами крепостничества, которому оправданий нет.

Он думал также о том, что люди, «неомощные и ослабленные» в своем одиночестве, соединившись, стали почти «всесильными, творящими чудеса». Поистине следовало написать книгу о жизни этих людей, об их

бесправии и обездоленности, книгу дорожного обозрения России, подобную по своей силе отрывку «Путешествия в \*\*\* И\*\*\* Т\*\*\*»!..

Радищев не знал, каково положение в Аблязове,— не пострадали ли там крестьяне, не возмущались ли они в пугачевские годы? Отец об этом ничего не писал. Николай Афанасьевич не был жестоким помещиком, но все же ему пришлось бежать из своей усадьбы и укрыться в лесном овраге, а когда пугачевцы ворвались в село и не нашли в господском доме помещика, они расстреляли его портрет.

Отряд «пугачей» в количестве 200 человек конных и пеших вступил в Верхнее Аблязово, и с ним, надо полагать, быстро смешалась толпа местных крестьян. Радищевские крепостные участвовали в движении Пугачева. Об этом свидетельствует один чрезвычайно интересный документ.

Двадцать пятого сентября 1774 года командир усмирительного отряда, гусарский полковник Древиц, отправил графу Панину рапорт, объясняющий причину, по которой гусары полковника вынуждены были задержаться в ряде сел.

«...Я по получении от вашего сиятельства повеления от 10-го числа,— рапортовал Древиц,— марш свой учредил, было, следовать через Нарышкино, до Конадей и мог бы уже сутки с трое в назначенном селе быть. Но много останавливают меня живущие здесь по тракту, приехавшие ныне из Пензы, дворяня, которые просют малых команд для приведения в совершенное послушание их крестьян, хотя оные ныне явно и не бунтуют, но по объявлению тех дворян не совсем еще в должном повиновении остаются. Я, считая за долг сие исполнить, маршами моими за тем замедлился...

...Сего числа я отсюда выступлю до села Верхнего Аблязова, где и ночлег иметь должен, для разобрания по жалобе тамошнего помещика на ево крестьян...»

«Тамошним помещиком», владельцем Верхнего Аблязова был именно Николай Афанасьевич Радищев, которому, оказывается, пришлось вызывать «команду» для обуздания своих крепостных...

Наконец увидел Александр Радищев каменный аблязовский дом, «плодовитый и регулярный сад», избы отцовских крестьян, частью пустующие, так как кое-кого уже не было в живых.

Александр Николаевич ходил по селу, беседовал с крестьянами. У многих из них в избах, в красном углу, еще хранились указы Пугачева. Надо думать, что Радищев жадно потянулся к этим бумагам и, ознакомившись с ними, не раз перечитывал их...

Возвратившись осенью 1775 года в Москву, он женился на племяннице своего друга, Андрея Рубановского, Анне Васильевне, и таким образом оказался в свойстве с ее сводным братом, Александром Андреевичем Ушаковым, окончившим в 1770 году Морской кадетский корпус, а через него — отдаленно — и с Федором Федоровичем Ушаковым, будущим прославленным моряком.

#### Глава четвертая

#### МЕДНЫЙ ВСАДНИК

...Мог бы Петр славнее быть.

*Радищев*

#### 1

По очереди — одного за другим — казнили пугачевцев. Их вешали по жребию: кому какой достанется; были надписаны «билеты», свернуты в трубку и перемешаны; на одних стояло: «Казнить», на других: «Простить»...

Это страшное видение не могло не всплыть в памяти таможенного чиновника Александра Радищева, стоявшего на Сенатской площади в густой толпе народа в ожидании открытия памятника Петру.

День выдался ясный, погожий. В знойной дымке таялись городские дали и блистал жаркой позолотой адмиралтейский шпиль.

Взгляд таможенного чиновника был прикован к коренастому рыжему мужичонке в сером кафтане, картузе и кожаном фартуке, прожженном во многих местах.

Радищев был почти уверен, что семь лет назад, в Пензе, на базарной площади, в день казни пугачевцев, он приметил этого рыжего в то самое мгновение, когда тот вынул из шапки «билет» с надписью: «Простить».

Впрочем, мало ли таких мужиков на свете? Вон и здесь сколько их на площади, на дощатых, нарочно приготовленных к этому дню возвышениях и даже на кровлях домов.

— Хайлов!.. Качать тебя надо!.. — раздался поблизости грубый голос. К рыжему протиснулся громадного роста детина, тоже в сером кафтане, картузе и прожженном кожаном фартуке. Он хлопнул рыжего по плечу и заговорил с ним.

«Литейщики!» — догадался Радищев и, став невольным свидетелем их беседы, понял, что Хайлова и впрямь следовало бы качать.

Дело было такое: при отливке изваяния расплавленная медь прорвала глиняную форму и разлилась по полу, который начал гореть; скульптор Фальконе, а следом за ним и другие в ужасе кинулись вон из литейной; один только неустрашимый Хайлов остался на месте, заткнул брешь в форме и собрал в нее «до последней капли» вытекшую медь...

Все это было давно, и скульптор Фальконе давно уже уехал к себе во Францию, но литейщики хорошо помнили подвиг своего собрата и не собирались его забывать...

Александр Николаевичу Радищеву было тридцать три или без малого тридцать четыре года, но по страстной горячности ума и сердца, сквозившей в каждой черточке его лица, он казался гораздо моложе своих лет.

Заслушавшись беседы литейщиков, он смотрел на них восторженным взглядом. Темно-карие глаза его глядели не отрываясь; косые дуги бровей поднимались все выше, а ноздри тонкого, с горбинкою носа вздрагивали. Он не замечал, что его толкают, не слышал оркестров и барабанов — на площадь вступали войска.

Лицо Хайлова не давало ему покоя, и мысли его упорно возвращались к прошлому: в памяти вставали картины, виденные им по дороге в Верхнее Аблязово в 1775 году.

...Карательные отряды только что закончили свое «дело». По проселкам гнали связанные одним канатом партии по пятьдесят и по сто человек крестьян. У многих были отрублены пальцы — те, которыми они присягали Пугачеву. Во всех селах стояли виселицы и «глаголи» — столбы с крюками для вешания за ребро. А народ, несмотря ни на что, твердил, что Пугачев был простым людям не враг, а заступник. В одном селе передавали из уст в уста, что подарил Пугачев шелковый свой кушак мальчику, встретившему его колокольным звоном; близ другого показывали гору, где «Петр III» «самолично» наводил пушки; в третьем распевали песню о царице: «Не умела ты, воробна, ясна сокола поймать...»

Крики «ура» вывели Радищева из задумчивости: та, которую пугачевская песня называла «вороной», шествовала на площадь, где уже стояли войска.

Ближе других к монументу выстроились лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки. За щетиной их штыков укрылась артиллерия. На миг все затихло, и тогда стали медленно опускаться скрывавшие памятник «заслоны». Загрохотал салют на площади, в крепости, в Адмиралтействе и с кораблей, выстроившихся на Неве.

И все увидели: скалу, о которую, казалось, веками разбивались волны, и мощного всадника на мощном коне, без седла и без стремян. Лавровый венок украшал голову царя-строителя. Конь и всадник словно парили. Это впечатление как бы парящей в воздухе конной статуи создавала «отечески» простертая рука Петра.

Барабаны ударили поход. Полки двинулись мимо него, отдавая честь и склоняя знамена, под несмолкаемое «ура» и салют военных судов...

В этот день — 7 августа 1782 года — народ долго не расходился с Сенатской площади. Но, пожалуй, дольше всех оставался на ней Радищев. Он стоял и смотрел на литого всадника, вглядывался в его лицо, находил в нем черты властного самодержца и думал о великом стремлении народа, которое воплотил в себе этот властитель, и об остатках «вольности», которые народ при нем потерял.

Мысли, пришедшие Александру Радищеву в торжественный час на Сенатской площади, были изложены им на другой же день в «Письме к другу, жителюствующему в Тобольске», написанном под свежим впечатлением.

В «Письме» этом прямо говорилось о враждебности самодержавия народу. Но, высказывая эту новую для тех лет идею, Радищев уже не был одинок. Почти в одно время с ним ее высказал и Денис Фонвизин, служивший под начальством графа Никиты Панина в Коллегии иностранных дел.

Расслабленный, с онемевшей рукою, не будучи в состоянии ни писать, ни диктовать, Панин поручил Фонвизину составить для цесаревича Павла записку о необходимости ограничить власть царя. Питая прекрасную надежду на Павла, как на будущего «идеального монарха», Фонвизин писал: «Совсем излишне входить в толки о разностях форм правления и розыскивать, где государь самовластнее и где ограниченнее. Тиран, где бы он ни был, есть тиран, и право народа спасать бытие свое пребывает вечно и везде непоколебимо... Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры...»

Очень возможно, что эти строки были написаны под влиянием «Письма к другу, жителюствующему в Тобольске» Радищева, с которым Фонвизин был не только в дружбе, но и в родстве.

А миллионы русских людей, страдавших тогда от самодержавия и его опоры — крепостного строя, выражали те же мысли в более простых словах. На рынках и площадях, в харчевнях и кабаках, в солдатских и матросских казармах сетовал на судьбу, жалуясь на своих господ и начальников, дворовый и служилый люд.

В конце августа того же, 1782 года на Сенатской площади у ограды нового памятника, встретились два матроса — братья Полномочные: Иван-средний и Иван-меньшой.

Впрочем, средний брат слыл под фамилией Поломошный. А служил он канониром в Кронштадте под

начальством артиллерии лейтенанта, любившего «окрашивать» подчиненным зубы. Младший же, корабельный слесарь, только что возвратился из плавания, переболев цингой.

Был у них еще старший брат, к удивлению всех — тоже Иван, невеста куда сгнувший перед рекрутским набором: не захотел «дóвеку» тянуть солдатскую лямку и ушел в леса.

А родом они были из Вологодской провинции, из города Ладоги, где отец их, ремесленный человек Андрей Полномочный, работал медную посуду — тазы и котлы.

Меньшого брата Ивана с десяти лет стали приучать к работе, сперва — к легкой: в сенокос помещику копны возил (по копейке в день); потом пряники и калачи продавал, а с двенадцати лет «вступил в тяжелую работу»: отцу помогал «мех дуть» и молотом бить. Когда исполнилось Ивану шестнадцать лет, пришлось ему идти на царскую службу. Отвезли его сначала в Вологду, а оттуда — с партией — в Петербург. Там, в Адмиралтейств-коллегии, один офицер «брюхатый» выбрал было Ивана себе в денщики. Да нашелся земляк, научил, как «от денщиков отбиться»: велел сказать за собой медное ремесло. Записали рекрута в слесари, привели к присяге и отослали на судно, а вскоре после того отправили в Архангельск, и пошел Иван «по мытарствам нужду принимать».

А воротясь из похода, встретился он подле конной статуи Петра с братом своим Иваном-средним. Облобызались они, вздохнули и долго молча смотрели на статую, вытянувшись, как на часах.

Потом завели речь о своем, про то, у кого что наболело: Иван-средний — о тягостях гарнизонной службы, а Иван-меньшой — о дальнем своем плавании, о котором впоследствии с горечью записал в дневнике:

«...По исчислению штурмана, переход от Кронштадта океаном и своими морями 1900 верст. Тут покачались довольно: волны ходят как сильные и высокие горы; промежду валов у корабля чуть клотики видно. Нагляделись и на китов, как ходят и пускают воду из себя, как столб водяной; переворачиваются в глубину —

хвост виден, как парус большой. Вот служба! — пришла настоящая нужда: каша соленая, воду давали тухлую, да и то меркою — два раза в день; духота в корабле: цинга и вошь нападают на человека — невозможно обобрать ее... как овес осыпают — некогда бить... А во рту свинец носишь, чтобы не сохло; лижешь с сеток от тумана воду...»<sup>1</sup>

Так беседовали они о своем, словно меряясь горем, кому больше досталось, — не то жалуясь мощному всаднику на кого-то, не то друг другу — на него самого.

3

Капитан второго ранга Федор Федорович Ушаков не мог присутствовать на открытии памятника Петру I; в это время он плывал в Балтийском море, проводя испытания металлической обшивки фрегатов «Проворный» и «Св. Марк».

А Петр I был для него учителем, «великим мастером» морских сражений. С кадетской скамьи были памятны Федору Ушакову ответы Петра вице-адмиралу Крюйсу — запомнились на всю жизнь.

Когда царь пожелал лично участвовать в морской кампании против шведов, Крюйс, пытаясь удержать его, описал несколько несчастных случаев на морях. Петр ответил: «Окольный Засекин свиным ухом подавился... Ивана Ивановича Бутурлина палаты задавили...» Против слов же Крюйса о том, что «счастье и несчастье в баталии состоит в одной пульке», заметил: «Бояться пульки — нейти в солдаты... А деньги брать и не служить стыдно», — и отправился в морской поход.

Всякий раз, вспоминая об этом споре царя с адмиралом, Ушаков видел достойный подражания образец: Петр указывал путь моряку, путь решительной, безбоязненной тактики. А Ушаков уже успел убедиться, что именно этой-то тактики и недостает флотоводам, потому что осторожность господствует везде.

---

<sup>1</sup> Воспоминания корабельного слесаря Ивана Полномочного были напечатаны с подлинной рукописи под названием «Род мой и происхождение» в XV томе «Записок Одесского общества истории и древностей» за 1889 год.



Он побывал во многих местах и уже познакомился с военно-морским искусством Запада, плавая в международных водах. Летом 1776 года была снаряжена в Средиземное море торговая экспедиция. Три фрегата Балтийского флота подняли купеческие флаги, приняли груз и отправились в дальнее плавание. На четвертом фрегате, конвоировавшем их под военным флагом, ушел в море Ушаков.

В Ливорно к экспедиции присоединились еще два судна, оставшиеся там после окончания войны с Турцией. Ушаков принял командование над одним из них — фрегатом «Св. Павел» — и начал совершать торговые рейсы от берегов Италии в Константинополь и обратно, не подозревая, что в этих же самых водах ему доведется прославить русское имя двадцать лет спустя.

Посещая Морею и воды Архипелага, места недавних побед русского флота, он понял, как важен для России выход в Средиземное море и что добиться этого можно только утвердившись на черноморских берегах. Это стало ему особенно ясно, когда пришла пора возвращаться и турки не пропустили фрегаты под купеческим флагом через Проливы.

Два года и девять месяцев провели русские моряки за границей и в мае 1779 года возвратились в Кронштадт.

В следующем году Россия решительно выступила на защиту свободы торгового мореплавания и предприняла шаг, на который не решалась еще ни одна страна.

Соединенные Штаты Америки вели борьбу с Англией за свою независимость. Сторону американцев приняли Франция и Испания. Англия вступила с ними в войну. Крейсера враждующих стран стали обыскивать все встречавшиеся им суда, конфискуя товары, принадлежащие враждебным нациям, даже если они находились на нейтральном корабле. Это наносило сильный удар морской торговле. Английские каперы бросались на все встречные корабли без всякого почтения к тому или иному флагу. В 1778 году А. С. Мусин-Пушкин, русский посланник в Лондоне, доносил оттуда: «Все здешние новости состоят на сие время в одних только ежедневных призах».

В начале 1780 гсда два корабля с русскими товарами были захвачены испанскими крейсерами на пути в Малагу, отведены в Кадикс и проданы там с публичных торгов.

Русское правительство немедленно отдало приказ о снаряжении пятнадцати кораблей и четырех фрегатов для защиты чести русского флага и 28 февраля обратилось к правительствам всех морских европейских держав. Призывая их последовать своему примеру, оно объявило, что суда нейтральных стран могут свободно плавать повсюду, что неприятельская собственность, исключая оружие, на нейтральных судах неприкосновенна и что Россия намерена силою отстаивать свои права. К русскому заявлению вскоре примкнули Швеция, Дания, Австрия, Пруссия, Португалия и Неаполитанское королевство. Образовался союз — «Северный вооруженный нейтралитет». Англия не вступила в него, потому что сама была воюющей стороной, но дала командирам своих крейсеров более мягкие инструкции и послала учтивый ответ России с заверением, что всегда считала своей обязанностью уважать русский флаг.

Европе был дан урок международного морского права.

В Кронштадте готовились к выходу в море боевые корабли.

Ушаков с грустью ловил слухи о предстоящем плавании, на участие в котором он не мог надеяться. Но в сентябре 1780 года — неожиданная удача! — он был назначен командовать 66-пушечным кораблем «Виктор», уходившим в Средиземное море охранять русские суда.

В этом плавании он провел почти два года, окончательно убедившись, что в западных военно-морских кругах наступательным действиям предпочитают осторожность и нерешительность. Ушаков возвратился в Кронштадт, еще более уверенный в том, что петровской безбоязненной тактике предстоит будущее. А будущее это было не за горами: оно уже рождалось в районе Черного моря, где строились новые русские корабли.

## «НЕВИДИМЫЙ НЕПРИЯТЕЛЬ»

Не боящиеся ни единого страха.

Петр I

## 1

Двадцать девятого июня 1783 года капитан второго ранга Ушаков выступил из Петербурга в поход во главе колонны из 700 матросов Балтийского флота и более 3 тысяч мастеровых. Колонна направлялась в Херсон для судостроительных работ и должна была обеспечить новые суда командами. Капитан второго ранга Ушаков, лейтенант Данилов и мичман Пустошкин были назначены на херсонские верфи наблюдать за постройкою кораблей.

В одну из этих команд оказался зачисленным матрос Иван Полномочный. «Я с братом распрощался в Петербурге,— говорит он в своих записках.— В самый Петров день разговелись и у Николы-угодника, у ограды, на травке посидели, помолились и пошли в поход...»

В Москве матросов и мастеровых распределили по квартирам. Вскоре на Тверской и Ямских улицах стало беспокойно. Полномочный рассказывает об этом так: «Первой партии дали жалованье, и они загуляли и сделали бунт: объездчика по кабакам прибили и всех разбили; такой тревоги наделали — и полицейских и будочников разбили,— даже в трещотки ударили; будочники их одного до смерти убили, а других на руках переносили; и нашего одного убили, так что на другой день и помер; такой бунт сделали, что лавочники запоры похватали; на помощь своим и наша, было, партия хотела первой пособить, да все трезвые и офицеры наши прогнали всех по квартирам, не позволили... И по всей Москве разнеслась молва о морских служителях. «То-то, говорят, эдакая смола прилипчата». А из Москвы уже отправляли все партии на нанятых извозчиках, на пристяжных».

Погуляли «морские», отвели душу, наболевшую за долгие месяцы службы; все припомнили: кашлицу соленую, воду тухлую («да и то меркою»), цингу и вошь,

зуботычины и линьки; погуляли так, что и по себе память оставили, и полиция двоих в гроб уложила, а прочих всех быстро вывезли из Москвы...

Спустя два месяца, в жаркий августовский полдень, колонна сделала привал в приднепровской степи.

До Херсона оставалось менее одного перехода. Ушаков послал туда расторопного Данилова, чтобы приготовить для людей кров.

Выложенный сеном возок мягко покатил по пыльной степной дороге. Уже за несколько верст от города в воздухе сильно потянуло гарью, и лейтенант увидел дым, застилавший горизонт. Дым становился все удушливее по мере приближения к Херсону. По обочинам дороги стали попадаться горящие кучи мусора, зажженные неизвестно кем и для чего.

При въезде в город Данилова никто не остановил. Кучи камыша и бурьяна пылали на улицах, огонь повсюду преграждал дорогу. Проехать на лошади было трудно. Лейтенант вылез из возка и пошел пешком.

Часовой у казармы вытянулся перед ним и отдал честь. Данилов спросил, как пройти к адмиралтейству. Мускулы на лице солдата напряглись; он сделал отчаянное усилие, чтобы ответить, но вдруг зашатался и упал.

Данилов покачал головой, думая, что солдат пьян, и неторопливо пошел дальше. Он не сделал и двадцати шагов, как часовой с другой стороны улицы закричал, чтобы он скорее шел прочь от этого места. В ту же секунду Данилов увидел на дороге два распростертых трупа и понял, почему горят костры и отчего упал солдат.

В городе была чума.

«Невидимый неприятель» засел в домах Херсона.

Стараясь почти не дышать и жмурясь от разъедающего глаза дыма, лейтенант добрал до адмиралтейства и в глубине полутемного, прохладного коридора отыскал адмиральский кабинет.

Главный командир Черноморского флота, герой Чесменского боя, вице-адмирал Клокачев сидел за письменным столом, по-стариковски сгорбясь, в полном изнеможении. По его серому лицу и воспаленным

глазам было видно, что он уже несколько ночей не спал.

Тучный, смуглый моряк беседовал с ним, небрежно развалиясь в кресле. Выражение лица у моряка было самое сладкое, а глаза играли масляным блеском. Он удивительно напоминал черного жирного таракана, хотя и не было у него усов — во флоте не полагались усы.

Это был капитан первого ранга граф Войнович, уроженец Триеста, в 1770 году зачисленный на русскую службу.

Данилов подал главному командиру рапорт, но тот не принял бумагу и велел сперва опустить ее в ведро с уксусом, стоявшее у дверей.

— Ну вот! — сказал Клокачев, угрюмым взглядом следя за лейтенантом. — Прибыли в самое пекло!.. Семьсот человек морских служителей!.. Этого я страшился пуще всего!

— Батюшка Федот Алексеевич! — вкрадчиво заговорил Войнович. — Будучи командиром корабля «Слава Екатерины», сознаю особливую сего дела важность. Разреши, голубчик... У меня план...

Клокачев слушал хмуро, с явным недоверием поглядывал на собеседника.

Войнович, томно водя глазами, продолжал:

— Работы на верфях надобно прекратить. Морских служителей выселить в здоровую местность, а вольнонаемным учинить расчет — пусть идут, куда хотят.

— Дабы разнести заразу по всей округе?! Так не будет... — И Клокачев встал. — Людей у меня нет, опоры не чувствую, и недуг мешает!.. Мне бы сюда одного дельного человека — я бы чуму за тридевять земель загнал!..

Большой и сутулый, он подошел к окну и устремил взгляд на реку, будто видел там неприятельский флот, с которым предстояло начать сражение.

По быстрому, на редкость подвижному лицу Данилова пробегали тени. Душевная борьба вице-адмирала передавалась ему.

— Моровое поветрие у нас! — сказал, отходя от окна, Клокачев. — Небось видели своими глазами. Не знаю, как взглянет на это ваш командир.

— Капитан Ушаков,— ответил Данилов,— приказал мне осведомиться, приготовлены ли квартиры для морских служителей.

— Квартиры для них приготовлены, а должно ли им вступать в город, решить затрудняюсь. Прекращать без указа работу не имею права, но и рисковать нашими людьми не могу.

— Как прикажете доложить?

— Без прибытия новых команд постройку корабля номер четыре продолжать невозможно. Но предупреждаю: опасность великая... Пусть командир ваш решает сам...

Час спустя Данилов покинул зачумленный город. Он велел вознице-матросу гнать что было мочи, пока они не миновали последних костров.

Уже смеркалось, когда он подъехал к своим. Было время ужина. Колонна расположилась в степи. Ушаков брал из котла пробу. Данилов, подойдя к нему, проговорил:

— В Херсоне смертное поветрие!.. Вводить людей в город опасно... Капитан Войнович полагает нужным приостановить постройку судов...

Он сказал это тихо, но люди, стоявшие у котла, услышали и передали шепотом весть дальше. В одно мгновение вся колонна узнала, что впереди чума.

— Каковы намерения главного командира? — спросил Ушаков.

— Вице-адмирал Клокачев не имеет на сей счет никакого указа и предоставляет на ваше усмотрение...

Семьсот человек затаив дыхание стояли за спиной Ушакова.

— Вы были посланы узнать о квартирах,— сказал он громко.

— Казармы окуривают дымом и моют уксусом с горячей водою...

Ушаков еще более возвысил голос и сказал, чтобы слышали все и прониклись его спокойной, уверенной силой:

— Никакое моровое поветрие строительству нашего флота воспрепятствовать не может! Завтра люди начнут работу на верфях! А жить будут... в степи!..

Херсону шел пятый год. По приказу Потемкина генерал-цейхмейстер<sup>1</sup> морской артиллерии Иван Ганнибал заложил его в 1778 году в тридцати верстах от Лимана. Действуя весьма решительно, он быстро построил на Днепре крепость и верфи. Несколько полков солдат и двенадцать рот мастеровых справились с этим в месячный срок.

В мае 1779 года на херсонских верфях уже был заложен 66-пушечный корабль «Слава Екатерины». Предполагалось строить по четыре таких корабля в год.

Россия неуклонно стремилась к своему заветному морю. Строить большие суда на Дону было невозможно, и в Днепровском устье появилась первая верфь Черноморского флота, хорошо прикрытая островами, облегчавшими действия батарей.

Четыре года спустя Херсон уже вырос в целый город — с адмиралтейством, казармами, арсеналом и литейным двором. На его верфях строились галеры, корабли и фрегаты; крепость защищалась двумястами орудиями и десятитысячным гарнизоном; широко раскинулись предместья, заселенные ремесленниками и купечеством, а в гавань стали приходить турецкие и греческие суда.

В год основания Херсона Потемкин писал Екатерине: «Крым положением своим разрывает наши границы... Положите же теперь, что Крым ваш и что нет уже сей бородавки на носу — вот вдруг положение границ прекрасное...»

Судьба Крыма почти решала судьбу Черного моря. Это хорошо понимали в Стамбуле, и это крайне заботило представителей европейских держав. Они ссорились, мирились и объединялись, чтобы сообща воздействовать на Порту и противостоять стремлениям России. Русский посланник в Турции Булгаков доносил обо всем в Петербург.

Он писал о происках прусского агента Гаффрона, о том, что Фридрих II готов заключить союз с турками

<sup>1</sup> Цейхмейстер — начальник артиллерии.

и что Франция намерена дать Порте двенадцать линейных кораблей, которые поднимут турецкий флаг.

Несмотря ни на что, 8 апреля 1783 года Крым был присоединен.

Екатерина немедленно приказала перевести в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крыма часть Азовского и Днепровского флота и назвать этот флот Черноморским. 17 мая вице-адмирал Клокачев ввел в Ахтиар Азовскую эскадру и основал Севастопольский порт.

Осмотрев бухту, он составил о ней восторженную докладную записку. «Во всей Европе,— писал он,— нет подобной сей гавани положением, величиной и глубиной; можно в ней иметь флот до 100 линейных судов...»

Назначенный главным командиром нового флота и начальником херсонских верфей, Клокачев прибыл в Херсон, где спешно строились гребные суда и корабль «Слава Екатерины».

Чума поразила город в самый разгар работ. Она была занесена из Константинополя на турецкой фелуке и быстро распространилась среди рабочего люда, солдат гарнизона и команд строящихся судов.

Один из очевидцев чумы в Херсоне, матрос Иван Полномочный оставил яркое воспоминание об этих страшных днях. «...Зарывали...— рассказывает он,— по 50 человек в яму, и такой был ужас, что друг друга боялись сходитьсь. Платье и прочее так валялось, никто не смел брать, всякий жизнь свою берег... Вот страшная была жизнь! Не дай бог никому такой видеть! Я девять суток, выгнанный из артельщиков, лежал в камыше, ожидая смерти, у меня была горячка, и все боялись меня. Который сожалеет артельщик — принесет мне хлеба кусок и борщу в какой-нибудь посудине, с ветру поставит и сам убежит поскорее; я приползу на корячках, посижу, как собачка, и лежу, но дай бог здоровья одному штаб-лекару — Степану Лукичу Зубову, который осматривал команды, ездил, он приходил и ко мне; я поднимал рубашку, стоя на коленях, уже сил моих не было, и он ничего не заметил и велел артельщикам особливую какую-нибудь камышовую конуру мне сделать; и выкопали и огня мне развели...»

Ушаков действительно попал в самое пекло, когда



зараза уже грозила остановить работы на верфях и от нее умирало по несколько десятков человек в день. Но он повел себя так, словно в Херсоне не было никакой «моровой язвы» и все шло обычным порядком. Своих людей он поставил на постройку корабля № 4 и только приказал им ни с кем не общаться и содержать себя в чистоте.

Он вызвал на единоборство чуму, и команда как один человек поддержала его во время этого поединка. Как бы уговорившись между собой, люди работали, избегая даже упоминать об опасности, понимая чутьем, что, лишь согласив свою волю с волею командира, можно сохранить жизнь.

И все же через несколько дней заболел матрос; потом свалились еще двое. Но Ушаков заранее принял меры, поселив команду в степи.

Он сам начертил план лагерного расположения команды корабля № 4. Разбив людей на небольшие артели, он выстроил для каждой по камышовому бараку с окнами, затянутыми промасленной бумагой, и кровлями, шуршавшими под ветром желтыми метелками камыша.

Баракы он окружил маленькими землянками, рассчитанными на одного человека. При первом же подозрительном заболевании барак сжигался, и вся артель расселялась по одиночным землянкам. На значительном расстоянии от лагеря была устроена больница, и уже совсем далеко в степь выдвинут карантин.

Три пушечных выстрела предупреждали брандвахту, если на каком-либо судне появлялась зараза, а затем на нем поднимали черный флаг.

Каждое утро и вечер матросы обмывались уксусом, проветривали свои постели и окуривали дымом пороховой мякоти<sup>1</sup> белье и одежду. За водой они ходили в сопровождении офицера, в определенное время, чтобы не соприкасаться с посторонними и с командами других судов.

Верфи продолжали работать. Матросы отправлялись туда спозаранку и возвращались в баракы, когда

---

<sup>1</sup> Пороховая мякоть — порох, растертый в пыль.

багровое от дыма костров солнце уже опускалось за широкой рекою. Ушаков ежедневно навещал лагерь. Приезжая домой, он раздевался, выливал на себя ведро уксуса и ел чеснок.

Бесстрашный человек гнал чуму, и она перед ним отступала. Поветрие вскоре среди его людей прекратилось. Примеру Ушакова последовали многие командиры и начали переселять свои команды в степь.

На него смотрели с восторгом и почти со страхом. Данилов, служивший под начальством Войновича, однажды встретил Ушакова и сказал: «Я почитал бы для себя за счастье находиться под вашей командою!..»

Войнович крайне досадовал на такой оборот дела. Еще опасность не миновала, и ему по-прежнему хотелось бежать из Херсона. Но с прибытием Ушакова об этом нечего было и думать — он заставил каждого, не колеблясь, выполнять свой долг.

Однако были в то время на юге России и другие отважные русские люди, боровшиеся с чумою не менее успешно, чем Ушаков.

В то время правитель Екатеринославского наместничества, родственник поэта Г. Р. Державина, человек жесткий и энергичный — И. М. Синельников принял разумные меры против чумы в Кременчуге. Он разбил город на участки и каждый поручил особому начальнику. Опустевшие дома он велел обмазывать дегтем и окуривать, а торговлю на городском рынке вести через решетку, отделявшую покупателей от продавцов.

Для исследования болезни он вызвал находившегося в это время в Екатеринославе доктора Самойловича, известного своими наблюдениями над чумой. Самойлович был уже членом одиннадцати иностранных академий. «Бесстрашно посвятив себя страждущему человечеству», он первый осмелился вскрывать трупы умерших от «моровой язвы» и первый предложил делать прививки против чумы. Предлагая эту смелую и необычную меру, Самойлович доказывал, что врачи, сами того не зная, делают себе эти прививки, вскрывая бубоны чумных больных; незаметно для себя они втирают в поры и трещинки своей кожи чумной яд и таким образом предохраняются от заразы: именно этим объяснял Самойлович и свое исцеление от чумы.

Сообщая Попову<sup>1</sup> о прибытии в Кременчуг Самойловича, Синельников писал: «Данило Самойлович господин Самойлович сейчас пришел ко мне в роту, осмотрел больных и уверяет, что чума жало свое при- тупляет, и просит о пожаловании ему митроскопов — посмотреть чрез них: животная ль, или не животная — чума. Пожалуйте, пришлите! И я на нее, окаяну, посмотрю».

В результате этих исследований Самойлович сделал выдающееся открытие, о чем немедленно рапортовал Потемкину:

«...не воздух заражает, как поныне везде думали, но единственно прикосновение...»

Однако найти возбудителя страшной болезни Самойловичу не удалось из-за несовершенства микроскопов того времени. Что касается прививок, то Медицинский совет не разрешил применять их, а заодно запретил одному из первых русских эпидемиологов печатать свои труды.

Но бесстрашный доктор продолжал в самых опасных местах бороться с чумою.

Безбоязненно вел себя и Потемкин. Самойлович писал об этом в том же письме: «Вам, светлейший князь, благоугодно было показать пример в толь важном деле собственною особою, колико я ни представлял вашей светлости, что, вверя мне по части сей должность, не предстоит необходимым идти самим вам внутрь госпиталя, где одержимые язвою были врачумы: однако же вы за нужное почли и навестить собственною особою госпиталя в Херсоне и Кременчуге».

Мужественные русские люди — замечательный врач, способный администратор и будущий великий флотоводец бесстрашно боролись с чумою. И Синельников, ничуть не рисуясь, писал Потемкину: «Кажется мне, хотя бы чертова была чума, то с такою яростью, с какою мы гоняемся за ней, зарежем ее без ножа...»

---

<sup>1</sup> В. С. Попов состоял при Г. А. Потемкине чиновником особых поручений, был правителем его канцелярии и доверенным его лицом.

Осенью от «моровой язвы» умер Клокачев. Сменивший его вице-адмирал Сухотин учредил комиссию по борьбе с чумою; но особенно хлопотать ей не пришлось. Все возможное было уже сделано Ушаковым. В его команде чума прекратилась на четыре месяца раньше, чем во всех прочих. Она быстро уходила из города и окрестностей и наконец вовсе исчезла с наступлением холодов.

Имена Самойловича и Ушакова до сих пор не связывались в литературе. Между тем Самойлович часто бывал в Херсоне; он встречался с Федором Федоровичем, видимо ознакомившись с его противочумным опытом и написал книгу о борьбе с чумой на кораблях.

Вернее всего, это был обмен опытом, заимствование полезных советов друг у друга. К таковым относились: предупредительная сигнализация, тщательное и быстрое отделение больных от здоровых, истребление зараженных животных, обливание судна морской водою и окуривание пороховой мякотью. Все эти меры применяли на практике и Самойлович и Ушаков...

Когда чума совсем прекратилась, карантин был сломан и сожжен, около четырехсот находившихся в нем человек отправились по домам. В Херсон возвращалось население. Город постепенно оживал и строился. Офицеры давали в честь друг друга обеды. Войнович устроил у себя на квартире театр.

Жизнь входила в свою колею, и Ушаков все чаще задумывался теперь над вопросом, который встал перед ним за много лет до того. Давно уже зрела в уме Ушакова догадка о том, что на морях воюют нелепо и что надо воевать иначе, но он еще не говорил об этом ни с кем.

И одному человеку он открылся. Это был мичман Семен Афанасьевич Пустошкин, в 1778 году окончивший Морской корпус и вместе с Ушаковым и доктором Самойловичем отлично себя показавший как член комиссии по борьбе с чумой.

Семен Афанасьевич выделялся среди командиров своей серьезностью. Потребность поделиться своими мыслями толкнула Ушакова на откровенность, а мичман к этому располагал.

Федор Федорович в нем не ошибся. Пустошкин вы-

слушал его со вниманием, проявил искренний, живой интерес. Они стали друзьями. Их сблизила, кроме того, общая неприязнь к Войновичу, служить с которым обоим им было невмозможу.

Еще один человек в Херсоне сильно не любил Войновича, это — слуга Ушакова Федор, крепкий, строгого нрава старик. Ушакова он знал еще мальчиком и как никто умел с ним обходиться. Когда Федор Федорович гневался, — а это бывало с ним часто, — Федор выслушивал его молча, стараясь отойти подальше, но потом сам возвышал голос и начинал наступать. Роли менялись. Федор Федорович немедленно умолкал, в свою очередь удаляясь от Федора, и тоже выслушивал его молча, терпеливо дожидаясь, пока утихнет гнев старика...

За успешную борьбу с чумой в Херсоне Ушаков 1 января 1784 года был произведен в капитаны первого ранга, а в мае награжден орденом Владимира четвертой степени.

Известие это пришло вечером, накануне воскресного дня. Когда благодатное южное утро встало над городом и зелеными днепровскими берегами, командиры судов уже знали о награждении Ушакова, и многие из них отправились его поздравлять.

Первым явился Данилов. Ушакова он застал за работой. Склонившись над листом плотной бумаги, он старательно наносил на нее чертежи каких-то строевых. Лицо его было розовым и казалось совсем молодым.

Ушаков крепко пожал руку лейтенанту. Данилов сел, с любопытством оглядывая большую, чисто выбеленную комнату, где, кроме стола, койки и двух кресел, не было почти ничего.

Один предмет на столе привлек его внимание... Это была флейта, с которою Ушаков не расставался с самого Корпуса.

— Играете?! — изумился Данилов.

— Случается... Когда устаю.

— Не ожидал, право!

— Но ведь и вы... играете...

(Это был намек на домашний театр Войновича, где лейтенант подвизался в комических ролях.)

Данилов покраснел.

— Мне ничего не остается. Я действительно люблю театр, но поверьте, Федор Федорович, люблю море гораздо больше. Однако не имею надежды стать когда-либо моряком.

Ушаков вздохнул и постучал пальцем о флейту.

— Да-а, при вашем начальнике это трудновато...

Приход Пустошкина прервал разговор. Данилов тотчас распрощался и вышел. Ушаков поглядел ему вслед, с грустью думая, что в этом славном малом зря пропадает сила.

Пустошкин, стройный, подтянутый, как на параде, поздравил Ушакова и спросил, сияя румяным добродушным лицом:

— Что это Данилов, завидя меня, бежал? Ведь мы с ним не враги.

— В расстройстве он.

— По какой причине?

— На Войновича сетует: не дает ему ходу...

Пустошкин, недавно произведенный в лейтенанты и назначенный на корабль «Слава Екатерины», нахмурился.

— Не знаю сам, как буду служить. С таким командиром в гавани пропадешь, не то что в море. А ведь мир с турками шаток, Федор Федорович! Ну что, ежели война?!

— Питаю надежду,— сказал Ушаков,— что в военное время Войнович не будет командовать «Славой Екатерины».

— Да ведь рука у него в Петербурге! — с тоской протянул Пустошкин.

Мимо окон в туче пыли промчалась коляска. Было слышно, как у крыльца остановились кони. Потом отворилась дверь, и Федор мрачным голосом доложил с порога:

— Граф Войнович пожаловали! На двор просить али со двора?..

— Ступай зови! — сказал Ушаков в крайней досаде.

Войнович, весь лоснящийся и разомлевший от зноя, вошел с таким видом, словно торжественно приносил себя в дар.

— Ну, батюшка, поздравляю,— пропел он, блестя

глазами, и полез целоваться.— Думал первым у тебя быть, да Семен Афанасьевич упредил.

— Упреждать не старался,— заметил Пустошкин,— а вышло так по моей искренней расположенности к Федору Федоровичу.

— Да мы все к нему расположены! — возразил Войнович и медленно двинулся к столу.— Неужто работаешь?! В такой-то день!.. (Войнович норовил всем говорить «ты», не считаясь с возрастом и положением собеседника.) Чертежи какие-то вижу, планы... Дозволишь взглянуть? Или секрет?

— План госпиталя для морских служителей,— сухо сказал Ушаков.— Я уже докладывал главному командиру.

Войнович жестом перечеркнул бумагу.

— Пустое!

— То есть, как — пустое?!

— Морской человек лечиться не должен.

— Не возьму в толк! — багровея, воскликнул Ушаков.

— Говорю, что матрос лечиться не должен, таково мое мнение.

Рука Ушакова задрожала, пальцы сжались в кулак, и он глухо, с трудом выговорил:

— Марко Иванович!.. Прошу... о людях... так не изъясняться!..

Войнович опешил, растерянно взглянул на Пустошкина и вдруг засмеялся.

— Ну, не буду, не буду! — заговорил он поспешно, заметив, что смех его уж и вовсе не к стати.— Да пушай лечатся! Господь с ними! Не браниться же нам из-за сего!.. А ведь я не только поздравлять приехал. И меня нынче поздравить должно!.. По указу ее величества эскадра переводится в Севастополь, и я определен начальствовать ею... Так что сегодня задам жару в Херсоне! Все пьяны будут!..— И он с поклоном закончил:— Прошу покорнейше пожаловать ко мне на спектакль!..

— Ну, поздравил! — вырвалось у Пустошкина, когда Войнович вышел.— Что скажете, Федор Федорович?

— С самого малолетства привык оказывать повиновение начальникам,— ледяным тоном ответил Ушаков и сел за стол.

— Моровую язву осилили, а с Войновичем потруднее будет. Вот она где, чума в Херсоне!..

Ушаков молчал.

— Да ведь он, чего доброго, и флотом командовать станет! — продолжал Пустошкин. — Тогда совсем по рукам и ногам свяжет!

— Весьма возможно.

— Как же полагаете действовать?

— Как полагаю?.. А вот как!..

И Ушаков, к великому удивлению Пустошкина, взял флейту и заиграл на ней.

## Глава шестая

### «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЛУДЕННЫЙ КРАЙ»

...Да не ослепимся внешним спокойствием государства.

*Радищев*

#### 1

Пробыв в крейсерстве до начала осенних штормов, Херсонская эскадра вошла в Севастопольский порт.

Вторая база Черноморского флота, названная Севастополем (что по-гречески означало «город славы»), была еще неустроенным и пустынным местом. Мелкий лес и кустарник росли на диких холмах, сторожа покой деревушки Ахтиара, и татарские овцы паслись по берегам бухт.

Из-за сильной зыби «Св. Павел»<sup>1</sup> долго не мог войти на рейд. Ушаков изрядно погорячился, пока стали у мыска в просторной бухте. На другой ее стороне стоял корабль «Слава Екатерины» — Войнович пришел намного раньше. Там уже были построены казармы и пристань, а на мыске еще не было ничего.

Прибытие Ушакова с эскадрой в пустынный еще Севастополь живо описал в своем дневнике Иван Полномочный. «Св. Павел» ошвартовался, рассказывает он,

<sup>1</sup> Построенный на херсонских верфях корабль № 4.



и команду спустили на берег. Матросы с любопытством разбежались по лесу и сразу напали на кизил. Так осыпаны были им деревья, словно красным сукном покрыты, а ягоды крупные, как орехи, и вкусные, только не во что брать. День был ветреный, но погожий и теплый. Матросы разделись, сняли с себя рубашки, набрали в них ягод и воротились на корабль.

Ушаков увидел — затопал ногами на вахтенного и закричал:

— На что пускал? Объедаться?!

Насилу уговорили его офицеры, что ягоды очень хороши.

Ему наложили полную тарелку. Он тут же при всех попробовал, пожевал одну ягоду, другую и, ухмыльнувшись, скомандовал:

— Есть всем!..

Вскоре приехал поздравить Ушакова с прибытием «главный командир Севастополя» контр-адмирал Мекензи. Он явился, как заправский помещик, со своею дворней, гребцами и дворовым шутком. На шканцах развернули ковер, веселились, пели песни и показывали разные забавные штуки. Потом Мекензи уехал, и пошла работа: начали строить пристань для выгрузки корабля...

Бухты, закрытые от ветра горами, были глубоки, вместительны и удобны для стоянки большого флота. Одна из них выводила на бескрайний простор моря, представляя собой великолепный рейд.

Новый порт должен был затмить херсонский. Угрожать ему неприятельским кораблям было трудно. Херсон же мог легко оказаться закрытым и турецкой эскадрой и очаковскими батареями, запиравшими Днепровский лиман.

Первые севастопольские постройки походили на обычные новороссийские хаты. Их строили просто: делали плетень, обмазывали глиной, крыли камышом — и дом готов. Такие мазанки теснились всюду по береговым кручам. Но начальник порта контр-адмирал Мекензи уже выжигал известь, заготовлял кирпич, пускал в дело древние камни Херсонеса и штучный инкерманский камень, «чистый и гладкий, как веленевая бумага», и возводил каменные дома.

Суда таганрогских и керченских купцов стояли у причалов. Корабли и фрегаты разместились в Южной и Северной бухтах, где год назад швартовались всего четыре баркаса; они были найдены в камышах Черной речки вблизи Инкермана, отремонтированы, вооружены и вступили в строй.

Работы в Севастополе шли полным ходом. Мекензи проводил от горных ключей воду, строил каменную пристань и напротив нее — дом для себя.

Хороший, дельный помощник оказался у контр-адмирала — его флаг-офицер<sup>1</sup>, молодой Дмитрий Сенявин. Он поспевал всюду, и любое дело в руках у него горело и спорилось. Происходил он из древнего рода Сенявиных — фамилии славных русских моряков...

Летом 1785 года были утверждены штаты Черноморского флота: 12 кораблей, 20 фрегатов, 23 транспортных судна и 13 500 матросов, солдат и артиллеристов. Флот со всеми адмиралтействами и портами Азовского и Черного морей был отдан в полное ведение Потемкина, и ему был пожалован кайзер-флаг<sup>2</sup>.

Главкомандующий решил немедленно укреплять Севастополь.

Он приказал составить план. Фортификатор, начертанный его, остался неизвестным. Пояс оборонительных сооружений по этому плану должен был охватить не только Севастополь, но и весь Херсонесский полуостров и обойтись казне в шесть миллионов рублей.

Таких средств не нашлось, и осуществление плана оказалось несбыточной затеей. Новый порт был оставлен под защитой укреплений, возведенных еще до основания Севастополя — в 1778 году.

Строителем этих первых севастопольских верков

---

<sup>1</sup> Флаг-офицер — морской офицер, состоявший при флагмане для исполнения сигналов и адъютантских обязанностей.

<sup>2</sup> Кайзер-флаг — флаг генерал-адмирала, главнокомандующего флотом; право поднимать кайзер-флаг присваивалось в виде особого пожалования или для придания чрезвычайных полномочий.

был Суворов. В то время он командовал в Крыму и вел оборону береговой полосы. В разных местах он создал двадцать девять укрепленных пунктов и провел линию наблюдательных постов по всему побережью. Наметив стоянки для судов Азовской флотилии, он избрал сигналы для связи сухопутных войск и морских отрядов и, на случай если турки вздумают злоупотреблять русским флагом, обучил солдат распознавать турецкие суда.

В его распоряжении имелся резервный корпус, стоявший к северу от Чонгара. Сам же Суворов находился у Ахтиарской бухты, которую только еще начал укреплять.

Войны не было, но она в любой день могла начаться. Суворов имел приказ: ни в коем случае не допускать высадки, но и не прибегать к оружию без крайней нужды.

В середине июня 1778 года турецкая эскадра подошла к Ахтиару и расположилась во внутренних водах бухты. Стало известно, что ожидается прибытие и капудан-паши<sup>1</sup> со всем его флотом. Перед Суворовым стояла задача: удержать неприкосновенными берега Тавриды и в то же время сохранить мир.

Он немедленно подтянул к Ахтиару резервы — шесть батальонов с конницей и артиллерией — и ночью, заняв оба берега у входа в бухту, приступил к постройке батарей.

Две из них были начаты на северном мысу, одна — на южном; в тылу их возводились редуты и шанцы.

«Гости» пытались схитрить — просили разрешения сойти на берег, чтобы запастись водою. Но им «с полной ласковостью» было сказано, что источники иссякли и что на берег их не пустят, так как они могут занести чуму.

Два дня и три ночи велись работы. Укрепления вырастали на глазах у турок. На третий день, увидев, что они окажутся запертыми в бухте, турки снялись с якоря и ушли.

---

<sup>1</sup> Капудан-паша — генерал-адмирал, главнокомандующий турецким флотом (турецк.).

Начало севастопольской славе положил Суворов. Преемником ее оказался Ушаков.

Он тотчас же, едва ступив с корабля на сушу, объявил аврал на берегу пустынного Ахтиара. Засучив рукава сам — за мастера, назначив офицеров десятниками, он поставил на работу весь экипаж. Одни забивали кольца, другие носили щебень и камень, третьи застилали фашинником ямы и засыпали землей. Ушаков потопрапливал. И пристань кончили быстро. Потом сделали из парусов большую палатку, рассталили корабль и убрали в палатку такелаж...

Вскоре Потемкин поручил Войновичу и Ушакову устройство флота и обучение экипажей. Ушаков с радостью встретил этот приказ.

Он лично занялся обучением новобранцев; толковал им устав, показывал на учебном судне, как лазать по вантам, крепить снасти, шить паруса, уменьшать и усиливать парусность, стараясь, чтобы каждый матрос узнал его близко и поверил ему во всем.

Когда задули ветры, учение на кораблях прекратилось. На «Св. Павле» закрыли ялики брезентом; в каюте Ушакова сложили каменный камелек и выпустили на юте трубу. Зазимовали все на корабле — настоящего жилья еще не было. Матросы и канониры стали заготавливать камень для казарм и корабельных «магазинов», и место, где обосновался «Св. Павел», называли: Павловский мысок.

В середине зимы умер контр-адмирал Мекензи, и Войнович стал начальником Севастопольского порта и флота. Для Ушакова это был удар. Новое, то, что влекло его и к чему он готовил свои экипажи, было чуждо Войновичу, ибо требовало мужества, которого тот не имел.

Между тем из Херсона пришло известие, что императрица намерена посетить Севастополь, и слух этот сильно взбудоражил порт. Командиры стали подтягивать свое корабельное хозяйство; Ушаков — еще с большим рвением обучать экипажи; Войнович же начал перестраивать дом Мекензи во дворец.

Сенявина Марко Иванович сделал своим флаг-офи-

цером. Одаренный, обладавший живым, быстрым умом, Сенявин сохранял повадки лихого гардемарина и норовил прикинуться протачком. Он любил рассказывать, как отец привез его на санях в Морской корпус, сказал: «Прости, Митюха! Спущен корабль на воду, отдан богу на руки!», крикнул ямщику: «Пошел!» — и скрылся из глаз. Ушаков, подавлявший своей суровостью и достоинством, с каким исполнял он всякое дело, вызывал у Сенявина озорное желание подтрунить над ним. В беседах с товарищами он отпускал по адресу Ушакова шутки, иногда весьма чувствительные для его самолюбия. Федор Федорович знал об этом, приписывал все влиянию Войновича, и на душе у него было тяжело.

Тяжело было и Пустошкину, отлично видевшему все, что происходит во флоте. Его тяготила служба под прямым начальством Войновича и тревожила мысль о будущем — о неизбежной новой русско-турецкой войне.

А дело шло к разрыву с Турцией. Порта не могла примириться с присоединением к России Крыма и спешно приводила в боевую готовность армию и флот.

Нелепое положение на корабле угнетало Пустошкина: ему не давали никакого определенного дела. Совершенно неожиданно для себя в июне 1786 года он получил от Потемкина назначение: отправиться за границу на фрегате «Пчела».

По Кучук-Кайнарджийскому договору Турция обязалась открыть торговым судам России проход в Средиземное море и, кроме того, защищать в этих водах русский флаг.

В те времена любое торговое судно нуждалось в защите и совершало рейсы вооруженное пушками. Между Африкой и Европой купцов подстерегали корсары. Пиратские гнезда берберов и североафриканских турок являлись страшной угрозой средиземноморским торговым путям.

Пираты Алжира и Туниса брали на бордаж корабли, вцепляясь в них железными крючьями, и захватывали людей и товары. Их небольшие суда составляли целые флоты, а командовали ими искусные моряки.

В XVI веке Алжир подпал под власть турок. (Только спустя двести лет алжирские турки объявили себя независимыми.) Не было силы на Средиземном море, которая могла бы с ними сладить. Алжирцы все же признавали султана главой мусульманства и выполняли многие требования Порты, поддерживая ее во всех войнах, которые она вела против христианских стран.

Поэтому, когда в 1786 году два русских купеческих судна были захвачены — по слухам — алжирцами, Россия потребовала от Порты ответа и, не получив его, решила удостовериться: верно ли, что корсары нападают на русские суда.

Пустошкин получил приказ снарядить небольшой фрегат и под купеческим флагом отправиться в разные порты Средиземного моря. В июне фрегат «Пчела» пришел в Константинополь. Здесь от русского посланника лейтенант получил инструкцию: пройти Мессинским проливом, узнать, угрожают ли русским судам корсары, и в случае нападения дать отпор.

Пустошкин, посетив острова Архипелага, нарочно пошел южнее Сицилии и Сардинии и, нигде не встретив корсаров, прибыл в Марсель. Русский посланник во Франции дал ему новое поручение: отправиться в Тулон и осмотреть порт, адмиралтейство, канатную фабрику и материалы, идущие на постройку кораблей.

В Тулоне лейтенант познакомился с одним подпоручиком, артиллеристом французской армии, и вместе с ним осматривал укрепления. На память о знакомстве с русским путешественником подпоручик захотел преподнести ему камышовую трость. Но при покупке ее у него не нашлось денег, и Пустошкину пришлось самому заплатить за подарок.

Имя безвестного подпоручика французской службы было Наполеон Бонапарт.

### 3

Проведя в дальнем плавании около девяти месяцев, Пустошкин весной 1787 года прибыл в Кинбурн.

Сведения, полученные им на обратном пути, были

очень тревожны, и он написал об этом в Кременчуг Потемкину. Князь командировал для опроса лейтенанта своего племянника Самойлова, а сам поспешил навстречу императрице, «шествовавшей» обозрывать Новороссийский край.

Он встретил Екатерину в Киеве, и 24 апреля великолепная флотилия из сорока семи вымпелов двинулась вниз по Днепру.

Суда эти, только что построенные «для шествия ее величества», должны были затем стать боевыми, составить гребную Лиманскую флотилию. Пока же они ослепляли роскошью, в особенности галеры императрицы «Днепр» и «Десна».

За Екатериной следовал ее двор — министры, фрейлины, а также иностранные посланники. На каждом судне был свой оркестр. Множество лодок шло по течению. Порой на зеленых мысках появлялись легкие отряды казаков, и пушечный гром раздавался с берегов.

Тридцатого апреля императорская флотилия приблизилась к Кременчугу. В обеденный час на галере «Десна», где находилась столовая, собрался кружок императрицы. В этот день его составили: исполняющий должность министра иностранных дел граф Безбородко, посол Франции Сегюр, английский посол Фицгерберт, личный представитель австрийского императора принц де Линь и австрийский посол Кобенцль. Потемкин отсутствовал — он ушел вперед на своей галере, чтобы подготовить все к военному смотру, предстоявшему в Кременчуге.

Новенькие хутора и села казались нарисованными или же построенными только вчера. Сухой, с мертвым, точно выточенным из кости, лицом, Фицгерберт недоверчивым взглядом провожал цветущие селения, не сомневаясь, что перед ним — декорации, искусно расставленные на пути.

— Давно ли все это создано? — прищурясь, спросил он у Безбородко.

— Еще год назад здесь была совершенная пустыня, — последовал ответ.

Сегюр всматривался в женоподобное, пухлое лицо

сановника, видел его безупречно вежливую улыбку и думал, что обман — действительно ловкий и что людей, которые толпились на берегах, попросту перегоняют с места на место. Но Безбородко, как бы угадав его мысли, сказал:

— Совсем недавно число жителей в этом крае было не более двухсот тысяч, а вскорости превысит миллион...

Счастливый смех Екатерины прервал их беседу.

— Это все князь Потемкин, — сказала она, обращаясь к Сегюру. — Я иной раз думаю, что он чародей.

— Мы все так полагаем, — произнес Кобенцль, толстый, косой, с волосами, покрытыми густым слоем пудры. — Не сомневаюсь, что и его величество император будет такого же мнения.

(Речь шла об австрийском императоре Иосифе, только что прибывшем в Россию по приглашению императрицы. Встреча с ним должна была произойти в ближайшие дни.)

Екатерина окинула собеседников взглядом холодных голубоватых глаз и спросила:

— Друзья мои, какое же место понравилось вам более других в пути?

— Киев! — не задумываясь ответил Кобенцль. — Это — самый величественный город, какой я когда-либо видел!

— А вы как думаете? — обратилась она к Сегюру.

— Это — воспоминания и надежды великого города, — последовал ответ француза. — Но мне надобно будет обмакнуть перо в радугу, чтобы их описать!

Однако Фицгерберт не согласился с ним.

— Если сказать правду, — произнес он сквозь зубы, — то это — незавидное место; одни развалины да несколько сот изб.

— И все же, — возразила Екатерина, — будь у меня дар, я воспела бы его в поэме; к несчастью, мои стихи никуда не годятся!

Фицгерберт заметил почти грубо:

— Нельзя же в одно время достигнуть всех родов славы! Довольствуйтесь тем, что есть!..



С берега донеслась песня, и тотчас же, следом за нею, грянул веселый хор. На зеленом береговом склоне стояли, взявшись за руки, и пели парубки в вышитых крестиком рубашках и девчата в цветных клетчатых платочках, с венками на головах. На протяжении всего пути императрицы населению было строжайше приказано: изображать на лицах «неизреченное блаженство и радостное умиление, со верноподданнической почтительною веселостью сопряженное». Четыре года назад императрица лишила этих людей свободы, указом 1783 года закрепостив их. Веселиться им было нечего. Но они являлись участниками одной из потемкинских «декораций», для которых старосты плетью сгоняли народ из окрестных сел.

Хор гремел. Крепостные «благодарили» царицу за то, что она их закрепостила. И Екатерина сказала, смотря на поющую толпу:

— Теперь вы видите, как ошибался Дидро, советуя мне приступить к преобразованиям в России...— Она задумалась и, немного помолчав, добавила: — Представляю себе, сколько басен сочиняют сейчас в Европе о нашем пребывании на волнах Днепра!

— Там уверяют,— подхватил Кобенцль,— что русская императрица и ее друг император намерены завоевать Турцию, Персию, Индию...

— А затем и весь свет,— смеясь, вставил Безбородко.

— Странствующий кабинет Екатерины действительно тревожит все прочие,— подтвердил де Линь.

— Стало быть, этот петербургский кабинет,— с улыбкой заметила Екатерина,— кажется весьма значительным, если он так тревожит другие?

— Без сомнения,— ответил де Линь.— Но я не знаю ни одного, который был бы столь мал.

— Вы находите его малым?

— Всего в несколько дюймов, ваше величество,— ведь он простирается от одного вашего виска до другого...

Пушечный залп с левого берега заглушил любезную острогу де Линя.

— Кременчуг! — сказал Безбородко, указывая на притаившийся в зелени городок.

Войска Кременчугской дивизии четыре месяца готовились к смотру. В начале года командование ими принял генерал-аншеф Суворов. Конец зимы и весна прошли в непрерывном учении. Тревогами, трудными маршами и переправами приучал Суворов солдат к ратному делу, показывая им войну до войны.

Он старался развить волю в пехоте, воспитать дерзость в кавалерии. Особым образом он приучал коней. Батальон, принимавший атаку, строился в каре; кони мчались на цепь солдат, но едва достигали ее — цепь расступалась; лошади врывались в каре, и тотчас же — «в награду за это» — их щедро кормили овсом.

Суворову было что показать на смотре. Атаки его конницы приобрели силу неотразимых ударов. Вышколенные лошади стремглав летели на «противника» и опрокидывали его, несмотря на штыки, ружейный и пушечный огонь...

Потемкин намеревался блеснуть Суворовым и возлагал на маневры большие надежды. Екатерине он устроил пышную встречу. Дворянство и купечество целой губернии были собраны им в Кременчуг.

От пристани вдоль всей ограды английского парка с вековыми деревьями, каким-то чудом насаженными Потемкиным, стояла толпа.

«Благородное новороссийское дворянство», недавно наделенное императрицей землями и крепостными, ожидало появления своей благодетельницы. Напустив на себя степенность, чинно стояли шустрые купцы из Херсона, Канева и Черкасс. Местный уроженец Фалеев резко выделялся среди них своим беспокойным видом. По его суетливым движениям и возбужденному лицу было видно, что предстоящее зрелище волнует его больше, чем прочих. Он был поставщиком провианта для Кременчугской дивизии, строил суда для путешествия Екатерины, за что был пожалован в подполковники, пользовался большим доверием Потемкина и в хозяйственных делах являлся его правой рукой.

Наживаясь на подрядах, на костях тысяч людей возводил он пристани, дома, хутора, склады. Мемуарист XVIII века А. Т. Болотов записал о Фалееве в

своим «Памятнике претекших времён»: «Многие за верное сказывали, что слышали от самовидцев, видевших своими глазами, что сей славный бывший любимец и во всех таких наживах сотоварищ князя Потемкина до того даже в тогдашнее время простирали свою власть и могущество, что землю в деревнях своих пахивали плугами на рекрутах. Некогда случилось, что был скотский падеж в тамошних пределах и все вола у него передохли, на которых он пахивал землю, и как пахать было не на чем, то, сказывают, запрягаемо было вдруг человек по 16 рекрут, и они принуждены были тащить плуг...»

Потемкинский размах восхищал Фалеева. И когда княжеская карета, запряженная шестеркой коней цугом, пронеслась мимо, «всеобщий подрядчик и поставщик» воскликнул:

— Вот он, князь Григорий Александрович!.. Все у него в голове да в руках!..

После этого толпа еще полчаса стояла на солнце, пока Екатерина не проследовала к месту маневров. Гости императрицы «от ее имени» разбрасывали серебряные и даже золотые монеты. Кременчугский ремесленный люд и крестьяне близлежащих деревень жадно ловили эти дары царицы, источником которых были налоги, собранные с них же самих.

Потом все двинулись на поле за городом.

Войска уже выводились на смотр.

Колонны пехоты и двадцать пять эскадронов конницы двигались в полном порядке, но с какой-то необычайной легкостью и непринужденностью, совсем не похожей на парадный строй.

Необычным был и внешний вид войск. Куртки, шаровары, легкие сапоги и удобные каски сменили прежнюю стеснительную форму прусского образца. Твердые лосиные брюки, которые перед надеванием приходилось мочить в воде, косы и пудра были отменены еще в семидесятых годах, по предложению Румянцева. Волосы солдат были подстрижены в кружок; это придавало марширующим вид чисто крестьянский.

Суворов провел дивизию перед зеленым пригорком, где стояли Екатерина и ее спутники; затем войска разделились по роду оружия, быстро расположились в

разных местах огромного луга и начали показывать чудеса.

Сперва было показано, как «пушки не боятся лошадей, а лошади — пушек».

Казачья лавой шла на батарейный огонь, и бомбардиры стреляли в упор по казачьей лаве. Пушки и лошади действительно «не боялись друг друга», но все же конница побеждала своей живой, стремительной силой и брала орудия и прислугу в плен.

Потом батальон пехоты построился в каре и кавалерия пошла на него в атаку. Приученные кони рвались вперед; ни отбросить, ни остановить их было невозможно. Солдаты расступались перед ними, и всадники проскакивали сквозь строй.

Маневр повторился несколько раз. Когда дым от выстрелов рассеялся и улеглась пыль последней атаки, на земле осталось пять или шесть человек, сильно помятых лошадьми.

— Ново, весьма дерзостно и примечательно! — сказал графу Безбородко Кобенцль и переменял место на холмике, чтобы лучше видеть. — Однако, — добавил он, заметив лежавших на земле пехотинцев, — маневры не обходятся без жертв!

— Как и все новое и дерзостное, — заметил Безбородко.

Густые массы войск двигались отовсюду к центру луга, окружая пехоту, построившуюся в несколько каре, чтобы отразить натиск превосходящих сил.

Суворов прокричал резко и весело:

— Неприятель обошел — тем лучше: он сам идет на поражение!..

Раздалась команда, и окруженные войска открыли частый огонь.

Атакующие остановились. Тогда из интервалов между каре, опустив пики, вырвались на конях казаки. Пехота перестроилась и кинулась вслед за ними, и по всему полю начался разгром только что наступавших войск.

Суворов, «вопреки всей Европе», придал штыку первостепенное значение. Его пехота (гренадеры и мушкетеры) атаквала холодным оружием, без выстрела: залп, предшествовавший атаке еще при Петре I, был

исключен. Суворов учил: «В атаке не задерживай!» — и пользовался первым впечатлением внезапного нападения. Стрельба же производилась легкой пехотой — егерями, «коих должность только в том и состоит»...

Смотр закончился вечером, когда от реки уже потянуло свежестью и висевшая в воздухе пыль тонко-золотым облаком поплыла над лугом. Суворов сказал речь, разъяснив войскам их ошибки и похвалив их за то, что заслуживало похвалы.

Потемкин, стоявший на холмике подле императрицы, в продолжение маневров не проронил ни слова. Он грыз ногти и безучастно смотрел на войска, словно происходящее вовсе его не касалось. Во всех движениях его большой, сильной фигуры чувствовались подавленность и вялость. Это был приступ его обычной беспричинной хандры.

Голос Екатерины несколько вывел его из оцепенения.

— От Петербурга до Киева,— обратилась она к нему,— мне казалось, что пружины моей империи ослабли, но здесь они в полной силе и действии...

Потемкин склонил голову.

— Я видела армию,— продолжала она.— Это — превосходнейшее войско, какое только можно встретить. Хотела бы увидеть таким и флот!

Суворов, в темно-синем мундире с красным воротником и тремя звездами, легко взбежал на пригорок и направился прямо к императрице. Его щеки и лоб покрывала сеть ранних морщин, и он казался престарелым и немощным; но в то же время что-то непреклонно твердое было в этом простом и необычайном лице.

Он подошел «к руке», и Екатерина сказала рассчитанным, умеренно холодным тоном:

— Желательно, чтобы вы сопровождали нас до Херсона...— И добавила: — Князь Григорий Александрович вознаградит вас за службу.

Суворов посмотрел на грызущего ногти Потемкина, потом на Екатерину и с ужимкой ответил:

— Не я, не я, это все его светлость князь!

Она быстро отвела взгляд и заговорила о чем-то с графом Безбородко.

А Суворова окружили Кобенцль, Сегюр и де Линь,

— Ваше высокопревосходительство! — с жаром приступил к нему Кобенцль. — Позвольте мне, посланнику австрийского императора, выразить свое восхищение!.. Искусство ваших войск выше всяких похвал, но тайна его непостижима!

Суворов лукаво усмехнулся.

— Скорый заряд, исправный приклад — и всё тут. Есть пословица: «Стреляй редко, да метко». А в общем, штык, быстрота и внезапность — вот вожди россиян!..

— Но как вы обходитесь без артикулов, без обычных командных слов?!

— Имели мы прежде вымышленные слова: «строй фронт по локтю», «стройся в полторы шеренги» и тому подобное. Все это я давно позабыл.

— Ваши маневры, — сказал Сегюр, — похожи на настоящую войну. У вас даже бывают потери...

— Помилуй бог! Солдат дорог! — сердито выпалил Суворов. — Я четыре, пять, десять человек убью — четыре, пять, десять тысяч выучу!..

Иностранцы от неожиданности замолчали.

Суворов, быстро повернувшись налево кругом, сбежал с пригорка.

— И еще как выучит! — задумчиво произнес де Линь.

## 5

Императрица продолжала «шествовать» вниз по Днепру, наслаждаясь ласковой украинской природой и лестью избранного общества. А тем временем на Правобережной Украине, в казачьих селах, среди левад и «сабочков», созрел народный гнев.

Одним из таких сел были Турбаи, широко раскинувшиеся в глухом углу Хорольского уезда, при самом впадении Хоролы в Псел. Указ 3 мая 1783 года окончательно закрепостил украинское крестьянство; прежние казачьи округа («полки») были обращены в губернии и провинции, а паны сотники и паны полковники наделены сотнями тысяч душ и тысячами десятин земли. Но казацкая верхушка захватывала земли и закрепощала бедноту не только по указам царицы; но и самоchinно. Так действовали братья Базилевские, владельцы села Турбаи с населением в две тысячи душ.

История этого села была обычной для Украины того времени. Находилась оно на территории Миргородского полка, полковником которого в течение сорока с лишним лет был Даниил Апостол. Постепенно прибирал он к рукам «турбаївців», исключая их одного за другим из «компутов» (списков казачьих родов) и обращая в собственных своих крепостных. После смерти Апостола турбаевцы дружно стали добиваться воли. Новый миргородский полковник — Василий Капнист<sup>1</sup> — внес их опять в список казаков, но наследники Даниила Апостола повели с турбаевцами борьбу. В 1767 году один из потомков полковника Апостола продал турбаевцев предпринимателям-крепостникам — сотникам Ивану и Степану Базилевским. Новые владельцы села поставили свое хозяйство на «широкую ногу»: крепостные сеяли для них пшеницу, разводили скот, гнали деготь, мочили коноплю, перерабатывали шерсть в сукно, выделывали кожу. Были у Базилевских еще кирпичный, конный и овечий заводы; занимались они, кроме того, виноделием, а также охотно отдавали деньги в рост.

Но турбаевцы, гнувшие спину на панщине, не забыли, что предки их были казаками. И пока императрица умилялась спокойствием празднично убранного для нее края, они выбрали из своей среды ходатаев и послали их в Петербург — заявить в Сенате о поправных своих правах...

## 6

Император Иосиф приехал в Россию под именем графа Фалькенштейна в простой коляске, в сопровождении одного генерала и двух слуг. Не надеясь на свою армию в предстоящей войне с Турцией, император подыскивал себе подходящих союзников. Странствуя под чужим именем, он рассчитывал наилучшим образом ознакомиться с положением дел в России и выяснить, стоит ли заключать с нею союз.

---

<sup>1</sup> Капнист Василий Петрович, в 1757 году был убит в сражении при Гросс-Егерндорфе; сын его, Василий Васильевич Капнист, — поэт и драматург, один из первых уроженцев Украины стал писать на общерусском литературном языке; сыновья В. В. Капниста были членами «Союза благоденствия».

Императрицу он встретил у селения Койдак, выше порогов, и вместе с нею присутствовал при закладке Екатеринослава. По окончании этой церемонии он, насмешливо улыбаясь, сказал де Линю:

— Она положила первый камень нового города, а я — второй и последний... Дело у них не пойдет...

Между тем Потемкин всерьез намеревался построить здесь храм «аршинчиком выше собора св. Петра в Риме», двенадцать фабрик, университет и консерваторию, а на острове посреди Днепра — целый университетский квартал. Он представил императрице подробное «начертание» нового города, поразившее современников величию своего замысла и необыкновенною широтой. К постройке намечались: «судилище, наподобие пропилей или преддверия Афинского, с биржею и театром посредине, палаты государские, где жить и губернатору, во вкусе греческих и римских зданий, имея посредине великолепную и пространную сень...»

Но автором этого величественного плана был, по всей вероятности, не Потемкин, а знаменитый русский зодчий, сын подьячего, в прошлом — крепостного, Матвей Федорович Казаков<sup>1</sup>.

Путешествие ошеломило и озадачило императора. Он с трудом разбирался в своих впечатлениях, и виденное им на Днестре казалось ему каким-то сном.

Сюрпризы Потемкина в виде торжественных встреч, парадов, иллюминаций, панорам строящихся дворцов и селений сопровождали Иосифа до самого Днепровского устья. В то же время ему попадались на глаза сотни одетых в рубище крепостных, выполнявших тяжелые работы. И Сегюр, с которым он успел подружиться, твердил ему, что им показывают «ненатуральные» села и что цветущее состояние края — один обман.

Но это было лишь отчасти верно. Людей и впрямь

---

<sup>1</sup> М. Ф. Казаков был вызван Потемкиным в строящийся Екатеринослав в марте 1783 года и провел там шесть месяцев, принимая деятельное участие в застройке города и составлении проектов для «светлейшего» (См. Н. И. К л ю ш н и к о в. Архитектор Матвей Федорович Казаков. «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии», вып. X. Екатеринослав, 1915, стр. 170—175). Сочинение Казаковым потемкинское «Начертание» более чем возможно. Историкам архитектуры предстоит разрешить этот вопрос.



перегоняли с места на место, и нежилые, наспех сколоченные хаты бросались в глаза во многих местах. Потемкин показывал Екатерине «шелками устлан путь», приукрасив его так, что иностранцам все казалось обманом. Но за показной стороной скрывалась действительность: оживление быстро заселяемого края. Император понял это, когда увидел Херсон.

Две тысячи домов — каменных и вполне натуральных — составляли большой опрятный город; его лавки ломились от турецких, греческих и французских товаров; около двухсот купеческих судов стояло в гавани, и целая армия рабочих хлопотала на верфях, готовя к спуску фрегат и два больших корабля.

В этом году херсонская торговля приняла громадные размеры. Из дунайских портов приходили суда с грузами. Здесь находились австрийский и неаполитанский консулы. С Херсоном торговали Марсель, Александрия, Генуя, Ливорно, Триест...

По прибытии в Херсон Потемкин получил подробное донесение Пустошкина и немедленно доложил о нем императрице.

Лейтенант добросовестно выполнил поручение: он сообщил о захвате нескольких русских судов алжирцами, о подготовке в Анатолии десантов для отправки к берегам Крыма и о том, что турецкий флот совершенно готов к выходу в море и может начать войну в любой день.

Пустошкин был произведен в капитан-лейтенанты и на своем фрегате ушел в Севастополь. А в Херсон прибыл русский посланник в Турцию — Яков Иванович Булгаков — и сообщил, что на Родосе убит русский консул, а на Кандии<sup>1</sup> с дома российского консульства сорван флаг.

Он, кроме того, привез ультиматум, предъявленный Портой, принять который было невозможно. Так, турки настаивали, чтобы Россия признала грузинского царя Ираклия турецким подданным и согласилась на осмотр всех русских судов, проходящих через Босфор.

Рассказав обо всем Потемкину, Булгаков добавил

---

<sup>1</sup> К а н д и я — остров Крит. Острова Крит и Родос в XVIII веке находились под турецким владычеством.

— Денис Иванович Фонвизин давненько мне сказывал: «У нас ребят пугают все турками; это надо переменить и сделать так, чтобы сам султан дрожал от имени русского». И впрямь, Григорий Александрович, пора бы переменить!..

Но открытие военных действий все же не входило в планы России: ей нужно было еще некоторое время, чтобы подготовить армию и флот.

Тем не менее Булгакову было предписано резко отклонить ультиматум, потребовать от Порты удовлетворения за бесчинства на Кандии и Родосе, а также настаивать, чтобы алжирцы возвратили захваченные русские суда.

Потом были спущены на воду фрегат и два корабля. Екатерина явилась на торжество в скромном, серого сукна, капоте и черной атласной шапочке. Зато баржа, заменявшая пристань, поражала своим убранством: она была украшена парчовыми парусами с золотыми кистями и бахромой.

Майский ветер надувал паруса и гнал белые вихри пыли на стоявшую вдалеке толпу. То были строители этих двух кораблей и фрегата — «работные люди» херсонской Корабельной слободки, в холщовых, заплятанных портах и рубахах, с женами и детьми.

Екатерина оглядела роскошную пристань и сказала, поясняя своим гостям и свите:

— У нас, за недостатком холста, употреблена парча на паруса...

А когда суда, соскользнув со стапелей, закачались на волнах днепровских, австрийский император пробормотал: «Корабли — из очень сырого леса, годятся только напоказ». Он решил немедленно написать об этом в Вену и сказал о плохих судах Потемкину, но получил ответ: «Мы будем сражаться и на таких!..»

На другой день Екатерина выразила желание отправиться в Кинбурн, чтобы оттуда морем следовать в Севастополь. Но перед самым отъездом, когда она и ее спутники сидели за столом, пришло известие, что близ Очакова появилась сильная турецкая эскадра. Стало также известно, что с эскадрой прибыли французские офицеры для перестройки очаковских укреплений и усиления батарей.

— Как надобно это понять?— спросил Безбородко Сегюра.— В то время, когда только что подписан дружеский трактат с Францией и ее посол сопровождает императрицу, мы видим, что французские инженеры занимаются устройством артиллерии у наших врагов!

— Это могут быть только волонтеры,— любезно ответил Сегюр.— А за них французское правительство отвечать не может.

— Разве что так,— с усмешкой произнес Безбородко и, обратившись к Екатерине, заметил:— При таких обстоятельствах путешествие вашего величества морем не представляется безопасным.

— Что посоветуете делать?

— Следовать далее сухим путем...

## 7

Войнович от усердия сбивался с ног, готовясь к приезду Екатерины: он украшал порт и город, а более всего бывший Мекензиев дом, превращенный им в дворец.

Стены дворцовых комнат были до окон отделаны под орех, а выше — покрыты малиновым штофом. От дворца до каменной пристани, уже носившей — в честь графа Войновича — название Графской, сделали деревянный помост с железными перилами и на них навесили золоченые фонари.

Труды Марко Ивановича никогда не пропадали даром. И сейчас, в разгар своих хлопот, он был облакан: в середине мая его произвели в контр-адмиралы; это было нужно Потемкину, чтобы под контр-адмиральским флагом вывести на рейд флот.

Ушаков тоже готовился к торжественной встрече. Он ничего не украшал и проводил время в обычных, казалось, занятиях с моряками. Но за этой обыденностью морского ученья скрывался секрет.

В его большом плане действий отводилось особое место работе канониров. Он был уверен, что судовая артиллерия должна и может заговорить по-новому, ибо вообще по-новому надо воевать на морях.

Он начал с малого, выбрав для опытного обучения команду небольшого бомбардирского судна «Страш-

ный». На нем он ежедневно уходил за Балаклаву и там, стоя на якоре либо идя под всеми парусами, громил из орудий пустынный угрюмый мыс...

От самого Перекопа была сделана дорога для проезда императрицы, приготовлены для освещения пути смоляные бочки и поставлены «путевые дворцы» для ночлега. Потемкин приказал: дорогу делать «богатою рукою — чтобы не уступала римским». Это путешествие недаром обошлось стране в двенадцать миллионов рублей.

Двадцать первого мая в Севастополе стало известно, что Екатерина прибыла в Бахчисарай, а в полдень следующего дня она уже вступила в долину Инкермана.

Император Иосиф ехал в карете бок о бок с Сегюром. Французский посол отдыхал после плохо проведенной ночи: его поместили в одной палатке с Фицгербертом, и они до зари писали донесения своим правительствам, причем один ругал французов, а другой англичан.

Солнце жгло немилосердно. Щедрость крымского солнца становилась неистовой, и близость моря уже угадывалась в яркой синеве неба над буйно встававшей повсюду зеленью и диким нагромождением скал.

— Самая натуральная из всех потемкинских декораций, — проговорил Сегюр, любуясь открывшимся видом.

— И притом не стоившая денег, — сказал император. — Кстати, вы заметили, как все ловят взгляд князя?

— Еще бы! — усмехнулся Сегюр. — Но поймать его взгляд довольно трудно. Вообще, это самый странный человек, какого я когда-либо встречал...

Карету сильно качнуло, и Сегюр ухватился за болтавшийся над ним ремешок.

— Я не верю в Потемкина! — раздраженно сказал он. — Его затеи стране не по силам. Она нищая и забитая. Половина ее населения — крепостные, а императрица ежегодно увеличивает их число.

Император покачал головой.

— Я тоже так думал... Но теперь я вижу, что здесь строят дороги, гавани, крепости, воздвигают на болотах дворцы, разводят в пустынях леса. Потемкин, по-видимому, не щадит ни людей, ни денег, и все может оказаться нетрудным. Здешний народ горячо любит свое отечество и будет драться за него с любым неприятелем. А русская армия очень сильна.

— Не спорю. В этом я сам убедился. И, значит, неправ Дидро, назвавший Россию колдоссом с глиняными ногами... Глине дали окрепнуть, и она превратилась в бронзу! — заключил Сегюр.

Император прикрыл ладонью лицо, защищаясь от ветвей, хлеставших в окно кареты.

— Императрица задумала великое дело — союз четырех держав: России, Австрии, Франции, Испании. Это пока еще тайна, но, думаю, вы уже о ней знаете... То, что я слышал о Суворове, крайне серьезно... Для армии такой генерал — это все!.. Россия создает флот. Если у нее еще появится новый — морской — Суворов, она будет непобедима! Но уже и сейчас она — выгодный и надежный союзник.

— И ваше величество готовы... — начал Сегюр осторожно.

Иосиф кивнул головой и закончил:

— ...К сожалению, заключить с Россией союз. — Он жестко добавил: — Но я не допущу русских утвердиться в Константинополе! Для Вены безопаснее иметь соседей в чалмах, нежели в шляпах!..

Дорога огибала гору, кое-где поросшую орешником и терном, местами уже совершенно голую, будто изглоданную огнем.

— Наконец-то! — внезапно воскликнул Сегюр и, постучав в окошечко, велел кучеру остановиться. — Ваше величество! — сказал он, выходя на дорогу. — Я уличил князя! Смотрите! Вон там — декорация, самый настоящий холст...

Сливаясь с серой горой, стояло такое же серое, неживое овечье стадо. Художник не нашел бы для картины лучшего места: тень от скалы падала на клочок голого склона, и камни уцелевшей на нем древней ограды были увиты плющом.

Сегюр направился к горе. Но едва он сделал не-

сколько шагов вдоль дороги, овцы заблеяли, и стадо, подняв облако пыли, шархнулось в сторону.

— Нет, они живые...— смущенно пробормотал Се-  
гюр, возвращаясь и влезая в карету.

Император, откинувшись на подушку, хохотал...

В Инкермане, с так называемых Мекензиевых вы-  
сот, увидели рейд, эскадру — шестнадцать кораблей в  
линии, под флагом контр-адмирала Войновича. Это  
был Черноморский флот, построенный наспех из сы-  
рого дерева, не обшитый медью и все же грозный, го-  
товый в любую минуту «вступить под паруса».

Вскоре прибыли к устью Черной речки, впадавшей  
в Ахтиарский залив. У пристани стояли наготове кате-  
ра под светло-зелеными тентами. Гребцы — отобранные  
со всего флота, самые сильные и красивые матросы —  
были одеты в белые шелковые рубахи и шляпы с вен-  
зелями Екатерины II.

Ветра не было. Флотилия катеров на веслах напра-  
вилась в Севастополь и в пятом часу вечера под гром  
салюта вошла в Южную бухту.

Екатерина проследовала по тонкому синему сукну,  
проложенному от самой воды через всю пристань.  
Войнович и капитаны кораблей встретили ее на берегу.

Потемкин уже обрел полную бодрость духа, чувст-  
вуя себя хозяином этой земли, моря и порта.

После короткого отдыха сели за стол — в шатре,  
раскинутом на пятьдесят человек вблизи дворца, на  
берегу моря. Из морских офицеров, кроме Войновича,  
были приглашены только двое: Алексиано и Ушаков.

Часом позже Потемкин осмотрел Севастопольскую  
эскадру. На борту «Св. Павла» он встретился с Ушако-  
вым и принял от него рапорт о состоянии корабля.

Это была их первая встреча. Потемкин знал Уша-  
кова только по донесениям и понаслышке, но он редко  
ошибался в людях и умел их выбирать.

Поручая ему воспитание моряков-черноморцев, По-  
темкин был уверен, что отдает их в хорошие руки.  
И сейчас, слушая твердую речь этого человека, любу-  
ясь его спокойной, уверенной силой, он думал о том, что  
такому можно доверить все...

— Пользуясь прибытием вашей светлости к эскадре,— говорил Ушаков,— прошу дозволения изложить взгляд свой касательно одного тайного и крайне важного дела...

— Тайного и крайне важного?— повторил Потемкин.— Какого же именно?

— Касательно образа действий военного флота, о чем беспрестанно думаю в течение многих лет...

Любопытство и удивление засветились во взгляде Потемкина. Стоявший перед ним командир был гораздо значительнее, чем он полагал.

— Известно вашей светлости,— продолжал Ушаков,— что о морских сражениях уже долгое время нет слуху? А если и происходит, то не иначе как ленивыми баталиями их должно назвать...

— Едко сказано!— заметил Потемкин.

— Боязливая тактика лишь вредит государству. Только полное разбитие неприятеля оканчивает войну!

Они стояли на верхнем деке у притаившихся в задраенных портах<sup>1</sup> пушек и рассуждали о том, когда и как этим пушкам стрелять.

— Я за то стою,— проговорил Потемкин,— чтобы сражаться отважно, нападать на сильнейшего противника даже с малыми силами.

— И к тому есть способы,— сказал Ушаков.— Один из них, когда речь о турках, есть следующий... Не раз видно мною, что турецкий флот приходит в расстройство тотчас по обращении капудан-паши или старшего флагмана в бегство. Отсюда вижу, что надобно всегда в начале сражения атаковать их флагманский корабль.

Закатное солнце положило по всему кораблю жаркие блики. Оно легло на белый мундир Ушакова, ударило ему в лицо, и он на секунду зажмурил глаза.

Потемкин еще раз ощутил его уверенность и спокойную силу, подумав, что именно такой человек и нужен флоту.

Федор Федорович в упор посмотрел на Потемкина. На лице Ушакова резко обозначились скулы; глаза были ясные, непроницаемые; небольшой гладкий парик слегка натягивал кожу удлиненного лба.

---

<sup>1</sup> Порт — люк, амбразура.

— Ваша светлость!..— жестко сказал он.— Соблюдать в сражениях правила не всегда возможно. Они в кабинетах пишутся, где ветры не дуют и ничего не могут менять... Я к тому говорю, что может представиться военный случай. А граф Войнович назначает меня командовать авангардом...

Потемкин понял. Он кивнул головой и улыбаясь ответил:

— Согласен на все!.. Действовать, по обстоятельствам глядя, это разумно!.. А случай скоро представится— родные берега защищать придется! Можно будет и отечество прославить и себя показать!..

В сумерках Екатерина, сопровождаемая Потемкиным, вошла на катер, и brave гребцы быстро отвели его на середину бухты. Бомбардирское судно «Страшный», стоявшее под кормой корабля «Слава Екатерины», начало «на расстоянии 300 сажен» бомбардировать городок с башнями и стенами, построенный для этого на Северной стороне.

С третьего выстрела судно зажгло городок, а после пятого — огонь охватил все его башни и стены.

Такой стрельбы во флоте еще не видали. Командиры молча переглядывались, стоя на палубах кораблей.

— И это все?— спросила Потемкина Екатерина.— Однако изрядно они у тебя стреляют! Оказывается, флот твой круглехонько обточен.

— Полно, матушка государыня!— ответил Потемкин.— Обточен, да не совсем.

— Передай благодарность нашу,— продолжала Екатерина,— графу Войновичу за все содеянное им в Севастополе, а за добрую стрельбу — особливо.

— Стрельбе, матушка, обучал не Войнович, а капитан первого ранга Ушаков.

— Ушаков? Герой херсонский? Так отчего он капитан первого ранга?! Ведь я указ подписала... Поздравь его, друг мой, не мешкая, бригадиром!..

Бомбардирское судно «Страшный», возвращаясь к своему месту, прошло мимо катера. У орудий стояли комендоры, казалось готовые вновь показать свое искусство императрице.



Но ей, разумеется, было невдомек, какую роль эта сноровка ушаковских канониров сыграет в борьбе за Черное море, когда флоту придется воевать по-новому, так, как еще не воевали на морях.

8

«...Ныне, когда большая часть государства с голоду помирает и когда медная и серебряная монета... до крайности возвысилась ценою, кажется, что на все сие правительство наихолоднейшим духом смотрит. Московская, Калужская, Тульская, Рязанская, Белгородская губернии и вся Малороссия претерпевают непомерный голод, едят солому, мякину, листья, сено, лебеду, но и сего уже недостает, ибо, к несчастью, и лебеда не родилась, и оной четверть по четыре рубли покупают... А однако никакого распоряжения... до исходу февраля месяца не сделано о прокормлении бедного народу, для прокормления того народу, который сочиняет<sup>1</sup> силу Империи, которого в самое сие время родственники и свойственники идут сражаться с врагами, которые в степях, в холоде, в нужде и в сырых землянках без ропоту умирают, который дает доходы не токмо на нужды государственные, но и на самый роскош...»

Так писал русский историк, представитель дворянской оппозиции, князь Михаил Щербатов. Миллионы, потраченные на путешествие императрицы, легли тяжким бременем на плечи народа. Государство находилось «в ужасном состоянии, несмотря на кажущийся блеск».

По возвращении Екатерины II в столицу начались волнения «рабочих людей», строивших набережную Фонтанки. Около трехсот человек, не будучи в состоянии прокормиться жалкой поденной платой, пришли с жалобами и угрозами под самые дворцовые окна. Их удалось разогнать с большим трудом.

Об этой едва ли не самой первой петербургской за-

<sup>1</sup> Сочиняет — здесь: создает, творит.

бастовке в дневнике секретаря Екатерины — А. В. Храповицкого — имеются любопытные записи с конца июля по октябрь:

«[Июль] 24. Говорено о упрямстве работников, оставивших работу при Фонтанке».

«[Август] 3. Говорено о работниках по Фонтанной, кои и по решению Совестного Суда не идут в работу...»

«[Август] 8. Рассказывали о неприятной негоциации<sup>1</sup> с работниками, кои не слушались ни обер-полицмейстера, ни генерал-адъютанта...»

И лишь 1 октября закончились неприятные для императрицы «негоциации» с рабочим людом. При этом строители одержали полную победу, так как Храповицкий послан был к губернатору с повелением: «удовольствовать работников» и поскорее выдать им паспорта — «чтоб опять не пришли ко дворцу...».

Служащий петербургской таможни Александр Радищев, человек высокообразованный и начитанный, был прекрасно осведомлен о внешнеполитическом и о внутреннем положении страны.

Еще в 1775 году, проезжая по залитым кровью пензенским и саратовским деревням и селам — обозревая места недавних расправ с пугачевцами, задумал он написать книгу о страданиях своего народа, стонущего под крепостным ярмом.

В 1767 году ученик великого Ломоносова — Алексей Поленов — представил на конкурс Вольного экономического общества в Петербурге свою статью. Отвечая этим сочинением на заданную тему, — какой труд выгоднее «для общества», наемный или крепостной, — и заодно протестуя против самого «права» помещиков продавать людей и владеть крестьянами, Поленов предлагал: «для славы народа и пользы общества вывезть производимый человеческою кровию бесчестный торг».

В 1771 году Поленов поступил секретарем в Сенат. Туда же в одно время с ним поступил на должность протоколиста Радищев. Они не могли не знать друг друга, не могли не беседовать по волновавшим их обоим вопросам, и можно почти с уверенностью сказать, что

---

<sup>1</sup> Не го ци а ц ии — переговоры.

Радищев знал статью Поленова. Идея о страстной, обличающей книге зародилась у него давно, и он исподволь писал уже отдельные главы, стремясь разоблачить лицемерие императрицы и показать жестокую действительность во всей ее наготе...

Но это был уже не поленовский умеренный гнев, а нечто гораздо большее, ибо он смотрел вдаль — «сквозь целое столетие» — и, указывая крепостным виновника их бед и страданий, призывал подневольный люд к восстанию: «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, ярясь в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ...»

## Глава седьмая

### КИНБУРН — ОЧАКОВ

Все вдруг, все вдруг наступят! прынут!  
Ударя, вновь ударят, грянут!  
Успешен парус и весло.

В. Петров

#### 1

Булгаков, возвратившись в Константинополь, сообщил султану Абдул-Гамиду ответ своего правительства и покинул аудиенц-зал. Тогда султан написал великому визирю записку: «Объявляй войну. Будь что будет». А в августе 1787 года Булгаков был посажен в Семибашенный замок. После этого турецкая эскадра внезапно напала на фрегат «Скорый» и бот «Битюг», стоявшие у Кинбурнской косы.

Два русских судна в течение трех часов отбивались от одиннадцати вражеских, а в сумерках подняли паруса и ушли к Херсону, выдержав огонь очаковских батарей...

Крупные военно-морские силы Турции были введены в Черное море. Двадцать пять кораблей прибыли к Очакову для блокады Лимана. Командовал ими разбитый русскими при Чесме алжирец Хуссейн-бей — теперь уже Эски-Хуссейн (Старый Хуссейн). Незадолго до начала войны султан назначил его капудан-пашою.

Это был свирепый человек. Во время боя в Хиосском проливе он спасся вплавь, держа в зубах саблю. Эски-Хуссейн имел обыкновение гулять по Стамбулу в сопровождении львицы и во время одной из таких прогулок смертельно напугал французского посланника Шуазеля-Гуфье.

Другая турецкая эскадра из шестнадцати вымпелов стояла в Варне для обороны Проливов.

Французские инженеры укрепляли очаковские бастионы, углубляли рвы и одевали их камнем. Европейские державы ревниво относились к усилению России на юге; поэтому английские, шведские и прусские офицеры разработали туркам план военных действий, обнадежив этим турецкий генеральный штаб.

Англия в особенности была заинтересована в ослаблении России на Черном море, и английский посол при дворе «блистательной Порты» приложил все усилия, чтобы заставить ее пойти на разрыв с Россией. Стремясь обеспечить себе подступы к Индии, Англия старалась укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, оберегая его от влияния других стран.

Давно миновало время, когда она доброжелательно относилась к России, которая, нанося удары туркам, тем самым оттесняла с турецкого Востока французов — соперников англичан. Но слишком большие успехи русского оружия никогда не входили в расчеты Англии. В середине восьмидесятых годов она уже настроилась к России враждебно, и русско-английский договор 1766 года, по истечении двадцатилетнего срока, не был возобновлен.

За эти годы промышленность Англии ушла далеко вперед, причем эта «революция» совершилась с помощью русского вывоза. Пшеница, лес и пенька в огромных количествах вывозились из России. Один только лес чего стоил! Торговых судов у Англии было в то время около 10 тысяч, а на каждый среднего размера корабль шло до 4 тысяч дубовых стволов.

Русский посланник в Лондоне Семен Романович Воронцов писал брату своему Александру 29 мая 1786 года: «...Англия бесконечно больше нуждается в торговле с нами, нежели мы в торговле с нею. Когда

мистер Фокс<sup>1</sup> сказал мне прошлой осенью, что Англия погибнет, если порвет с Россией, — это утверждение было основано на мнении адмирала Гоу, первого лорда адмиралтейства... Кроме того, весь ее торговый и военный флот непрерывно воспроизводится из материалов, получаемых из России, добрая часть ее мануфактур держится на русском сырье...»

За год до начала войны в русских военно-морских портах Черного моря побывал английский тайный агент. Эта была тридцатилетняя леди Кравен, урожденная графиня Беркли, совершавшая «путешествие» по России. В столице она была встречена с необыкновенным почетом и милостиво принята Екатериной II. Потемкин позаботился о беспрепятственном следовании леди в Новороссию и Тавриду и приказал предоставить ей фрегат для переезда в Константинополь. А знатная «путешественница» была просто-напросто английской разведчицей, как это видно из писем, написанных ею по прибытии в Херсон.

«Мне должно, да и я сама хочу осмотреть верфи этого города и укрепления, которые будут делать по новому плану... — писала леди Кравен. — На верфях стоят прекрасные фрегаты... Я недостаточно сведуща в военном деле, чтобы точно сказать, из-за какой неисправности и недостатка считают нужным перестраивать здешние укрепления. Но, судя по дарованиям полковника Корсакова<sup>2</sup>, я уверена, что они будут построены искуснейшим образом и расположены очень хорошо... Говоря правду, у меня теперь в голове одни только географические карты да разные топографические планы... Господин Мордвинов<sup>3</sup> сказал мне, что фрегат, на котором я поеду в Константинополь, уже готов...»

Эти письма леди Кравен были адресованы ее «другу», а впоследствии — мужу, маркграфу Аншпах-Байрейтскому Александру, в Баварию; они составили целую книгу, изданную в Лондоне в 1789 году.

<sup>1</sup> Фокс, Чарльз Джемс (1749—1806) — знаменитый английский политический деятель, лидер оппозиции парламента,

<sup>2</sup> Н. И. Корсаков — один из фаворитов Екатерины II, в 1786 году производил перестройку укреплений в Херсоне.

<sup>3</sup> Н. С. Мордвинов — граф (1754—1845); с 1797 года — адмирал; русский государственный деятель.

Таким образом, англичане оказались хорошо осведомленными о состоянии русских черноморских портов, когда им пришлось составлять план военных действий для турок, решивших начать с Россией войну.

Этот «турецкий» план был направлен к тому, чтобы разрезать линию русских коммуникаций, идущую по Бугу на Кинбурн — Перекоп — Севастополь. И так как Черноморский флот к началу войны оказался разделенным между Севастополем и Херсоном, было решено разбить его по частям.

Турки, сосредоточив в Анапе войска для десанта, намерены были овладеть Кинбурном, кинуться на Херсон, уничтожить верфи и затем перебросить десант в Крым. В их руках был ключ Лимана — Очаков. Он запирает Херсон и угрожал сообщениям флота. Русские должны были во что бы то ни стало овладеть этим ключом.

Стотысячная армия под начальством Потемкина двинулась к Очакову, но задержалась в Елисаветграде, так как была еще не готова. Чтобы выиграть время, Потемкин решил перейти к обороне, удерживая всеми силами Херсоно-Кинбурнский район.

Защита его была поручена Суворову. Избрав Херсон своею главной квартирой, он приказал построить пять батарей на островах, прикрывающих Днепровское устье, сформировал отряды вооруженных жителей и отрядил суда для обороны города со стороны реки.

В Кинбурне он возвел в самых уязвимых местах батареи и установил наблюдение за противником. Для защиты берега он решил привлечь Лиманскую флотилию. Ее командир контр-адмирал Мордвинов с большим неудовольствием предоставил в его распоряжение три фрегата и четыре галеры. Противник решительных действий, к тому же не подчиненный Суворову, он не считал себя обязанным помогать сухопутным войскам.

Между тем Потемкин, вынужденный воздержаться от наступательных действий на суше, решил немедленно ввести в действие флот. 24 августа он приказал Черноморскому флоту выйти в море, всюду искать противника, невзирая на его превосходство, и не «мыслить ни о чем, кроме победы или смерти». «Где завидите

флот турецкий,— писал он Войновичу,— атакуйте его во что бы то ни стало, хотя бы всем пропáсть».

Тридцать первого августа Севастопольская эскадра из трех кораблей и семи фрегатов взяла курс на Варну, имея приказ истребить стоящий там флот. Войнович находился на корабле «Слава Екатерины», капитан первого ранга Тиздель командовал «Марией Магдалиной», на «Св. Павле» шел Ушаков.

Восьмого сентября близ мыса Калиакрии эскадру захватил шторм. На одном фрегате сломало фор-стенгю. Войнович поднял сигнал: стать на якорь, вызвать со всех судов плотников и послать их на фрегат. Стенгю поставили, но когда собрались отправить мастеровых обратно, ветер усилился, начало заливать шлюпки. Плотники так и остались на фрегате. А Войнович поднял сигнал: снявшись с якоря, идти к Варне, что означало — идти в самые опасные места.

К ночи погода и вовсе разыгралась. Кинулись убирать паруса — поздно; полетели мачты и стеньги, и, как назло, плотников нет: все на фрегате. А ветер все пуще. Матросы втихомолку ругали Войновича: «Вот что нам сделала Варна — сделалось угарно. А более от нашего флагмана: нельзя без рассудка в море ходить!»

Паруса изорвало ветром; на судах появились течи. Фрегат «Крым» всю ночь палил из пушек, требуя помощи. Корабль «Мария Магдалина» лишился мачт и руля.

Эскадра была рассеяна. «Крым» пропал без вести. Корабль Тизделя течением отнесло к Босфору, и он был захвачен турками. На «Славе Екатерины» переломало все мачты, и воды прибыло до десяти футов; матросы помпами, ведрами и ушатами выливали воду в продолжение двух дней.

Ушакова несколько суток носило по морю. Уже совсем погибали, когда показался берег. Думали — Феодосия, крымские горы, но ошиблись: это было кавказское побережье. Ушаков сказал: «Лучше в море погибать, нежели у турка быть в руках!..» Кое-как, с великим трудом, приладили к фок-мачте небольшой парус и повернули от берегов абхазских в море. «Св. Павел» терпел жестокое бедствие. Только самооб-

ладание командира и доверие к нему команды спасли от гибели корабль.

Моряки черноморцы с потерями вышли из первого испытания, но они ни на минуту не лишились присутствия духа. Один Войнович не скрывал страха и сокрушался по поводу утраты в море своих вещей, денег и табакерки, забывая о том, какой урон из-за него понес флот.

Почти все суда нуждались в ремонте: «Крым» и «Мария Магдалина» были потеряны.

«Бог бьет — не турки!» — в отчаянии писал Потемкин Екатерине.

А турки, видя ослабление русского флота, перебрали в Очаков до пяти тысяч войска, решив начать атаку Кинбурна как раз в то время, когда в Севастополь возвращались рассеянные бурей суда.

## 2

Второй ключ Лимана — Кинбурн запирали около двух миль водного пространства узкой и длинной стрелкой. Он защищался старинным фортом, имевшим всего 19 медных и 50 чугунных пушек, и редутами, вооруженными полевыми орудиями. Эта оборона все же сильно стесняла противника, ибо суда его, лавируя в извилистом фарватере, должны были подставлять свои борты под огонь Кинбурнской косы.

Турки несколько раз приближались к Кинбурну и затевали перестрелку. Суворов пытался отправить туда на помощь мордвиновскую флотилию, но она почему-то не шла.

Тринадцатого сентября противник начал сильный обстрел Кинбурнского форта. В тот же день греки, перебежчики из Очакова, сообщили Суворову, что на Херсон никаких покушений не будет и турки в ближайшие дни атакуют Кинбурн.

Суворов перенес туда свою штаб-квартиру, вызвал из Херсона доктора Самойловича и потребовал выхода в Лиман флотилии. Мордвинов выделил фрегат «Скорый», бот «Битюг» и четыре галеры. Но начальнику этого отряда капитану 2-го ранга Обольянинову было предписано, «чтобы он ввиду превосходства неприя-



тельского флота имел осторожность и сам бы оно не атаковал».

Суворов в сердцах писал: «Коли б севастопольцы меньше хитрили, все бы здесь Стамбульское пропало».

Но Марко Иванович, натерпевшись в начале месяца страху, не имел никакого желания выходить в море. У него была отговорка — незаконченный ремонт судов.

А противник готовился к нападению. Суда его стояли недалеко от Кинбурна. Было видно, как турки ходят по палубам, курят, хлопчут у орудий; ветром доносило их заунывные песни. И Суворов с досадой писал Потемкину: «Прославил бы себя Севастопольский флот! О нем слуху нет!»

Утром 1 октября 1787 года отборные турецкие войска начали высадку у оконечности Кинбурнской стрелки. Высаживались они и в другом месте — у Мариинского редута, в двенадцати верстах от крепости. Суворов не отвечал ни одним выстрелом. «Пускай все вылезут, не мешайте им!» — спокойно сказал он и отдал приказ выяснить место высадки главных вражеских сил.

Янычаров было доставлено на косу до пяти тысяч. Командовали ими французские «волонтеры» под главным начальством Юсуф-паши.

Суворов имел только тысячу пехотинцев. Резервы, заранее расположенные им поблизости, должны были подойти через несколько часов. В ожидании их Суворов решил отходить в глубь полуострова и таким образом лишить поддержки флота наступающие турецкие войска.

Турки быстро окапывались — рыли траншеи. Атаковать их сразу же после высадки было трудно: флот противника прикрывал свой десант сильным огнем. По мере продвижения турок по косе поражаемое корабельной артиллерией пространство уменьшалось, зато все турецкие траншеи надо было брать с фронта: обход их с правого фланга преграждался сильным огнем с моря, а с левого — по отмели — был доступен только коннице, но она еще не пришла.

К трем часам дня турки выкопали пятнадцать тран-

шей и приблизились к крепости почти на ружейный выстрел. Но резервы уже подходили, и Суворов завязал бой.

Силы были неравные. Отбив контратаку русских, турки стали теснить их к форту. Тогда Суворов бросился вперед, остановил отступающих и выбил турок из нескольких траншей.

Пятьсот корабельных пушек засыпали Кинбурнскую косу бомбами, ядрами и картечью. Пули турецкие были крупные, «двойные». Под Суворовым была убита лошадь; его самого ранило картечью в бок.

В это время русская галера «Десна» сбила с позиции несколько флагманских судов противника, а один канонир полковой артиллерии удачным выстрелом потопил шебеку<sup>1</sup>. Тогда турки, во избежание дальнейших потерь, отвели свой флот к Очакову...

Солнце было низко. Пехота отступала. Но к месту боя спешили резервы. Все подкрепления уже прибыли. У Суворова было теперь до двух тысяч бодрых солдат. Превозмогая боль, он ударил на турок со всеми своими силами, очистил пятнадцать линий траншей и прижал противника к самой воде.

Рука Суворова была прострелена и кровоточила. Казачий есаул сорвал с шеи свой галстук и перевязал ему рану. И тотчас же как из-под земли появился доктор Самойлович со своим лекарским учеником.

А бой подходил к концу. Два эскадрона павлодарцев примчались на берег. Суворов указал им на море, и они кинулись на конях в воду, словно собираясь переплыть Лиман и штурмом взять очаковскую твердыню. Но это был маневр — казаки отыскивали отмели, чтобы зайти туркам в тыл.

С уходом турецкого флота противнику некуда было отступать. И он стал отчаянно отбиваться, когда русская пехота атаковала его с суши, а конница — с тыла, со стороны моря, вламываясь в самую гущу турецких войск.

Артиллерия громила их картечью, пехота — штыками, конники саблями сбрасывали в море. Почти весь

---

<sup>1</sup> Шебека — небольшое трехмачтовое (обычно корсарское) судно с вооружением от двенадцати до сорока пушек.

десант был уничтожен. Только семьсот человек спаслось на мелких судах...

Победа была полная. После Кинбурнского боя турки сняли блокаду Лимана и Эски-Хуссейн увел эскадру к турецким берегам.

Потемкин послал Суворову двенадцать медалей для награждения рядовых и предписал: «Одну дайте тому артиллеристу полковой артиллерии, который выстрелом подорвал шебеку. Я думаю, не худо б было вам призвать по нескольку рядовых или спросить целые полки, кого солдаты удостоят между собой к получению медалей».

Но канонира не нашли: то ли услали его в Херсон, то ли он лежал в лазарете. Говорили только, будто фамилия его не то Полномочный, не то Поломошный и что волосы у него светлые и прямые, а глаза синие, со слезой.

А бездействие флота по-прежнему удручало Суворова, заставляло его писать горькие строки: «О, коли б он, как баталия была, в ту ночь показался, дешева была б разделка».

Но Мордвинов не рискнул появиться у Кинбурна, а Войнович побоялся выйти из Севастополя и перенять Эски-Хуссейна на его возвратном пути.

## Глава восьмая ОГОНЬ ПО ФЛАГМАНУ

Трудимся в поте лица!  
Петр I

### 1

Петровский морской устав завещал русским морякам решительную тактику на море, в частности сближение с противником на самую короткую дистанцию: «Капитанам и командорам, кораблей не стрелять из пушек по неприятелю прежде, нежели они толь близко придут, чтоб можно вред причинить».

Но случилось так, что заветы Петра I были малопомалу забыты во флоте. В этом следовало винить людей типа Мордвинова, выучеников английской школы,

создавшей целую «науку» о том, как уклоняться от боев.

История этой «науки» была такова.

До второй половины XVI века морской бой велся без всякого строя. Корабли держались группами, а главным средством овладения судном противника был абордаж. С введением новых боевых средств, а именно — артиллерии, располагавшейся в то время по бортам судна, возникла необходимость вести бой на параллельных или же на контркурсах и обязательно — в линии кильватера, то есть когда корабль следует «в струе» идущего впереди корабля. Возникновение линейной тактики было закономерным этапом в развитии военно-морского искусства. Флотоводцы первоначально не боялись разбивать строй на отряды, растягивать либо сжимать его, как того требовала обстановка. Но с течением времени об этом забыли и стали считать, что в любых условиях надо сохранять строй.

Строжайшие боевые инструкции появились в английском флоте. Их составило британское адмиралтейство. Оно начертало непреложный девятнадцатый параграф, который гласил: «Если адмирал и его флот находятся на ветре у неприятеля и растягиваются в боевую линию, авангард флота адмирала должен направиться на авангард неприятеля, и всему флоту вступить в сражение от авангарда до арьергарда последовательно каждым своим кораблем».

Атаковать превосходящими силами часть флота противника не допускалось. Нельзя было нарушить строй даже для оказания помощи товарищу. Командиры быстроходных кораблей и фрегатов должны были равняться по самому худшему своему ходоку. Но нелепость не ограничивалась сохранением строя. Начинать атаку разрешалось, только заняв наветренное положение. Сперва стремились выиграть ветер; до этого не начинали боя даже со слабейшим противником, а на выигрыш ветра иногда уходило несколько дней.

При таких условиях ничего не стоило уклониться от встречи. Мордвинов, обучавшийся в Англии, женатый на англичанке и преклонявшийся перед всем английским, был сторонником этой общепризнанной

нерешительной тактики. В делах флотоводческих он смыслил мало; зато «всеподданнейшие» доклады составлял прекрасно. Екатерина недаром говорила о его донесениях, что они «писаны золотым пером».

Совершенно других взглядов придерживался Ушаков. Он понимал, что действовать следует отнюдь не всегда по правилам, но всякий раз сообразуясь с данной обстановкою. Однако для подобного рода действий надо было по-новому воспитать людей.

Федор Федорович не считал возможным воспитывать их так, как это казалось наилучшим Мордвинову. В Севастополе хорошо запомнили его приказ по эскадре, данный в прошлом, 1787 году.

«Повиновение есть душа службы; молчанием оно соблюдается...—гласила мордвиновская мудрость.—Голос принадлежит только офицеру, дудка—унтер-офицерам, а матросам не должно иметь [ничего кроме] как руки... Матрос не должен осмеливаться сказывать, что должно делать, если какая веревка не отдана, то должен офицер приказать, а когда это упущено, то он виноват: пусть ломается и рвется,—матрос должен молчать... Я рекомендую всем офицерам войти в свои права, не делить оных с рядовыми и не уступать начальство подчиненным своим...»

Ушаков не меньше Мордвинова ценил порядок и дисциплину. Но матрос был для него не безгласным представителем массы «морских служителей», а разумным существом, от боевых качеств которого главным образом зависел успех.

Петровский «Устав морской» предписывал, чтобы «всякий человек, когда ни спросят, знал свою должность и место».

«Каждый воин должен понимать свой маневр»,—учил Суворов.

«Всякий спешит исполнить ему должное»,—внушал матросам Ушаков.

Ушаков жаждал помериться силой с противником. Но к этому отнюдь не стремилось начальство: Войнович боя не искал.

А турецкий флот опять стоял у Очакова, по-прежнему угрожая Кинбурну. Потемкин искал человека, способного дать решительный отпор туркам в Лимане, и вызвал Ушакова в Херсон.

Однако Мордвинов немедленно отправил его обратно. Он получил за это от Потемкина выговор, но дело было сделано: Ушакову участвовать в действиях галерной флотилии не пришлось.

А флотилии этой придавалось большое значение. Ей предстояло защищать Херсон и вести борьбу за Очаков. И Потемкин, спешно ее пополняя, строил галеры в разных местах по Днепру.

Его энергии хватало на все — на постройку судов, отбор нужных людей, усиление морской артиллерии. Он являлся «главным командиром края», начальствовал над армией и флотом, море и суша были в его руках.

Потемкин принял решительные меры для охраны Крыма от турецких десантов. На случай, чтобы крымцы не ударили русским в спину, он приказал отобрать у татар оружие, а татарских коней выгнать за Перекоп.

А Эски-Хуссейн весной появился в Лимане; у него было десять кораблей, шесть фрегатов и пятьдесят малых судов. Но Потемкин успел усилить Лиманскую флотилию — в ней насчитывалось уже до семидесяти вымпелов.

Седьмого и семнадцатого июня турки дважды пытались уничтожить русские суда в Лимане, но потеряли два корабля и укрылись под защиту очаковских батарей.

«Севастопольский флот невидим...» — писал Суворов контр-адмиралу Нассау.

Поведение Войновича возмущало Потемкина: все его понуждения оставались напрасными — Марко Иванович в море не выходил.

Но в севастопольском Адмиралтействе кипела работа. Люди «переменялись на две вахты». Из Херсона на волах доставляли мачты; их доделывали и ставили на поврежденные суда эскадры. Ушаков сам следил за ремонтом. Работали день и ночь.

Восемнадцатого июля турецкий флот сделал попытку уйти в море, но попал под огонь кинбурнских пу-

шек, запутался в трудном фарватере и, обстрелянный со стороны Лимана, потерял пять кораблей, два фрегата и еще несколько судов. После этого он ушел, оставив под Очаковым только свою гребную флотилию. Но ее вскоре заблокировал русский гребной флот.

«...Капитан-паша,— доносил в своей подробной ре-ляции Потемкин,— гребною флотилиею разбит: шесть кораблей линейных сожжено, два отделились, будучи на мели... В плен взято людей с три тысячи, побито не меньше; наш урон мал. Генерал Суворов много вреда сделал неприятелю батареями...»

Возведенные Суворовым на Кинбурнской косе батареи загнали два упомянутых турецких судна на мель...

Восемнадцатого июня в море вышел Войнович. Марко Иванович сделал это, положившись во всем на младшего флагмана — командира своего авангарда.

И он мог быть вполне спокоен: авангардом командовал Ушаков.

### 3

Море было бурное и ветер — свежий, когда вышли из Севастополя. Эскадру Войновича составляли два корабля и десять фрегатов; за ними следовали двадцать четыре небольших судна, годных для разведывательной службы и крейсерства у берегов.

Войнович держал флаг на корабле «Преображение». Ушаков шел на «Св. Павле». Перед выходом в море он приказал: «Люди расписаны по местам... Каждый знает свое место и спешит исполнить ему должное... В неприятеля стрелять только ближними, прицельными залпами. До подхода на пистолетный выстрел огня не открывать!..»

Войновичу он объявил:

— Могу ручаться за успешные действия авангарда, ежели будет дозволено мне поступать безбоязненно.

— Делай, батюшка, как знаешь,— ответил Марко Иванович и предоставил Ушакову свободу, махнув рукой на все...

Крейсеры донесли, что Эски-Хуссейн получил подкрепления и сам ищет встречи с русской эскадрой.

Но неприятеля нигде не было видно. Войнович находился между Очаковым и Березанью — островом Евферия, как назывался он тысячу лет назад.

Флоты киевских князей всегда проходили мимо него, держа путь в Византию. Здесь зимовал Святослав, отважный, неутомимый воитель с русым чубом на бритом темени и золотой в ухе серьгой.

Тот же ветер тянул с берегов, что и в давние времена Святослава.

Турки не появлялись.

Когда Войнович приблизился к Гаджибею<sup>1</sup>, крейсера вновь донесли: флот противника под парусами и лавирует в сторону Севастополя.

Наконец 29 июня на эскадре заметили турецкие суда.

Они находились близ острова Фидониси, к востоку от устьев Дуная. С этого дня их уже не теряли из виду. 1 июля Войнович прислал Ушакову записку:

«Любезный товарищ! Мне бы нужно поговорить с вами. Пожалуйста, приезжайте, если будет досуг. 20 линейных кораблей насчитал!»

Ушаков усмехнулся. У него не было ни досуга, ни желания говорить с Войновичем.

Утром следующего дня шлюпка доставила новое письмо:

«Если подойдет к тебе капитан-паша, сожги, батюшка, проклятого! Надобно нам поработать теперича и отделаться на один конец! Если будет тихо, посылай ко мне часто свои мнения и что предвидишь. Будь здоров и держи всех сомкнутыми, авось избавимся...»

В тот же день флоты сблизились. Теперь можно было разглядеть противника. Ушаков, стоя на шканцах, смотрел в подзорную трубу.

Он определял ранг судов и прикидывал в уме соотношение сил обоих флотов.

У турок было семнадцать кораблей и восемь фрегатов; двадцать четыре малых судна держались за ними «в замке»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Гаджибей — укрепление, на месте которого в 1794 году была основана Одесса.

<sup>2</sup> В замке — в хвосте.



Ушаков насчитал 1100 неприятельских пушек. У Войновича было 550 орудий. Общий вес турецкого залпа составил бы 410 пудов. Вес русского залпа — едва 160 пудов.

Русские корабли, не обшитые медью, обрастали ракушками, травой и уступали турецким в быстроте хода; пушки, наспех отлитые на Баташевских заводах, были малого калибра. Потемкин отзывался о них с негодованием: «Кинулись лить такие, кои легче, и надедали множество пистолет».

Флот турецкий был гораздо сильнее русского. Но стал он таким лишь в самое последнее время. Еще недавно корабли турок были громоздки, плохо вооружены и черпали воду нижними батареями при самом слабом ветре. Вдобавок экипажи их не знали своего дела, а командирами становились те, кто давал взятку в морском министерстве, и при этом те, кто больше платил.

После Чесменского боя началось преобразование турецкого флота. Французские инженеры построили Порте много легких на ходу судов, снабженных сильной артиллерией. На них появились хорошие, опытные матросы — греки. Но обучать турок по-прежнему было трудно: они служили на флоте только в летнее время, осенью же уходили домой...

На рассвете 3 июля, при тихом северо-восточном ветре, эскадры стали сходитьсь.

Подошедший крейсер принес русскому флоту добрые вести: Потемкин обложил с моря и суши Очаков и сжег турецкие гребные суда, укрывавшиеся в его бухте.

Это сильно подняло дух команд перед боем. Весть мгновенно разнеслась по кораблям и фрегатам, и «ура» прокатилось по ним, как залп.

Совсем рассвело. Ясно обозначился остров Фидониси.

Внимание всех теперь было приковано к турецкому флоту. Он был виден на северо-западе в быстро исчезающей пелене тумана. Ушаков в подзорную трубу следил за противником и видел то же самое, что наблюдал уже не раз прежде: турецкий флагман обходил

свою эскадру и давал словесные указания командиру каждого корабля.

Артиллерии унтер-лейтенант Копытов стоял рядом с Ушаковым.

— Федор Федорович! — недоумевая, спросил он. — Что это делает капудан-паша?!

Ушаков опустил трубу и повернулся к унтер-лейтенанту. Лицо младшего флагмана было красно, кожа во многих местах лупилась от солнца. Острые молодые глаза щурились в светлых лапках морщин.

— На сигналы в бою не надеется, — сказал он с усмешкой, — и на своих командиров тоже. Сигналов в дыму не увидят и будут в незнании, что им делать. Вот и наставляет их словесно... Но мы флагмана разобьем, и они побегут!..

— А со стороны поглядеть — силища! — пробормотал Копытов.

— Практикованным, — весело сказал Ушаков, — весьма выгодно подраться против неискusstва! Противник — нерегулярный, хотя и силен...

Эски-Хуссейн тем временем строил флот к бою. Из пяти кораблей он составил арьергард, из шести — центр, из шести — авангард и сам и пошел в авангарде. Ушаков приказал идти курсом, параллельным противнику, чтобы выяснить намерения капудан-паши.

Около полудня турки стали спускаться на русскую эскадру, стремясь обойти и окружить ее авангард.

Ушаков отдал приказ передним своим фрегатам прибавить парусов и обойти с наветра головные корабли турецкого флота. Это дало бы русским судам возможность поставить неприятеля в два огня.

«Св. Павел» и фрегаты «Берислав» и «Стрела», рванувшись, пошли как бы в авангарде у противника. Эски-Хуссейн понял грозившую ему опасность и тоже усилил парусность. Его атака не удалась, и теперь он стремился во что бы то ни стало вырваться вперед.

Командные слова долетали с вражеской эскадры. Вслед за ними отчаянный крик поднимался на всех турецких судах. Беспорядок и отсутствие дисциплины у турок доходили до смешного: матросы порознь тянули снасти, спорили и даже вступали между собою в драку. Поэтому плохо управляемые суда их слишком

растянулись. Русские же приближались в сомкнутом строю.

Авангарды сошлись в два часа пополудни. Старший флагман русской эскадры находился еще за островом, и руководство боем взял в свои руки Ушаков. Не дожидаясь сигнала Войновича и ничуть не заботясь о сохранении строя, он обрушился на врага с одним кораблем и двумя фрегатами; против каждого русского корабля было по три и четыре турецких.

С обеих сторон открылась жестокая канонада. Но турки вели огонь беспорядочно и неприцельно. Русские же били противника только прицельными выстрелами и разряжали свои борта полностью в самый упор.

Расписанные по местам люди работали дружно. На батареях не видно было никакой суеты.

Через полчаса два передовых турецких фрегата были отрезаны от своего флагмана и, не выдержав русского огня, обратились в бегство.

— Бесподобно!..— в азарте воскликнул Ушаков.

Бежавшие фрегаты поставили капудан-пашу под удар, и Ушаков кинулся на него с превосходящими силами. К этому он и стремился. Атаковать флагмана и связать его боем было вернейшим средством привести в расстройство турецкий флот.

Эски-Хуссейн, когда его фрегаты проходили мимо контргалсом, стал осыпать их ядрами, требуя, чтобы они возвратились в строй.

Но они бежали.

— Бездельник! — с усмешкой проговорил Ушаков. — Да он их сам, без моей помощи, разобьет! — и приказал усилить огонь по флагману.

А русский арьергард и центр громили тем временем растянувшуюся эскадру противника и не давали ее судам прийти на помощь капудан-паше.

Русские моряки искусно разряжали борта своих кораблей: «Св. Павел» действовал как одна огромная пушка. Унтер-лейтенант Копытов сам наводил орудия и затем считал пробоины в корпусе турецкого корабля.

Ветер становился горячим. Все было накалено. По лицу Ушакова текли струйки пота. Он сорвал с головы парик и утерся им, как полотенцем.

В слепящем блеске и зное лежало древнее Русское море, которое Петр завещал добыть потомкам...

Копытов, пробегая по палубе, крикнул:

— Ух, Федор Федорович, жарко!..

И Ушаков ответил, как Петр I говаривал на своих верфях:

— Трудимся в поте лица!..

Уже на одном турецком корабле была сбита мачта, на других — стены; потоплена одна шебека. В пятом часу дня корабль капудан-паши повернул на другой галс и стал уходить.

Русские фрегаты пустили ему вдогонку залп и разбили у него всю корму.

За бегущим турецким флагманом устремилась и вся его эскадра.

Ушаков гнался за нею до наступления сумерек. Но турки быстро уходили на запад, — корабли их с медной обшивкой и парусами из бумажной ткани имели отличный ход...

Это была победа. Первая большая победа Черноморского флота.

Уже при звездах Ушаков выстроил на верхнем деке команду.

— Поздравляю, — сказал он, — с первой генеральной нашего флота баталией!.. Одна доверенность ваша ко мне совершила сии успехи! Отечество не забудет вас! Спасибо, братцы!.. — И он поклонился матросам и офицерам в пояс.

Команда ответила громовым «ура»...

Утром на корабль прибыл Войнович. Едва завидев Ушакова, он кинулся к нему с объятиями и расцеловал его в обе щеки.

— Ну, батюшка, — сладко пропел он, — поступил ты весьма храбро — дал капудану-паше порядочный ужин! Мне все видно было! А флотик наш заслужил чести — устоял против этакой силы!..

— И чести заслужил, и награды, — твердо сказал Ушаков.

— Награды?! — Войнович насторожился.

— Да, Марко Иванович, подаю вам о сем рапорт... Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей.

Они действовали с необычайной сноровкой. Особенно же отличились унтер-лейтенант Копытов и командиры фрегатов — Шишмарев и Лавров..

Оба флагмана стояли на юте. Вблизи никого не было.

— Так, так, душенька...— Войнович пожевал губами и сказал внезапно изменившимся тоном:— Но я-то сего своими глазами не видал!

— Вижу, Марко Иванович, несогласие ваше и хотел бы знать причину.

— Прежде времени награждать не следует. Еще люди не успели себя показать.

— Они себя показали достаточно! Противник мог действовать пятью кораблями на каждый из наших и был на ветре, тем не менее чувствительно поражен. К тому же речь идет о первой на здешнем море нашей генеральной баталии. Она есть свидетельство, что русская морская сила уже может быть грозною для неприятельных нам держав!

Ушаков говорил спокойно, усилием воли сдерживая негодование.

Войнович, словно испытывая его терпение, протянул:

— Не зна-а-аю! Как князь взглянет... А он — не думаю, чтобы тобой доволен остался... Ты ведь, друг мой, поступил не совсем разумно: без сигнала моего начал сражение и бой вел не по правилам — из линии вышел, нарушил строй!

— Все движения эскадры были исполнением указа вашего превосходительства, ибо я, условясь с вами заранее, словесное дозволение на то получил!

Войнович опешил. Он и впрямь позабыл, что еще в Севастополе предоставил своему флагману свободу действий.

Не найдя что ответить, он повернулся и зашагал по палубе. Ушаков проводил его до трапа и постоял, пока шляпка контр-адмирала не отвалила от корабля.

Потом, пройдя к себе в каюту, он сел писать письмо Потемкину:

«...Удостоите щедротой и покровительством исходатайствовать мне за болезнию увольнение от службы...»

Но рука остановилась. Он отложил в сторону черновик.

Войнович и все с ним связанное отошло куда-то вдаль, словно и не было этого вовсе. Главное—то, что долгие годы было задачей для Ушакова, встало перед ним снова. Но теперь, после боя у Фидониси, это было решено...

Он стал записывать мелькавшие мысли. Их еще надлежало развить в будущем, но в них уже было самое важное.

Это была морская «наука побеждать».

Он писал о том, что «нельзя соблюсти всех правил эволюции—иногда нужно делать несходное с оною», что каждый бой требует своих путей для победы, но решительная тактика—основа всего...

В дверь каюты стучали, Ушаков не слышал. Выводя строки своим кругловатым старомодным почерком, он ясно видел, как взрываются неприятельские корабли, идут ко дну целые эскадры и вражеский адмирал спускает перед ним флаг.

## Глава девятая

### «ЖИТЬ СВОБОДНЫМ ИЛИ УМЕРЕТЬ!»

Не все рожденные в отечестве достойны величественного наименования сына отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем.

*Радищев*

#### 1

Вслед за домом Мекензи поднялись на берегу дома флотских подрядчиков, корабельного мастера Доможирова и, наконец, Ушакова. Три десятка домов, казармы, длинное каменное здание для морских офицеров да несколько лавчонок и пекарен—это и был весь Севастополь. Запах свежее испеченного хлеба стоял над ним.

На опрокинутой шлюпке, у крыльца ушаковского дома, сидели двое: старый, седоусый грек из соседней

пекарни и матрос — Иван Полномочный. Матрос был слесарем со «Св. Павла». Он рассказывал греку про свою жизнь.

— С двенадцати лет, — говорил он, — поступил я в тяжелую работу: отцу в кузнице пособлял — молотом бил. Шестнадцать годов взяли меня на военную службу; хотели отдать одному офицеру, да я сказал, что знаю медное ремесло, чтобы не попасть в денщики..

Грек слушал, уставясь на собеседника жгучими, печальными глазами, а матрос продолжал:

— Стал я корабельным слесарем. Служил в Херсоне, потом два года здесь; отделявал дома капитану Ушакову, капитану Заостровскому, господину Ихари-ну — железные и медные вещи работал для окон и дверей.

— А ты родом откуда? — спросил пекарь.

— Вологодский. Не близко отсюда будет. У нас местность обширная, все леса да болота. А зима студеная, ты бы там не выжил.

— Я с острова Корфу, — сказал грек со вздохом, — у нас всегда тепло...

Он опустил голову, помолчал, должно быть вспоминая родину, и вдруг запел на своем языке песню. Он тянул ее долго, и матрос терпеливо слушал, пока ему не стало тоскливо от этой песни, слов которой он не понимал.

— Полно тебе выть! — сказал он с досадой и тут только заметил, что приятель его плачет. — Да что ты разнежился, дурак?

— Э, братец, ничего ты не понимаешь! — ответил пекарь. — Это такая песня, что ни один грек без слез петь не может.

— Какая ж она такая?

— Мудреная. По-русски нельзя сказать.

— По-русски все можно сказать! — уверенно возразил матрос. — Ну-ка, говори мне!

— Это, братец мой, вот такая песня: кто поет ее, тот и плачет за свое отечество... А поют, стало быть, как одна птица сидела, ну, и полетела далеко-далеко, через горы, через море, через лес, через туман. Ну и вот, летит она, все летит, далеко летит и опять — еще дальше...

Матрос склонил голову и задумался, как бы что-то припоминая, а грек снова затянул песню про птицу, летящую через горы и море, лес и туман.

Они не заметили, как позади них отворилась дверь и на крыльцо вышел Ушаков. Он слышал рассказ грека и теперь, слушая его песню, видел, как все ниже опускает голову корабельный слесарь и почему-то прикрывает ладонью глаза.

Федор Федорович повернулся и ушел в дом.

Ступая по грубым, толстым половичкам, он направился к раскрытым дверям кабинета. Море стояло в его высоких, с частыми переплетами окнах, похожих на стекла маячного фонаря.

Оконные задвижки, дверные ручки, петли и даже косяки у дверей были медные и отражали бившее в окна солнце. Федор Федорович любил медь, и притом начищенную до блеска. В доме был строгий порядок, как на корабле.

Он сел за массивный, просторный стол, сделанный из мачтового дерева, и уставился взглядом поверх карты Черного моря, висевшей в углу. Море было на ней с берегами, островами, глубинами, подводными камнями и мелями; четыре крылатых ветра с надутыми щеками летели по ее концам.

Федор Федорович не глядел на карту; прищурился глазами, он видел совсем другое; мысли его были далеко.

Песня стояла в ушах, и щемящее чувство грусти закрадывалось в его суровую душу: в памяти оживали детство и юность — Волга и Тамбовский край...

Серебряная лента Мокши огибала Санаксарский монастырь, расположенный вблизи Алексеевки — небольшой деревни Ушаковых; деревня была приобретена отцом под старость, когда Федор уже был выпущен мичманом на флот. Он бывал там. Монастырь в половодье с трех сторон заливало водою. С запада его стеною окружал бор, с востока — задумчивая в своих песчаных берегах Мокша. По-над берегом стояли дубы, раскинув в небе могучие кроны; в одном из них было дупло, увешанное иконами, как часовня, — в него свободно входил человек.

Помнил Федор Федорович и своего деда Игната, и бабушку Прасковью, и родовое их сельцо Бурнаково под



Романовом-Борисоглебском, близ Волги. И туда также наезжал он погостить...

Помнил он и настоятеля Санаксарского монастыря — своего дядю Ивана. Суровый, молчаливый игумен в миру был офицером, но за какой-то проступок был пострижен в монашество и заключен в монастырь. Он был загадкой для Федора, — племянник рано потерял дядю из виду; знал только, что в грозный пугачевский год Иван Ушаков защищал крестьян от обид темниковского воеводы и за это угодил в Соловки.

Узнав о ссылке дяди, он первое время испытывал беспокойство, опасаясь, как бы это «дело» не отразилось на его собственной служебной карьере, однако все обошлось...

Вспомнив внезапно о делах, он отогнал от себя воспоминания, встал и начал ходить по кабинету из угла в угол, заложив руки за спину и размышляя вслух:

— Привести в исправность суда, укомплектовать команды, подобрать добрый офицерский состав!.. Потемкин велит на Лиманскую эскадру принимать пехотных офицеров, говорит: «Лиман — не море, лишь бы дрался храбро». Прав, разумеется! На Лимане храбрость важнее компаса и астрономии, ну, а здесь не так! Здесь опыт нужен. А храбрость и ревность к службе — это само собою. Кто сего лишен, тому дома сидеть!.. Вот Войнович и сидит, бездействует, делает во всем помехи и остановку. Не пойму я князя, отчего не уберет его на Каспий, что ли? Ведь нам надо воевать!..

Он постоял у окна, потом резко повернулся и зашагал снова, бормоча и время от времени выкрикивая обрывки фраз:

— Данилов на фрегате «Св. Николай». Буду просить, чтобы ко мне перевели его!.. Пустошкина нет, на канатную фабрику послан, жаль! Нелединский, Поскочин, Голенкин — славные командиры. Надо бы их с толком разместить по эскадре!.. А корабли — килевать! Очистить от травы, ракушек, дать им в ходу легкость!.. Да вот напасть — червь одолел! Точит и точит, выше ватерлинии забирается!..

В кабинет вошел слуга Ушакова Федор. Он остановился и сложил на животе темные, цвета мореного

дуба, руки, тревожно глядя на Федора Федоровича из-под седых мохнатых бровей.

— Разбормотался как! — протянул он с укором. — Этого, батюшка, прежде с тобой не бывало!

— Не докучай, Федор, — тихо сказал Ушаков.

— Ты гнать меня погоди, — продолжал старик, — я, батюшка, тебя как в подзорную трубку вижу. Один ты как перст, никого близко тебя нет. Дошагаешься — высьешься из ума.

Ушаков улыбнулся.

— Ты за меня не бойся.

— Да чего там, — сторонние люди примечать стали.

— Какие люди?

— Войнович денщик, к примеру. Говорит: «Не-людимый у тебя барин, как серый волк».

— Это он не свои слова говорит.

— А хоть бы и так... Уж на что я на графа глядеть не могу... а ведь он про тебя, батюшка, дело сказывал...

— Что про меня Войнович сказывал? — хмурясь, спросил Ушаков.

— Что-де разумно бы Федор Федорович сделал, когда б женился... И впрямь разумно!.. Года-то уходят!.. Кто у тебя есть? Племянш, племянницы. Все хозяйство твое, деревенька прахом пойдут!..

— Полно! — оборвал Ушаков. — Ступай, Федор, не мешай мне!..

Он сказал это мягко, но с такой скрытой твердостью в голосе, которая не допускала уже возражений.

Старик безропотно подчинился и вышел, притворив дверь.

## 2

С самой весны 1788 года ходили слухи о тайных приготовлениях Швеции. Тем не менее русское правительство решило послать флот в Архипелаг и, повторяя план прошлой кампании, нанести Порте удар «с тыла». Русскому посланнику в Лондоне С. Р. Воронцову уже предлагалось стать во главе десантов, которые высадутся на подвластных Турции берегах.

А пока Балтийский флот снаряжался, два русских генерала отправились в район Средиземного моря:

В. С. Томара — в Сиракузы, а Н. А. Заборовский — в Триест. Они снарядили там под русским флагом каперские флотилии, набрав команды преимущественно из греческих и славянских моряков; все они мечтали сбросить турецкое иго и с воодушевлением принялись подрывать морскую торговлю турок, топить их суда у входа в Дарданеллы и в Архипелаге. Экипажи этих судов приняли присягу, получили военные чины, жалованье и право носить русский морской мундир.

Заборовский, кроме того, в ожидании прибытия Балтийского флота с десантами, приступил к набору волонтеров на Корсике, рассчитывая составить из них батальон. Но русский флот, которого он дожидался, не смог покинуть Балтику: в Англии холодно отнеслись к этому плану, и шведы в угоду ей начали против России войну.

В конце апреля, под давлением английского кабинета, шведский король Густав III решился на отчаянный шаг: без объявления войны и без всяких поводов к ней русские пограничные посты в Финляндии были атакованы шведами, и России пришлось собирать армию для отпора врагу у северных своих границ.

Швеция, низведенная Петром I до положения второстепенной державы, решила вернуть потерянное, выступив вместе с турками (Порта купила этот союз за три миллиона пиастров). Шведский король был так уверен в успехе, что даже назначил в Петербург коменданта. Он надеялся в первом же сражении разгромить русский флот.

Брат короля, командующий шведским флотом герцог Зюдерманландский, атаковал на восточном берегу Рогервикского залива Балтийский порт. Комендантом его был инвалид, однорукий старик, майор Кузьмин. Герцог потребовал от него сдачи крепости. Кузьмин отвечал: «Я рад бы отворить ворота, но у меня одна рука, да и та занята шпагою». Спустя несколько дней герцог отступил.

«Матушка, всемилостивейшая государыня! — писал Потемкин Екатерине. — Заботят меня ваши северные беспокойства!»

Действительно, создалась непосредственная угроза Петербургу, и пушки сотрясали оконные стекла в Зимнем дворце.

В эти тревожные дни Александр Радищев дописывал свое новое сочинение; оно начиналось словами: «Не все рожденные в Отечестве достойны величественного наименования сына Отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем». И он убеждался в правоте этих мыслей всякий раз, когда перелистывал страницы газет.

«Московские ведомости» дважды в неделю сообщали приметы крепостных, бежавших от своих помещиков, а также оптовые цены на овес, рожь, пшеницу и розничные — на людей. Четверть<sup>1</sup> ржи стоила тогда 3 рубля, пшеницы — 6 рублей, овса — 2 рубля. Средняя же цена крестьянской «души» была 70—80 рублей, то есть равнялась приблизительно цене 15 четвертей пшеницы или 40 четвертей овса.

Беспощадно обличал сочинитель тех, кто силился доказать извечность рабовладения, тех, кто лгал, будто бы «сама природа расположила уже род смертных так, что одна, и притом гораздо большая часть оных должна непременно быть в рабском состоянии и, следовательно, не чувствовать, что есть честь...».

«Не оправдывайте себя здесь, притеснители, злодеи человечества, — восклицал Радищев, — что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчиненности». И приводил сокрушительный довод: «Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим».

Отвечая на собственный свой вопрос — что такое истинный патриот? — он писал: «Человек, человек потребен для ношения имени сына Отечества».

В своей новой статье развивал он те же самые мысли, что и в своем не законченном еще «Путешествии» — этом страстном «молоте», занесенном над крепостниками, который он готовился вот-вот опустить.

Жизнь учила Радищева.

Горькая русская действительность, без всякой ми-

---

<sup>1</sup> Четверть — старинная русская хлебная мера; в XVIII веке «казенная четверть» равнялась 7¼ пудам (116 кг).

шуры и прикрас, служила источником для его обличений и водила его пером, толкая на самоотверженный и опасный труд.

Двадцать четвертого марта 1788 года секретарь Екатерины II А. В. Храповицкий совершил неловкость — «некстати» вошел в кабинет императрицы, когда она «творила», сидя за письменным столом.

«Прошу прощения, ваше величество!..— робко сказал он.— Кровельщик... поправляя дворцовую крышу... сорвался и убится насмерть...»

Она подарила его ледяным взглядом и выдавила сквозь зубы:

«Не дадут кончить несчастного письма!..»

Об убитшемся кровельщике она не спросила и не сказала о нем ни слова.

Знай об этом эпизоде Радищев, он, пожалуй, включил бы его в свое «Путешествие из Петербурга в Москву».

### 3

Поздней осенью 1788 года произошло одно незначительное, но показательное и не лишённое исторического интереса событие: бывший крымский хан Шагин-гирей изъявил желание «вступить в службу ее величества» и был записан капитаном лейб-гвардии Преображенского полка.

Некоторые дальновидные люди по многим такого же рода признакам уже предвидели печальный для Порты исход кампании и старались его предотвратить. Так, французский посланник в Константинополе Шуазель-Гуфье пытался сблизить воюющие стороны и с этой целью предложил турецкому правительству план освобождения из Семибашенного замка Булгакова, рекомендуя «закрывать на это глаза». Убедив турок в целесообразности такого шага, он объявил русскому посланнику, что французский фрегат будет ожидать его в Босфоре и что отъезду его никто не помешает. Но Булгаков ответил, что своим освобождением он может быть обязан только успехам российского оружия, и остался в тюрьме.

А осада Очакова тем временем шла очень вяло.

Эски-Хуссейн снова появился в Лимане и сильно укрепил остров Березань.

Потемкин тщетно убеждал Войновича: «Пребывание флота, вам вверенного, в гавани не принесет пользы службе ее императорского величества».

Но Войнович после победы у Фидониси заважничал окончательно, ибо целиком приписал победу себе. Он доказывал, что противник силен, держится соединенно и атаковать его без всякой осторожности — значит riskовать флотом.

Потемкин отвечал: «Что касается до представления вашего о трудности атаковать неприятеля соединенного, то мудрено ожидать, чтобы оный стал делиться, не быв к тому принужден».

Главкомандующий не мог сладить с контр-адмиралом. Войнович уклонился от встречи с турками. А Эски-Хуссейн стоял у Очакова — прилип к нему, «как шпанская муха». И русские войска имели перед собою две силы: крепость и флот.

Чтобы отвлечь суда противника от Очакова, Потемкин послал к турецким берегам отряд крейсеров. Этот поиск он поручил совершить Сенявину, который истребил несколько вражеских транспортов у Синопа, но это не заставило Эски-Хуссейна ослабить в Лимане флот.

Только поздней осенью капудан-паша ушел в Константинополь.

Черноморские казаки на своих легких «чайках» тотчас вышли в море и взяли укрепленную турками Березань.

Огромное войско, застоявшееся под Очаковым, пришло в движение. В ноябре Потемкин закончил все приготовления к штурму и 6 декабря атаковал крепость. Через час с четвертью после начала штурма богатый и сильный Очаков пал перед геройским натиском русских войск.

Военная добыча была огромна. Помимо десятков тысяч ружей, сабель и ятаганов победителям достались 310 пушек, 180 знамен...

А в палатке русского лагеря, где помещалась походная канцелярия Потемкина, в этот час военного торжества один из служащих заканчивал совсем не военный труд.

Переводчик Роман Максимович Цебриков<sup>1</sup>, по своему личному выбору и желанию, дописывал последние страницы своего перевода одной необычной книги, французский подлинник которой — издание 1771 года — был сожжен в Неаполе рукой палача.

Эта книга называлась: «Мир Европы не может иначе восстановиться, как только по продолжительном перемирии, или Проект всеобщего замирения, сопряженного купно с отложением оружий на двадцать лет между всеми политическими державами». Автором этой книги был француз Анж Гудар.

Рискуя головой не менее, чем храбрецы, взявшие штурмом Очаков, Роман Цебриков перевел книгу французского материалиста Гудара об установлении в Европе твердого мира, о всеобщей Республике и о «сближении польз всех государств»<sup>2</sup>.

«Что в Политике подлинно существует система всеобщего мира, — сие неоспоримо, — писал Гудар в предисловии к своей книге, — а все искусство состоит только в том, чтоб уметь систему сию открыть...

Если дело доходит до прекращения всеобщей войны, то обыкновенно учреждается Конгресс, на который все государи посылают своих министров для содействия (как то они всегда говорят) во утверждении тишины всеобщей.

Великое бывает при том несчастье то, что всяк туда привозит с собою план к миру, единственно относящийся к частному благополучию его государства и к главным намерениям для возвеличения оногo.

Все в политических собраниях говорят там о частных делах, и никто на Конгрессе не начинает производить делá, касающиеся до всеобщей Республики. Никогда не чинят там переговоров о деле общественном; и ничем более на оных не занимаются, как только тем, что делают между собою затруднения в производстве дел.

Теперь, может быть, уже не время восстановить все-

---

<sup>1</sup> Р. М. Цебриков — отец декабриста Николая Романовича Цебрикова.

<sup>2</sup> Книга Анж Гудара в переводе Р. Цебрикова вышла в Петербурге (по явному недосмотру цензуры) в 1789 году.

общую тишину таковыми средствами, какие бы можно было употребить за двести лет...

Постараемся показать неистинность принятого теперь великим Политиков числом правила сего, что война есть необходимо-нужное зло...

...Одним словом, главное мое намерение в сем сочинении касается до политической тишины Европы: я не имею другого предмета, кроме сохранения подобных мне человеков; я пишу во удобность всеобщей Республики и сим ходатайствую за род человеческой».

Таково было предисловие к этой книге. И вот как начиналась первая ее глава:

«С самого начала столетия сего Европа так преисполнена осад и сражений, что никогда не видел свет ничего тому подобного.

Можно сказать, что воинская фурия возмущает государства...

Народы составлены из полков, общества превращены в батальоны.

Европа разделена на Армию Сухопутную и Армию Морскую.

Города опустошены, селения разорены; все граждане преданы войне.

...Все дела политические управляются теперь калеными ядрами.

Конгрессы превращены в места сражений. Переговоры не иначе производятся, как пред фронтом армий.

...Частной человек, который бы изобрел средство истребить целой народ за одним ударом, почитался бы теперь за великого в государстве мужа.

В нынешние времена Политика не знает другой системы, кроме войны.

Армии всегда в готовности, и сражения не пресекаются...

Все народы прицеливаются стрелять...

Все общества разрушены, все народы расставлены по квартирам, скоро уже не осмелится род человеческой показаться в Европе.

Друг друга убивают, немилосердно лишают жизни. Кровавые реки наводняют землю; жестокое человеков побиение и ужас везде распространены; смерть летает со всех сторон...»



«В стане пред Очаковым» скромный русский канцелярист трудился над переводом книги, призывавшей к всеобщему миру, а в это время на берегу Средиземного моря начинал свою карьеру будущий виновник европейских опустошительных войн.

Весной следующего, 1789 года человек этот дал о себе знать генералу Заборовскому, набравшему на Корсике волонтеров, которые своими предложениями нередко ставили русских представителей в тупик. Так, корсиканское дворянство, напуганное революцией во Франции и решившее «ничего не щадить для противодействия беспорядку», тайно обратилось к русскому посланнику в Париже, Симолину, с просьбой о принятии Корсики под российский протекторат. Эти «добрые граждане», как они сами себя называли, искали покровительства государства, «которое бы великодушно поддержало несчастный народ, имеющий впоследствии воздать ему за то очень важными услугами». «По самом зрелом размышлении,— говорилось в конце записки,— полагают, что таким государством всего удобнее могла бы быть Россия».

Симолин сперва отказался исполнить эту «слишком деликатную» просьбу и сообщить о предложении корсиканцев русскому двору, но затем согласился и переслал бумагу в Петербург при очередном своем донесении. Ответа он не получил.

С этой историей о протекторате, видимо, связан и другой, заслуживающий не меньшего внимания, эпизод. Почти одновременно с обращением корсиканцев к Симолину, к генералу Заборовскому обратился с просьбой о принятии его на русскую службу поручик французской армии Наполеон Бонапарт. Но Заборовский имел инструкцию — принимать иностранцев чином ниже против того, какой они имели. Поручик не согласился на понижение в чине, и генерал ему отказал. Тогда проситель вспылал и стал угрожать, что продаст свою шпагу туркам, но вместо этого кинулся к Томаре, пытаясь поступить на его каперскую флотилию; однако и тут получил отказ <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Александр I в день своей коронации спрашивал Заборовского, верно ли это известие о Наполеоне, и Заборовский дал утвердительный ответ.

«Я должен сказать: на будущий год не будет морской кампании. Все силы истощены, способов никаких нет к восстановлению... Севастопольский порт ничем не снабжен, мастерские в Москве и в Петербурге, леса на корне, железо в Сибири, припасы в дальних провинциях России, долгов бесчисленно, артиллерии нет, доверенности нет нигде, а зима покрывает нашу степь».

Так писал Мордвинов, старший член Черноморского адмиралтейского правления, неделю спустя после взятия Очакова. Он извещал канцелярию Потемкина о невозможности подготовиться к морской кампании, потому что не верил в молодой русский флот.

Зима действительно покрывала Причерноморскую русскую степь, было без счета долгов, не хватало артиллерии, корабельный лес, припасы и материалы находились вдали от морских портов,— и Мордвинов уныл.

Но его уныния отнюдь не разделял Потемкин. Он, не задумываясь, превращал в моряков сухопутных офицеров, находил способ сделать недостаточного калибра заряды годными и готов был сражаться на любых судах.

Не в пример Мордвинову, он понимал важность задачи, стоявшей перед Россией на юге: обезопасить берега Крыма и Приазовья и сделать свободным для русских судов Черное море. Борьба требовала величайшего напряжения всех сил и средств.

Кампанию 1789 года Россия начала в союзе с Австрией и Данией. Это вызвало ряд враждебных мер со стороны Фридриха-Вильгельма, нового прусского короля.

Из Польши пришел слух, что немцы дают полякам сорокатысячное войско, чтобы отторгнуть от русских Белоруссию, а от австрийцев — Галицию. А. В. Храповицкий отмечал в своих записках: «В Берлине делают воинские приготовления. Видно, что хотят воевать».

К туркам и шведам грозили присоединиться немцы. Борьба за Черное море предстояла упорная и длительная. И Потемкин, готовясь к генеральной встрече с противником, решил прежде всего с толком расставить людей.

Четырнадцатого апреля 1789 года Ушаков был произведен в контр-адмиралы. Вскоре — уволен Мордвинов, а вместо него старшим членом адмиралтейского правления назначен Войнович. Ему поручалось начальствование над всем Черноморским флотом, но «с передачей прав по заведыванию морской частью в Севастополе» Ушакову.

Так Севастопольский флот был отдан в надежные руки, а Марко Иванович получил почетный перевод в Херсон...

Тем временем корабли Балтийского флота готовились к боевым встречам «со шведом». Когда Екатерина спросила вновь назначенного командующего — Чичагова, что он думает о противнике, старый адмирал, усмехнувшись, ответил: « Да вить не проглотит ». И оказался прав.

Пятнадцатого июля 1789 года Чичагов, заметив шведский флот у острова Гогланда, «для показания, что ожидает его безбоязненно, приказал убавить парусов». Но так как противник, хотя и был на ветре, спускался медленно и часто останавливался, русский адмирал, насмехаясь над его нерешительностью, велел матросам выставить люки и купаться на виду у врага.

Бой, разыгравшийся затем у острова Эланда, заставил шведов поспешно уйти в Карлскрону. А спустя месяц Чичагов одержал решительную победу над шведским флотом у Роченсальма. Были захвачены корабли и пленные, взяты большие трофеи. Но были и жертвы. Так, в морском бою 15 июня пал смертью храбрых капитан бригадирского ранга Г. И. Муловский, который должен был в 1787 году вести русские корабли в первый кругосветный поход.

## 5

Морские силы противника находились в непрерывном крейсерстве. В Крыму со дня на день ждали десанта, и Ушаков 19 июля вышел на рейд.

Но Войнович упорно держал флот в бездействии. Будучи его главным начальником, он сохранял свою власть над Федором Федоровичем и, пребывая в Херсоне, продолжал ему досаждать.

Победа при Фидониси принесла Ушакову награду — Владимира третьей степени. Войнович возненавидел его за это.

«Немилости его ко мне беспредельны, опасаясь, что это может повергнуть меня в пропасть бездны», — жаловался Потемкину Ушаков.

До осени флот бездействовал. Между тем армия, двигаясь от Очакова по побережью, дошла почти до дунайских гирл. В Валахии главные силы турок были разбиты 21 июля при Фокшанах, а 7 сентября — при Рымнике. Обе победы принесли славу Суворову и были одержаны благодаря его блистательному искусству, в котором маневр, неожиданность переходов, скрытное приближение к противнику, удар, картечь и быстрота преследования решали всё.

Третьего сентября из Очакова с частью гарнизона выступил генерал Гудович, имея приказ атаковать и взять турецкую крепость Гаджибей.

Эти действия сухопутных сил было решено провести совместно с флотом. Предполагалось, что днепровские гребные суда и часть черноморских сил, стоявших в Лимане, соединятся для этого с Севастопольской эскадрой. Войнович еще в августе доносил Потемкину: «Располагаем сделать атаку в одно время на море и на земле».

Небольшое укрепление Гаджибей стояло в самом северо-западном углу Черного моря, возвышаясь на поросшем кустарником берегу.

Турки вывозили из Гаджибеевского лимана соль и рыбу. За солью, рыбой и хлебом ходили под Гаджибей запорожцы. Из года в год тянулись туда за солью чумацкие возы.

Вблизи крепостцы раскинулось татарское селение — землянки, накрываемые в зимнее время войлоками. При малейшей тревоге татары вскакивали на повозки и бежали в степь.

Крепостца была каменной, пятиугольной, с двумя круглыми и одной четырехгранной башнями. Главной же ее защитой являлся крейсировавший вблизи флот...

Гудович, выступив из Очакова, употребил на небольшой переход до Гаджибея десять суток. Передовым отрядом командовал генерал-майор де Рибас,

Не дожидаясь Гудовича, он, на заре 14 сентября, тихо двинулся к крепости. Колеса пушек были обмотаны соломой, а тесаки — паклей. Одна часть отряда должна была атаковать Гаджибей со стороны моря, а другая — с тыла ворваться в предместье. Несмотря на туман, движение было замечено с турецкого флота, и он открыл огонь. Под жестоким обстрелом солдаты взошли на обрыв, приставили лестницы к стенам крепости и овладели ее левым флангом. В то же время де Рибас, заняв предместье, бросил своих людей на правый фланг укрепления, а на береговой круче выставил батарею из десяти пушек. Эта батарея и решила дело, заставив турецкий флот отойти.

Гаджибей был взят, но успех отнюдь не являлся полным: флот противника ускользал, он еще держался недалеко от берега, но ему уже нельзя было вредить пушками, а морских судов де Рибас не имел.

Прошло четыре дня, и турецкий флот вновь появился у Гаджибея. Турки несколько раз устремлялись к берегу, попадали под огонь и поворачивали обратно, затем они прекратили попытки и ушли в море.

Тотчас после ухода турецкого флота Войнович вышел из Лимана и с четырьмя новыми кораблями и десятью фрегатами прибыл в Гаджибей.

Жалкая роль Войновича в действиях против Гаджибея окончательно раскрыла глаза Потемкину, но он еще не решался отстранить его совсем. Он только передал командование Лиманской гребной флотилией в руки де Рибаса. К тому же флотилию эту уже в пору было именовать Днестровской, так как действия ее переносились на Днестр.

Войнович с новыми кораблями пришел в Севастополь и вскоре вновь отправился в море.

Кампания закончилась. Русские войска овладели почти всей Бессарабией, лишь немного не дойдя до Дуная и до его неприступного ключа — Измаила. Были взяты Кишинев, Бендеры и на побережье — укрепления Гаджибей, Аккерман.

В годовщину взятия Очакова была заложена вторая кораблестроительная верфь Черноморского флота — Николаев.

Эти успехи русского оружия вконец вывели из себя

прусского короля Фридриха-Вильгельма. Он запугивал ими Данию, Швецию, Австрию, Англию, вооружал свои войска и готов был поднять против России всю Европу.

Но Потемкин настойчиво советовал Екатерине сохранять с Пруссией мир.

6

Всю зиму провел Ушаков в трудах, готовя к боевым встречам эскадру. Войнович сидел в Херсоне, не отягощая себя севастопольскими делами, и Потемкин все реже обращался к нему.

А забот был много. Кампания предстояла трудная. Союзник России, австрийский император Иосиф умер, и было неизвестно, как поведет себя теперь Австрия, а на турецкий престол вступил новый султан Селим III; он не желал слышать о мире и спешно усиливал флот.

Турки считали, что Селим III ниспослан им небом для проведения реформ. Астрологи предсказали его отцу — Мустафе III, что если наследник родится при определенном стечении планет, он возродит империю. Султан Мустафа приказал врачам и повивальным бабкам принять все меры к тому, чтобы ребенок родился в предсказанный час. Но наследник появился на свет несколько раньше. Это было от султана скрыто, и льстецы сложили легенду, что Селиму предстоят великие дела.

Однако преобразовать армию и флот было очень трудно. С помощью иностранных инженеров удалось построить мощную армаду, но нельзя было создать годных для войны людей. Турецкие регулярные войска состояли из продавцов сладостей, лодочников, музыкантов, содержателей кофеен. Обучали их плохо. Многие из них, заряжая ружье, закатывали в ствол пулю, а поверх сыпали порох. Умный министр иностранных дел Ресми-Ахмед-эфенди недаром писал: «У нашего правоверного султана звезда высока, мужи храбры, сабли остры: будь только у нас визирь человек набожный, благочестивый да распорядительный, как Аристотель, который бы регулярно по пять раз в сутки творил со всей армией молитву и хорошенько совершал

омовения, так нам, по милости аллаха, немудрено завоевать весь свет...»

Слова эти относились к царствованию Мустафы, но и при Селиме положение мало изменилось к лучшему. Тем не менее Турция была опасным и жестоким противником, доставлявшим России много хлопот...

В один из мартовских дней Ушаков принимал на Павловском мысу новые пушки. Стояло вёдро. Третьи сутки тянуло с моря южным ветром, и уже кое-где на холмах пробивалась желтизна цветущих кизилowych зарослей. По-праздничному нарядными казались простые матросские мазанки, накрытые красными колпачками черепичных крыш.

Севастополь рос. Дружно воздвигаемая на месте пустынного Ахтиара, вращалась в камень твердыня русских морских сил.

Павловский мыс был завален корабельным лесом, Вытянувшись на земле, лежали отборные деревья, выросшие на сухом грунте, могучие, полные жизни, без всяких признаков перестоя; их везли сюда за тысячу и более верст.

Множество людей готовило флот к выходу в море. Одни кренговали корабль — кренили его на один борт, чтобы вышла из воды подводная часть противоположного борта; другие оснащали фрегат — поднимали на нем стены и реи, прикрепляли паруса и продевали снасти. Целая толпа красных от натуги людей тащила на цепях огромную мачту; четверо пособляло им, орудуя ломами. Матросы на пригорке шили паруса.

Ушаков осматривал присланные на эскадру пушки.

С помощью зеркала он исследовал канал каждого пушечного ствола, нет ли в нем раковин, и всякий раз тщательно измерял калибр.

Артиллерийский офицер отмечал в ведомости, какие орудия хороши и какие надо исправить; о забракованных же писал: «К употреблению опасны, не принимать».

Осмотрев всю партию, Федор Федорович сказал:

— На орудия принятые наложить знаки адмиралтейские, а именно — якорь, на те, кои в гарнизон годятся, — литеру «Г»; о негодных ведомость послать в Адмиралтейств-коллегия... — И, окинув пушки взглядом,

заметил, потирая руки: — Будет что поставить на корабли!..

Шагая через бревна и доски, ступая по галечнику и лоскутам старой парусины, он поднялся на пригорок, где шили паруса.

Ослепительно блистая на солнце, сновали в руках матросов длинные иглы; громадный «парусничий наперсток» был надет у каждого из них на ладонь.

Корабельный мастер Доможиров поучал их, следя за работой:

— На каждый парус полóтна класть надлежит по пропорции тяжести, чтобы не было в больших нижних парусах легкого, а в легких — тяжелого полотна́...

Доможиров был родом из Новгорода и слыл потомственным знатоком корабельных лесов.

Люди, тащившие на цепях мачту, остановились на берегу, перекатывая катки под среднюю часть дерева.

Ушаков, подойдя к Доможирову, сказал:

— Не худо бы кран мачтовый завести; как полагаешь, Дмитрий Андреевич?

— Известное дело,— прогудел корабельный мастер.— Ежели кран—можно малым числом людей с любым деревом совладать.

— А с червем как совладать, не знаешь? Гляди, что делается! — И Ушаков показал рукой на море.

Матросы, кренговавшие корабль, уже накренили его и теперь очищали от травы и ракушек выступившую из воды подводную часть.

Обезображенная червем-древоточцем, она выходила из-под наростов и грязи, как чудовищная ноздреватая губка.

— Весь киль проеден! Труха!..— с горечью произнес Ушаков.

— От червя не уйдешь,— сказал Доможиров.— От него не закроешься, таких средств нету.

— Есть, Дмитрий Андреевич!.. Медью обшить! Вот чем закрыться можно!

— Это дело богатое, денежное.

— В том-то и суть... Денег сейчас не добыть, да и обшивать когда? Недосуг, воевать надо... Но придет время—будут наши корабли с медной обшивкой! Я не упущу!



— Красить надобно чаще,— проговорил Доможиров.— Тоже пособляет не худо. Без окраски на судах заводится сухая гниль.

— Поправлять суда красками будем дважды в год,— сказал Федор Федорович.— Мачты — суриком, а бимсы — охрой. Как окрасим, так — на рейд, и за ученье возьмемся. Лета ждать не станем, как прежде бывало. Нынче иной срок положен — апрель!..

— Ваше превосходительство! — услышал он знакомый голос.

Его флаг-капитан Данилов стоял перед ним навытяжку.

— От его светлости князя Потемкина спешный пакет!..

Данилов достал из-за обшлага мундира продолговатый конверт с красной сургучной печатью и подал Федору Федоровичу. Ушаков вскрыл пакет, извлек из него два потемкинских ордера и пробежал глазами один из них:

«Не обременяя вас правлением адмиралтейства, поручаю вам начальство флота по военному употреблению...»

Брови Ушакова сдвинулись. На лице отразилось крайнее недоумение.

«Начальство флота! Не обременяя правлением адмиралтейства!.. А как же Войнович?!» В уме мелькнула догадка... Он быстро развернул вторую бумагу — то была копия приказа Марко Ивановичу, великолепно исполненная старательной рукой:

«Эскадра Каспийского моря должна быть усилена... Ваше превосходительство избраны мною для командования на помянутом море... извольте туда следовать немедленно».

— Бесподобно! — не удержавшись, воскликнул Ушаков.

## 7

В марте 1790 года Потемкин вызвал Ушакова в Яссы, где находилась ставка главнокомандующего — его штаб и блестящий двор.

Именно двор, иначе нельзя было назвать великоле-

пие и роскошь, которыми окружил себя Потемкин. Недаром о нем говорили: «Он здесь все равно что государь...»

После тихой дороги безлюдною степью Яссы показались Ушакову ярмаркой, ошеломили его блеском и суетой.

В степи попадались лишь редкие казачьи посты — землянки с торчащими островерхими соломенными кровлями; казацкие пики, воткнутые в землю, блестели, как звездочки, и по ним издали можно было приметить пост.

Непривычное чувство отдохновения и покоя овладело Ушаковым в дороге. Но в Яссах, куда он прибыл ночью, это чувство его покинуло.

Город был забит обозами. Гости, съехавшиеся к Потемкину из Москвы и Петербурга, заняли все дома и дворы постоем. Их многочисленная дворня с криком сновала между возами; полыхали факелы; гремела музыка; в небе шипели цветные огни ракет.

Федор Федорович долго не мог заснуть в отведенной для него горнице. В дверь несколько раз стучались подгулявшие столичные гости и докучали ему своей болтовней. Один из них — какой-то ветхий подмосковный помещик — оказался особенно говорливым. Отделаться от него не было никакой возможности, и он просидел у Федора Федоровича целый час.

Старик был неглуп. Нагородив всякой всячины, он вместе с тем рассказал много любопытного о Потемкине, — между прочим, что он не терпит рядом с собой равного и «оттер» Репнина, лишив его производства в фельдмаршалы; потом долго и подробно высчитывал: сколько у Потемкина крепостных (выходило, что не менее 50 тысяч), какие несметные у «светлейшего» доходы и сколько тратит он на свои прихоти государственных средств.

Южная ночь темнела за раскрытыми окнами, и кто-то, видимо из дворовых людей, вполголоса напевал:

Ой, хотіли Базилівці весь світ пережити,  
Да не дали турбаївці їм віку дожити...

А ночной гость продолжал. Он завел рассказ о необычном рекрутском наборе, объявленном за несколько

лет до того: рекрутов брали тогда вместе с женами; это было неслыханно и непонятно, но вскоре все разъяснилось: набор был разворован, то есть присвоен Потемкиным и его любимцами, поселившими рекрутов в своих поместьях как крепостных...

Голос за окном окреп, запел громче:

Не вміла ти, Маріано,  
Як у світі жити.  
Шкода тепер, Маріано,  
З вами говорити.  
З кіллям прийшли не радиться,  
Прийшли вас побити...

Ушаков прислушался: песня кому-то грозила и внушала смутную тревогу. Его гость умолк, тоже прислушался и затем проговорил: «Эту песню сейчас распевают по всему краю... О помещиках Базилевских, убитых их крепостными, сложена эта песня...» И он рассказал Ушакову о селе Турбаях и о буйных его «козаченьках», не давших панам себя закрепостить...

Турбаевцы, в 1787 году пославшие ходатаев по своему делу в столицу, только через два года получили ответ. Потомки вольных казаков, они просили Сенат избавить их от власти помещиков. Но Сенат признал казачьи права только за 76 семьями, да и те значились в списках под разными прозвищами, что создавало невообразимую путаницу. Иными словами, турбаевцы по-прежнему остались в руках властей. А власти пожаловали к ним в село в июне 1789 года. Молва говорит, что сперва была сделана попытка обмануть собравшихся, и секретарь нижнего земского суда прочел им указ о... послушании панам. Тогда один из стоявших вблизи казаков с такой силой ударил секретаря по голове нагайкой, что у того треснула фуражка. Пришлось чиновникам объявить настоящий указ. Но чтение его не обрадовало крепостных и лишь больше их всколыхнуло. А тут как раз послышались крики, что помещики угоняют крестьянский скот. Бурей налетели «кріпаки» на усадьбу, убили братьев Базилевских и сестру их Марию и вытребовали у членов земского суда свидетельство о том, что все турбаевцы — свободные казаки. Екатерина, узнав об этом, поручила

Потемкину разобрать дело и наказать виновных, а «светлейший» решил выкупить турбаевцев у братьев помещиков и переселить их на свои земли за Днепром. Но решение это не так-то легко было исполнить: наказать виновных и переселить их на другое место можно было только с помощью крупной воинской силы, а взять ее было негде, так как шла война...

Старик досказал. Голос за окном все еще тянул песню. «Не рядиться» с панами пришли крепостные, — рассказывала песня, — а отплатить им за украденную волю, за «тонкіі нитки» и «шиті мережки», доводившие до слепоты казацких жен и детей:

О це тобі, Маріано,  
За шиті мережки,  
Куди глянешь — всюду в хаті  
Криваві стежки...

Ушаков задремал только под утро, а проснулся — был уже полдень; его разбудила пушечная пальба. Он открыл глаза и увидел потолок столярной работы, резную дверь и земляной, хорошо утрамбованный пол. Дом, видимо, раньше принадлежал какому-то вельможе. Решетчатая тень ложилась на пол от вставленных в окна деревянных решеток; прозрачная бумага, заменявшая стекла, скупо пропускала свет.

Вошедший камердинер объяснил, почему стреляют пушки: княжеский оркестр разучивал гимн «Тебе бога хвалим», — придворный композитор Сарти только что написал для этого гимна музыку; к музыке «приложена была батарея» из десяти орудий, которые по знаку стреляли в такт.

Федор Федорович понял, что ему еще предстоит видеть в Яссах много диковинного и что не следует ничему удивляться. Он встал, привел себя в порядок и зашагал по комнате, ожидая, что князь скоро его позовет.

В сущности, он знал Потемкина только по письмам. Мимолетной встречи в Севастополе было недостаточно, чтобы судить о нем верно. В письмах же своих и приказах это был человек неслыханного размаха, привлекавший к себе горячностью, дельностью, острым государственным умом.

Здесь, в Яссах, его образ раздвоился и привел в смущение Ушакова. Он представлял себе главную квартиру совсем иной. Ушаковым овладело чувство обиды за русских солдат, за Суворова, стоявших где-то вблизи, между Серетом и Дунаем. Пустое великолепие Ясс было ему противно и непонятно, ибо сам Ушаков был строг, скромн и бережлив.

Он ходил по комнате, досадуя на себя, что ошибся в Потемкине и что не может найти ключа к этому человеку. Но мысли его были прерваны: вошел камердинер, докладывая, что их светлость просит господина контр-адмирала к себе.

Он провел Ушакова в противоположный конец дома, к диванной. Одетый янычаром слуга распахнул тяжелую, окованную медью дверь.

Потемкин полулежал на диване, обитом розовой турецкой материей, переставляя на шахматной доске фигуры и грызя репу, которую он держал в кулаке, как держат кинжал. Он был в гетманском платье, с бриллиантовой звездой, при андреевской и георгиевской лентах, но не обут и покачивал босою ногой.

Ушаков ступил на ковер такого же, как и диван, розового цвета.

Потемкин передвинул пешку и медленно повернул русую, всю в природных завитках голову (за эти завитки запорожцы прозвали его «Грицько Нечоса»). Затем таким же медленным жестом указал на кресло; можно было подумать, что движение это стоило ему большого труда!

— Садись, Федор Федорович! — сказал он, сразу переходя на «ты», выражая этим и расположение к вошедшему, и свое безграничное над ним превосходство. — Ну, как здравствуешь? Покойно ли ехал?

Ушаков сел в кресло.

— Покорно благодарю, ваша светлость. Дорбгой было весьма хорошо...

Их разделял стол — круглый, лоснящийся, весь из долек какого-то драгоценного дерева. Рядом с шахматами стояла причудливой формы курильница, и в ней дымилась душистая аравийская смолка; серая струйка дыма поднималась над столом, как тонкое деревцо.

Ушаков смотрел на Потемкина, удивляясь, как силь-

но изменился он за эти три года. Лицо его с щербинкой на пухлом подбородке было обрюзгшим, темным и казалось вылепленным из сырой глины. Один глаз, странно спокойный, глядел неподвижно, без всяких признаков жизни, но другой, светлый и зоркий, все еще горел умным, живым огнем.

— Люблю репку...— сказал Потемкин, снова принимаясь за еду.— А ты как? Не жалуешь?.. Вот напрасно. Ну, а по мне — так лучше ее в свете нет...

Ушаков молчал.

Потемкин с внезапной быстротой повернулся; не вставая достал из письменного столика газету и, ткнув пальцем в страницу, приказал:

— Читай!..

В газете шла речь о бурных событиях политической жизни во Франции и, в частности, сообщалось, что члены парижского муниципалитета, которые раньше не смели говорить с королем, иначе как стоя на коленях, теперь сидели, а король и его семья должны были перед ними стоять.

— Каково?! — спросил Потемкин и почти вырвал из рук Ушакова газету.

При этом его движении король и королева на шахматной доске покачнулись и упали на ковер.

— Дурной знак! — сказал Потемкин и широким жестом, в сердцах, смахнул с доски все остальное.

Ушаков растерялся, не зная, как быть: продолжать ли сидеть или хотя бы сделать вид, что намерен подобрать фигуры?

Потемкин вывел его из затруднения:

— Пустое!.. Так вот какие дела на свете!.. Когда чернь взяла Бастилию, наши гвардейские офицеры в Петербурге нанесли визит французскому поверенному в делах Жане. Они поздравили француза с возрождением его родины!.. А директор императорских театров Соймонов зажег в своем доме иллюминацию!.. Люди на улицах поздравляли друг друга и обнимались, будто их самих выпустили из тюрьмы!..

Федор Федорович хранил молчание.

Потемкин опять повернулся, схватил со столика какую-то бумагу, написанную мелким почерком, и продолжал:

— О наших за границей послушай!.. Комиссаров и Ерменев — ученики Академии художеств... Были посланы во Францию учиться... Один — поступил в парижскую национальную гвардию, другой — ходил штурмовать тюрьму!.. Туда же, с ними вместе — стали гвардейцами Республики! — Рязанов, крепостной графа Шувалова, и целая куча людей других русских вельмож!.. Да еще Пашка Строганов там, мой адъютант, сосунок!.. Отец его всю свою жизнь разориться хочет, да никак не может — богаче меня, ей-ей!.. И ты представь, что Пашка отцу пишет: «Как всякий честный гражданин, хочу единого — жить свободным или умереть!..» Баловство!..

Но тут Федор Федорович вдруг подумал, что «светлейший» хитрит, говорит не совсем то, что думает, и что вообще старается казаться глупее, чем он есть.

И Ушаков, сам себе удивляясь, внезапно оживился — на щеках его даже выступил легкий румянец.

— «Жить свободным или умереть!» — повторил он тихо. — А хорошо ведь сказано, ваша светлость!..

Потемкин опешил, захлопал единственным глазом и затем сухо проговорил:

— Вот что тебе скажу... Рад за них за всех!.. И за нас также!.. За французов — потому, что у них это есть, а за нас — потому, что в России этого нет!..

Он куснул репку, отложил ее и перевел речь на другое:

— Пруссак взбесился!.. Мешает миру и готов начать войну с нами и с императором!

— Да ведь император нынче новый, — заметил Ушаков.

— То-то и есть. Иосиф, союзник наш, помер, а с нынешним, Леопольдом, пруссак сладит — заставит мир заключить с турками.

— Австрийцы вообще ненадежны.

— Спору нет, проживем и без них. Но кампания этого года будет трудная. К тому же Фридрих против нас Англию поднимает.

— О сем не слыхал! — насторожился Ушаков.

— Из Петербурга мне пишут, что немец намерен воевать, но Англия желает мира. Однако в Лондоне — две партии: одна хочет войны, другая же утверждает,

что, бессилия Россию, не получают выгод, ибо усилятся пруссаки.

— Что ж,— с усмешкой произнес Ушаков,— у этой второй партии разум есть и голова на плечах.

— Как оно там ни пойдет, а нынешние на Черном море обстоятельства тревожны. Новый султан драчлив, мира не хочет. Эски-Хуссейну — за его худые удачи — вот что!.. — И Потемкин, привстав, шлепнул себя пониже спины.

— Кто же теперь начальствует флотом?

— Кучук-Гуссейн, человек молодой, в море почти не бывавший. Но адмиралы его опытни, и флот неприятельский усилен новыми кораблями. Военные действия турки начнут в мае. Сейчас они готовят десант.

— А велик ли он будет и где, это вашей светлости не известно?

— Весьма велик! И мысль у султана не малая: Крым отторгнуть!.. По этой причине я тебя и в Яссы вызвал... Как, Федор Федорович, надеешься на Севастопольский флот?

— Надеяться не люблю, а уверенность совершенную имею.

— И в кораблях и в людях?

— В людях — главнейшую. Команды изготовлены мною вполне.

— А корабли гнилые?

— Сами знаете, ваша светлость. Но делаю, что возможно. Кренгую без изъятия все суда — очищаю от травы и ракушек, все течи заделываю свинцовыми досками. На нижних деках ставлю новые большие пушки.

— И когда думаешь выйти на рейд?

— Не как в прежние годы — месяца на два раньше.

— Это хорошо. Но уверенность твоя основательна? На чем ты ее полагаешь?

Ушаков сложил руки в замок и в упор посмотрел на Потемкина.

— Полагаюсь на твердость и выучку экипажей и на свое знание противника, что уже проверено мною в Фидонисском бою.

— Ты и в меня веру вселяешь! — весело произнес Потемкин. — Стало быть, кампанию начинаем бесстрашно?



— Ежели ваша светлость позволите... имею план...

— Говори, пожалуйста!

— Десанты противника должны быть собраны где-нибудь на берегу, откуда их удобнее всего подвезти к Крыму. Таковой конечный пункт — Анапа; начальные же — Синоп, Самсун, Трапезонт. Полагаю наилучшим сделать сильный поиск у анадольских<sup>1</sup> берегов, дабы обнаружить нахождение десантных войск, а то и помешать их перевозке.

— Благословляю!.. — воскликнул Потемкин. — Ну, а ежели встретишь сильный турецкий флот?

Ушаков прищурился и сказал, чуть-чуть усмехаясь:

— Бude не найду способа обойтись с ним без боя, то и сему, думаю, когда-либо должно быть.

— Кремень ты, как я погляжу!.. — сказал, покачав головой, Потемкин и вдруг испытующе покосился на Ушакова. — А ведь за тобою грешок числится. Войнович представлял мне еще в начале зимы...

Ушаков потемнел. Он сразу догадался, о чем будет речь — о его поступке осенью прошлого года. Он знал, что Марко Иванович затаил обиду и будет жаловаться, никогда не простит.

Случилось это в позднее осеннее крейсерство. Флот, шедший под флагом Войновича, был застигнут крепким ветром. Ушаков, командуя авангардом и не получая никаких указаний от старшего флагмана, приказал командирам своих кораблей укрыться в порт. Между тем эскадра Войновича, беспомощно болтаясь в море, терпела бедствие и в конце концов также пошла в укрытие, но суда ее были серьезно повреждены...

— Так как же?.. — продолжал Потемкин. — Чем объяснишь ты такое нарушение порядка службы?

Подбородок Ушакова выдвинулся; под натянутой кожей обозначились скулы.

— Виноват... Но так... следовало... — глухо сказал он, твердо глядя Потемкину в глаза.

Тот отвел взгляд, поднес ко рту репу и стал торопливо грызть ее.

— Стало быть, неприятелю ни в чем не уступим? — спросил он после некоторого молчания.

---

<sup>1</sup> Анадольских — азиатских.

— Упаси бог! — тихо ответил Ушаков.

— И я так полагаю!.. — согласился Потемкин. — Что в наших руках, то — наше, и сего у нас не то что турки, а и сам черт не отымет!.. — Он догрыз репу и бросил остаток ее в курильницу. — Не хотят мира — не надо! Я им такую вошь в голову посажу, какой они еще не имели!.. Или шею себе сломя, или дам им мат!..

## Глава десятая

### «ДА ВПИШЕТСЯ СИЕ В ЖУРНАЛЫ!»

Во всех делах упреждать и  
всячески искать неприятеля опро-  
вергнуть!

«Устав воинский» 1716 года

#### 1

Шестнадцатого мая Ушаков вышел в поиск, имея флаг на корабле «Св. Александр Невский». У него было три корабля, четыре фрегата и двенадцать крейсерских судов.

Пройдя Балаклаву, стали пересекать море, держа курс прямо к азиатскому побережью. На пятые сутки марсовый флагманского корабля прокричал:

— Вижу Синоп!

В сумерках подошли близко. Батареи Синопского мыса открыли огонь по эскадре. Ушаков обошел выдающийся в море мыс и заметил в темноте близ самой крепости два фрегата. Чтобы запереть их, он расположился со своими судами на рейде и всю ночь лавировал перед Синопом, выстрелами, фальшфейерами и сигнальными огнями наводя на город страх.

На рассвете он вошел в бухту. Кроме двух фрегатов, в ней стояли еще девять судов — часть эскадры, вышедшей из Константинополя. Ушаков решил атаковать ее, но этому помешал штиль. Тем временем русские корабли своим сильным огнем отеснили турецкие суда под крепость. Капитан второго ранга Поскочин на корабле «Георгий Победоносец» подошел под самые синопские пушки, вступил в бой с батареями и судами

и, нанеся им сильный урон, вернулся, потеряв лишь марсовый поручень, сбитый ядром.

Между тем крейсерские суда совершали поиск севернее Синопского мыса. Они заставили выброситься на берег пять транспортов с хлебом для турецкой армии и захватили восемь судов. На них были невольники: греки, армяне, юные черкесы и черкешенки,— всех их везли на продажу в Константинополь; были среди них и русские,— их также везли продавать.

Некоторые из взятых судов из-за ветхости оказались «неспособны к ходу». Ушаков приказал подвести их поближе к городу и сжег все до одного на глазах у жителей, толпившихся на стенах крепости и кровлях домов...

От Синопа эскадра направилась к Самсуну. Вблизи него крейсера заставили выброситься на берег еще два турецких судна.

Ушаков проник в Самсунскую бухту, но не обнаружил в ней судов противника и, сделав глазомерную съемку крепости, удалился.

Не встречая нигде неприятеля, пошли к Анапе. С борта корабля Ушаков послал Потемкину письмо.

Извещая его о своих успехах и о том, что флот турецкий «в расстройке и весь не скоро сберется», он просил позволения усилить эскадру на шесть кораблей и немедленно отправиться под самый Константинополь...

Двадцать девятого мая вечером Ушаков подошел к Анапе. Под защитой крепости стояли восемь турецких судов, в том числе — один линейный корабль. Это была другая часть константинопольской эскадры, и Ушакову пришла смелая мысль — отрезать ее от крепостных стен. Но для этого нужно было сделать промер бухты. Пришлось до утра стать на якорь. Тем временем турки сняли с корабля — с борта, обращенного к берегу, — пушки и поставили их на берегу.

В темноте Ушаков начал обстрел, но почти без успеха, так как противник — из боязни себя обнаружить — не отвечал и не наводил на цель.

Утром был сделан промер. Оказалось, что мелководье идет далеко от берега. Тогда Ушаков отдал при-

каз командирам кораблей и фрегатов сжечь брендсугелями<sup>1</sup> турецкие суда.

Загрохотали пушки всей русской эскадры, и в бухте запылали суда, а в Анапе дома и провиантские склады. Ушаков решил с толком закончить поиск, и его брендсугели, бомбы и ядра сметали все, что служило туркам для снаряжения десанта в Крым...

После трехнедельного крейсерства Ушаков вернулся в Севастополь без потерь и повреждений, с призами, сожалея лишь о том, что не взял с собою брандеров «к окончательному истреблению неприятельских сил».

Посылая ведавшему потемкинской канцелярией В. С. Попову подарки из числа захваченных трофеев, Ушаков писал: «Прошу покорнейше благосклонно принять оные, хотя не значащие ничего по себе вещи, но яко взятые в таком месте, где российский флаг первый раз еще существует».

Он был доволен поиском и доносил правителю Тавриды — Жегулину:

«...Я, отправясь с эскадрою, обошел всю восточную сторону анадольских и абазинских<sup>2</sup> берегов, господствуя при оных сильною рукою, заставил две части вышедших из Константинополя эскадр искать своего спасения, укрываясь под крепостями, и, надеюсь, на долгое время коммерцию и перевозку войск прекратил...»

## 2

Но затишье длилось недолго. Разгром Анапы, обстрел Синопа и захват турецких судов в море всполошили турок: отважный поиск Ушакова показался им походом всего Черноморского флота. Султан Селим поспешил снарядить свои эскадры и приказал ускорить нападение на Крым.

Севастопольский флот был готов. Ушаков привел его в полную исправность и сделал последние приготовления: расписал людей на случай пожара так же, как они были расписаны для боя, и на всех судах для тушения брендсугелей поставил бочки с песком.

<sup>1</sup> Брендсугель — зажигательное ядро.

<sup>2</sup> Абазинских — абхазских.

Потемкин прислал командирам свое наставление, и Ушаков зачитал его на шканцах флагманского корабля.

«...Полезно бы было, — писал главнокомандующий, — есть ли б все морские офицеры наши приняли непременно правилом считать по величине орудий, а не по величине судов. Присоединя в действии храбрость и предприимчивость, какой величины агарянской<sup>1</sup> корабль они не сломят! О турецких кораблях справедливо можно сказать: велика Федбра, да дура. Разнообразность их орудий, малое число большого калибра, из коих стреляя всегда издали, так возвышают на глупых лафетах своих, что при малом колебании моря все заряды идут в луну; к тому же не могут долго продолжать стрельяния. Наши, вооруженные равной тяжести орудиями большими и довольным числом огненного орудия, сколь великую имеют поверхность!<sup>2</sup> Господа офицеры христианского флота! Надейтесь крепко на бога и считайте, что сила состоит не в величине судов, но в калибре орудий и храбрости начальников».

Но тут Ушаков делал для себя поправку: он знал, что «сила состоит» не только в храбрости начальников, а в твердости духа всего экипажа — командиров и рядовых.

Федор Федорович непрерывно повышал боевые качества «морских служителей» и прежде всего — канониров. Так, он раздавал им призовые деньги «за положение в яблоко и в черный круг ядер», то есть за меткость, проявленную во время учебных артиллерийских стрельб...

В конце июня турецкий флот появился у Евпатории, медленно обогнул Севастополь и вдоль южного берега проследовал к Керчи. 5 июля он приблизился к Феодосии, сделал по выстрелу из двух орудий и ушел.

Ушаков 2 июля поднял флаг на корабле «Рождество Христово» и вышел в море, имея десять кораблей (пять больших и пять малых, 40-пушечных), шесть фрегатов, одно репетичное судно (служащее для повторения сигналов флагмана), два брандера и тринадцать крейсерских судов.

<sup>1</sup> Агарянский — мусульманский.

<sup>2</sup> Поверхность — здесь: преимущество.

Подойдя к Феодосии, он запросил феодосийского горо­дничего: «Виден ли был в минувшие дни где-либо око­ло берегов неприятельский флот и в которую сторо­ну он пошел?» Получив нужные сведения, Ушаков 7 июля направился к Керченскому проливу. Чтобы при­крыть крымские берега и не дать туркам прорваться в Азовское море, он занял позицию у Еникале.

Спустился туман, и эскадра стала на якорь у мыса Таклы. Утром 8 июля из мглы, со стороны Анапы, по­казался турецкий флот. Он шел на всех парусах под флагом капудан-паши Гуссейна — десять кораблей (из них четыре флагманских), восемь фрегатов и тридцать шесть малых судов.

Дул слабый ветер ост-норд-ост. Турецкий флот зани­мал наветренное положение, что давало преимущество капудан-паше.

По правилам, Ушаков обязан был, находясь под ветром, не принимать боя под парусами. Тем не менее он отдал приказ сняться с якоря и выстроил всю эскадру в линию. Турки, приближавшиеся без соблюдения строя, также начали строиться в боевой порядок, выслав впе­ред бомбардирские суда.

Они открыли с дальней дистанции огонь, но бомбы их не долетали и рвались в воздухе. Под этим прикры­тием противник строил свою линию параллельно рус­ской. Ушаков выжидал, внимательно следя за капудан-пашой.

Маневры продолжались долго. Лишь около полудня турки стали спускаться на русскую эскадру, стремясь обойти и окружить ее авангард.

Ушаков находился в центре строя, откуда флагман обычно руководит сражением. Дым еще не застилал моря, и Федор Федорович хорошо видел спускавшийся турецкий флот.

Вот вытягиваются кильватерной колонной раззоло­ченные тяжелые корабли с похожими на облака паруса­ми. Ушаков смотрит в подзорную трубу и хмурит­ся. У турок — медная обшивка и медные пушки, а главное — ветер!.. И на всех судах — десантные вой­ска!..

Опустил трубу, перевел взгляд на палубу своего ко­рабля, на изготовившиеся к бою батареи. Рядом с ним

его флаг-капитан Данилов. Канониры застыли у орудий. Матросы — все на своих местах.

Ушаков снова смотрит на море. Патрон-бей<sup>1</sup> уже начал обход русского авангарда. Борта русских головных судов ооясала молния, их густо завалило дымом, и громовой вздох донесся оттуда. Это командир авангарда бригадир Голенкин, державший флаг на корабле «Мария Магдалина», встречал патрон-бея залпами своих кораблей.

Турецкий флот спускался всей линией на всю линию русского флота. И вот авангард его атакует Голенкина; центр готовится усилить эту атаку; арьергард же, как это обычно бывало при таком маневре, отстает.

— Резерв!.. — кричит Ушаков, обернувшись к Данилову. — Резерв, немедля, капитан-лейтенант!..

И тотчас же командует:

— Фрегатам выйти из линии для оказания помощи авангарду! Всем остальным — сомкнуть дистанцию и атаковать врага!..

Для прикрытия центра своей линией Ушаков поставил с нестреляющего борта шесть фрегатов, образовавших «корпус резерва».

Он нашел средство, которым можно было отразить неприятеля и одновременно добиться над ним перевеса. Никто из флотоводцев еще никогда не выделял резерва. Ушаков впервые сделал это в морском бою.

Арьергард противника был далеко, и русский арьергард и центр оставались свободными. Они сомкнулись после того, как фрегаты вышли из линии и обрушились вместе на неприятельский центр.

Но ветер не был союзником Ушакова: он не давал ему сблизиться с капудан-пашой, и русские корабли вели огонь только из больших орудий, не вводя в дело картечь.

Между тем быстроходные фрегаты, выйдя из строя, двинулись на помощь Голенкину. Бригадир искусно отражал атаки патрон-бея, но тот усиливал натиск и уже охватывал авангард.

Фрегаты подоспели в самую пору. Они атаковали патрон-бея, и турецкий вице-адмирал попал в ловушку:

---

<sup>1</sup> Патрон-бей — вице-адмирал (турецк.).

стремясь поставить в два огня корабли Голенкина, он оказался между фрегатами и русским авангардом, поставив себя самого между двух огней...

На корабле Ушакова поднят сигнал: «Вести бой на самой близкой дистанции!» К этому стремятся изо всех сил командиры, но у русских судов не хватает ветра в парусах.

Силуэт Данилова мелькает под низким батарейным сводом. Он — второе зрение и слух Ушакова. Артиллерия введена в бой не вся, но та, что действует, действует на славу: уже несколько турецких кораблей сильно повреждены.

В три часа ветер меняется — отходит на четыре румба. Ушаков, пользуясь этим, сближается с противником на картечный выстрел. Теперь вступают в дело все орудия — до самых мелких калибров, обрушивается на турецкие суда картечь.

Прицельный огонь рвет паруса и снасти, засыпает деки обломками мачт и реев: картечь очищает от людей палубы, наносит страшный урон десантным войскам.

Некоторые турецкие корабли начинают делать поворот на ветер, чтобы увеличить дистанцию боя. В то же время, теснимый фрегатами резерва, поворачивает на другой галс отряд патрон-бея и проходит перед русской линией, подвергаясь всей силе ее огня.

А сила огня такова, что экипажи турецких судов закрывают порты, обращенные в сторону русского флота, и сбегают с верхних деков вниз, перестав стрелять.

Флаг турецкого вице-адмирала сбит кораблем «Георгий Победоносец» и падает в воду. Русская шлюпка подбирает его и доставляет Ушакову на корабль.

Федор Федорович доволен. Артиллерия сделала свое дело — противник пришел в замешательство. Повернув на другой галс, он явно уклонялся от боя. Русскому флоту оставалось лишь выиграть ветер, чтобы нанести решающий удар.

Между тем эскадры расходились на контркурсах. Надо было немедленно атаковать турок, идти в погоню за ними.

И Ушаков приказывает поднять сигнал:



— Авангарду поворотить всем вдруг оверштаг<sup>1</sup> и пристроиться в хвосте линии! Флагманскому кораблю «Рождество Христово» быть передовым, а всем прочим, не соблюдая своих мест, войти в его кильватер!..

Это было неслыханно. Сигнал нарушил незыблемые правила. Начальник должен был находиться в центре, а все суда строго соблюдать места, назначенные им в эскадре. Перемешивать и разбивать строй не допускалось. В английском флоте за это предавали суду.

Но Ушаков смело вышел из центра и, став передовым, увлек за собой командиров. Движениями своего корабля он подтверждал им необычный сигнал и указывал, куда идти.

Впервые за долгие годы действовал так адмирал, действовал не случайно, а потому, что руководила им зрелая решимость. Однако при жизни Ушакова ни этот маневр, ни выделение им резерва не были оценены...

Федор Федорович выиграл ветер и поспешно выстроил свою линию. Теперь он мог прибегнуть к испытанному средству — удару на флагманские корабли.

— Они и так уже разбиты до крайности, — сказал он Данилову. — Надо взять либо истребить их!..

Но турки не решились продолжать сражение; они вскоре прекратили стрельбу и стали уходить. К шести часам вечера затихли последние раскаты боя. Ушаков нытался отрезать арьергард противника, но догнать его было трудно; турки спасались от разгрома благодаря медной обшивке и парусам из легкой бумажной ткани.

Погоня продолжалась весь вечер и всю ночь.

К рассвету противник едва был виден на горизонте, и преследовать его стало уже бесполезно. К тому же часть турецкого флота бежала к устьям Дуная, а часть взяла курс на Синоп.

Ушаков вызвал к себе Данилова и сказал, смотря на него воспаленными от бессонной ночи глазами:

— При неравном числе кораблей с нашей и с той стороны мы, кажется, были не слабее противника...

— Мы разбили его! — с жаром воскликнул Дани-

---

<sup>1</sup> Оверштаг — поворот корабля против ветра на другой галс.

лов.— Но, Федор Федорович!..— И он запнулся, видимо не решаясь что-то сказать.

— Вас смущает, что я сражался против принятых правил?

Данилов кивнул головою.

— Иногда нужно делать несходное с ними,— сказал Ушаков.— Победа одержана — значит, действия хороши. Судите сами!.. Мы потеряли только двадцать девять убитыми и шестьдесят ранеными в таком упорном сражении. Запишите в журнал, что «флот наш против неприятельского состоял весьма малочислен: настоящих кораблей было только пять...».

### 3

Второго мая 1790 года шведский флот под флагом герцога Зюдерманландского атаковал на Ревельском рейде эскадру адмирала Чичагова, но потерял два корабля и отошел за острова Нарген и Вульф.

А в исходе мая линейные и гребные суда противника оказались запертыми в Выборгской бухте. Спустя около месяца шведам удалось прорваться в море, но при этом шесть их кораблей и четыре фрегата были потоплены в бою.

Тем временем в Петербурге «истинный сын отечества» — Радищев — пытался создать добровольную дружину для защиты столицы от врага. Такая «городовая команда» создавалась по решению Петербургской думы, но самая идея принадлежала Радищеву. Было постановлено вооружить и содержать на общественный счет двести «обывателей», причем в отряд разрешалось принимать и беглых помещичьих крестьян.

В эти дни Радищев оказывал, кроме того, услуги русскому военно-морскому флоту: он давал своему подчиненному, таможенному ученику капитану Далю, секретные поручения по разведке шведских военно-морских сил. Русское военное командование пользовалось этим необычным источником сведений о неприятельском флоте, считая источник надежным. В своем «наставлении» капитану Далю Радищев писал: «Спрашивать каждого с моря приезжающего корабельщика в кронштадтской таможне, не видал ли он всего швед-

ского флота на пути своем в Санктпетербург, где он тот флот видел, и какое число кораблей...»

Но главным делом Радищева, занимавшим его в это тревожное время, было печатание «Путешествия» в собственной маленькой типографии на дому.

Закончив этот обличительный труд осенью минувшего года, он готовился «выпустить» свое сочинение, которое в течение шести месяцев набирали и тискали крепостные его покойной жены и его отца.

Каменный двухэтажный, так называемый «Рубановский» дом, принадлежавший ранее тестю Радищева, выходил фасадом на Грязную улицу, а полуциркульный выступ его был обращен во двор. Ко двору примыкал сад. Большой, запущенный, с прудом посередине, он имел березовую аллею, упиравшуюся в лабиринт. Там, в лабиринте, Александр Николаевич поставил памятник своей умершей в 1783 году жене Анне Васильевне. В саду было много фруктовых деревьев, грядки спаржи, клубники и розовых кустов.

На втором этаже (на всякий случай,— чтобы с улицы не было видно) помещалась «вольная» типография: наборные кассы и небольшой печатный станок. Дворовые люди, тискавшие листы книги, с волнением перечитывали пахнущие свежей краской страницы, написанные автором как бы о самом себе:

«Г. Крестьянкин долго находился на военной службе,— рассказывал в своем «Путешествии» Радищев,— и, наскучив жестокостями оной, а особливо во время войны, где великие насилия именем права войны прикрываются, перешел в статскую. По несчастию его, и в статской службе не избегнул того, от чего, оставляя военную, удалиться хотел...»

И далее, рассказав об убийстве «господ»-насильников их крепостными, автор продолжал:

«Не нашед способов спасти невинных убийц, в сердце моем оправданных, я не хотел быть ни сообщником в их казни, ниже оной свидетелем: подал прошение об отставке и, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния...»

Радищев знал, на что он идет, объявляя «кровопийцей» душевладельца-помещика и указывая на него кре-

постным людям. Он знал, что это не останется безнаказанным, и даже не был вполне уверен, удастся ли ему издать свою книгу и уцелеет ли рукопись. Поэтому он заранее принял меры, чтобы ее сохранить...

4

Потери противника у Еникале были огромны, потому что на судах его находились десантные отряды. Сражение помешало их высадке и вообще отбило у турок охоту высаживать в Крыму десант.

Победа 8 июля была одержана Ушаковым благодаря новизне его тактики, которую он смело применил в бою. Это новое тотчас подметил Суворов. «Поздравляю вас, милостивый государь,— писал он Потемкину,— с победою г-на Ушакова». Но в Черноморском адмиралтейском правлении новизны не хотели признавать.

Там снова водворился Мордвинов, не любивший Федора Федоровича, завидовавший его славе.

И де Рибас недаром говорил в своих письмах: «Ушакова не любят в Херсоне, вероятно, за его честность... Мне известно, что в Адмиралтействе позволяли себе сарказмы насчет дела 8 июля».

Но «дело 8 июля» прославил Ушакова в турецком флоте. Его имя нагоняло теперь страх на турок, и они почтительно называли его «Ушак-паша»...

Севастопольский флот исправлял повреждения.

Стоял зной. От жары лопалась и облезала на судах окраска.

Из Петербурга пришли хорошие вести: истощенная войной Швеция отпала от союза с Портой и заключила мир. Военное бремя, которое несла Россия, стало намного легче. Силы ее развязывались для борьбы на юге. Но это было крайне невыгодно для некоторых европейских держав.

Порта же не хотела мира, надеясь на иностранную помощь. Турки и немцы упрекали Густава III в неблагодарности и вероломстве. Мир со шведами был заключен 3 августа, а 9-го Екатерина уже писала о новых кознях прусского короля:

«Пруссак паки заговаривает с поляками, чтоб ему

уступили Данциг и Торун<sup>1</sup>, лаская их им отдать Белоруссию и Киев: Он всесветный распорядитель чужого».

Но «пруссак» вел переговоры не только с Польшею; он добивался военного союза с Англией, которая также была не прочь вмешаться в русско-турецкие дела.

И английский кабинет, идя по стопам прусского, стал требовать, чтобы Россия отдала туркам Очаков. Русский посланник в Лондоне С. Р. Воронцов все чаще жаловался на «слепоту английского министерства», на то, что берлинский двор забирает над лондонским все большую силу. Русскому правительству еще весною пришлось послать Воронцову наказ:

«Странно взирать на приверженность Англии к берлинскому двору, до того распространяющуюся, что никакое дружеское предложение ей учинено быть не может без того, чтобы она не сообщила его сему двору, как бы дав на себя кабалу не действовать иначе, как вместе с королем прусским и Голландией... Англия тут поступает противно величию, ей свойственному, в качестве одной из первейших держав в свете. Властолюбивые и корыстные намерения короля прусского довольно ясны: они, если добрыми стараниями лондонского двора удержаны не будут, принесут, конечно, общую, упорную и кровопролитную войну...»

Не прошло и месяца после сражения у Еникале, как турки снова появились у берегов Крыма.

— Флот неприятельский рыщет! — доложил Ушакову Данилов.— Из Балаклавы усмотрены тридцать два вымпела, в том числе кораблей и фрегатов — двенадцать. Путь свой продолжают к востоку.

— Шарлатанствуют, надеются на свои скорые ноги, — мрачно сказал Ушаков.

— Каковы будут приказания?

— Напишите Жегулину, что прошу доставить ко мне ядер и пороху самую скорою почтою... Я до тех пор не успокоюсь, пока не выйду в море!.. Как скоро закончим ремонт эскадры?

---

<sup>1</sup> Торун — Торн.

— Последнюю мачту поставим через два или три дня...

Ушаков вышел в крейсерство на той же неделе, искал противника у южных и западных берегов Тавриды, однако не встретил его нигде.

Но вскоре турецкий флот показался в Лимане и бросил якорь между Тендрой и Гаджибеем. Гребная флотилия де Рибаса готовилась перейти из Очакова в воды Дуная, где намечались наступательные действия против Измаила и других сильнейших дунайских крепостей. Узнав об этом, турки решили преградить флотилии путь.

Ушаков, получив приказ Потемкина прикрыть переход де Рибаса к Дунаю, 25 августа вышел из Севастополя, взяв с собой десять кораблей, пять фрегатов, два брандера, одно репетичное судно, одно бомбардирское и семнадцать крейсерских судов.

Трое суток провели в море, изредка, по ночам, встречаясь с русскими гребными судами. Когда с флагманского корабля окликали: «Откуда судно?», с галеры несло: «Ни-ко-ла-ев!»—«Кто командир?»—спрашивали с флагмана. «Богом хранимы!»—раздавалось в ответ.

То были секретные, придуманные Ушаковым «сигналы опознания друг друга в море» на случай встречи с флотилией, которою командовал де Рибас.

Двадцать восьмого утром Федор Федорович внезапно появился перед противником. Турки не позаботились ни о разведке, ни о дозоре, и русская эскадра застала их врасплох.

Она приближалась тремя колоннами. Это был походный строй, и хотя его полагалось изменить для атаки, Ушаков решил атаковать немедленно, не перестраиваясь из походного порядка в боевой.

Турки стали рубить якорные канаты и в беспорядке уходить в сторону Дуная. Четырнадцать кораблей, восемь фрегатов и двадцать три мелких судна бежали, уклоняясь от боя. Но Ушаков не намерен был их упускать.

Он видел, как, поблескивая медью орудий, ускользают от него корабли Гуссейна — лучшие в турецком флоте «Капудание» и «Мелеки-Бахри» («Владыка морей»).

Дать им уйти?! Не сразившись!.. Ушаков не допускал и мысли об этом. Их надо было заставить вступить в сражение! И он велел прибавить парусов.

В это время показалась вышедшая из Очакова флотилия де Рибаса. Ему был сделан сигнал также идти в погоню за капудан-пашой.

В том же походном строю трех колонн Ушаков погнался за турками. Ветер заметно свежел. Звонюкрылки — предвестницы непогоды — появились над морем. Преследование продолжалось около часа, пока турецкие адмиралы, обогнав свои суда, не стали уходить вперед.

— Я заставляю их принять бой!.. — сквозь зубы произнес Ушаков и приказал лечь на другой курс с намерением отрезать отставшие корабли противника.

Угроза подействовала: она принудила капудан-пашу повернуть на обратный галс, чтобы прикрыть свой арьергард.

Маневр оказался верным: турецкому флоту пришлось строиться к бою. Ушаков также стал перестраиваться из трех колонн в одну.

Русские суда построились в линию скорее турецких и легли параллельно противнику, оставаясь у него на ветре.

Повторяя прием, испытанный в сражении у Еникале, Ушаков приказал трем фрегатам выйти из линии и «построить корпус резерва против передовой части флота» на случай, если турки попытаются окружить авангард.

Во втором часу дня он поднял сигнал: «Спуститься к неприятелю на картечный выстрел!» — и, не занимаясь более вражеским арьергардом, направил удар на центр противника, где находился капудан-паша...

Флот спускался на неприятеля в тишине, но тишина эта как бы налилась громом; он готов был с минуты на минуту грянуть и заглушить слова команды, шорох кливеров, тягучий скрип снастей.

Ушаков слушал тишину перед боем и вдыхал крепнувший морской ветер.

Вокруг него было море, родной великий простор. Ушаков сливался с ним и в нем обретал свою силу. Здесь все решалось отвагой, волею, быстротой и, сверх

того, каким-то особым чутьем флотоводца. Всем этим Ушаков владел. Он был ровня морю, как люди на его кораблях были под стать ему.

Он дал им опыт и воспитал их, приучив к спокойному исполнению самого опасного дела. Личная твердость и строгость всех его приказов и действий не внушали страха и лишь вселяли уверенность, что иначе поступать нельзя.

Матросы знали, что Федор Федорович видит каждого из них насквозь, хотя и никогда не обмолвился об этом; знали, как он воюет с адмиралтейским правлением за их морской рацион и жалованье; как сам во все вникает, чтобы они были сыты, здоровы и спали всегда в чистоте.

И матросы платили ему чем могли — безграничной «доверенностью» и повиновением. Между ними все было ясно: Ушаков приказывал, и слово его было закон...

— Спустились на картечный выстрел!.. — доложил Данилов, на этот раз исполнявший должность цейхмейстера.

Ушаков измерил взглядом расстояние, оставшееся до противника.

— Действуйте!.. — сказал он. — А зыбь порядочная. Целить надлежит между валов...

Турки уже палили из больших пушек. Зыбь мешала им, и они даже не пытались вести огонь прицельно. Поэтому залпы их не причиняли большого вреда.

Но вот борт «Рождества Христова» дрогнул — Ушаков начал атаку. Цейхмейстер Данилов хорошо изготовил батареи к бою. Все русские корабли дружно осыпали противника картечью и более всего — капудан-пашу.

Ушаков, надвигаясь на него, усиливал огонь, громя противника всеми орудиями своего борта. Сражение быстро сделалось общим. После полуторачасового боя султанский флот стал уклоняться под ветер. Тогда Ушаков атаковал его вплотную, введя в дело резервные фрегаты и еще более усилив огонь.

Его корабль, сражаясь с тремя турецкими, заставил их выйти из строя. В шестом часу вечера вся линия Гуссейна была разбита и обратилась в бегство. Стремясь довершить разгром, Ушаков с поднятым сигналом: «Гнаться под всеми возможными парусами и вести



бой на самом близком расстоянии!»— двинулся вперед.

Вся эскадра следовала за его кораблем, с которого уже не убирался сигнал погони, и поражала отставшие турецкие суда в корму и рангоут. На турецких судах падали мачты, с треском рвались паруса.

В восемь часов вечера бой прекратился, так как темнота позволила противнику скрыться.

Ветер свежел, предвещая бурю.

Чтобы собрать свои силы, Ушаков приказал эскадре зажечь в фонарях огни и стать на якорь; затем, когда все собрались и легли на якоря, велел погасить огни и, так как ветер все более крепчал, отослал крейсерские суда «в закрытие», к берегам Очакова.

Крепкий юго-восточный ветер дул всю ночь с ровной, неслабеющей силой. К утру он переменялся на шквальный и то ударял, разводя волну, то внезапно падал, то откуда ни возьмись налетал вновь.

Едва рассвело, Ушаков совсем близко увидел турок. Часть их судов стояла на якоре тут же, рядом; другая же держалась на ветре под парусами. Легкие турецкие «кирлангичи»<sup>1</sup> забирались в самую середину русского флота, а один из фрегатов Ушакова — «Амвросий Медиоланский» — оказался посреди четырех неприятельских кораблей.

Командиром его был капитан второго ранга Нелединский. Ушаков знал его как смелого и смелого офицера. Но положение этого смельчака было трудным. Солнце уже вставало. В любую минуту фрегат мог быть опознан и поставлен в два огня.

Поняли это и на других судах русской эскадры. Солнце всходило за нею, и это позволяло хорошо видеть турок, тогда как тем было еще трудно заметить русские суда.

Сотни глаз устремились туда, где стоял «Амвросий Медиоланский». Но там все было тихо. На обоих флотах еще с вечера были спущены флаги, и беспечный противник принимал русский фрегат за свой.

---

<sup>1</sup> К и р л а н г и ч — ласточка (турецк.).

Совсем рассвело. Ушаков поднял сигнал «Сняться с якоря». Турки увидели неприятеля и тотчас же кинулись ставить паруса. Среди общего движения один только фрегат Нелединского ставил паруса, не поднимая флага.

Ушаков сигналом приказал начать погоню. Он стоял на юте, не спуская с фрегата глаз.

«Амвросий Медиоланский» следовал за турецким флотом. Он повторял все движения идущего впереди него корабля, но понемногу отставал, уменьшая ход. Так, отставая, он постепенно вышел из опасного положения, сделал поворот и поднял флаг под крики «ура!» со всех кораблей русского флота. Затем прибавил парусов и поспешил занять свое место.

— Бесподобно!.. — прокричал с юта Ушаков.

Дул шквалистый ветер. Султанский флот удалялся. Русские суда гнались за ним и навязывали бой.

В то же время шедшая совсем близко флотилия де Рибаса своими построениями наводила еще больший страх на противника. Турки отчаянно отбивались из кормовых, «ретирадных» пушек, и капудан-паше с несколькими кораблями удалось уйти далеко вперед.

Но два наиболее поврежденных корабля отстали и были отрезаны. Один из них — «Мелеки-Бахри», окруженный отрядом Голенкина, сдался без боя, и на нем был поднят русский флаг. Другой, «Капудание», под флагом вице-адмирала Саид-бея, остановился у песчаной банки. Корабль «Андрей Первозванный» настиг его и открыл огонь.

Вскоре к месту боя подоспел отряд Голенкина; подошли и другие суда русской эскадры. К полудню турецкий корабль был окружен, но не сдавался. Стремясь овладеть им, русские командиры не хотели пускать его ко дну и медлили решением его участи. Но в два часа дня на своем корабле «Рождество Христово» к месту боя подошел Ушаков.

— Пора положить конец!.. — сказал он Данилову. — Кораблям «Георгию» и «Андрею» вступить мне в кильватер, а всем остальным продолжать погоню за капудан-пашой!..

Обойдя «Капудание» с наветренной стороны, Федор Федорович приблизился к нему на полкабельтова и пер-

выми же выстрелами сбил у него все три мачты. Затем уступил место «Георгию Победоносцу», прошел вперед, сделал поворот через фордевинд<sup>1</sup> и стал бортом против носа противника, чтобы дать залп.

Но «Капудание» сдался. Турки выбежали на бак и стали кричать, подняв вверх руки. Ушаков приказал прекратить бой и послать шлюпки снять экипаж.

Густой дым валил с палуб турецкого корабля. На корме его бушевало пламя. Он трещал, как лес во время пожара; от множества пробоин его заливало водой.

Крупная зыб мешала подойти шлюпкам. С большим трудом удалось им приблизиться и снять командира, нескольких офицеров и часть команды. Шлюпки уже отвалили, когда с горящего корабля донеслась русская речь:

— Братцы!.. Пашу принимайте!..

Какие-то полуголые, изможденные люди, пробиваясь сквозь дым и огонь, тащили на руках престарелого турка. То были пленные русские моряки, содержавшиеся на вражеском корабле как невольники. Они держали добычу — турецкого адмирала Саид-бея, которого взяли в плен.

Их приняли на борт, а через десять минут «Капудание» взлетел на воздух. Погибло восемьсот человек команды и восемьдесят пушек — все как одна медные. Корабль этот, лишь недавно спущенный на воду, был уничтожен в первом же бою.

Победа была полная. Русские потеряли двадцать одного человека убитыми и двадцать пять ранеными, турки — более двух тысяч. Кроме взятого у них в плен «Мелеки-Бахри» и погибшего «Капудание», у них на возвратном пути затонуло еще несколько кораблей.

Поражение капудан-паши облегчило совместные действия русских войск и флота; гребной флотилии де Рибаса был теперь открыт путь в Дунай...

Собрав эскадру, Ушаков 31 августа приблизился к Гаджибею. В тот же день туда прибыл Потемкин.

---

<sup>1</sup> Фордевинд — поворот судна, идущего под парусами, по ветру.

На бригантине, под кайзер-флагом, он подошел к флоту, который салютовал ему тринадцатью выстрелами.

На корабле «Рождество» Потемкина встретили Ушаков и его командиры. Главнокомандующий благодарил их за храбрость и усердие под Тендрою и Еникале.

О новой победе флота он написал Фалееву в Николаев:

«Наши, благодаря богу, такого перцу туркам задали, что любо, спасибо Федору Федоровичу!»

И объявил приказ:

«Да впишется сие достопамятное происшествие в журналы Черноморского адмиралтейского правления ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота Черноморского подвигов».

Откликнулся и Суворов, кратко, двумя словами:

«Виват, Ушаков!»

## 5

Прошло около месяца с того дня, как Радищев закончил печатание своей книги и первые ее экземпляры «вышли в свет».

Он жил с семьей на даче, в пустынной части Петровского острова, на берегу Малой Невки, в деревянном доме в два этажа.

Остров прорезала большая аллея; в стороны от нее отходили тропинки, всюду были сделаны мостики, переброшенные через речку и пруды.

Через Малую Невку моста еще не было, и экипажи переправляли на плоту, а пешеходов — на лодке: солдатская дочь Верочка перевозила за грош.

В один из дней после 20 июня купцы из Гостиного двора сообщили Радищеву, что полиция справлялась о его книге. А спустя еще несколько дней он уже твердо знал, что императрица затевает против него дело, что будет процесс.

В эти дни Екатерина II самым добросовестным образом изучала книгу Радищева, читала ее от «доски до доски».

Замечания, сделанные ее рукой, не сулили автору ничего хорошего.

К странице 76 она приписала:

«Птенцы учат матку».

К странице 262:

«Уговаривает помещиков освободить крестьян, да никто не послушает».

А сделав выписку из текста на странице 349: «свободы не от... советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения»,— пояснила: «то есть надежду полагает на бунт мужиков».

Его арестовали на даче 30 июня в 9 часов вечера, отобрали у него побывавшую в цензуре рукопись «Путешествия», но тщетно искали книгу: в это самое время в «Рубановском» доме, на Грязной улице, огонь пожирал последние экземпляры: дворовые люди Радищева выполняли его наказ...

В середине июля граф Безбородко сообщил В. С. Попову о выходе книги Радищева, «наполненной защитой крестьян, зарезавших помещиков, проповедью равенства и почти бунта...». «С свободой типографий,— заканчивал свое послание Безбородко,— да с глупостию полиции и не усмотришь, как нашьалят».

Двадцать четвертого июля 1790 года Палата уголовного суда приговорила Радищева к смертной казни.

8 августа приговор был утвержден Сенатом, а 19-го его утвердил Государственный (Непременный) совет.

Решение Государственного совета подписали: граф Брюс, граф Остерман, граф Мусин-Пушкин, граф Безбородко, Соймонов, Стрекалов и Завадовский.

Четвертого сентября Екатерина заменила Радищеву казнь ссылкой «в Сибирь, в Илимский острог, на десятилетнее безысходное пребывание».

Пытку ожидания смерти Радищев вытерпел в течение сорока одного дня.

Волосы его в день объявления приговора побелели.

Восьмого сентября, в ручных кандалах, он был отправлен из Петропавловской крепости в ссылку. Его свояченица, Елизавета Васильевна Рубановская, получила некоторые оставленные им в крепости вещи; среди них была серебряная ложка; он грыз ее в минуты отчаяния, и на ней остались следы зубов.

Спустя восемь дней после победы у Тендры и Гаджибея Потемкин написал С. Л. Лошкареву<sup>1</sup> письмо:

«Наскучили уже турецкие басни. Их министерство и нас и своих обманывает. Тянули столько и вдруг теперь выдумали медиацию<sup>2</sup> прусскую, да и мне предлагают. Это дело не мое, а дворам принадлежит. Мои инструкции: или мир, или война. Вы им изъясните, что коли мириться, то скорее, иначе буду их бить... Бездельник их, капитан-паша, будучи разбит близ Тамана, бежал с поврежденными кораблями... и теперь еще пять судов починяют, а насказал, что у нас потопил несколько судов. Сия ложь у визиря была опубликована. На что они лгут и обманывают себя и государя? Теперь еще у флота было сражение, где они потеряли «Капитанию» и еще большой корабль взят, на котором капитан был Кара-Али. Адмирал «Капитании» Саид-бей у нас в плену. «Капитания» сожжена. Тут потонуло 800 человек, да живых взято с другим кораблем и мелкими судами более тысячи. Разбитых [судов] у них много потонуло и все разбиты в прах. Но все бысии суда и люди были целы, если бы уже мир был сделан.

Во флоте нашем все корабли и прочие суда безвредны и урон в людях весьма мал...»

Но турки, ободряемые английским и прусским посланниками, вскоре прервали переговоры, готовясь к продолжению войны.

В Севастополе об этом знали. Ушаков часто собирал командиров и беседовал с ними у себя на дому.

В один из сентябрьских дней офицеры внимательно слушали Федора Федоровича, посвящавшего их в план осенней кампании.

— Состоящий под командой моей Севастопольский флот, — говорил Ушаков, — разделен я на три эскадры: кордебаталия, или центр, будет под моею командою; авангардией назначаю командовать бригадира Голенки-

<sup>1</sup> С. Л. Лошкарев состоял при Г. А. Потемкине для дипломатических поручений; в 1790 году был уполномочен на ведение мирных переговоров с Турцией.

<sup>2</sup> М е д и а ц и я — посредничество.

на, арьергардией же — бригадира Павла Васильевича Пустошкина...

И он, прищурясь, взгляделся в офицера, сидевшего в кресле напротив него.

Пустошкин, человек лет сорока, поджарый и молодцеватый, был начальником Таганрогского порта. Он только что прибыл в распоряжение Ушакова с эскадрой из нескольких судов.

Федор Федорович улыбнулся.

— С Семеном Афанасьевичем мы друзьями были. А с вами — еще по Морскому корпусу знакомы. Выходит, без Пустошкиных мне не обойтись...

Он помолчал, собираясь с мыслями, поглядел в окно и вновь заговорил, проникнутый спокойной, уверенной силой:

— Командиры эскадр исполняют должность и обязанность адмирала. Посему надлежит им знать, какие главные свойства должен иметь адмирал... В одной рукописи, именуемой «Начальные основания морской тактики», таких свойств показано четыре. Первое: непоколебимая храбрость, без чего все прочие знания, искусство и опыт остаются без пользы! Пример такой храбрости показал бригадир Голенкин в сражении у Еникале... Второе: острый разум и сильное воображение! Надлежит в мыслях объять связь всех действий не только в своем, но и в неприятельском флоте, дабы противника всегда и во всем упредить... Третье: присутствие духа! Должен адмирал в величайшей опасности находить способы к ее отвращению. Сему пример — капитан-лейтенант Нелединский, который не потерялся, будучи окружен судами противника... Четвертое: знание человеческого сердца! Соединя благосклонность со строгостью, надо сохранять во флоте всю дисциплину, не теряя любви и почтения ни офицеров, ни рядовых...

Голос Ушакова, грубоватый, но ласковый, придавал его словам неуловимую задумчивость.

— Мне приказано, — продолжал он, — выступить к устьям Дуная и прикрыть их от противника, когда генерал-майор де Рибас атакует батареи, защищающие вход в реку.

— Стало быть, дунайские крепости добывать будем? — спросил капитан-лейтенант Сорокин.

— Именно! — подтвердил Ушаков. — Дунайские!.. А добывать будут совместно наши сухопутные войска и флот.

Командиры начали перешептываться. Они, видимо, хотели о чем-то спросить Федора Федоровича, но не решились.

— Ну, чего шепчетесь? — проворчал он с усмешкой. — Говорите громче, чтобы и я слышал!

— Да вот дело какое... — начал капитан 2-го ранга Поскочин. — Затеялся у меня с Нелединским и Голенкиным спор... Прочитали мы книжицу «Военный Мореплаватель», что вы нам дали, и пришли к сомнению...

— Я вам на то и дал ее... — сказал Ушаков все с той же усмешкой. — А о чем спор?

Поскочин заговорил, держа в руках небольшой, переплетенный в темную кожу томик:

— Верно ли тут пишется о пресечении неприятельской линии?.. Я говорю, что неверно, а они со мной не согласны; полагают, что написано с толком, но будто адмирал наш от сего отступил...

— Позвольте-ка мне книжицу, — сказал Ушаков и, взяв из рук офицера томик, раскрыл его, разгладил страницу ладонью и положил томик перед собой. — Сочинение это переведено с французского языка на русский господином Кушелевым, хотя он более своего добавлял, чем переводил... Так вот, дети мои!.. Что здесь сказано о пересечении или прорезании строя противника?.. «Инако не пресекается неприятель, разве когда превосходная сила или полученный выигрыш в бою не делают его более опасным»... Справедливо сказано, слов нет!..

Командиры слушали с недоумением, не понимая еще, куда клонит Федор Федорович, а он, постепенно возвышая голос и явно ожесточаясь, продолжал:

— Но это подобно тому, как если бы кто сказал, что корабль выходит из гавани не иначе как в тихую погоду, когда капитан уверен, что шторм не застигнет его в пути... Мы в сражении Еникальском были слабее противника — он превосходил нас — и, даже будучи поражаем нашей картечью, еще оставался весьма опасен и силен! Вопреки сему мы нарушили его строй и стали бить его снаветра!.. И разбили! И прочь проводили!



И славой себя покрыли!.. Ежели господина Кушелева слушать, побеждать нам не придется! Его тактика — обороняться, а наш флот Черноморский может и наступать!..

Он почти кричал. Зрачки его расширились. Лицо, пылавшее от вступившего в окна заката, сделалось необычайно суровым, даже страшным. Он раскрыл — точно разломил — книгу в другом месте и хватил по ней кулаком.

— Есть тут глава, изъясняющая, как «убегать сражения»! — Он выхватил из чернильницы перо и с маху косым крестом перечеркнул страницу. — «Убегать сражения»!.. — повторил он гневно. — Да не будет такого ни в мыслях ваших, ни в речах!..

Наступило молчание. Его нарушил голос Сорокина. Он вскочил и, блестя глазами, оглядываясь на товарищей, как бы ища их поддержки, выкрикнул:

— Дозвольте сказать!.. Мы клянемся.. сражаться так, как и до сего дня сражались!.. Где бы ни встретился нам противник — у своих ли берегов, в наших ли водах или в чужеземных морях!..

Солнце зашло. Совсем близко, на корабле, ударила пушка.

Федор Федорович и все командиры поднялись со своих мест.

— Спасибо, дети мои! — тихо сказал он. — Ожидаю от вас мужества по примеру прошлых кампаний! Противнику отдыхать не дадим — недосуг нам! Как пословица молвится: время за нами, время перед нами, а при нас его нет!..

Оставшись один, он подошел к окну и окинул взглядом Северную бухту. Корабли с убранными парусами теснились у Павловского мыса. Отблеск заката стоял в окнах казарм.

Федор Федорович особенно любил Севастополь в этот час, когда спускались на город сумерки и море казалось неподвижным, а в доме был явственно слышен его размеренный, глухой гул.

Он долго стоял у окна, пока огни не загорелись на судах эскадры. Федор внес зажженные свечи и кашлянул, давая знать, что намерен задернуть драпировку. Федор Федорович отошел от окна и сел за стол.

На душе у него было легко. После беседы с командирами осталось отрадное чувство. Лица офицеров, покинувших кабинет, маячили перед его глазами... Отчаянная голова — Поскочин, медлительный, надежный Голенкин, застенчивый и сдержанный Нелединский... Они не боялись нового, понимали, каким путем он хочет вести их, и не страшились. Его радовала их пытливость. С ними он не был одинок.

Дела шли хорошо. Уже слава его прочно утвердилась в столице. За победу у Тендры он получил высокую награду — Георгия второй степени. Кроме того, Екатерина пожаловала ему в Могилевской губернии пятьсот душ крестьян.

Дар привел его в смущение. Но крестьянами живо заинтересовался Потемкин, округлявший в то время свои владения в Белоруссии. И Федор Федорович решил: «Пусть что хочет делает с этими «душами», мне они ни к чему».

Дела шли хорошо. Принесли пользу его докладные записки: Потемкин распорядился строить мачтовый кран в Севастополе и обшивать медью новые фрегаты (пока только два).

У Федора Федоровича не было причин жаловаться на Потемкина. Он оберегал его от наветов и клевет, помогал ему в самом главном, в том, что было всего важнее. Одобряя действия Ушакова на море, он разрешал ему поступать с противником по своему усмотрению, соглашаясь на все его предложения о том, как вести бой.

Но это было изустно. Федор Федорович побеждал, действуя вопреки застарелым правилам, хотя никаких письменных дозволений на то не имел. Он знал, что Мордвинов и ему подобные — люди вроде свитского офицера Кушелева — строчат на него доносы, доказывая, что смелость и безрассудство — одно и то же и что идти на риск в сражении — значит губить флот.

Ему нужна была опора — приказ Потемкина, развязывающий руки, ясно говорящий, на что он имеет право. Он долго ждал такого приказа и наконец получил.

Это случилось с месяц назад, когда эскадра вернулась из Гаджибея; сегодня пришло второе, более про-

странное письмо о том же. Оно лежало перед ним на кипе бумаг.

В шандале оплывала свеча. Федор Федорович поправил фитиль пальцами и стал перечитывать потемкинское послание — малоразборчивые строки, сплетенные из витиеватых, словно сведенных судорогою букв:

«Известно вам мое замечание в прежнем предложении, что когда во флоте турецком бывает сбит флагманский корабль, то все рассыпаются, а для сего приказал вам иметь при себе всегда «Навархию», «Вознесение», «Макроплию» («Св. Марка») и фрегат «Григория Великия Армении» и наименовать эскадрой кайзер-флага<sup>1</sup>. Всеми прочими кораблями, составляющими линию, занимайте другие корабли неприятельские, а с помянутою эскадрою пускайтесь на флагманский, объяв его огнем сильным и живым...

Требуйте от всякого, чтоб дрались мужественно, или, лучше сказать, — по-черноморски...

Подходите непременно меньше кабельтова...»

Федор Федорович дочитал и снова поправил свечу.

— «Известно вам мое замечание, — повторил он, медленно шевеля губами, — что когда во флоте турецком бывает сбит флагманский корабль, то все рассыпаются...»

И вдруг насупился, вспыхнул, забормотал:

— Обезопасил меня князь, дал свою сильную грамоту, защитил от недоброхотов... Утвердил он образ моих действий — на том спасибо! Только следовало бы ему о сем иначе писать!.. Еще служа в Азовской флотилии, заметил я особливые свойства противника и — позднее — в трех сражениях, атакуя флагманские корабли, тем его разбивал!.. Предписывает мне иметь эскадру кайзер-флага. Но сия эскадра — тот же мой резерв, лишь именуемый по-другому! А что резерв может служить для получения перевеса над неприятелем, я о том его светлости давно писал и твердил!.. Велит подходить ближе кабельтова. Точно я Войнович и от противника бегаю! А я — куда уж ближе! — на тридцать сажен подхожу!.. Перед потомками стыдно!.. Мог бы

---

<sup>1</sup> Эскадра кайзер-флага — резерв особого назначения под флагом главнокомандующего.

князь меня не учить, ибо сам опытом и победами моими научен! Ну, да не спорить же мне с Потемкиным!.. Была бы флоту слава, а мне честь не нужна!..

И он стал писать ответ:

«Все мои действия и дарованные от бога успехи причитаю собственному счастью вашей светлости, а я иду стопами ваших наставлений...»

Писать надо было о многом. Федор Федорович, чувствуя усталость, решил отложить письмо до другого раза.

Но на приказ о выходе в море нужно было отвечать тотчас же. И он ответил по-черноморски:

«Я со флотом Севастопольским готов...»

7

Пятнадцатого октября на судах эскадры затрепетали флаги. Ушаков снова поднялся на свой корабль «Рождество».

Оставив для охраны гавани четыре фрегата и бомбардирское судно, он с четырнадцатью кораблями, четырьмя фрегатами, крейсерами и транспортами пошел к Дунаю и прибыл туда 21 октября.

За день до этого в устье Сулинского рукава высадились войска де Рибаса и кинулись на батареи, защищавшие гирло. Одновременно в Килийский рукав вошли запорожцы атамана Головатого. Эскадра Ушакова стала на якорь между устьем Килии и Сулины, прикрывая от нападения с моря обе гребные флотилии и войска.

Несколько фрегатов Ушаков послал в поиск у побережья. Они вскоре вернулись, приведя одно судно, груженное лимонами, и другое — изюмом. Он отослал изюм и лимоны Потемкину, досадуя на маловажность своих трофеев, но затем захватил приз более ценный — бежавшего коменданта сулинских батарей Саид-агу.

Самые батареи были взяты людьми де Рибаса, и его гребные суда вошли в Дунай. Действуя совместно с казаками Головатого, он разгромил измаильскую флотилию — более двухсот лодок — и занял против Измаила остров Сулину, отрезав город от реки.

«С сухого пути» крепость была осаждена русскими

войсками. Командовали ими генерал-поручики Самойлов и Потемкин — родственник князя Потемкина-Таврического. С приходом де Рибаса под Измаилом оказалось три равноправных начальника, власть которых не была объединена.

Наступил ноябрь. Ударили ранние морозы. Мокрый снег устилал землю. В корабельном флоте больше не было надобности, и Ушаков направился вдоль турецких берегов «для нанесения вящего неприятелю страха».

Двадцать девятого ноября возвратился он в Севастополь, а 30-го стоявший под Галацем Суворов получил ордер Потемкина — немедля брать Измаил.

Екатерина настойчиво требовала «достать мир с турками», но это было невозможно, пока держался Измаил и «вязал руки» наступавшим войскам.

В сентябре 1790 года уstraшенная Пруссией Австрия заключила с Портою перемирие, обязавшись не пропускать русских через занятую австрийцами Валахию. Потемкинская армия могла теперь двигаться только узкой полосой между Галацем и морем, но это пространство запирали Измаил.

В нем сходились пути из Галаца, Хотина, Бендер, Килии. Турки недаром называли эту крепость армейскою: она вмещала целую армию в тридцать пять тысяч человек.

При малочисленности русских сил обходить ее было опасно, осада же не сулила успеха. Могучий пояс укреплений и более трехсот пушек преграждали войскам дорогу. Нужен был вдохновенный мастер, чтобы взломать эту твердыню и решиться на ее штурм.

Де Рибас занимал остров Сулину, возводил на нем батареи и готовился к совместным действиям с сухопутными силами. Но действия не начинались. Близилась пора зимних туманов. Русский корпус испытывал недостаток в топливе и провианте. Заметно падал дух войск.

Двадцать шестого ноября военный совет решил перейти от осады к простому наблюдению за крепостью, и войска стали отходить при радостных криках турок и пальбе с крепостных стен.

Потемкин об этом не знал. Всего лишь на день раньше он отправил приказ Суворову: решить дело под Измаилом, приняв под свою команду войска.

В это самое время турки распространили слух о смерти Суворова. Потемкин писал Я. И. Булгакову, освобожденному из турецкого плена и назначенному в Варшаву чрезвычайным послом: «...Плюйте на ложные разглашения, которые у вас на наш счет делают. Суворов, слава богу, целехонек. На сухом пути дела не было нигде, турки и смотреть на нас близко не смеют, как им не наскучит лгать...»

Получив приказ Потемкина, герой Фокшан и Рымника понял, что от него хотят почти невозможного, но почувствовал себя счастливым, ибо о том он и мечтал.

Он знал, что такое Измаил и что отданным под его начальство людям предстоит совершить дерзкий и славный подвиг. Он знал также, что добрая половина этих людей не обучена и что ему надо в кратчайший срок обучить их и перевоспитать.

А времени не было. Со дня на день должны были пасть непроницаемые дунайские туманы, земля станет вязкой и скользкой, и валы измаильские будут непреодолимы. Надо было подготовить войска к штурму не более как в семь-восемь дней.

Он назначил под Измаил свой любимый Фанагорийский полк, отрядив казаков и апшеронцев, и приказал им взять с собою изготовленные под Галацем лестницы и фашины. 30 ноября он получил приказ Потемкина, а 2 декабря утром прибыл уже к Измаилу, сделав за двое суток сто верст.

Его прибытие было одинаково понято всеми — от генерала до солдата. Оно означало: штурм! И это передавалось из уст в уста.

Прежде всего он распорядился вернуть отходящие войска и осмотрел крепость.

Она представляла треугольник, обращенный одной стороной к Дунаю, склон измаильской высоты переходил здесь в крутой береговой скат.

Вал тянулся на шесть верст. Это была ломаная линия бастионов со многими исходящими и входящими углами. Высота вала достигала четырех сажень; ширина рва — шести, глубина — пяти; на дне его были

устроены палисады, привязаны к кольям сторожевые собаки и местами пущена вода, доходившая солдату до плеч.

Потемкин в своем приказе Суворову указывал на слабые места крепости. Суворов ответил кратко и сдержанно: «Слабых мест нет».

Теперь он убедился в этом вторично. На такое дело можно было решиться раз в жизни. Войскам следовало дать особую подготовку. И он приказал строить второй, малый Измаил.

Был насыпан вал, в точности похожий на измаильский, и войска по ночам обучались эскаладе — подъему на вал и преодолению его. Они последовательно совершали все, что предстояло им совершить во время штурма: приближались ко рву, забрасывали его фашинами, приставляли и связывали лестницы, ломали палисады; днем упражнялись в штыковом бою.

Измаил с его минаретами, садами и тополями, казалось, дремал у тихих вод Дуная, но турки были готовы встретить идущую на них грозу.

Пятого декабря возвратились все ушедшие полки, а 6-го — прибыли суворовцы из-под Галаца. Войска стали полукругом в двух верстах от крепости, упиравсь флангами в реку, где флотилия де Рибаса замыкала блокаду.

Суворов послал к сераскир-паше офицера с предложением сдать Измаил.

«Соблюдая долг человечества, дабы отвратить кровопролитие и жестокость», требовал он сдачи без сопротивления.

Сераскир ответил пространно, выставив массу требований, с явным намерением протянуть время. Офицеру же, посланному в осажденную крепость, было сказано: «Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил».

Утром 9 декабря Суворов велел объявить туркам, что «пощады им не будет», и созвал военный совет.

Воодушевленные им генералы, лишь недавно постановившие снять осаду, теперь единогласно решили штурмовать крепость, «ибо отступление предосудительно победоносным ее величества войскам».

Суворов назначил штурм на 11 декабря.

Чтобы добиться внезапности удара, он приказал устраивать ложные тревоги и пускать ракеты. Всем командирам было предписано выверить карманные часы, «учредя их равномерно, дабы одновременно начать по данному сигналу, который последует в 5 часов».

Все было продумано до последней мелочи. Фашины и лестницы розданы по колоннам; сказано, где быть стрелкам и где — рабочим, тщательно проверены штурмовые средства: доски, веревки, ломы, топоры.

Пятьсот орудий с фланговых батарей острова Сулины и флотилии де Рибаса весь день громили крепость. Наступила ночь. Суворов провел ее среди солдат и лишь под утро прилег к огню на своем биваке. Но он не спал и лежал, задумавшись, уйдя в себя.

В глубоком молчании его окружала свита — офицеры штаба, ординарцы, адъютанты. Ему подали письмо, полученное от австрийского императора, — оно осталось нераспечатанным. Казалось, ничто не занимало его.

Огонь русских пушек не ослабевал в течение всей ночи.

В три часа утра взвилась первая ракета, и войска стали в ружье.

Рассвет 11 декабря 1790 года вставал в густом, теплом тумане; Суворов точно рассчитал время: отложи он штурм всего лишь на сутки, и туман сделал бы невозможным подъем на береговую крутизну.

Не все начальники колонн заметили во мгле ракету. Но им помогли часы, выверенные по приказу Суворова. Строго по часам и по второй ракете войска приблизились к крепости на триста шагов.

«И лягут все колонны тихо...» Так предписывала диспозиция, и солдаты бесшумно залегли на исходном пункте, а в 5 часов 30 минут по третьей ракете бегом кинулись на штурм.

В то же время, прикрываясь огнем с судов, к крепости подходила флотилия. Полторы тысячи казаков и шесть с половиною тысяч регулярного войска пересекали Дунай на паромах, шлюпках, барказах, небольших лансонах и запорожских «дубах».

Небо было затянуто облаками, и стелившийся низко туман скрывал от противника начальное движение войск. Однако с приближением первых колонн турки



открыли пальбу картечью и ружейный огонь со всего вала. Но это не остановило наступавших, и они стремительно спустились в ров.

Исполняя с удивительной быстротой все предписанное Суворовым, войска в первые же минуты штурма положили основание победы: солдаты прапорщика Гагарина, приставив лестницы, взобрались на вал и овладели бастионом. К этому времени начали свои действия и гребные суда.

Лаяли во рву собаки, и по всей его длине стоял треск отдираемых досок — это ломали палисады. Уже во многих местах к валам были приставлены лестницы, и у их вершин кипели схватки на штыках и саблях. Вспышки выстрелов опоясывали кромку вала, а над домами Измаила лениво взмывал багровый дым.

Впервые Суворов не был в самой гуще боя. С куртины на северной стороне следил он за штурмом. Летучая команда ординарцев доставляла ему донесения и передавала командирам его приказы. Он знал обо всем — о большом и малом — и готов был в нужную минуту послать резерв.

Генерал-майор Кутузов действовал на левом фланге, но был его правой рукою. Со своей колонной он атаковал главный участок обороны Измаила — бастион у Килийских ворот.

Суворов следил за рождением победы.

Он видел согласованные действия колонн и рассыпного строя — самозабвенный порыв русского воинства, которое он только что обучил и послал на штурм.

Суворов знал, что остановить солдат невозможно. Войска почуяли свою силу: они не могли не победить...

И они победили. Уже к восьми часам утра турки были сбиты по всей линии, и русские прочно утвердились на стенах. Не давая противнику передышки, Суворов перенес сражение в город, бросил войска на штурм улиц, домов. Наступая со всех сторон, сжимая кольцо, бились русские за каждую пядь земли, за каждую щель в крепости. Только к вечеру затихли выстрелы, и остатки гарнизона сдались в плен.

Удалось бежать одному лишь турку — он переплыл Дунай на бревне и спасся.

«Крепость Измаильская, — доносил Суворов Потемкину, — которая казалось неприятелю неприступною, взята страшным для него оружием российских штыков».

8

Длинный овальный зал Таврического дворца, похожий на площадь, окруженную двойной колоннадой, вмещал до пяти тысяч человек. Свет хрустальных шаров падал на колонны и ложи и отражался по обоим концам зала зеркалами необыкновенной величины.

От громадных люстр, или паникадил, нескольких тысяч лампад, висевших гирляндами, от бесчисленных свечей и плашек зал, казалось, пылал, и в нем стояла несносная духота. Зимний сад, примыкавший к залу, служил «для прохлады» и уединения. Но и там было душно: он отапливался скрытыми печами, и даже под полом проходили трубы, наполненные кипятком.

Весь цвет столичной петербургской знати был приглашен Потемкиным на бал по случаю взятия Измаила — победы, которую он присвоил одному себе.

Один из присутствовавших на балу современников едко описал появление «светлейшего» на этом празднестве — в алом фраке и епанче из черных кружев, стоившей несколько тысяч рублей: «всюду, где только на мужском одеянии можно было употребить бриллианты, оные блистали. Шляпа его была оными столько обременена, что трудно стало ему держать оную в руке. Один из адъютантов его должен был сию шляпу за ним носить».

Даже у выдавших виды придворных кружились в этот день головы. А гости все прибывали. Сбивалась с ног дворцовая прислуга в потемкинской ливрее — голубой с серебром.

Дворец, в котором все это происходило, был подарен Потемкину Екатериной. «Светлейший» вскоре продал его ей же за 460 тысяч рублей. После взятия Измаила он получил Таврический дворец в дар вторично.

Истинный же измаильский герой — Суворов — ничего не получил.

В семействе его письмоводителя — Куриса — сохранилось предание о том, как ответила Екатерина великому полководцу, просившему наградить войска. По словам предания, она прислала ему всего лишь один георгиевский крест — для вручения достойнейшему. Совет, созданный Суворовым, решил, что эта честь принадлежит ему самому. «Помилуй бог! — возразил он. — Где же нам заслужить такое!.. А вот, господа генералы и офицеры, имею я человечка, так это действительно герой! Этот человек необыкновенно храбро написал мне для подписи бумагу: идти на штурм! А я что? Я только подписал!» — и с этими словами надел на своего письмоводителя георгиевский крест...

На Западе обычно занимались длительной осадой крепостей или блокадой их с моря; русские же применили против мощной крепости противника штурм.

Измаил был взят. Успехи русских войск и флота давно уже смущали недоброжелателей России. Теперь, когда пала сильнейшая турецкая крепость, считавшаяся неприступной, все европейские державы воспылали «любовью» к Турции и принялись ее «спасать».

Русская армия не продвигалась дальше, получив приказ идти на зимние квартиры. Но в Константинополе уже приступили к укреплению столицы, ибо путь на Балканы был открыт.

Султан не хотел мира, не думал отказываться от притязаний на Тавриду и собирался продолжать войну в союзе с Пруссией и Польшей. Прусский король делал последние усилия, чтобы склонить к войне Англию; его агенты изощрались во лжи при всех иностранных дворах.

Иные из них твердили, что Россия угрожает всему свету; другие же — маркиз Лукезини в Бухаресте и барон Якоби в Вене — старались ободрить турок, доказывая, что русская армия вовсе не так сильна.

В марте посланник С. Р. Воронцов писал из Лондона, что не следует верить голландским газетам, будто англо-русская война неизбежна. «Все это не что иное, как прусские выдумки», — уверял Воронцов.

Но «пруссские выдумки» оказались серьезней и пагубней, чем он думал. Глава английского правительства Питт, считавший, что Россия на Черном море не должна

быть слишком сильной, решился на союз с Берлином и снарядил для похода тридцать шесть кораблей.

Тогда Воронцов отправился к Питту.

— Я всеми путями,— заявил он,— буду стараться, чтобы нация узнала о ваших намерениях, столь противных ее интересам; и я убежден в здравомыслии английского народа, в том, что его голос заставит вас отказаться от принятых мер...

Потом он составил и разослал по стране разоблачительные записки. Вскоре в Лидсе, Манчестере и других промышленных городах состоялись митинги. Тысячные толпы осуждали действия правительства, протестуя против затеваемой им войны.

Но Питт делал свое: был издан указ о наборе матросов; спешно наводились справки о финских шхерах и мелях, и в портах снаряжались эскадры для похода в Балтийское и Черное моря.

В Берлин был послан курьер с нотой о том, что Англия решила выступить вместе с Пруссией. А 27 марта членам обеих палат парламента была зачитана тронная речь короля. Георг II потребовал «от верных своих подданных» необходимых средств для увеличения морских сил. Питт выступил с защитой этих требований. Он заявил, что снаряжаемый флот предназначен против России, ибо «необходимо спасти Турецкую империю», и что русских надо заставить отдать туркам Очаков. Но этот предмет спора многим казался не стоящим внимания; некоторые же почтенные лорды, всю жизнь провозившиеся со своими лошадьми и собаками, и вообще не знали, что это за место и почему надо из-за него воевать.

Голоса разделились. Кредиты, требуемые королем на войну, испугали членов парламента; к тому же английское купечество, получавшее большие барыши от балтийской торговли, не хотело нести убытки от этой войны.

Глава оппозиции Фокс резко выступил против Питта, и обсуждение тронной речи растянулось на несколько заседаний. Тем временем набранные силой матросы толпами дезертировали с флота, да и у командиров не было никакой охоты «лезть на неприступный Кронштадт».

В столице стало известно о происшедших в разных городах митингах. Волнения начались и в Лондоне. «Не хотим войны с Россией!» — писал мелом народ на стенах домов.

Словесные бои в парламенте продолжались до 10 апреля. 7-го Питт был так атакован, что «не мог отвечать». 10-го, чтобы не потерять власть, он круто повернул руль и признал себя побежденным. Ему пришлось послать в Берлин второго курьера, чтобы взять свою ноту обратно. После этого он известил Петербург, что Англия более не настаивает на возвращении Очакова туркам, и отдал приказ разоружить флот...

Ища «льготы», русские крестьяне бежали к новым, южным помещикам; но те быстро добивались власти над ними и прикрепляли их к земле.

В «полуденном краю» беглецы не находили «льготы». Здесь крепко нужны были рабочие руки: дворянская пшеница шла теперь к портам Черного моря, приобретенным Россией в победоносной войне.

Край заселялся и оживал. Но беглые закрепощались, а с теми, кто работал «на казну» по найму, поступали не лучше, чем с крепостными. Тревожные слухи носились по Новороссии и Крыму и проникали в Севастопольский порт.

«Беспокойные» люди делали «вредные разглашения» и сообщали «соблазнительные» новости. В народе ходили толки о «воле». Сообщения петербургских и московских газет и в особенности рассказы прибывающих из столицы горячо и по-разному принимались в офицерской военно-морской среде. Командиры узнавали удивительные вещи, которым трудно было поверить: в Петербурге открыто продавались французские революционные журналы, а в «Московских ведомостях» (без всяких пояснений) опубликована «Декларация прав человека и гражданина» — все 17 статей!.. В московском «Политическом журнале» печатались письма из Бордо, Марселя и Лиона — все одного содержания. «Когда обстоятельства не переменятся скоро, — пророчествовали корреспонденты, — то мы пропали». Это был вопль

французской знати, цеплявшейся за падавший феодальный строй.

В № 1-м этого журнала, издававшегося профессором Московского университета П. А. Сохацким, читателя поражала вводная статья. «После многих столетий,— писал ее автор,— 1789 год есть самый достопамятный. Со времен крестовых походов не было такой эпохи, как сия. Тогда вооруженной рукой возвращали святую землю, ныне — святую свободу. Началась эпоха поправления судьбы так называемых низших сословий и ограничения деспотического владычества аристократов...»

Но самым громким из известий внутренней жизни было сообщение о «деле» Радищева, написавшего и напечатавшего книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Об этом подробно рассказывали приезжие. В «сильных выражениях» и «с великою вольностью» автор выступил против самодержавия и помещиков, призывая крепостных убивать своих господ. Одни утверждали, что он напечатал свое сочинение в собственной домашней типографии в Петербурге; другие — что он это сделал в своей деревне и потом будто бы разбросал экземпляры «Путешествия» по дороге, чтобы распространить их таким необычным способом; третьи рассказывали, что петербургские купцы за предоставление им этой книги для чтения платили по двадцать пять рублей в час.

Толков об этом в Севастополе и других причерноморских городах было много. Слухи множились. Потемкин приказывал строжайшим образом их искоренять.

Он не хотел упускать времени.

Усилия англичан и немцев пропали даром: державы не вступили в борьбу за Черное море. Россия могла теперь быстро закончить спор с Турцией, спокойно укрепляясь на отвоеванных древних своих берегах.

Адмиралтейство перевели из Херсона в Николаев, где червь не точил корабли и где им было привольней. Потемкин размахнулся там во всю свою силу. Мысль его шла далеко.

Новая верфь заводилась для постройки большого флота.

Вокруг Николаева росли адмиралтейские поселения, и в них оседали тысячи пришлых людей. Это были куз-

нецы, плотники, литейщики, конопатчики — беглые помещичьи крестьяне, солдаты-инвалиды, матросы, уволенные от службы, — целая армия постоянных адмиралтейских мастеровых.

В посаде Богоявленском было открыто училище земледелия, разбит сад лекарственных растений и начато в огромных размерах соленье мяса для флота.

Потемкин приказал всем поселенцам сеять желуди — разводить близ Николаева корабельный лес.

Его воображению рисовались стопушечные корабли, грозная армада, цветущее парусами море, которое русская армия и флот возвратят родине навсегда.

Победа была близка. Она чувствовалась во всем — в размахе работ, в хозяйственной хлопотливости нового города и верфи, в том, что первыми строителями ее были пленные шведы — союзники турок в этой войне.

## 9

«Считая флот готовым к выходу в море, я сим предписываю тотчас вам выступить по прошествии весенних штурмов...»

Господину генерал-аншефу Каховскому дал я повеление снабдить вас таким числом пехоты, какое для флота будет потребно. Я вам препоручаю искать неприятеля, где он в Черном море случится, и господствовать там, чтобы наши берега были им неприкосновенны...»

Приказ Потемкина Ушаков получил в начале июня. Севастопольская эскадра была готова. Оставалось подготвить к кампании порт.

Адмиральская канцелярия помещалась в небольшом каменном здании на берегу Северной бухты. Делопроизводство велось в ней немалое, и на столах громоздились томы «входящих и отходящих дел».

Федор Федорович любил порядок во всем и деловую переписку вел обстоятельно: аккуратно и пространно отвечал на письма, и случалось, что одному и тому же лицу писал по нескольку писем в день. Все бумаги он приказал заготавливать с копиями и подробно записывать их в журналы; кроме того, завел особую запись — «Новости», отмечая местные происшествия и политические слухи, залетавшие в Севастопольский порт.

Мичман Егор Метакса помогал ему в этом деле. Он был уроженец острова Крита, в числе многих греческих выходцев поступил в Корпус чужестранных единоверцев, основанный Екатериной II в Петербурге для иностранцев православного вероисповедания, и, окончив его, был произведен в мичманы с переводом на Черноморский флот. Присланный на эскадру Потемкиным, он обратил на себя внимание Ушакова. Мичман был умен, начитан, отличался безупречной выдержкой, свободно говорил по-турецки и знал английский и французский языки.

В канцелярии было душно. Накаленный добела город лежал за окнами; казалась горячей даже окаймлявшая его синева. Но синева эта освежала, и тянувший с воды ветерок колебал желтое пламя свечи, горевшей на столе перед мичманом. Сургуч дымился в его руке, и червонный сгусток, мгновенно твердея, схватывал бумагу. Метакса, готовя к отправке почту, запечатывал пакет.

Федор Федорович просматривал ведомость провианта и, водя по ее широким полям пальцем, говорил Доможирову, следившему за его рукой:

— Сухарей, рыбы и лука достаточно; булгура<sup>1</sup> и оливок мало... Закупи немедленно!.. Ты, Дмитрий Андреевич, теперь капитан над портом, следовательно, в мое отсутствие отвечаешь за все. Продовольствие для флотских служителей должно быть улучшено и казармы достроены непременно, а то люди совсем измучились, зимуя на судах.

— Достроить можно, — прогудел Доможиров, — только гвоздей у меня нет ни на корабельное дело, ни на казармы.

— Гвозди будут. Из Херсона пишут, что уже высланы. Но ежели окажутся негодные, ржавые, — отошлешь назад!.. — Федор Федорович помолчал, вспоминая, о чем еще нужно сказать Доможирову, и добавил: — По ходатайству моему за Еникальскую победу присланы наградные. Раздай перед выходом в море: обер-офицерам — годовые порционные, а нижним чинам — по рублю...

---

<sup>1</sup> Булгур — крупномолотая пшеница, заменяющая рис (турецк.).



Метакса с пакетом в руках подошел к Ушакову.

— Прикажете отправить на казачьей почте или о курьером его светлости?

— Ни тем, ни другим способом...— И адмирал посмотрел мичману в глаза.

Он остался доволен им, ибо на смуглом лице офицера не отразилось ни малейшего любопытства. Тонкий, с горбинкою нос и вздернутая верхняя губа придавали его облику девичье, наивное выражение, но непринужденность, с которою он держался, и умный взгляд его черных, навывкате глаз говорили, что Метакса вовсе не прост.

— Вы послали за Даниловым? — спросил Федор Федорович.

— Тотчас, как вы приказали.

— Почту в Николаев доставит Данилов, и впредь старайтесь с верной оказией ее отправлять.

— Есть,— коротко отозвался Метакса и, ни о чем больше не спрашивая, направился к своему месту, хотя было неясно, почему почту адмирала должен возить флаг-капитан.

Федор Федорович поглядел ему вслед и снова заговорил с Доможировым:

— Артиллерию должны нам доставить. Примешь, накроешь брезентом и поставишь в сараях на берегу... Возродились Липецкие заводы,— вставил он с усмешкою.— Теперь лучше будут снабжать пушками флот.

— Давно пора,— сказал Доможиров.— В казенных заводах проку-то больше. На Баташевских небось только купцу нажива, а делу обман...

Федор Федорович взял лежавший перед ним листок бумаги и повертел его.

— Пишут мне, что американцы придумали способ для увеличения прочности кораблей и будто в Филадельфии уже много таких судов построено.

— А в чем способ?

— В солении корабельного дерева. Ты о таком не слыхал?

— Нет!.. — И Доможиров даже смутился.— Действительно!..— пробормотал он.— Соль пропитывает шпангоуты и обшивку и сберегает корабль от гниения. Да ведь это — дело известное!..— воскликнул он спохватив-

шись.— Астраханские купцы как новое судно построят, так всегда стараются его несколько раз под соль употребить...

Отворилась дверь, и вошел Данилов.

— Явился по вашему приказанию! — отчеканил он перед Ушаковым.

Федор Федорович медленно вытянул на столе руки и сложил их в замок.

— Пользуясь поездкою вашею в Николаев, поручаю вам доставить туда почту к приезду его светлости.

— Отправиться вместе с курьером?!

— Нет, в отдельности... Недоброжелательство ко мне соединено с великою тонкостью. Все мои письма вскрываются, и происходит пер-люст-рация!.. Я намерен положить этому конец!..

— Но кто смеет?! — недоуменно протянул Данилов.

Федор Федорович усмехнулся и пожал плечами.

Данилов прищурился, и вдруг лицо его преобразилось, словно невидимая рука убрала с него обычное, присущее ему выражение и заменила другим.

Вжав голову в плечи, перед Ушаковым стоял крижистый, со злыми, медвежьими глазками человек, удивительно похожий на обер-интенданта Афанасьева, занимавшегося тайным просмотром частных и служебных бумаг.

Мгновение — и Данилов, вновь преобразившись, принял свой прежний вид и улыбнулся лукаво и выжидательно.

Федор Федорович расхохотался.

— Преудивительно!.. До чего искусно изображаете вы некоторых флотских особ!..

— Это у меня еще с Херсона осталось.

— Вас, должно быть, по-прежнему к театру тянет?

— Тянет, Федор Федорович, — признался Данилов. — И даже мысль имею: со временем устроить офицерский театр.

— Что ж, я думаю, господам офицерам иногда развлечься полезно будет. К тому же добрые пиесы могут воспитывать воинский дух... Ну вот, кончим войну, и беритесь за дело; я согласен. А устроить можно в Менкензиевом доме, во дворце. — Тут взгляд Ушакова скользнул по лежавшей за окнами синеве и задержался

у причалов.— Я вижу, «Навархия» пришла... С нею еще какое-то судно...

— Сенявин вернулся не один,— пояснил Данилов,— с ним турецкая шебека — его приз.

Ушаков забарабанил по столу пальцами.

— Отчего же он не является, не рапортует?

— Не могу знать, Федор Федорович.

— Немедля пришлите его ко мне!..

Когда Данилов вышел, Ушаков взял журнал и, сведя брови, начал шумно его перелистывать.

Доможиров поспешно забрал свои бумаги и пересел за другой стол...

Поведение Сенявина не на шутку огорчало Федора Федоровича. Это был единственный офицер, с которым у него не ладилось, и притом давно уже — в течение пяти с лишним лет.

Началось с Войновича, с первой зимы в Севастополе, когда Сенявин был его флаг-офицером. Уже тогда, быть может, подражая Марко Ивановичу, он досаждал Ушакову, давая волю своему озорству. Но время мало что изменило. В ином, скрытом, более благопристойном, виде это осталось, и между адмиралом и командиром держался постоянный холодок.

Это тяготило Федора Федоровича, и он испытывал чувство досады, особенно потому, что считал строптивого офицера одним из самых способных своих учеников.

Любимец Потемкина и в прошлом — его генеральс-адъютант, Сенявин старался как можно реже попадаться на глаза Ушакову. Но Федору Федоровичу не много требовалось, чтобы распознать человека. В том, как Сенявин распоряжался на палубе, как держал себя с экипажем «Навархии» и как заботился о своем фрегате, сквозили повадка и выучка Ушакова, но ученик всячески это скрывал.

Тут-то и был корень всего, хотя Сенявин ни за что бы в этом не признался. Задор и упрямство мешали ему кому бы то ни было подчиняться, и он делал вид, что ни у кого не учится и растет сам по себе.

«Петушится, молод! — думал Ушаков. — А я старею, и природы у нас вовсе разные... Ну, ничего, — утешал он себя, — с годами пройдет...»

И он терпеливо ждал, готовый простить многое, кроме одного: ослушания. А дело дошло и до этого: совсем недавно Сенявин отказался выполнить приказ...

Федор Федорович перестал перелистывать журнал и задумался, заложив пером страницу. На ней начиналась запись о «нарушении долга службы» Сенявиным, растянувшаяся на несколько листов...

Зимой Ушаков был назначен старшим членом Адмиралтейского правления и таким образом сделался главным начальником всего Черноморского флота. Это прибавило ему хлопот.

В начале апреля 1791 года он приказал послать некоторое число матросов с Севастопольской эскадры в Таганрог и Херсон на строившиеся там фрегаты. При этом он требовал, чтобы все люди были «исправные и здоровые». Но Сенявин списал со своего корабля к отправке раненых и больных. Федор Федорович велел переменить матросов, но приказание его исполнено не было. У себя в доме, в присутствии офицеров, он повторил свой приказ Сенявину, но тот ответил, что других людей не пошлет.

Федор Федорович был взбешен. Поступок командира и оскорбил его и озадачил. С таким нарушением дисциплины он столкнулся впервые. Пришлось подробно написать обо всем Потемкину. Сенявин же ушел в крейсерство, так и не пожелав выполнить приказ...

Размышляя об этом, Федор Федорович все больше сдвигал брови. Им овладели горькие мысли о молодежи, о том, что ее надо держать во как! — иначе толку от нее не добьешься. Тут он вспомнил о своем племяннике — тоже Ушакове и тоже Федоре, только что принятом на эскадру флотским учеником.

«Ведь вот, — думалось ему, — борода еще не растет, а спеси хоть отбавляй, и к чарке норовит приложиться... Поддержать бы его на хлебе и воде!..»

— На хлебе и воде!.. — свирепея, произнес он вслух и захлопнул журнал.

— Ваше превосходительство! Разрешите доложить о своем прибытии!..

Федор Федорович не заметил, как вошел Сенявин. Рослый и ладный, с темным от загара лбом, пухлыми губами и ямочкой на подбородке, он рапортовал

Ушакову, уставив на него ясный и чуть насмешливый взгляд:

— Вверенный мне фрегат «Навархия» и вся команда состоят благополучны...

Федор Федорович выслушал, сжав губы и выпятив подбородок; потом строго спросил:

— Почему не явились тотчас по прибытии в порт?

— Только ошвартовались!—сделав наивные глаза, ответил Сенявин.

— Гм... Допустим... Вы, кажется, кого-то привели с собою?

— Захвачено турецкое судно; на нем пленные и груз.

— Столкновений с противником не имели?

— Одно, и довольно жаркое. Взятое судно вывели из-под самых стен крепости.— Взгляд Сенявина загорелся, и он с увлечением заговорил:— Шебека стояла под прикрытием двух фрегатов. Мы врезались как раз в середину и заставили ее следовать за собой. Турки гнались за нами, но стреляли худо, боясь попасть в свое судно. Мы же лавировали и так и этак и, надо сказать, изрядно намяли им бока...

Федор Федорович усмехнулся. Он невольно залюбовался Сенявиным, но сейчас же поймал себя на этом и с прежней строгостью в голосе спросил:

— Кораблей в Анапе много?

— Только мелкие суда и фрегаты.

— Что, опять войска подвозят?

— Не приметил. А город сейчас в осаде: генерал Гудович начал штурм крепости с суши. Когда мы проходили, там гремел бой.

— Славно!— заметил Федор Федорович, по привычке потирая руки.— Анапа — узел, связующий Константинополь с кавказскими племенами. Пора его разрубить!

— Флот противника спешит на помощь Анапе,— сказал Сенявин.— О сем толкуют пленные, но я не мог допросить их как следует за плохим знанием языка.

— Это важные вести!..

Лицо Федора Федоровича окончательно прояснилось. Открытый взгляд Сенявина был ему явно приятен и напоминал взгляд племянника, которого он собирался

посадить на хлеб и воду. Чувства отеческой, кровной привязанности и еще не забытой обиды боролись в душе Ушакова, и первое готово было одержать верх над вторым.

— Вы — способный, храбрый офицер, — тихо сказал он, — один из лучших моих командиров. Тем более при-  
скорбно для меня неповиновение ваше. Вы знаете, что я имею в виду?

Сенявин опустил голову.

— Подумайте! — продолжал Федор Федорович. — Какой я буду начальник флота и что смогу исполнить, если подчиненные осмеливаются так меня оскорблять?

Сенявин еще ниже опустил голову. Потом быстро вскинул ее. Подбородок его дрожал, в глазах стояли слезы.

— Федор Федорович! — воскликнул он. — Да ведь я... Сгоряча у меня это!.. И притом я о своем корабле старался!..

— А о флоте не думали...

— Ну куда мне хворые матросы?! Что с ними де-  
лать?

— Для хворых есть госпиталь. Но не будем о сем рассуждать!.. — И Федор Федорович взял кру-  
че: — Я был вынужден довести обо всем до сведения его светлости и просить вашего примерного наказа-  
ния.

Сенявин вспыхнул.

— Что ж! — отрывисто выговорил он. — Наказывай-  
те!.. Впрочем, его светлость, может, и не найдет меня виновным... — Он помолчал и затем быстро добавил: — Прикажете ввести пленных? Они тут.

— Пожалуй, — сухо ответил Федор Федорович.

Сенявин, придерживая шпагу, рванулся к порогу.

— Пленных к адмиралу! — крикнул он в коридор, с сердцем распахивая дверь.

Караульный матрос ввел пленных с захваченной шебеки. Их было двое: шкипер — плечистый, кривоно-  
сый турок с толстыми, будто из черного сукна, бровя-  
ми, и старый боцман-грек, припадавший на одну ногу, заросший до глаз рыжей курчавой бородой.

Грек с любопытством оглядывался, вертясь и шар-  
кая по полу рваными постоломи. Турок же как вошел,

так и замер, увидев перед собой русского адмирала — грозного «Ушак-пашу».

— Мичман Метакса! Учините допрос! — приказал Федор Федорович.

Мичман заговорил по-турецки, спросил у шкипера его имя, как называется судно, и быстро все записал.

— Узнайте, зачем он ходил в Анапу и какой у него груз, — сказал Федор Федорович.

— Шкипер говорит, — перевел Метакса, — что шел из Стамбула к Самсуну, а в Анапе очутился за противным ветром. С собой же имеет: красное вино в бочках, бумажные нитки, одеяла и крошеный табак.

Тут пленный боцман закрутил головой, замахал руками и стал выкрикивать что-то по-гречески и по-турецки. Метакса с озабоченным видом выслушал его и доложил:

— По словам пленного, шкипер показал ложно. В Анапу послан он с тайною целью — для доставки денег предводителю немирных чеченцев Мансуру... Боцман — архипелажский грек. На турецкое судно попал неволею. Семью его вырезали янычары, а ему самому повредили ногу... Молит, чтобы разрешили ему у нас служить...

Турок понуро слушал русскую речь, понимая, что попал в беду, из которой трудно выбраться. Голова его была замотана пестрою тряпкой, шаровары — в грубых, разноцветных заплатках.

— Растолкуйте пленному, — сказал Федор Федорович, — что заpiresательство весьма отягчит его участь... Что известно ему о намерениях капудан-паши?

— В Буюк-дере<sup>1</sup>, — глухо ответил турок, — я видел сорок военных судов; они готовились идти в Трапезонт, а оттуда к Анапе.

— Сколько было кораблей и сколько фрегатов?

Турок пожал плечами.

— Я не считал...

Но грек снова замотал головой и заговорил с такой

---

<sup>1</sup> Буюк-дере — загородный иностранный квартал в Константинополе на европейском берегу Босфора и место стоянки султанского флота.

быстротою, что Метакса поморщился, сиюсь не пропустить что-либо из его слов.

— Турецкий флот,— перевел он,— усилен эскадрами алжирцев, тунисцев, триполийцев и дульциниотов<sup>1</sup>. Начальствует ими знаменитый алжирский паша Саид-Али...

— Корсарские эскадры?! — насторожился Федор Федорович.— Какое же имеют они назначение?

Метакса перевел вопрос боцману и, получив ответ, пояснил:

— Не считая себя способными устоять против нашей артиллерии, турки решили действовать абордажами и приготовили для сего пиратскую эскадру с великим числом людей.

— Что скажет по этому поводу шкипер?

— Он добавляет, что Саид-Али поклялся султану посадить русского адмирала в клетку и привезти в Стамбул.

Федор Федорович засопел и процедил сквозь зубы:

— Спросите: верят ли этому турки?

— Турки,— уклончиво ответил шкипер,— большей частью желают мира, хотя и готовятся к войне.

— Для чего же они готовятся?

— Хотят попробовать своего счастья,— со вздохом произнес турок.

— Ну, пусть попробуют!.. — сказал Федор Федорович.— Прекратите допрос, мичман!.. Боцмана,— приказал он Сенявину,— приглядысь к нему, зачислить на службу, а сейчас обласкать его — он заслужил...

Когда пленных вывели, Ушаков встал и прошелся по канцелярии.

— Известия нам полезны,— сказал он с довольным видом.— Намерения противника мы тотчас упредим!.. Мичман Метакса! Заготовьте приказ об укомплектовании флота войсками, а именно — солдатами Севастопольского пехотного полка... Они люди отборные, отлично практикованные; ежели абордаж и случится, отпор дадут славный... Дмитрий Андреевич! — обратился он к Доможирову.— Изволь выдать им морской провиант!..

---

<sup>1</sup> Дульциниоты — мореходы албанского побережья.



Он подошел к окну, поглядел вдаль, где белели паруса эскадры, и проговорил, в сущности ни к кому не обращаясь:

— Голландский адмирал Ван Тромп<sup>1</sup> носил на гот-мачте своего корабля метлу в знак того, что очистит море от неприятеля. Украшать метлою свой корабль не намереваюсь, но клятвенно обещаю обезопасить русские воды и берега!.. Саид-Али — корсар знаменитый. Однако раньше времени хвалиться не следует; сему в истории много примеров. Так что, кто кого в клетку посадит, сказать вперед мудрено!..

10

Турецкий флот опоздал к Анапе. 25 июня Гудович взял ее штурмом, захватив анапского пашу и предводителя горцев — «шейха» Мансура. Узнав об этом, турки бежали также из Суджук-кале<sup>2</sup>.

Спустя два дня русские нанесли последний удар противнику на Дунае. Армия под начальством Репнина разбила турецкие войска при Мачине, после чего в Галаце открылись мирные переговоры. Турция просила мира, и Репнин был готов пойти на уступки, лишь бы скрепить договор до приезда Потемкина и вырвать у него честь окончания войны.

Но турки не торопились и, по своему обыкновению, затягивали время. Они считали, что для них не все еще потеряно, пока цела их последняя опора — сильный султанский флот.

А он держался у крымских берегов, готовясь высадить десанты либо нанести удар русским военно-морским силам и этим совершенно изменить условия, которые Порте предстояло подписать...

Десятого июля с севастопольских высот Ушаков заметил турецкую эскадру. Через несколько часов он уже снялся с якоря и, выйдя на рейд, взял курс к мысу Айя.

Пройдя его на другой день, он увидел турок во

---

<sup>1</sup> Ван Тромп, Мартин (1594—1653) — голландский адмирал, главнокомандующий нидерландским флотом.

<sup>2</sup> Суджук-кале — позднее Новороссийск.

главе с капудан-пашою и Саидом-Али алжирским. Красный флаг с полумесяцем развевался на флагманском корабле корсара. Всего таких флагов было девять. Девять пиратских адмиралов должны были возвратить Порте военное счастье, истребив русский флот.

Турки находились на ветре и шли навстречу под всеми парусами. Их передовая эскадра отделилась, намереваясь кинуться на абордаж.

Но Ушаков искусным маневром уклонился от боя, не желая принять его, будучи под ветром. Когда же ветер переменился и русские корабли построились для атаки, турки стали уходить.

Ушаков погнался за ними и преследовал их в течение четырех суток. Он несколько раз начинал спускаться на неприятеля, но турки не дали себя атаковать. Упорно уклоняясь, они уходили все дальше, к Варне, и наконец вовсе скрылись из виду. К этому времени некоторые русские суда отстали, у других же из-за крепкого ветра и зыби обнаружилось повреждение. Пришлось возвращаться в Севастополь и стать на ремонт.

Двадцать девятого июля 1791 года Ушаков снова вышел в море. Имея семь кораблей, одиннадцать фрегатов, двадцать небольших судов и один брандер, он направился в сторону Варны с твердым намерением обнаружить противника и уже не выпустить его из рук.

Флаг контр-адмирала нес корабль «Рождество Христово». На его батарейных палубах стояли восемьдесят четыре пушки, и он считался лучшим в эскадре ходяком.

Вторым по рангу был «Иоанн Предтеча» — о семидесяти четырех пушках, переделанный из призового турецкого «Мелеки-Бахри». Остальные четыре корабля имели по шестьдесят шесть орудий. Это было немного против армады, которую собрал капудан-паша.

Тридцать первого июля утром показался в дымке болгарский берег. Определившись, Ушаков узнал, что находится недалеко от Варны. Вскоре обозначились очертания мыса Калиакрии. Турки возвели на нем батареи, защищавшие бухту, удобную для стоянки фло-

та. Это было одно из обычных убежищ неприятельских эскадр.

Русские корабли в походном строю трех колонн взяли курс к берегу. В час пополудни показалась белая маячная башня Калиакрии, и Ушаков посмотрел в подзорную трубу.

Лес мачт покрывал широкое пространство бухты. Противник стоял на якоре в полном сборе и силе: капудан-паша Гуссейн, Саид-Али и его алжирцы, тунисцы, триполийцы...

Порыв ветра коснулся лица Ушакова. Ветер был северный, береговой.

Год назад под Анапой, обнаружив турецкую эскадру, Ушаков предпринял было такой маневр, но ему помешало мелководье. Здесь же, у Калиакрии, была достаточная глубина для его кораблей.

Не теряя времени на перестройку, чтобы обеспечить быстроту и внезапность, Федор Федорович приказал эскадре в том же строю трех колонн идти к берегу, отрезая от него вражеский флот.

А он уже виден был невооруженным глазом. Уже различалась серая полоска берега с живой кромкой прибоя и толпящимися повсюду турками — экипажи противника были почему-то на берегу.

Командир «Рождества Христова» капитан второго ранга Ельчанинов подошел к Федору Федоровичу.

— У турок сегодня праздник рамазан-байрам. Едва ли у них будет охота сражаться.

Ушаков развел руками.

— Ничем не могу помочь. Им придется сражаться или бежать.

— Ветер дует с берега... — помолчав, произнес Ельчанинов.

— Как видите.

— А мы идем под батареи...

— Правильно.

— Стало быть, идем добывать ветер?

— Стало быть так, — сказал Ушаков.

Было три часа дня. Турки поняли грозившую им опасность.

Русский флот приближался под всеми парусами,

без малейшего колебания, в строю трех походных колонн.

Короткие тупые удары сотрясли воздух — батареи Калиакрии открыли огонь по эскадре.

Но Ушаков, миновав линию, на которой располагались суда противника, устремился между берегом и неприятельским флотом. Пройдя под выстрелами батарей, он выиграл ветер и, отрезав турок от берега, получил возможность их атаковать.

Бывшие на суше матросы кинулись к шлюпкам, спеша попасть на свои корабли и фрегаты. Смятение охватило командиров турецких кораблей. Думая лишь об одном: как бы уйти с попутным ветром в море — они рубили якорные канаты и второпях ставили паруса.

Восемнадцать больших кораблей, семнадцать фрегатов и сорок три мелких судна теснились в беспорядке. Два корабля сошлись с треском и скрипом: на одном свалилась бизань-мачта, на другом переломился бушприт.

В то же время множество сигналов появилось на всех брамстенгах у турецких адмиралов, и последовали пушечные выстрелы с их кораблей; они означали строжайший выговор и требование восстановить порядок; но сделать это было трудно: Ушаков уже спускался на турок, оказавшихся в невыгодном, подветренном, положении, принуждая их принять бой.

Капудан-паша, бежав с эскадрой под ветер, строил линию то на левый галс, то на правый. Твердого боевого управления у турок не было. Видя их замешательство и стремясь, как всегда, нанести удар флагману, Ушаков пошел на него со своими тремя колоннами. Тогда руководство боем у турок взял в свои руки Саид-Али.

Уйдя вперед с отдельной эскадрой и выстроив ее на левом галсе, он увлек за собой остальные суда, в том числе и судно капудан-паши.

Турецкий флот растянулся волнистой линией, но это был уже некоторый боевой порядок.

Ушаков также построился параллельно противнику

и приказал атаковать его с предельно возможной быстротой.

Между тем Саид-Али, шедший в авангарде неприятельской линии, отделился. С двумя кораблями и двумя фрегатами он уходил все дальше, стремясь выиграть ветер, и, обогнав головные суда русского флота, поставил их в два огня.

Ушаков разгадал маневр и решил лично сразиться с алжирским пашою. Он вышел из линии и пустился в погоню, обгоняя передовые свои корабли.

По его сигналу весь русский строй сомкнулся и последовал за своим адмиралом.

Впереди Ушакова выходили на ветер четыре корсарских судна. Но корабль «Рождество Христово» был отличный ходок. Расстояние между ним и алжирским флагманом быстро уменьшалось. Ушаков настиг Саида-Али, обошел его с носа и загородил ему дорогу. И тотчас в упор, с расстояния полукабельтова, грянул борт русского корабля.

Начав поединок, Ушаков сделал сигнал своим командирам: «Подойти на самую ближнюю дистанцию и атаковать соответствующие суда!»

Хорошо понимая, какое значение имеет Саид-Али для турецкой эскадры, Ушаков напал на судно корсарского флагмана, громя его непрерывным огнем.

Огромный корабль замер, утратив живость движений, колыхая над морем громаду своих парусов. Атакованный с носа, он мог отвечать только из носовых орудий, в то время как против него действовал целый корабельный борт.

Алжирцы — те, что были предназначены для абордажей, — толпились на деках, ища спасения от русской картечи и ядер. Они криком своим заглушали слова команды и мешали действию батарей.

И тут с «Рождества Христова» увидели: на верхнем рее фок-мачты алжирского корабля появился матрос; он держал в руке молоток и колотил им по флагштоку. Это Саид-Али приказал прибить флаг гвоздями, чтобы команда не могла его спустить.

Ошеломляя противника быстротой, Ушаков двинулся с места, подошел под корму алжирца и дал продольный залп. Золоченая корма рассыпалась вдребез-

ги, как стеклянная; бизань-мачта рухнула со всеми парусами; полетела в воду форбом-брам-стенга и с нею — прибитый гвоздями флаг.

Верхняя палуба корабля была хорошо видна Ушакову. По ней ползали раненные; ее затягивало дымом, и матросы метались по ней, сбивая комендоров с ног.

— «Капудание»!..— сказал Ельчанинов, глядя на выведенную по корабельному борту надпись, и обратился к Федору Федоровичу: — Это самый лучший корабль неприятельской эскадры.

— Наименование несчастливое,— ответил Ушаков сквозь зубы.— Один «Капудание» уже истреблен мною в минувшем году.

— Ваше превосходительство! Поглядите!..— воскликнул Ельчанинов, указывая на корабль противника.

Высокий смуглый человек в белом тюрбане и шелковой яркой одежде появился на юте «Капудание». Лицо его было искажено страхом; одною рукой он сжимал саблю, в другой держал пистолет.

Это был корсарский адмирал Саид-Али, поклявшийся султану привезти «Ушак-пашу» в клетке.

Лицо и шея Федора Федоровича стали багровыми.

— Саид-бездельник! — прокричал он изо всей силы.— Я отучу тебя давать обещания!..— и погрозил кулаком.

Уже заряжали орудия, сыпали на затравки порох. Корабль «Рождество Христово» готовился к новому залпу. Но избитый, исковерканный «Капудание» уклонился под ветер и спасся от нового удара; два алжирских корабля, шедшие следом, заслонили его.

Первый из них был под вице-адмиральским флагом. За вторым в кильватер шли два фрегата: четыре корсарских судна спешили на помощь Саиду-Али.

Ушаков перенес огонь на вице-адмирала и посмотрел на море.

Весь флот его был в движении, согласном и величественном, как на маневрах. Он палил из всех — больших и малых — пушек, атакуя волнообразный турецкий строй.

Ближе всех к противнику был арьергард под коман-

дой Пустошкина. Не так близко, но вся в молниях залпов держалась «Навархия» Сенявина. Стремительно шел в атаку «Св. Павел»; и яростно разряжал свой борт корабль «Мария Магдалина» — им командовал бригадир Голенкин, уже показавший себя в предыдущих боях.

Ушаков усмехнулся. Он видел, как теснят его корабли турецкую линию, как она уваливается под ветер, все больше расстраиваясь и ломаясь. Он знал, что у турок слишком мало матросов, чтобы управиться с пушками и парусами, так как часть экипажей осталась на берегу.

Но ему самому угрожала опасность: алжирский вице-адмирал, пройдя вперед, открыл по нему огонь из своих кормовых орудий; второй турецкий корабль выдвинулся у «Рождества Христова» с левого борта, а два фрегата легли против правого. Ушаков был почти окружен.

И он начал бой один с четырьмя судами. Поражая их метким прицельным огнем и не давая им развить атаку, он сигналом приказал подойти к месту сражения трем своим кораблям.

«Иоанн Предтеча», «Александр Невский» и «Феодор Стратилат» поспешили исполнить сигнал флагамена. Но когда они подошли к нему, все четыре судна противника были уже сбиты и отступали за линию, открыв алжирского пашу действию русского огня.

Корабль «Рождество Христово» ринулся в этот прорыв и врезался в середину вражеского флота, ведя огонь на оба борта, громя «Капудание» и ближайшие к нему суда.

Этим маневром турецкий строй был окончательно нарушен и спутан, ибо русская линия к этому времени вконец стеснила и смешала неприятельские корабли.

Они укрывались один за другим, сами поражали себя своими выстрелами и кучей бежали под ветер. Впереди спасался бегством отряд алжирского вице-адмирала. Его преследовали «Иоанн Предтеча», «Александр Невский» и «Феодор Стратилат».

Турецкий флот был окружен. Его корабли, прорываясь, уходили на буксирах гребных шлюпок, и

каждый из них подставлял русским залпам свою корму.

Картечь и ядра били по ним, как по густому лесу. Турки отстреливались наугад, в дыму и сумятице, а русский флот, сомкнув дистанции между судами, гнал и поражал их до самой ночной темноты...

Только случай избавил капудан-пашу от полного разгрома и плена: внезапно наступивший штиль помешал Ушакову захватить турецкие суда.

В полночь снова задул ветер, и русские возобновили погоню. Но у турок были «скорые ноги». К утру с са-лингов можно было разглядеть лишь верхушки парусов в стороне Босфора.

Крепкий ветер и зыбь заставили Ушакова стать на якорь у мыса Эминé...

Это произошло в тот самый день, когда верховный визирь в Галаце решил подписать предварительные условия мира. Они были не слишком тяжелы для турок, ибо ни та, ни другая сторона не знала еще, что турецкий флот разбит.

А он разбежался к анатолийским и румелийским берегам, рассеялся по морю. Капудан-паша, боясь гнева султана скрылся в неизвестном направлении, и турки потом долго не могли его отыскать.

Одна лишь алжирская эскадра достигла Константинополя. Она пришла ночью после сражения. Пушечная пальба разбудила султана: «Капудание», разбитый, с простреленными парусами, подавал сигналы бедствия.

И столицу охватил страх.

Султан отправил в Галац гонца, приказывая визирю поспешить миром. В Стамбуле ожидали появления «Ушак-паши» на Босфоре. И у него действительно такой план был.

Отстоявшись у мыса Эминé и выслав крейсерские суда для поиска у побережья, он быстро исправил повреждения. Потери его были невелики: семнадцать убитых и двадцать семь раненых; турки же опять, как и в предыдущем сражении, потеряли больше двух тысяч человек.

Получив от пленных известие, что алжирские корабли будто бы укрылись в Варне, Федор Федорович



решил прежде всего покончить с ними, а затем, войдя в Константинопольский пролив, истребить оставшийся турецкий флот.

Восьмого августа Ушаков появился в виду Варны. Навстречу ему от берега отошли два судна. Но турки не бежали, а напротив — приближались, делая какие-то знаки. Подойдя к флоту, они передали Ушакову известие о том, что русский главнокомандующий и великий визирь уже подписали мирные статьи.

Потемкин опоздал всего на сутки. Он прибыл к армии 1 августа, узнал о заключении Репниным договора и немедленно разорвал его.

Найдя условия слишком мягкими теперь, когда спор о Черном море был решен Ушаковым, он потребовал начать переговоры сызнова и, между прочим, заставить Порту уплатить двенадцать миллионов пиастров частями в течение четырех лет.

Он считал, что с турками нужно обойтись суровее.

Переговоры возобновились. Тянулись они долго. Их вел канцлер Безбородко. Только 29 декабря в Яссах был заключен мир.

Россия прочно утвердилась на побережье Черного моря. К ней отошли земли между Днестром и Бугом, Гаджибей и Очаков. Порта целиком признала Кучук-Кайнарджийский договор и отказалась от всяких притязаний на Крым.

Мир был для турок желанным и как нельзя более своевременным. Незадолго до его заключения один из русских резидентов в Константинополе писал: «...весь народ вздыхает о мире с Россией; оный бы уже давно взбунтовался, но счастье султанское, что имеет строгих и расторопных людей и начальников, а особливо капитан-пашу, янычар-агу и стамбул-эфендия, которые знают [как] удерживать народ и удовольствовать его. Султан с фаворитом своим Кучюк-Гусейном занимаются приготовлением доналма, или публичного праздника и иллюминации, который дан будет по случаю избавления от родин султанши. Народ поговаривал, что этот праздник иметь будет двойную радость, ибо надеются, что в то же время заключен будет мир...»

«БЛАГОПОЛУЧНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ»

Среди такого блеска славы,  
Побед, которым нет числа,  
Во узах собственной державы  
Россия рабства дни влекла.

В. Капнист

1

Осенью 1791 года, на пути из Ясс в Николаев, внезапно умер Потемкин. Его имущество, находившееся в одном только Петербурге, было оценено в «2 611 144 рубля и 1 копейку с половиною» и по просьбе наследников куплено у них казною; стоимость же всей недвижимости «светлейшего» определялась более чем в 50 000 000 рублей.

Для Екатерины II это была колоссальная утрата; для государства — несравненно меньшая. Потемкин действительно придумал много полезного, но числилось за ним и немало «тиранских» дел. К числу их относилось отрешение от должности доктора Самойловича. В течение двух лет заведовал этот герой-патриот большим Витовским госпиталем (в селе Богоявленском, вблизи Николаева). «Пребывало на руках моих,— писал он в своем «Донесении о службе»,— 16 тысяч больных военнослужащих, тягчайшими болезнями одержимых, из коих выздоровело 13 824 человека». Это был очень большой процент.

И все же его отставили. Он попросил «переменить» в госпитале «нерадивого» аптекаря, но Потемкин приказал уволить самого Самойловича, так как за аптекаря просили его «сильные» друзья.

«Без всякой моей вины отрешен от места,— жаловался этот замечательный человек императрице в ноябре 1790 года,— лишен способов к пропитанию, принужден остальные мои дни влачить без помощи и упования и, лишась всей надежды служить, полагаю себя аки умершего, а со мною погребенными безвременно все труды мои, всю дражайшую науку мою, все стяжания знаний моих...»

Место Потемкина при Екатерине занял недалекий Платон Зубов. Храповицкий называл его «дуралеюшкой». Зубов сделал Мордвинова «главным командиром черноморских флотов и портов», и Ушаков, хотя и сохранивший старшинство в Адмиралтействе, попал в подчинение к старому своему врагу.

Но Мордвинов сидел в Херсоне,—это избавляло Федора Федоровича от прямых с ним столкновений. В Севастополе ему было спокойно, и он целиком отдался новому делу — стал расширять город и порт.

Ушаков хлопотал, распоряжался, строил все новые и новые планы. На всех бумагах он ставил теперь помету: «Благополучный Севастополь», словно подчеркивал ею, что завоевал этому краю покой.

В его «Журнале командующего флотом за 1790—1791 гг.» стояло: «Во все оное время ни одно и малейшее судно не потеряно, и в руки неприятеля из оного флота ни один человек не достался».

Это был славный итог, как бы служивший заветом, что так надо воевать и впредь...

Слухи о «французских делах» все чаще доходили до Федора Федоровича, причем распространялись они в Севастополе не из газет. Привозили новости главным образом приходившие из плавания офицеры и матросы, а также лица, прибывшие из Петербурга. «Беспокойные люди» упорно толковали о «вольности», и число этих людей изо дня в день росло.

Новый, 1792 год начался неприятным для Ушакова делом, так как он вынужден был содействовать аресту такелаж-мастера Аржевитинова, которого уважал и любил.

В один из январских дней к Ушакову явился обер-интендант Афанасьев и, сверля контр-адмирала злыми медвежьими глазками, выложил:

— Господин такелаж-мастер Аржевитинов нынче разглашал соблазнительные для команды новости. А получил он их из Херсона от господ офицеров Поскочина и Сенявина. Копии с оных писем я снял...

Василий Максимович Аржевитинов служил в Севастополе такелаж-мастером в ранге капитан-лейтенанта. Лет ему было за сорок, а происходил он из обедневшей отрасли дворян Аржевитиновых, «опустив-

шейся», видимо, до однодворцев. Службу начал на корабле «Александр Невский» в 1771 году кают-юнгой.

Когда обер-интендант предъявил Ушакову снятые копии, Федор Федорович покраснел и насупился. Бумаги, шурша, задрожали в его руках. Он, должно быть, вспомнил, что его собственные письма также просматриваются, и мысль эта заставила его покраснеть.

Казалось, он разгневался на Аржевитинова. Но Афанасьев, осведомленный о расположении контр-адмирала к такелаж-мастеру, продолжал испытующе смотреть на Ушакова, не зная еще, как он поступит. Между тем Федор Федорович, заглянув в одно из писем, сразу же понял, что он обязан дать этому делу ход.

Он вызвал дежурного офицера и отдал ему приказание: немедленно послать за Аржевитиновым, сделав предварительно у него обыск.

Когда Афанасьев и дежурный офицер удалились, он сел за стол и приступил к чтению писем, вернее — копий, снятых обер-интендантской рукой.

В сущности, Поскочин и Сенявин писали об одном и том же. Наряду с «дерзкими и язвительными словами, до Правления Черноморского касающимися», в письмах высказывались дерзкие мысли и по адресу более высоких особ. Кроме того, в этих письмах упоминалось нечто такое, что заставило такелаж-мастера повести «соблазнительную» беседу с матросами «без всякой скромности», то есть ни от кого не таясь.

Надо думать, что этот смелый поступок такелаж-мастера Аржевитинова имел какую-то связь с книгой Радищева, которая как раз в то время становилась известной в Кременчуге и Херсоне, ибо офицеры переписывали ее от руки.

В офицерской среде стало также известно, что написал императрице по поводу этой книги Потемкин. Из уст в уста передавались строки, скопированные, должно быть, кем-нибудь из штабных.

«Я прочитал, — писал «светлейший», — присланную мне книгу. Не сержусь. Рушеньем Очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на Вас возводит какой-то поклеп. Верно, и Вы не понегодуете, Ваши деяния — Ваш щит».

«Каково благороден!» — говорили одни.

«Как бы не так!.. — возражали другие. — Сочинителя на десять лет в Сибирь закатали... Вот тебе и щит!..»

Ушаков встал и быстро зашагал по кабинету из угла в угол. В окна было видно хмурое, в клочьях облаков небо и зимнее, густо-синее море с белыми гривами волн...

Молодой командир, встревоженный и смущенный, ввел Аржевитинова и доложил, явно волнуясь:

— Ваше превосходительство! Такелаж-мастер Аржевитинов доставлен по вашему повелению!.. При обыске взяты письма... Только одно из них Василий Максимович изорвал при мне в малые клочья...

И офицер выложил на стол какие-то измятые бумаги, посыпав их сверху обрывками изорванного письма.

Аржевитинов молчал, следя взглядом добрых голубых глаз за Ушаковым и улыбаясь. Это был плотный, немолодой уже человек с мягкой округлостью плеч, умным, бледным лицом и выжженными солнцем бровями.

Ушаков проговорил:

— Как же это вы, Василий Максимович... так меня огорчили?

— Не знаю чем, Федор Федорович!

— Как не знаете?! Разглашали вы сегодня соблазнительные для матросов новости?

Аржевитинов улыбнулся еще шире.

— Да, разглашал...

— Эти письма вам известны?

Такелаж-мастер взял листок бумаги, трепетавший в руке Ушакова, всмотрелся в него и утвердительно кивнул головой:

— Узнаю руку обер-интенданта!.. Но что же в этой переписке худого?..

Аржевитинов перестал улыбаться. Глаза его блеснули странным огнем.

— Запрещаю вам так поступать!.. За слушание, за то, что письмо изорвали, сказываю вам арест!.. Вашу шпагу!..

Аржевитинов вынул из портупеи шпагу и отдал ее Ушакову. Федор Федорович поставил отобранную шпа-

гу в угол и сказал, обратившись к дежурному офицеру:

— Препроводите господина Аржевитинова к капитану над портом и передайте мое приказание: содержать его под арестом на корабле!..

А когда такелаж-мастер и офицер вышли, Ушаков взял лежавший на краю стола небольшой томик, недавно обнаруженный Афанасьевым на одном из фрегатов эскадры: «неприятности», подобные нынешней, случались и прежде «от некоторых беспокойных людей».

Федор Федорович повертел в руках книгу, раскрыл ее. Это был московский «Политический журнал» за 1790 год, часть десятая. Половина одной страницы была жирно подчеркнута свинцовым карандашом.

«Самой ужасной бунт,— прочел Федор Федорович,— свирепствует между морскими служителями в Бресте. Он не прекратился, несмотря ни на какие Народного Собрания определения. Все средства, до сего употребляемые, были бесполезны... Матросы нимало не хотели идти на корабли, либо кому-либо повиноваться. Имея в руках главу о правах человека — первую главу законов Народного Собрания,— они доказывали своим офицерам, что все друг другу равны».

Федор Федорович засопел, как это обычно бывало с ним в затруднительных обстоятельствах, отложил книгу и снова углубился в аржевитиновское письмо. Читая его, он продолжал сопеть и все ниже склонялся над скомканною страницей, словно строки от него ускользали и он старался не дать им ускользнуть.

Что же было в письме?.. Слухи о близкой «вольности»?.. Или, быть может, краткие выписки из ходивших тогда по рукам списков «Путешествия» Радищева? Может быть, попалась Ушакову на глаза фраза вроде следующей: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, что отнять не можем,— воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не только дар земли, хлеб и воду, но и самый свет...»?

Как бы то ни было, но прочитанные строки его испугали. В то же время он почувствовал, что они притягивают его своей запретной, всесокрушающей правдой. Но тут в коридоре послышались голоса...

Он сел за стол и начал писать приказ по эскадре.

Федор Федорович рекомендовал «капитану над портом» Д. А. Доможирову содержать Аржевитинова под арестом и просил командиров не допускать распространения беспокойных слухов. Он рекомендовал и просил, но не приказывал. Этого не случилось еще с ним никогда.

## 2

В 1790 году Екатериной II был издан указ, предписывавший задерживать матросов и солдат, просящих на улицах милостыню. А такие случаи бывали, когда нечестные или же нерадивые начальники доводили «служилых» до нищеты.

Федор Федорович зорко следил за обеспеченностью всем необходимым своих «морских служителей»; его матрос был всегда сыт и не нуждался ни в чем.

Когда его экипажи занялись ломкой камня в долине Инкермана, он написал Мордвинову: «...в рассуждении великой тягости при сих работах не повелено ли будет служителям производить за каждую кубическую сажень камня по крайней мере по два рубля, чего меньше, кажется, положить никак нельзя».

Он неустанно заботился о людях — о доставке в госпитали пшеничной муки и свежей капусты, о том, чтобы матросам, зимующим на судах, выдавали по полфунта мяса в день...

При Петре I на флоте для матросов существовало страшное наказание: совершившего тяжкий проступок обвязывали веревкой и проволакивали под килем корабля — два и даже три раза. В середине XVIII века это наказание уже не применялось; распространены были «обычные меры воздействия»: битье «кошками» у мачты и линьками.

На кораблях Ушакова людей наказывали редко, и то если командир был не в пример другим жесток. Таким жестокосердным начальником оказался осенью 1792 года капитан-лейтенант Лалле, командир бригаантины № 1.

В начале августа «служители» бригаантины все как один явились к Ушакову с жалобой на своего командира, который наносил им часто и «безрезонно» побои,

задерживал жалованье и морил их голодом, запирая в трюме сухари...

Ушаков отстранил командира и назначил другого. Толпа удалилась. Федор Федорович долго смотрел ей вслед. С этим он столкнулся впервые!.. Матросы осмелились защищать свое право и достоинство человека, осмелились жаловаться и шуметь!..

### 3

При самых первых шагах революции на Западе, как только Генеральные штаты Франции превратились в Национальное собрание, Екатерина II написала барону Гримму<sup>1</sup> в Париж: «Я не верю в великие правительственные и законодательные таланты сапожников и башмачников. Я думаю, что если бы повесить некоторых из них, остальные одумались бы... Эти каналы совсем как маркиз Пугачев»<sup>2</sup>.

Страстное желание удушить французскую революцию овладело всероссийской помещицей — императрицей Екатериной, и на этой почве она объединилась со своим недавним противником Густавом III, шведским королем.

«Мы с ним,— записал в 1791 году Храповицкий,— часто в мыслях разъезжаем по Сене в канонерских лодках». Россия и Швеция договорились о совместной посылке войск во Францию, и представители императрицы предлагали немецким князьям и австрийскому императору Леопольду II вступить в этот союз. Но 1 марта 1792 года последовала загадочная смерть Леопольда, а спустя четыре дня был убит на маскарадном балу Густав. Весть об этом была получена в Петербурге 7 апреля. На другой же день столицу облетел слух о каком-то французе Бассевиле, якобы пробравшемся через границу для того, чтобы покончить с Ека-

---

<sup>1</sup> Ф. М. Гримм (1723—1807) — западноевропейский публицист и дипломат; известна его обширная переписка с Екатериной II.

<sup>2</sup> На одной из очень редких гравюр XVIII века (работы Набогольца) Пугачев был изображен в шляпе маркиза. Это послужило для Екатерины II поводом иронически именовать Пугачева «маркизом» в своих письмах 1773—1774 годов.



териной II. Слух этот, видимо, был пущен нарочно, с целью оправдать расправу императрицы с некоторыми неугодными ей лицами. Так, 13 апреля она подписала указ об издателе Новикове: «Взять под присмотр и допросить»...

Утром 31 января 1793 года Екатерина узнала о казни Людовика XVI. Это известие так на нее подействовало, что она заболела, слегла и в течение двух дней почти никого не принимала.

Казнь французского короля произошла 10 января 1793 года. Храповицкий в своем дневнике отметил: «Замечательное стечение чисел с 10-е января 1775 года: в Москве казнен Пугачев».

В столице объявили шестинедельный траур.

Храповицкий был одним из немногих, кто имел в эти дни доступ к императрице. С ним она обсуждала «варварский поступок французов» и однажды высказалась, что этих людей следует «совершенно истребить, вплоть до имени их».

«Выздоровев», она тотчас же взялась за дело и прежде всего дала Сенату указ. Объявляя о разрыве отношений между Россией и Францией впредь до восстановления в ней «порядка» и «законной власти», Екатерина запрещала всем своим подданным иметь какое-либо общение с этой страной. Из России высылались все французы, исключая тех, кто под присягой отречется от «революционных правил» и не будет поддерживать никакой связи со своей родиной до тех пор, пока ее императорское величество не соизволит это им разрешить.

Но покоя не было: тень Пугачева по-прежнему стояла над страной, и Екатерина терялась в поисках «спасительных» мер.

Уже сидел в Шлиссельбургском замке просветитель Новиков; три года уже, как томился в Сибири Радищев. Уже были изъяты книги русской «вольной» печати, и адъютант «главнокомандующего в Москве», князя Прозоровского,— Кушников,— давно уже сжег их, потратив на это несколько бессонных ночей подряд.

И все же, несмотря ни на что, «крамольное», вольное русское слово в десятках «пасквилей» и подметных писем преследовало Екатерину на каждом шагу.

В Москве появились сатирические листки с карикатурами на темы из русской жизни. Более сорока дворянских фамилий были осмеяны в этих листках живым народным языком. Так, Алексей Орлов, брат фаворита императрицы, был изображен погоняющим рысаков, а под этой картинкой красовалась подпись: «Гоняю лошадей, могу гонять и людей».

Отставной престарелый чиновник Попов послал под чужим именем императрице, в Сенат, Синод и многим высоким особам письма, доказывая необходимость немедленного освобождения крестьян. «Постарайся, государь,— писал он канцлеру А. А. Безбородко,— погасить малую искру, доколе не возгорится великое пламя». Попов доказывал, что земледельцы более полезны отечеству, чем дворяне, ибо, защищая отечество, первые несут «жизнь свою и делают (дворян) в сем подвиге... собой великими». О крепостниках же он писал: «Кажется, не созданы князи, цари, императоры, государи, бояре, вельможи и прочие сановники, а созданы люди; все, носящие указанные титулы, тоже только люди, и титулы им присвоены другими людьми, а между тем человек у человека стал изнуренным невольником, один продает другого, как продают скот!»

Этого замечательного русского человека заточили в монастырь. Он был знаком с Новиковым и, возможно, через него знал книгу Радищева. В разных уголках России раздавались смелые голоса против крепостничества и деспотизма. Но русский вольнодумец этих лет — Кречетов — не возлагал никаких надежд на подметные письма. «Для государыни они ничто,— говорил он,— ее хоть пилой пили».

На вольнодумцев доносили; при этом среди поставщиков «материала» для Тайной экспедиции видное место занимали французские эмигранты, таким путем зарабатывавшие в России свой горький хлеб.

Один же из них, «кавалер» Роже, упросил императрицу дать ему место коменданта где-нибудь подальше, где жизнь дешевле. Его назначили в Петропавловскую крепость, Оренбургской губернии, и он отбыл туда. Через несколько месяцев от него получилось известие. «Прибыв в местность, где должна была находиться моя крепость,— писал он,— я с ужасом узнал, что ее нет,

так как двадцать лет тому назад ее уничтожил Пугачев».

Вести из разных концов страны, конечно, тревожили императрицу Екатерину. Но еще больше беспокоили ее слухи, приходившие из западноевропейских стран. Газеты сообщали о росте демократических настроений в Англии, хотя представители этого направления и оставались в жалком меньшинстве. Тем не менее эти английские демократы называли друг друга «гражданами», а своего короля — «первым сановником», перепечатывали брошюры времен Кромвеля, обсуждали права человека, поддерживали связь с парижскими якобинцами и устраивали торжества в честь французских побед.

Английские депутаты прибыли в Париж и явились с адресами к решетке Конвента. В одном из этих адресов говорилось: «Французы, вы свободны. Британцы готовятся стать свободными...» По улицам Парижа проходили делегации англичан, шотландцев, ирландцев. Они заявляли: «Ничего не будет удивительного, если в непродолжительном времени придут такие же поздравления в английский национальный Конвент».

Троны начали шататься всюду. Русский чрезвычайный посланник в Англии С. Р. Воронцов ясно отдавал себе отчет в происходящих событиях и писал брату Александру Романовичу — в Петербург:

«Это — борьба не на живот, а на смерть между имущими классами и теми, кто ничего не имеет. И так как первых гораздо меньше, то в конце концов они должны быть побеждены. Зараза будет повсеместной. Наша отдаленность нас предохранит на некоторое время; мы будем последние, — но и мы будем жертвами этой эпидемии. Вы и я, мы ее не увидим, но мой сын увидит. Я решил научить его какому-нибудь ремеслу, слесарному, что ли, или столярному: когда его вассалы ему скажут, что он им больше не нужен и что они хотят поделить между собой его земли, — пусть он по крайней мере будет в состоянии зарабатывать хлеб собственным трудом и иметь честь сделаться членом будущего муниципалитета в Пензе или в Дмитрове».

Троны начинали шататься всюду, и ум императрицы изощраляся в усилиях, каким способом покончить с

Французской республикой — этой «гидрой о тысяче двухстах головах».

Франция, уже было намеченная ею в союзницы, стала республиканской. О союзе теперь не могло быть речи. Вдобавок приходилось вновь опасаться Турции, ибо Республика, чтобы отвлечь от себя внимание России, подстрекала турок к войне.

И Екатерина перечитывала свою записку о мерах к восстановлению в Европе «порядка», которую она составила уже давно:

«Дело французского короля есть дело всех государей... В настоящее время достаточно десяти тысяч человек, чтобы пройти Францию из конца в конец...»

Но тут она ошибалась.

Австро-прусские войска попытались было это сделать и сперва потеснили республиканцев, но вскоре получили от них урок при Вальми<sup>1</sup>. Преследуя неприятеля, французы заняли Ниццу, Савойю, Бельгию и левый берег Рейна. Их успех также оказался временным, но это была первая бесспорная победа революционных войск.

Один человек в России с особым вниманием следил за событиями, предвидя, что за ними последует рождение нового военного искусства. Это был Суворов, закончивший фортификационные работы в Финляндии и снова назначенный на юг...

Суворову было поручено укрепление всей южной границы и вверены войска Екатеринославской губернии и Таврического края. В начале 1793 года он прибыл в Херсон.

Русский посланник в Константинополе прислал ему депешу: «Один слух о бытии вашем на границе сделал и облегчение мне в делах, и великое у Порты впечатление». Но Суворов скучал в Херсоне, воюя с подрядчиками из-за поставок, трудясь над составлением крепостных планов и жалуясь на «тиранство своей судьбы».

Однако он не мог не увлечься, размышляя над проектами оборонительных мер для Херсона, Кинбурна,

---

<sup>1</sup> Сражение у деревни Вальми во Франции (департамент Марны) произошло 20 сентября (ст. стиля) 1792 года.

Севастопольского порта. Мысль сделать Севастополь сильной морской крепостью положительно захватила его.

Летом он прибыл туда, чтобы лично руководить работами. Город лежал в тучах известковой пыли. Всюду кипела стройка: Ушаков возводил дома, казармы, госпиталь, магазины. Всему этому Суворов должен был дать твердую защиту, строя «сильной рукой»...

Всю весну 1793 года Ушаков провел в Петербурге, куда он ездил по вызову императрицы. Возвратясь в Севастополь, Федор Федорович с головой зарылся в дела. Лишь изредка вспоминал он о своем пребывании в столице — о встречах с корпусными товарищами и званом обеде в Эрмитажном зале, куда он был приглашен. За столом сидело больше ста человек, все — по билетам, под номерами. Рядом с ним оказался герой Измаила — Михайла Ларионович Голенищев-Кутузов, с которым он встретился впервые. А сидели они под №№ 90 и 91, в самом конце стола.

В середине июля в городе стало шумно и суетливо. Появились большие партии каменотесов, землекопов. Дома то и дело сотрясались от взрывов: команды солдат на мысах рвали минами скалы. Федор Федорович ни разу не был на строительных работах и с Суворовым виделся лишь по приезде его — мельком...

В один из июльских дней к Ушакову на дом явился капитан первого ранга Тиздель — пожилой «чужестранного набора» моряк, которому в начале войны жестоко не повезло. Командуя кораблем «Мария Магдалина», во время первого выхода русской эскадры в море, он был застигнут штормом, отнесен течением к Босфору и взят в плен. По заключении мира турки доставили Тизделя и его команду в Севастополь. Началось следствие. Вел его Ушаков.

Тиздель несколько раз просил позволения отправиться в Херсон и дать показания Мордвинову, но Федор Федорович вежливо отказывал ему в этом. Он знал, что императрица крайне недовольна Тизделем и что он, вернее всего, будет уволен. Но дело это не было решено сразу, и злополучный капитан томился второй уже год...

Он стоял перед Федором Федоровичем, согнувший-

ся, жалкий, и говорил, широко раскрыв водянистые, слезливые глаза:

— Я потерял корабль... попал в плен... сознаю, ваше превосходительство... Но произошло это отчасти по вине командовавшего эскадрой графа Войновича... И к тому же судно мое лишилось мачт и руля...

Федор Федорович молчал и слегка покусывал губы.

— Походатайствуйте за меня, ваше превосходительство! — униженно протянул Тиздель.

— Полагаю, что хлопоты мои будут без пользы, — сказал Федор Федорович.

— Вам доподлинно известно?! Дело мое уже решено?!

— В бытность мою в Петербурге я слышал о беседе ее величества с ныне покойным адмиралом Грейгом... Государыня спросила, что сделал бы он на вашем месте, находясь в подобных обстоятельствах...

— И какой же последовал ответ?!

— Грейг отвечал, что он прорвался бы через Константинопольский канал в Средиземное море и совершил бы сей путь не более как в тридцать часов.

— То было никак невозможно!

Федор Федорович пожал плечами.

— Походатайствуйте за меня! — повторил Тиздель.

— Не могу, поймите!

— Я все же прошу вас, ваше превосходительство!..

Федор Федорович нетерпеливо кашлянул и, видя, что проситель не уходит, пробежал по столу взглядом, ища какой-то предмет.

Он нашел его. Это была флейта — подруга его юности, с которой он по-прежнему не расставался, хотя уже много лет на ней не играл.

Взяв ее в руки, он встал и начал ходить по комнате, делая вид, что вот-вот заиграет.

Тиздель растерянно заморгал, вздохнул и покинул кабинет...

Федор Федорович положил флейту и посмотрел через окно на море. Громовой удар взрыва прокатился над бухтой, и на Северной стороне поднялись облака пыли. Его потянуло туда — к человеку, присутствие которого в городе было для него отрадой. Он вышел из

дому, вызвал в порту адмиральскую шлюпку и приказал везти себя на Северную косу.

Дул легкий бриз. У причалов стояли суда. На фрегате «Навархия» матросы красили мачты. Сенявин со шкафута наблюдал за работой.

Шлюпка прошла мимо. Федор Федорович улыбнулся, вспомнив, чем окончилось его столкновение с Сенявиным...

Потемкин вызвал строптивного офицера в Яссы, отослал шпагу его Ушакову и посадил любимца своего под арест. Затем предложил ему: публично просить прощения у своего адмирала либо быть разжалованным в матросы. Бывший генеральс-адъютант вернулся в Севастополь и попросил прощения в присутствии офицеров. Федор Федорович возвратил ему шпагу, обнял и поцеловал...

Двенадцать весел, с шумом вылетая из воды, роняли сверкающие капли. Шлюпка пересекла бухту и пошла вдоль берега к оконечности мыса. Обогнув его, она влетела в небольшой заливчик и остановилась, заскрежетав килем по гальке. Федор Федорович прыгнул на землю и осмотрелся вокруг.

Суворов сидел в тени, на камне, держа на коленях чертеж и сосредоточенно размышляя. Его ботфорты и камзол с зелеными полотняными обшлагами были покрыты серым слоем пыли; голова по-бабьи повязана от солнца платком.

— Друг мой, Федор Федорович!..— воскликнул он, увидев Ушакова, и рот его растянулся в улыбке. Он вскочил, потряс гостю руку и усадил его рядом, с собою.— Пожаловали!.. Вот кому чистосердечно рад!..

— Хорошо тут у вас — простор и не столь знойно,— медленно проговорил Федор Федорович.

— Да...— задумчиво ответил Суворов.— А у нас на севере сейчас яблоки поспевают, верно, уже налились...

Они помолчали. Ушаков усмехнулся, взглядываясь в профиль скалы, развороченной взрывом.

— Громыхали вы нынче изрядно. У меня в доме все ходуном ходило.

— Да ведь скинуть сии каменистые берега не просто,— сказал Суворов,— а по правилам морской форти-

фикации батареи надо строить как можно ближе к горизонту воды.

— Такой огонь для судов страшен,— живо заметил Федор Федорович.

— Да вы взгляните на чертеж — я вам представлю весь замысел...— И Суворов с увлечением начал излагать свой план: — Сама природа указывает здесь на два мыса; на каждом из них будут возведены двухъярусная круглая башня и ряд орудийных казематов, смотрящих на рейд. Под защитою их корабли смогут выходить из гавани, даже блокируемой вражеской эскадрой. Две другие батареи располагаются позади первых, в глубине бухты. Но это не все... Еще дальше, на южной стороне, возводится пятая батарея; она будет довольно страшною: ежели отчаянный неприятель даже мимо всех перекрестных огней прорвется, он повстречает новый ряд огнедышащих жерл...

— Оборона сильная и весьма искусная,— сказал Федор Федорович,— чего порту нашему до сих пор не хватало.

— Довершаю начатое... Первым здешние укрепления ведь тоже я строил... В семьдесят восьмом году.

— Не знал, не знал...— пробормотал Федор Федорович.— Просто не слышал ничего такого!..

Глаза Суворова блеснули, на лице ожила и заиграла сеть морщин.

— Почитаю за долг свой,— сказал он, скатывая чертеж в трубку,— укрепить сие место как с моря, так и с сухого пути... На случай высадки неприятеля в херсонесских бухтах учреждаю средний стан между Инкерманом и Балаклавой. Расположу в нем пехоту, конницу, пушки, чтобы туда и сюда без замедления могли поспевать... Пусть будет хорошо обережен Севастополь! Враг здесь потеряется — ручаюсь! Так потеряется, что и костей не соберет!.. Впрочем, я не инженер, а полевой солдат...— заговорил он вдруг усталым тоном.— От армии меня взяли, послали в Финляндию крепости строить. Кто я там был? Рак на мели!.. Зато флотским начальником стал...— сказал он, внезапно оживляясь.— Со шхерной флотилией пришлось управляться. Хоть и гребные суда, да сто двадцать вымпелов не шутка!..



— И как же управились? — с улыбкой спросил Ушаков.

— Брал уроки по морским наукам и даже сдал экзамен на мичмана.

— Вы и адмиралом быть могли бы.

— Ну нет, это трудно. Вот разве если бы у вас как следует поучился.

— Чему у меня учиться?

— Искусству поражать неприятеля на море. Я за успехами вашими давно слежу.

— Искусство мое простое, — сказал Ушаков. — Оно, как и ваше, зиждется на твердой решимости. Имею безбоязненность в нарушении общепринятых правил и действую всякий раз особым путем... «Секреты» мои? Их главным образом два: артиллерийский удар в упор, ошеломляющий совершенно противника, и маневр, всегда соображаемый с обстановкой...

— Но в том-то и есть искусство! И за это вам — честь и слава!

— Народ наш истари сражался именно так... Киевляне на своих однодеревках не боялись огненосных греческих «дромонов», хотя море вокруг них огнем горело. «Чайки» наших казаков налетали на турецкие галеры и бесподобно брали их на бордаж... У вас — штыковой бой, у меня — огонь на самой ближней дистанции... Все это исконно русское, бесстрашное повелось с древности. Отсюда и Петрова решимость, его стремление сблизиться с противником, вести бой на коротке...

Они сидели, беседуя под ровный шум наката; иногда их обдавало брызгами, и пена подбиралась к самому подножью скалы.

Валы рядами мерно набегали на берег — шли как на приступ.

Федор Федорович, следя за ними, сказал:

— Мысль у меня есть... давно уже... Вот сейчас, на волны глядя, опять вспомнил... Хочу просить о пополнении флотских команд солдатами, дабы мог я, когда понадобится, высадить десант...

— Да, да! — встрепенулся Суворов. — Русский солдат способен к десанту, как и ко всякому штурму, и уже не однажды себя с этой стороны показал.

— Как же! — сказал Федор Федорович. — В Северную войну на высадках в Швеции, потом в Финляндии и, наконец, при славном штурме Измаильском... Между прочим, желал бы я усилить команды солдатами, практикованными на взятии таких крепостей, как Очаков, Измаил...

Суворов закивал головою.

— Это для нас с вами весьма важно... Особливо если придется воевать в чужеземных краях...

— Вы что-либо имеете в виду? — насторожился Федор Федорович.

— Стар я, к непогоде поясница болит, войну издадека чую... Обстоятельства в Европе вам известны?.. Республиканский корпус стеснен, да не побит... Француз воюет по-новому, прелюбопытно!.. Предвижу, что дела с ним будет много; может, дойдет и до нас...

Чайка закачалась на волне. Суворов тихо заговорил, обращаясь не то к самому себе, не то к Ушакову:

— Морские волны бьют в берега... Чайки... Покой... С неприятелем мир заключен... О баталиях слуху нет, мне и скучно. Отдыхаю. А уж я на Дунае отдыхал... Там дичины — пропасть: лебеди, куропатки, такие жирные!.. Груши, виноград, орехи... Пили с кофеем буйвольное молоко... Синицы в избу залетали... — бормотал он все тише и тише. — Орла одного приручил, из рук у меня ел... Я к дочери своей письма орлиным пером писал...

Он умолк.

Федор Федорович медленно поднялся с камня.

— Пора мне... — сказал он. — Отдохнул у вас и от дел своих и от огорчений.

Суворов посмотрел с участием и заботой.

— Огорчают вас?.. Где же?.. В Петербурге или здесь?

— Здешние... мешаются... пишут про меня всякое...

— А! Скрибусы!<sup>1</sup> — резко сказал Суворов.

— Как? — переспросил Федор Федорович.

— Скрибусы, говорю, — писаки досужие! Без них мир не стоит!.. Ну, не забывайте меня, друг мой, приезжайте почаще!..

---

<sup>1</sup> От латинского scribo — пишу.

Ушаков пожал протянутую ему сухую, твердую руку и направился к шлюпке. Он был уже у самой воды — Суворов крикнул ему вдогонку:

— Когда кончу батареи, я выстрелю ваше здоровье!..

И помахал в воздухе рукой.

4

Тысяча семьсот девяносто третий год принес Ушакову чин вице-адмирала. Но в обращении с людьми Федор Федорович не менялся. Десять денщиков полагалось ему по штату, но он не имел ни одного.

Город строился летом и осенью. Зимы и весны уходили на ремонт судов.

Ветер раскачивал корабельные скрепы; солнце вытапливало смолу из палуб; всюду вылезала конопатка; осенними бурями рвало паруса.

Приходилось отдирать и проконопачивать обшивку, просмаливать такелаж, менять перетертые снасти. В Севастополе некогда было отдыхать.

Каждый корабль имел свою пристань, где лежала его артиллерия и находились магазины со всеми припасами. Против пристаней Ушаков выстроил казармы для «морских служителей» — каменные, крытые черепицей, такие чистенькие, что любо было взглянуть...

Батареи в Севастопольской бухте достраивались, но Суворов уже не наблюдал за работой. Ему поручили новое дело — укреплять Гаджибеевский порт.

Николаев, как и Херсон, стоял далеко от моря. Очковский рейд был мелководен, и вдобавок Лиман замерзал зимою. Нужно было найти лучшее место для главного Черноморского порта. И такое место нашли.

В мае 1794 года Екатерина «повелела» строить в Гаджибее город, военную гавань и торговую пристань, расположив там гребной Черноморский флот.

Три недели спустя новый порт был назван Одессой. Устройство его поручили де Рибасу. Он с жаром принялся за создание «богатого ожерелья России»: разбил город на части, наметил сто пятнадцать кварталов и желающим строиться роздал места.

Одесса быстро наполнялась торговыми и промыслами.

Де Рибас заселял ее греками, албанцами, молдаванами. И люди, томившиеся под турецким гнетом, шли туда со своим скарбом и семьями, чтобы обрести новую родину на русской земле...

Весной 1794 года слух о «беспокойной» книге Радищева снова проник в Севастопольский порт.

Получились известия из Кременчуга и Херсона о происшедших там арестах. При этом матросы говорили, что людей «забирают» за какую-то «скорописную» книгу, что один офицер видел ее в Яссах, а другой — в Севастополе, и будто за эту самую книгу таке-лаж-мастер Аржевитинов сидел под арестом на корабле.

Вскоре дело несколько разъяснилось. Оказалось, что в Кременчуге был арестован участник штурма Измаила, двадцатидвухлетний секунд-майор Василий Пассек. При обыске у него были найдены два списка «Путешествия» Радищева и много рукописей со стихами, направленными против самодержавия и крепостничества. Автором некоторых из этих стихотворений был сам Пассек; кроме того, его рукой были переписаны: перевод поэмы Вольтера «На разрушение Лиссабона», «Ода на рабство» В. Капниста и один отрывок «Путешествия из Петербурга в Москву».

Бывший чиновник особых поручений при Потемкине, В. С. Попов, ставший начальником Кабинета «ее величества», писал в секретном порядке правителю Екатеринославского наместничества В. В. Каховскому: «Между прочими бумагами, у известного Паскова<sup>1</sup> найденными, было одно сочинение наискуснейшее, которого отрывок при сем следует. Надобно узнать, чьею писан он рукою. По некоторым бумагам, рука офицера, бывшего при Паскове, помнится Симонович или Симоновский, очень с сею сходна. Покорно прошу употребить старание к открытию писавшего, дабы по тому узнать настоящего сочинителя и обнаружить злодеев прямых отечества. Я сие пишу к вам с высочайшего ее императорского величества соизволения...»

<sup>1</sup> Так в следственном деле иногда именуется В. В. Пассек.

Но, конечно, не «соизволение», а «повеление» имело тут место. Екатерина продолжала преследовать страшную для нее книгу, мешавшую ей жить...

Вслед за арестом секунд-майора Пассека был арестован и находившийся при нем «для помощи в делах» офицер П. П. Симонович. Обоих их отправили в Петербург.

Ввиду «особой важности» обстоятельств арестованных допрашивал «сам» генерал-прокурор Самойлов. На первые пункты вопросов, предложенных Пассеку: «Имя, отчество, фамилия, лет от роду. Присягал ли в верности службе? Знает ли законы и наказания преступникам оных?» — спрошенный отвечал: «Василий Васильев сын Пассек, от рождения 22 года и несколько месяцев. Никогда не присягал, но хранил во внутренности приверженность к своему отечеству и государю, что ниже следует. С законами мало обращался, но различить преступника от невинного в состоянии».

Однако словам Пассека о приверженности его к «государю» поверить было трудно, так как среди взятых у него стихов оказались строки, написанные под влиянием Радицева, призывавшие к свержению самодержавия. И Самойлов стал доискиваться: не Радицев ли был автором их?

Но более всего взволновал генерал-прокурора акrostих, где начальные буквы некоторых строк образовывали имя императрицы. Упорно допытывался он и относительно отрывков из «наилучшей» книги: кто переписывал ее и откуда был взят оригинал?

Пассек держался почти вызывающе. На вопрос об «известной запрещенной книге» он отвечал: «Я читал однажды в Кукутенях и видел потом в Яссах на диване лежавшую у покойного светлейшего князя<sup>1</sup> печатную Радицева книгу, одного с етою содержания и для того не почитал ее вредною». Пассек добавил, что если бы он и считал ее таковою, то все равно свел бы с нею знакомство, так как «смелость свойственна россам».

---

<sup>1</sup> Г. А. Потемкина.

И признался, что делал выписки из «Путешествия» своей рукой.

Признался и Симонович, что переписывал, по поручению Пассека, стихи и запретную книгу, причем копий таких было им сделано две.

Прояснялась история списков книги, бродивших по югу России, в среде гражданских и военных чиновников, и проникавших на Черноморский флот. Дело Пассека — Симоновича объясняло происхождение по меньшей мере трех таких копий. В. В. Пассек состоял при Потемкине и находился в Молдавии до самой его смерти. Ему случалось видеть книгу Радищева в яском дворце, «на диване», брошенную туда небрежной рукой «светлейшего». Это был экземпляр «Путешествия», присланный Екатериной Потемкину для ознакомления, на который он ответил ей известным письмом. С этой печатной книги, видимо, и снял для себя копию Пассек, а затем уже поручил ее размножение Симоновичу. Но с потемкинского экземпляра, надо думать, снимали копии не только они одни...

## 5

В 1793 году военные власти Новороссийского края прикончили вольное житье буйных «козаченьків» села Турбаи. Бывшие «кріпаки», расправившись со своими панами Базилевскими, жили свободно, забыв о том, что есть в России войска, которыми повелевает императрица. И она не решалась управиться с Турбаями в течение четырех лет.

Но в 1793 году батальон Бугского егерского корпуса и двести донских казаков оборвали мирную жизнь вольнолюбивого села. Турбаевцы были разделены на две партии и под сильным конвоем выселены в безводные южные степи, а село их разрушено — по требованию родственников убитых помещиков, — чтобы самая память о нем была истреблена<sup>1</sup>.

Весной 1794 года по указу Екатерины Мордвинов учредил «строжайшие полиции» во всех черноморских

---

<sup>1</sup> Село Турбаи под своим прежним наименованием было восстановлено только при советской власти, в 1918 году.

портовых городах. Кроме того, все «партикулярные» жители Севастополя были выселены из военной гавани и порта для того, «чтобы между служителями были соблюдены воинская дисциплина, спокойствие и безопасность от всяких разглашений». Принимались все меры, чтобы отгородить от народа флот.

С начала девяностых годов почти не прекращалось глухое брожение на флоте — среди черноморских экипажей и гарнизонов южнорусских портовых городов.

Волнения в Севастополе, дело Аржевитинова и дело Пассека, аресты в Кременчуге, Николаеве и Херсоне — все эти события произошли в конце царствования Екатерины. Народ понимал их по-своему: царица доживает свой век, будет на престоле перемена!.. И оживали надежды на волю — наивная вера в нового, «хорошего» царя.

В августе 1796 года, за три месяца до смерти императрицы, несколько матросов пришли к морской гауптвахте в Херсоне и объявили, что в 12 часов дня состоится «с их стороны возмущение», что в течение трех дней они будут громить лавки и что по каким-то особым причинам будет это им прощено.

«Особые причины» вскоре выяснились: бабы на привозном рынке заголосили, что нынче «будет ура и будут-де мять арбузы и дыни», а ура станут кричать «для великого князя Павла Петровича, принявшего престол».

Павел на престол еще не вступал, но людская молва опередила историю, и на этой-то почве среди флотских экипажей Херсона созрел стихийный «бунт».

До нас дошло архивное дело 1796 года «О намерении херсонских матросов взбунтоваться и о буйстве их». Из документов этого дела видно, что низшая военная администрация города доносила в столицу о действительно назревавших в Херсоне волнениях; но высшее начальство — вице-адмирал Мордвинов и генерал-поручик Хорват, пытаясь скрыть от императрицы истину, доказывали, что все это — пустяки.

Подполковник Яковлев писал секретарю новороссийского генерал-губернатора, князя П. А. Зубова, —

А. М. Грибовскому, что «наглость морских превыше всякого описания», что матросы среди бела дня «ходят с кистенями на руках, и полицейские их не смеют брать».

Далее подполковник сообщал о морском офицере, майоре Бутми, бранившем Екатерину II и Платона Зубова. «Богом вас прошу о сем доложить князю,—взывал к зубовскому секретарю Яковлев,—дабы сего сущего Пугачева куды-нибудь навсегда скрыть».

Вдогонку за этим письмом подполковнику пришлось спешно отправить новое. «...Сейчас,—писал он дрожащей рукою,—ко мне прибежал гражданских дел пристав Волков с объявлением, что в 12 часов будет бунт, и матросы будут кричать ура и жак и что у нас новой государь П... [авел]».

«Бунт» назначенный на 12 часов дня, состоялся. Матросы и солдаты 1-го Черноморского батальона, идя на рынок, по условному крику «ура» и «жак» стали хватать с возов арбузы, а с прилавков провизию. Ровно в полдень то же самое произошло и в Николаеве, где корабельный плотник накануне сказал мужику, продававшему воз арбузов, что «скоро оный и так разберут».

Пристав Воропаевский доносил своему херсонскому начальству, что «над людьми, взятыми на рынке под стражу, учинен был наиакуратнейший розыск» с «некоторыми секретными расспросами»; другими словами — арестованных пытали, но они ни в чем не признались и не выдали никого.

Екатерина II, узнав о «продерзостях» херсонских «нижних военнослужащих», повелела вице-адмиралу Мордвинову и генерал-поручику Хорвату строжайшим образом «исследовать» дело и для этой цели тотчас прибыть из Николаева в Херсон.

Припугнув Яковлева и «обольстив» других свидетелей, Мордвинов приложил все усилия, чтобы замять дело, и послал Зубову успокоительный доклад, в котором писал: «...Ни бунта, ни провозглашения никакого не было, ниже малейшего обстоятельства, показанного в записке господина Яковлева... Слово же жак прибавлено, мыслю я, чтобы возродить больше сомнения по



сходству одного с жакобинизмом<sup>1</sup>. Слово ж а к есть малороссийское: оно значит продажа, разбор; мужики спрашивают друг у друга: как ж а к у е ш ь? отвечают: р а з ж а к о в а л все, т. е. продал все».

Однако в Петербурге не поверили докладу Мордвинова и его знанию украинского народного языка. Да и трудно было поверить, чтобы люди, собравшиеся «бунтовать», кричали: «Разбор! Продажа!» Слово «жак» в данном случае имело другое, менее невинное значение: «На шарап! Нарасхват!»

И Платон Зубов по воле императрицы секретным ордером на имя Мордвинова предписал: подвергнуть разным наказаниям замешанных в этом деле нижних чинов и офицеров; пятерых же матросов сослать на каторгу — «в работу на Екатеринославский литейный завод»...

Шестого ноября 1796 года умерла Екатерина. Число крестьян, «пожалованных» ею в частные руки, приближалось к миллиону. К этому времени (по 5-й ревизии) население России составляло 36 миллионов, из которых, считая с утратившими свободу в прежние царствования, более половины было закрепощено...

Волна крестьянских восстаний прошла по России. Новый император начал приводить крепостных к присяге, чего раньше никогда еще не бывало; крепостные решили, что их переводят в «казну», и стали восставать против господ.

Слухи о якобы близкой воле распространились с удивительной быстротою. Петербургский военный губернатор Архаров, лично обыскивая одного дворового человека, нашел у него в кармане письмо. Человек этот писал в деревню, что скоро-де будет всем крепостным воля, а если этого не случится, он надеется «получить волю другою дорогою». За декабрь и январь были отмечены волнения крестьян в губерниях Орловской, Вологодской, Московской, Псковской, Новгородской, Ярославской, Нижегородской, Пензенской, Калужской и Костромской.

Помещик Поздеев, сообщая сенатору И. В. Лопухи-

---

<sup>1</sup> Ж а к о б и н и з м — якобинство.

ну о восстании крестьян в своем имении, писал: «...К оному бунту и еще две волости присоединились, в которых всех около трех тысяч душ; и если не прислан будет целый полк в губернию Вологодскую для квартирования, то это разовьется далеко. И кроме сих волостей в крестьянах видим явно готовящийся бунт, весьма похожий на Пугачевский, ибо крестьяне имеют оставшуюся от времени Пугачева думу, дабы не было дворян...»

«Спокойство здешнего краю,— писал Поздеев,— требует такого экзекутного духа, каков есть государев».

При всем косноязычии этой безграмотной фразы смысл ее был прозрачен: «экзекутный дух» — вот что требовали помещики от Павла I! И он рассылал в десятки мест воинские команды «для покорения тамошних крестьян».

В губерниях Псковской и Калужской крестьяне, «предводимые попами», собирались с ружьями, дубьем, топорами, и сельские священники, в полном облачении, приводили их «ко кресту», беря с них клятву «в единодушном до смерти стоянии».

В Орловской губернии восстал почти весь Севский уезд.

Крестьяне бригадирши Голицыной — в местечке Радогощи — постановили овладеть имуществом помещицы и «разделить его между собою или быть побитыми». Расправились с ними жестоко. Губернатор Митусов писал в своем «всеподданнейшем» рапорте: «... по прибытии туда, не найдя никого из крестьян, пересек кнутом жен их и среднего возраста детей».

Еще горшая участь постигла крестьян села Брасова — в имении графа Апраксина. Там дело дошло до пушек, и 70 крепостных было убито. Их зарыли в общей могиле и на ней поставили столб с надписью: «Тут лежат преступники против бога, государя и помещика, справедливо наказанные огнем и мечом...»

Народ, «добывавший» России новые моря и земли, искал для себя широкой, как море, вольности и пытался вновь «колыхнуть Московским государством», как «колыхали» им Болотников, Разин, Пугачев.

«ЧЕМ ЖЕ ИХ ТАКТИКА ЛУЧШЕ?»

Кто не знает, что за русское произведение вещь у нас оуждается: дай той же вещи имя французское, и вещь, конечно, одобрена.

*Радищев*

1

Екатерина II еще в 1791 году писала в Париж, барону Гримму: «Злодеи захватили власть и превратят скоро Францию в Галлию времен Цезаря. Но Цезарь их усмирил. Когда же придет Цезарь? О, он придет, не сомневайтесь, он появится!..»

А «цезарь» уже находился в пути.

Артиллерийский поручик ровно через год после «пророчества» Екатерины стал капитаном; в следующем году он уже был подполковником; еще через год — бригадным генералом. Служба в войсках Республики быстро выдвигала людей.

Безвестный офицер Наполеон Бонапарт, который в 1789 году упорно напрашивался в русскую службу, сделал за шесть лет блестящую карьеру: он был уже главнокомандующим Южной армией, сражавшейся на итальянской земле.

К 1795 году французские войска достигли больших успехов. Союзники стали быстро выходить из войны. Первой сделала это Пруссия. Потом генерал Пишегрю занял Голландию, и она была провозглашена Батавской республикой. Заключила мир с Францией Испания, и не просто мир, а союз.

Республика побеждала страны и области. При этом у Голландии она отняла ряд городов, целиком отрезала себе Фландрию, Бельгию и левый берег Рейна.

Лишь на юге борьба велась без успеха. Австрия, стремясь к господству в Италии, вводила в дело все новые силы. Они уже начали теснить французов, но весной 1796 года во главе Южной армии стал Бонапарт.

В несколько дней он покончил с Пьемонтом, за ме-

сяц дважды разбил австрийцев, вступил в Милан, заставил Неаполь заключить мир.

Французская армия еще несла на штыках своих отблеск свободы, и ей сдавались один за другим города Италии. Но Бонапарт брал с этих городов контрибуцию, увозил во Францию картинные галереи, монументы, золото, сокровища древних итальянских церквей.

Из Болоньи, Феррары и герцогства Модены он образовал Цизальпинскую республику. К началу следующего года закончил завоевание Ломбардии. Войска противника были разбиты. Австрия готовилась сложить оружие, и Англии грозило остаться одной.

Ей грозило также другое: огонь перекидывался на острова — революция стояла у дверей Британии; в Портсмуте, Плимуте и других гаванях вспыхнуло восстание на военных судах.

Появилась английская «плавающая республика». В Лондоне ждали, что народ поднимется вдоль всей Темзы. Восставшие настаивали на своих требованиях, и корабли их блокировали Лондонский порт.

Между тем сухопутный триумф Бонапарта приближал время, когда море должно было стать ареной решающих битв.

Армии Англия не имела. Ей как никогда нужна была морская победа; необходимо было одержать ее над противником, чтобы вернуть своему флоту силу, которую он утратил много лет назад.

Британский флот состоял из 88 кораблей, и на нем служило больше ста тысяч матросов. Но осторожные инструкции Адмиралтейства сковывали намертво эту боевую мощь.

Четырнадцатого февраля 1797 года адмирал Джервис встретил у мыса Сан-Висенте испанский флот. Англичане прорезали неприятельский строй и отсекли от него отряд судов противника. Действуя против принятых правил, Джервис разгромил испанский арьергард, поставив его между двух огней. Но до того заостенела незыблемость правил, что победителю пришлось представлять оправдания. «Считая, что слава его величества и обстановка,— писал Джервис в донесении Адмиралтейству,— оправдывают меня в отступлении от регулярной системы, я прорезал флот,

бывший в линии, выстроенной с крайней поспешностью».

В Англии были склонны считать, что этот адмирал открыл новую эру, хотя открыта она была Ушаковым, за девять лет до Джервиса отступившим «от регулярной системы» и разбившим турок в четырех морских боях.

2

С воцарением Павла ничего не изменилось во флоте; лишь офицеры сменили белые мундиры на зеленые и украсили шпаги серебряными темляками да Севастополь приказано было именовать по-прежнему: Ахтиар.

«Благополучный Севастополь» не остался в стороне от событий. Командиры судов живо обсуждали новости, а Федор Федорович, получив из Петербурга описание боя у Сан-Висенте, в течение нескольких дней разбирал его в офицерском кругу...

В самом конце осени давнишний друг напомнил о себе Ушакову.

— Семен Афанасьевич прибыли! — доложил Федор, против обыкновения своего улыбаясь.

— Кто?! — переспросил Федор Федорович.

— Семен Афанасьевич... капитан Пустошкин... — И Федор широко распахнул дверь в кабинет.

Федор Федорович поднялся навстречу гостю. Они расцеловались.

Пустошкин, слегка пополневший, но все такой же подтянутый и румяный, стоял, опираясь на камышовую трость.

Он с минуту молчал, взглядываясь в лицо Ушакова, затем медленно опустился в кресло и положил трость на стол.

— Назначен капитаном над Севастопольским портом, — сказал он. — Благоволите принять под свое начальство.

— Бесподобно! — воскликнул Федор Федорович. — Поздравляю и весьма рад!.. Давно не видались... — произнес он, смотря на гостя задумчивым взглядом. — А кажется — вчера это было: Днепр... Войнович... чума в Херсоне... постройка первых судов...

— Десять лет! — отозвался Пустошкин.— Срок немалый! Да ничего из меня толком не вышло... А вот вы — герой.

— Ну, какой я герой? И для чего вы так о себе говорите?

— Да судите сами!.. Помните беседы наши?.. Вы тогда о новой тактике рассуждали, а я, слушая вас, тоже ведь подвиг совершить мечтал... Ну, а жизнь в другую сторону повернула. В боевых кампаниях почти не участвовал. Пришлось в Херсоне канатную фабрику ставить да на камских заводах делать для флота железные части и якоря.

— Сожалеть вам о том не следует. Якоря и канаты благодаря вам отменно хороши стали. И за границею покупать не надо.

— Так, разумеется, Федор Федорович. Да не того я хотел...

— И все же скажу вам, Семен Афанасьевич, сами видите, сколь полезны ваши труды.

Но Пустошкин молчал, и Федор Федорович добавил:

— А что касается подвига, то, право, еще ничего не известно. Может, и доведется вам совершить его. Время у вас впереди... Кампания того и гляди откроется: французы турок к сему так и толкают. А их генерал Бонапарт, слышали, что делает? Италию занял, австрийцев разбил бесподобно!..

— Я знавал его еще офицером,— заметил Пустошкин.— В Тулоне встречались... Он мне на память вот эту трость подарил...

Федор Федорович взял лежавшую перед ним трость, рассеянно оглядел ее и отложил, как вещь, не стоящую внимания.

— Суворов,— сказал он,— еще четыре года назад говорил мне, что дела с французом будет много; может, дойдет и до нас... Так-то, Семен Афанасьевич! — проговорил он с улыбкой.— Стало быть, опять вместе служим?.. Вы сейчас из Николаева?

— Оттуда... Вам от Мордвинова письмо привез.

И Пустошкин протянул Ушакову конверт с большой синей печатью Адмиралтейского правления. Но Федор Федорович не торопился; он поставил конверт перед

собой, прислонив его к чернильнице, и сказал, нахму-  
рясь:

— Читать не хочется... Не жду добра...

— Не ладите с ним по-прежнему?

— Хуже прежнего...

— Толков об этом в Николаеве много,— сказал Пустошкин.

— Да, полагаю, немало... Мордвинов меня вообще ни в грош не ставит, искусству моему не верит! Для чего же я должен верить ему?!

Он машинально потянулся к конверту и стал над-  
рывать его.

Пустошкин сказал:

— Что вам, Федор Федорович, до Мордвинова?.. Свобода морская водворена, флот наш и купеческие суда ходят по морям свободно. Вами это достигнуто, искусством вашим. Чего вам еще?

Ушаков покачал головой.

— Заслуга нашего флота — новый образ его действий — скрывается от всего света! Вот что обидно!.. Мордвинов — главный начальник, ему надлежит блюсти нашу славу, а он замалчивает, поступая как турки, коих я четырежды разбил!..

Федор Федорович надорвал конверт. К письму был приложен план какого-то морского сражения с нарисованными на нем черными и белыми ядрышками, изображающими расположение кораблей.

— Ну вот!..— сказал он, читая.— Так и есть!.. То самое, о чем сейчас говорил вам!..— И он, просмотрев план и приложенную к нему реляцию, придавил их к столу тяжелой своей рукой.

— Что же вам пишут? — спросил Пустошкин.

— Англичане одержали новую морскую победу — разбили голландцев в сражении при Текселе... Адмирал Дункан двумя колоннами прорезал их строй... Мне предписывается, — он заглянул в письмо, — «план показанного маневра с нужным к нему описанием предложить в конференцию морской тактики», то есть разоб-  
брать в заведенных здесь офицерских классах... О сем пишет Мордвинову состоящий при его величестве генерал-адъютант Кушелев, а Мордвинов препровождает для исполнения мне...

Федор Федорович постучал по письму и реляции пальцем.

— Поминаются тут успехи английского флота у острова Доминика и при Сан-Висенте, и в назидание адмиралам пишется так: «Сии презнаменитые победы, выигранные противу обыкновенной и стародавней морской тактики, доказали, что изобретенная лордом Роднеем есть наилучшая...» Но сей адмирал ничего не изобрел!.. Однако приобрел в Англии славу!.. А когда я в Еникальском проливе изобрел резерв и еще кое на что осмелился — надо мною в Херсоне смеялись!.. — И Федор Федорович встал, стукнув по столу кулаком.

Пустошкин впервые видел таким Ушакова; лицо его в гневе сделалось почти страшным — точь-в-точь, как в тот раз, когда он толковал командирам французскую тактику — кушелевский перевод.

— Сан-Висентский бой, — с силой сказал он, — и сражение у Текселя поучительны, любопытны!.. Я не против заморского! Да ведь есть у меня свое, своим умом добытое!.. Я английских адмиралов благодарить не должен! Чем же их тактика лучше?! Разве тем, что она не русская?! Так уж у нас ведется: своего не видим, не ценим, чужому хвалу поем!..

### 3

А как было видеть и ценить свое, когда отечественные умельцы — выходцы из народа — обычно оставались до конца своих дней безвестными либо «выбивались в люди» случайно, если им вдруг необыкновенно везло.

Таким чудесным умельцем, искусником слесарного дела был слесарь со «Св. Павла» — Иван Полномочный, один из братьев которого где-то служил канониром, а другой, как слышно, «пошаливал» в камских лесах.

Больше пятнадцати лет «скрипел плечами» Иван Полномочный, и никто не заметил его искусства, его природных способностей разбираться в механических штуках; не заметил этого — уж на что внимательный к людям — даже вице-адмирал Ушаков.

И вдруг повезло Ивану: объявили ему чин подмастерья и велели на первом идущем в Николаев судне



идти туда. А повезло по той причине, что старый слесарный мастер в Херсоне — Шишкин, который хорошо знал Полномочного, посоветовал начальнику вызвать в Херсон Ивана, так как почувствовал, что ему уже трудно управляться с делом одному.

Для простого матроса перевод из слесарей в подмастерья был важным событием. Полномочный рассказал об этих знаменательных для него днях жизни в бесхитростных записях своего дневника:

«...Вдруг прибегает ко мне в слесарную, в адмиралтейство, генеральный писарь Ушакова — потом вместе служили на корабле, приятель, — я что-то паял в горне, и он меня ударил по плечу. Я оглянулся, а он рассмеялся и поздравляет меня подмастерьем; говорит: «Бросай клещи и сам командуй!» Я напротив ему сказал: «Полно шутить, Афанасий Иванович!» — «А как не веришь, то пойдем со мной». И потащил меня в канцелярию, показал указ... Я с работы пришел в корабельную свою команду... Наши корабельные офицеры узнали и все меня поздравляют; пирог ели, а на другой день меня к присяге привели. Тут меня спрыснули, и закусили офицеры. На другой день я пришел на работу в слесарную, тут приходит Ихарин наш, Федор Иванович, сел на скамейку и скопился, — у него такая привычка была, — и говорит мне: «Ваня, отчего это вышло? Я тебя не представлял; верно, ты переписки имел, просил». Я тут божился, что ничего не знаю и никаких моих просьб не было, и он тут сказал: «Я тебя скоро не отпущу, поработай у меня». Проходит две недели; вторично указ экспедиции: прислать непременно на первых судах. Нечего ему делать. И отправили на шхуне новой, идущей в Николаев...

[В Николаеве]... переночевал и пошел явиться господину генерал-цехмейстеру, Петру Федоровичу Герцыгу... Сидит в креслах, парикмахер ему голову убирает пуклями. Он увидел меня, сейчас громко заговорил: «А! Здравствуй, мастер!.. Ну, мастер, говорит, мне тебя рекомендовал старик Шишкин, слесарный мастер: ты хорошо работаешь и грамоте знаешь. Он стар и туп глазами; так я тебя прошу его не оставлять, помогать и слушать его. Я тебя отправлю к нему в Херсон...»

В Херсоне Иван «пристал на квартиру» к мастеру Шишкину, быстро пригляделся к работе и начал в Адмиралтействе «мастеровыми слесарями повелевать».

А вскоре случилось так, что встретил он на улице знакомого доктора — Данилу Самойловича, одного из бесстрашных гонителей херсонской чумы. Вспомнил Иван знойное лето 1784 года, когда лежал он больной, всеми покинутый, в карантинной яме, но штаб-лекарь Зубов навещал его аккуратно, потому что начальник Зубова — Данило Самойлович — о больных не забывал...

Старенький доктор первый узнал Полномочного, остановился, закидал вопросами и, услышав о его удаче, потрепал по плечу. «А я-то в отставке находился, — грустно сказал он. — Шесть лет был не нужен... А теперь на Тамани и в Фанагории снова моровая язва, вот и вспомнили обо мне — на чуму шлют...»

4

В последний год жизни Екатерины велись приготовления к войне с Францией. Уже был заключен договор с Англией, и туда отправилась вспомогательная эскадра вице-адмирала Ханькова. Суворов, удостоенный наконец жезла фельдмаршала, принял командование Новороссийской армией и, находясь в ее штаб-квартире — Тульчине, усиленно обучал войска.

Там, в строевых занятиях, в работе над войсками тульчинского сбора, окончательно сложилась его система военного воспитания — великая «наука побеждать».

Но Павел, вступив на престол, отменил французский поход, отозвал из английских вод русскую эскадру и объявил, что Россия должна отдохнуть от непрерывных войн Екатерины. Заодно он пытался отменить и суворовское военное искусство, начав перестраивать армию на прусский образец.

В истории России это происходило вторично. Петр III уже однажды стеснил войска пагубной немецкой муштрой. Теперь его сын возрождал эту муштру, косы, булки, власть кабинетных диспозиций — все, что убивало вольный воинский дух.

Близ Павловского дворца была терраса, с которой новый император мог видеть всех часовых, во множестве расставленных вокруг. С зрительной трубкой в руках наблюдал он за местностью с этой террасы и то к одному, то к другому часовому посылал лакея с приказом: застегнуть или расстегнуть пуговицу, выше или ниже держать ружье.

Павловский солдат носил широкий и длинный мундир с фалдами, узкие короткие штаны, треугольную шляпу, напудренную косу, перевитую черной лентой с бантом, чулки, подвязки и лакированные башмаки, которые мешали ходить.

Форма одежды гатчинских войск Павла I была скопирована с прусской и поражала необыкновенной пестротой: полк от полка отличался цветом воротников и обшлагов — красных, розовых, оранжевых, белых; были и такие невероятные по своим названиям и оттенкам цвета, как абрикосовый, селадоновый (зеленый), железный (синий), дикий (темно-серый), изабелловый (бледно-соломенный), кирпичный. Один молодой человек, увидев приятеля в новой павловской форме, сказал: «Здравствуй, прекрасная маска!» — и угодил за это в Сибирь.

Изданный по повелению Павла Устав 1796 года был буквальным переводом с прусского. Статья 47-я главы 3-й этого Устава гласила: «Надлежит солдатам, маршируя, иметь вид настоящий солдатский, голову и глаза иметь направо. Если мимо кого маршируют, то на ту особу глядеть. Тело держать прямо, не сгорбившись, маршировать вытянутыми коленами, вместе поднимать ноги, носки иметь вон; сомкнувшись плечо к плечу, маршировать прямо, порядочно держать ружье, скобку прижать к телу так, чтоб ружье не могло шевелиться, а правую руку опустить по правую сторону и держать недвижимо. Когда солдат не по вышеписанному марширует, то всегда будет похож на мужика».

Суворов понимал дисциплину как «милую солдатскую строгость» и резко отзывался о «пруссских затеях» Павла, считая их великим злом. Он видел беспощадную ломку армии, достигшей в предыдущее царствование небывалых успехов, и упорно сопротивлялся новым уставам. Павел писал ему: «Приводи своих

в мой порядок, пожалуй». Но Суворов держался своего порядка: изменить ему он не мог.

Он и сам был стеснен — лишен штаба и многих присвоенных ему прав главнокомандующего. 11 января 1797 года он записал в своем дневнике:

«Сколь строго, государь, ты меня наказал за 55-летнюю прослугу. Казнен я тобою штабом, властью производства, властью увольнения от службы, властью отпуска, знаменем с музыкою при личном карауле, властью переводов. Оставил ты мне, государь, только власть указа 1762 г.»<sup>1</sup>

И в тот же день обратился к царю с просьбою уволить его «на сей текущий год».

Ему было отказано.

Затем последовали два предостерегающих рескрипта и выговор в приказе по армии.

Суворов подал прошение об отставке.

Шестого февраля он был отставлен и сослан в Боровицкий уезд, в село Кончанское, где за ним учредили надзор.

С этой целью в Кончанское прибыл коллежский асессор Николев. Фельдмаршал встретил его, одетый в канифасный камзольчик; одна нога в сапоге, другая — в туфле; быстро спросил:

— Зачем здесь? Откуда?

— Проездом в Тихвин, — соврал Николев.

— Я слышал — ты пожалован чином, — продолжал Суворов. — Выслужил, выслужил! — повторил он, усмехаясь. — Продолжай эдак поступать, еще наградят!

— Исполнить волю монаршую — первейший долг верноподданного, — пытался защищаться Николев.

Суворов ледяным тоном отрезал:

— Я б сего не сделал, а сказался б больным!..

До какой степени Павел боялся Суворова, то есть его влияния в армии, видно из секретного донесения Николева в Петербург: «...Я имел в повелениях своих тысячу душ корел, из коих весьма малое число по-русски худо разумеют, а посему почти возможности

---

<sup>1</sup> Подразумевается манифест 18 февраля 1762 года о «вольности дворянству».

нет усмотреть, чтоб он не мог тайно отправить от себя кого с письмами или для другого чего, также и на оные ответы получать».

Лишенный друзей, отрезанный от внешнего мира и окруженный тысячью соглядатаев, провел Суворов около года в Кончанском. Потом Павел попытался протянуть ему руку и вызвал его в Петербург.

Но примирения не состоялось. Суворов по-прежнему осмеивал новые порядки; на первом же дворцовом разводе караулов он выкинул штуку: уехал, не дождавшись конца (несмотря на присутствие императора), громко сказав: «У меня брюхо болит...»

У него болела душа. За армию, за русское военное искусство. И его горечь усиливалась от сознания, что новое в это время рождалось на Западе, а Россия должна была отставать.

Он проводил часы за чтением иностранных газет и журналов. В столице и возвратившись к себе в Кончанское пристально следил он за успехами армий, отбросивших все старые каноны войны...

Конец XVIII века ознаменовался глубоким кризисом линейного строя, этого порождения наемных армий западноевропейских стран.

Но армия французской революции уже не знала наемников. 12 августа 1793 года собрание избирателей в Париже составило наказ Конвенту: «Обратитесь с призывом к народу. Пусть народ поднимется всею своею массою. Он один в состоянии уничтожить столько врагов».

Успех мобилизации превзошел все ожидания: за два месяца было набрано 450 тысяч. Сотни кузниц в столице изготовляли оружие в церквах, монастырях, домах бежавших вельмож. Февральский декрет 1794 года обязал граждан откапывать в подвалах селитру для производства пороха. «Пусть все граждане Парижа превратятся в физиков и химиков и откапывают элементы молнии против разбойников — попов и королей», — гласил декрет.

Оборона страны стала делом народа. Появилась революционная армия; вместо линейной тактики она выдвинула иную, которая была несравненно более гибкой и передовой. Армия сделалась подвижной. Респуб-

ликанские войска не имели громоздких обозов. Их легкие корпуса передвигались необычайно быстро. Они не осаждали замков, ибо живые стены армий торжествовали над мертвыми стенами крепостей.

«Иной корпус,— описывает французскую республиканскую армию современник,— завидует другому за то, что тот был чаще посылаем в огонь; полки ревнуют один другого, ропщут, жалуются, подают формальные просьбы и даже интригами стараются добиться того, чтобы быть поставленными на опасных постах».

Французы смело шли в штыковую атаку; наступали колоннами; сосредоточивали превосходящие силы в направлении главного удара; они не знали парадной выправки, зато обладали быстротой и сообразительностью и умели драться в одиночку — действовали в рассыпном строю.

То было наследие первых лет революции, когда охваченная воодушевлением Франция создала революционную армию.

Войска Директории сохранили это новое искусство, и его в большой степени унаследовал Наполеон...

Суворов внимательно следил за победоносным движением французов. В их действиях он узнавал свое, русское, суворовское и румянцевское, не раз испытанное уже в бою. Тот же штыковой удар, та же быстрота и натиск, колонны и рассыпной строй, то же сосредоточение превосходящих сил в направлении главного удара,— все это на протяжении двух последних войн с турками с успехом применяли русские войска.

«Французы,— писал Суворов,— заняли лучшее от нас, мы теряем».

Это стало историческим фактом: по сравнению с военным искусством революционной Франции военное искусство крепостной России, не знавшей наемных армий, было и более ранним и не менее передовым.

Суворов с жадностью перелистывал иностранные газеты...

Французы имели еще одно преимущество — топографические карты Европы, подобных которым не было нигде.

Тридцать лет трудилось над ними французское военное министерство. Секретные карты с необычайной

подробностью изображали местность, и не только поля, леса, реки и горы, но даже проселочные дороги и тропинки. Республика пустила это сокровище в ход. Ее даровитые полководцы сделали его основой своих военных планов. Тысячи генералов за годы революции исчезли бесследно. Но появились новые. Массена, Моро, Пишегрю, Гош, Бертье, Шампионне вписывали в историю свои имена.

Уже была выбита из войны Австрия. Папская область в Италии стала Римской республикой, Швейцария — Гельветической.

Все эти успехи были связаны с именем Бонапарта.

И Суворов, следя за ними из своего русского далека, качая головой, поговаривал: «Помилуй бог... широко мальчик шагает... пора, пора унять его!..»

## 5

В итальянской деревне Кампо-Формио 7 октября 1797 года Бонапарт продиктовал Австрии мир.

Ей пришлось потерять многое, но она утешилась, ибо противники поделили Венецианскую республику; при этом Австрия получила Далмацию, город Венецию и левый берег реки Эч.

Французы же из венецианских владений захватили Ионические острова и несколько крепостей в Албании. Это был захват Бонапартом важных позиций на Средиземном море. «Острова Корфу, Занте и Кефалония, — доносил он Директории, — важнее для нас, чем вся Италия вместе». Он открывал себе дверь на Балканы и становился соседом Турции, которая уже склонялась вступить с ним в союз.

Ее дружба с Францией была многолетней. Французские инженеры сооружали в Константинополе доки, работали у турок на оружейных заводах, строили Порте на ее же верфях превосходные корабли.

Французы, приезжавшие в Константинополь, пользовались особым покровительством турок и даже устраивали в городе республиканские демонстрации. Однажды, когда они слишком расшумелись перед окнами австрийского посольства, его драгоман отправился

жаловаться Мустафе-Решиду, министру иностранных дел.

— Накажи бог этих французов! — сказал драгоман. — Помилосердствуйте, эфенди, прикажите им хотя бы снять с головных уборов кокарды!

— Э, друг мой! — равнодушно ответил министр. — Сколько раз мы вам разъясняли, что Оттоманская империя — государство мусульманское. У нас на такие значки не обращают внимания. Подданных дружественных держав мы считаем гостями. Что они хотят, то и надевают. И если они наденут себе на головы даже корзины для винограда, мы и тогда не обязаны спрашивать, почему они поступили так...

Весной в Севастополе стало тревожно.

Приезжавшие из турецкой столицы моряки говорили:

— В цареградском адмиралтействе много французов, которые носят полосатые бантики на шляпах, и их весьма уважают. Впрочем, соблюдается тишина, и по наружности против русских ничего не заметно.

Но те же моряки утверждали, что турки неизвестно зачем вооружили сорок два корабля.

Вызывали также тревогу известия о приготовлениях французского флота в Тулоне. Был слух, что он под турецким флагом войдет в черноморские воды. Во Франции действительно готовилась экспедиция; однако истинного назначения ее никто не знал.

Покончив с Австрией, Бонапарт решил нанести удар Англии. В Тулоне, Бресте, Рошфоре и Лориане снаряжалась армия вторжения. Она должна была пересечь на судах море и совершить прыжок на острова.

Английский флот следил за противником. Более шестидесяти кораблей стерегли французские порты, готовясь сорвать любой неприятельский план.

Превосходство англичан было слишком явным, и к весне 1798 года Бонапарт отказался от своей затеи. Он принял другое решение: завоевать подвластный туркам Египет и оттуда угрожать британским владениям в Индии.

Это была чистая авантюра, но такого броска никто не ожидал...

Англичане считали, что французы скорее всего на-



несут удар по островам из Бреста, и держали близ него свои главные силы. Контр-адмирал Нельсон с небольшой эскадрой из трех кораблей крейсеровал между берегами Испании и Сардинии. 8 мая буря повредила его корабли.

В ту же ночь Наполеон вышел из Тулона в Египет. Четыреста транспортов под охраной кораблей и фрегатов двинулись с десантом к африканскому берегу.

В это время Нельсон исправлял повреждения. Вскоре его эскадра была усилена одиннадцатью кораблями, и он прибыл к Тулону. Там он узнал, что французский флот ушел.

Между тем войска Наполеона достигли Мальты и овладели ею без боя. Оставив на острове гарнизон, Бонапарт двинулся дальше — к Александрии. Стремясь сохранить свой план в тайне, он истреблял встречные суда.

А Нельсон искал его в Архипелаге. 9 июня он узнал, что тулонская экспедиция назначена в Египет, и пустился за нею в погоню. 11 июня ночью английский флот прошел на расстоянии всего лишь шестидесяти миль от французского, следуя почти параллельным курсом. Англичане тоже шли к Александрии. 17-го они уже были там.

Но они не нашли французов: их флот еще находился в пути, и Нельсон обогнал его на сутки. Теряясь в догадках, он метнулся к Сицилии, а Бонапарт 18 июня высадился вблизи Александрийской бухты и начал завоевание «страны пирамид».

Ему удалось беспрепятственно доставить войска в Египет потому, что командиры английских фрегатов увлеклись в это время весьма прибыльным делом: рассеявшись по морю, они захватывали французские торговые суда и находившийся на них груз.

Не имея помощи от своих фрегатов, Нельсон потерял из виду противника и в течение месяца не мог отыскать его след. У него был приказ идти на поиски всюду — «по Средиземному и Адриатическому морям, в Морею, Архипелаг, даже в Черное море». Только в конце июля, убедившись, что французы в Египте, он устремился туда вторично. За это время Наполеон успел продвинуться вверх по Нилу и захватил Каир.

Двадцать первого июля утром с английской эскадры увидели минареты Александрии. Два порта — старый и новый — были заставлены судами. На городской стене развевался французский флаг.

Нельсон остался на взморье. Его передовые корабли приблизились к гаваням и показали сигналом, что на рейдах одни транспорты, военных же судов нет.

Но три часа спустя один из английских кораблей обнаружил французскую эскадру. Она стояла на якоре в Абукирской бухте, в двадцати милях восточнее Александрии. Англичане при хорошем попутном ветре тотчас пошли на восток.

Нельсону было сорок лет. Еще мальчиком начал он службу во флоте, но переносил море с трудом — постоянно испытывал морскую болезнь. Небольшого роста, невзрачный, со светлыми спутанными волосами, собранными в пучок на затылке, он имел привычку надувать и оттопыривать губы, устремив в пространство задумчивый взгляд.

В два часа дня французы увидели английскую эскадру, идущую под всеми парусами. Она была не в строю, и хотя некоторые ее корабли сильно отстали, тем не менее англичане спускались на французский флот.

Он стоял далеко от берега, растянувшись на полторы мили. Это были корабли, фрегаты и бриги адмирала Брюэса, доставившие в Египет десантные войска.

Англичанам повезло: Брюэс не выслал дозорных судов в море и теперь расплачивался за свою оплошность: его экипажи занимались ремонтом и батарейные палубы были завалены корабельным имуществом; мало того: около трех тысяч матросов находились на берегу, посланные за пресной водой.

Брюэс созвал военный совет. Было решено принять бой на якоре, так как бывшие налицо люди не управились бы на батареях и с парусами, а находившиеся на берегу не могли скоро вернуться: им мешала сильная зыбь.

Считая, что атака может быть произведена англичанами только с правого борта, Брюэс приказал перегрузить загромождающую палубы утварь на левый, обращенный к берегу борт. Он втайне надеялся ночью

уйти в Корфу, полагая, что противнику понадобится часа четыре, чтобы начать атаку, а в сумерках он не решится завязать бой.

Бухта была для англичан незнакомой. Идти по ней надлежало осторожно. Командиры Нельсона медленно продвигались в неизвестном фарватере, все время измеряя глубины — бросая лот.

Солнце садилось. Англичане приближались к противнику. Уже был виден берег, опоясанный рифами. Бурун взлетал над ними пенной грядой.

Лоция предупреждала мореплавателей об Абукире: «Если день склоняется к вечеру, поворотите в море». Лоция не была принята во внимание. Багровый африканский закат уже охватывал небо, когда Нельсон вошел на рейд.

Ветер дул вдоль неприятельской линии. 13 французских кораблей стояли на якоре; между ними и берегом — второю колонною — фрегаты и мелкие суда.

Головной английский корабль обогнул отмель. Он прошел между берегом и французами и занял позицию с левого борта противника. Его примеру последовали четыре шедших за ним корабля.

На шестом корабле — «Вангарде» — находился Нельсон. Он поднял сигнал, одобряющий маневр командиров, и повел свои остальные суда по правому борту, отрезая со стороны моря вражеский авангард.

Нельсон рисковал многим, идя на этот маневр. Спускаясь по ветру, его корабли двумя колоннами должны были охватить голову французского флота и поставить ее в два огня. Они сами могли оказаться в ловушке, если бы неприятельский авангард оказал своим товарищам помощь. Но он находился под ветром; сняться с якоря и подойти к головным судам было трудно. И Нельсон рисковал флотом, надеясь, что противник не осмелится предпринять трудный маневр.

Половина атакующих судов устремилась между берегом и неприятельским флотом. Это напоминало Калиакрию, и Нельсон, в сущности, повторял Ушакова, повторял прием атаки, предпринятой Федором Федоровичем за семь лет до того, в 1791 году.

Тогда, у мыса Калиакрия, Ушаков точно так же начал сражение с турецко-алжирской эскадрой, не пе-

рестраиваясь из походного порядка в боевой и пройдя между берегом и судами противника. Только малочисленность его кораблей не позволила ему поставить неприятеля в два огня.

Быстро темнело. Сражение началось в сумерках. Для опознания своих судов во мраке англичане подняли на гафелях по четыре фонаря.

Правый борт французского флота оказал яростное сопротивление. Брюэс успел вызвать людей с фрегатов; возвратилась также часть матросов с суши и заняла свои места. Но левый борт бездействовал. Совершенно заваленный корабельной утварью, он был небоеспособным и молчал.

Зато английские карронады громили оба французских борта. Их ядра не оставляли обычных пробоин, но сокрушали дерево, как таран. На ближней дистанции они были особенно смертоносны. Вдобавок противника подавляла их скорострельность: у французов уходило на выстрел три минуты, у англичан — одна.

Брюэс был ранен в самом начале боя. Но он не позволил унести себя со шканцев и вскоре погиб.

Между тем подветренный арьергард французов не принял участия в бою, продолжая стоять на якоре. Командовал им контр-адмирал Вильнёв.

Около восьми часов самый большой французский корабль «Л'Ориан» загорелся и затем взлетел на воздух.

В десятом часу сдались четыре головных неприятельских корабля.

Вильнёв продолжал оставаться зрителем. Он видел плен и гибель товарищей и не собирался прийти им на помощь. Он ждал приказаний, не отваживаясь на маневр, требовавший большой смелости. Он был моряком, о котором Наполеон сказал впоследствии: «Ему нужны шпоры, а не узда...»

В душной тьме, почти у самого устья Нила, шел бой за Средиземное море. Горели и гибли суда Брюэса. К третьему часу ночи был закончен их разгром.

Французы потеряли одиннадцать кораблей и два фрегата; уцелел лишь не сделавший выстрела в течение всей битвы их арьергард. Англичане, порядком пострадавшие, до утра оставили его в покое. Но когда

на другой день они начали атаку, Вильнёв снялся с якоря и бежал...

Корабль «Леандр» был послан Нельсоном в Гибралтар с донесением о победе. Он был перехвачен одним из кораблей Вильнёва, ушедшим еще ночью из Абукирской бухты, — быстроходным и сильным «Женерё». Семьдесят четыре пушки встретили «Леандр», имевший всего пятьдесят четыре орудия. Завязался бой, закончившийся победой французов. Они заставили английский корабль сдаться и увели его в Корфу как приз.

В ночь на 22 июля 1798 года Наполеону впервые изменила удача: французским войскам был отрезан путь из Египта; англичане утвердились на Средиземном море, и адмирал Джервис (уже именовавшийся лордом Сан-Висентом) демонстративно перенес свою штаб-квартиру в Гибралтар.

## Глава тринадцатая

### ЭКСПЕДИЦИЯ БОНАПАРТА ИСЧЕЗАЕТ, КАК ДЫМ

Увидят, каковы русские и в малом числе.

*Метакса*

#### 1

Федор Федорович сидел за столом и занимался странным делом — разбирал старые гвозди. Ржавые, истлевшие, они рассыпались от прикосновения и оставляли на пальцах красноватый прах.

Постукивая гвоздем о гвоздь, он испытывал их один за другим и так перебрал несколько дюжин. Потом отряхнул с ладоней ржавчину и громко сказал вслух:

— Теперь все равно, впрочем...

У него больше не было времени заниматься гвоздями, перепиской с Мордвиновым и Адмиралтейств-коллегией. Он торопился в дальний и не совсем обычный путь.

Ушаков недавно возвратился из плавания — надо было переменить корабли и пополнить запасы. В Севастополе его ожидало «высочайшее» предписание.

Указ Павла лежал на столе:

«По получении сего имеете вы со вверенною в команду вашу эскадру немедленно отправиться в крейсерство около Дарданеллей, послав предварительную авизу<sup>1</sup> из легких судов к министру нашему в Константинополе г-ну тайному советнику Томаре».

Русский флот готовился помочь туркам против французов и, если понадобится, идти в Архипелаг и к Ионическим островам...

Федор вошел в кабинет. Он уже едва двигался. Брови его совсем побелели, а кожа темных жилистых рук стала еще темней.

— Ну как, собирать в дорогу? — глухо спросил он.

— Собирай, Федор. Завтра уходим. И на сей раз далеко.

— Надолго, стало быть...

— Может, на год, может, и больше. Сказать сейчас невозможно.

— Это куда же? В какую даль странствие-то?

— Сперва к туркам, потом к грекам, а случится — и во французские воды заглянем... — Тут Федор Федорович подумал, что он, быть может, больше никогда не увидит Федора, и добавил: — Хочешь, возьму тебя с собой?

— Нет уж, батюшка... — И старик покачал головою. — Ветхий я стал. Куда мне по чужим морям ездить?.. За домом бы доглядеть, тебя дожидаться... С своей земли нипочем не сойду!

— А дом-то я заложил... — тихо сказал Федор Федорович. — Эскадру снарядить было не на что... Казенных денег, сам знаешь, сколько ждать надо...

Он как бы оправдывался перед Федором и, говоря это, искоса на него поглядывал, ожидая, что старик вот-вот взорвется. Но тот промолчал и, немного постояв, вышел с совершенно мирным и равнодушным лицом...

Федор Федорович принялся собирать нужные для дальнего плавания вещи.

Он отложил кое-какие газеты и книги; три подзор-

---

<sup>1</sup> А в и з о — небольшое парусное судно, предназначенное для посыльной и разведывательной службы.

ные трубы; только что присланные ему карты архипелагского атласа; увидел на столе флейту — отложил и ее.

Потом развернул одну из карт и провел пальцем черту от вод Архипелага до острова Корфу.

Слова Суворова сбылись: начиналось «дело с французом». Этого следовало ожидать, к этому шло на протяжении последних лет.

Павел, сначала стремившийся сохранить мир с Республикой, постепенно изменил отношение к ней.

Он дал приют в Митаве королю-беглецу Людовику XVIII и принял на службу многих французских эмигрантов. Это было вызовом.

Когда французы заняли Ионические острова, они арестовали русского консула на острове Занте. Это уже был разрыв.

Теперь шли переговоры России и Англии о возобновлении договора, заключенного при Екатерине. К союзу собиралась примкнуть Австрия. Бросок Бонапарта в Египет нарушил его дружбу с Турцией, и она также готовилась объявить французам войну.

Союз с Портой еще не был скреплен, но она уже просила о помощи, и Ушаков должен был поспешить к Босфору. Он имел, однако, приказ соблюдать «великую осторожность» и не вступать в Пролив, пока не будет согласия турок на свободный проход туда и назад.

Ушаков разглядывал карту, соображая сроки и расстояния, намечая план действий в ионических водах. Углубившись в это занятие, он не заметил, как снова вошел Федор и положил на стол небольшой узелок.

— Возьми, батюшка! — сказал он так, словно, прося об этой чести, боялся, что ему откажут. — За пятнадцать годов скопил я малость... Пусть и моя денежка на флот пойдет.

Федор Федорович был растроган. Он порывисто встал с намерением обнять Федора и ответить ему признательным, задушевным словом, но тут в прихожей зазвенел колокольчик, и старик побрел открывать...

Это был Метакса. Теперь уже лейтенант, он держался с еще большей, чем прежде, уверенностью и, казалось, щеголял своей выдержкой, несколько странной для его молодых лет.

— Прощу садиться! — встретил его Ушаков. — Не взывайте — беспорядок у меня: укладываюсь...

В руках у Метаксы были иностранные газеты и пачка бумаг.

— Все статьи политические, — деловито сказал он, — я просмотрел. Местам особо важным составлены экстракты и сделаны переводы.

Федор Федорович одобрительно кивнул головою.

— Я надеюсь, что в нынешнем плавании вы окажете немалую пользу знанием языка и обычаев тех мест.

— Сколь силы мои позволят... — скромно ответил Метакса и покосился на стол, где кучею лежали ржавые гвозди.

— Не подумайте, что этот дрязг я беру с собою, — сказал Федор Федорович, поймав его взгляд.

— Нет, я догадываюсь...

— Догадаться нетрудно... Я собрал таких гвоздей множество и намеревался послать в Петербург, дабы знали, на чем флот держится и каково меня здесь снабжают... При ремонте судов все гвозди, какие есть, рассыпаются!.. Да теперь уже поздно о сем стараться, и я намерение свое отложил.

— Но мы снимемся в срок?

— Завтра, в час, мною назначенный... Выходим при крайней недостатке всех припасов!.. А кампания предстоит бесподобная!.. — Лицо Ушакова стало вдруг бодрым, совсем молодежавым. — Русский флот в союзе с турецким будет сражаться вдали от своих берегов!

— Я слышал, — сказал Метакса, — будто и войска наши идут за границу. Вступает снова в войну Австрия, и ей в помощь посылается русский корпус.

— Да, — подтвердил Федор Федорович, — воевать будем за рубежами. И я рад, что отдохну наконец от здешних утомительных обстоятельств, бесполезной траты бумаги и душевных сил... Вы, Егор Павлович, — продолжал он с горечью, — всего ведь не знаете. Неизвестно вам, что я вынес, прежде чем стал начальствовать флотом, и какие сейчас претерпеваю обиды... А жаловаться некому!.. Вице-президент Адмиралтейств-коллегии Кушелев — человек пустошной. Он сюда, извольте видеть, наказ прислал, наставление, как мне действовать против



французского флота: буде войдет в Черное море — выждать, пока рассеется бурей, а затем разбить по частям...

— А ежели бури не будет? — лукаво спросил Метакса. — Тогда как же?

— Тогда не препятствовать неприятелю и допустить его к берегам нашим. Так надо понимать!

И Федор Федорович умолк, сдвинув брови и выпятив подбородок.

Метакса быстро сказал:

— Но французский флот не появится в наших водах.

— Судя по нынешнему поведению турок — вряд ли.

— Скорее, придется идти в Средиземное море и, пожалуй, — к Мальте.

— Сражаться за Мальтийский орден? Вы полагаете — так?!

— Почти уверен... Мальта захвачена Бонапартом, а его величество Павел Петрович объявил себя покровителем ордена и дал торжественное обещание восстановить его.

Федор Федорович с недоумением посмотрел на лейтенанта.

— Но ведь орден сей — католический. Как же может покровительствовать ему русский царь?

— Тут причиной — политика... Из экстракта, составленного мною по иностранным газетам, ваше превосходительство, легко сможете себе все уяснить... Орден мальтийских рыцарей состоит из древнейших дворянских родов почти всей Европы и как бы представляет их старинные права. Имена ордена во Франции конфискованы. Множество французских эмигрантов бежало на Мальту, и всем им был оказан радушный прием. Ныне твердыня их взята французами, и русский император решил прийти ей на помощь. Принимая в свою опеку сей важнейший остров Средиземного моря, он становится защитником европейского дворянства, его верховным главой.

— Вот оно что!.. — как бы думая о другом, произнес Федор Федорович. — А все же Ионические острова меня более привлекают. Там единоеверное нам население — греки, униженные, порабощенные. А Мальта — ее как

в тумане вижу... Впрочем, пойду и туда, ежели будет указ...

Он сложил карту архипелагского атласа и уставился на Метаксу испытующим взглядом.

— Егор Павлович, скажите мне правду: не сомневаются в кампании командиры?

— Нет, такого не примечал.

— Я потому вас спросил, что корабли худые и во всем недостаток, а главное — людей у нас для высадок мало... Но я писал, добивался!.. И мне прислали солдат морских, да не много — всего тысячу семьсот человек.

— Об этом толкуют...

— Вот видите! — с грустью сказал Федор Федорович. — Что ж... Лучше мне знать истину...

— Не далее как сегодня... — медленно произнес Метакса.

Ушаков слушал его с тревогой.

— ...говорили при мне... — и лейтенант вдруг улыбнулся, — что людей мало, меньше, чем следует, но увидят, каковы русские и в малом числе...

## 2

Павел I на другой же день по своем воцарении освободил из тюрьмы Новикова, а вскоре «милости» императора удостоился и сосланный в Сибирь Радищев: было повелено вернуть его из ссылки, с тем чтобы он поселился в селе своем Немцове — под Малоярославцем, на большой Калужской дороге, в ста шестнадцати верстах от Москвы.

Из Немцова Радищев написал в Псков — сводному брату своей второй, умершей в Сибири жены — Александру Андреевичу Ушакову:

«Любезный мой друг и брат Александр Андреевич!..

...Спутница верная моего бедствия, друг мой Елизавета Васильевна, сестра твоя, скончалась в Тобольске. Я истинно могу сказать про себя, что я осиротел. Ах, любезный мой, если можешь верить моему слову, то верь, что я несчастливее себя теперь чувствую, нежели как то я был в Илимске. Давно принимался я за перо, чтоб известить вас о сем несчастном для меня приключении, но сил на то не доставало, и если бы слу-

чилося тебе увидеть меня в постороннем месте, то бы ты меня не узнал.

Я виноват перед тобою, охотно в том признаюсь. Я тебе должен, но что прискорбнее, что и по возвращении не могу удовлетворить тебя. Дела мои нахожу в величайшей расстройке, и долгу не уплачено почти ничего...»

Александр Ушаков отвечал Радищеву:

«Любезный друг и брат Александр Николаевич.

Письмо твое из Немцова, от 25 протекшего июля писанное, получил я 27 августа. Не знаю, где бы оно могло задлится. Содержание оно первоначально порадовало, а в продолжении поразило до бесконечности душу мою. Не так смерть милой моей сестры мне была бы прискорбна, если б она не сопряжена была уже со днями свободы твоей и приближения жизнию с нами... Верно, мой милый друг, что твое состояние настоящего времени паче тягостно со всех сторон. Но подкрепи измученное человечество<sup>1</sup> твое: оно, как ты пишешь, уже более тебя не изображает. Помни, что твои дети от бытия твоего зависят. Они еще не сиры, когда ты существуешь на земле. Им зрение тебя есть лучшая опора в жизни; береги себя, мой друг, для всех нас, приемлющих в тебе участие...

Забудь, что ты мне должен деньгами, а помни, что ты должен мне сбережением своего здоровья. Вот одно, чем заплатить можешь нелестно тебя любящему...

Жена моя и ребятишки обнимают, целуют тебя...»

Павел I «простил» Новикова и Радищева не из каких-либо гуманных или же либеральных побуждений, а из ненависти к своей предшественнице Екатерине, из желанья показать, что он лучше ее.

Но лучше он не был. Одни возвращались из ссылки; на смену им отправлялись туда другие. По-прежнему оставался неразрешенным крестьянский вопрос. «Везде бьют палкой,— писал о павловском режиме А. И. Герцен,— бьют кнутом, тройки летят в Сибирь, император марширует, учит эспантоном. Все безумно бесчеловечно, неблагоприятно; народ по-прежнему оттерт, смят, ограблен, дикое своеволие наверху...»

---

<sup>1</sup> Человечество — здесь: физические силы, организм.

Секунд-майор Пассек, арестованный в 1794 году за противоправительственные стихи и переписку книги Радищева, был вскоре освобожден. Генерал-прокурор Самойлов, лично допрашивавший Пассека, вырвал у него признание, пообещав ему свободу. И генерал-прокурор действительно предоставил ее узнику, но ненадолго: в декабре 1796 года секунд-майора арестовали вторично, обвинив его в заговоре против Павла и распространении среди офицеров запретных книг.

Пассека заточили в Динамюндскую крепость (позднейший Усть-Двинск) под Ригой. В начале 1797 года он написал императору Павлу письмо. Пассек доказывал в нем, что «язвительные сочинения» не являются преступлением и что запрещать их не следует, так как «умы почувствуют притеснение», а «невежество опровергнет дарования разума» и отнимет охоту писать.

Павел оставил прошение без последствий, объявив, что «участь господина Пассека есть достойная награда его деяний и образа мыслей». Юный вольнодумец был обречен томиться в тюрьме долгие годы. Там он написал завещание, в котором «сделал предел» собственной помещичьей власти, освободив принадлежащих ему крепостных.

А в это самое время его друг — отставной полковник А. М. Каховский — организовал в своем смоленском имении Смоленичах тайный политический кружок. В него вошли недовольные Павлом I офицеры расположенных в Смоленской губернии С.-Петербургского драгунского и Московского гренадерского полков, а также представители местного чиновничества.

Кружок этот явился прообразом будущих тайных обществ декабристов. Каждый участник его имел особую кличку, и никто из них не пользовался услугами почты. Собираясь у Каховского, члены кружка читали запрещенные русские и иностранные книги, в том числе — по-видимому — и «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. На этих тайных собраниях осуждались порядки, заведенные Павлом I в армии, и разрабатывался план его убийства. В ноябре 1798 года заговор был раскрыт.

Во время следствия выяснилось, что Каховский пытался убедить А. В. Суворова двинуть на Петербург

войска и покончить с императором Павлом, причем великий полководец был осведомлен о планах подпольщиков, но, сочувствуя им, не счел возможным их поддержать.

Во время обыска у Каховского нашли склад оружия и шесть пудов пороха. Он был навечно заточен в ту же Динамюндскую крепость, где сидел Пассек, с которым в это же время поддерживал тесную связь другой Пассек, Петр Петрович, двоюродный брат первого, будущий декабрист.

### 3

Уже полгода находился Радищев в Саратовской губернии — в селе Верхнем Аблязове, у своих престарелых родителей. Павел разрешил ему повидаться с ними только один раз.

Радищев приехал в Аблязово ранней весной. Николай Афанасьевича дома не было — он жил уединенно, на пасеке, в пяти верстах от имения. Мать лежала, разбитая параличом.

Радищев отправился на пчельник; отца он нашел подле ульев, отпустившим бороду, в простом, подпоясанном ремнем кафтане. Николай Афанасьевич пробежал пальцами по лицу и волосам сына, но взгляд его не оживился при этом. Он был слеп...

Ранняя, холодная весна вскоре свалила с ног Радищева: перемежающаяся лихорадка, вывезенная им из Сибири, трепала его долго. Потом потянулись скучные дни, «похожие один на другой». Соседи-помещики не интересовали Радищева, и, если приезжали в Аблязово, он не стремился завязать беседу. Да и с кем было говорить? С чудачком помещиком, скупавшим крестьян отменно малого роста, или с другим — зверем и самодуром, который кормил своих крепостных из корыта, наливая туда щей?..

Книги стали почти единственными его друзьями и собеседниками: из древних авторов — Вергилий, из новых — Клопшток и Меркель; затем «Труды» Вольного экономического общества, «Элементы химии» Фуркруа и все новинки по агрономии: Болотов, Самборский, Комов, Рычков.

Аблязовский чернозем — тучные земли по берегам

местной речки Тютнарки — привлечь внимание Радищева, и мысли о сельском хозяйстве постепенно завладели им.

«Человек принимает оттенок окружающих его предметов,— писал он из Аблязова А. Р. Воронцову,— и я только и читаю и говорю о земледелии».

Но он еще интересовался сельским хозяйством практически и делал опыты с землею, изучая тютнарский чернозем.

Он подметил, что цвет «почти всех вещей» зависит от железа, ибо оно дает «траве зеленость, румянец розе, небесную синеву васильку». Опыты открыли ему, что почва в Аблязове очень железиста и что она почти мгновенно пропитывается водой. Затем он вспомнил: в серую почву Немцова, в Калужской губернии, вода не так скоро проходит... Так родилась мысль о связи между водопроницаемостью почвы и ее плодородием. «Чем вода лучше и скорее проникает землю,— записал Радищев,— тем она лучше дает плод».

Перед глазами его стояли серые, скудные земли Немцова и немцовский крестьянин, в худых лаптях, ковыряющий пашню деревянной сохой.

В «Трудах» экономического общества обсуждались десятки способов для поднятия доходности помещичьего крепостного хозяйства. Радищев называл их «пустыми бреднями». Он лелеял мечту о возможности превращения в ся кой земли в плодородную, мечту о том, чтобы сделать подобными тютнарскому чернозему все земли — для всех.

И он записывал впрок, имея в виду свое сельцо Немцово и лишь чуть-чуть изменив его название: «На хорошо обработанной земле драгоценнейшие плоды возрастить удобно... А хотя смеяться будешь, но скажу, что я в Немцове намерен садить арбузы; и, если возможно, сохи все истреблю...»

Он продолжал опыты: коптил и вымачивал семена, готовя их разными способами к посеву, и пришел к убеждению, что обработанные таким образом семена «головни<sup>1</sup> не родят».

---

<sup>1</sup> Головня — болезнь хлебных злаков, когда на зернах колоса появляется мучной налет.

Он приглядывался к местным крестьянам. Здесь, в Аблязове, они выглядели не такими нищими и не столь забитыми, как в других местах. Радищев заглянул в конторские книги: за двадцать лет не было ни одного побега и ни одного сосланного помещиком в Сибирь. А кругом, у соседей, картина была совсем другая, и было понятно, почему: Николай Афанасьевич рекрутов ставил только молодых и притом одиноких, а не семейных; крепостных же продавал редко, а если и случилось, то семьи не разлучал. И все же Радищев со стыдом вспоминал прошлое — свой приезд в Аблязово вскоре по «разбитии» Пугачева, когда отец вызвал в село команду для обуздания крестьян...

Наступила осень. Дороги развезло. Мокрые грачи бродили по жнивью. Борясь с недугом, Радищев коротал время за книгами — в кругу своих верных, молчаливых друзей.

С печальной улыбкой твердил он «бронзовые» стихи Вергилия о золотом веке. И затем — уже без всякой улыбки — перечитывал страницы, написанные под прямым влиянием его «Путешествия», — книгу немецкого писателя Меркеля о лифляндском крестьянстве, озаглавленную коротко: «Латыши».

«Я слышал, — писал Меркель, — как один дворянин горячо вооружался против торговли неграми, и видел, как через день после того он пожертвовал за одного рысака двумя крепостными людьми».

Верный последователь Радищева, Меркель в страстных словах высказывал свою скорбь о закрепощенном человечестве: «От грустной колыбели до могилы, под железною палкою деспотов, с разгоревшимися и потными лбами, работают на барщине целые народы, великие и прекрасные... Бедные братья, неужели вас создал бог для цепей?..»

#### 4

Двенадцатого августа 1798 года Ушаков с эскадрой вышел из гавани, а 13-го покинул Севастопольский рейд.

Он взял с собой шесть кораблей и шесть фрегатов, одно репетичное судно и три брига. На них было 792

орудия и 7407 человек команды, считая и сухопутные войска.

Они пришли вовремя — 1700 солдат «черноморских адмиралтейских батальонов» под начальством подполковника Скипора, — гренадеры, которых долго и упорно добивался Ушаков.

Это скрашивало неприглядность его обстоятельств, а они беспокоили и смущали немало: суда вышли в поход без нужных запасов и были непригодны к зимнему плаванью; оставалось надеяться на хорошо подобранный экипаж.

И он взял с собой лучшее, что имел, — самых отборных матросов и командиров, — людей, испытанных им в четырех сражениях, и таких, к кому пригляделся лишь за последнее время. Среди них были: Сорокин, Поскочин, Сенявин, капитан-лейтенанты Шостак и Белли, а также знакомые с обстановкой в греческих водах Сарандинаки, Алексиано и Метакса.

Бриг «Панагия Апотуменгана» был послан Федором Федоровичем в Константинополь. Командир брига должен был передать посланнику Томаре известие, что Ушаков готов оказать Порте помощь и просит разрешения войти в Пролив.

В сущности, русский адмирал предлагал через Томару военный союз, которого добивались сами же турки. Но султан все еще колебался. В ожидании ответа Ушаков направился к мысу Эминё.

У болгарского берега, немного задержались, так как в пути были застигнуты сильным ветром, — исправили повреждения и навели всюду чистоту. Потом снова убрали якоря и канаты, задраили люки, брезентом затянули шлюпки и, выйдя в море, двое суток лавировали вблизи Босфора. Федор Федорович знал медлительность турок и не надеялся скоро прибыть в их столицу. Еще меньше верили в его успех высшие чиновные круги в Петербурге, слишком мало ценившие его самого.

Русский сановник, вице-канцлер В. П. Кочубей, около этого времени писал в Лондон, посланнику С. Р. Воронцову: «Адмирал Ушаков — невеликая птица... Я уверен, что хотя он и будет в виду Константинопольского канала, Порта не даст ему увидеть его».



Но канцлер А. А. Безбородко писал тому же Воронцову иначе: «...наша эскадра пособит общему делу в Средиземном море и сильное даст Англии облегчение управиться с Бонапарте и его причетом».

Кочубей оказался плохим пророком. Султан Селим, узнав о гибели французского флота при Абукире, решился на войну с Францией. 24 августа посланный в Константинополь бриг возвратился и доставил Ушакову ответ.

«О пропуске эскадры,— извещал посланник Томара,— повеления даны 16-го... Ваше превосходительство можете без всякой опасности поспешить входом в Канал».

Вместе с этим он препровождал Федору Федоровичу газетные статьи «касательно флота французского и происшествий в Египте».

Русские суда немедленно взяли курс на Пролив.

Они вступили в него на другой день утром, построившись линией. Корабль Ушакова шел головным.

Это был «Св. Павел», построенный год назад и вооруженный восьмьюдесятью четырьмя пушками. По его сигналу эскадра салютовала крепостям, и ей было отвечено равным числом выстрелов.

Толпы народа стояли на обоих берегах.

Когда ветром отнесло дым, Пролив открылся между двумя грядами холмов, одетых густой зеленью; в их мягком лоне лежали загородные дворцы, дома и селения, а над светло-голубой водою метались стаи вспугнутых птиц...

«Св. Павел» приближался к турецкой столице. Ушаков со шканцев любовался видом Босфора, а Метакса, дававший ему пояснения, говорил:

— Кажется, что природа была пристрастна к этим берегам и расточила все свое могущество, украшая их.

— Зрелище бесподобное,— отозвался Федор Федорович,— и весьма приятное для вступления в Канал нашей эскадры. Но я хотел бы так же беспрепятственно выйти из него.

— Разве есть сомнения?

— Этот союз еще новый, а недоброжелателей у нас много; могут подбить Порту переменить мысли и задержать наши суда. Но чтобы этого не случилось, нуж-

но соблюдать осмотрительность и быть готовым пробиться в любую сторону.

— Турки переменчивы,— подтвердил Метакса,— это весь свет знает. К сожалению, они таковы...

Русский флот свободно шел по Проливу, укрепленному французскими инженерами. В знойной дымке на юге уже рисовался город — смутные очертания холмов, громоздящихся один над другим.

Около полудня эскадра стала на якорь в Буюк-дере, милях в девяти от столицы. Она выстроилась против квартала посольских зданий, где дом русской миссии выделялся своими размерами и белизной.

Турки на легких длинноносых каиках окружили русские суда, предлагая матросам стамбульские сласти.

Посланник Томара и драгоман верховного визиря взошли на корабль Ушакова. Они поздравили его с прибытием, и драгоман преподнес ему цветы.

Султан Селим, не сдержав любопытства, появился вблизи эскадры на шестивесельной шлюпке. Переодетый в простую одежду, он украдкой осмотрел русские корабли.

На одном из них команда затянула песню. Ушаков приказал прекратить пение. Но турки стали просить его не лишать их этого удовольствия. Он усмехнулся, пожал плечами и позволил матросам петь, сколько хотят.

## 5

Султан снабдил Ушакова шестью медными пушками, подарил ему драгоценную табакерку — «за скорый приход со флотом» — и роздал две тысячи турецких червонцев командам его судов.

Дела устраивались.

Порта обязалась присоединить к русской эскадре такую же турецкую под флагом вице-адмирала Кадырбея, с тем чтобы главнокомандующим союзными силами был Ушаков. Она предоставила также на время войны свободный проход русским судам в Средиземное море и дала указ своим пашам в Морее и Албании помогать Ушакову припасами и людьми.

Союз был заключен. Федору Федоровичу не при-

шлось сноситься для этого с Петербургом — новый рескрипт Павла уже ожидал его в Буюк-дере:

«Буде нужда потребует, можете действовать соединенно с турецким флотом как у Дарданелльских крепостей в Мраморном море, так и в самом Архипелаге; равномерно имея мы союз с Великобританией и одну цель с нею: благосостояние соседственных Держав, дозволяем вам, когда обстоятельства требуют, действовать соединенно с английскою эскадрою...»

Все было ясно. Оставалось лишь выработать общий план.

Тридцатого августа Ушаков и посланник Томара совещались в султанском дворце с турками. Присутствовал и британский посланник Джемс Смит.

Было решено, что союзный флот направится на защиту албанского побережья, которому французы могли угрожать высадкой, и в первую очередь приступит к освобождению Ионических островов.

Четыре фрегата и десять канонерских лодок должны были усилить английский флот у Александрии, куда укрылись после Абукирского боя уцелевшие французские суда.

Днем позже Ушаков написал свое первое письмо Нельсону.

Послание это носило сугубо дипломатический характер и по этой причине начиналось с обычных для таких писем похвал:

«По прибытии в Константинополь узнал я о славной и знаменитой победе вашей, одержанной при реке Ниле. С таковою совершеннейшею победою поздравить вас честь имею и в той надежде, что скоро буду иметь удовольствие находиться в близости с вами, а может быть, и вместе в действиях против неприятеля, заочно рекомандую себя в ваше благоприятие и дружбу, которую я приобрести постараюсь...»

«...засим, ежели потребно наше подкрепление, то к воспомоществованию мы готовы...»

В заключение Федор Федорович сообщал секретные сигналы на елучай встречи русских судов с английскими и писал о необходимости установить постоянную связь.

В тот же день он смотрел турецкую эскадру, стоявшую у летнего дворца султана, а также все морские военные заведения — адмиралтейство, доки и арсенал.

Турки показывали ему все, почти не скрывая недостатков, спрашивая у русского адмирала советов и прислушиваясь к его словам.

Он нашел, что корабли их весьма хороши и снабжены дорогой медной артиллерией, но такелаж непрочен, а матросы не знают командных слов. При уборке парусов не соблюдалось никакого порядка, да и вообще он отсутствовал в султанском флоте. На всех кораблях были заведены кофейни и лавки. Дважды в день все собирались на шканцы для молитвы. Переключку делали только раз за всю кампанию. Командиры кораблей плохо знали, что такое компас, и его можно было найти лишь на одном (адмиральском) корабле.

Ушаков побывал на пушечном учении и роздал некоторым морякам награды. Но когда его спросили, какие им найдены недостатки, он строго ответил: «Беспорядочность и незнание судовых команд».

Своим экипажем он мог гордиться. Выучка его людей была образцовой; о нарушениях дисциплины Федор Федорович почти не слышал.

Тем не менее на русской эскадре не все было ладно. Некоторые офицеры жестоко обращались с матросами, и это вызывало среди команд ропот. Два матроса, не стерпев побоев, бежали со своего корабля.

Ушаков пришел в ярость. Его охватил гнев на «служителей» и на командиров. Он назначил следствие, затем сам составил бумагу с приметами бежавших матросов и переслал ее для розыска беглецов местным властям...

До начала сентября русские простояли в Буюк-дере, задерживаясь из-за противного ветра. Но 8-го утром ветер утих и корабли вступили под паруса.

Построившись линией, двинулись они мимо турецкой эскадры и дворца султана, салютуя флагу капудан-паши семнадцатью выстрелами и дворцу — двадцатью одним.

Под гул ответных салютов поравнялись с дворцом, откуда султан следил за уходящим флотом.

За русской эскадрой следовала турецкая. Ушаков главенствовал над обеими. Морская история знала до этого лишь один случай, когда русский адмирал возглавлял соединенный флот<sup>1</sup>.

6

В Галлиполи, у новых дарданелльских замков, русские соединились со второю турецкою эскадрой. На флагманском ее корабле находился вице-адмирал Кадыр-бей.

Одиннадцать суток простояли у выхода в Средиземное море: пришлось дожидаться, пока подойдут все турецкие суда из Пролива и запасутся порохом и сухарями. За это время были снаряжены и отправлены к английской эскадре фрегаты и канонерские лодки. Капитану Сорокину было приказано идти с ними к Родосу и затем далее, на восток.

Кадыр-бей просил Ушакова прислать ему знающего турецкий язык офицера для истолкования сигналов. Федор Федорович отправил к нему Метаксу на два-три дня.

Двадцатого сентября, снявшись с якоря, пошли к южному берегу Мореи. Там снова остановились, чтобы взять лоцманов. Ушаков имел разрешение своего правительства принимать на флот добровольцев греков, и к нему тотчас же явилось много охотников, некоторые на своих судах.

Решив начать освобождение Ионических островов с ближайшего из них — Цериги, он послал туда Шостака с двумя фрегатами. Вскоре и все остальные суда выступили в поход.

В союзном флоте было теперь десять кораблей, двенадцать фрегатов, шесть бригов и несколько греческих «кирлангичей», удобных для действий у берегов...

С попутным ветром пришли к острову Хиос. Турки отправились на берег заставить водой и закупить продовольствие. Но хиосские греки, завидев «буйных га-

<sup>1</sup> Во время Северной войны английский, датский и голландский адмиралы предложили Петру I взять на себя командование союзными силами. В память этого в России выбили медаль с его изображением и надписью: «Владычествует четыремя...»

лонджи», — как называли они турецких матросов, — поспешно закрыли лавки и заперлись в домах.

Тогда Ушаков послал сказать Кадыр-бею, что если их совместное плавание так устрашающе действует на население, то не лучше ли им ходить порознь, условившись о месте встречи эскадр?

Но Кадыр-бей объявил жителям, что по первой же их жалобе будет «казнить матросов смертью», и приказал открыть дома и лавки. После этого на острове открылась ярмарка, и «русские, турки и греки смешались, приветствуя друг друга».

Затем эскадры продолжали путь.

Море древней Эллады расстилалось перед русскими кораблями. Теплый ветер доносил с берегов запах лавра и олеандров. Над водой тянулись перепелиные стаи; они направлялись из Европы в Африку, совершая осенний перелет.

Птицы летели к острову Цериго, где ежегодно оставались несметными массами.

Птицы и воевавшие на морях люди передвигались одной и той же дорогой: Бонапарт избрал остров Цериго для связи своей египетской армии с гарнизонами Ионических островов.

До XII века острова эти были свободны; лишь с падением Византии узнали они чужеземный гнет. Венецианцы, генуэзцы и турки долго оспаривали друг у друга «право» владения Ионическими островами, и наконец Венеция стала властвовать над ними, пока французы не прибрали их к рукам.

На островах было 200 тысяч жителей, главным образом — греков. Константинопольский патриарх написал к ним свое «увещание», и Ушаков должен был его распространить.

Патриарх обещал от имени Порты, что греки Ионических островов по освобождении от французов получают независимость, установят у себя правление, какое пожелают, и сами выберут своих правителей или старшин...

На вторые сутки, ночью, к флагманскому кораблю Ушакова прибыла шлюпка. Греки-цериготы подня-

лись по трапу «Св. Павла» и потребовали свидания с адмиралом. Горбоносые, смуглые люди в круглых шапочках и цветных шерстяных безрукавках, увидев его, заговорили наперебой.

Они рассказали, что французы поборами разорили на острове и дворян и крестьянство; хлеб вздорожал, главные предметы торговли — коринка<sup>1</sup> и деревянное масло — потеряли цену; народ ожесточен, ждет не дождется русских и готов им помогать.

Федор Федорович обнадежил их своим скорым приходом и дал им копию послания патриарха. Греки ушли к острову Цериго, куда в это время уже приближался капитан-лейтенант Шостак.

Двадцать девятого сентября Шостак прибыл туда.

Подойдя к крепости, капитан-лейтенант открыл огонь с обоих фрегатов. Французы, оставив прибрежные укрепления, бежали на гору, в крепость Капсале. Она была недосыгаема для огня фрегатов, и Шостак высадил на берег десант.

Свезли на сушу материалы для возведения батарей и шесть орудий. Люди двинулись в глубь острова, таща на руках пушки, преодолевая овраги, кручи и острые, как ножи, скалы.

Соединенный флот подошел на другое утро. Ушаков предложил французам сдаться. Его условия были почетными, но на них последовал отказ.

Тогда на батареи доставили большие орудия, был увеличен десант и стали готовиться к штурму. Но до атаки крепости не дошло.

Тридцатого утром с береговых батарей и судов открылась сильная канонада. Французы отвечали, но недолго. В полдень они спустили трехцветный флаг и подняли белый, чтобы предупредить штурм.

Гарнизон выстроился и сложил оружие. По условию, он должен был отправиться в Марсель или Анкону, дав честное слово не воевать против союзников в течение года и одного дня.

Цериго — древняя Цитера — был занят почти без боя. В тени масличных рощ, окружавших развалины

---

<sup>1</sup> К о р и н к а — черный мелкий изюм без косточек.

столицы царя Менелая, он лежал, прекрасный и свободный, возвращенный грекам, владевшим им искони.

7

Весть о появлении союзного флота быстро разнеслась по Ионическим островам.

Находившийся в Корфу французский комиссар Дюбуа выпустил на греческом языке прокламацию; он объявил, что слух о союзе России и Порты ложный и что турки прибегли к обману, подняв на судах своих русский флаг.

Но это не помогло. Жители острова Занте, завидев русско-турецкую эскадру, кинулись в лодки и предупредили Ушакова, что французы возвели у пристани батареи.

Федор Федорович послал Шостака с фрегатами «Григорий» и «Счастливый» сбить поставленные на берегу пушки. С обеих эскадр, еще бывших под парусами, пошли к берегу шлюпки. Турецким десантом командовал Метакса.

Сумерки скрыли из виду город. Но зантиоты зажгли костры, чтобы указать дорогу, и осветили пристань множеством фонарей.

Шостак приблизился к батареям на картечный выстрел и быстро заставил их умолкнуть. Французы, заклепав пушки, бежали в крепость — старое венецианское укрепление, стоявшее над городом, на скале...

Все произошло как и на острове Цериго. Сперва противник решил сопротивляться, но когда матросы окружили крепость и с кораблей принесли лестницы для штурма, — выкинул белый флаг.

Шостак потребовал вернуть жителям все, что у них было отнято.

Его условия были приняты.

Это было 14 октября, а 15-го Ушаков с командирами отправился в Занте. Его приветствовали пальбой из ружей. Над городом стоял колокольный звон.



Был конец виноградного сбора, но поля и сады еще сохраняли свою свежесть. Шелковые ткани развевались на улицах; русские флаги — белые с синим косым крестом — свешивались из окон, и почти у всех жителей были такие же маленькие флажки в руках.

Зантиоты праздновали свое освобождение, видя в русских защиту не только от французов, но и от турок. И матери давали детям целовать герб российский на сумках «морских солдат».

После службы в церкви Ушаков возвратился на корабль и вызвал к себе старейших жителей. Пока они совещались, толпа зантиотов молча ожидала на берегу.

Но едва объявили им, что теперь они независимы и должны жить под управлением своих же граждан, они заволновались, точно их отдали врагу. Их охватил страх, что они не смогут сами себя защитить и турецкие паши поработят их пуще французов. Они закричали, что не надо им ни вольности, ни своих правителей, что они хотят лишь одного — быть принятыми в подданство России, а иначе ни на что согласия не дадут.

Такой оборот был оскорбителен для турок и ставил Ушакова в трудное положение. Он принялся убеждать греков, что их желание невыполнимо, так как в намерения русского императора не входит завоевание Ионических островов.

Ему нелегко было убедить их. Они долго перебивали его возбужденными возгласами, но все же смирились, увидев его непреклонность.

А он сказал:

— Я здесь не хозяин, а помощник! Русские пришли не владычествовать, но охранять!..

## 8

Пока Ушаков стоял у Занте, приводя городские дела в порядок, население островов Кефалонии и Санта-Мавры поднялось против французов, не дожидаясь прихода союзных эскадр.

Узнав об этом, Федор Федорович послал к первому

из них Поскочина, а ко второму — Сенявина для оказания помощи жителям.

Капитан Поскочин пришел к Кефалонии и беспрепятственно высадил десант.

Из всех Ионических островов это был самый большой, а по населенности уступавший одному только Корфу. Город Аргостоли лежал на восточном его берегу.

Кефалония, богатая оливковым маслом, шелком и винами, была издавна связана торговлею с Таганрогом. Большая часть капиталов, находившихся в обороте на острове, принадлежала таганрогским купцам.

Турецкая война 1787—1791 годов застала некоторых кефалонийских греков в черноморских портах, где они находились по своим торговым делам. Потемкин предложил им поступить на русскую службу со своими людьми и судами. Они согласились, приняли участие в действиях русского флота, а затем вышли в отставку, получив награды и чины.

Трое из них оказались в Кефалонии, когда туда пришла весть о приближении Ушакова. Это были: Ричардопуло, Зворано, Дивори — отставные командиры, продолжавшие носить русский мундир.

Они вооружили жителей города Аргостоли и тайно подготовили их к восстанию. В назначенный день французы в городах и селениях были схвачены и часть их уведена на стоявшие в порту суда.

Лишь французский гарнизон в столице продолжал держаться. Но едва десант Поскочина вышел на берег, противник бежал на другую сторону острова, чтобы укрыться там в небольшой крепостце. Отряды русских и аргостолян были посланы морем наперерез бежавшим. Они захватили до двухсот французов, причем в числе их был комендант.

Спустя три дня прибыл с флотом Ушаков. К нему привели пленных. Французский комендант выразил Федору Федоровичу благодарность за «гуманное обращение» капитана Поскочина с гарнизоном. Вместе с тем он пожаловался на греков и на «греко-русских офицеров», как называл он Ричардопуло и Зворано, которые обезоружили французов и держали их скованными на своих судах.

— Вы жалуетесь на них,— сказал Ушаков,— но они спасли вам жизнь, защитили вас от местных жителей. Вы сами виновники своих бедствий. Что же касается благородных действий капитана Поскочина, то всякий русский офицер так же бы поступил...

9

Овладеть островом Санта-Мавра оказалось труднее. Ушаков предвидел это и дал Сенявину два корабля и два фрегата, а также крупный десант.

Остров Санта-Мавра (в древности — Леука) на севере почти примыкает к албанскому побережью. Окруженная рвами крепость защищала его с северной стороны. В глубине острова высятся меловые горы, а на юге — Левкадская скала, откуда в древние времена сбрасывали в море преступников; им не давали утонуть, но они должны были навсегда покинуть страну...

Двадцать первого октября отряд русско-турецких судов приблизился к острову. Как только они бросили якорь в Санта-Маврском проливе, к Сенявину явились местные старшины и архиерей.

Они сказали, что жители загнали неприятеля в крепость, однако находятся в полном отчаянии, ибо им угрожает новая беда: Али-паша, вассал Порты, самовластный правитель Албании, выгнал французов из городов Превезы и Парги, истребив заодно и часть жителей; теперь он собирается овладеть островом и ведет переговоры с его комендантом.

Али-паша был лютый враг всего христианского населения Албании, и Санта-Мавре это также не сулило добра.

Сенявин ободрил жителей, велел им поднять в городе русский и турецкий флаги и тотчас же высадил десант.

На албанском берегу начали строить батареи. Под огнем крепости, по крутым, почти непроходимым тропкам протащили пушки и поставили их на совершенно открытых местах. Коменданту острова, французскому офицеру Миолету, Сенявин предложил сдаться, но тот

ответил, что у них пока всего достаточно и вступать в переговоры еще нет нужды.

Сенявин вторично послал парламентарера.

— Объявите коменданту,— сказал он,— что, когда крепость начнет ослабевать, я уже не стану заключать с ним капитуляцию.— Получив прежний ответ, он подошел к орудию и сам открыл огонь со всех батарей.

Обстрел продолжался до 28 октября.

Пожар дважды вспыхивал в крепости, и рухнула башня, на которой развевался французский флаг.

Осажденные начали переговоры.

Они предложили, что гарнизон сдастся, выйдет с почестями и будет отправлен в Анкону за счет союзников. Но Сенявин отказал.

Его условия были другими: гарнизон сдается как военнопленный; при сдаче ему окажут почести.

— Соглашайся на их условия,— посоветовал ему турецкий офицер.— Они выйдут из крепости, а мои люди живо отрежут им головы!

— Это будет варварство! — брезгливо сказал Сенявин.

— Совсем не варварство, а военная хитрость...

Но Сенявин так посмотрел на турка, что тот поспешил отойти прочь...

Через день французы повторили свое предложение, но оно снова было отвергнуто.

Они попросили хоть немного смягчить условия.

Сенявин ответил: «Не могу ничего убавить!» — и приказал открыть сильнейший огонь.

Обстрел длился около часа. В самый его разгар показался флот — десять кораблей под русскими и турецкими флагами.

Сенявин встретил Ушакова на берегу.

Федор Федорович, осмотрев местность, написал коменданту письмо, убеждая его, что сопротивление бесполезно. На этот раз французы уже не упорствовали и подняли белый флаг...

Утром они начали сдавать оружие и выходить из крепости. Русские и турки стояли фронтом. Для объяснения с пленными прислан был Метакса.

Толпа вооруженных островитян напирала со всех сторон, и это беспокоило коменданта Миолета. Заметив его волнение, Метакса сказал:

— Не бойтесь! Ваша жизнь в безопасности, хотя вы сделали много зла населению и восстановили его против себя. В древности вас бы сбросили с Левкадской скалы и затем подвергли изгнанию. С вами так не поступят, но вы будете изгнаны из этой страны!..

Потом шестьдесят моряков заняли в крепости караулы, а остальные, окружив пленных, повели их на эскадру...

В это время в адмиральской каюте «Св. Павла» решалась судьба албанского города Парги. Прибывшие оттуда старшины явились к русскому адмиралу, умоляя его защитить город от Али-паши.

Седые старики, полные мрачной решимости, подали Ушакову грамоту, написанную от имени паргиотов и подтверждавшую их слова: Али-паша, вторгшись в окрестности Парги, истребил там все население; ту же участь готовит он горожанам, если они не признают над собой его власти; спасти их, писали паргиоты, может только переход в подданство русского царя.

Опять, как и в Занте, должен был Ушаков доказывать, что у него нет права приобретать для России новые земли и что в круг его действий входят лишь Ионические острова.

Но паргиоты не слушали, убедить их было невозможно. Они тянулись к Ушакову, вымаливая у него согласие, а один из них, самый древний, разодрал на себе одежду и закричал:

— Тогда мы перережем своих жен и детей, пойдем против Али-паши с кинжалами и будем драться, пока все не падем до единого! Пусть же истребится весь наш несчастный род!..

Федор Федорович молчал. Эти люди до того тронули его сердце, что на глазах у него навернулись слезы. Чтобы скрыть это, он нахмурился и начал шагать по каюте. Присутствующие молча наблюдали за ним.

— Хорошо!..— сказал он, подумав.— Беру на себя ответственность—принимаю Паргу под защиту соединенного флота!.. Пусть жители поднимут на крепости русский и турецкий флаги!.. Я пошлю туда гарнизон!..

Паргиоты вышли, благословляя русского адмирала и страну, пославшую его в эти воды. Но не успели они удалиться, как пришло известие о новом злодеянии, совершенном Али-пашою: этот тиран, заняв Превезу, арестовал русского консула, истребил всех пленных французов и намеревается казнить их жен и детей.

Ушаков вызвал к себе Метаксу и приказал ему отправиться в соседнюю с Санта-Маврой Превезу. Он должен был потребовать освобождения консула и пощады семьям французов.

Ушаков вручил Метаксе письмо для передачи Али-паше.

«Узнал я... — писал он, — к крайнему моему негодованию, что при штурмовании войсками вашего превосходительства города Превезы вы заплонили пребывавшего там российского консула майора Ламброса, которого содержите на галере ващей, скованного, в железах. Я требую от вас настоятельно, чтобы вы человека сего освободили немедленно и передали его посылаемому от меня к вашему превосходительству лейтенанту Метаксе...»

В тот же день Федор Федорович послал легкий крейсер в Палермо — известить Нельсона, что почти все Ионические острова освобождены.

Эти успехи были достигнуты в полтора месяца, без особых усилий и без потерь среди экипажа. Но с главной крепостью Ионии еще предстояло помериться силой — твердыня Корфу была впереди.

И Ушаков поспешил туда, чтобы как можно скорее начать осаду. На Санта-Мавре он оставил Сенявина, поручив ему устроить на острове управление и водворить тишину.

Четыре корабля и два фрегата уже были посланы в Корфиотский залив и прервали сообщение с Италией. Это была важная мера, так как французы готовились усилить гарнизон в Корфу.

Они еще цеплялись за Средиземное море, хотя уже потеряли его при Абукире. Но теперь оно окончательно от них ускользало.

Канцлер Безбородко был прав, когда в эти дни писал Воронцову: «Экспедиция Бонапарта исчезла, как дым».

ПРИ КОРФУ

Когда бы шведов так кормить,  
зело б изрядно было, а нашим я не  
вотчим.

Петр I

1

Катер под русским военным флагом прибыл в Превезу. Метакса и посланный Кадыр-беем турецкий чиновник сошли на берег. Спутник Метаксы — престарелый турок — вез Али-паше султанский фирман.

Никто не встретил их, не опросил. Береговая стража в красных фесках и шерстяных бурках не обратила на них внимания. Они поднялись в гору и углубились в одну из узеньких улиц, похожую на высохшее русло потока. По плоским кровлям домов разгуливали козы, а на дороге валялись трупы французов и греков — след недавней резни.

Солдаты Али-паши тащили на арканах уцелевших жителей и тут же продавали их по несколько пиастров за человека. Сохраняя безучастный вид, Метакса миновал сборище работорговцев и вышел со своим спутником к дому, где помещался Али-паша.

Здание это принадлежало французскому консулу и служило украшением города. Но консул уже был убит. Рослые арнауты<sup>1</sup> с саженными ружьями на плечах занимали караулы. На ступенях лестницы внутри дома стояли пирамиды из отрубленных голов французов и превезян, и это не обещало ничего хорошего впереди.

Метакса вступил в страшное логово с чувством полной своей незащитности; но твердо намереваясь сохранить достоинство, как бы с ним ни обошлись.

Паши не было в городе: он делал смотр коннице в окрестностях Превезы и должен был с часу на час вернуться. Прибывшим пришлось ждать...

Наместник султана, правитель Албании и Македо-

---

<sup>1</sup> Арнауты — турецкое название албанцев.

нии, Али-паша в своих огромных владениях держал себя как султан.

Это был человек умный и деятельный, коварный и необычайно жестокий. Во всех войнах Порты он выступал вспомогательное войско, но действовал с великим притворством и думал лишь о расширении своих границ.

Раболепствуя перед султаном, он готов был изменить ему в любую минуту. Во время русско-турецкой войны он вступил в переписку с Потемкиным; потом сблизился с Бонапартом, который одно время даже искал руки дочери Али-паши. В Стамбуле боялись, что албанский правитель объявит себя независимым. У него было сильное войско — пехота, конница, артиллерия; горные проходы Фессалии и Эпира находились в его руках.

Он был очень богат. Корабельные леса, добыча кораллов, рыбные промыслы и торговля невольниками приносили ему несметные доходы. В его хозяйстве трудились тысячи рабов-христиан.

Его называли Али-пашой Янинским, так как столицей своей он сделал Янину — город и крепость в албанских горах.

Он имел торговый флот — множество судов, ходивших в Триест и разные порты Италии. Эти торговые суда были в то же время корсарскими — Али-паша хотел сделать из Парги новый Алжир. Берберийские корсары состояли с ним в тайном союзе и уже готовились послать к нему опытных мореходов. Но Бонапарт, заняв албанские гавани, расстроил эти планы и возбудил против себя Али-пашу...

Пушечные и ружейные выстрелы возвестили о возвращении правителя. После этого ждать пришлось недолго. Не прошло и четверти часа, как Метаксу и сопровождавшего его турка допустили к Али-паше.

Их ввели в комнату, обитую парчой и малиновым бархатом. Правитель сидел на диване, окруженный целою свитою. Секретарь-итальянец что-то переводил ему из иностранных газет.

На паше была бархатная зеленая куртка, а поверх нее накинута соболья шуба; голову обвивала зеленая шаль. Он был плотный, среднего роста; борода и усы —



мягкие, темно-русые; блестящие черные глаза его бежали, и румянец играл во всю щеку.

Турок поцеловал его полу и стал на колени.

Метакса поклонился и произнес приветствие от имени адмирала.

Али-паша, встав, сказал:

— Добро пожаловать! — и принял из рук Метаксы письмо. — Как здравствует русский адмирал? — спросил он. — И тот ли это Ушаков, который разбил славного Саида-Али?

— Тот самый. — ответил Метакса. — Но он разбил не только Саида-Али, а и самого капудан-пашу Гуссейна.

Али-паша кивнул головою.

— Ваш государь знал, кого сюда послать...

Он распечатал письмо Ушакова и попросил показать, где его подпись. Затем отдал письмо секретарю, сказал, чтобы принесли трубки и кофе, и велел прочесть султанский фирман вслух.

Доставленный турком указ предписывал оказать русскому адмиралу помощь войсками и провиантом.

Во время чтения Али совершенно не слушал и не дал никакого ответа. Потом секретарь прочел письмо Ушакова.

— Хорошо! — сказал паша. — Я поговорю с офицером... — и пригласил Метаксу сесть рядом с собой. — Как надобно вас называть?

— Меня зовут Метакса.

— Вы грек?

— Мой отец родом с Кефалонии, а я родился на острове Кандии.

— Как вы попали в Россию?

— Отец отправил туда меня и двух моих братьев. Там мы были воспитаны в Корпусе чужестранных единоверцев и, окончив его, поступили на флот...

Слуги подали трубки и кофе в золотых чашечках.

Метакса пригубил и затем отхлебнул через силу — его преследовал трупный запах, и было противно до тошноты.

— Какое жалованье получаете вы? — продолжал правитель.

— Триста рублей в год, но, когда бываю в походе, мне выдают еще столовые деньги.

— Рейсы<sup>1</sup> на моих торговых судах получают до пяти тысяч пиастров.

— Торговые обороты и военная служба — разные вещи, — возразил Метакса.

Брови Али-паши выгнулись; румянец на щеках заиграл сильнее.

— Почему?!

— Ваши рейсы ищут корысти, а мы — славы и случая положить жизнь за отечество.

— Слыхали вы что-либо подобное? — обратился Али к своим приближенным.

— Нет, не слыхали, — отвечали они.

Метакса почувствовал, что это дает ему некоторое превосходство в беседе, и, чтобы еще больше утвердить его за собой, произнес:

— Быть может, шкиперы ваши имеют больше доходов, чем любой русский адмирал, но они целуют вашу полу и стоят перед вами на коленях, а я, простой лейтенант, сижу рядом с Али-пашою и этой чести обязан единственно российскому мундиру, который имею счастье носить.

Али захохотал. Речь Метаксы при всей ее независимости все же была паше приятна. Он потрепал лейтенанта по плечу и, перейдя на «ты», сказал ему:

— Нам много надо будет толковать с тобою!.. А сейчас ступайте оба кушать!.. После я позову вас, дам ответ и отпущу домой...

После обеда Метаксу пригласили для продолжения разговора.

Али-паша — в халате и красной феске — рассматривал «завоеванный» у французского консула телескоп. Не умея с ним обращаться, он сердился на своих слуг, считая, что они его испортили. Увидев Метаксу, он быстро сказал:

— Ваш адмирал худо знает меня и вмешивается не в свое дело! Я имею указ султана овладеть Превезой,

---

<sup>1</sup> Рейс — начальник, шкипер (турецк.).

Паргой и другими городами, а ваш адмирал мне препятствует!

— Вам стоит только прислать ему копию указа,— спокойно сказал Метакса,— и он не станет препятствовать вам ни в чем.

Глаза Али-паши забегали и стали как угли.

— Я никому не обязан сообщать султанские фирманы!

— Но иначе трудно будет разрешить вопрос...

Али посмотрел на Метаксу исподлобья.

— Что нужно от меня русскому адмиралу?!

— Он не хочет нанести вам ни малейшего оскорбления, но требует, чтобы вы освободили нашего консула и пощадили французов, вернее — их жен и детей.

— Зачем консул не убрался отсюда?!

— Он не частное лицо и как бы принадлежит целой России. Его особа неприкосновенна, и он не должен был уезжать.

— Хорошо!.. Я велю его освободить!.. Но пусть адмирал Ушаков отступится от Парги!

— Он этого сделать не может. Паргиоты никогда не были подвластны Порте. Они отдали себя великодушью обеих империй и подняли на стенах своих флаги союзных эскадр.

Али вдруг успокоился,— по крайней мере могло так показаться. Он положил Метаксе на плечо руку и вкрадчиво произнес:

— Я не пожалел бы двадцати тысяч червонцев. Я готов заплатить сейчас же...— И он пристально посмотрел в глаза лейтенанту.— Как сделать, чтобы уговорить адмирала?.. Скажи откровенно, кто у него всем ворочает? Кого он любит более всех?

— Адмирал наш,— сухо ответил Метакса,— всех одинаково любит. При этом заверяю вас честью, что поручение, о котором ваше превосходительство говорите, не взял бы на себя ни один русский офицер!

— Как же мне быть? Дай мне совет!— воскликнул Али-паша и уставился на Метаксу с искренним любопытством.

— Я не смею советовать вашему превосходительству. Вы славитесь своим умом, прозорливостью и, без сомнения, не захотите ссориться с адмиралом Ушако-

вым, ибо это навлечет на вас гнев султана. Вам необходимо примириться с адмиралом...

— Да я готов хоть сейчас!.. Ну, будь ты Али-паша, что бы ты сделал?

— Если бы я был на вашем месте, я освободил бы русского консула, пощадил пленных и не покушался на Паргу; кроме того, исполнил бы указ султанский и доставил союзному флоту провиант и людей.

Али по-детски рассмеялся.

— Да ты требуешь невозможного!.. Впрочем...— Он помолчал и сказал почти угрожающе: — Я обо всем подумую... Но пусть подумает и ваш адмирал!..

На этом беседа закончилась.

Метакса покинул Превезу с тягостным чувством. Для него было ясно, что Али-паша может оказаться опасней французов и что это доставит Ушакову много хлопот.

## 2

Холмы прорезали остров Корфу, одетые руном вечнозеленых деревьев. Осеннее небо расстилалось над ними, синее и чистое, как кристалл.

В городе Корфу было около тысячи двухсот домов, больших, каменных, тесно построенных.

Похояя на гигантский маяк, вздымалась на мысу Десидерио Старая крепость.

Сильнейшие укрепления защищали город. Венецианцы заложили их еще в XII веке. Они продолбили скалы, высекли подземные галереи, укрыли пороховые погреба в недрах горы.

Французы усилили оборону и сделали это с великим искусством: новые форты были устроены таким образом, что, если противник овладевал одним из них, он попадал под огонь остальных. Все крепости соединялись подземными ходами.

С моря город прикрывался крепостною оградой и островами Видо и Лазаретто. На Видо было построено пять батарей и сделаны засеки между ними, а доступ к острову — в удобных для высадки местах — преграждали боны (бревенчатые плоты, связанные цепями и укрепленные на якорях).

У французов было три тысячи солдат, шестьсот пятьдесят пушек и запас продовольствия на полгода. В порту укрывалась их небольшая эскадра: два корабля, фрегат и несколько мелких судов.

Крепость Корфу — одна из самых сильных в Европе — ни разу не уступала еще открытой силе. В течение столетий считалась она неприступной, и вот русский адмирал решил ее взять...

Вторые сутки шла блокада. Союзный флот стоял против острова Видо, охватывая его с севера, востока и юга плотным полукольцом кораблей.

Капитан-лейтенант Шостак с утра был вызван к Федору Федоровичу. Он сидел перед ним, рассказывая о Корфу, где ему только что удалось побывать.

Придя с передовым отрядом, он был послан в крепость парламентаром и с завязанными глазами доставлен к главнокомандующему, французскому генералу Шабо. Генерал принял его любезно. Узнав, что русские предлагают сдаться, он сказал: «Не вижу еще, кому сдаваться», — и так как на рейде было сильное волнение, уговорил Шостака провести в Корфу день. Он долго беседовал с ним о политике, о генерале Бонапарте, о необычайном русско-турецком союзе; потом угостил его роскошным обедом, а вечер провел с ним в театре, где шел балет «Вступление французов в Каир»...

Обстоятельно, со всеми подробностями, докладывал Шостак о своем пребывании в крепости.

Федор Федорович слушал, разбирая свежую почту. Распечатав несколько писем, он отложил их в сторону и взялся за сверток, обшитый холстиной и опечатанный сургучом.

— ...Французы надеются, — говорил Шостак, — что мы уйдем отсюда до наступления осенних штормов...

— Напрасно надеются, — сказал Ушаков.

— Также на англичан уповают — якобы не допустят нас взять Корфу.

— Что касается англичан, то крепость сия всегда им была приятна. Но, полагаю, мы с ними друзья...

Федор Федорович распорол холст и выпростал из него полированную шкатулку; сорвав висевшие на шнурке печати, он открыл ее и тотчас зажмурил глаза.

Свет, падавший в каюту из люка, вспыхнул на осыпанных брильянтами табакерках и перстнях, каким позавидовал бы султан.

Федор Федорович усмехнулся.

— Меня положительно делают дипломатом... Посланник Томара препровождает мне ларец сокровищ, дабы я одарил пашей турецких и тем заставил их нам помогать.

— А с турками иначе нельзя,— заметил Шостак,— они без бакшиша ничего делать не станут.

— Судя по Али-паше, это так...

— Французы толкуют, что он имеет виды на Корфу.

— Французы, разумеется, нас пугают. Но от Али-паши всего ожидать можно... Между прочим,— поспешно сказал Федор Федорович,— вы мне не сказали, какие корабли стоят в гавани.

— «Женерё» — из эскадры адмирала Брюэса, бежавший сюда после Абукирского боя, и английский «Леандр», захваченный капитаном «Женерё»...

В дверь постучали, и Метакса, не входя, доложил с порога:

— Ваше превосходительство! Жители острова желают говорить с вами!

— Зовите их!..— сказал Федор Федорович.— Да напомним командирам, что в час пополудни у меня военный совет!..

Как только белые флаги с синими крестами показались у Корфу, греки устремились на русскую эскадру. Они предлагали помощь против французов, готовые немедля идти на крепость. Их лодки сновали между берегом и «Св. Павлом», приставая к его борту по нескольку раз в день.

Среди них были рыбаки, виноделы, торговцы шерстью и оливковым маслом — греческая беднота и люди скромного, среднего достатка, но ни одного человека из местных дворян.

Это бросилось Ушакову в глаза и заставило его задуматься. Ему предстояло освободить Корфу и помочь жителям заново устроить свое государство. Он должен был хорошо разобраться, кто будет с ним и кто — против него...

Снова вошел Метакса, и чинно проследовали за ним корфиоты: черноглазые и усатые, в безрукавках, расшитых золотыми шнурами, с пистолетами, заткнутыми за цветные широкие пояса.

Они сдернули с себя круглые шапочки и поклонились адмиралу. Федор Федорович жестом пригласил их сесть.

Словно по команде, повернули они головы к самому старшему из них, в ожидании, что он скажет. Метакса был готов приступить к переводу. Грек взглянул на него, положил шапочку себе на колени и проговорил:

— Мы из деревни Мандукио. У нас было вдоволь овец и всяких запасов, но скоро ничего не останется. Французы грабят нас каждую ночь.

— Разве в крепости нет провианта? — спросил Федор Федорович. — Для чего они прибегают к фуражировкам?

— Провиант у них есть, но им нужно запастись его больше. Они не собираются от нас уходить.

— От вас зависит, чтобы они ушли скорее.

— Мы готовы помочь, чем только можем. Но одного страшимся... И хотим спросить об этом...

— Спрашивайте! Ежели смогу — отвечу.

— Как жить будем?! — угрюмо произнес грек.

— Когда станете вольными, сами изберете из своей среды правителей...

Но корфиоты зашумели и заговорили все разом, а самый старший из них покачал головой и сказал:

— Мы люди простые. Деды и прадеды наши жили под чужеземною властью и все же сберегли свою веру и свой язык. Но мы на острове не одни. Есть у нас люди, которые называют себя господами и хотят управлять нами. Они давно перестали быть греками и больше похожи на итальянцев. Многие из них владеют землями в Нижней Албании и теперь ожидают Али-пашу.

— Вот оно как!.. — протянул Федор Федорович. — Стало быть, дворянство не весьма довольно прибытием русского флота?

— Не знаю, — сказал старшина. — Самые важные, наверное, недовольны. Они никогда не бывают рады, если радуется народ.

— И вы боитесь, что по избавлении острова от французов...

Старшина не дал Ушакову закончить:

— Наши вельможи станут правителями и отдадут нас туркам. Они сами себя выберут, потому что у них много денег и они все могут купить!..

— Этого не случится! Я сам установлю справедливость!

— Дай бог! — сказал старшина. — Только дворяне от своего не отступят. А тогда кровь польется!.. У нас на это уже и сабли наточены и пули отлиты!..

И греки все как один повторили, что у них сабли наточены и пули есть.

Их простые, грубоватые лица нравились Ушакову, и он, глядя на них, думал, что эти люди твердо надеются на русскую эскадру и что на них-то ему и придется опереться в борьбе.

— Жители острова! — с силой сказал он. — Вверенные мне войска окажут вам помощь и защитят вас от неприятельских грабежей. Когда крепость падет и вернется к вам прежняя вольность, устройте вы у себя правление, и я помогу вам его установить. Вы — потомки древних эллинов, славных своим общежительством. Я надеюсь, что — насколько это возможно — вы возьмете с них пример.. А теперь возвратитесь на берег и неусыпно наблюдайте за крепостью! Не сомневайтесь ни в чем! Пока я здесь, вас никто не обидит! Даю слово!..

И Федор Федорович встал.

Уже входили созданные на совет командиры: Ратманов, Белли, Войнович — родственник Марко Ивановича, но, к общему удовольствию, ничем не похожий на него.

Греки поклонились адмиралу, надели свои шапочки и вышли. Метакса отправился их провожать.

— У нас сегодня малый совет, — сказал Федор Федорович, — однако дела мы будем решать большие. Я позвал лишь тех командиров, коим поручаю положить основание осады; но эти начальные действия должны подготовить ее успех.

Он подошел к переборке и остановился у карты, которую сам начертил накануне.



— Вот ключ Корфу! — сказал он, указывая на остров Видо и касаясь карты рукой.

— Добыть сей ключ штурмом! — подал голос юный голубоглазый Белли, командир фрегата «Счастливыи», слывший отчаянным смельчаком.

— Нет, — возразил Ушаков. — Мы должны от этого отказаться... Пока Видо не взят, крепость атаковать невозможно, но мы сейчас его брать не будем...

— Тогда время упустим, — заметил Белли.

— Да, но прежде всего должно подать помощь жителям, страдающим от грабежей гарнизона, и высаить десанты для прикрытия ближайших деревень.

— Это и крепость стеснит, — одобрительно произнес капитан-лейтенант Войнович, тощий, узкогрудый офицер с багровыми пятнами на щеках и орлиным носом.

— Именно стеснит, — подтвердил Федор Федорович, — надобно лишь получше выбрать места для батарей.

— У деревни Мандукио, на холме Монте-Оливето, — сказал Ратманов, самый высокий командир в эскадре — «долгий Макар», как называли его матросы. — Оттуда можно обстреливать Новую крепость, и берег там самый удобный, чтобы приставать гребным судам.

— Толково!.. — Федор Федорович поглядел на карту и поставил на ней угольком крестик. — Это будет северная батарея, пожалуй, важнейшая. С южной же стороны полагаю укрепиться у церкви святого Пантелеймона. — И он еще раз быстро черкнул угольком. — А теперь, — сказал он, возвращаясь к столу и опускаясь в кресло, — должен я открыть вам обстоятельства наши и все трудности, кои нам предстоят... Провианту мы имели на два месяца, и уже он на исходе; турки же закидали меня письмами со всеми этикетками, а хлеба не дают. Грозить и требовать не могу, ибо имею указ государя не становиться Порте в тягость, и должен полагаться на добрую волю разных пашей... То же и с людьми. Будь у меня хотя один полк войска русского, взял бы я Корфу с помощью жителей, которые одной только милости просят — чтобы ничьих других войск, кроме наших, к тому не допускать. Но полка у нас нет,

а брать эту крепость кораблями есть дело в истории войн небывалое! Стало быть, и тут завишу я от турок — пришлют они мне подмогу или нет...

— Пришлют, ежели их одарить хорошенько, — с усмешкой сказал Шостак.

— Не знаю, поможет ли, — возразил Федор Федорович. — Всему помехою Али-паша. Он людей дать не хочет и других пашей отговаривает — пишет им, что якобы сам явится ко мне с большим войском...

— Пригрозить ему! — горячо воскликнул Белли. — Одному кораблю подойти к Превезе, и делу конец!

— С Али-пашой так нельзя. Сей коварный и тонкий политик может навлечь на нас недовольство Порты. Он и так клеветает уже султану, будто мы присоединением эти острова к России, и ссылается в том на здешних дворян.

— Но ведь ложь его Кадыр-бей опровергнуть может! — воскликнул Войнович.

— Разумеется, да нужды нет; мне пока еще и без Кадыр-бея верят. Однако будет ли так и впредь, не знаю... Дворянство Ионических островов к Али-паше склоняется, идя против своего же народа. А мы приносим законность, водворяем спокойствие. Но как эти бедные люди после останутся и на каких правах — ума не приложу!.. Таковы обстоятельства наши, и чем далее, тем они будут все хуже. Посему вмению в обязанность... смеяться!.. То есть при всяком исполнении службы держаться бодро и весело — не давать людям унывать!.. Совет окончен! — объявил Ушаков усталым голосом. — Я забыл лишь сказать, что в порту стоит французский корабль, — глядите за ним в оба!

— Им командует человек отчаянной храбрости, — заметил Войнович, — капитан Лажуаль.

— Кто бы ни командовал, он не должен прорваться!

— Ваше превосходительство! — сказал Ратманов. — Посты вблизи французского корабля занимают турецкие суда.

— Что же из этого?

— На турок надежда плохая: все время дремлют безо всякой осмотрительности; у них из-под носа уйдет кто угодно.

— А вы за ними смотрите. Переменять суда я не стану, чтобы не обидеть турок. Вообще, господа, не забывайте, где мы находимся! Не ровен час — что переменится, они нас тут запрут!..

3

Все берега французских владений в Европе были блокированы. Английские эскадры действовали в разных местах. Они держались у побережья Голландии, блокировали Брест, запирали испанские корабли в Кадиксе. Главнокомандующим британскими силами в Средиземном море был Джервис (лорд Сан-Висент).

Эскадра Нельсона разделилась на три части. Одна из них стерегла остатки французского флота у Александрии; другая была послана для блокады Мальты; сам же он — всего с тремя кораблями — стоял в Палермо, озабоченный бедственным положением неаполитанского короля. Возобновив войну с Республикой, Фердинанд IV потеснил небольшие французские отряды и в ноябре торжественно вступил в Рим. Но французы, перейдя в наступление, быстро разбили его и заставили бежать в Неаполь, а оттуда — в Палермо. Нельсону пришлось спасти короля и его двор.

Английский адмирал испытывал досаду и недовольство. Силы его были распылены, события на юге Италии приковывали его к Сицилии. Между тем он считал для себя более важным участвовать в действиях у Ионических островов.

С борта корабля «Вангард» он любезно приветствовал Ушакова:

«...Спешу воспользоваться случаем, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение и уверить вас в счастье, какое ощущаю, находясь так близко к вам и трудясь вместе с вами для доброго дела наших государей...»

Но это не мешало ему в то же время писать в Константинополь, британскому послу Смигу, что русским нельзя позволить «занести ногу на Корфу» и что если допустят их утвердиться на Средиземном море, «Порта будет иметь порядочную занозу в боку».

Морского провианта в месяц на одного человека полагалось:

сухарей ржаных 1 пуд 5 фунтов,  
масла коровьего 6 фунтов,  
мяса соленого говяжьего 14 фунтов,  
круп 15 фунтов,  
гороху 10 фунтов,  
вина горячего 28 чарок.

На эскадре не было ни вина, ни гороху, ни круп, ни мяса, ни масла. Оставался лишь небольшой запас сухарей.

Ушаков в отчаянии писал правителю Морей — одному из тех, кто обязан был ему помогать:

«...Служители наши все неизбежно должны умереть с голоду; провианту у нас на эскадре нет, здесь достать невозможно и надежды не имею получить его скоро. При такой крайности прошу ваше превосходительство: буде нет провианта заготовленного, приказать от всех обывателей в Морее собирать печеный хлеб, сушить его в сухари и, сколько готово будет, наискорее прислать сюда. Я требую от вашего превосходительства именем Блистательной Порты и его султанского величества, чтобы непременно, во что бы то ни стало, доставили вы к нам нимало не медля сухарей, булгур, фасоль, водку или горячее вино...

По изготовлении сего письма пришло из Патраса одно купеческое судно, нагруженное сухарями, всего до 700 контарей<sup>1</sup>, они надлежат к Кадыр-бею, на Турецкую эскадру и, если он уделит нам половину, то на обе эскадры не более станет их, как на три дня...»

В середине декабря морейский паша начал присылать продовольствие — ячменные сухари и бобы, совершенно негодные в пищу. Сухари покрывала плесень, а бобы не разваривались, и получалась из них только черная, противная на вкус вода.

Люди питались сухарными крошками да лишь изредка покупали у жителей мясо. В дождь и слякоть трудились они на батареях, голодные, в не просыхающей ни днем, ни ночью одежде. Число больных увеличивалось с каждым днем.

<sup>1</sup> Контарь — старинная мера веса, равная 1½ пудам (около 25 кг).

Ушаков закупил на албанском берегу тысячу войлочных бурок и роздал матросам; бурки защищали от дождя и холода и служили одеялами во время сна. Эта мера спасла многих и облегчила положение десантных отрядов. С еще большим рвением выполняли теперь моряки приказы своего адмирала, разделявшего с ними общую долю лишений и трудов.

Сам он служил примером, был деятелен и весел,— во всяком случае, старался таким казаться. Среди своих и среди турок, на палубе и в адмиральской каюте его всегда видели одинаковым — бодрым, великодушным и неизменно прямым.

А время было нелегким. Много лежало на его плечах, доставляя досаду и беспокойство. Из Петербурга ему предписывали способствовать блокаде Мальты, а Нельсон настаивал на его появлении у берегов Египта. «Египет — главное, — писал он, — Корфу — потом».

Но Федор Федорович именно в Корфу видел наиболее важное дело. Он только сожалел, что нет у него войск, осадной артиллерии, мало зарядов и, главное, пуль ружейных. «А что есть ружье, — говорил он, — ежели нет в нем пули? — ничто!»

Турки же и вовсе не хотели идти в незнакомые воды. Правда, Кадыр-бей не посмел бы послушаться, но Федор Федорович хорошо знал, до чего это ему не по душе. Тихий, несуразно большого роста, этот человек безропотно повиновался Ушакову. Русский адмирал был для него загадкой, и он, встречаясь с ним, испытывал почтение и страх. Федор Федорович не возлагал больших надежд на турок, но он считал их резервом, который, при исполнительности Кадыр-бея, может быть полезен русским.

Однако не все турецкие начальники вели себя безупречно. Ушакову уже докладывали о контр-адмирале Фетих-бее. Это был грузный, ленивый и беспечный турок, никак не желавший понять, что такое приказ.

Он командовал большим быстроходным судном и стоял как раз против «Женерё», державшегося между крепостью и островом Видо. Беззаботность турка тревожила Ушакова, так как французский корабль явно готовился к бегству и затевал перестрелки, особенно по ночам...

Русская эскадра вся собралась. Прибыл оставленный на Санта-Мавре Сенявин; вернулся из египетских вод Сорокин. Пришло подкрепление из Севастополя: Павел Васильевич Пустошкин с двумя новыми кораблями и небольшим отрядом войск.

Осада велась с моря и с суши. Батареи были возведены к югу от крепости — у церкви св. Пантелеймона, и к северу — у деревни Мандукио, на холме Монте-Оливето; здесь — против фортов Сан-Абрамо и Санто-Роко — поставили тринадцать самых больших корабельных пушек, а против укрепления Сан-Сальваторе — семь мортир.

Под проливным дождем, обстреливаемые из всех крепостных орудий, отбивали моряки атаки французов. Крепость, стесненная с двух сторон, наступала: неприятель делал частые вылазки, но успеха не имел.

А голодали по-прежнему. То немного, что оставалось, было негодным, и матросы выбрасывали гнилой провиант в море. Федор Федорович долго терпел и наконец решил: послал визирю Порты «малое количество сухарей и бобов» — чтобы попробовал сам.

Французы знали, что люди Ушакова голодают, что у него слишком мало войск для десанта и что одним флотом крепость взять невозможно. Уверенные в этом, они, смеясь, говорили: «Русские хотят въехать в бастионы на своих кораблях».

## Глава пятнадцатая

### КОРАБЛИ ВСТУПАЮТ В БАСТИОНЫ

Балы Измаила высоки, рвы глубоки, а все-таки нам надо его взять.

*Суворов*

#### 1

«Порта так расположена к нехранению слова французам, — сообщал Ушакову посланник Томара, — что министры турецкие предложили мне писать к вашему превосходительству согласиться на выпуск из пристани Gènégeux и Leandre, настроив прежде эскадру Ту-

рецкую, чтобы она их взять или потопить могла. Как весьма трудно и, может быть, невозможно удержать от сего турок, то лучше, чтобы они сами заключали договоры или капитуляции с французами, нам же — устраняться, когда они обманывать хотят, и являться, когда договоры исполняемы быть должны...»

Но Ушаков не склонен был потакать туркам. У него был свой взгляд на это, и он имел твердое решение: не выпускать из порта запертых кораблей.

Они стояли между крепостью и островом Видо. «Женерё» вел себя вызывающе и при малейшем удобном ветре вступал под паруса. Капитан Лажуаль, делая вылазки и лавируя, нащупывал возможность прорваться в море. «Шарлатанствует! — спокойно говорил Федор Федорович. — Стреляет издали, не отдаляясь от крепости, и потом уходит назад!»

Но однажды, приблизившись больше обычного, «Женерё» подошел к адмиральскому кораблю и вступил с ним в бой. Дистанция все же оказалась порядочной, и «Св. Павел» мог доставать до противника только при наибольшем возвышении угла прицела. Несмотря на это, вскоре обнаружилось его явное превосходство, и Лажуаль возвратился в порт.

На «Женерё» была снесена кормовая галерея и сбит гик, так что флаг спустился. Ушаков отдал приказ: «Смотреть, чтобы неприятель под видом пустых заманок к бою не ушел из порта». Но Лажуаль присмирел и больше не выходил.

До конца января он не предпринимал никаких попыток к бегству. Но 25-го корфиоты дали знать Ушакову, что в следующую ночь, если ветер позволит, «Женерё» попытается уйти.

— Лажуаль, — сообщили они, — вычернил на своем корабле паруса, чтобы проскользнуть в темноте незамеченным.

Федор Федорович приказал приготовиться обоим своим батареям и всем кораблям усилить надзор.

Вечером 26-го подул крепкий береговой ветер. На турецких судах наступило время молитвы. Муэдзины с крийс-марсов призвали правоверных к намазу. Турки собрались на палубах, помолились и тут же, вповалку, улеглись.

Когда стемнело, сторожевой русский корвет показал сигналом, что из порта вышло военное судно. Тотчас последовал сигнал адмирала: «Идти в погоню и брать в плен!»

Это больше относилось к турецким судам, стоявшим в горле пролива, и в особенности к кораблю Фетих-бея: только он один не уступил бы французскому в легкости хода и, будучи впереди прочих, мог пересечь ему путь.

Сигнал был несколько раз повторен отдельно для Фетих-бея. Вдобавок, для большей верности, Ушаков послал к нему Метаксу.

Загорелся фальшфейер — условный знак, что из-под крепости вышел именно корабль Лажуалья. Вскоре послышалась пальба в проливе: это «Женерё», проходя, вел бой.

В несколько минут он прошел мимо эскадры. Черные паруса его сливались с мраком. Лажуаль миновал турецкие фрегаты, держа курс прямо на их мерцающие огни...

Шлюпка Метаксы подошла к кораблю Фетих-бея.

Взобравшись по трапу, лейтенант устремился на палубу и, шагая через тела спящих турок, разыскал каюту, похожую на конуру, куда надо было лезть ползком.

Он нашел Фетих-бея спящим и, разбудив его, передал приказ: немедленно идти в погоню. Тучный, заспанный турок приподнялся на своем ложе и сел, щурясь от света свечи.

— Я не берусь уговорить команду, — сказал он, зевая, — она ни за что не исполнит приказа.

— Как?! — недоумевая, переспросил Метакса.

— Наши люди не имеют провианта, давно не получали жалованья и, живя в разлуке со своими семьями, сильно ожесточены.

— Противник уходит! — сказал Метакса ледяным тоном. — Приказ надлежит выполнить без промедления!..

Но Фетих-бей зевнул так, что челюсти его затрепали.

— Француз бежит? Что ж тут плохого?.. Чем гнаться за ним, дуйте ему лучше в паруса!..



Метакса повернулся и кинулся из каюты. Очутившись в шлюпке, он приказал грести изо всей силы, торопясь доложить обо всем Ушакову. Но сделать что-либо было уже поздно. Время оказалось упущенным, и «Женерё» вырвался на простор...

Рано утром Федор Федорович вызвал к себе Фетих-бея. По присутствию Метаксы турок понял, что ему предстоит выдержать бурю. Но Ушаков встретил его радушно. Он усадил турецкого флагмана в кресло и велел подать кофе и халву.

Потом спросил его о здоровье, осведомился о состоянии корабля и команды и мимоходом заметил, что ветер ночью был очень силен.

Фетих-бей подтвердил, что ветер действительно был очень сильный.

Ушаков кивнул головою.

— Он даже помог ускользнуть противнику, коего вы не пожелали задержать!..

Фетих-бей опустил глаза.

Федор Федорович выпятил подбородок.

— Вы отказались исполнить приказ,— тихо сказал он.— Ежели подобное еще раз случится—повешу на ноке рея!..— И, придвинув к турку кофе, добавил:— Не обессудьте, почтеннейший Фетих-бей!..

## 2

«Крайняя необходимость понудила нас требовать войск албанских...— писал Ушаков Томаре на другой день после бегства «Женерё».— Ежели французы осилят Неапольское владение и приблизятся к Ионическим островам, то могут застать русских, атакующих Корфу,— при высадке десантов— и прорваться в крепость, которую тогда уже взять будет невозможно... Потому необходимо, чтобы теперь усилили нас войсками и чтобы они во всем мне подчинялись совершенно, не отговаривались бы ничем и были бы они снабжены провиантом, жалованьем и патронами; патронов надобно иметь каждому пять-шесть комплектов... Все такие остановки и замедления повергают меня в крайнее уныние. Я привык дела, мне вверенные, исполнять с поспешностью, а замедления всякие бедствия и худые

последствия наводят. Вот, милостивый государь, в каких обстоятельствах я теперь нахожусь».

Слог у Федора Федоровича был тяжелый. Не заботясь о его красоте, он стремился лишь ясно выразить свои мысли и делал это с тою же силою, с какою думал и говорил.

Обстоятельства его угнетали. Бегство французского корабля прибавило к ним новую горечь: из города поползли слухи. «Говорят, что мы подкуплены!» — докладывали ему командиры. Он отвечал, стараясь казаться спокойным: «Я знаю, кто это говорит...»

За крепостной оградой, в домах корфиотской знати, скрывался противник более опасный, чем французы. Люди, боявшиеся своего народа и того, что русские народу помогут, — это они распускали об Ушакове скверный слух.

Медлить было нельзя. Следовало торопиться: неприятель мог перебросить сюда свежие силы. Генерал Шампионе «осилил Неапольское владение» и образовал Партенопейскую республику. Федор Федорович еще об этом не знал. Но русский посланник в Неаполе уже требовал немедленной помощи королю Обеих Сицилий, а Павел все настойчивей упоминал о Мальте и недаром прислал Ушакову мальтийский крест.

Он писал ему в Корфу:

«По предложению с Нами английского и неапольского дворов для занятия Мальты равными силами назначили Мы туда два батальона сухопутных войск, коим и повелели быть в готовности в Одессе».

Мальта стала для Павла теперь важнее, чем все Ионические острова.

По просьбе «благонамеренных членов ордена» Павел объявил себя его великим магистром, а местом пребывания орденового капитула — Петербург.

Отныне орден, возглавляемый императором, должен был вдохновлять дворянство всей Европы на борьбу «с идеей равенства» и революционным «разворотом умов».

Мальтийский крест, включенный в государственный герб, появился на всех казенных зданиях столицы. Мальта сделалась знаменем русского царя.

Не забывая и о делах «домашних», он принял меры

для охраны внутреннего порядка: ввел строгую цензуру, запретил французские моды и упряжь, изгнал из печати слово «гражданин»; вместо него было повелено писать: «купец» или «мещанин».

Генералу Герману, посланному с русским корпусом для оказания помощи Австрии, он предписал: «Остерегайтесь, дабы войска Наши чрез сообщение с жителями не заразились духом пагубной вольности и по окончании войны не внесли с собою искры сего пламени в пределах империи Нашей».

Наконец он примирился с Суворовым. Великий полководец был назначен предводительствовать русско-австрийскою армией, чего усиленно добивался венский двор...

Между тем положение «главной силы империи», то есть крестьянства, оставалось прежним. Новый император так же щедро «жаловал» дворян населенными землями, как это делала и его мать. Во время одной только своей коронации Павел I роздал около двухсот тысяч душ. Современники метко называли эту раздачу расхватакою. Иногда самый ничтожный повод заставлял императора дарить тысячи и десятки тысяч душ.

Однажды, во время парада, Павел отдал какое-то приказание генерал-майору Каннабиху, одному из своих гатчинских служаек. Генерал прищипорил коня и помчался исполнять «повеление», причем в этот момент у него свалилась с головы треуголка. «Каннабих! Каннабих!..— закричал император.— Шляпу потерял!» — «Голова тут, ваше величество!» — продолжая скакать, ответил Каннабих. «Молодец!..— вырвалось у Павла.— Дать ему тысячу душ крестьян!..»

### 3

Александр Радищев, живший под надзором полиции в деревне Немцово, под Малоярославцем, в сущности, отбывал вторую ссылку в незначительном отдалении от Москвы. Совесть «истинного сына отечества» по-прежнему не давала ему покоя, так как дух его не сломился в Илимске, и вопрос о порабощенном русском крестьянстве оставался для него основным.

Он не мог не думать об этом, не мог не записывать своих мыслей; но было опасно излагать их открыто — как в «Путешествии из Петербурга в Москву».

Радищев придумал невинную форму — научное описание собственной своей «вотчины». С виду это была картина помещичьего хозяйства, а на самом деле — хозяйства крестьянского, и притом — типичного для средней русской полосы...

Весну 1799 года Радищев встречал в лачуге. Сквозь худую соломенную крышу, прямо на стол, текла струйкой вода. Из окна был виден большой яблоневый сад, погибший от мороза; за ним — высокая роща и на пригорке — развалившийся каменный дом; отстроить его не было средств.

«Прямо против двора, при въезде, — начинал описание своей усадьбы Радищев, — стоят три березы, современницы моего детства, кои напомнили мне о беззаботном начале жития человеческого и нередко о горестном оною окончании».

За Немцовом «с деревнями» числилось 360 душ обоего пола и 1500 десятин с санными покосами и рощами, но земля была глинистая; если ее не пахали, порастала щавелем и елкою и лишь при сильном удобрении могла производить хлеб.

Немцовские крестьяне после покоса и жатвы обычно уходили на Украину — в пильщики и для выделывания овчин. В селе оставались женщины, пряли лен и шерсть, валяли сукно: черное и смурое — на зипуны и кафтаны, белое — на онучи; ткали холсты, полотенца с красными каймами, короткие шерстяные юбки (паневы), оборы для лаптей и пояса.

Радищев ставил новый для своего века вопрос — о «соразмерности нашего скотоводства к земледелию» и высчитывал, что 360 душ его крестьян при 150 лошадях и 700 десятинах пашни могут удобрить навозом лишь седьмую ее часть. «Какое бедственное хлебопашество!..» — восклицал он.

Но бедственным было и скотоводство.

«Жеребцов в селении нашем нет, — писал Радищев, — и кобыл очень мало, а потому и жеребят...

Прокормление их таково, что жеребенок худо вырасти может, ибо во всю зиму лошади опричь месива

ничего не знают... Итак, солома яровая, а в недостатке и ржаная, есть главный зимний корм...

Быков держат в селении нашем случайно; коровы есть в каждом дворе. Скотина вся малорослая и нехорошей породы...

Летом все пасутся в общем стаде, сперва около лесов, потом по паровому полю, а после жатвы по жнивам и луговинам. Зимой скотину кормят яровой соломою, отелившихся коров только сеном; при таком худом корме скотина тоща, молока дает на самую нужду...»

Жалкими были земледельческие орудия, употребляемые в центральных областях России, бедственными — способы возделывания земли.

«Землю пахут сохою о двух сошниках,— продолжал Радищев,— гораздо тупых, да и нужды нет, чтобы были очень острые, ибо земля столь тоща, что мало травы производит». Далее он описывал борону с деревянными зубьями из еловых сучьев, серп, косу и делал вывод: «...такими бесхитростными орудиями возделывается у нас земля...»

Столь же безотрадную картину представляло огородное хозяйство:

«...Полют негодную траву руками; насажденные вновь плоды поливают,нося воду или руками, или из колодезя ушатами или кувшинами, ибо мимоходом сказать можно, что вёдры в селении моем неупотребительны».

Так, «мимоходом», показывал Радищев крестьянскую нищету.

И так же, будто невзначай, он вдруг изменял спокойному тону своего «ученого трактата» и с прежней страстностью автора «Путешествия» взывал к русским крепостным: «Блаженны, блаженны! — если бы весь плод трудов ваших был ваш. Но, о горестное напоминание! Ниву селянин возделывал чужую и сам, сам чужд есть, увы!..»

А за тысячи верст от Немцова, вблизи вечнозеленых берегов Корфу, готовились к героическому подвигу — штурму сильнейшей в Европе крепости — «чуж-

дые» самим себе русские крепостные — гренадеры и моряки.

Поле решающих битв перемещалось в Италию.

Ушакову надо было брать Корфу немедленно, иначе французы грозили сковать его силы, а русские корабли могли понадобиться в других местах.

Но у него было все так же мало людей и припасов. Он забрасывал Али-пашу просьбами, но тот лукавил, любезно отвечал на письма, а помощи не присылал.

Ушаков стал требовать. В его посланиях появился оттенок угрозы. Тогда Али признался, что у него есть причина не доверять русским. «Адмирал,— писал он,— должен сражаться против флота, а не осаждать крепостей и брать острова».

Это был упрек, попытка обвинить Ушакова в тайном захвате Ионических островов.

Федор Федорович решил добиться своего любым способом, пустив в ход все средства, и написал Али-паше письмо.

Требуя спешной присылки четырехтысячного отряда и обещая щедро оплатить эту помощь, он настойчиво просил дать ему тот или иной ответ:

«Ежели же вы помогать нам не будете, то скажите нам наотказ, тогда мы станем собирать отовсюду людей, откуда только возможно. Я последнего прошу от вас благоприятства: скажите нам одновременно — будете вы нам помогать или нет?..»

Он поручил Метаксе доставить письмо и вместе с ним ценный подарок. Но прежде, чем запечатать пакет, приписал несколько строк:

«Я послан помогать только Блистательной Порте Оттоманской и здесь — помощник, а не хозяин; послан я с кораблями воевать против флота неприятельского, а против крепостей воюю по случаю открывшихся обстоятельств, и сие не делает мне бесчестья, что я выгодно из крепостей французов и тем обезопасываю места...»

Паша находился поблизости, на северном берегу пролива, отделяющего Корфу от албанского побережья. Он явился туда с сильным отрядом и захватил рыбные промыслы корфиотов. Ушаков знал об этом, но решил ему не мешать.

Метакса нашел его на бриге у селения Бутринто. Письмо не вызвало у Али никакого интереса, но подарку он обрадовался, как ребенок. Это была табакерка: изумруды и брильянты составляли на ней букет цветов.

— Все пойдет на лад! — воскликнул он, любуясь табакеркой, и приказал готовить ответные подарки.

Метаксу нагрозили двумя узлами; в них были серебряные вещи: рукомойник, таз, поднос, кофейник; шелковые кушаки и двенадцать турецких чашек. Паша сказал, что пришлет своего сына уговориться с адмиралом по поводу войск...

Он сдержал слово. Его сын на другой же день прибыл на корабль русского адмирала. Переговоры закончились быстро; все действительно пошло на лад.

Потом один из офицеров отправился в Бутринто звать правителя в гости к Ушакову. Али долго отнекивался, говоря, что боится, как бы турки его не убили, но в конце концов уступил.

Вечером он поднялся на палубу «Св. Павла». Ему были отданы почести адмирала. Ушаков представил паше турецких флагманов, и они целовали его полу. После трубок, варенья и кофе Али осмотрел корабль при свете фонарей.

## 5

От сосновой переборки исходил смолистый дух русского леса. Федор Федорович не дал в Севастополе окрасить каюту, — он любил чистое, гладко обструганное дерево, считая его самым приятным для глаз.

Свежий тес, в особенности когда каюту накаляло зноем, распространял запах скипидара, и этот стойкий, родимый запах суши Ушаков возил с собой по морям.

Он любил также медь, и она блистала на корабле, как и в доме его, на берегу Севастопольской бухты. Полоса меди была прибита к порогу; к стене привинчены медные крючки для одежды; чернильный прибор на столе и подлокотники кресла были медные, и морской сундук громадных размеров окован медью по углам.

Федор Федорович трудился. Чисто выбритый, отчего у рта резче обозначились легшие за последний месяц складки, он склонял над бумагами утомленное, но все еще моложавое лицо.

Перед ним лежали переведенные Метаксой основные законы Венецианской республики. Он изучал ее государственное устройство, ибо такое же точно устройство (до прихода французов) имели Ионические острова.

Он искал опоры, чтобы начертать «план правления» освобожденных островов, уверенный, что и Корфу скоро станет свободным. Он обещал корфиотам помочь в этом деле, дал слово установить справедливость и готовился его сдержать.

В каюте пахло сосною, а через открытый люк проникал еще какой-то другой, пряно-горьковатый запах. Его приносило с берега февральским ветром. Это по всему острову цвел миндаль...

Уже на судах из Бутринто прибывали арнауты. Али-паша согласился прислать две тысячи человек. Смуглые, сильные, в алых фесках, камзолах с серебряными латами и войлочных бурках, они имели вид горцев. Все это были воины, неутомимые в походах, отличные стрелки.

Но Ушаков решил лишь в крайнем случае воспользоваться этим резервом. Он не хотел быть обязанным ни туркам, ни Али-паше. С турками Федор Федорович был теперь более обычного сдержан. Ни слова упрека, никаких понуждений турецким флагманам! Он стал осторожен. Тонкие сети готовились для него в Стамбуле. Порта и так была недовольна им.

Случай с Пустошкиным явился первым сигналом: его два корабля, с которыми он пришел к Ушакову, долго стояли в Босфоре, — их, несмотря на договор, не хотели пропускать. Впрочем, договор был словесным. Только 23 декабря 1798 года скрепили его на бумаге и наконец пропустили Пустошкина. Россия и Турция впервые договорились о совместной обороне Прсливов от общего врага.

Надо было спешить. Русско-австрийские войска еще не начали наступать в Италии, и на юге дела шли все хуже. Ушаков уже знал, что занят Неаполь и что король оттуда бежал.



Королевский министр Антонио Мишру прибыл к союзной эскадре просить об оказании помощи Фердинанду, Федор Федорович ответил, что сможет помочь флотом только после того, как крепость падет.

А пока приходилось беречь заряды, и батареи молчали, не нанося вреда неприятелю. «Недостатки наши во всем беспредельны!» — жаловался Ушаков.

И все же, несмотря ни на что, он был совершенно уверен в победе. Его люди еще готовились к штурму, еще было неизвестно, чем завершится дело, а он уже писал конституцию нового государства — «План правления на освобожденных от французов островах».

## 6

Семнадцатого февраля 1799 года Ушаков отдал приказ по эскадре:

«При первом удобном ветре от севера или северо-запада, не упуская ни одного часа, намерен я всем флотом атаковать остров Видо; расположение кораблей и фрегатов, кому где находиться должно, означено на планах, данных господам командирам...»

Штурм был намечен на 18 февраля.

Но еще за два дня до срока Федор Федорович решил не беречь больше зарядов и вести непрерывный огонь с новопостроенных батарей. Возведенные на острове св. Пантелеймона, они подавили огонь орудий на куртине, соединявшей Старую крепость с Новой. Все строения Старой крепости были разрушены, и французам пришлось перейти в казематы, чтобы укрыться от ядер и бомб.

Этот обстрел встревожил главнокомандующего французскими силами на Корфу — генерала Шабо, и он сделал попытку — на всякий случай — снискать расположение Ушакова. По его приказу несколько офицеров отправились на русскую эскадру и доставили на нее пленных — русского консула с острова Занте и его секретаря.

Ушаков отнесся к этому настороженно: за вежливостью противника могло скрываться и соглядатайство. Однако французов встретили ласково, их пригласили к столу и затем отпустили назад...

Двенадцать кораблей и одиннадцать фрегатов были главной силой Ушакова.

Но войск было мало; вовсе отсутствовали осадные пушки.

И он решился на самое опасное дело — бросить на штурм флот.

Морской устав разрешал «иногда, когда того необходимость потребует, подводить под крепостные стены даже линейные корабли».

Но это был риск смертельный, грозивший такими потерями, что на него не отваживались еще адмиралы. С другой стороны, атака флота могла оказаться и очень успешной. Береговым батареям нельзя было выдержать такой поединок: любая из них уступала в силе бортовому залпу одного корабля.

Остров Видо, гористый и покрытый лесом, господствовал над крепостью и над городом. Этот ключ Корфу, сразу же правильно оцененный Ушаковым, имел сильную оборону из пяти батарей...

Вторые сутки дул северо-западный штормовой ветер.

Федор Федорович, созвав военный совет, сообщил флагманам и командирам свой план действий: атаковать Корфу и Видо сперва с моря, а затем уже самую крепость — с суши; чтобы связать главные силы французов и не дать им возможности перебрасывать десанты на остров, — одновременно открыть огонь по крепости с возведенных на берегу батарей.

Западнее города, в порту Гуино, находилось старое адмиралтейство. Порт был занят Ушаковым еще в начале осады, и там ремонтировались союзные корабли. Теперь там снаряжались гребные суда, днем и ночью шла подготовка к десанту. Отряды морских солдат и матросов готовились к штурму на берегу.

Они возвели укрепления, в точности похожие на бастионы острова Видо, насыпали вал, вырыли траншеи и рвы.

Ушаков распорядился работами, присутствовал на ученье, показывал, как устраивать мосты из досок и лестниц; люди учились перетаскивать через рвы десантные пушки, упражнялись в стрельбе и штыковом бою. Так повторялся опыт Измаила.

Рядовых Федор Федорович сам обучил делу, командирам он дал письменный наказ:

«Гребным судам с десантом промеж собой не тесниться и для того посылать их не все вдруг, а одно за другим. Передовые должны очищать дорогу по берегу, рытвины тотчас забросать землею или чем только возможно... Лестницы и доски могут служить мостами для переправы через выкопанные канавы и рвы... Вместо знамен иметь с собою флаги; флагов же иметь с собою до десяти и их поднимать на взятых батареях... Господам командующим пушки, снаряды, лестницы, доски, топоры, лопатки, веревки иметь в готовности положенными на гребные суда...»

Им было предусмотрено все, до последней мелочи.

Его целью было навязать противнику план штурма, подчинить своей воле весь ход действий. И он составил особые сигналы для атаки Видо и Корфу. Их было сто тридцать два.

## 7

Утро 18 февраля<sup>1</sup> стало утром штурма. Ветер дул прямо на остров Видо. От небольшого волнения тонкая пена покрывала Корфиотский залив.

Двухдневный шторм уничтожил боны, преграждавшие подступ к островным бухтам; цепи разорвало, а бревна прибило к берегу, и теперь ничто не мешало высадить десант.

На рассвете Ушаков поднял сигнал:

«Приготовиться идти атаковать остров!»

Тотчас из порта Гуино вышли лодки и приблизились к кораблям и фрегатам. Суда взяли их к себе на бакштовы<sup>2</sup>, и лодки стали у противоположных берегу бортов, укрытые от огня вражеских батарей.

Ушаков взмахнул рукой, и со «Св. Павла» ударила сигнальная пушка. Мгновенно молнии блеснули на обеих русских батареях — огонь открылся против всех укреплений Корфу.

<sup>1</sup> 1 марта нового стиля 1799 года.

<sup>2</sup> Б а к ш т о в — конец, выпускаемый с кормы стоящего на якоре судна для крепления за него шлюпки.

Затем один за другим последовали сигналы флоту:

«Атаковать остров Видо!»

«Подойти на картечный выстрел!»

«Стать на якорь шпрингом<sup>1</sup>, чтобы удобнее действовать в желаемые места!»

подавая пример, «Св. Павел» первым направился к острову, и тотчас же понеслись в атаку два фрегата. За ними двинулся и весь флот.

Ушаков приблизился к первой батарее, осыпал ее градом ядер, затем подошел ко второй и также дал залп. Он стал против третьей на картечный выстрел, развернувшись к берегу бортом. Так же разворачивались и другие русские корабли, занимая места, которые назначил им адмирал.

Только турки держались в отдалении, не умея быстро повернуться на шпринге. Ушаков знал об этом их недостатке и поставил их во второй линии, позади своих кораблей.

Атакующие суда с трех сторон охватили остров.

За восемь лет до этого такой же дугой атаковала русская флотилия батареи Измаила.

Но она шла на веслах. То были лодки, барказы, катера, лансоны.

Против Корфу же начал действия большой флот.

Французы растерялись. Затем они кинулись к каленым ядрам. Однако средство это не оправдало надежд.

Чтобы накалить ядро до нужного — вишневого — цвета, требовалось никак не менее часа. Ядер было заготовлено много, но стрельба ими велась медленно. Кроме того, в ствол орудия приходилось класть пыжи из мокрого сена, а от этого порох часто сырел.

Противник не успел выпалить по второму разу, как фрегаты засыпали его картечью. При этом русские суда также терпели от огня. С высоты уже били по ним тяжелые крепостные пушки, а каленые ядра вызвали на фрегатах несколько пожаров. Атака замедлилась,

<sup>1</sup> Шпринг — завезенный с кормы верп, то есть малый якорь; шпринг завозят для того, чтобы при любой перемене ветра или течения удержать судно повернутым бортом в желаемом направлении.

но с адмиральского корабля следили за всем зорко. «Невзирая на опасность, производить действие!» — поднял сигнал Ушаков.

Канонада усилилась. Флот сразу же грозно возвысил голос. Не прошло минуты, и пространство над морем уже все стонало. Воздушные дуги летящих бомб устилались искрами, едва заметными в свете наставшего дня.

«Сбивать стены и укрепления!» — взвился новый сигнал адмирала. И зелень кустарников на берегу вмиг побелела, засыпанная вихрем щебня и пыли. Залпы кораблей ударили по батареям, сбивая с них камень, людей и пушки, обрушивая глыбы скал.

На «Св. Павле» перекликались боцманские дудки. Со всех трех палуб тянуло терпкой пороховою гарью. Люди привычно и быстро чистили стволы, закатывали ядра и наводили. Сизый туман стоял вокруг них.

Федор Федорович ходил по верхнему деку и бросал отрывистые указания комендoram:

— Уменьшить пороху, чтобы выстрелы брали ближе!.. Поднять орудие, чтобы ядра далее шли!..

Вдруг он заметил, что одна из пушек все время стреляла по какой-то ложбине, где совсем не было батарей. Он отыскал наводчика и остановился подле него, наблюдая. Комендор был из новых — «пустошкинский», — недавно прибывший и взятый на корабль адмирала. Ни фамилии, ни имени его Ушаков не знал.

Матрос работал с азартом и уверенностью человека, отлично изучившего свое дело и не смущающегося тем, что за ним следят.

Ушаков смотрел на него и все более убеждался, что видит этого человека впервые. У него были светлые брови и волосы и лицо белое, уже начинавшее припухать от голода; фуфайка зеленого цвета и парусинные брюки в заплатках; шея повязана черным бумажным платком.

— Замечаю: выстрелы недействительны! — строго сказал Федор Федорович. — Ты для чего же по пустому месту стреляешь?!

Матрос замер и вытянулся. Глаза его блеснули; они были синие, со слезой.

— Никак нет, ваше превосходительство! Я палю в те места, где можно угадать укрывшегося неприятеля!..

— Молодец!.. Прозорлив!..— сказал Федор Федорович и пристально посмотрел наводчику в глаза...

Когда он вышел на шканцы, его встретил Метакса, исполнявший обязанности флаг-капитана.

— Командиры Сенявин, Войнович и Шостак,— озабоченно доложил он,— ведут сильный бой с пятою батареей и французскими судами «Ла-Брюн» и «Леандр».

— Опросите их, нельзя ли подойти к батарее на самое близкое расстояние и сбить оную? Тогда корабли неприятельские будут открыты... Пусть отвечают: красный флаг на грот-брам-стеннге, означающий «да», то есть «можно», и тот же флаг — на фок-брам-стеннге, ежели нельзя!..

Через несколько минут командиры были опрошены и ответили: все корабли подняли красный флаг на грот-брам-стеннге, означающий «да»...

Приближался решающий миг высадки.

Атакующие посылали залп за залпом. А турки по-прежнему держались во второй линии, стреляя изредка в промежутки между русскими кораблями или через них.

Ушаков хмурился и качал головой, когда, почти касаясь верхушек мачт, низко пролетали турецкие бомбы. Внезапно глухие удары сотрясли корабельный корпус: это союзный фрегат, стоявший за «Св. Павлом», всадил в его борт два ядра.

— Нас атакуют?! — насмешливо сказал Федор Федорович.— Бесподобно!..— Он погрозил кулаком турецкому судну и поднял сигнал: «Не в то место стреляешь! Осмотрись!»

Было одиннадцать часов. Ушакову доложили, что пушки с батареей острова сбиты. Последовал приказ — начать высадку, и люди кинулись на барказы, шлюпки и катера.

Жители заранее указали Ушакову удобные бухты. Шлюпки двинулись вперед под прикрытием барказных и корабельных пушек, удачно пристали там, где было нужно, и гренадеры подполковника Скипора, составившие основную силу десанта, в одно время с матросами, быстро вышли на берег сразу в трех местах.

С барказов по сходням спустили орудия, и потерь при этом почти не было. Утонула лишь одна медная пушка — из тех, что султан прислал на эскадру, когда она стояла в Буюк-дере.

К удивлению всех, турки с охотой пошли в атаку. Они прыгали с лодок и по пояс в воде бежали к берегу, держа сабли над головой и кинжалы в зубах.

В трех местах начался бой за батареи. Ушаков, припав к подзорной трубе, следил за штурмом. Перед ним мелькали дымки выстрелов, круглые шляпы русских матросов, треуголки и высокие меховые шапки французов.

— Умножить десант! — приказал он флаг-капитану, видя, что отряды высадились и уже ведут бой.

Он управлял штурмом Видо и в то же время — действиями против крепости Корфу. Хриплым голосом произносил он слова команды, и сигналы следовали один за другим:

«Стрелять по кораблям!»

«Стрелять в Старую крепость!»

«Стрелять в Капо-ди-Сидерио!»

«Умножить десант!»

На одной из батарей взметнулось полотнище русского флага.

— Умножить десант более и более!.. — последовал приказ Ушакова.

И цветные флажки сигнала мгновенно передали приказ судам...

Две тысячи человек высадились на острове Видо. Это было не много против пяти батарей и сильного гарнизона. И все же к двум часам дня почти все батареи были взяты, хотя морякам пришлось штурмовать каждый камень, брать каждую щель.

Тогда последовал сигнал о начале общей атаки, и находившиеся на Корфу войска с лестницами и фашинами устремились на штурм.

Их первый приступ был отбит. Но высаженные с кораблей десанты позволили усилить натиск, и моряки овладели бастионами Санто-Роко и Сан-Сальваторе. Неприятель перебежал в Сан-Абрамо. Однако в поясе внешних укреплений этот форт был последним. Взяв

его, русские заставили противника укрыться в цитадели и тотчас атаковали город с северной стороны.

Теперь и жители приняли участие в сражении. Они кинулись на французов, помогая завершить бой.

Корабли вступали в бастионы.

Моряки и солдаты, усталые и голодные, утверждали бессмертную русскую славу, вступая в твердыню, которую никто еще никогда не брал.

В клубах дыма и пыли лежал перед ними Корфу. А на шканцах «Св. Павла» стоял хмурый, озабоченный человек, к которому сходились все нити этого небывалого штурма. Он видел все — большое и малое, обнимал совокупность действий войск и флота и постепенно обретал уверенность, что штурм идет к концу.

Со времени Измаила жили в народе солдатские слова о Суворове, — о том, что он будто бы «командует палочкой и ею передает войскам свою силу». Федор Федорович, может быть, и не слышал об этом и уж конечно не думал, что та же «палочка» — в руках у него самого.

Корабельная артиллерия продолжала громить цитадель Корфу.

Остатки французского гарнизона на острове Видо сдались. На всех батареях были подняты русские и турецкие флаги. Тогда турки начали резню.

Они брали французов в плен, тащили на берег и, несмотря на крик: «Пардон!», отрезали им головы. Русские отдавали туркам последние свои деньги, спасая пленным жизнь.

Но число жертв росло. Тогда русские моряки, построясь в каре, поставили сдавшийся гарнизон в середину и оттеснили своих союзников, направив на них примкнутые штыки...

Пушки палили. Приближался рассвет, но еще было темно. Три французских офицера вышли из Старой крепости. Один из них держал факел, освещая дорогу, другой — белый флаг.

Русский катер помчал их к «Св. Павлу». Офицеры взошли на корабль. Их провели в каюту главного коман-



дующего. Федор Федорович, утомленный, рассматривал карту, держа в руке свечу.

Офицер подал письмо. Оно было без конверта и написано наспех косым, нетвердым почерком — рука писавшего, видимо, дрожала:

«Господину Федору Ушакову, командующему русским флотом.

Господин Адмирал!

Мы полагаем, что бесполезно подвергать опасности жизнь стольких храбрых русских, турецких и французских воинов в борьбе за обладание Корфу. Поэтому мы предлагаем вам перемирие на срок, который вы найдете нужным, для установления условий сдачи этой крепости.

Главный комиссар Дюбуа.  
Дивизионный генерал,  
главнокомандующий французскими силами Шабо».

Усталость сошла с лица Ушакова. Он положил перед собой письмо и сказал с усмешкой:

— Я всегда на приятные разговоры согласен...

И последний сигнал взвился на «Св. Павле»:

«Прекратить и более не стрелять!»

## Глава шестнадцатая

### РЕСПУБЛИКА СЕМИ СОЕДИНЕННЫХ ОСТРОВОВ

Русские пришли не владычествовать, но охранять.

Ушаков

«Имею честь сообщить вашему превосходительству, — доносил посланнику Томаре Федор Федорович, — что крепости острова Корфу пали под натиском соединенных эскадр, только что сдались. 18 этого месяца мы приблизились к Видо, после сильного обстрела сделали

десант и приступом взяли его почти без потерь наших храбрых войск... Мы также взяли приступом сильно укрепленный остров св. Сальватора, самый важный для внешней обороны. На другой день оба командующих крепостью предложили мне капитуляцию, которая была нами установлена по истечении 24 часов. Посылаю вам копию с нее и письмо командующих. Подробности вы узнаете позже. Сейчас я слишком занят...»

«Завоевание островов Эгейских<sup>1</sup>,— отвечал Томара Ушакову,— довершенное вами без армии, без артиллерии и, что больше, без хлеба, представляет не токмо знаменитый воинский подвиг, но и первое в столь долговременную войну отторжение целого члена Республики, наименовавшейся единою и нераздельною».

Выразил свои чувства и Нельсон:

«От всей души поздравляю ваше превосходительство со взятием Корфу и могу уверить вас, что слава оружия верного союзника столь же дорога мне, как и слава моего государя».

Император прислал Ушакову патент на чин адмирала; Фердинанд IV—ленту св. Януария; султан Селим—высшую награду Порты, «челенг»—алмазное перо из своей чалмы.

Но все это мало радовало Федора Федоровича. Было слишком много неприятностей и еще больше хлопот.

Албанский правитель по-прежнему досаждал Ушакову.

Хотя русские одни вынесли на себе всю тяжесть штурма, Али-паша не намерен был с этим считаться. Он хотел быть участником взятия крепости и все захваченное в ней делить с русскими пополам. Зная о бедствиях союзного флота при Корфу, он распустил слух, что посылает на остров десятитысячное войско. Но Ушаков известил Порту, что сочтет действия Али-паши бунтом и прикажет топить все его военные суда.

Покоя не было. В повседневной борьбе растрачивались силы.

Приходилось спорить с турками о трофеях. А их было много: более пятисот пушек, пять с половиной

---

<sup>1</sup> Томара называет Эгейскими Ионические острова.

тысяч ружей, корабль, фрегат и восемнадцать разных судов.

Турки взяли себе львиную долю и еще жаловались на корыстолюбие Ушакова. Принужденный оправдываться, он писал Томаре, едва сдерживаясь от гнева: «Не интересовался нигде ни одною полушкой. Я не живу роскошно, потому и не имею ни в чем нужды».

Но больше всего забот доставили ему корфиоты. Примирить патрициев и народ, или, как говорил Ушаков, «первоклассных» с «нижними классами», оказалось трудно, хотя он и сделал для этого все, что мог.

До нас дошло свидетельство современника — В. В. Вяземского, — кратко, но достаточно ярко рисующее общественный строй островитян: «...дворяне — частью исповедания католического и частью — греческого; весь же черный народ — греческого... Чернь честна и благонравна, дворяне без чести... но обожают наружный блеск и богатство... все правление замешано всегда в интригах и весьма угнетает народ».

Население Корфу пожелало провозгласить независимое греческое государство под покровительством России и Оттоманской Порты, и Ушаков на собственный риск и страх, не имея на то никаких полномочий, решился назвать его Республикой Семи Соединенных Островов<sup>1</sup>.

Это был шаг прежде всего дипломатический. Русский адмирал предпринял его как наиболее удобную меру для того, чтобы сделать эти острова на время войны нейтральными и оградить их от притязаний некоторых держав. В числе таких держав на первом месте стояла Англия. Турция и Австрия также были не прочь захватить Ионические острова.

Целью Ушакова было завоевать симпатии населения к России. Но он знал, что добиться этого можно только при условии, если будут соблюдены интересы более или менее широких масс.

Новая конституция по просьбе жителей была составлена им за несколько дней до штурма.

«Надлежит учредить правление и спокойствие наро-

---

<sup>1</sup> То есть всех Ионических островов: Корфу, Кефалонии, Итаки, Санта-Мавры, Паксоса, Занте, Цериго.

да, — объявляла она островитянам. — Город Корфу имеет быть главным присутственным местом, и в нем учредить должно Сенат».

Сенат, или Большой Совет, должен был управлять государством. Депутатов в Сенат следовало выбрать от всех Ионических островов и на каждом из них образовать Малый Совет.

Для избираемых Ушаков сам написал слова присяги. Избирать же предложил «лиц, достигших 24-летнего возраста», объединяя их «в полном союзе со вторым классом», то есть со всеми, имеющими доход от тридцати до ста червонцев в год.

На первом плане стояло дворянство. И все же это был шаг смелый, ибо Ушаков дал место в управлении государством тем, кто раньше не имел его никогда.

Французы во всех учреждениях островов поставили своих комиссаров. Ушаков поступил иначе — он предоставил грекам самим управлять своей страной.

Все депутаты были записаны в «Золотую книгу».

Появились новые должности, их заняли новые люди, выбранные из всех слоев населения — от дворян, духовенства, купцов, ремесленников и жителей деревень.

Этого оказалось достаточно, чтобы народ почувствовал свою силу. Но дворянство не хотело ему уступать. При французах оно присмирело, утратив часть своих виноградников, оливковых рощ и рыбных промыслов. Французы отдали их народу, и греки сперва были довольны новою властью, пока не поняли, что страна завоевана и что это — военный постой.

Борьба «верхних» и «нижних» классов вспыхнула, как только Ушаков принял участие в устройстве нового государства. Обновленная конституция не всем пришлась по душе.

Патриции в алых мантиях торжественно являлись к русскому адмиралу и благодарили за возвращенную им вольность, но в глазах их светились высокомерие и страх. Они лукавили, делая вид, что считают его своим заступником, и выражали надежду, что он обуздает деревенских жителей и заставит крестьян отказаться от захваченных дворянских земель.

Они подавали ему прошения, порицая его между строк и высказывая явное свое недовольство.

«Сей остров,— писали они,— всегда будет в беспокойствах и возмущениях, пока на оном существовать будет вольнодумство демократическое и не пресекутся грабежи».

Ушаков был учтив и сух, зная цену двоедушию и притворству. Эти люди не хотели его победы при Корфу, и это они сочинили басню, будто он за деньги выпустил «Женерё».

Они прикидывались смиренными, а их прислужники уже вытаскивали припрятанное в погребах оружие и пускали его в ход. Дворянские отряды действовали на городских окраинах и в окрестных селениях. Они врываются в дома «второклассных» и самых бедных жителей и мстили им за померанцевые сады, пашни и виноградники, отнятые у господ при французах.

Их встречали пулей и саблей; с ними тоже рассчитывались за сады, пашни и виноградники, которые они, задолго еще до французов, сами отняли у бедноты.

На Корфу лилась кровь; на других островах было то же самое. В новом государстве пылала гражданская война.

Но Ушаков твердо решил установить порядок. Он быстро нашел наиболее ярых врагов своей конституции и пригрозил, что посадит их под арест. А патрициям острова Кефалонии объявил, что двинет для их усмирения эскадру. «Отошлю вас пленниками в Константинополь,— написал он им,— или еще гораздо далее, откуда и вброн костей ваших не занесет».

Дворянство не осталось в долгу и ответило на это по-своему: оно сильней потянулось к Али-паше, вступило в переписку с Нельсоном, засыпало посланника Томару письмами и нашло способ продвинуть свои жалобы в Петербург.

Еще в середине февраля отправилась туда делегация для принесения русскому императору благодарности за дарование независимости Ионическим островам. Корфиоты привезли конституцию. При дворе она не понравилась, и над нею крепко задумался Павел, точно так же, как задумались министры Порты и султан Селим.

А враги Ушакова старались — строчили из Корфу доносы, писали, что он разжигает сословную рознь. Поклепы их были один тоньше другого. Они обвиняли его во всех своих бедах и сверх того в сочувствии неприятелю — в излишнем великодушии при заключении условий с генералом Шабо.

Условия были почетны: гарнизон вышел с почестями, и высшие чины остались при шпагах; французы дали слово не участвовать в войне в течение восемнадцати месяцев и были отправлены в свои порты за счет союзных держав.

Федор Федорович этим гордился. О его благородстве говорили французы и англичане. Но в Петербурге взглянули на дело иначе, хотя и отложили его «впрок»...

О попытке Ушакова устроить на Средиземном море республику отзывались с презрительной и недоброй усмешкой. Юный самонадеянный Кочубей, год назад неудачно предсказавший, что Федор Федорович не пройдет через Проливы, теперь, в письме к тому же С. Р. Воронцову, писал:

«Ушаков не достигнет успеха, не зная ни языка, ни чего бы то ни было, что относится к управлению».

А человек, о котором русский сановник был столь невысокого мнения, тем временем помогал грекам строить государство и управлять им.

Для охраны порядка он создал милицию и обучил ее военному строю. Это было целое войско, достаточно сильное, чтобы и защитить страну извне.

Он уполномочил Сенат «учредить законы», «на всех островах устроить судилища» и «всякий суд производить на греческом языке».

Корфу он сделал кафедральным городом, открыв в нем епископскую кафедру — дав жителям православного епископа, чего у них с XVI века не было.

Корфиоты говорили: «Впервые чувствуем, что мы греки, а не итальянцы». Они с признательностью смотрели на русского адмирала и его матросов, которые любили выпить и песню спеть, но беспрекословно слушались начальства, а греков называли просто и коротко: «брат».

И греки тянулись к ним, расспрашивали о России, и у многих появилось желание туда переселиться. Ушакову пришлось завести целую переписку о добровольно переселяющихся в Новороссийский край.

Было много дела. Он восстанавливал укрепления, ремонтировал свои суда и корабль «Леандр», хотя предвидел, что его придется вернуть англичанам; разбирал бесконечные тяжбы корфиотов и жалобы островитян на Али-пашу.

Больных и раненых он поместил в главный госпиталь города, снабдил их лекарствами, лучшей пищею, завел строгий порядок и образцовую чистоту. Командиры несли в палатах дежурство. Адмирал почти ежедневно навещал госпиталь, вникал во все, расспрашивал больных об их нуждах, а когда они благодарили его, говорил им: «Вы, ребята, свой долг выполнили, теперь я выполняю свой».

Но были заботы и другого рода: офицеры жаловались на «дерзость» матросов; дела эти было неприятно и тяжело разбирать.

Об одном из таких дел доложил рапортом на имя Ушакова капитан-лейтенант Шостак: на его фрегате матрос второй статьи Иван Осипов за дерзкое непослушание командиру во время сражения был предан «скорорешительному» военному суду. «По силе закона» матрос, нарушивший дисциплину во время боя, подлежал смертной казни. Комиссия оказала ему «снисхождение», присудив его к «сечению на всех судах кошками». Но вынести такое наказание было трудно, и оно, в сущности, означало ту же смертную казнь.

Ушаков долго думал, прежде чем ответить Шостаку по поводу дела матроса, и наконец написал: «Я, уважая долгое его содержание под караулом, молодые лета и в надежде, что он таковой проступок заслужить может, но, к воздержанию его впредь от таковых дерзостей и непослушания в пример прочим, рекомендую наказать на одном вверенном вам фрегате при собрании всей команды служителей кошками и сие наказание записать в тетрадь».

Большого он сделать не мог, так как отменить совсем наказание не имел власти. Но его предло-

жение приняли как законное, и жизнь матроса была спасена...

Ушаков был все так же скромен, «не интересовался ни одною полушкой» и пренебрегал трофеями, взятыми у неприятельских войск.

С острова Занте ему прислали подарок — роскошную карету французского генерала. Он поморщился и сказал:

— Она мне вовсе не надобна, ибо на кораблях не в употреблении. А как посылать ее назад не к кому, то лучше отправить к посланнику Томаре — пусть подарит кому-нибудь...

У него не кружилась голова, победы не сделали его кичливым, но он был подавлен сухостью Павла, сдержанностью в оценке своих заслуг.

Получил «адмирала» — и только! Ни слова благодарности и никаких наград экипажам! Павел гневался на него за многое, и, между прочим, за побег «Женерё».

Страдая за эскадру, Ушаков писал Томаре:

«Мы не желаем никакого награждения, лишь бы только служители наши, столь верно и ревностно служащие, не были больны и не умирали с голоду...»

И требовал жалованья, провианта, материалов для спешной починки судов.

В это время его рвали на части: Павел не переставал напоминать о Мальте; Нельсон настойчиво звал в Мессину; коммодор Сидней Смит<sup>1</sup> — к Александрии и Криту. Его звали во все места Средиземного моря — туда, где в нем действительно была необходимость, и туда, где не было в нем нужды.

А ему не хотелось уходить. Он считал своим детищем эту молодую республику и, хотя создал ее, не снесся со своим правительством, старался не думать об этом и довести все до конца.

Уходить не хотелось. Просьбы англичан о помощи

---

<sup>1</sup> Коммодор — старший офицер отдельной эскадры; капитан Сидней Смит командовал отрядом английских судов в турецких водах.



раздражали, так как чаще всего были попытками отвлечь его подальше от Корфу. И Федор Федорович писал Томаре, подробно извещая его обо всем:

«Требования английских начальников морскими силами в напрасные развлечения нашей эскадры я почитаю — не иное что, как они малую дружбу к нам показывают, желают нас от всех настоящих дел отщепить и, просто сказать, заставить ловить мух... Сир-Сидни-Шмит<sup>1</sup> без нашей эскадры силен довольно. С английским отрядом при Александрии, не имея и не зная нигде себе неприятеля, требования делает напрасные... Осмелюсь я сказать, в учениках у Сир-Сидни-Шмита я не буду, а ему от меня что-либо занять не стыдно...»

И все же Ушакову надо было покинуть Корфу, и он сам это хорошо знал.

Ему было приказано помочь королю Фердинанду и затем идти к Мальте.

Он разделил свои силы, назначил эскадренных командиров и в апреле послал Сорокина к Бриндизи, дав ему несколько фрегатов и десантный отряд.

Уже в Италии сражался Суворов, и его войска покрывали себя новою славою. Согласно свои действия с действиями русского флота, он предложил Ушакову послать эскадру в Венецианский залив.

Федор Федорович отправил туда Пустошкина с частью своих кораблей для крейсерства и блокады Анконы. Но в середине июня ложный слух о появлении сильного французского флота заставил его стянуть все суда к себе.

До конца июля заделывали пробоины, меняли снасти, запасались провиантом. Когда сборы были закончены, Ушаков вышел в море, поручив капитану Алексиано остров Корфу и остающийся при нем флот.

Союзная эскадра — девять кораблей, шесть фрегатов и пять транспортов — взяла курс на Мессину. Она прибыла туда 3 августа, за день до того, как Суворов при Нови наголову разбил французские войска.

---

<sup>1</sup> То есть сэр Сидней Смит.

СУВОРОВ В ИТАЛИИ

...Трудно назвать за эти годы диспозицию сражения, в которой не бросалась бы в глаза густота русских колонн, значительно превосходящих своей глубиной и плотностью все другие войска.

Ф. Энгельс

Ни австрийский император Франц, ни русский император Павел не были поклонниками суворовской «науки побеждать».

Но таковы были слава Суворова и ореол не изменявшего ему «военного счастья», что австрийцы пожелали иметь его своим главнокомандующим, и Павел дал на это согласие.

Но он не забыл, что Суворов — ярый противник его воинского «порядка», и принял особые меры, отправляя его в поход.

Он приказал одному из своих генералов наблюдать за престарелым фельдмаршалом, за его действиями, «которые могли бы служить ко вреду войск и общего дела, когда он будет слишком увлечен».

Венский двор проявил еще большую осторожность, Император Франц, назначив Суворова главнокомандующим своею армией, произвел его в фельдмаршалы. Как австрийский фельдмаршал, Суворов должен был повиноваться австрийскому императору, а также имперскому военному совету — гофкригсрату. Но он не дал связать себя по рукам.

Когда гофкригсрат представил ему план, на котором движение войск было разработано до реки Адды, Суворов перечеркнул его крест-накрест сверху донизу и даже не пожелал ничего объяснить. Только сказал: «Начну кампанию с Адды, а кончу, где богу будет угодно». У него был план кончить во Франции. Но, зная цену своим союзникам, он считал за лучшее их не пугать.

«Полная мочь избранному полководцу,— писал он еще до прибытия в Австрию,— ничего, кроме наступательного; методику прочь; маневры, марши, контрмарши и все так называемые хитрости оставить бедным академикам. Замедление, ложная осторожность и зависть суть головы Медузы, окаменяющие войну и политику. План: идти прямо в Париж...»

Обстановка складывалась благоприятно.

Северная армия французов (до двадцати восьми тысяч под командованием Шерера) отходила за Адду, и занятые неприятельскими гарнизонами крепости были предоставлены сами себе. Сорокатысячная армия Макдональда подавляла восстание в Неаполитанском королевстве, а шестьдесят тысяч под командой Массена отступили в Швейцарию после неудачной попытки занять Тиролю.

Союзники располагали стотысячной армией; две трети ее уже были в сборе. Заветное желание Суворова исполнялось — он шел на противника, о встрече с которым помышлял давно.

Свой первый удар он наметил по линии Брешиа — Милан, чтобы разорвать сообщение Шерера с Массена, войти в связь с Рейнской армией австрийцев и продвигнуться к Савойе — ключу Швейцарских Альп.

Он начал с Брешии. Это был почин кампании, сразу же ободривший австрийцев. Крепость быстро сдалась, атакованная с трех сторон.

Четырнадцатого апреля войска развернулись на берегу Адды.

Во время форсирования реки был смещен Шерер, французский главнокомандующий, и его место занял Моро.

Он был смел и талантлив, но ему не удалось удержать переправу. Суворов, перейдя Адду, написал в Вену: «Тако и другие реки в свете все преходимы», — и продолжал марш на юг.

Семнадцатого был взят Милан; его гарнизон укрылся в цитадели.

Суворов учредил временное итальянское правительство, но фельдмаршал Мелас, которому он предоставил все дальнейшее, тотчас же ввел австрийские порядки и возбудил этим против себя народ.

Моро отступал, но Суворов его не преследовал. Получив неверное известие о появлении главных сил Макдональда, он пошел, чтобы встретить его, к реке По.

Перед этим он дал понять гофкригсрату, что имеет план общего наступления в пределы Франции. Ему было отвечено от имени императора: ограничиться овладением крепостей и обороной завоеванного, ни о каком общем наступлении не думать и отнюдь не переходить на правый берег По.

Но рескрипт не застал Суворова в Милане. Он уже был за рекой, переходить которую ему запрещалось, и занимал позицию между Макдональдом и Моро. Однако ни того, ни другого не было видно. Лишь через месяц выяснилось, что первый еще не покинул Средней Италии, а второй прикрывает подступы к Турину и главные проходы Апеннин.

Суворов двинулся против Моро, но тот отступил в Генуэзскую Ривьеру. Тогда войска направились к Турину — столице Сардинского королевства, важнейшему узлу Пьемонта. 15 мая Турин пал.

Произошло то же, что и в Милане. Гарнизон заперся в цитадели. Суворов восстановил пьемонтскую армию, весь прежний, дофранцузский порядок и даже прежних должностных лиц. Подобные действия не могли понравиться в Вене: русский фельдмаршал возрождал независимость Сардинского королевства, Австрия же хотела его присоединить.

Новый рескрипт объявил Суворову, что он не должен вмешиваться в управление страной; вновь предписывалось не предпринимать наступательных действий и продолжать лишь осаду Мантуи и цитаделей занятых городов.

Руки Суворова оказались связанными. Ему не давали кончить дело на севере и двигаться дальше — на юг, к Генуе. «Везде гофкригсрат, — твердил он с негодованием, — неискоренимая привычка битым быть!»

Принужденный к бездействию, он простоял две недели в Турине, пока не узнал о приближении сильных колонн Макдональда. Это было до того неожиданно, что

австрийцы уже приготовились к бегству. Но Суворов воздействовал на них приказом: «Неприятельскую армию взять в плен!..»

Совершив беспримерный марш навстречу противнику, доведя быстроту передвижения до последней возможности, он встретил Макдональда на берегу Требии и разбил его в трехдневном бою.

Война решалась в Италии. Неприятель терял эту страну, и его собственные границы были в опасности. Суворов одолевал французскую армию, и вся Европа смотрела на него...

Он снова потребовал похода на Геную, но получил тот же ответ, что и раньше. Решимость русского полководца была чужда австрийским министрам. Напрасно доказывал он, что войну надо кончить в Париже и что «лучше одна кампания вместо десяти».

Он написал Павлу, прося отозвать его из Италии, но Павел принял сторону Вены. Пришлось смириться и выжидать.

И он провел шесть недель, выжидая, разрабатывая план отложенного похода и деятельно подготавливая самый поход. В Ливорно и Пизе устроил он провиантские магазины — базу для будущих военных действий — и обратился с просьбой к Ушакову блокировать флотом Геную, чтобы «оголодить» французские войска.

В середине июля сдались Миланская и Туринская цитадели, а затем Александрия и Мантуя — к великому удовольствию венских политиков. В Австрии сочли кампанию завершенной. Но для Суворова она только начиналась. Он должен был довести ее до конца.

Крепости пали — исчез главный довод австрийцев, позволявший им удерживать Суворова от движения на юг.

Но он не знал, что делается у него за спиной: что венский двор уже тайно принял решение убрать русские войска из Италии. Их собирались перебросить в Швейцарию, где австрийцы в это время стали терпеть неудачи. Император Франц ожидал лишь согласия Павла, чтобы объявить Суворову этот приказ.

**ИНТРИГА НЕЛЬСОНА**

Теперь вы знаете мой образ мыслей и согласно ему будете действовать...

*Из секретной инструкции адмирала Нельсона*

1

Эскадра Сорокина, подойдя 22 апреля к Бриндизи, застала неприятельский гарнизон врасплох.

Комендант и приехавшие для сбора контрибуций комиссары в это время как раз расположились обедать. Они бросили деньги и вещи, собранные с населения, и пустились бежать, едва успев сесть на суда.

От Бриндизи Сорокин пошел на север. Жители толпами встречали эскадру. Прибрежные замки салютовали ей.

Десятого мая была занята Манфредония. Капитан-лейтенант Белли, имея всего шестьсот русских солдат и матросов, двинулся в глубь страны.

У французов не было сил. Макдональд в эти дни выступил навстречу Суворову, и Партенопейская республика осталась почти без французских войск.

А к русскому отряду присоединялись молодчики наместника короля — кардинала Руффо. Это были люди, поднятые им на защиту трона, — темный, невежественный и жаждущий крови сброд.

Страна дворян и священников — бывшее Неаполитанское королевство — переживала революцию. Провозглашение республики всколыхнуло душу народа и разделило юг Италии на врагов и приверженцев короля.

Кардинал Руффо собрал в Калабрии войско. Дворянские прихвостни, бродяги, нанятые на королевские деньги, шли резать французов и неаполитанцев, считая, что разницы между ними нет.

Кардинал встретил Белли на пути к столице и просил обуздать его буйную «армию». Русские офицеры взялись было навести в ней порядок, но быстро убедились, что этого добиться нельзя.

Французы преграждали отряду дорогу, но попытки их были тщетны, хотя они и бросали в бой все свои силы. Горсть русских пересекла страну от Адриатики до Тирренского моря и 1 июня увидела Неаполитанский залив.

Белли подошел к Неаполю со стороны Везувия, овладел городом Портичи и взял форт Гранателло, выбив из него гарнизон.

После нескольких жарких схваток французы укрылись в городских фортах. Тысяча пятьсот патриотов заперлись там же. Дети юной республики уже не считали французов своими друзьями, но перед лицом общей опасности решили разделить с ними судьбу.

Молодчики кардинала ворвались в город, и началась кровавая расправа. Вся муть Неаполя поднялась на поверхность. Грабежи и убийства продолжались восемь суток, и восемь суток русские укрощали ярость мстителей, спасая всех, кого только могли.

Так, был спасен композитор Чимароза. Он написал музыку для республиканского гимна. За это королевские громилы разбили его клавишины и бросили в тюрьму его самого.

Но Чимароза провел три года в России. Русские офицеры были наслышаны о его искусстве. Во главе с Белли явились они за ним в подземелье и вырвали его из рук палачей...

Девятого июня был взят один из замков — Кастель Нуово.

С начала высадки русские не понесли почти никаких потерь.

Министр Мишру, находившийся при десантном отряде, сообщил в Петербург неаполитанскому посланнику:

«Весь урон состоит в одном офицере и шести рядовых убитых — потеря ничем не наградимая, ибо каждый Россиянин есть герой...»

Два других замка были в осаде. С суши их осаждал русский капитан-лейтенант Белли, а с моря блокировал английский коммодор Фут.

Его суда заставили сдать прибрежную крепость Кастелламаре. Затем сложили оружие и защитники фортов. Кастель дель Ово и святого Эльма. Белли, Фут

и кардинал Рурффо подписали условия капитуляции, в которых важнейшими были статьи:

«Личность и достояние каждого входящего в состав обоих гарнизонов будут пощажены и неприкосновенны.

Все названные лица могут либо отправиться в Тулон, либо остаться в Неаполе, где обеспечивается неприкосновенность для них и для их семей».

Но еще не просохли на этой бумаге чернила, а на зámках и английских судах еще развевались переговорные флаги, когда на взморье показалась эскадра. Это был Нельсон, прибывший из Палермо. С его корабля последовал сигнал коммодору Футу: «Спустить переговорный флаг!»

Нельсон был раздражен. Он рассчитывал опередить русских в Неаполе, но просчитался: его корабли подошли к столице уже после того, как Белли ее освободил.

Вместе с Нельсоном прибыл английский посланник Вильям Гамильтон со своею супругой леди Эммой. Эта женщина была доверенным лицом неаполитанской королевы, ненавидела республиканцев и очень многое решала при королевском дворе...

Флаги были спущены; условия, подписанные союзными командующими, объявлены недействительными, Патриотов распределили по судам, назначенным для перевозки их во Францию, и каждое из них было поставлено на якорь под пушками английского корабля.

Прибыл король Фердинанд и объявил, что в его намерения никогда не входило вступать в соглашение с бунтовщиками.

После этого начала действовать юнта — временный верховный суд для истребления «бунтовщиков».

В течение нескольких дней погибли славнейшие: составитель неаполитанской конституции Марио Пагано; редактор первой революционной газеты в Неаполе Элеонора Фонсека; любимцы народа Джендзано, Матера и еще много, много других.

Коммодор Фут подал в отставку. Но это ничуть не помогло делу. Республиканцев топили, вешали и расстреливали картечью. И они умирали, предсказывая, что «когда-нибудь Неаполь станет свободным, а их смерть послужит к просвещению родной страны».



Пленные французы не избежали бы той же участи, если бы этому не воспротивился русский капитан-лейтенант Белли. В эти дни дома, занятые его моряками, стали единственным убежищем для людей, искавших спасения. В городе сводились личные счёты: жертвы доносов переполняли тюрьмы. Белли хлопотал перед юнтой и для одних добивался помилования, другим же тайно помогал бежать...

Верховный суд приговорил к пожизненному заключению Караччоло — престарелого адмирала республиканского флота. Нельсон отменил приговор и приказал повесить Караччоло на рее собственного его корабля.

Осуждённый просил одного английского лейтенанта ходатайствовать за него перед леди Эммой: он умолял заменить ему петлю пулей. Но леди Эмма, не приняла лейтенанта, запершись в своей каюте, и вышла из нее только для того, чтобы увидеть казнь.

В субботу 18 июня Нельсон записал в своем дневнике:

«Ветер тихий. Облачно. На рейд пришли португальский корабль «Рэнья» и бриг «Баллон». Созван военный суд. На неаполитанском фрегате «Минерва» судим, осужден и повешен Франческо Караччоло».

Партенопейская республика тонула в крови...

## 2

«Милостивый государь мой Федор Федорович! — извещал Ушакова Суворов. — Александрийская<sup>1</sup> цитадель защищалась одиннадцать дней упорно; наконец, принуждена сдаться на дискрецию<sup>2</sup>, а гарнизон — военнопленным.

Обратив теперь виды свои на Геную, выступаю я в поход...

Ваше превосходительство покорнейше прошу принять попечительные и благоразумные, свойственные вам меры, дабы оголодить сию распутно-зловредную армию. Извольте знать, что генуэзцы кормятся сами из чужих мест: особливо из Африки и Архипелага; со-

<sup>1</sup> То есть Алессандрийская.

<sup>2</sup> На дискрецию — на милость победителя.

юзные флоты ныне господа моря и легко в том препятствии утвердить могут...»

Письмо это Ушаков получил в Мессине, где бросили якорь суда обеих эскадр.

Федор Федорович решил было отделить от своих сил два крупных отряда и послать один к Неаполю, в распоряжение Белли, а другой, по просьбе Суворова, — в Генуэзский залив.

Но тут взбунтовались турки, заявив, что не станут отделяться от своего флота и что вообще плавание им надоело и они намерены идти домой.

Ушакову стоило большого труда их успокоить, и посылать после этого турок он уже не решился. К Генуе был отправлен Пустошкин всего с двумя кораблями, а к столице королевства — Сорокин с подкреплением также из двух судов.

Федор Федорович уже знал о событиях, происшедших в Неаполе, и при мысли о встрече с Нельсоном ему становилось не по себе.

Он невольно думал о том, что дела на Ионических островах могли обернуться совершенно иначе, если бы в освобождении их принял участие этот британский адмирал. Он представлял себе расправу с жителями, набравшимися «вольного французского духа», торжество патрициев над народом и «порядок», поддержанный пушками англичан.

Под жарким мессинским небом стояли корабли, готовые к переходу в Палермо. Федор Федорович ожидал лишь известия о возвращении туда Нельсона и короля.

Из Петербурга получались рескрипты, тон их был неизменно холодный. Ушаков ясно видел, что им недовольны, и писал, теряясь в догадках, не чувствуя за собой никакой вины:

«Душою и всем моим состоянием предан службе... Зависть, быть может, против меня действует за Корфу; я и слова благоприятного никакого не получил... Что сему причиною? — не знаю...»

Он знал лишь, что взятие Корфу «принято с неприятностью», и недоумевал, как можно порицать его за «столь славное дело, которое на будущее время эпохою может служить».

Лоция, называя бухту Палермо прекрасной, предостерегала: «Входя, должно избегать сетей».

Но сети палермских рыбаков мало смущали Ушакова. Его тревожила предстоящая встреча с союзниками: он предвидел с их стороны помехи более опасные, чем нехитрая рыбацья сеть...

Десятого августа Ушаков прибыл в Палермо.

Город веселился. Толпы народа разгуливали у моря. Ветер колыхал фестоны широких навесов. В лавках вздымались горы лимонов и апельсинов и блистали вазы с золотыми рыбками. Было совсем не похоже, что в стране война...

Двенадцатого августа Ушаков прибыл на совещание. Оно было назначено на флагманском корабле Нельсона «Фудройане», служившем его главной квартирой, а также местом пребывания неаполитанского короля.

Адмиральский салон, освещенный через окна кормовой галереи, имел торжественный, как и подобало этому дню, вид. Солнце горело на золоченых рамах портретов, с которых строго смотрели британские адмиралы; офицеры королевской свиты стояли, обнажив шпаги; на стенах висели флаги союзных держав.

Кроме Нельсона, присутствовали король Фердинанд и королева Каролина, английский посланник в Неаполе — Гамильтон и леди Эмма. Переводчиком был Метакса.

Ушаков приветствовал короля от имени императора Павла и выслушал ответное приветствие, составленное почти в тех же самых словах.

После этого поднялся Нельсон и, держа свою единственную — левую — руку у сердца, сказал, обращаясь к Ушакову:

— Сэр! Позвольте уверить вас в счастье, которое я испытываю, находясь ныне рядом с вами. Вы — один из славнейших адмиралов в свете, увенчанный столькими морскими победами, мой брат по оружию, и мой долг — поступать с вами по-братски всегда...

Федор Федорович наклонил голову и ответил:

— Я воспользовался первым попутным ветром, чтобы лично выразить вам свое уважение и преданность. Благоприятство и похвала в устах героя Абукирской битвы — для меня большая честь. Они свидетельствуют, что знаменитая английская нация любит ценить достоинства и что братские чувства между союзниками суть основание их побед...

Обменявшись любезностями, они перешли к делу. Нельсон, неловко придерживая рукою лист бумаги, стал излагать диспозицию своей эскадры, подробно объясняя, где и для какой цели расположены его суда. Федор Федорович слушал его неторопливую речь, скрипучий негромкий голос и, дожидаясь перевода, старался не отрывать взгляда от Нельсона, чтобы не смотреть на других.

Зато на него самого смотрели во все глаза: равнодушный, чуть-чуть насмешливый Гамильтон, и вызывающе красивая леди Эмма, и болезненный, хилый король, и властная, с лицом фурии, королева Каролина. Она была сестрой казненной французской королевы Марии-Антуанетты и в своей спальне держала картину, изображавшую гильотину, — в напоминание о мести за кровь сестры.

Они смотрели на русского адмирала, а он сидел не шевелясь, словно мундир на нем был чугунный; его ордена и знаки сияли; на черной ленте в петлице висел золотой мальтийский крест...

— Шесть моих кораблей, — говорил Нельсон, — недавно пришли из Египта. Это — «Каллоден», «Зилеуз», «Свифтшур», «Тайгер», «Лайон», «Персей». При Мальте — четыре корабля и четыре фрегата, — все они нуждаются в исправлениях. Два португальских судна имею я в Палермо. У Чивита-Веккиа — небольшая крейсерская эскадра, и у Неаполя — вместе с прибывшими — десять кораблей...

Он говорил, держа голову несколько набок, так как смотреть прямо ему мешало отсутствие глаза. Светлые волосы его были спутаны, и прядь их спускалась почти к переносице, закрывая полученный при Абукире шрам.

— Я намереваюсь, — разъяснял он, — послать семь кораблей в Гибралтар и четыре к Минорке. Но мой друг

коммодор Траубридж, который стоит с эскадрой в Неаполе, не может его оставить, пока на смену не придут другие суда...

— Чьи же? — спросил Федор Федорович.

— Крайне желательно, чтобы это были ваши... Беспорядок в стране продолжается, и уже дважды были открыты заговоры. Войска же кардинала Руффо не в силах водворить тишину.

Федор Федорович сказал:

— Имея повеление моего государя, должен я предпочесть иной план действий.

— А именно?

— Я ожидаю войск десантных, и мое предложение: как только войска прибудут — совместно идти к Мальте, ибо гарнизон неприятельский там весьма стеснен.

Косой луч солнца падал на грудь Ушакова. Ордена его искрились, переливались, и вспыхивал белым огоньком золотой мальтийский крест.

Не отрывая взгляда от белого огонька, Нельсон произнес решительным тоном:

— Мальта потом!.. Я сейчас не располагаю для нее кораблями. Они нужны, чтобы охранять море от сильного еще врага.

— Осмелюсь заметить, — возразил Федор Федорович, — что судов у нас достаточно. С приходом русско-турецкой эскадры союзные флоты — господа моря. Я ссылаюсь в том на письмо фельдмаршала Суворова, которое имел счастье незадолго перед сим получить.

Нельсон поморщился и по привычке выгнул губы.

— До господства еще далеко!.. А что касается Мальты, там действительно держится одна только крепость Ла-Валетта. — И он добавил, подчеркивая каждое слово: — Неаполитанский и британский флаги уже развиваются на острове во многих местах.

— По смыслу союза, — сказал Федор Федорович, — Мальту следует занять равными силами. Стало быть, там надлежит развеяться и российскому флагу.

— Это, увы, невозможно.

— По какой причине?

— Жители Мальты с согласия его сицилийского величества отделились покровительству Великобритании.

— Смею напомнить, что покровителем Мальты

является также российский император — верховный глава ордена, его великий магистр!

— Это может привести нас к ненужным и долгим спорам...

Федор Федорович покраснел и выпятил подбородок.

— Тогда я немедленно возвращаюсь в Корфу! — И он уперся ладонями в ручки кресла с явным намерением встать.

Ему было досадно. Все портила Мальта, которая весьма мало его привлекала. Но дело приняло оборот, оскорбительный для чести России, а это была честь его самого.

— Я возвращаюсь!.. — повторил он твердо.

Тогда королева метнула взгляд на короля Фердинанда, и он, улыбнувшись Федору Федоровичу, заговорил:

— Российский флаг, конечно, может быть поднят, и я даю на это свое соизволение. Но прошу вас, прежде чем вы пойдете к Мальте, помочь моему королевству и мне...

С дряблой кожей лица и большими, красноватыми глазками, он продолжал просительным тоном, мало добавляющим его сану:

— Народ не хочет повиноваться законной власти. Мятежники вновь пытаются овладеть столицей. Поэтому необходимо присутствие в ней вашей эскадры и ваших войск. Я также предлагаю вам доверенность на освобождение от французов Рима. Сам я не могу ничего предпринять и вас прошу подать мне помощь!..

Ушаков соображал.

Предложение было заманчивым и не нарушало предписаний императора Павла. Поход на Рим позволял лучше подготовиться к Мальте — запасти провиант и дожждаться прибытия войск.

С минуту длилось молчание, затем Федор Федорович повернулся к Метаксе, стоявшему подле его кресла, взял у него папку с бумагами и положил ее перед собою на стол.

— Если подкрепления, — сказал он, — придут в ближайшее время, я отправлюсь к Мальте; если же они запоздают, соглашусь я исполнить просьбу высочайшего двора... Но должен сказать, что мне потребует-

ся полная мочь как в делах военных, так и в гражданских...— Тут он вынул из папки лист голубоватой бумаги, мелко исписанный с обеих сторон.— Я имею донесения из Неаполя обо всех бывших там происшествиях... Российский «Устав морской» говорит: «Никто да не дерзает убить пленных, которым уже пощада обещана». Между тем обещания оказались нарушены, и через это последовала во всем расстройка...

Ушаков взглянул на Нельсона и поразился происшедшей в нем перемене: английский адмирал слушал без всякой любезности, с совершенно другим, жестким, спесивым лицом.

— ...Множество людей замешано в революции,— говорил Федор Федорович.— Они содержатся в тюрьмах; многие уже казнены, а других ожидает казнь. Их друзья и родственники в отчаянии составляют заговоры, отчего лишь умножается беспорядок. Не лучше ли было поступить с кротостью и тем утишить народную бурю?..

Нельсон с сомнением покачал головою.

— Я могу привести пример,— с силой сказал Федор Федорович,— республику, учрежденную мной на Ионических островах!

Лица у сидевших за столом вытянулись и, как по команде, приняли холодное выражение.

Метакса бесстрастно произносил слова перевода. Он делал это искусно, точно всю жизнь был переводчиком: можно было подумать, что присутствует один его голос, а его самого как бы нет в салоне совсем.

Эмма Гамильтон выжидательно смотрела на Нельсона. Ее взгляд почти приказывал дать отпор Ушакову. Было известно, что сердце английского адмирала находится в ее власти и что он вместе со своим флотом отдан ею в руки сицилийского двора.

Она перевела взгляд на Федора Федоровича, затем опять на Нельсона, и снова на Ушакова, как бы сравнивая их между собою — одного, которого она слишком хорошо знала, с другим, который был для нее непостижим...

— Каковы же ваши условия? — проговорил Нельсон.— Должен признаться — они для меня неясны.

— Генеральное прощение республиканцам! — раз-

дельно произнес Федор Федорович.— На нем настаиваю и без этого не смогу я ничего совершить!

— Это выше моих сил! — тихо сказал король.

— Им нет прощения! — вырвалось у королевы.

— В таком случае я возвращаюсь!..— И Федор Федорович, сложив бумаги, отдал их Метаксе.

Вторично наступило молчание. Ушаков и Нельсон смотрели друг на друга, разделенные пропастью.

Королева опять взглянула на короля, и Фердинанд сказал:

— Если иного выхода нет, я согласен... Обещаю дать генеральное прощение мятежникам... Когда господин адмирал полагает отбыть в Неаполь?

— Дней через семь или восемь.

— Тогда будем надеяться, что все споры улажены...

И король с королевой поднялись со своих мест.

Когда они удалились, Федор Федорович откланялся и в сопровождении Метаксы вышел.

Гамильтоны удивленно посмотрели ему вслед.

С усталым видом, оттопырив губы, сидел Нельсон, устремив задумчивый взгляд в пространство.

— Каков адмирал? — с улыбкой спросил Гамильтон.— Что скажете, сэр Горацио?

Нельсон быстро повернул к нему голову и стукнул по столу маленьким кулаком.

— Медведь!..— произнес он сквозь зубы.— Медведь под личиною вежливости!.. Держать себя так высоко — это отвратительно!.. На каждом шагу: «Я ворочусь в Корфу!»... И его подозрительность!.. Думает, что мы все делаем для себя!..

Гамильтон улыбнулся еще шире и сказал, прищурясь:

— Русских вообще провести трудно... Но вы уверены, что он не пойдет к Мальте?

— Нет, не уверен! И надо ослабить его силы, чтобы он туда не пошел!

— Каким образом?!

— Отделив от него турок. Они, кстати, уже бунтовали в Мессине.

— Не представляю себе...

— Я это берусь устроить!

Гамильтон перестал улыбаться и серьезно сказал:



— А все-таки он тверд, этот адмирал! И кажется, на море таков же, как и на суше...

Леди Эмма с любопытством взглянула на Нельсона.

— Не думаю,— возразил он.— Взгляните на их корабли, они едва могут держаться в море. Я не колеблясь атаковал бы их авангард.

— Но, приветствуя Ушакова,— лукаво заметил Гамильтон,— вы как будто отдали должное его искусству...

Нельсон презрительно сжал губы.

— Вежливость! — ответил он хрипло.— Вежливость, сэръ Вильям, не более того!..

4

Двенадцатого августа, в тот самый день, когда союзники совещались на борту «Фудройана», англичане разомкнули цепь блокады у берегов Египта и дали Бонапарту возможность бежать.

Это сделал Сидней Смит, командующий эскадрой, крейсировавшей у Александрии. Он посетил запертого там Бонапарта, «был очарован» его любезностью и разрешил ему отправить во Францию три корабля.

Этого было достаточно для бегства одного человека, а по расчету Сиднея Смита — для того, чтобы кончить войну.

Английский коммодор был уверен, что англичане легко заключат мир с Бонапартом, если он придет к власти.

Не все в Англии так полагали. Одни настаивали, что этого генерала нельзя выпускать из Египта; другие же надеялись, что «общий любимец» покончит с Республикой и восстановит монархию; они лишь не думали, что он восстановит ее для себя...

Спустя одиннадцать дней Суворов получил «крушительное известие». Готовившееся предательство совершилось: эрцгерцог Карл, командовавший австрийской армией в Швейцарии, бросил оборону двухсотверстной линии, поставив корпус Римского-Корсакова под удар французских войск.

Корпус стоял у Цюриха. Двадцать четыре тысячи

русских оказалось перед превосходящим их втрое противником. Суворову пришлось спешить на помощь. «Иду, иду; — воскликнул он, выступая, — но горе тем, которые посылают меня!..»

Австрийцы добились своего — выманили его из Италии. Они не думали о последствиях — им важно было отделаться от Суворова. А способ избрали они самый верный: в шесть дней перебросил он свои войска к подножью Альп.

Уикгэм, английский представитель при Римском-Корсакове, писал, не понимая значения происходящего: «Единственный, кто может вывести нас из создавшегося положения, это фельдмаршал Суворов. Он посылает нам в долину сильное подкрепление, без помощи которого мы провели бы лето, кусая себе пальцы, под победный клич врага».

Но русский фельдмаршал знал, что вынужденный его марш повлечет за собой проигрыш кампании.

Теперь уже понял это и Павел. «Уверен, — предсказывал он в письмах к Суворову, — что успехи французов против цесарцев<sup>1</sup> начнутся с прибытием вашим в Швейцарию. Но на кого же пенять? Пусть их бьют...»

Нельсон сдержал слово и «отделил» турецкую эскадру от русской.

Прежде всего он посвятил в свой план стоявшего в Неаполе коммодора Траубриджа и дал ему две секретные инструкции — обе в один и тот же день.

В первой из них Нельсон писал:

«Как только русские фрегаты появятся вблизи Неаполя, вам надлежит немедленно идти к Чивита-Веккиа...»

Смысл этих строк был непонятен постороннему, но его, видимо, хорошо понимал адресат.

Вторая инструкция дополняла первую и разъясняла ее:

«...Теперь вы знаете мой образ мыслей и согласно ему будете действовать; но надо держать это в тайне,

---

<sup>1</sup> Цесарцы (от «цесарь» — император) — австрийцы.

иначе возбудим подозрение русских. Что до турок, то с ними мы можем сделать все, что угодно. Они добрый народ, но совершенно бесполезны...»

В заключение следовала таинственная (скорее всего, зашифрованная) фраза:

«Ваш младший боцман получит боевой приказ».

После этого в Палермо произошли события, повлиявшие на дальнейший ход дел.

Началось с того, что какие-то люди затеяли ссору с турецкими моряками; ссора быстро перешла в побоище, и с обеих сторон было убито до ста человек.

Ушаков тотчас же приказал Кадыр-бею подвергнуть своих матросов строжайшему наказанию. Но турецкий флагман, расстроенный и смущенный, вскоре сам явился к нему на корабль.

Он доложил, что команды его взбунтовались и требуют немедленного возврата на родину.

Ушаков отправился к бунтовавшим матросам. Они притихли и спокойно выслушали русского адмирала, но на этот раз ему не удалось убедить их. Турки твердо решили идти домой.

Он покинул их, размышляя, следует ли ему принять более строгие меры или же вовсе не удерживать при себе турок. Его колебания разрешило письмо Фердинанда, доставленное ему в тот же день.

(Это был второй и последний ход, дававший Нельсону выигрыш.)

«Его сицилийское величество» настоятельно просил «о предупреждении бедствий», которые турки могут принести «подданным короля».

«Король предпочел бы,— писал он достаточно ясно,— лишиться сильной помощи, если она может быть приобретена только с ущербом для его подданных».

Федор Федорович больше не колебался и решил не препятствовать уходу турок.

Они снялись с якоря и ушли 1 сентября.

Русский и турецкий адмиралы расстались друзьями. Кадыр-бей упросил Ушакова письменно засвидетельствовать, что султанская эскадра во время соединенного плавания состояла у него в должном повиновении и что

возвращение ее к своим портам произошло единственно из-за ослушания команд...

Нельсон написал графу Спенсеру, первому лорду Адмиралтейства:

«Король добился, чтобы русский адмирал шел в Неаполь...»

С уходом турок силы Ушакова уменьшились почти вдвое. Это заставило его отложить мысль о Мальте и направиться к Неаполю, чтобы там подготовить поход на Рим.

Девятнадцатого сентября русские суда бросили якорь на Неапольском рейде. Английской эскадры там уже не было, и в гавани стоял всего лишь один корабль.

К Ушакову сейчас же явились гражданские, военные и морские власти, в том числе — коммодор Траубридж, заявивший, что он горд и счастлив встретиться со знаменитым русским моряком.

Федор Федорович в тот же день отдал визит союзному коммодору. Осматривая его корабль, он заметил на нем приготовления к походу. На вопрос: куда отправляется судно? — Траубридж ответил не сразу.

— К Чивита-Веккиа, — сказал он, замямвшись. — Я должен собрать крейсирующие там суда и следовать на соединение с адмиралом Нельсоном.

Заминка не ускользнула от внимания Ушакова, но особого значения он ей не придал.

После этого Федор Федорович осмотрел военные заводы и арсеналы Неаполя и приступил к обучению королевских войск.

Он имел доверенность короля распоряжаться всеми его силами и освободить Рим от французов. В доверенности, кроме того, было сказано, что, пока русские не будут в состоянии выступить, к Риму не двинутся никакие другие войска.

Но капитан Траубридж имел секретный приказ Нельсона. Пока Ушаков готовил колонну к походу, английский коммодор появился у Чивита-Веккиа и послал парламентаря в Рим, к французскому генералу Гарнье.

Чтобы лишить русских славы занятия великого города, французам было сделано предложение сдаться;

об условиях более почетных и выгодных они не могли даже мечтать: у них не отбирали оружия, и они не лишались права участвовать в военных действиях; сверх того было обещано доставить их во французские порты на английских судах.

Силы противника освобождались для борьбы с союзниками на другом фронте: французы намеревались теперь усилить оборону Генуи, на блокаду которой Суворов положил немало труда.

Узнав об этом, Ушаков немедленно написал Траубриджу:

«Вы не рассудили за благо объявить мне подлинные намерения ваши относительно до Чивита-Веккиа тогда, когда изъявил желание я знать оные; принужденным себя нахожу беспокоить вас настоящим письмом... Честь имею вас уведомить, что получил я от его величества короля Обеих Сицилий формальную доверенность и полную мочь, дабы освободить Рим и Чивита-Веккиа от неприятеля, обретающегося ныне в обоих сих городах, на каковой предмет вверены мне войска... Ваше высочородие прошу пресечь всякие переговоры с неприятелем, ибо оная капитуляция подает сикурс<sup>1</sup> непосредственной и немаловажной французам, находящимся в Генуе».

Еще более резко написал он кардиналу Руффо:

«...Бесполезная и вредная капитуляция не составляет то, чтобы Рим освобожден был от неприятелей, но неприятели французы освобождены из Рима и от рук войск наших».

Но протесты не помогли. Не помогло и его «представление» королю Фердинанду о том, что все это «несовместимо с высоким достоинством Союзных Держав».

Двадцать седьмого сентября генерал Гарнье и коммодор Траубридж подписали капитуляцию. Затем по Тибру прибыла в Рим шлюпка с английскими моряками, и на Капитолии был поднят британский флаг. После этого англичане заняли Чивита-Веккиа, а в Рим вступили неаполитанцы. Это был отряд генерала Бургардта — тысяча королевских солдат, посланных Фердинан-

<sup>1</sup> С и к у р с (франц. secours) — помощь, подмога.

дом. Они повторили в Риме ужасы Неаполя, те же убийства и грабежи.

Ушаков уже решил отказаться от марша и посадить на суда высаженную на берег пехоту. Но кардинал Руффо упросил его не отменять похода. Он объявил, что иначе нельзя будет спасти Рим и установить в нем порядок. И Федор Федорович согласился послать восемьсот человек.

Двенадцатого октября русские вступили в Вечный город. Они прошли мимо Колизея и по древнему Форуму: впереди — эскадрон неаполитанской кавалерии и взвод русских матросов; за ними — весь отряд повзводно, с двумя корабельными знаменами и пушками, а позади — королевские войска.

Колонна двигалась в образцовом порядке среди густых толп народа. «Eviva moscoviti!» («Да здравствуют русские!») — кричали итальянцы. «Вот те, которых французы боятся!» И так же, как это было в Занте и Корфу, бросали морякам цветы.

## 5

По страшным кручам и обледеневшим скалам, выбивая засевших за камнями французов, шли воины Суворова, преодолевая Сен-Готард.

Они штурмовали перевал, чтобы выйти на соединение с Римским-Корсаковым. Ущелье, где кипела сдавленная скалами Рейсса, они перешли по Чертову мосту, перекинув через пропасть бревна и связав их офицерскими шарфами. 16 сентября был начат подъем на снеговой хребет Росштук.

Девятнадцатого вышли в Муотенскую долину. Здесь Суворов узнал, что Римский-Корсаков, покинув Цюрих, с тяжелыми потерями пробился к Рейну и что главные силы Массена стоят впереди.

Французы предупредили соединение русских армий и теперь преграждали путь Суворову. Они готовились окружить и взять его войска в плен.

До нас дошел замечательный документ — протокол (или дневник) настоятельницы Муотентальского монастыря, в ограде которого осенью 1799 года, в течение нескольких дней, стояли русские войска.

«25-го<sup>1</sup> сентября 1799 года, вечером,— записала настоятельница Регина Фешлин,— на горе послышались выстрелы. 27-го числа около 3 часов дня со стороны Ури через Кульм спустились в долину Муоты около 10 000 русских и полк казаков под начальством 76-летнего старца, генералиссимуса графа Суворова<sup>2</sup>, и князя Константина, при одном казачьем генерале и еще одном высшем русском генерале, о чем ни французы, ни местные жители ничего ранее не знали. После незначительной схватки на аванпостах сторожевые пикеты были сбиты. Французы в числе 180 человек бежали сломя голову, причем, однако, один полковник и 80 солдат были взяты в плен...

30 сентября в 3 часа пополудни французы... наступили на Рид. Завязался жаркий бой. Русские оттеснили французов к Каменному мосту. Вскоре привезены были к нам 5 раненых русских офицеров и много солдат. Для них мы должны были выслать 20 мер вина, много старого полотна и 100 локтей сукна, за которые нам и было уплачено...

1 октября, около полудня, французы, как говорили, в числе 10 000 человек, снова наступили с той стороны Каменного моста; они стреляли невероятно много, и сражение все разгоралось, а между тем с горы стремились русские все большими и большими массами... Наконец русские ударили штурмом на французов, около 800 человек конницы по обе стороны горы, а в середине долины — пехота. Французы были смяты. Они отступали сломя голову по узким дорогам через Каменный мост, где и потеряли очень много людей, частью срываясь сами собою в пропасть, частью сталкивая друг друга в общей свалке... В этом сражении было взято в плен 11 французских офицеров, в том числе один генерал и его адъютант, один баталионный командир и от 1500 до 1600 солдат...

2 и 3 октября все русские, конница и пехота, выступили через Прагель... Вечером прибыли три французских офицера, были с нами очень вежливы и любезны

---

<sup>1</sup> Даты в дневнике даны по новому стилю.

<sup>2</sup> Суворову было в это время не 76, а 69 лет.

и сказали, чтобы мы ничего не боялись, что утром придут французские войска...

До 16 октября все раненые были вывезены, и монастырь был очищен. Русские заплатили нам за все, за исключением довольствия раненых, французы же не заплатили ничего. За время с 27 сентября по 16 октября наши жизненные припасы до того оскудели, что мы не имели более муки и вынуждены были приобретать хлеб для сестер монахинь в Швейце... Овощи вышли все. Репу и картофель большею частью взяли русские, которые истребляли их с голоду в сыром виде. Сушеные плоды были израсходованы, а запас яблоков мы принуждены были раздать...»

Между тем у Суворова был только один выход: повернуть на юг, к Рейну, и, соединясь с Римским-Корсаковым, «обновить кампанию».

Двадцать третьего войска начали свой последний альпийский переход.

Хребет Паникс встретил их ледяною стужею. Глубокий снег лежал на склонах. Пришлось бросить пушки, заряды, патроны и штыками отбиваться от наседавших французских стрелков.

В эти дни и часы вся армия жила силой Суворова. Его трясла лихорадка. Он был уже больной и немощный, но полностью сохранял великий дар своей бесстрашной души.

Двадцать шестого сентября он вывел людей к Иланцу, в долину Рейна. Еще день пути — и он встретил австрийцев, любезно предоставивших ему боевые припасы и провиант.

«Мы перешли цепи швейцарских горных стремнин, — написал он Павлу. — В сем царстве ужаса на каждом шагу зияли окрест нас пропасти, как отверстые могилы. Мрачные ночи, непрерывные громы, дожди, водопады, свергающиеся с гор огромные льдины и камни; Сен-Готард — колосс, ниже вершины коего носятся тучи, — все было преодолено, и в местах недоступных не устоял перед нами неприятель».

Он негодовал на австрийцев, едва не погубивших весь русский корпус, и считал, что, кроме предательства, от них ничего нельзя ожидать; однако он сдерживался и даже предложил им план наступательных



действий, но пока этот план обсуждался, в намерениях Суворова произошел перелом.

Он получил известия о полном расхождении между петербургским и венским дворами и понял, что предстоит разрыв между ними.

Ему стало легче: руки у него теперь были развязаны. Он отказался обсуждать с союзниками какие бы то ни было планы, соединился с Римским-Корсаковым и повел армию в тыл.

Австрийцы просили его взять на себя оборону хотя бы малого участка их границы. Но он был непреклонен и продолжал путь в Богемию, чтобы расположить на отдых войска.

Эрцгерцог Карл послал ему вдогонку письмо, упрекая его в том, что он отступает. Суворов ответил: «В письме вашем употреблено на счет мой слово отступление; против оного подаю голос и объявляю, что я во всю жизнь свою не знал слова сего так, как и оборонительной войны...»

От Кельна до родной русской границы он провел своих солдат по земле, еще не разоренной войною. «Немцы изумлялись, видя в них добродушие, приветливость, услужливость и благодарность», — писал о суворовских воинах в 1802 году немецкий «Революционный альманах».

В этом же издании был помещен трогательный рассказ о русском солдате, попавшем на постой в один крестьянский дом в Саксонии. Простая деревенская женщина, хозяйка дома, приняла русского воина, как сына. Не умея высказать словами своей признательности, он, уходя, стал перед нею во фронт и сделал ружьем на караул...

Осада Мальты шла вяло. Ее гарнизон осмелел, видя, что англичане не желают тратить силы на атаку, и Нельсон решил привлечь к этому русские войска и флот.

Он предложил Ушакову отправиться вместе для взятия Ла-Валетты. Но Федор Федорович теперь уже был осторожен и ответил уклончиво, напомнив Нельсону о палермском совещании и о походе на Рим:

«С искренностью уверяю ваше превосходительство о истинном желании дружелюбно содействовать с вами, хотя последствия со стороны господина Траубриджа здесь произведены не соответственно. Не распространяюсь об оных; вам известно... Я с соединенными эскадрами приходил в Палермо для советования с вами об общих действиях и предприятиях. Первое предложение мое было об Мальте; вы изъявить соизволили другие, надобные вам обстоятельства. Я намерился с соединенными эскадрами иттить туда, но по известным же вам обстоятельствам Турецкая эскадра от нас отделилась и ушла в Корфу; и без десантных войск, не будучи я в состоянии предпринять действий против Мальты, по требованию его величества короля Обеих Сицилий, отправился в Неаполь и высадил все с эскадр войска...»

Он писал, что не может идти к Мальте, пока не возвратятся посланные им в Рим отряды.

Истинные же причины своего уклончивого ответа Нельсону Ушаков объяснил в письме графу Мусину-Пушкину-Брюсу, русскому посланнику при сицилийском дворе:

«Весьма нужно иметь искреннее содействие, а не так, как теперь производится; крайне сожалею, что при сих обстоятельствах не могут быть добрые последствия. Но как противу нас с обеих тех сторон<sup>1</sup> деятельности их производятся министеральным образом, под закрытой учтивостию, должно учтивостию же соответствовать, посему и я отвечаю господину Нельсону, объясняясь о войсках наших, что они с кораблей и фрегатов теперь весьма отдалены».

Одновременно с Ушаковым ту же мысль высказал Суворов в письме к Павлу I:

«Исполнилась бы цель сего великого дела: низложение врага и спокойствие Европы, если бы все союзники поборствовали спасительным видам; но где теряется совокупность усилий, там и не можно ожидать решительных успехов».

Так расценивали поведение союзников русские главнокомандующие.

---

<sup>1</sup> То есть со стороны короля Фердинанда и со стороны англичан.

Нельсон же ответил Ушакову любезнейшим и коварным письмом:

«Мое удовольствие и моя гордость — всегда поступать с вами по-братски, быть открытым и искренним с вами, в то время как мы должны быть замкнуты по отношению ко всем другим... Все, что сделано моим храбрым другом, капитаном Траубриджем, сделано по моим приказаниям. Вам стоит только узнать его, и вы воздадите ему любовь, честь, уважение, удивляясь прекрасным качествам его ума и души. Все, совершенное им в Папской области<sup>1</sup>, сделано с одобрения его сицилийского величества, я полагаю, отлично известно Кардиналу<sup>2</sup> и совершенно объяснено мною у сэра Вильяма Гамильтона моему другу Италинскому<sup>3</sup>; мне кажется, я даже сказал ему, что не надеюсь, чтобы вы нашли коммодора Траубриджа в Неаполе, ибо он присоединится к кораблям у Чивита-Веккиа... Все дело было в том, чтобы сохранить тайну, и Траубридж, при таких обстоятельствах, не вправе был приоткрыть ее, особенно когда ваше превосходительство только что покинули меня. Будь потеряны два часа — Рим не был бы в руках его сицилийского величества. Я не ожидал такого счастливого события и от всей души радуюсь ему вместе с вами. Пойдемте к Мальте. Соединим все наши средства... Верьте всегда открытому сердцу вернейшего вашего брата по оружию...»

И Федор Федорович стал готовить эскадру в поход.

Его склонили к этому не письма Нельсона и не просьбы короля Фердинанда, а остававшийся в силе приказ Павла и желание доказать, что русские возьмут Мальту, которую союзники никак не могли взять.

Он приказал отряду, ушедшему в Рим, вернуться, и моряки в начале октября возвратились в Неаполь. Затем прибыли из Ливорно три гренадерских батальона под начальством генерал-майора Волконского. Они были присланы Суворовым для будущего гарнизона

---

<sup>1</sup> В Папскую область входили Рим и его округ, а также несколько провинций и городов (Болонья, Феррара, Урбино и др.).

<sup>2</sup> Кардиналу Руффо.

<sup>3</sup> А. Я. Италинский — русский посланник в Неаполе, поверенный в «делах по военной части».

Мальты, который должен был состоять из союзных войск...

В эти дни новое предательство произошло у Анконы, где эскадра Войновича — участника штурма Корфу, — блокируя крепость, уже почти заставила ее спустить флаг.

Город с моря осаждался русскими кораблями, а с суши — итальянскими патриотами и корабельным десантом в девятьсот человек.

Третьего октября к Анконе прибыл австрийский корпус генерала Фрелиха. Генерал повел себя надменно и вызывающе, но отнюдь не намеревался идти на штурм.

Когда осенние бури заставили Войновича отправить в Триест большие суда эскадры, Фрелих заключил с неприятелем капитуляцию и занял крепость силами одних австрийских войск.

Условия сдачи были такие же, как и в Риме. Гарнизон остался при своем оружии. Французы покинули город, грозя кулаками и крича, что они еще вернуться, а народ смотрел, как австрийский конвой охраняет их обоз...

Ушаков негодовал, но ничем не мог помочь делу.

Удручало его еще и другое: в Неаполе по-прежнему действовала юнта, ибо «генеральное прощение не последовало», несмотря на слово, данное королем.

В эти мрачные дни главный виновник террора в Неаполе — Нельсон — получил удивительное письмо. Шесть старшин с острова Занте, препровождая ему шпагу и трость, осыпанные брильянтами, называли его освободителем Ионических островов, которых он никогда не освобождал.

Эти дары и письмо он получил через английского консула на острове Занте — грека Спиридона Форести, отъявленного пройдоху, который и состряпал все это дельце, оплатив черной неблагодарностью Ушакову, спасшему его в свое время от Али-паши.

Нельсон принял дары как должное и не замедлил ответом, столь же удивительным, как и полученное им письмо.

«Милостивые государи! — писал он на остров Занте. — Через г. Спиридона Форести получил я весьма

богатые и приятные мне дары ваши, состоящие из шпаги и трости, которые в десять тысяч крат драгоценнее золота и алмазов. Я сохраню их для потомков моих и надеюсь, что они ни на одно мгновение не забудут той чести, какую оказывают мне жители острова Занте. Вы, милостивые государи, почитаете меня главной причиною освобождения вашего от французского тиранства; если оно и справедливо, то такой пример благодарности делает вам большую честь...»

Весь ноябрь Ушаков чинил суда, иначе они не смогли бы держаться в море зимою. А Нельсон выходил из себя и жаловался лордам Адмиралтейства: «Я не могу склонить русского адмирала выйти из Неаполя, и потому войска наши по-прежнему стоят на Мальте, готовые, кажется, скорее выдержать атаку французов, чем на них идти».

Сидней Смит знал, что делает, когда выпускал Бонапарта из Александрии. Для этого человека настало время — он мог преуспеть во Франции как никто другой.

Пока он сражался в Египте, все плоды его побед исчезли.

Суворов прошел по Италии и стал на границах Франции. Монархисты ожидали возвращения Бурбонов. Всюду была разруха; дороговизна — в городах, разбой — на дорогах. Многие думали, что только Бонапарт может удержать завоевания революции, восстановить порядок, дать стране выгодный мир.

Так думала прежде всего армия, встретившая его с восторгом. А он объявил, что намерен спасти Республику, хорошо понимая, что этого от него и ждут.

Восемнадцатого брюмера (7 ноября нового стиля) он начал действовать и совершил переворот в течение суток. Правительство было низложено, и вся власть в стране вручена трем консулам; в списке их первым стоял Бонапарт.

Он был одним из трех, но два других не имели значения. Главное было сделано. Бонапарту оставался один только шаг к трону. Франция уже принадлежала ему.

Ушаков готовил эскадру. Нельсон жаловался на него разным лицам.

Одиннадцатого декабря он писал в Константинополь британскому посланнику Джемсу Смигу:

«Я не могу сдвинуть адмирала Ушакова с места, и по его беспечности не только замедлено падение Мальты, но и самый остров может быть потерян».

Двадцатого декабря — лорду Спенсеру:

«По-моему, император не будет доволен адмиралом Ушаковым...»

Но он не знал, что император уже приказал адмиралу «идти к своим портам». Это повеление было получено в Неаполе 13 декабря.

Возмущенный союзниками, обманувшими его в Италии, на Мальте и в Риме, Павел предписал Ушакову собрать рассеянные в Средиземном море отряды и покинуть Италию, посадив на суда войска...

Двадцатого декабря русский флот оставил Неаполь. 22-го он был в Мессине. Дальнейший путь лежал к Ионическим островам.

Федор Федорович с радостью возвращался к Корфу. Его тянуло туда, как в дом, который он сам построил.

В Мессине он пробыл недолго и вышел в море в первый день нового, 1800 года — 1 (13) января.

## 6

Узкие, кривые улицы Корфу поднимались от гавани, пересекаясь на горе во всех направлениях; каменные лестницы во многих местах соединяли их.

Неудобные для проезда, тесные до того, что двум ослам с поклажею разойтись было невозможно, они носили громкие названия: Софоклова, Эпаминондова, Св. Елены. Но самая широкая, упиравшаяся в главную площадь города, именовалась в честь русского адмирала! греки называли ее теперь «Одѳс Ушаков».

Андреевские флаги развевались на рейде, и длинные вымпелы с двумя узкими косицами трепетали на гот-мачтах. Один корабль и два фрегата ремонтировались в порту Гуино.

Шестой месяц эскадра стояла в Корфу. Она не ушла «к своим портам», потому что Павел прислал новое «по-

веление». Он снова требовал похода к Мальте, но у Федора Федоровича не было для этого средств.

Пока он добывал провиант (что стоило ему великих усилий), было получено еще несколько рескриптов, и все они противоречили один другому. Надо было не двигаться и ждать.

Но вот пришло известие из Палермо: Бонапарт разбил австрийские войска при Маренго и отнял у союзников почти всю Италию; король Обеих Сицилий опять призывал на помощь русский флот.

Ушаков был в затруднении. Указы Павла менялись с такой быстротою, что Федор Федорович колебался что-либо предпринять.

Он созвал военный совет. Было решено — ввиду «совершенной перемены политических обстоятельств» и так как Порта отказывается доставлять припасы, возвратиться в Россию, уведолив об этом сицилийский двор...

Стоял июнь — пора второго цветения в этом краю померанцев. Ветер с берега приносил сладковатый запах на палубы кораблей.

Федор Федорович был у себя. Шагая по своей адмиральской каюте, он рассеянно слушал доклад Метаксы.

Приняв накануне решение, Ушаков и виду не показывал, что эскадра уходит. Все созданное им рассыпалось прахом. Но он не мог спокойно думать об этом, и его твердым намерением было сохранить установленный им порядок, во всяком случае пока флот не уйдет...

— Так чего же хочет этот капиджи-баши?<sup>1</sup> — хмуро спрашивал он, не переставая шагать, заложив руки за спину.

(Речь шла о начальнике турецкого гарнизона и небольшой султанской эскадры, оставленной в Корфу после ухода ее главных сил.)

Метакса, улыбаясь, сказал:

— Приближается день рамазан-байрама. Турки намерены устроить пальбу из крепостных пушек и требуют, чтобы ваше превосходительство приказали палить и нашим кораблям.

---

<sup>1</sup> Капиджи-баш и — придворный чин при оттоманском дворе; исполнял обязанности кабинет-курьера (турецк.).

— Вы говорите, они требуют?..

— Капиджи-баши утверждает, что в бытность здесь Кадыр-бея от вас по случаю сего праздника было палено.

Подбородок Ушакова выдвинулся, и он сказал, совершенно взбешенный:

— По случаю рамазан-байрама от меня не было палено никогда!.. При поднятии султанского флага я действительно салютовал ему из двадцати одной пушки. Но то — дело другое... А палить из крепости им не позволю! Они однажды уже всполошили мне весь город!.. Пусть на рейде со своих судов стреляют сколько хотят!.. Да садитесь вы, Егор Павлович! — добавил он раздраженно и, перестав шагать, сел в кресло. — Мне надобно потолковать с вами и кое-что распорядить...

Он взялся за бумаги, доставленные с последнею почтою, отобрал несколько писем и придавил их тяжелой ладонью к столу.

— Итак, мы уходим... Суворов, должно быть, уже в России... Французы бесподобным образом разбили австрийцев и вновь захватили немалую часть Италии. Этого следовало ожидать... Но мы уходим с чистой совестью. Русские войска и флот всюду показали свою решимость, и не наша вина, что неприятель восторжествовал...

Голос его был глухой, сдавленный — прорывались обида и гнев за все вынесенное в эту кампанию.

Метакса, видя, как ему тяжело, сказал:

— Одна мысль служит нам утешением, что труды наши не пропали даром: в Средиземном море создано независимое греческое государство...

Федор Федорович покачал головой.

— Сохранить здесь что-либо вряд ли удастся... Во-первых, турки. Они только и ждут, чтобы мы ушли... Затем — происки других иноземных старателей. Я не знаю, кто они таковы, ибо так они скрытны, что их отыскать не могут. Но их действия — явственны, и уже во многих местах знатнейшие поднимают голову, надеясь на наш скорый уход.

— Вы имеете в виду эту комедию с Нельсоном и патрициями, которую разыграл Форести?



— Да, это забыть невозможно!.. За кровь русских моряков, своих освободителей, они благодарят англичан!..

— Говорят, что на острове Занте жители снова взялись за оружие.

— И на Занте, и на Кефалонии, и на других островах. Офицеры наши, поставленные там комендантами, просят о взятии их на эскадру — они не в силах сдерживать островитян. А с чего сие началось — известно: несколько человек отправились отсюда депутатами от дворянства, дабы сделать перемену в устройстве республики; с их мнением согласились в Константинополе и в Петербурге, конституцию мою нашли несоответственной, и она будет изменена.

— Бедная Кефалония! — тихо сказал Метакса. — Земля моих предков! Опять ей предстоят испытания!.. Поистине прав был Аннибал, сказавший: «Не Рим победил меня, а карфагенский сенат!»

— Именно так... — подтвердил Федор Федорович. — Я писал к жителям, чтобы они свято чтить данные им законы; выходит — писал напрасно. Признаюсь, это для меня — наичувствительнейший удар!..

Верхняя губа Метаксы дрогнула. Он посмотрел на Ушакова участливым взглядом, намереваясь что-то сказать, быть может утешить, но тот его опередил.

— Возьмите перо, Егор Павлович!.. Я задавлен беспредельною перепискою и от невозможности успевать совсем себя потерял... У нас нет припасов, и мы не можем уйти отсюда... Вы составите письмо морейскому губернатору Мустафе-паше... Изложите ему, что крайность заставляет меня писать об этом вторично. Ежели через десять дней от сего числа не получу от него удовольствия, то не мешкая пойду с эскадрой в Морею и буду брать во всех местах провиант силою! Прошу его превосходительство избавить от такого несчастья и себя и меня!..

Метакса записал. Федор Федорович снова заговорил, сопя от волнения и ожесточаясь:

— Теперь другое... Али-паша взялся за прежнее — истребляет и разоряет обитающих в Албании христиан, восстав против них со всею своею злобою... Должно потребовать от него прекращения таких дейст-

вий! Напишите, что я с флотом нахожусь в здешнем краю!..

— Он мстит нам,— сказал Метакса.— И не только за Санта-Мавру и Корфу. С тех пор как флот наш появился в Ионических водах, здесь исчезла работорговля, а это убыток и туркам и Али-паше.

— Когда мы уйдем, они свое наверстают.

— Корсары!— произнес Метакса презрительно.— Единственно страх перед вами удерживает их от сего бесчеловечного варварства!..

Федор Федорович усмехнулся и сложил руки в замок.

— Полно!— сказал он.— Не стоит более говорить об этом... Мы свой долг исполнили и отправляемся в обратный путь... Эскадру надеюсь привести в целости. Почти все корабли исправлены; худые же, которые еще в ремонте, с теми надобно поспешить. Трофеев с собой не возьму. «Леандр» починен и в добром порядке возвращен англичанам, а шесть французских полугалер дарю жителям, дабы имели они для своей защиты флот. Объявите им сие на бумаге за мою подписью... Вот и все, Егор Павлович. Распорядитесь спустить шлюпку! Я отправлюсь на берег, осмотрю суда...

Метакса вышел. Федор Федорович закрыл лицо руками и, подняв высоко плечи, с минуту сидел не шевелясь. Потом он взял исписанный лист бумаги — черновик своего письма Томаре, письма, которым он хотел отвести «наичувствительнейший» удар.

Письмо было оставлено без внимания.

С горечью вчитывался он в строки, выведенные собственной его рукой:

«Милостивый государь мой Василий Степанович! Депутаты, в Константинополе находящиеся, успели во вредных их замыслах противу общества всех островов; сказывают, что сделана перемена, при которой существовать будет один первый класс дворян; говорят, что ваше превосходительство одобрили оное, что скоро подписано будет и кончится... Скажу вам, милостивый государь, ежели точно последует сие (чего я по прозорливости вашей ниже вообразить не осмеливаюсь), оным навлечена будет столь великая расстройка между нижними классами от крайнего их неудовольствия и

негодования, что ничем ее прекратить будет не можно; в таком случае и я не могу уже переуверивать всю чернь в нашем к ним благоприятстве, когда не мог я удержать того, что обещал в их примирении с перво-классными, и все оставил на произвол судьбы, как они хотят. Я не ожидал, чтобы ваше превосходительство, не уверясь моим представлениям, положились на мнение пяти или шести человек, которые о своей только собственной пользе стараются, а не общественной... Прошу наипокорнейше, ежели еще перемена в правлении не сделана, употребить ваше старание в пользу общества островов, за которых именем всего народа и вас прошу устоять и не переменять Конституции».

Он бросил письмо и сказал громко:

— До того все надоело, что и жизни не рад!..

Хлопнув дверью каюты так, что затрещала переборка, он прошел на галерею, затем — на палубу и по правому, парадному трапу спустился в шлюпку, уже плясавшую на волнах.

Она доставила его в порт Гуино, где ремонтировались два фрегата и корабль «Мария Магдалина». Было время обеда. Матросы, запасавшие дрова для эскадры, отдыхали на берегу.

Федор Федорович осмотрел фрегаты, нашел, что повреждения могут быть скоро исправлены, и поднялся на корабль. Он оказался ветхим, почти не мог продолжать плавания, а починить его раньше осени не представлялось возможным. Но корабль этот был участником сражений при Еникале, Тендре и Калиакрии, и Ушакову не хотелось его оставлять. Он приказал снять с него артиллерию и разместить по эскадре, а корабль снайтовить<sup>1</sup> и вести его в Севастополь.

Потом он побывал в провиантских складах, в мастерских Адмиралтейства и, обойдя все свое хозяйство, направился в дальний угол гавани, где не было уже ни людей, ни строений, а только серая, нагретая солнцем галька да плеск волн.

Русские моряки называли Гуино «вторым Ахтиаром». Пустынная часть порта чем-то и впрямь напоминала Севастополь. Наверху, на круче Монте-Оливето, темне-

---

<sup>1</sup> Снайтовить — скрепить канатами.

ла зелень орешника, плюща, каштанов и акаций, а берег лежал голый и суровый. Федор Федорович медленно брел вдоль него, заложив руки за спину, и галька под ногами казалась ему севастопольской, милой и дорогой.

Камень торчал у воды. На камне, обхватив руками колени, сидел матрос и пел песню. Федор Федорович сразу же узнал его.

Перед ним встали: штурм острова Видо и комендор, который, казалось, стрелял по пустому месту, а на самом деле отлично угадывал укрывшегося врага. Ушакову хорошо запомнились его синие, со слезою глаза, светлые брови и лицо — белое, немного припухшее от голода. Только теперь он не стрелял из пушки, а тянул песню без слов.

Федор Федорович приблизился. Матрос, не видя его, продолжал. Чистый голос его набирал силу, будто жалуюсь и все вырастая. Может быть, он сетовал на свою солдатскую долю, или сокрушался о разоренном своем домишке, или же попросту тосковал по родине, славу которой он здесь добывал.

Песня была знакомой. Федор Федорович однажды слышал ее в Севастополе... Он вспомнил: сентябрьский день... крыльцо дома над бухтой... Старый грек-пекарь пел песню про птицу, летящую через море и горы, лес и туман...

Старик, что пел тогда песню, сказал: «Кто поет ее, тот плачет за свое отечество...» Федор Федорович подумал: «Должно быть, на всех языках поют ее одинаково», — и, обогнув камень, быстро прошел стороной...

Полчаса спустя шлюпка с адмиралом возвратилась к «Св. Павлу».

Фалрепные подали ему обшитый сукном трос и помогли взобраться на трап.

Войдя в каюту и притворив дверь, он остановился в раздумье. Потом взял со стола ключ и отпер сундук, окованный медью по углам.

На самом дне, завернутая в кусок парусины, лежала флейта. Федор Федорович достал ее, повертел в руках и поднес к губам.

Он заиграл совсем тихо, и все же вахтенные матросы слышали. Они знали по рассказам, что адмирал

умеет играть на флейте, но им ни разу еще не приходилось слышать, чтобы он играл.

Это длилось недолго. Он вскоре перестал играть, снова завернул в парусину и спрятал в сундук флейту.

— Дай бог скорее возвратиться к своим портам! — пробормотал он и стал приводить в порядок стол.

Письмо на английском языке, писанное левой рукой, попало ему на глаза.

— Поздно! — сказал он. — Поздно!..

Это было письмо Нельсона, полученное им недавно: «Сэр!

...В настоящий момент я отправляюсь на Мальту, где буду иметь бесконечное удовольствие встретиться с вашим превосходительством и князем Волконским для того, чтобы сообща положить конец знаменитой экспедиции Бонапарта и вырвать у него последние остатки его побед...»

## Глава девятнадцатая

### «БУРИ ВСТАЮТ НА ЗАПАДЕ»

Не отчаивайтесь! Сии бури  
обратятся к славе России.

*Ушаков*

#### 1

Суворов, почти умирающий, прибыл в Кобрин. Швейцарский поход надломил его силы, и он был уже совсем плох, но врачи отходили его.

«Горячка моя обновилась при выезде из Праги, — писал он Ф. В. Ростопчину<sup>1</sup> из своего кобринского имения, — 12 суток не ем, а последние 6 — ничего: без лекарства. Сухопутье меня качало больше недели, [как] на море. Сверх того, тело мое расцвело: сыпь и пузыри — особенно в сгибах; здесь я лекарства нашел, он мне обещает справиться чрез неделю, я бы согласился и на две.

---

<sup>1</sup> Ф. В. Ростопчин, граф, — третий по старшинству член Коллегии иностранных дел; в 1812 году — главнокомандующий в Москве.

Я спешил из Кракова сюда, чтобы быть на своей стороне...»

Он был угнетен. Политика союзников его удручала. С убийственной меткостью писал он об их вероломстве, о том, что англичане утверждают на морях «изнурением воюющих держав...».

Суворова «справили» — временно поддержали угасавшие силы и повезли в Петербург, где готовилась пышная встреча: придворные кареты были высланы к Нарве; в Зимнем дворце для него отвели покои; он должен был въехать при колокольном звоне и пушечной пальбе.

Но еще в пути сразила его весть о новой опале: выговор в приказе по армии за то, что в походе имел при себе дежурного генерала. И вслед за этим запрос: почему действовал «старым обычаем» и нарушил устав?

Под «старым обычаем» разумелись тот дух и порядок, которые создал Суворов и чем держались и побеждали его войска. Но Павел, сторонник муштры, не терпел суворовского искусства, считал его вольностью, оставшейся от Екатерины, и не склонен был уступать. Он ввел новый устав и за малейшее его нарушение карал жестоко. «Дежурный генерал» действительно его разгневал, но дело заключалось в другом.

Суворов — победитель французов — был больше не нужен. Он стал неудобен, ибо Павел, отвернувшись от Англии, уже склонялся к сближению с Францией. Он не считал ее больше опасной, и генерал Бонапарт казался ему надежней, чем Вильям Питт...

Двадцать третьего апреля Суворов въехал в столицу. Колокольного звона и салютов не было. Он остановился на Крюковом канале, в доме Хвостова<sup>1</sup>, у своей родни.

Ему сказали, что «государю не угодно его видеть», а через два дня у него отобрали адъютантов. Затем он почувствовал себя как в каземате: кроме докторов, к нему никто не смел приходиться.

Но лечить было незачем — смерть властвовала над его телом. Он еще пытался заниматься турецким язы-

---

<sup>1</sup> Д. И. Хвостов — граф, сенатор; был женат на племяннице Суворова.

ком и беседовал о политике, но память уже изменяла ему.

Когда стало ясно, что он умрет, было разрешено навещать его. Он слабел с каждым днем и часом, но не хотел верить, что жизнь кончена.

Конец наступил 6 мая около двух часов дня.

Двенадцатого мая Суворова хоронили. Огромные толпы провожали его к Александро-Невской лавре. Окна, балконы и кровли домов были усеяны людьми.

Катафалк везли шесть серых коней, одетых с головы до ног черными сукнами. На восьми столбах колыхался малинового бархата балдахин с золотым подзором. Офицеры поддерживали шнуры.

На лицах военных лежало выражение глубокого горя. Люди всех сословий теснились на улицах. Но в церковь пустили только «больших» (самых знатных); народ и войска были оставлены за стеной.

У церковных дверей произошло замешательство: стали подниматься по лестнице, но она оказалась узкой для гроба. Тогда гвардейцы-суворовцы подняли его высоко над собою и один воскликнул: «Небось! пройдет: везде проходил!»

Суворов был погребен за левым клиросом нижней Невской церкви. При опускании гроба «трижды двенадцать раз» прогремели пушечные залпы и через каждые двенадцать выстрелов — беглый огонь<sup>1</sup>.

## 2

«Корфу — освободителю своему Ушакову».

«Кефалония — всех Ионических островов спасителю».

«Остров Занте — мужественному и храброму спасителю и победителю».

Эти надписи были награвированы на поднесенном ему золотом оружии и медалях, выбитых в его честь.

Республика Семи Островов простилась с русским адмиралом.

---

<sup>1</sup> Не многим известно, что А. В. Суворов не был исключен за смертью из списков армии и «остался жить вечно в ее рядах».

Шестого июля он вышел из Корфу, 1 сентября был в Константинополе, более месяца простоял в Босфоре и 26 октября прибыл на Севастопольский рейд.

Выучка его моряков доставила ему неожиданную радость при входе в гавань: корабль «Мария Магдалина», который должен был идти следом, догнал эскадру. Ушаков глазам своим не поверил. Снайтовленное, опутанное канатами судно заливалось водою и все же, несмотря на волнение, первым вошло в порт.

Федор Федорович мог гордиться: флот был в сборе, и корабли возвратились в целости после плавания, длившегося более двух лет.

Но город встретил его невесело. Следы запустения лежали на недостроенных домах и незаконченных суворовских батареях; во всем замечалось отсутствие «глаза», твердой хозяйской руки.

Дом был пуст. Старый Федор умер еще прошлой осенью. Ни Пустошкина, ни Данилова не было в Севастополе. О смерти Суворова Ушаков уже знал от посланника Томары и теперь остро чувствовал вокруг себя пустоту.

А заполнить ее не мог ничем. Ни слова, ни сознание исполненного долга не давали удовлетворения и покоя, хотя, казалось, он мог чувствовать себя удовлетворенным.

Турки встретили и проводили его как героя. От султана он получил второй алмазный «челенг» и пять медных пушек — в полную собственность (необычайно почетный дар).

Утвердив договор о Республике Семи Островов, Порта оставила Проливы открытыми — разрешила русским судам свободно проходить в Средиземное море. Ушаков мог считать это своей личной заслугой и самой крупной победой, которую он за последний год одержал.

Но какой-то гнет висел над ним с самого дня прибытия, и он не видел для себя ничего хорошего впереди.

Кочубеи, Мордвиновы, Кушелевы не могли оставить его в покое. Он был уверен, что они уже очернили его перед Павлом, а император и без того был им недоволен. Это означало, что следует ждать беды. И он дождался ее в конце года.

Пришел «высочайший» запрос: какие причины за-



ставили его по взятии Корфу заключить капитуляцию с французами?

Федор Федорович понял: против него затевалось «дело» — его обвиняли в сочувствии неприятелю. Надо было оправдываться, ехать немедленно в Петербург.

Он понял, что навсегда покидает Севастополь, и решил продать недвижимость. Но дом был заложен. Пришлось ограничиться продажей магазина — склада, выстроенного им на Северной стороне.

Как и Суворов, Ушаков был больше не нужен.

С тяжелым сердцем передал он команду над портом и флотом вице-адмиралу Вильсону, чувствуя, что уже никогда не вернется к любимым своим кораблям...

### 3

«...Во всю бытность мою с 1785 по 1797 год, — говорит в «Записках» своих Иван Полномочный, — летом во флоте, в войнах и походах находился, а зимой — в адмиралтействе, при команде корабельной, обрабатывал господ: три дома обработал железными и медными вещами. Поскрипели плеча и руки...»

Но потом повезло Ивану. С тех пор как перевели его в Херсон подмастерьем, стал он меньше работать, а больше показывал другим. А еще через три года — снова удача: привалило Ивану счастье, какое редко выпадало на долю слесаря, матроса первой статьи.

Приехал как-то с офицерами в Адмиралтейство генерал-цейхмейстер Герцыг и привез с собою секретный, искусно сделанный ларец. Тотчас послал за подмастерьем и говорит ему: «Это мне подарили: и ключ есть, а как открыть — не знаю. Я давал всем господам, и они не отперли. Возьми отопри!»

Полномочный взял ларец и стал рассматривать: чуть заметна была под дужкой маленькая полоска; попробовал придавить ее ногтем: только прижал — отскочила вбок крышечка, а под нею — гладко и на первый взгляд ничего нет.

«Я — опять разглядывать, как сделана, — подробно записал потом Полномочный. — На дне вырезан орел, в когтях держит птичку. Я эту птичку давнул ключом,

бородкою, — птичка осталась, а половина крышечки упала, показался ход ключу. Я отпер и подал ему; он ладошками захлопал: «Браво, мастер! Каково, господа?!»

И повез генерал умельца с собой в Николаев, доставил его к своей супруге и объявил ей: «Вот, друг мой, мастер; то, что тебе угодно, сделает». А угодно было генеральше иметь самовар.

«На другой день приносят три самовара разных манеров, взяты от господ из домов, поставлены на столе в зале... Ей полюбился из красной меди, хорошей работы, и он мне говорит: «Ну, мастер, можешь сделать такой?» Я не мог отказаться, поклонился и сказал: «Сколько могу, постараюсь»... Взял картузной бумаги лист, отметил толстоту и вышину и весь корпус: карандашом срисовал манер и прибор к нему записал. Накормили меня и отправили в Херсон в карете на волах. Карета была послана для починки корабельному мастеру Суровчеву, и я на волах по почте везом; не трясет, сплю в карете; дано мне на дорогу пить и есть. Приезжаю я в Херсон, спрашивает меня мастер Шишкин: «Зачем тебя брал генерал?» Я ему показал рисунок — самовар новый делать. Тут он более на меня злобы понес: «Ты за все берешься, посмотрим — как сделаешь!..» Я на другой день разделся, надел зипун, взял листовой меди, вырезал корпус, спаял и зачал наводить, и в два дня корпус по чертежу кончил; потом трубу накладную, конфорку — в две недели все кончил, остается только точить и собирать... Мы в три дня все выточили и отполировали... кувшин вставил, напаял оловом, скобы прикрепил и шишки деревянные из хорошего дерева к ручкам ставил... Потом вычистил мелом и чистой суконкой... Представил генералу самовар, и он... произвел меня из подмастерьев в мастера унтер-офицерского чина, жалования 80 рублей в треть...»

Так, по «капризу судьбы» — благодаря генеральскому самовару — получил младший офицерский чин Иван Полномочный. А в то же время средний его брат, отличный канонир, герой многих сражений, влачил свои дни в неизвестности, и даже фамилии его никто толком не знал.

Но он и подобные ему тысячи русских солдат совершали чудеса, которых не могли повторить никакие другие солдаты в мире. Потому-то и Нельсону пришлось целых двадцать месяцев осаждать Мальту, чтобы взять ее измором, а Ушаков со своими людьми взял Корфу штурмом в течение одного дня.

4

Мальта сдалась 5 сентября 1800 года. Британский флаг развевался над крепостью Ла-Валеттой, и английский флот, господствуя на тесных морях Европы, захватывал суда нейтральных держав.

Но Россия по-прежнему желала сохранять морскую свободу, провозглашенную ею двадцатью годами раньше. И так как малые государства непрерывно жаловались Павлу на Англию, он повторил шаг Екатерины и в союзе с Данией, Австрией и Пруссией возродил «Северный нейтралитет».

Первый консул Франции зорко следил за событиями. Ему было необходимо иметь Россию союзницей, чтобы одолеть Англию и после того завладеть Европой. И он протянул руку Павлу, любезностью и лестью втягивая его в союз.

Еще в июле он объявил, что возвращает без размена русских пленных и «дарит» царю Мальту, которая тогда только осаждалась англичанами.

Любезность подействовала: Павел поверил, что Бонапарт его друг.

Их сближение вызвало в Англии беспокойство. Но еще больше встревожил ее оборонительный морской союз, созданный русским царем.

Между тем спор с англичанами из-за расчетов по содержанию суворовских войск в Италии и нарушение прав нейтрального флага вывели из себя Павла. В сентябре 1800 года он наложил арест на английские суда с товарами, стоявшие в русских портах, и выслал их экипажи в Калугу.

В декабре он обратился к Наполеону с письмом:

«Господин первый Консул!.. Предлагаю вам войти со мной в соглашение относительно средств, как пре-

кратить бедствия, тяготеющие над всей Европой в течение одиннадцати лет... Я тем более считаю себя вправе предложить вам это, что находился вдали от борьбы, в которой если я и принимал участие, то лишь как верный пособник тех, кто не сохранил верности относительно меня... Я приглашаю вас восстановить вместе со мною всеобщий мир, которого трудно будет нас лишить, если мы только захотим. Сказанного достаточно, чтобы вы могли оценить мой образ мыслей и мои чувства...»

В ответ на это Наполеон предложил Павлу союз и совместный поход в Индию, чтобы поразить Британскую империю в самом источнике ее богатств.

В начале нового года этот план был приведен в действие.

Главнокомандующим Индийской экспедицией, по требованию Павла, был назначен Массена — тот самый, который пытался окружить в Швейцарии Суворова.

Но Павел не стал дожидаться прибытия французского корпуса. В феврале казачьи полки выступили в поход за Каспий.

К западной границе стягивалась русская армия. Вдоль Балтийского побережья строились батареи и маяки.

Тогда английская эскадра под начальством Паркера и Нельсона появилась у Копенгагена. Их целью было вывести Данию из союза. После этого Нельсон намеревался идти к Ревелю и запереть там русский флот...

Между тем, осложняя своей внешней политикой международное положение России, Павел I все более свирепствовал внутри страны. Десятки и сотни его подданных буквально ни за что отправлялись им в ссылку, а десятки и сотни — также ни за что — награждались землями с населяющими их людьми.

Отказаться от такого дара значило навлечь на себя гнев монарха: отказ от пожалования крепостных считался преступлением в те времена.

Гвардейский полковник Евграф Грузинов дорого заплатил за подобную дерзость. Удостоенный Павлом I

милости — «пожалования» 1000 душ в Московской и Тамбовской губерниях,— он уехал к себе на родину, в Старочеркасск, и там, в кругу казаков, откровенно выразился, что крестьяне ему не нужны. В доносе, поданном на него, было, кроме того, сказано, что он хвалился «пройти всю Россию, да не так, как Разин и Пугачев, а так, что и Москва затрясется». В бумагах его нашли проект создания республики. Помимо Грузинова, к делу привлекли еще несколько человек. В августе и сентябре 1800 года в Старочеркасске шло следствие, и в городе была «сильная тревога». 27 сентября на Сенном базаре построили эшафот. Ночью привезли пушки и расставили стражу. А на рассвете прибыли осужденные — на черном катафалке, в страшных балахонах с колпаками, и — началась казнь. Перед этим полиция ходила по дворам и выгоняла старых и малых — смотреть на экзекуцию. У эшафота по углам стояли четыре заряженные картечью пушки.

Ропот толпы и причитания баб сливались с дробью барабанов. В руках оружейной прислуги дымились зажженные фитили.

Казнь Евграфа Грузинова продолжалась с восхода солнца до двух часов пополудни. Три палача били его в полную свою силу и никак не могли убить. Наконец третий из них бросил кнут и отошел в сторону. Больше палачей не было. Тогда решили умертвить Грузинова другим способом: ему дали напиток холодной воды, и он тотчас испустил дух...

А в то же время точно такая же беда надвигалась на целый украинский город: жители Харькова прогневив Павла I и теперь в страхе ждали грозы. Дело же было пустое: 1 мая горожане, как обычно, веселились в окрестных лугах и рощах; были попойки, и не обошлось без драк; а на другой день на дверях Вознесенской церкви появился лист бумаги с изображением дерущихся пьяных чиновников и подписью: «Каков поп, таков и приход».

Пономарь отнес пасквильный лист к священнику, но тот решил, что это его не касается, и доставил лист к городничему, который в свою очередь не принял слов пасквиля на свой счет и переправил его к губернатору; тот же понял двусмысленные слова «как бы относящи-

мися к монарху, а не к себе». Придя от этого в ужас не меньше, чем его подчиненные, губернатор отправил пасквиль в столицу. Оттуда вскоре прибыли два сенатора с «именным повелением» сыскать истину, не щадя никого. Всех частных к этому делу схватили, допрашивали, но истина «не сыскалась», и арестованных повезли в Петербург. Там допрашивал их сам император, но также ничего не добился. Дело тянулось долго. И наконец уже в конце 1800 года в Харьков пришел указ: поставить в городе виселицу и вздернуть на ней пасквилянта; если же его не отыщут, то каждый десятый житель Харькова будет бит кнутом, после чего всех сошлют в Сибирь, а город снесут.

Пришлось поставить на площади виселицу. А утром другого дня увидели на ней... «труп» Павла I. Чучело, сделанное руками неизвестного искусника, тихо покачивалось при дуновении ветра; блистали на солнце золотые пуговицы камзола и ярко начищенные сапоги с тупыми модными носками; серебрились туго уложенные букли, и чернел бант в осыпанной мукой косе.

Город притих. Мрачно стало на душе у жителей: каждый понимал, что расправы теперь не миновать. А дело было великим постом. Наступила страстная неделя. В соборной церкви при большом стечении народа раннюю обедню служил архиерей. Вдруг послышался звон бубенцов — на улице остановилась тройка. В церковь быстро вошел прибывший из Петербурга фельдъегерь и с бумагой в руке направился к архиерею. Все замерли. Архиерей взял у фельдъегеря бумагу, но руки его дрожали; он не мог прочесть. Тогда протодиакон пришел ему на помощь, он развернул манифест и объявил громогласно, что император Павел скончался и на престол вступил сын его Александр.

Новый император был «ясен и холоден, как декабрьское солнце», по крайней мере так говорили о нем во дворце.

Очень быстро узнали в столице и о некоторых его странностях и привычках. В своем кабинете он завел необыкновенный порядок и лично за ним следил: на письменном его столе не было ни пылинки; он сам вытирал каждую вещь и затем клал ее на место, где она была раз навсегда положена; на столах и бюро кабинета лежали сложенные носовые платки, чтобы сметать ими пыль. Под рукой у него всегда находился десяток перьев, которые употреблялись только однажды, хотя бы то было единственно для подписания имени; поставкой же перьев, «очиненных по руке государя», ведал служитель, получавший за это три тысячи в год.

Закон, порядок и «милосердие», то есть видимость всего этого, лицемерно соблюдались новым монархом с той же бездушной строгостью, как и незыблемый строй предметов на его рабочем столе.

Подражая своему отцу и бабке, он объявил амнистию пострадавшим в предыдущие два царствования, издав указ, коснувшийся ста пятидесяти шести лиц. Этот указ 15 марта 1801 года освободил из калужской ссылки «бывшего коллежского советника» Радищева, а также содержавшегося в Шлиссельбургской крепости вольнодумца поручика Кречетова, динамюндского узника «майора Паскова» (Пассека) и сосланного в Кострому по делу кружка Каховского артиллерии подполковника А. П. Ермолова. Радищеву были возвращены дворянство и прежний его чин.

Шестого августа он был назначен членом «комиссии сочинения законов». Председательствовал в этой комиссии граф П. В. Завадовский, один из семерых вельмож, подписавших смертный приговор Радищеву в 1790 году.

Бывший «государственный преступник», возвращенный к общественной деятельности, встретил указ о своем назначении прикованный к постели, тяжело больной. Его надломленный организм по-прежнему трепала лихорадка, и во второй половине августа он писал родителям в Аблязово, что «слабость еще велика». В том же письме сообщал он, что первое время переезжал в Петербурге с квартиры на квартиру, а

сейчас живет в Семеновском полку, в 4-й роте, в доме купецкой жены Лавровой.

В сентябре императорский двор отбыл в Москву на предстоящую коронацию; за двором потянулось множество сановников и учреждений, в том числе граф Завадовский со своим штатом, и Радищеву вновь пришлось проделать хорошо знакомый ему путь.

Вместе с ним отправился в Москву его сын Николай, несмотря на свои двадцать два года определенный в «комиссию о коронации». Это был лукавый ход императора: сын вольнодумца, «грозившего царям плахою», должен был участвовать в возведении на престол нового царя.

«Комиссию о коронации» возглавлял князь Н. Б. Юсупов, обязанный, с помощью многочисленных служителей искусства, составлять программу придворных «увеселений» в течение всего времени коронационных торжеств.

«Увеселительная» комиссия заседала в юсуповском дворце на Большой Хомутовке, или, как тогда говорили, «в приходе Харитония, в Огородниках, в Земляном городе, у Красных ворот».

Здесь, в старинном доме Юсуповых, была составлена, а частично и осуществлена программа этих «увеселений». Придворная знать, московское и приезжее петербургское дворянство заполняли просторный зал княжеского дома, где любительский спектакль то и дело заканчивался маскарадом, а скрипичный концерт прерывался чтением стихов.

В воспоминаниях более поздних лет описаны такие вечера в юсуповском доме. С наступлением сумерек, рассказывает очевидец, вся улица и прилегающие к ней переулки заставлялись экипажами. В вестибюле дворца и на лестничных маршах пестрели расшитые золотом мундиры, замысловатые дамские наряды; стоял глухой гул голосов. Обширный зрительный зал с рядами мягких кресел, освещенный люстрой и множеством кенкетов, был окаймлен тройным поясом лож. В среднем их поясе, прямо против сцены и занавеса с изображенным на нем пейзажем, выделялась ложа, обитая зеленым бархатом; над нею возвышался щит с



княжеским гербом. Сотни зрителей наслаждались пением и танцами, дружно хлопая порхавшим по сцене крепостным рабыням. А из зеленой ложи холодным взглядом прищуренных глаз следил за ними князь, сухопарый, приземистый, в светло-синем фраке со звездой, и горе было той плясунье, которая хуже обычного исполняла свою роль.

В 1801 году во дворце Юсупова на Большой Хомутовке театра еще не было. Но в этом московском доме, столь же роскошном, как и в более поздние годы, гостей услаждало домашнее «содружество муз».

Певцы, художники, поэты, музыканты оживляли дом князя.

Член «увеселительной» комиссии, сын Радищева Николай должен был возвращаться в этом юсуповском мире искусства и, по всей вероятности, выступал там с чтением своих произведений, так как писал стихи и незадолго до приезда в Москву закончил поэму, созданную, видимо, не без участия отца.

«Богатырское песнотворение» — таков был общий подзаголовок двух частей этой поэмы, озаглавленных: «Алеша Попович» и «Чурила Пленкович». Поэму эту следует считать заметным событием русской литературы начала XIX века.

Можно почти не сомневаться, что и Александр Радищев бывал в доме Юсупова осенними вечерами 1801 года и, по всей вероятности, присутствовал на чтении сыном Николаем этой поэмы.

Была еще одна нить, связывавшая Радищева с Большой Хомутовкой: здесь, недалеко от церкви Харитония-исповедника, дед — Афанасий Николаевич Радищев — некогда владел землей; его вдова — Настасья Григорьевна — продала этот небольшой двор в 1747 году.

Наискось от давнего дедовского владения — в сторону Чистых Прудов, — если перейти через дорогу, стоял дом Волкова, где жил комиссариатский чиновник С. Л. Пушкин со своей небольшой семьей.

Сергей Львович Пушкин был душой «нескучных» затей князя Юсупова, музыкальных вечеров и литературных чтений, которыми славился его дом. Очевидно, поэтому Сергей Львович и переехал осенью 1801 года

поближе к князю, сняв у него — рядом с дворцом — окрашенный охрою флигелек...

Дворянская Москва готовилась к коронации и жила своей суетной помещичьей жизнью. Александр Радищев жил своей.

От Лубянской площади до Красных ворот редкий дом не вызывал у него воспоминаний: в начале Мясницкой — в голицынских хоромах, доставшихся «по приданству» Михайле Аргамакову, провел он свои детские годы; не раз бывал он во дворе Фонпестеля, ранее принадлежавшем братьям бабки — Василию и Петру Облязовым; также бывал он недалеко от Почтового двора, против Банковой конторы — в доме графа Брюса, будучи обер-аудитором его штаба, в 1775 году...

А напротив дома Юсупова раскинулся старый княжеский сад. Мрачный, запущенный, с древним мрамором статуй у овального водоема, он был хорошо знаком Радищеву с детства, — как и прочим обитателям этой части Москвы.

Бывая на Большой Хомутовке, Радищев вряд ли мог устоять перед соблазном одиноко побродить по этому старому саду, по его заглохшим дорожкам, засыпанным прелой листвой.

Там, на каком-то перепутье аллей, должно быть, встречался ему ребенок, гулявший в саду с няней, — двухлетний сын Сергея Львовича Пушкина — Александр.

Там, должно быть, встречались они: весь в ранней седине, изможденный, но не сломленный жизнью первый «прорицатель» русской вольности, и ясноглазый, кудрявый мальчик, дивное «дитя доброй надежды» — будущий великий русский поэт.

## 6

Я тот же, что и был и буду весь мой век...

Эти слова Радищева, напоминающие торжественную клятву, полностью подтвердились во время пребывания его в Сибири и на протяжении последовавших за ссылкой лет.

В конце декабря, после коронационной церемонии, двор и ряд правительственных учреждений возвратились в столицу. «Комиссия сочинения законов» приступила к работе, уже не прерываемой хлопотами о «миропомазании» царя.

Радищев, работая в комиссии, как свидетельствует его сослуживец Н. С. Ильинский, неизменно проявлял «вольный» образ мыслей, «на все взирал с критикой» и при каждом заключении, не согласный с присутствующими, «прилагал свое мнение, основанное единственно на философском свободомыслии». Замечательную записку составил он по одному «казульному» делу, пролежавшему без движения в Сенате пятнадцать лет.

Дело это, поступившее в Комиссию, касалось вопроса о вознаграждении помещика Трухачева за крепостную, нечаянно убитую крестьянином, принадлежащим князю Дулову. Члены Комиссии, «сверясь с законами», решили, что помещика следует «вознаградить» за убитую крестьянку суммой в 100 рублей.

Но Радищев остался при особом мнении и подал записку «О ценах за людей убиенных», заявив в ней, что «цена крови человеческой не может определена быть деньгами». Единственный из членов Комиссии, он поднял голос за священные права человека, утверждая, что жизнь крепостного нельзя оплачивать, как вещь.

С самого начала нового, 1802 года он составлял проекты улучшения российского законодательства и наполнял не по времени смелыми мыслями эти вольнолюбивые свои труды.

По всей вероятности, им же была подготовлена докладная записка, представленная в Государственный совет А. Р. Воронцовым: «Рассуждение о непродаже людей без земли». Главным же трудом Радищева, завершенным в этот, последний год его жизни, был «Проект гражданского уложения», сочиненный в надежде на конституцию, которая ограничит власть царя.

Самый революционно настроенный человек в России начала XIX века, весь устремленный в будущее, Радищев не был одинок. Вокруг него образовалось не-

что вроде домашнего кружка — из молодых русских людей, слушавших его с восторгом, хотя — по словам Павла Радищева (сына) — «он был не совсем красноречив».

В этот кружок входили: служащий канцелярии генерал-прокурора Н. С. Бородавицын, переводчик с французского Н. А. Яновский, поэт А. П. Брыжинский и члены «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» — В. В. Попугаев, И. М. Борн и совсем еще молодой И. П. Пнин.

Вождь русских вольнодумцев имел последователей не только среди представителей петербургской молодежи, знавших его лично; в той или иной мере «радищевцами» были также и люди, не имевшие с ним прямой связи, но находившиеся под влиянием его идей. К числу их в первую очередь относятся: В. В. Пассек — распространитель списков «Путешествия» Радищева, сатирик Н. И. Страхов и В. Ф. Малиновский — автор двух замечательных политических брошюр...

Тысячу пятьсот рублей в год получал на службе своей Радищев, а долгу числилось за ним сорок тысяч. Мысль об этом угнетала его и подтачивала здоровье, которое и без того ухудшалось с каждым днем. Он часто посылал в госпиталь Семеновского полка за лекарем, принимал лекарства, но не получал облегчения. Одолевали мрачные мысли. Нарастало беспокойство. Однажды, придя домой, он сказал детям: «Ну что, детушки, если меня опять сошлют в Сибирь?!»

И это было сказано с основанием, ибо он хорошо знал, какое сопротивление встретит в среде законовевдов его «Проект». Но он все же надеялся и поверил имевшему доступ во дворец В. Н. Каразину, когда тот посулил показать «высокой особе» какой-то радищевский проект, очевидно «Проект гражданского уложения», в котором главными были статьи:

«Все состояния должны быть равны перед законом.  
Табель о рангах уничтожить.

В уголовных делах отменить пристрастные допросы, ввести публичное судопроизводство и суд присяжных...

Освободить крепостных господских крестьян...»

Каразин попросту спрятал «Проект» Радищева и сделал это так тщательно, что рукопись удалось найти в каразинском личном архиве почти сто пятьдесят лет спустя.

Но другой экземпляр «Проекта» был вручен Радищевым графу Завадовскому. После этого томительно потянулось время. Уже август был на исходе, надвигалась осень. Завадовский ответа не давал.

Второго сентября Радищев в последний раз присутствовал на заседании Комиссии.

Восьмого числа того же месяца были изданы два важных указа: о правах Сената и об учреждении министерств. Издание этих указов означало, что «преобразования» закончены и что на российскую конституцию и введение нового уложения надежд больше нет.

День 8 сентября был вообще тяжелым для Радищева: исполнилось ровно двенадцать лет, как его, законченного в кандалы, повезли из Петропавловской крепости в Сибирь.

Надо думать, что именно в этот день, прочитав объявленные указы и волнуясь за судьбу своего «Проекта», Радищев кинулся к Завадовскому и вызвал его на роковой для себя разговор.

Отказав просителю в последней надежде, дав понять ему, что новое гражданское уложение вовсе не нужно верховной власти, Завадовский сказал «дружеским тоном», с оттенком едва заметной угрозы: «И охота тебе, Александр Николаевич, писать такие вещи, побывавши уже раз в Сибири!..» При этих словах Радищев не мог не вспомнить того, что случилось с ним ровно двенадцать лет назад.

Глядя на Завадовского, быть может небрежно чертившего в этот момент что-то пером на бумаге, он не мог не подумать, что этот вельможа однажды уже приговорил его к смерти; что из семерых сановников, подписавших этот приговор, пятеро еще живы и что они могут вторично его подписать в случае нужды...

Беседа эта, вернее всего, происходила 8 сентября, но никак не позже 9-го или 10-го, так как вечером 11-го

уже наступила развязка, в объяснение которой Н. С. Ильинский приводит один, не получивший широкой известности факт. По его словам, Завадовский не ограничился суровым предупреждением своему подчиненному, но еще пожаловался на Радищева А. Р. Воронцову, который его рекомендовал. «Сей, призвав его, — сообщает Ильинский, — выговаривал и что если он не перестанет писать вольнодумнических мыслей, то с ним поступлено будет еще хуже прежнего».

Эти слова в устах А. Р. Воронцова, который до этого всегда покровительствовал Радищеву, должны были нанести ему последний удар.

О том, как поступать в таких случаях жизни, было недвусмысленно сказано в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «...если добродетели твоей убежища на земли не останется, если доведенну до крайности не будет тебе покрова от угнетения, тогда вспомни, что ты человек, вспомяни величество твое... — Умри».

Но самоубийство было для Радищева прежде всего средством протеста. И, придя от Воронцова домой, прошагав долго по комнате, он с мыслью о потомстве, которое отомстит за него и за всех ему подобных, залпом выпил стакан «крепкой водки»<sup>1</sup>, и она «растерзала» его нутро.

## 7

Ушаков жил в Петербурге, в 4-й части Измайловского полка, в собственном доме.

Его назначили главным командиром Балтийского гребного флота, вместо занимавшего эту должность маркиза де Траверсе.

Маркиз — французский эмигрант — получил командование Черноморским флотом, а Федор Федорович был отставлен — «сдан» на галерный флот, время которого миновало (в России уже с 1796 года перестали строить гребные суда).

---

<sup>1</sup> Крепкая водка — азотная кислота.

Он утешался малым — заботами по своему ведомству: хлопотал о покупке домов в Галерной гавани для офицеров, обитавших «по всему Петербургу»; составлял записки «о мерах к облегчению наряжаемых на работу казенных людей».

Изредка вспоминалась боевая слава: остров Видо... работа батарейных палуб... Фидониси, Еникале, Тендра, Калиакрия... Флот в движении, согласном и величественном, как на маневрах, весь в дыму и огне.

Он старался не думать, не вспоминать об этом. Все было кончено; он ни на что не надеялся и приучал себя жить, не радуясь ничему.

«Дёла» его никто не разбирал,— оно было только предлогом. Его попросту убрали из Севастополя и перевели «на галеры», как он говорил.

Не было ни друзей, ни близких. Иногда лишь появлялся в Петербурге Данилов,— он командовал теперь кораблем на Кронштадтском рейде.

В Адмиралтейств-коллегии сидел Мордвинов. Он и тут не оставил своей неприязни к Федору Федоровичу и норовил отказать во всем, чего бы ни просил Гребной порт. Впрочем, Мордвинову не удалось помешать в одном очень важном для флота деле, о котором упорно писал царю Ушаков. В результате этих его донесений последовал приказ по флоту, предписывавший обшивать медью все «имеющие строиться» на Черном и Средиземном морях русские корабли.

Летом 1802 года Ушаков объявил Адмиралтейств-коллегии, что имеет надобность отбыть на границу Финляндии для осмотра Роченсальмского порта, а осенью морское ведомство подало царю доклад:

«Командующий гребным флотом адмирал Ушаков Адмиралтейств-коллегии представляет о устройении при Роченсальмском порте, в заливе острова Котки, называемом Сапожок, гавани, а на берегах оногo сараев для содержания канонерских лодок и других военных судов...»

Проект постройки новой гавани был утвержден Александром при полном его равнодушии к морским делам. Ушаков, море и корабли мало его интересовали,

но он не был безучастен к судьбе Европы. Ища дружбы с Англией, он с возмущением говорил о ненасытности Бонапарта и предлагал начать против него общий поход.

Но уже был подписан мир<sup>1</sup>. В Амьене англичане закрыли глаза на дела Пруссии, Голландии, Италии, Швейцарии. Бонапарт же отступился от Египта и Мальты.

Мир был особенно нужен Англии, ее промышленникам и купцам.

Они думали, что теперь откроются для них европейские рынки. Они надеялись победить Наполеона своей уступчивостью и даже советовали ему стать императором. Английский государственный деятель Джон Макферсон прямо заявил представителю Республики: «Признаю возможным, что французская нация, из чувства благодарности и во избежание политических тревожений, пожелает признать в лице первого консула и его потомства новую династию».

Они сеяли ветер, не зная, что будет буря, либо надеясь, что ее придется пожинать другим.

## 8

Пьют Патриоты смерти чашу...

Член петербургского «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» Иван Борн вписал эти гневные слова в статью памяти Радищева, напечатанную во второй книге альманаха «Свиток муз» за 1803 год.

Русская общественность начала XIX века скупой откликнулась на смерть писателя. Открыто высказывать ему сочувствие было небезопасно, и некролог в «Свитке муз» оказался единственным, хотя память о Радищеве была свежа.

Огонь радищевских идей тлел под спудом верно-подданнической литературы, вспыхивал то там, то здесь, постепенно набирал силу и — неугасимый — рвался в будущий век.

---

<sup>1</sup> Амьенский мир; заключен между Англией и Французской республикой 15 (27) марта 1802 года.



В горячих строках Борна, Пнина, Попугаева звучал голос Радищева.

В том же 1803 году вышла книга «Рассуждение о мире и войне» — своеобразный замаскированный веноч на могилу Радищева, творение одного из его последователей.

Автором этой книги, укрывшимся под инициалами «В. М.», был Василий Федорович Малиновский, в прошлом — переводчик русского посольства в Лондоне, затем — генеральный консул в Молдавии, а с 1802 года — служащий министерства иностранных дел.

Малиновский написал свою книгу в промежутке между 1790 и 1798 годами, приступив к работе над нею одновременно с изданием, а может быть, и после выхода в свет «Путешествия из Петербурга в Москву». Похоже, что книга Радищева послужила толчком для работы, предпринятой Малиновским. Не исключена также возможность, что он, находясь в Лондоне, познакомился с «Путешествием», получив его от русского посланника в Англии — Воронцова, который вряд ли относился к Радищеву несочувственно и, весьма вероятно, раздобыл запретную книгу, заинтересовавшись ею, как просвещенный и любознательный человек.

«Рассуждение» Малиновского отражало волю к миру наиболее передовых людей того времени и являлось протестом против ведения завоевательных войн.

На протяжении всего лишь двух лет, начиная с 1789 года, когда Р. М. Цебриков издал переведенную им с французского книгу Анж Гудара, после Радищева (1790), это была третья попытка заговорить о «войне и мире», предпринятая разумными русскими людьми.

Близость книги Малиновского к тексту некоторых мест «Путешествия» Радищева не подлежит сомнению. В сущности, автор «Рассуждения» развивает две радищевские темы: о «злоствующих европейцах, проповедниках миролюбия» и о «великих насилиях, прикрывающихся правом войны».

Замечательно, что Малиновский в 1791 году отправился на дунайский театр военных действий для того, чтобы «видеть войну на самом деле» и дополнить свою книгу о ней «всеми удостоверениями ее зол».

«Войны, которыми она [Европа] непрестанно разоряется, — писал он в своей книге, — не соответствуют ни человеколюбию, ни просвещению. Они могли быть извинительны для наших предков, когда они погружены были в варварстве и не знали другой славы, кроме того, чтоб разорять и убивать...

Люди думают, они без войны не могут жить, для того<sup>1</sup>, что войны всегда издавна были; но продолжительность зла не доказывает необходимость оного...

Решение споров между народами в нынешние времена подобно решению частных споров в прежние варварские времена, когда законы были недостаточны и частные споры решались мечом и огнем...»

Подобно Радищеву, Малиновский ссылался на знаменитые колониальные дела Франции — Рейналя — и осуждал захваты чужих территорий.

«Храбрость, мужество и неустрашимость, — доказывал он европейским политикам, — сколь ни великие суть добродетели, но они могут быть почтены только по хорошему их употреблению. Их имеет завоеватель и разбойник...

...Вместо трактатов, — объявлял он далее, — должны быть законы, утверждающие независимость земель и народов...»

И настаивал на ограничении вооружений законом, так как «всякие вооружения и движения войск предшествуют войне».

В 1802 году Малиновский, находясь в Яссах, прислал оттуда своему министерскому начальству «Записку о освобождении рабов» (русских помещичьих крестьян). А в его дневниковых записях, относящихся к тому же 1802 году, имеются строки о необходимости ввести в России представительное правление и поручить законодательную работу самим гражданам; по-

---

<sup>1</sup> Для того — здесь: потому.

следнее он считал необходимым для того, «чтобы показать их разум пред целым светом и уверить их в самих себе».

Так оказывается, что буквально в одно и то же время Радищев и Малиновский предлагали уничтожить крепостное право и ввести новое гражданское законодательство. «Законы,— занес в свой дневник Малиновский,— для народа и им составляются: сам [народ] не может желать себе вреда».

Это совпадение можно было бы считать случайным, если бы такому выводу не препятствовал один новооткрытый документ. Как недавно стало известно, В. Ф. Малиновский принадлежал к какому-то тайному обществу, что явствует из следующих строк его письма от 20 ноября 1792 года, по-видимому к переводчику И. И. Мартынову: «...когда мы решимся привести в образ жизни и обычаи правила друзей человечества, тогда и в мужике найдем себе собеседника или товарища или сочлена и помощника, и тогда будут все наши беседы—как теперешние собрания и вся жизнь—исполнение правил нашего общества».

Из приведенного отрывка видно, что члены этой тайной организации называли себя «друзьями человечества» и что в их политическую программу входило освобождение русского крепостного крестьянина. Слова же «когда мы решимся...» и т. д. указывают, что на собраниях этого общества ставился вопрос о его тактике и обсуждались какие-то решительные шаги.

Малиновский в своем дневнике утверждает, что истинный патриот «должен стараться о прекращении рабства».

То же самое говорит и Радищев в «Беседе о том, что есть сын Отечества», опубликованной им в 1789 году. В этой же его статье встречается выражение: «истинный Друг человечества», причем слово «друг» напечатано с прописной буквы. Все это, вместе взятое, заставляет предположить в данном выражении нечто большее, чем простой символический смысл.

Здесь уместна будет догадка: не были ли Радищев и

Малиновский причастны к тайному политическому обществу, члены которого именовались «Друзьями человечества», причем некоторые из них ставили своей целью раскрепощение крестьян? При таком толковании становится понятным и одновременное представление Радищевым и Малиновским докладных записок по одним и тем же вопросам: их попытки продвинуть свои проекты по разным ведомственным каналам могут быть объяснены как координация действий политических «друзей»<sup>1</sup>.

Выдающийся русский общественный деятель В. Ф. Малиновский в 1811 году был назначен директором Александровского царскосельского лицея, куда в том же году поступил двенадцатилетний Пушкин.

Две дочери Малиновского — Анна и Мария — были замужем за декабристами — А. Е. Розеном и В. Д. Вольховским.

В 1803 году, когда Наполеон был еще первым консулом, Малиновский записал в свой дневник пророческие слова: «От славного Бонапарта восплачут сыны России...»

А в том же году, печатая «Рассуждение о мире и войне» и говоря в нем о завоевателях — виновниках бедствий человечества, он закончил этот раздел словами: «Мы должны молить бога, чтобы избавил нас [от] сих великих людей...»

9

Со времени заключения Амьенского мира прошло два с половиной года.

В заголовках государственных актов Франции уже

---

<sup>1</sup> Возможно, что Пушкин знал истинное значение термина «Друг человечества» и, вводя его в контекст своей «Деревни»:

Друг человечества печально замечает  
Везде невежества убийственный позор...—

вложил в это выражение тайный, действительно присущий ему смысл.

Термин этот был известен и на Западе. Национальное Собрание Франции в конце XVIII века даже присуждало отдельным гражданам почетное звание «Ami de l'humanité».

стояло: «Наполеон, божьей милостью и волею представителей Республики, император французов».

(Спустя немного он вычеркнул из актов слово «республика» и отменил республиканский календарь.)

Мир в Амьене оказался непрочным, Наполеон не допустил английские товары в Европу. В подвластных ему странах он вел себя как хозяин; возрождал флот, строил порт в Шербурге, верфи — в Антверпене, усиливал армию и снова требовал Мальту.

Англия вынуждена была начать войну.

Наполеон готовил удар, вернувшись к мысли о «прыжке через море». В Булони, на берегу Ла-Манша, раскинулся огромный лагерь. Там строились суда и собиралась армия — сто пятьдесят тысяч — для высадки на острова.

Тревога охватила Англию, не имевшую войск для обороны. Тогда Питт, прежний глава правительства, сложивший с себя власть перед Амьенским миром, снова взял в свои руки все.

Наполеон считал, что без России ему не одолеть Британии.

Питт был уверен, что спасти Англию от вторжения могут только русские войска.

Россия и затем Австрия должны были оттянуть французские силы в Европу.

Питт предложил русскому правительству денежную помощь.

Александр ответил: «Россия и Англия единственные державы в Европе, не имеющие между собою враждебных интересов...»

Так образовался новый англо-русский союз.

Наполеон ждал тумана, чтобы перебросить войска на английский берег. Эти действия должен был прикрывать французский линейный флот.

Но его надо было собрать и для этого вывести из Бреста, Рошфора и Тулона, а их блокировали англичане, стянувшие к ним почти все свои корабли.

У французов было сорок кораблей. Союзная Испания выставила еще двадцать. Но все они находились в

разных портах, и Наполеон решил провести соединение трех эскадр в Вест-Индии и оттуда уже направить их в Ла-Манш.

Но лишь одной из них — Тулонской — удалось прорваться. Ею командовал виновник гибели флота при Абукире — контр-адмирал Вильнёв.

Он прибыл к Антильским островам и взял форт Диамант, но никого из своих не дождался; зато оттянул на себя часть английского флота, к чему и стремился Наполеон.

Нельсон кинулся в Вест-Индию, но уже не застал французов — они успели выйти в море. Вильнёв взял курс на запад, возвращаясь в Европу. В пути он имел короткий бой с английским адмиралом Кальдером, достиг Испании и вошел в порт Ферроль.

Там он пополнил состав своей эскадры испанскими и французскими кораблями; теперь их стало у него двадцать девять. Однако идти к Бресту он не решался, хотя Наполеон писал ему: «Один ваш переход — и Англия в наших руках».

В августе он все же сделал попытку, но, получив неверные сведения о противнике, повернул обратно и укрылся в Кадиксе.

В это время Наполеону стало известно, что на запад идут русско-австрийские войска.

Англия была спасена; ей больше не угрожала высадка. Тулонские легионы двинулись на Дунай, против союзников. Но Наполеон не мог допустить, чтобы его флот бездействовал в Средиземном море (у него была мысль высадить десант в Неаполе), и он приказал морскому министру Декре:

«Ваш друг Вильнёв, вероятно, побоится выйти из Кадикса. Отправьте туда адмирала Розили, пусть примет начальство над эскадрой, если она еще не выступила».

Но она уже выступила, ибо Вильнёв спасал свою честь.

На приказ Декре он ответил:

«Если французскому флоту, как утверждают, не хватает только смелости, то и в этом отношении император скоро будет удовлетворен».

Была осень, октябрь 1805 года.

Британское Адмиралтейство поручило блокаду Кадикса Нельсону, выделив ему двадцать семь кораблей.

Он вышел в море вице-адмиралом белого флага, то есть с правом главнокомандующего. Младшим флагманом был его друг, вице-адмирал Коллингвуд. На случай выхода франко-испанского флота из порта Нельсон разработал план.

«Вместо того чтобы перестраиваться на виду у неприятеля,— сообщил он своим командирам,— я желаю, чтобы походный строй служил в то же время строем для боя.

Все усилия британского флота должны быть направлены на то, чтобы действовать превосходными силами против части вражеских кораблей...

В том же случае, когда нельзя будет разглядеть или хорошенько разобрать сигналов, ни один командир не сделает большой ошибки, если подведет свой корабль вплотную к борту неприятельского корабля».

После общих указаний были даны более определенные:

«Второй после меня флагман должен прорезать неприятельскую линию у двенадцатого корабля, считая от заднего; сам же я прорежу их линию в центре, стараясь завладеть кораблем главнокомандующего...»

Это означало, что Нельсон намерен атаковать противника двумя колоннами и прорезать его строй в двух местах.

Девятого октября, вскоре после рассвета, с английской эскадры заметили союзный флот. Он держал курс к югу, находясь в десяти милях от мыса Трафальгара. Дул слабый вест-норд-вест, и скорость кораблей была три-четыре узла, не больше. С запада шла крупная океанская зыбь.

Вильнёв, увидев англичан, понял, что сражение неизбежно. Тем не менее он попытался возвратиться в Кадикс и приказал повернуть через фордевинд на норд.

Тихий ветер и зыбь сильно затруднили маневр, и на него ушло более часа.

При этом строй союзного флота до того смешался, что отдельные суда центра и арьергарда шли по два и даже по три в ряд.

В десять часов утра Вильнёв выстроился по старинным правилам — в одну линию баталии. Она была крайне беспорядочной, но главнокомандующий не принял никаких мер.

Он шел в центре: его авангардом командовал контр-адмирал Дюмануар; арьергардом — испанский адмирал Гравина.

Ветер с запада едва наполнял паруса. Двумя колоннами двадцать семь судов английского флота спускались на огромную дугу из тридцати трех кораблей.

Неяркий свет солнца освещал волнистую равнину моря и мрачные корпуса судов Нельсона с желтыми полосами вдоль батарейных палуб и черными пушечными портами, похожими на клетки шахматной доски.

Нельсон держал свой флаг на стопушечном, но не очень быстроходном «Виктори», Коллингвуд — на корабле «Роял Соверейн».

Уже в подзорные трубы различались флаги: Вильнёва — на «Буцентавре», Дюмануара — на «Формидабле», Гравина — на «Принце Астурийском». Исполином высился среди союзного флота один из величайших кораблей Европы — испанский «Сантиссима Тринидад».

Курс противника указывал на его намерение укрыться в Кадиксе. Это заставило Нельсона пойти наперерез Вильнёву и атаковать его, спускаясь почти под прямым углом.

Было одиннадцать часов, когда Нельсон отдал последнее распоряжение и приказал поднять сигнал: «Вступить в бой на ближайшей дистанции...»

В плане Нельсона не было новизны: походный строй, являвшийся строем для боя, сближение на самую малую дистанцию, удар на флагманов и атака превосходящими силами — все это уже применил в четырех сражениях Ушаков.



План Нельсона сводился к тому, чтобы связать большую часть сил союзников, лишив их авангард и центр возможности помочь арьергарду. Но в решении атаковать противника двумя колоннами также не было ничего нового, ибо Ушаков при Калиакрии атаковал турок тремя. Мало того, этот план Нельсона, в отличие от планов атаки, обычно применявшихся Ушаковым, содержал ошибку, которая могла стать роковой: авангарду союзного флота стоило лишь повернуть против ветра в самом начале боя — и половина английских судов оказалась бы между двух огней.

У Нельсона был расчет, вернее — надежда, на то, что противник не воспользуется его ошибкой, что Дюмануар не поможет своим товарищам, даже если Вильнёв прикажет ему...

В полдень раздался первый выстрел с корабля «Роял Соверейн». Все суда мгновенно подняли свои флаги, а каждый испанский корабль вывесил еще на конце гика деревянный крест.

Союзный флот открыл канонаду.

Не отвечая на огонь, «Роял Соверейн» приближался к союзному арьергарду. Из предосторожности матросы лежали на палубе, и Коллингвуд дошел до противника без потерь. Подойдя под корму двенадцатого с конца судна (это был испанский корабль «Санта-Анна»), «Роял Соверейн» дал залп из пушек, заряженных двумя и тремя ядрами. Этот залп уничтожил у неприятеля до четырехсот человек команды; но тут Коллингвуд оказался окруженным со всех сторон. В течение пятнадцати минут он отбивался; затем подоспели суда его колонны, прорезали арьергард и атаковали ближайšie к себе корабли.

В это время Нельсон медленно подвигался к центру противника. Тысячи глаз следили за движением его судна. Среди этих свидетелей и участников начинающегося боя — на английских кораблях — было несколько русских молодых моряков, в 1803 году отправленных в Англию для практики: Александр Авинов, Александр Куломзин, Мардарий Милюков, Василий Скрипцын, Матвей Чихачев...

Более двухсот пушек били по «Виктори», но корабль уже достигал неприятельской линии, имея выбывшими из строя всего пятьдесят человек.

Французы теснились, не пропуская в интервалы англичан. Слабеющий ветер мешал управлению, и Нельсон для атаки Вильнёва решил пройти у него под кормою. Но этому воспрепятствовал шедший за французским флагманом двухпалубный «Редутабль».

Его командир, развернув все паруса и ловя последнее дуновение ветра, подошел так близко, что задел свой корабль «Буцентавр» бушпритом, сломав украшения на его корме.

Проход оказался запертым. Между тем скученность союзного центра делала неизбежной абордажную схватку.

«Виктори» вплотную подошел к «Редутаблю». От столкновения оба судна вышли из линии, и проход снова открылся за кормой «Буцентавра». Два или три английских корабля устремились в это пространство. В то же время остальные суда колонны прорвали центр в нескольких других местах...

Главные силы Вильнёва были связаны боем. Он делал сигналы Дюмануару, но тот не обращал на них внимания и продолжал идти вперед.

А «Виктори» и «Редутабль» готовились к абордажу. Сцепившись, они дрейфовали по ветру, и между ними шла ружейная перестрелка. Но на марсах французов, помимо стрелков, стояли еще небольшие орудия. Это дало кораблю союзников перевес.

Верхняя палуба «Виктори» быстро покрылась убитыми и ранеными. Нельсон ходил взад и вперед по левым шканцам<sup>1</sup>.

Был второй час дня. С марса «Редутабля» заметили адмирала. И вот пуля пробивает его левый эпolet и, пройдя сквозь грудь, застревает в спине.

Сержант и два матроса относят смертельно раненого Нельсона в кубрик.

---

<sup>1</sup> Левая сторона шканцев считалась почетной в бою под парусами; правая — в бою на якоре.

Тогда стрелки «Редутабля» дают знать вниз, что палуба английского корабля опустела, и французы идут на абордаж.

Но борт «Виктори» на целый дек выше борта «Редутабля». Команда противника возится с грота-реем, чтобы спустить его как перекидной мостик; но вдруг град ядер и картечи очищает палубу от людей.

Это задний мателот<sup>1</sup> Нельсона «Тэмерер», пройдя под носом у «Редутабля», дает продольный залп и сцепляется с ним с другой стороны.

Пушки «Виктори» продолжают стрелять. Они бьют в упор, настолько близко, что пламя выстрелов зажигает неприятельский борт. Французский корабль сжат, стиснут с обеих сторон; он — двухдечный, противники — трехдечные. Матросы не успевают заливать водой дымящиеся палубы. И «Редутабль» спускает флаг.

А Дюмануар шел вперед. Слабый ветер и зыбь мешали ему повернуть к месту сражения. И Вильнёв напрасно выкидывал на своих мачтах флаги, означавшие, что десять кораблей не на своих местах.

Это было возмездие за Абукир, за ночь разгрома, когда он точно так же ослушался Брюэса. В густом дыму он не видел, что происходит с его эскадрой. Мачты его летели одна за другою, и он на последней из них поднимал сигналы, приказывая авангарду идти в огонь...

Уже был взят «Сантиссима Тринидад» — не помогли ему его сто тридцать пушек. Уже «Буцентавр» спустил флаг главнокомандующего, и Вильнёва перевели на английский корабль.

Только теперь решился Дюмануар вернуться к месту боя. Суда его начали поворачивать посредством буксиров, поданных на шлюпки; но союзный флот был уже разбит...

Соотечественник Нельсона, укрывшись под именем «Неизвестного», дал такую оценку тактики англичан в Трафальгарском бою: «Недостатки этого способа атаки (то есть двумя колоннами с наветра) состоят в том, что

---

<sup>1</sup> Мателот — соседний в строю корабль.

она ведется последовательно, отдельными силами, и неприятель равной храбрости и искусства, как в морском, так и в артиллерийском деле, мог бы уничтожить наши корабли один за другим».

## 10

Трафальгар был последним крупным сражением времен парусного флота, где маневренная тактика решила спор.

Разгром союзной армады лишил Наполеона возможности продолжать борьбу на море и дал Англии большое преимущество на океанских путях. Французские войска больше не могли угрожать ей высадкой. Морское могущество было утрачено Францией. Наполеону оставалось одно: «покорить море войной на суше». И он немедленно принялся его покорять.

Это был трудный путь. Предстояло овладеть всей Европой и только тогда вырвать у англичан море. И на Трафальгар он ответил Аустерлицем, разбив 20 ноября 1805 года русско-австрийские войска.

Австрия была раздавлена. Император Александр отступил к своим границам. Шестнадцать германских княжеств покорно склонились перед Наполеоном и образовали зависимый от него Рейнский союз.

Оставалась Пруссия. Спустя десять месяцев он свел счеты и с нею: 26 сентября 1806 года начал войну и через девятнадцать дней вступил в Берлин.

В Англии еще не тревожились — там были слишком спокойны за море. Правительство выпустило из плена Вильнёва и заблокировало французское побережье, не допуская к нему иностранные суда.

Но Европа (большая ее часть) была покорена, и Наполеон диктовал ей свои законы. Отвечая Англии ее же мерой, он издал запретительный декрет:

«Британские острова являются блокированными. Всякая торговля и все сношения с ними воспрещены».

Он хотел блокадой покорить море.

Его вассалам и союзникам предписывалось закрыть для английских товаров рынки. Это был исполинский

план уничтожения богатств и могущества Англии — удар по ней всего европейского материка.

Но в плане была брешь. Ее проламывала Россия, которая, сносила и торговала с Британскими островами и не давала Наполеону затянуть петлю до конца.

Он все же пытался. Войска его заняли Гамбург, Бремен, Любек и уже захватывали Балтийское побережье.

Это была континентальная блокада — главное его оружие после потери флота.

Во Франции бурно радовались победам.

Одно событие этого года прошло в ней незамеченным: ударом кинжала покончил с собой Вильнёв...

Ушаков по-прежнему был начальником Балтийского гребного флота и, кроме того, всех находившихся в Петербурге корабельных команд.

Царь Александр предпочитал «урон от беспрекословного повиновения, чем выгоду от решительности» и не мог благоволить к такому человеку, как Ушаков.

Вдобавок все чаще приходилось слышать, что флот не нужен.

Говорилось, что несколько полков морской пехоты могут сделать больше, чем все эскадры в море, что содержание флота дорого стоит и что он должен служить лишь для обороны морских границ.

Эти мысли высказывали люди, близкие к императору, который признавался, что думает о флоте, «как слепой о красках», и не хотел думать о море, ведя сухопутную войну.

Маркиз де Траверсе, начальствуя над Черноморским флотом, не очень-то о нем заботился. Он занимался торговлей, пользовался судами для своих личных надобностей, и даже плавание кораблей с войсками к Кавказу зависело от того, нужно ли это подрядчикам маркиза, у которого там были дела.

Не ладил с де Траверсе престарелый доктор Самойлович, бесстрашно появлявшийся во всех городах и

портах юга России, где только ни вспыхивала чума. «Во всю жизнь нет ничего для меня вождедленнее,— писал он по этому поводу,— как поспешествовать общественному благу, и сие мое рвение есть обязывающий меня долг...»

Его знали в Феодосии, Николаеве, Одессе. В Николаеве он приступил к печатанию своих трудов. Его большая научная работа о борьбе с чумою была выпущена им в свет четырьмя частями. Эти книги он рассылал бесплатно местному населению, отпечатав их за свой собственный счет.

Замечательный практик и теоретик, он презирал мнимоученых краснобаев, называя их «соплетателями и диссертациями». Недаром один из почитателей Самойловича посвятил ему стихи:

Твой слог не красен и не нов,  
Но блещет знание из слов,  
Красны дела твои искусством...

Первый русский эпидемиолог Самойлович стоял на страже народного здоровья, требовал неукоснительного соблюдения карантинных мер на юге и на этой почве не раз сталкивался с де Траверсе.

Но жалобам на маркиза не придавали значения. Морские офицеры напрасно доказывали, что он «во Франции кораблями никогда не командовал», а здесь исполняет «тайное обязательство перед Англией — упразднить русский флот».

А он все же строился. Новые суда спускали не часто, но зато их обшивали медью, и были они много лучше, чем раньше: об этом заботились русские корабельные мастера...

Федор Федорович был «не у дел». У него отняли море и вместе с ним — силы. Кругом толковали о наполеоновской армии и о том, нужен ли вообще флот России. Ушаков хорошо понимал, что время славных морских дел для него прошло.

Уже враг был на Немане. Федор Федорович, желая хоть чем-нибудь быть полезным, принес в дар отечеству «пожалованный» ему султаном алмазный «челенг».

Александр не принял дара и написал об Ушакове сенатору Строганову: «Отдавая полную справедливость благородным чувствованиям, к такому пожертвованию его побудившим, почитаю я, что сей знак сохранен должен быть в потомстве его...»

Тысяча восемьсот шестой год был на исходе. Федор Федорович, присутствуя на заседании Адмиралтейств-коллегии, услышал, как один «сухопутный» адмирал говорил: «Посылка наших эскадр в Средиземное море стоила государству много, сделала несколько блеску, а пользы — никакой...»

Ушаков тотчас же подал в отставку.

Свою просьбу он объяснил «душевной и телесной болезнью» и опасением «быть в тягость службе».

Александр приказал спросить его: в чем заключается «душевная болезнь»?

Он подал второе прошение, уклонившись от прямого ответа.

«...Не прошу я награды, знатных имений, высоко-славными предками вашими за службу мне обещанных... Ныне же, после окончания знаменитой кампании, бывшей в Средиземном море, честью прославившей флот ваш, замечаю лишенным себя... милостивого воззрения».

Впрочем, это был достаточно прямой ответ.

## 11

Семен Афанасьевич Пустошкин совершил наконец подвиг.

Подстрекаемые Наполеоном, турки решили еще раз «попытать счастья» и снова объявили России войну.

Это оттянуло часть русских сил с Немана и Вислы к Дунаю. Первое время армия придерживалась обороны, а наступательные действия вел Черноморский флот.

Контр-адмирал Пустошкин прорубился с гребной флотилией сквозь лед Днестровского лимана и помог войскам взять Аккерман.

Флот оказался нужен. И не только в Черном, но и в Средиземном море. Там действовал вице-адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин. Заняв Каттаро, он прикрывал от Наполеона земли балканского славянства и базу русского флота — Ионические острова.

Девятнадцатого июня 1807 года у горы Афон, в Эгейском море, Сенявин разгромил турецкую эскадру, захватив ее лучшее судно и не потеряв ни одного корабля.

Он остановил линию турок и не дал им уклониться от боя, решив спуститься на неприятеля под прямым углом.

Во всем остальном он поступил как верный ученик Ушакова, но при этом поднял на новую высоту русское военно-морское искусство. Он приказал командирам подойти как можно ближе и атаковать турецких флагманов, нападая вдвоем на каждый из трех адмиральских кораблей.

Нападать он велел «двум с одной стороны, но не с обоих бортов».

Так был достигнут двойной перевес огня в решающих местах боя. Сам же он с четырьмя кораблями сковал остальные суда противника, чтобы не дать им помочь своим...

А пока Сенявин громил турок и прикрывал от французов Балканы, в Восточной Пруссии шли битвы русских и французских войск.

Наполеон пришел к убеждению, что «путь к Англии лежит через Россию». Нельзя было задуть Британские острова блокадой, пока этому противилась великая русская страна. И он стремился разбить Россию и поссорить ее с Англией. Эти две державы, будучи в союзе, не позволяли ему покорить мир.

Между тем новая кампания решала многое. Январский бой у Прейсиц-Эйлау не принес французам победы. Но 2 июня битвой под Фридрихсдорфом Наполеон кончил войну.

В маленьком прусском городке Тильзите встретились два императора, притворяясь, что вражда их была взаимной ошибкой. Принужденный к этому, но стара-



ясь не ронять достоинство, Александр заключил мир и союз<sup>1</sup>.

Россия обязалась участвовать в континентальной блокаде и объявить войну Англии. Русские войска, находившиеся на Адриатическом побережье, должны были отдать французам «землю, называемую Каттаро»; в полную собственность Наполеону передавались также Ионические острова.

Это был двойной удар: по русской торговле и по русскому флоту в Средиземном море; эскадре Сенявина оставалось разоружаться, либо попасть в руки англичан.

Наполеон улыбался, суля Александру вознаградить его за счет Турции. Александр также улыбался, подписывая тяжкий договор. Впрочем, он действительно был недоволен Англией, ничем не помогшей ему в войне.

А в это время наиболее дальновидные люди уже пытались разоблачить захватнические планы Франции, а вместе с ними — и сущность войн, которые вел Наполеон.

В 1807 году неизвестный автор, объявивший себя «другом политической свободы и взаимной независимости всех народов», выпустил в Кёльне брошюру, напечатанную в две колонки — на русском и французском языках.

«Война, — писал этот аноним, — предпринятая Францией для защищения национальной ее свободы от притязания других Держав, но вскоре потерявшая сию благородную цель, распространилась от запада к востоку, даже до пределов пространнейшей в свете Российской империи...

Франция ведет войну завоевательную...

Но завоевательная война по своему существу есть бесконечная, и одни только внешние обстоятельства могут положить ей предел...

Внемлите! — обращался автор к «начальникам Российского воинства». — Ни пределы вашего государства,

---

<sup>1</sup> Тильзитский договор; подписан 26 июня 1807 года.

ни пределы целой Европы не остановят стремления французского Правительства. Его [завоевателя] не удержат ни льды Сибири, ни знойные пески Аравии, ни непроходимые пустыни Африки. Он найдет средства для преодоления всех препятствий и остановится не прежде, как по покорении всей твердой земли, если не противустанет ему в надлежащее время столь великая сила, каковую одна только Россия представить может...»<sup>1</sup>

Мечты осуществлялись — Наполеон был повелителем Европы. Но неуязвимость Англии не давала ему покоя, и он, снова вернувшись к мысли об Индии, предложил Александру совместный поход.

«Армия франко-русская в 50 тысяч человек, — писал он царю, — быть может, отчасти и австрийская, которая направится через Константинополь в Азию, не успеет еще достичь Евфрата, как Англия затрепещет и преклонится перед континентом. Через месяц после того, как мы придем к соглашению, армия может быть на Босфоре. Удар отзовется в Индии, и Англия будет порабощена».

Александр отвечал:

«Я предлагаю одну армию для экспедиции в Индию, а другую — с целью содействовать при овладении приморскими пунктами Малой Азии. В то же время я предписываю командирам моего флота состоять в полном распоряжении вашего величества».

Внешне он вел себя как союзник, готовый отдать и самый флот.

Но он лукавил, то ли надеясь усилить этим союзом свою империю, то ли выиграть нужное ей время. Скорей — и то и другое, ибо он знал, что союз — непрочен и впереди — война.

---

<sup>1</sup> «Рассуждение об участии, приемлемом Россиею в нынешней войне, сочиненное другом политической свободы и взаимной независимости всех народов». Кёльн, 1807, стр. 4—8, 72.

Автор этой чрезвычайно редкой книги пожелал остаться неизвестным. Сравнение стиля и содержания названного «Рассуждения» и «Рассуждения о мире и войне», написанного и в 1803 году изданного В. Ф. Малиновским, дает основание думать, что автором обеих книг является одно и то же лицо.

И когда Наполеон передал ему через князя Волконского<sup>1</sup>: «Мир — как яблоко. Мы можем разрезать его на две части, и каждый из нас получит половину», — Александр заметил: «Сначала он удовольствуется одной половиной яблока, а затем потянется и к другой...»

Не прошло трех лет после Тильзитского мира, и обе державы стали готовиться к войне.

Отказ торговать с Англией разорял русское купечество и дворянство. Блокада не принесла пользы и русской промышленности, хотя правительство и рассчитывало на это вначале. Союз с Францией обходился слишком дорого, и многие уже понимали, что это не союз, а «вооруженный мир».

Вся Европа была придавлена и видела спасение свое в России.

Уже русский император уклонялся от помощи своему «союзнику», а «союзник» приказывал Австрии и Пруссии готовить армии в поход на восток.

Александр перестал улыбаться, и Наполеон не рачтал ему больше улыбок; он окончательно уверил себя, что «путь к Англии лежит через Россию» и что он должен сломить лукавого русского царя...

Наполеон разработал план, наметив прежде всего создать армию первой линии: он решил расставить ее от Эльбы до Одера; Гамбург будет ее базой, Данциг — передовым постом; позади первой линии он соберет новые полчища, и под ружьем окажутся две трети военных сил всей Европы; тогда из Средней Германии он двинет армию, какой не знали еще новые времена...

А русско-турецкая война продолжалась. Турок били, но мира они не заключали: Наполеон обещал им за это Крым. Он возлагал на них большие надежды: они должны были ринуться на Украину, пройти в Полесье и примкнуть к правому крылу наступающих французских войск.

Сподвижник Суворова — Кутузов — твердо стоял

---

<sup>1</sup> П. М. Волконский после Тильзитского мира был назначен во Францию русским военным атташе.

на Дунае. Постепенными, мудрыми действиями наносил он удары туркам, готовясь сокрушить их вовсе, чтобы не смогли они помочь французам, когда те начнут войну.

Он не знал, что в этой войне ему придется стать во главе армии, куда большей, чем те, которые когда-либо имел Суворов,— армии всей страны.

Уже посланники начинали сговариваться об англо-русском союзе.

Уже войска империи готовились идти из Франции к западным рубежам России.

Но армия и народ готовы были ее защищать.

## 12

Ушаков скромно жил в своем тамбовском имении, в белом двухэтажном доме с маленькими окнами и сводчатыми потолками, почти на опушке монастырского леса. Липы и вязы окружали дом.

Из девятнадцати душ крестьян, унаследованных им от отца, он оставил при себе семь человек, а остальных отпустил на волю и помог им построиться, не пожалев на это своих средств.

А в соседней деревне — Бабееве — свирепствовал помещик Беглов: он бил и увечил своих крепостных, отнимал у них скот и хлеб. Бабеевские крестьяне часто приходили к Федору Федоровичу и просили за них заступиться. Ушаков тотчас же отправлялся к помещику, подолгу беседовал с ним и почти всегда выговаривал «льготу» для крестьян...

Летом 1811 года Федор Федорович еще раз увидел Черное море, приехав в Севастополь по личным делам.

В Бельбеке у него была земля, в городе — заложенный дом. Пора было привести все в порядок. Жить оставалось немного — недуг подтачивал силы, и он торопился: как бы не помешала война.

Город-крепость притих, настороженный и суровый. Флот в боевой готовности стоял на рейде.

Ушаков вскоре после приезда решил осмотреть новые корабли.

Знакомый недвижимый зной дохнул на него, когда он вышел из дому, и все было так дорого и знакомо на улицах и в порту.

Он миновал дома и госпитали, которые сам построил; поглядел на казармы, пристани и Адмиралтейство; улыбнулся, завидев мыс, куда впервые пристал на «Св. Павле» и где матросы набрали в рубашки кизил.

— Федор Федорович!.. Вы ли? — окликнул его кто-то.

Его друг, Пустошкин, стоял перед ним, улыбающийся, счастливый. Он был в вице-адмиральском мундире, все тот же — подтянутый и румяный, но ставший суше и от этого как бы стройней.

— Все-таки встретились!..— сказал, обнимая его, Федор Федорович.— А я не знал, что вы в Севастополе служите.

— Нет,— поправил Пустошкин,— служу я в Херсоне, а сюда нынче по делам прибыл.

— Стало быть, как и я...

Они помолчали, разглядывая друг друга, словно сравнивая, кто из них постарел больше. Потом Ушаков сказал:

— Ну вот и прославились вы... дождались... Помните, я предвещал вам?

— Дела мои — малые, — сказал Пустошкин,— не чета вашим. Но, видать, каждому — свое...

Отряд моряков с офицером прошел мимо. Офицер был в мундире с фалдочками и треуголке с плюмажем, а матросы — в шляпах, напоминавших цилиндры, и тоже в мундирах, похожих на фрак.

— Новое царствование — новая форма...— проворчал Федор Федорович.— А я вот в отставке!..— вдруг добавил он резко, и гнев вспыхнул в его глазах.

— Я узнал об этом перед самым своим походом к Анапе.

— К Анапе... — повторил Федор Федорович.— И я бывал там... громил с судов крепость... А что горские племена, как себя ведут?

— Воюют. И весьма терпят от турок — более, чем от войны с нами.

— Отчего же?

— Да турки разбойничают по всему Кавказу: хватают на берегу детей обоего пола и увозят на своих судах, называемых «чектырмэ».

— И до сего времени так?

— Ну нет, стеснили мы их, конечно: Анапа — наша; флот Черноморский занял Суджук-кале, и там заложен Новороссийск...

— А еще говорят, что флот не нужен!..— И Ушаков сделал над собой усилие, отгоняя мысль, перенести которую ему было трудно.— Вот что, Семен Афанасьевич, поедem со мной на эскадру, посмотрим новые корабли!

Им подали катер — двенадцативесельную шлюпку. Они уселись на банках друг против друга, и шлюпка отвалила.

Был полный штиль.

Дошли до середины бухты, и на холмах распахнулся город: черепичные кровли, белые мазанки, невысокие корпуса казенных зданий — тихий, укромный и грозный Севастополь, твердыня русских морских сил.

Впереди, на рейде, стояли корабли: «Полтава», «Ратный» и «Двенадцать апостолов»; все стопушечные; подле них — несколько кораблей меньшего ранга, а дальше — фрегаты и мелкие суда.

— Не нужен флот!..— гневно сказал Федор Федорович.— Глядите!.. Да разве это может быть не нужно?!— И он протянул руку, указывая на эскадру.— Нет! Будут у нас еще корабли, будут и моряки, еще удивим свет!..

— А ведь быть беде! — тревожно заметил Пустошкин.— Гроза идет на отечество наше!..

— Да, идет!.. Грозные бури встают на западе!.. Но не отчаивайтесь, сии бури обратятся к славе России!..— И Федор Федорович, задумавшись, замолчал.

Они миновали Павловский мыс, Северную косу. Их шлюпка вышла на рейд, и ее уже покачивало легкой выбью.

— Мне не много остается,— сказал Федор Федорович,— не страшусь смерти, желаю только увидеть

новую славу отечества... хотя бы в свой последний час...

Гатер подошел к флагманскому кораблю «Полтава».

Фалрепные встретили Федора Федоровича у трапа; адмиральский флаг взвился на грот-мачте; на деках выстроилась команда; оркестр сыграл встречный марш.

Ушаков быстро пошел вдоль строя, седой, согбенный, в темно-серого цвета сюртуке с георгиевской звездой.

Стоявшим в строю казалось, что он не шел, а бежал по палубе. Многие знали его раньше и думали, что вот такой же он был при Корфу — совсем еще бодрый, железный старик.

Он осмотрел корабль, нашел его построенным гораздо лучше прежних и, взойдя на мостик, окинул взглядом рейд.

Чуть повернул голову — увидел Севастополь, гавань, суворовские батареи; несколько секунд стоял, безмолвно любуясь флотом, и, должно быть вспомнив, на каких кораблях сражался и ходил по Средиземному морю, воскликнул:

— Вот если бы у меня были такие корабли!..

## ЭПИЛОГ

12 (24) июня 1812 года французская армия перешла Неман без объявления войны.

Наполеон руководил переправой у Ковно. «Я иду на Москву, — сказал он, выступая к русской границе, — и в одно или два сражения все кончу... Без России континентальная система — пустая мечта...»

Одному из маршалов он вручил свой портфель — красную бархатную сумку с планом похода. Серебряное шитье украшало бархат: с обеих сторон — лавровые венки, звезды и пчелы, а по углам — вышитые «N I».

План, по которому устремлялись войска, был со-

ставлен незадолго до начала вторжения. Он являлся вторым, измененным планом, ибо от первого Наполеону пришлось отступить.

Его первоначальным намерением было провести через Гольштинский канал флотилию канонерских лодок, поддержать ею левый фланг своей армии и направить главный удар на Петербург через Ригу. Но его заставил от этого удержаться русский флот.

Малые суда могли держаться вплотную к берегу и были неуязвимы для кораблей с большою осадкою. Наполеону не нужно было высылать лодки в открытое море — он полагал провести их вдоль немецкого побережья. Отразить это нападение можно было только такими же небольшими судами, и Россия немедленно усилила свой гребной флот.

Его мощной базой, выдвинутой в Финский залив, явился Роченсальмский порт, за десять лет до того перестроенный и укрепленный по плану Ушакова. Русское командование решило выставить более трехсот канонерских лодок и оборонять ими подступы к Риге. После этого Наполеон отказался от своего первоначального плана и наметил направление на Москву.

Тем не менее, начав кампанию, он попытался двинуться в сторону Петербурга. Вместе с главными его силами через Неман переправился Макдональд, занявший 18 июня Россиены. Оттуда он послал дивизию пруссаков к Риге, которая запирала путь к русской столице, служа фланговым опорным пунктом на линии Западной Двины.

Но русский флот вторично расстроил планы французов: канонерские лодки, расставленные по Двине, не допустили противника к переправам и не дали ему развернуть силы. Командующему прусской дивизией Граверту пришлось обложить Ригу изда- лека.

Отход русских войск не дал Наполеону желаемого успеха, не принесла ему победы и великая битва у Бородина.

Он пытался было заигрывать с русским крестьян-



ством и даже приказал разыскивать в уцелевших архивах все, что касалось восстания Пугачева, — чтобы представить себе, каков российский «бунт», — но действительность быстро заставила его отказаться от этой затеи. Наполеон не посмел разжечь пламя крестьянской войны в империи Александра I и, бежав из нее, объявил в Париже: «Я веду против России только политическую войну».

Ему было чего испугаться. Русский крепостной крестьянин встречал французского солдата грудью. А в то же время такой же точно крестьянин, — может быть, брат или односельчанин того, кто пал на Бородинском поле, — выхватив кол из плетня и засунув топор за пояс, шел громить усадьбу помещика и пускал «красного петуха».

Больше всего усадеб было разгромлено в губерниях Западного края. Как правило, помещики, бежавшие из своих разоренных имений, обращались к французской военной администрации, прося у нее защиты от своих крепостных. Так было в окрестностях Витебска, во многих пунктах Борисовского повета — в деревнях Клевки, Можай, Смолевичи (имение князя Радзивилла). Во всех этих местах крестьянское движение было подавлено силами французских солдат.

Но бывало иначе. Так, крестьяне помещика Гласко, из деревни Тростяны, Игуменского повета, когда приблизились французы, бежали в лес со всем своим имуществом и скотом. Как ни грустно им было покидать родную деревню, они все же были довольны, так как думали, что избавились от власти жестокого крепостника. Но свобода их длилась недолго. Вскоре встретили они ненавистного им помещика, который тоже бежал в лес и жил в шалаше со своей семьей. Увидав принадлежавших ему крепостных, он сразу же запряг их в работу и завел в лесу заправское крепостное хозяйство, взимая с крестьян подати и по-прежнему продолжая их истязать. Крепостные не выдержали. Они собрали сход и, решив раз навсегда избавиться от своего мучителя, убили помещика и всю его семью, — чтобы никто не донес.

Русский народ могуче отбивался от сильного внешнего врага и в то же время наносил удары внутренним, исконным своим поработителям. В этом двойном сопротивлении была богатырская сила, не сулившая добра неприятелю.

Кутузов недаром сказал о французах, что хочет «изрыть им могилы в России». Противник убедился в этом вскоре после того, как вступил в Москву.

Из лагеря под Тарутином высылались крупные отряды; они держали под непрерывными ударами всю линию неприятельских сообщений Москва — Смоленск.

Готовясь к контрнаступлению, создавая резервы, Кутузов направлял действия партизанских отрядов. Народная война встречала французов всюду. Обида за страдающую родину, за пепел Москвы подняла русских навстречу волне нашествия, и «вся Россия пошла в поход».

Были созданы и вооружены ополчения: Петербургское, Тверское, Рязанское, Калужское, Владимирское, Ярославское...

Тамбовская губерния также выставила ополчение. Начальником его избран был Ушаков.

В эти дни Федор Федорович все так же уединенно жил на краю деревни Алексеевки, в доме, выстроенном для него вблизи Санаксарского монастыря.

«По общему всех желанию и доверию» был он избран в начальники губернского ополчения, как человек, «известный всем по отличным деяниям, храбрости и долговременной службе». Но принять это почетное звание он уже не мог.

Блезнь приковывала его к постели. Командовать и сражаться он был не в силах. А мысли и чувства его были с родиной, и он горько сокрушался, что не может ей послужить.

Сожалея, что не в состоянии сделать большего, он отдал в пользу разоренных неприятелем свои сбережения, хранившиеся в опекуновском совете Воспитательного дома в Петербурге, и при этом просил, чтобы имя его не было оглашено.

На его же средства был открыт в Темникове не-

большой госпиталь для раненых. Бывали дни, когда Федор Федорович чувствовал себя лучше; тогда для него запрягали пару саврасых, и коляска с адмиралом катила пыльным проселком в «собственный его лазарет».

Ушаков появлялся там в темно-зеленом морском мундире с мелкими медными пуговицами, при всех орденках, опираясь на трость. На левом его плече тускло блистал адмиральский погон с тремя черными орлами. Глаза, все еще ясные, смотрели с живым участием, как и двадцать лет назад.

Начиналась беседа. Федор Федорович спрашивал: у кого какие нужды, как воевали; внимательно слушал, а потом и сам начинал вспоминать. Вспыхивая и сразу молодея, рассказывал он, как громил противника на морях Черном и Средиземном, и все время повторял: «Храбрый, храбрый у меня народ был!»

Однажды через Темников прошли ополченцы из Пензы. Разговорившись с ними, Ушаков услышал мрачный рассказ. Оказалось, что собрали их до двух с половиною тысяч в Инсаре и долго держали там, не приводя к присяге; тогда они сами потребовали присяжной церемонии, но это приняли за бунт. В Пензенскую губернию были двинуты войска под командованием генерал-лейтенанта Толстого; войска оружием усмирили патриотов, и только после этого ополченцы выступили в поход.

А вскоре узнал Ушаков о новых «подвигах» владельца деревни Бабеево: помещик Беглов — за ничтожную потраву — захватил крестьянское стадо и перепарол в деревне всех стариков и баб.

Федор Федорович не поехал к нему — уговаривать и стыдить, как делал это раньше. Все чаще, хмурый, затворялся он теперь в своем кабинете, глядя на лес через похожее на бойницу окно. Потом подходил к темному, красного дерева, шкафу и, кряхтя, извлекал из него кованую железную укладку — в таких на судах хранят корабельную казну.

Щелкал ключ — в тишине со звоном играла пружина. Федор Федорович доставал из укладки толстую тетрадь и клал перед собой. Перелистывал и углублялся в чтение. Что это была за тетрадь — неиз-

вестно. Местные предания по-разному говорят на этот счет.

По одним из них — в толстой рукописи заключались любопытные «Записки» Ушакова о его службе и жизни; по другим — то была самая тайная русская рукописная книга, которую не полагалось читать в те годы.

Есть предание, что много лет подряд «преследовала» она Ушакова, напоминая о себе самым неожиданным образом, всякий раз словно учиняя ему строгий допрос...

А болезнь все чаще привязывала его к дому.

Лежа у окна, слушал он отдаленный шум сосен, и в гуле монастырского леса чудился ему голос моря, в котором он не расставался пятьдесят лет.

Думы о флоте омрачали его дни; он полагал, что флот бездействует, и это угнетало его больше, чем близость собственной кончины: вести доходили к нему медленно, и он не знал, что делается на морях.

А флот действовал. Корабли Балтийской эскадры перебросили из Финляндии в Ревель крупное подкрепление, а канонерские лодки доставили его в Ригу, усилив ее гарнизон. После этого русские войска произвели из Риги вылазку, истребив запасы дивизии Граверта в Митаве и Бауске. Это случилось в тот самый день, когда Наполеон вошел в Москву.

В это время Макдональд, занимавший Двинск, пытался выйти на петербургское направление. Вылазка рижского гарнизона нарушила планы французов: Макдональду пришлось двинуть на помощь Граверту свои силы, лишив себя этим возможности обойти русский фланг.

А корабли, высадившие войска в Ревеле, отправились в Англию. Их было шестнадцать. Вместе с английскими они нависли угрозой над морскими силами Франции, сковав наполеоновский флот.

Английские моряки восхищались конструкцией русских судов, в особенности стопушечным кораблем «Храбрый». Британский генерал-адмирал де Кларенс просил русского посла Ливена доставить ему чер-

теж этого судна, чтобы строить в Англии такие же корабли.

Русский флот был силой, которая помогла запереть неприятельские эскадры в гаванях. И французские суда не смогли ничего изменить в ходе кампании вплоть до самого ее конца.

Седьмого октября Наполеон покинул Москву, решив пробиваться в южные районы через Калугу.

Кутузов, преградив неприятелю путь у Малоярославца, заставил войска его повернуть на запад. У этого города, как писали потом французы, «остановилось завоевание вселенной и были утрачены плоды двадцатилетних побед».

Под Малоярославцем было разорено неприятелем имение Радицевых — Немцово; в соборной церкви города, где покоился прах деда писателя, французы поставили эскадрон кавалерии, а над входом мелом вывели надпись: «Конюшня генерала Гийемино»...

Наступил перелом. Русская армия начала преследование. Она нападала на противника во время марша, изнуряла его беспрестанными ночными тревогами, осуществляя теперь главную цель Кутузова — уничтожение врага.

Но великий полководец берег свои силы для сокрушительных последних ударов. «Я хочу, — говорил он, — чтобы Европа видела, что существование главной армии есть действительность, а не призрак или тень».

Свой первый удар он нанес под Красным и, преследуя неприятеля по пятам, пошел за ним, стремясь к конечному его истреблению. Оно завершилось спустя две недели в боях на Березине.

С правого берега реки Наполеон написал Марз, герцогу Бассано — министру внешних сношений: «Армия многочисленна, но расстроена ужасающим образом».

Он заблуждался: армии у него уже не было никакой.

Во время березинской переправы казаки среди прочих трофеев захватили красный бархатный портфель. На нем были вышиты серебряные звезды, пчелы и вен-

зели Наполеона. В портфеле находился план кампании — план похода на Москву.

Так исполнилось желание Ушакова: он дожил до новой славы отечества.

Исполнились пророческие слова Суворова: «Тщетно двинется на Россию вся Европа. Она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб».

1943—1953

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### ПОВЕСТЬ О БОЛОТНИКОВЕ

Часть первая. ПРЕДГРОЗЬЕ . . . . .	5
Юрьев день . . . . .	5
Ясырь . . . . .	17
Кавалер ордена подвязки . . . . .	35
Часть вторая. ЗА РУБЕЖОМ . . . . .	55
Перстень Ачентини . . . . .	55
«Imperator» . . . . .	66
Солнечный град . . . . .	84
Часть третья. ВСЕЙ КРОВИ ЗАВОДЧИК . . . . .	102
Откуда «Комаринская» пошла . . . . .	102
Тульское сиденье . . . . .	124
Каргун-Пуоли — Камень-Сторона . . . . .	139

### ТРУДЫ И ДНИ МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА . . . . . 147

### ДЕТИ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

Глава первая. «Дети доброй надежды» . . . . .	331
Глава вторая. «Для славы народа и пользы общества» . . . . .	348
Глава третья. «Человеколюбивое мщение» . . . . .	360
Глава четвертая. Медный всадник . . . . .	386
Глава пятая. «Невидимый неприятель» . . . . .	394
Глава шестая. «Путешествие в полуденный край» . . . . .	407
Глава седьмая. Кинбурн — Очаков . . . . .	434
Глава восьмая. Огонь по флагману . . . . .	442

<i>Глава девятая. «Жить свободным или умереть!»</i> . . . . .	453
<i>Глава десятая. «Да впишется сие в журналы!»</i> . . . . .	481
<i>Глава одиннадцатая. «Благополучный Севастополь»</i> . . . . .	537
<i>Глава двенадцатая. «Чем же их тактика лучше?»</i> . . . . .	562
<i>Глава тринадцатая. Экспедиция Бонапарта исчезает, как дым</i> . . . . .	580
<i>Глава четырнадцатая. При Корфу</i> . . . . .	606
<i>Глава пятнадцатая. Корабли вступают в бастионы</i> . . . . .	621
<i>Глава шестнадцатая. Республика семи соединенных островов</i> . . . . .	640
<i>Глава семнадцатая. Суворов в Италии</i> . . . . .	649
<i>Глава восемнадцатая. Интрига Нельсона</i> . . . . .	653
<i>Глава девятнадцатая. «Бури встают на западе»</i> . . . . .	684
<i>Эпilog</i> . . . . .	726



*Шторм Георгий Петрович*

**ДЕТИ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ**

М., «Советский писатель», 1971, 736 стр.  
План выпуска 1971 г., № 109. Редактор  
А. А. Ланда. Худож. редактор Е. И. Ба-  
лашева. Техн. редактор Т. С. Казов-  
ская. Корректоры: С. В. Блаштейн,  
Н. П. Задорнова и В. Ш. Котт. Сдано  
в набор 20/VIII 1970 г. Подписано к печати  
20/I 1971 г. А 05711. Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub> № 2.  
Печ. л. 23 (38,64). Уч.-изд. л. 36,87. Тираж  
100 000 экз. Заказ № 481. Цена 1 руб. 28 коп.  
Издательство «Советский писатель». Мос-  
ква К-9, Б. Гнезниковский пер., 10. Тульская  
типография Главполиграфпрома Комитета  
по печати при Совете Министров СССР,  
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

OCR - Давид Титиевский, август 2017 г., Хайфа